This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES

STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES

ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ.

ПОВѢСТЬ

І. КРАШЕВСКАГО.

Kraszewski, J. I.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія В. С. Балашевъ и Ко, Фонтанка 95.
1899.

KC

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 14 іюля 1899 г.

PG 7158
K75 C9

Типографія „В. С. Балашевъ и К°“. Фонтанка 95.

Часть первая.

ПРОЛОГЪ.

Wer Tunken sät, der erntet Tlammen.
(Поговорка).

Маленькая помѣщичья усадьба, на которой не было уже ни одного крестьянина—примыкающая къ западной границѣ королевства *), когда-то центръ значительныхъ владѣній, теперь же только домъ и хозяйственныя постройки—принадлежала пану Григорію Любаховскому, герба Любичъ... Этотъ клочекъ земли, неудобный для хозяйства, тревожимый пограничной стражей, открытый для нападенія авантюристовъ, занимающихся переправою черезъ границу разныхъ товаровъ, достался пану Григорію по наслѣдству отъ бездѣтнаго дяди.

Дареному коню въ зубы не смотрятъ... Панъ Григорій, которому было очень хорошо на мѣстѣ управляющаго въ имѣніяхъ князя Л., который жилъ себѣ спокойно, какъ у Христа за пазухой,—когда узналъ, что ему достался этотъ клочекъ земли, почувствовалъ такую любовь къ нему, такое желаніе хозяйничать на своемъ, что, несмотря на разсудительные совѣты продать это наслѣдство и остаться на мѣстѣ, бросилъ ради доставшагося ему достоянія все.

Онъ самъ не могъ себѣ объяснить того чувства, которое имъ овладѣло. Съ того времени, какъ ему сказали, что тамъ гдѣ-то въ глуши есть фольварокъ **), принадлежащій ему, онъ не имѣлъ ни минуты покоя...

*) Королевство—губерніи Царства Польскаго.
**) Маленькая усадьба.

Разсудокъ указывалъ опытному человѣку, что подъ старость идти хозяйничать въ неизвѣстный край, при условіяхъ, съ которыми надо было еще освоиваться, изучать ихъ, подъ другимъ правленіемъ и законами—это было очень опасно. Но панъ Григорій никогда во всю свою жизнь не имѣлъ ни клочка своей земли и сдѣлаться такъ внезапно обладателемъ двухсотъ морговъ вмѣстѣ со всѣми постройками, не заплативъ ничего,—казалось ему великимъ счастьемъ. Онъ не разсчитывалъ, впрочемъ, на прибыль,—но это былъ свой собственный... клочекъ земли. Сердце привязалось къ нему заочно.

Чтобы понять и оцѣнить то, что бросилъ Любаховскій, надо знать, каково было его положеніе у князей. Онъ служилъ имъ съ дѣтства съ полнымъ самоотверженіемъ и самопожертвованіемъ. Имѣнія, довѣренныя ему, были не особенно значительны и приносили небольшой доходъ, такъ что ему приходилось довольствоваться незначительнымъ жалованьемъ; но зато онъ пользовался неограниченнымъ довѣріемъ и любовью князей, его звали другомъ, не слугой. Когда, послѣ смерти жены, Любаховскому пришлось позаботиться о воспитаніи своей единственной дочери, княгиня взяла маленькую Марынку и, пока она не выросла, держала при себѣ, воспитывая вмѣстѣ со своей собственной дочерью, почти ровесницей сироты. Панъ Григорій имѣлъ то утѣшеніе, что ребенокъ вышелъ изъ-подъ этой опеки, какъ цвѣтокъ, свѣжій, красивый, неиспорченный никакимъ вреднымъ дыханіемъ.

Молоденькая еще, всего шестнадцатилѣтняя Марынка вернулась къ отцу хозяйничать, утѣшать его и оживлять пустой домъ.

Имъ такъ было хорошо другъ съ другомъ и съ окружающими людьми, какъ вдругъ умеръ, почти неизвѣстный пану Григорію, старый Янъ Непомуценъ, какой-то его дядя... и ему досталась въ наслѣдство Любахувка... Люди, знающіе мѣстныя отношенія, совѣтовали ему продать все и остаться на мѣстѣ. Князь самъ написалъ ему, умоляя остаться. Мучился панъ Григорій; но какъ было отдать въ чужія руки послѣдній клочекъ земли, огромныя пространства которой принадлежали когда-то ихъ роду? Воспоминанія и могилы привлекали къ себѣ; Любаховскій считалъ своимъ долгомъ взять себѣ бѣдный фольварокъ.

Покойный хозяинъ Янъ Непомуценъ былъ чудакъ, вовсе не умѣвшій хозяйничать, вѣчно сидѣлъ по уши въ долгахъ, велъ тяжбы съ сосѣдями и, умирая, оставилъ Любахувку въ такомъ состояніи, что она непремѣнно должна была пойти съ молотка.

Панъ Григорій, отблагодаривъ князя, къ которому ѣздилъ прощаться вмѣстѣ съ дочерью, поплакавши на разставаніи, взялъ все свое имущество и переѣхалъ въ Любахувку. Его и дочь это наслѣдство, эта собственность приводила въ восторгъ.

Они знали, что въ запущенной усадьбѣ было много работы, но не разсчитали всей потери, которая обрушилась на нихъ. Любахувка представляла видъ страшнаго запустѣнія. Домъ чуть не свалился подпертый, какъ калѣка на костыляхъ. Клочекъ лѣса состоялъ изъ пней и кустовъ, луга заросли и были залиты водой, поля запущены... Нигдѣ даже не нашелъ Любаховскій цѣльнаго плетня.

Среди такого опустошенія попадались остатки старины, доказывавшіе, что когда-то усадьба эта была въ лучшемъ положеніи и постепенно дошла до разоренія. Такъ, подъ разваливающимся домомъ были погреба, довольно обширные, хорошіе и сухіе; въ саду росли старыя груши и всевозможные виды плодовыхъ деревьевъ, но уже одичавшіе. Сарай, уцѣлѣвшій отъ старины, построенный изъ отличнаго дерева, выглядѣлъ величественно среди позднѣйшихъ построекъ.

Панъ Григорій, пріѣхавъ съ деньгами въ карманѣ, съ многолѣтнимъ опытомъ и знаніемъ сельскаго хозяйства, сразу хотѣлъ поставить Любахувку на образцовую ногу.

Онъ не жалѣлъ денегъ, въ томъ убѣжденіи, что то, что вкладывается въ землю, непремѣнно должно вернуться. Но тутъ примѣненіе самыхъ полезныхъ теорій разбивалось о тысячи трудностей. Завистливые сосѣди мѣшали ему, чѣмъ только могли.

Однако, панъ Григорій выстроилъ себѣ домикъ скромный, но уютный, устроилъ огородъ и садъ, почистилъ поля, осушилъ луга, купилъ лошадей, нанялъ работниковъ и началъ хозяйничать.

Быть можетъ, онъ и вышелъ бы побѣдителемъ изъ этой

борьбы, если бы онъ былъ у себя дома господиномъ. Любахувка лежала на самой границѣ, такъ что пограничная линія шла черезъ лугъ, къ ней принадлежавшій.

Довольно отдаленная отъ другихъ поселеній, она упиралась этимъ лугомъ въ густой садъ. Контрабандисты избрали себѣ это мѣсто, а въ особенности одну тропинку, названную, неизвѣстно почему, «заячьимъ трактомъ»—и прокрадывались здѣсь не только пѣшкомъ или верхомъ, но даже съ цѣлыми возами, если знали навѣрное, что пограничная стража отвлечена въ другую сторону.

Это воровское ремесло контрабандиста имѣло здѣсь свои традиціи, свои средства, приспособленныя къ мѣстности, множество помощниковъ и расположеніе населенія отчасти изъ страха, отчасти въ надеждѣ выгоды. Хотѣли сразу привлечь на свою сторону и пана Григорія или, сдѣлавъ его дѣятельнымъ сообщникомъ, добиться того, чтобы онъ смотрѣлъ сквозь пальцы на все, что будетъ происходить.

Онъ откровенно отвѣтилъ:

— Я не вмѣшиваюсь въ чужія дѣла, но ни къ какому воровству причастнымъ быть не желаю и заранѣе объявляю, что буду искоренять контрабанду, скорѣе ужъ помогу пограничной стражѣ.

Послѣ нѣсколькихъ неудачныхъ попытокъ, начали ему грозить и дѣлать всякія непріятности. Потравляли луга и поля, поджигали нѣсколько разъ лѣсъ, подкрадывались къ дому... Ни днемъ, ни ночью не было покоя.

Врывалась пограничная стража, идя по ложному пути, и ночью дѣлали обыскъ въ имѣніи.

Хватали у него работниковъ и водили по судамъ свидѣтелями.

Нельзя было купить себѣ свободу иначе, какъ закрывая глаза, а этого именно панъ Григорій и не хотѣлъ дѣлать.

Такимъ образомъ, идеальная жизнь въ Любахувкѣ сдѣлалась чистымъ мученьемъ. Къ этому присоединялись еще слѣдствія несчастной борьбы двухъ народностей, двухъ племенъ, изъ которыхъ одно цѣлые вѣка владѣло этой землей, а другое врывалось сюда насильно, поддерживаемое государственной

властью.

Вначалѣ, послѣ занятія Польши, послѣ введенія новыхъ учрежденій и законовъ, ничто не указывало на то, что правительство желаетъ онѣмечить эту провинцію, которой торжественно присягало сохранить ея религію, обычаи и языкъ.

Незамѣтно, исподволь приползали сюда нѣмецкіе владѣльцы, пользуясь польской безпечностью, и только уже когда почувствовали себя сильными по своей численности,—подали сигналъ къ бою. Бой этотъ, однако, ограничивался только легальными средствами.

Но съ теченіемъ времени, вмѣсто естественнаго присоединенія націи при посредствѣ уравненія правъ и избѣгая всего, что могло раздражать народъ и вызывать реакцію,—открыто бросили перчатку, объявивъ, что законъ знать не хочетъ правъ чужой націи.

Панъ Григорій Любаховскій, прибывшій сюда съ совершенно другими понятіями, думавшій, что, въ крайнемъ случаѣ, если бы даже пришлось двумъ племенамъ жить рядомъ на одной землѣ, прямой обязанностью каждаго было водворять между ними согласіе, миръ, развивать въ нихъ взаимное уваженіе,—ужаснулся, увидѣвъ, что объявлена настоящая война и что приходится поневолѣ защищать все свое.

Какъ разъ въ то время, когда эта война только еще начинала обрисовываться, Любаховскій съ дочерью едва успѣлъ устроиться на своемъ новомъ хозяйствѣ. До сихъ поръ у пана Григорія, занятаго приведеніемъ въ порядокъ запущенной Любахувки, не было времени, чтобы сблизиться съ кѣмъ-либо изъ сосѣдей, показать имъ себя или разузнать что-либо о нихъ.

Въ костелѣ онъ встрѣчалъ, правда, крестьянъ и нѣкоторыхъ сосѣдей, но избѣгалъ знакомствъ. Съ крестьянами, къ которымъ онъ всегда былъ крайне расположенъ, панъ Григорій былъ въ дружескихъ отношеніяхъ и они первые начали распространять славу объ его умѣ и добротѣ сердца.

Рядомъ съ Любахувкой находилось большое имѣніе Любокау (къ чему прибавлялось всегда «deutsch») принадлежавшее нѣкоему Крейцеру, который энергично взялся за образцовое хозяйство, ни въ чемъ не зная мѣры, и до такой степени ра-

зорился на машинахъ, грандіозныхъ постройкахъ и всевозможныхъ улучшеніяхъ, что долженъ былъ продать «Deutsche Lubocau».

Но вслѣдствіе очень дорогой цѣны, назначенной Крейцеромъ, онъ не могъ найти покупателя и имѣніе пошло съ молотка. Никто изъ поляковъ не явился на торги и Любокау, съ большой потерей для довѣрчивыхъ кредиторовъ Крейцера, перешло въ руки другого нѣмца, коммерціи совѣтника герра Саломона Треубернера, котораго никто здѣсь не зналъ.

Извѣстно было только, что Треубернеръ явился изъ Берлина, гдѣ долго жилъ, уѣхавъ изъ Гамбурга, и что, должно быть, былъ очень богатъ, если не боялся въ незнакомомъ краѣ покупать землю за такую дорогую цѣну.

Его будто бы привлекали пивоваренный и кирпичный заводы, производство драницы, отлично устроенное хозяйство. Коммерціи совѣтникъ, происходившій, повидимому, изъ купеческаго сословія, надѣялся, должно быть, что изъ столькихъ отраслей производства хотя одно можетъ развиться.

Послѣ покупки «Deutsche Lubokau», каждый день начали доходить въ Любахувку вѣсти о томъ, что тамъ дѣлается, какъ Треубернеры, отецъ съ сыномъ, устраиваютъ свою новую резиденцію. Отецъ отдавалъ ее сыну, который долженъ былъ здѣсь поселиться. Люди эти были, какъ оказывалось, болѣе чѣмъ со средствами—богатые. Судя по тому пріему, какой имъ оказали мѣстные чиновники, панъ Григорій предполагалъ, что у нихъ, повидимому, была сильная протекція въ верхнихъ слояхъ. Молодой Треубернеръ, какъ говорили, былъ уже на службѣ и даже имѣлъ какой-то чинъ. Что касается до его переѣзда въ Любокау, то ничего еще не было достовѣрно извѣстно; однако, старый домъ дѣлали жилымъ.

Тамъ шла такая возня, что это отразилось даже на владѣльцѣ Любахувки, такъ какъ работники вздорожали и труднѣе стало ихъ найти.

Это немножко огорчало пана Григорія; другой на его мѣстѣ сталъ бы проклинать нѣмца и сердиться, а онъ принималъ это съ кротостью и смиреніемъ.

Въ характерѣ Любаховскаго было, что, разъ уже усвоивъ себѣ извѣстные взгляды, извѣстныя убѣжденія, онъ неизмѣнно

примѣнялъ ихъ въ жизни, хотя иногда это было крайне для него невыгодно.

Одинъ изъ его принциповъ, о которыхъ онъ часто говорилъ, былъ тотъ, что всѣ люди—братья; всѣ націи, многочисленныя и малыя, имѣютъ одни права; что ненависть и преслѣдованіе вредны и опасны для тѣхъ, къ нимъ прибѣгаетъ.

Такимъ образомъ, здѣсь, гдѣ взаимная ненависть двухъ издавна враждебныхъ народовъ, постоянно разжигаемая, росла съ каждымъ годомъ, онъ былъ, быть можетъ, единственный человѣкъ, который не питалъ ее въ сердцѣ и доказывалъ, что ее всѣми силами должно искоренять.

Тѣ, которыхъ долгая жизнь сдѣлала уже осторожными и научила, какъ надо жить, вмѣняли пану Григорію въ вину то, что онъ братался съ нѣмцами, не сторонился отъ нихъ, даже отворялъ имъ двери своего дома и проповѣдывалъ согласіе.

Его упрекали въ отсутствіи горячей привязанности къ своей землѣ; но каждый разъ, когда требовалось доказать, что онъ сознаетъ свои обязанности и исполняетъ ихъ, онъ самъ первый готовъ былъ пожертвовать всѣмъ.

— Странный человѣкъ,—говорили про него,—какъ будто очень ярый и честный патріотъ, а самъ чувствуетъ слабость къ нѣмцамъ, просто ищетъ ихъ.

Случалось, что гдѣ-нибудь по сосѣдству нѣмцы дозволяли себѣ злоупотребленія, будучи увѣрены въ покровительствѣ высшей власти, что явно нарушали право въ интересѣ своей націи; это возмущало и пана Григорія, но когда дѣло доходило до мщенія, онъ не соглашался.

— Это еще не резонъ, если кто-нибудь позволилъ себѣ злоупотребленіе, чтобы я непремѣнно долженъ былъ подражать ему. Это все равно, какъ если бы я сталъ подражать вору и воровалъ бы потому, что меня обокрали!—Съ полнымъ спокойствіемъ и хладнокровіемъ выслушивалъ панъ Григорій упреки, молчалъ, но не измѣнялъ своего образа дѣйствій.

Когда Треубернеры купили Любокау, они обращались за разными мелкими услугами къ пану Григорію, который никогда не отказывалъ и, по польскому обычаю, когда дѣло

шло о мелочахъ, не считался и не хотѣлъ ничего брать. Поэтому молодой Робертъ Августъ Треубернеръ, референдарь, въ одинъ прекрасный день въ маленькомъ экипажѣ на парѣ рослыхъ лошадей, важно и съ шикомъ подъѣхалъ къ крыльцу Любахувки съ первымъ визитомъ для заведенія знакомства.

Панъ Григорій, отвыкшій здѣсь отъ барской роскоши, такъ какъ сосѣди были все больше бѣдные, удивился экипажу Треубернера, но еще большее удивленіе пробудилъ въ немъ самъ Робертъ Августъ.

Блондинъ, высокаго роста, стройный, съ очень красивымъ и симпатичнымъ лицомъ, онъ имѣлъ въ себѣ, правда, что-то военное, какъ всѣ пруссаки, былъ немножко натянутъ; но вмѣстѣ съ тѣмъ былъ такъ предупредительно вѣжливъ, такъ деликатенъ въ обращеніи, что съ первой же встрѣчи завладѣлъ сердцемъ Любаховскаго. Домикъ въ Любахувкѣ хотя и былъ маленькій и простенькій, однако, замѣтно было, что Марынка провела всю свою молодость въ барскомъ домѣ и имѣла много вкуса. Отецъ позволилъ ей здѣсь устроить себѣ гнѣздышко, какъ она хотѣла, такъ что здѣсь было очень красиво, хотя безъ всякихъ признаковъ роскоши и блеска. Князь подарилъ Марынкѣ чудную старинную мебель, княжна множество фарфоровыхъ чашекъ; у отца были роскошные восточные ковры. А такъ какъ Марынка очень любила цвѣты, то все это вмѣстѣ дѣлало домикъ красивымъ и изящнымъ, какъ игрушка.

Марынка отлично играла на фортепіано, и отецъ купилъ ей рояль самой лучшей вѣнской фабрики.

Все это указывало на то, что хозяева дома принадлежали къ самому образованному обществу. А такъ какъ Роберту, по всей вѣроятности, описали жителей Познанскаго княжества людьми полудикими, то видно было, какимъ пріятнымъ сюрпризомъ была для гостя Любахувка.

Навѣрное, немало помогли впечатлѣнію и стройная фигурка, и очаровательное личико Марынки. Въ свою очередь, Робертъ Августъ пробудилъ въ обитателяхъ Любахувки удивленіе и симпатію. Онъ просто не могъ нарадоваться тому, что нашелъ здѣсь у Марынки произведенія и бюстъ Шиллера, что она играла ему нѣмецкую музыку и съ увлеченіемъ говорила о Бетховенѣ и Веберѣ. Визитъ, который предполагался

сначала чисто формальнымъ, сразу завязалъ самыя дружескія отношенія. Старый панъ Григорій, правда, мерзко говорилъ по-нѣмецки и часто ошибался, въ особенности въ обозначеніи родовъ, такъ что дочь постоянно его поправляла, но онъ до такой степени старался быть вѣжливымъ, такъ былъ гостепріименъ и радушенъ, что референдарь долженъ былъ простить ему грамматическія ошибки.

Зато Марынка говорила бойко, а такъ какъ притомъ очень любила нѣмецкихъ поэтовъ, то могла свободно цитировать ихъ въ разговорѣ, что приводило молодого нѣмца въ восторгъ.

Когда, просидѣвъ здѣсь два часа, Робертъ уѣхалъ въ Любокау, старикъ просто не могъ нахвалиться.

— Вотъ такихъ людей, пускай, сюда присылаютъ,—говорилъ онъ дочери,—тогда мы будемъ жить спокойно. Нашъ молодой сосѣдъ очень милый и симпатичный.

Марынка тоже хвалила его, находя очень хорошо воспитаннымъ.

На третій день и Григорій въ своей обыкновенной упряжи, даже не принарядившись, поѣхалъ отдать визитъ сосѣдямъ и вернулся оттуда изумленный.

Онъ нашелъ Любокау болѣе чѣмъ мрачнымъ, такъ какъ оказалось, что никто не собирался здѣсь жить. Прислуги было мало, показался одинъ человѣкъ и пропалъ, а кофе подавала дѣвушка въ бѣломъ гамбургскомъ чепчикѣ.

На всемъ лежалъ отпечатокъ пользы, ничего не было сдѣлано ради красоты или изящества.

Молодой хозяинъ жаловался, что нашелъ имѣнье не раціонально поставленнымъ, а администрацію слишкомъ дорогой и сложной. Единственной роскошью, бросившейся въ глаза Любаховскому, были книжки; но и тѣ, какъ онъ увидалъ потомъ, оказались по большей части хозяйственными или относящимися къ разнымъ отраслямъ промышленности, находящимся въ связи съ сельскимъ хозяйствомъ.

И онъ, и дочь не могли надивиться, что такой образованный юноша ничего не дѣлалъ для своего удовольствія, ради развлеченія. Даже садъ былъ запущенъ, и референдарь замѣтилъ, что въ этихъ краяхъ фруктовый садъ не принесъ бы прибыли.

— Да какъ же ты хочешь,—объяснялъ Любаховскій дочери,—имѣнье они купили дорого, немало денегъ еще придется вложить въ него, гдѣ же тутъ думать объ удовольствіяхъ и о садѣ?

Молодой Треубернеръ, упомянувъ о своей службѣ, заявилъ, что онъ взялъ отпускъ на нѣсколько мѣсяцевъ, которые собирался посвятить устройству этого имѣнья.

— Стоитъ только разъ пустить въ ходъ машину,— говорилъ онъ,— и поставить къ ней внимательныхъ людей, и она пойдетъ ужъ дальше сама.

О Робертѣ говорили, что онъ очень усердно работалъ съ утра до ночи. А такъ какъ онъ долженъ былъ скучать въ одиночествѣ и нуждался въ развлеченіи, то воспользовался любезнымъ приглашеніемъ пана Григорія и навѣщалъ его по вечерамъ. Они проводили эти вечера очень пріятно, такъ какъ оказалось, что референдарь хорошо игралъ на фортепіано и любилъ играть въ четыре руки.

Кромѣ того, онъ былъ очень начитанный, милый, много могъ поразсказать о столицѣ и ея знаменитостяхъ; знаменитые писатели и поэты были ему лично знакомы, по крайней мѣрѣ, онъ отзывался о нихъ такъ, какъ будто онъ привыкъ вращаться въ ихъ обществѣ.

У пана Григорія и дочери его осталось отъ старыхъ привычекъ то, что ихъ особенно занимала оппозиція и люди, старающіеся ввести въ жизнь идеалы. Въ Германіи раздавались тогда пѣсни Берне, Гейне, Фрейлиграта и многихъ другихъ, но референдарь не признавалъ ихъ поэтами и ругалъ ихъ немилосердно. Марынка не разъ подговаривалась, чтобы онъ помогъ ей раздобыть ту или другую запрещенную книгу, но Робертъ отказывался наотрѣзъ. Наконецъ, всѣмъ стало ясно, что онъ принадлежитъ къ числу самыхъ строгихъ консерваторовъ, но панъ Григорій не могъ ему этого ставить въ вину, такъ какъ онъ былъ на службѣ.

Изъ мелькомъ схваченныхъ фразъ можно было даже заключить, что онъ бывалъ при дворѣ.

При такихъ отношеніяхъ два мѣсяца прошли такъ быстро, что старый, честный, никогда не видящій ничего дурного Любаховскій и не замѣтилъ, какъ между референдаремъ и Ма-

рынкой завязались слишкомъ тѣсныя отношенія, слишкомъ тѣсная дружба. Постоянно обмѣнивались нотами и книжками, писались письма, — Робертъ пріѣзжалъ почти каждый день и по цѣлымъ часамъ просиживалъ въ саду наединѣ съ Марынкой.

Послѣ слишкомъ долгой слѣпоты, старый отецъ вдругъ былъ пораженъ однажды видомъ этой пары, прогуливающейся по саду. То, о чемъ онъ никогда до сихъ поръ не думалъ, встало вдругъ передъ его глазами. Онъ поблѣднѣлъ, потомъ покраснѣлъ, сложилъ руки и рѣшилъ поступить энергично.

Послѣ отъѣзда Роберта, когда дочь пришла проститься съ нимъ передъ сномъ, панъ Григорій поцѣловалъ ее въ лобъ и удержалъ.

— Марынка!—сказалъ онъ,—я далъ тебѣ полную свободу, потому что знаю, что ты не злоупотребишь ею. Я вижу, что этотъ молодой, славный нѣмецъ слишкомъ что-то ухаживаетъ за тобой, что ты оказываешь ему расположеніе и дружбу. Марынка, дорогая моя, я долженъ напомнить тебѣ, что онъ не нашъ, чужой, что ты не можешь выйти за него замужъ, а онъ не можетъ на тебѣ жениться.

Марынка слушала, вся раскраснѣвшись, дрожа; слезы блеснули на ея глазахъ.

— Отецъ мой!—отвѣчала она,—твое предостереженіе уже слишкомъ поздно! Прости меня! Онъ любитъ меня, я люблю его—выйду за него, или ни за кого.

И она скрыла свою голову въ объятіяхъ отца.

— Мы бѣдны—онъ богатъ, дитя мое; отецъ будетъ противиться этому браку, а для тебя, для меня—что за будущность? Ты должна будешь отречься отъ меня, отъ родины, языка—я даже боюсь за твою вѣру; ты должна будешь изъза него сдѣлаться нѣмкой! Можешь ли ты въ этой пыткѣ найти счастье?

— Робертъ не требуетъ отъ меня,—живо и горячо начала она,—чтобы я отъ чего-либо отрекалась. Я могу примѣниться къ нему, но въ душѣ останусь твоей Марынкой. Безъ него я не была бы счастлива. Ты еще его не знаешь—это великій умъ и великое сердце—человѣкъ, который имѣетъ передъ собой блестящую будущность... Быть его подругой, помощницей, работать съ нимъ—можетъ ли быть на свѣтѣ высшее счастье?

— Дитя мое, дидя мое!—замѣтилъ Любаховскій,—ты говоришь объ этомъ, какъ-будто была уже увѣрена въ согласіи его отца.

— Онъ добьется его,— прервала Марынка,— онъ далъ мнѣ слово, а я обѣщалась ему упросить тебя, отецъ мой.

Любаховскій началъ плакать, какъ ребенокъ. До сихъ поръ онъ могъ только подозрѣвать, теперь же онъ имѣлъ на лицо всѣ послѣдствія своей неосмотрительности: одиночество въ старости, сиротство...

Марынка могла превратиться въ жену нѣмца; но онъ! онъ! Не разъ уже они сталкивались съ Робертомъ въ своемъ разговорѣ и обнаруживали столь противорѣчащія мнѣнія, что не могло быть и рѣчи о соглашеніи. Нѣмецъ вовсе не понималъ этой любви къ родинѣ, которую встрѣчалъ въ старикѣ, не понималъ отстаиванія націи, которая въ его глазахъ была слабой, безжизненной...

Паномъ Григоріемъ овладѣло такое безпокойство, такое волненіе, что на другой день, не посылая за докторомъ, по старой методѣ, онъ дважды велѣлъ цирюльнику пустить кровь. Ходилъ, какъ убитый... Когда вечеромъ пріѣхалъ Робертъ, Любаховскій, встрѣтивъ его, шепнулъ, что желаетъ поговорить съ нимъ наединѣ.

— Все это складывается какъ нельзя лучше, — отвѣчалъ Робертъ,—потому что и я собирался просить васъ выслушать меня.

Марынка вышла, стараясь казаться беззаботной, но на самомъ дѣлѣ сильно смущенная и блѣдная.

Они остались одни въ кабинетѣ пана Григорія. Референдарь всталъ и торжественно произнесъ:

— Я долженъ былъ уже раньше объявить вамъ, что прошу руки вашей дочери; это вина молодости и неопытности, что я говорю объ этомъ такъ поздно. Я люблю панну Маріанну и умоляю васъ—не противьтесь нашему счастью, не отказывайте мнѣ въ ея рукѣ.

Онъ говорилъ это съ чувствомъ, съ покорностью и растрогалъ честнаго Любаховскаго, который бросился ему въ объятія.

— Поклянись мнѣ, что ты сдѣлаешь ее счастливой. Я

готовъ самъ сдѣлаться твоимъ рабомъ. Ты говоришь о бракѣ, дорогой Робертъ, но отецъ твой, несомнѣнно, будетъ этому противиться. Что же ты сдѣлаешь, если онъ будетъ настаивать на своемъ?

— Я совершеннолѣтній, имѣю капиталъ отъ матери, служу,—хватитъ для насъ съ женой, хотя бы даже отецъ разсердился и лишилъ наслѣдства. Я предвижу съ его стороны сопротивленіе,— съ энергіей заключилъ онъ,—но прежде, чѣмъ начать борьбу съ нимъ, мнѣ необходимо было заручиться вашимъ согласіемъ. Скажу ему, что связанъ словомъ, а ни одинъ Треубернеръ никогда не нарушилъ даннаго слова.

Все это упало, какъ снѣгъ, на голову бѣднаго пана Григорія, такъ какъ онъ никогда ничего подобнаго не могъ ожидать и нредвидѣть. Онъ ходилъ безпокойный, грустный.

Черезъ два дня послѣ этого, простившись съ плачущей Марынкой, обнявъ молча стараго отца, Робертъ уѣхалъ въ Берлинъ.

Нѣсколько дней съ тревогой ожидали его письма; но прошла недѣля, а о немъ не было ни слуху ни духу.

— Тяжело ему, видно, справиться съ отцомъ,—говорилъ, вздыхая, панъ Григорій,—но онъ ничего не пишетъ, значитъ, еще не отчаялся.

Марынка ходила какъ-бы въ горячкѣ.

Нетерпѣливо ожидаемое письмо, наконецъ, пришло и было адресовано самому Любаховскому. Робертъ доносилъ ему, что до сихъ поръ еще не можетъ поладить съ отцомъ, но надѣется, тѣмъ не менѣе, сломить его упорство. Марынкѣ посылалось только нѣжное привѣтствіе и просьба, чтобы не теряла вѣры въ него.

Ни старый отецъ, ни она не знали коммерціи совѣтника, отца Роберта, не имѣли представленія о его характерѣ и образѣ мыслей. Изъ того, что о немъ говорилъ иногда сынъ, Любаховскій заключилъ, что онъ долженъ былъ быть человѣкомъ желѣзной воли, энергичнымъ; но и у сына не было недостатка въ этихъ качествахъ.

Марынка съ сухими глазами увѣряла отца, что согласна ждать хоть десять лѣтъ и такъ увѣрена въ любви Роберта, что считала для себя грѣхомъ сомнѣваться въ ней.

У Любаховскаго было мало родныхъ; однако, уважая самыя дальнія родственныя связи, панъ Григорій поддерживалъ со

всѣми переписку и заставлялъ Марынку писать къ нимъ. Между ними особенно интересовалась судьбой дѣвушки какая-то троюродная или четвероюродная тетка, нѣмая пани Зомбковская, помѣщица изъ Плоцка, которая знала Марынку и очень ее любила. А двоюродный братъ Любаховскаго, Савичъ, отставной военный, бывавшій когда-то у нихъ въ домѣ, любилъ ее, какъ свою родную дочь. Судьба Марынки сильно занимала ихъ обоихъ. Зомбковская же не только терпѣть не могла нѣмцевъ, но даже считала преступленіемъ всякую связь съ ними. Савичъ тоже питалъ къ нимъ органическое отвращеніе и вражду. Марынка съ отцомъ съ тревогой думали о томъ, какъ они сообщатъ этимъ родственникамъ о предстоящемъ бракѣ. Она просила отца выручить ее, а тотъ утверждалъ, что она лучше сумѣетъ все устроить.

Они еще продолжали спорить, когда отъ Савича пришло письмо, поразившее ихъ, какъ громомъ. Онъ узналъ со стороны о ихъ сношеніяхъ съ Треубернерами и считалъ клеветой все, что ему разсказывали о молодой парѣ.

— Я не вѣрю, не хочу вѣрить, не могу вѣрить, а если бы повѣрилъ, что ты выдаешь свою Марынку за лютеранина, за нѣмца, то взбѣсился бы и проклялъ тебя. Вы такъ меня напугали, что я даже постарался навести справки въ Берлинѣ, что за люди эти Треубернеры. Старикъ былъ купцомъ, но уже давно пересталъ имъ быть и служитъ политикѣ, исполняя какія-то таинственныя работы. Сынъ на службѣ и хотя занимаетъ невысокое мѣсто, но значеніе имѣетъ большое. Люди богатые, но какъ они этого достигли, объ этомъ хроника умалчиваетъ.

Вскорѣ потомъ пришло письмо отъ столь же пораженной Зомбковской, которая объявляла о своемъ пріѣздѣ... Чтобы составить себѣ представленіе о чувствѣ, которымъ было проникнуто ея письмо, довольно привести слѣдующій отрывокъ: «Я желала бы лучше видѣть тебя въ гробу, чѣмъ у алтаря съ этимъ женихомъ, который не можетъ даже поклясться тебѣ въ любви и вѣрности по-польски».

Не только родные, но и князья, у которыхъ Любаховскій служилъ когда-то и которые его очень любили, написали ему отчаянное письмо, полное упрековъ, узнавъ о предстоящемъ

бракѣ Марынки съ нѣмцемъ. Всѣ эти письма прочитывала Марынка, но они ея не трогали.

— Они его не знаютъ,—говорила она,—стоитъ ему только показаться имъ и они перестанутъ удивляться.

Любаховскій, съ самаго дня объясненія съ Робертомъ, ходилъ осовѣлый, задумчивый, худой, желтый; казалось, онъ вдругъ постарѣлъ и ослабъ. Въ особенности угнетала его та мысль, что, благодаря этому браку, послѣдній клочекъ земли, наслѣдіе предковъ, перейдетъ въ чужія руки и Любахувка исчезнетъ, соединившись съ «Deutsch Lubokau».

Это святотатство, какъ онъ выражался, поражало его прямо въ сердце.

Марынка перенесла все это съ замѣчательной стойкостью духа; но отецъ съ удивленіемъ видѣлъ, что любовь къ Роберту вліяла на ея понятія, ея чувства, на все, во что она прежде вѣрила и что любила.

Даже въ дѣлахъ религіи, о которой отецъ такъ часто говорилъ, Марынка начала уже высказывать такія мысли, что, если бы и она пошла съ мужемъ въ его церковь, гдѣ также чтутъ Христа, то это не было бы грѣхомъ. То же самое было и во всѣхъ другихъ затруднительныхъ вопросахъ, которые она разрѣшала съ полнымъ самопожертвованіемъ, а Любаховскій, слушая ее, плакалъ и цѣловалъ ее въ голову,

Потомъ стали приходить письма Роберта къ невѣстѣ, полныя обѣщаній, но не излагающія никакихъ подробностей. Любаховскій безпокоился, Робертъ все обѣщалъ самъ пріѣхать, но не могъ.

Это положеніе неизвѣстности продолжалось нѣсколько мѣсяцевъ; наконецъ, референдарь пріѣхалъ въ Любокау вмѣстѣ съ отцомъ, и на другой же день оба явились въ Любахувку.

Марынка надѣялась смягчить его покорностью, но видъ этого старца, сухого какъ щепка, гордаго, съ самой вульгарной наружностью, дѣлающей его похожимъ на работника, лишилъ ее силъ и храбрости. Въ очень краткихъ, холодныхъ выраженіяхъ, точно по принужденію, сердитый коммерціи совѣтникъ попросилъ у Любаховскаго руки дочери и сейчасъ же, подъ предлогомъ очень важныхъ дѣлъ, отправился въ Берлинъ, откуда собирался тотчасъ же ѣхать въ Испанію, такъ какъ онъ

стоялъ во главѣ общества, которое пріобрѣтало тамъ рудники.

Свадьба должна была свершиться вскорѣ, послѣ чего молодые собирались немедленно ѣхать въ столицу, гдѣ молодой референдарь, теперь уже совѣтникъ, занималъ важный постъ, о характерѣ котораго ничего не говорилъ.

Марынка принимала все это съ той слѣпой вѣрой первой любви, которая не сомнѣвается въ томъ, что ей удастся передѣлать весь свѣтъ и людей и все побѣдить. Робертъ, казалось, дѣйствительно былъ влюбленъ въ нее, былъ кротокъ и послушенъ.

Любаховскій, котораго на самомъ дѣлѣ страшило предстоящее одиночество, чтобы не пугать дочери и не отравлять ей счастья, только и говорилъ о томъ, какъ онъ будетъ работать, чтобы сдѣлать изъ Любахувки игрушку, и оставить ее внукамъ.

Съ быстротою молніи совершались всѣ свадебныя приготовленія, но Робертъ предупредилъ заранѣе, что они въ тотъ же день уѣдутъ въ Берлинъ.

Когда экипажъ, увозившій Марынку, отъѣхалъ отъ крыльца, старикъ долго молился, а потомъ такъ ослабѣлъ, что старому слугѣ пришлось приводить его въ чувство и онъ не скоро пришелъ въ себя.

Одиночество подъ старость—страшное горе! Нужно большую силу воли, чтобы жить съ нимъ и, нося его въ груди, не пасть подъ тяжестью. Любовь къ дочери, о судьбѣ которой онъ такъ безпокоился, поддерживала старика при жизни.

Съ необычайной энергіей началъ онъ работать, и письма Марынки, которая сначала аккуратно доносила обо всемъ отцу, поддерживали его и подкрѣпляли.

По нимъ Любаховскій ясно видѣлъ, какъ быстро шелъ процессъ превращенія Марынки въ совершенно другое существо. Но при всемъ томъ она была счастлива, восхищалась добротой мужа, жизнью съ нимъ, озаренной лучами любви. Только теперь ее ничто уже не интересовало, кромѣ того, что входило въ узкій кругъ ихъ общихъ съ мужемъ чувствъ. Съ каждымъ днемъ она становилась все болѣе чуждой гнѣзду, изъ котораго улетѣла.

Если бы кто увидѣлъ Любахувку послѣ двадцатилѣтняго хозяйничанья Любаховскаго, тотъ, навѣрно, не узналъ бы ее: такъ старикъ передѣлалъ ее своими трудами на образецъ самыхъ лучшихъ имѣній.

Метаморфоза эта была тѣмъ удивительна, что Любаховскій не вкладывалъ въ имѣніе большихъ суммъ, а сдѣлалъ все это медленно, постояннымъ, ни передъ чѣмъ не отступающимъ трудомъ.

Сейчасъ же послѣ разлуки съ дочерью, роскошный портретъ которой, исполненный кистью д' Анжели, украшалъ кабинетъ пана Григорія и блескомъ своей рамы рѣзко выдѣлялся на общемъ скромномъ фонѣ обстановки, — Любаховскій отыскалъ бѣднаго юношу, сироту, изъ родни покойной жены, и взялъ его себѣ въ помощники.

Онъ чувствовалъ, что полное одиночество убило бы его. Въ выборѣ воспитанника старику посчастливилось. Дыданъ Шурковскій, кромѣ некрасиваго имени, не имѣлъ за собой ничего, чѣмъ бы его можно было упрекнуть.

Онъ окончилъ съ медалью гимназію въ Варшавѣ, но идти въ университетъ было не на что. Тогда-то панъ Григорій написалъ, чтобы его прислали къ нему, и уговорилъ юношу, чтобы тотъ, продолжая работать надъ книгами, которыя онъ обѣщалъ ему доставить, помогъ ему вмѣстѣ съ тѣмъ въ хозяйствѣ.

Дыдась, добрый малый, съ перваго же дня привязался къ старику и отдался ему душой и тѣломъ. Панъ Григорій тоже уступилъ ему пустое мѣсто, которое осталось у него въ сердцѣ послѣ дочери.

И началось пересозданіе Любахувки по образцу лучшихъ имѣній. Все надо было передѣлать, и Любаховскій съ Дыданомъ стали передѣлывать. Не было угла, въ который бы они не заглянули. У нихъ не было порядочнаго плана фольварка— Дыдась превратился въ землемѣра и снялъ планъ.

На границѣ, гдѣ такъ надоѣдали контрабандисты и имѣли тамъ свой заячій трактъ, Дыданъ придумалъ цѣлую систему препятствій, ловушекъ, которыя такъ затрудняли воровъ и такъ облегчили ихъ поимку, что воры отказались отъ своего тракта. Правда, они попробовали было за это поджечь хлѣвъ,

но тутъ ихъ изловили на мѣстѣ преступленія и страхъ разогналъ остальныхъ негодяевъ. Какой-то изъ нихъ изъ мести выстрѣлилъ въ Дыдана, но пуля попала въ дерево, и ея калибръ послужилъ указаніемъ для новыхъ розысковъ, которые заставили, наконецъ, уйти и послѣднихъ воровъ. Любаховскій самъ занялся собственноручно садомъ и огородомъ.

Дошла, наконецъ, очередь и до хозяйственныхъ построекъ, до улучшенныхъ земледѣльческихъ орудій. Съ юношескимъ жаромъ брался за все это Дыданъ, а старикъ только давалъ ему совѣты и указанія. Оба дѣлали каждую вещь съ взаимной бережливостью, но вмѣстѣ съ тѣмъ съ мельчайшей точностью.

Владѣтели большихъ имѣній пріѣзжали сюда нарочно посмотрѣть на это образцовое хозяйство, и слава Дыдася и стараго Любаховскаго дошла до Базара и Курнатовскаго, гдѣ всѣ о нихъ говорили.

Старикъ все тосковалъ по своей дорогой Марынкѣ, и грусть его еще увеличивалась отъ того, что онъ ее почти вовсе не видѣлъ. Сначала письма стали приходить рѣже, потомъ, когда отецъ писалъ самъ, долго приходилось ждать отвѣта. Любила его Марынка, но и ей дѣятельная, а быть можетъ и тяжелая жизнь не давала отдыха. Она хвалилась своимъ счастьемъ, но отецъ чувствовалъ, что оно было не такое, какого она ожидала. Перваго внука, который родился черезъ годъ, дѣдъ вовсе не видѣлъ. На настойчивыя просьбы Марынка пріѣхала одна, и то не надолго. Все въ ней было роскошно, богато, изящно, но лицо отражало тоску и горе. Мужъ совсѣмъ не писалъ старику, только посылалъ ему поклоны въ письмахъ жены.

На разспросы Марынка все хвалила, но, разсѣянная, встревоженная, не разсказывала никакихъ подробностей. Она вошла въ новый свѣтъ, который ей приходилось изучать, и она не признавалась, что ее не особенно пріязненно тамъ приняли.

Въ отцовскомъ домѣ, видя на столѣ деревенскія кушанья, къ которымъ такъ привыкла съ дѣтства, она привѣтствовала ихъ крикомъ и слезами; заглушенная любовь къ всему утраченному прошлому возвращалась. Старикъ съ ужасомъ замѣчалъ, что часто въ разговорѣ у ней не хватаетъ польскихъ выраженій, что она уже съ трудомъ говоритъ на родномъ

языкѣ. Онъ хотѣлъ дать ей книжекъ, она не смѣла взять, такъ какъ мужъ не любилъ, когда она вспоминала свой языкъ.

Въ послѣдующіе годы исчезли и эти симптомы остатка привязанности къ домашнему очагу. Марынка стала изящной, важной дамой, измѣнилась даже лицемъ, стала веселѣе, но сдѣлалась равнодушной ко всему, даже къ родному отцу.

Старика это сильно огорчало. При каждой встрѣчѣ онъ старался пробудить въ ней угасшую любовь къ родинѣ, прежнія чувства, и это ему удавалось, такъ какъ у Марынки, было доброе сердце, но слишкомъ много на ней тяготѣло, чтобы она могла со всемъ справиться. Она падала подъ тяжестью бремени... Старику было извѣстно, что зять его занимаетъ все высшіе, все болѣе важные посты, что все большее богатство окружаетъ его, что домъ его поставленъ на широкую ногу, а Марынкѣ приходится вращаться въ лучшемъ обществѣ столицы. Къ счастью, воспитанница княгини смолоду привыкла къ жизни высшаго круга.

О своихъ успѣхахъ въ свѣтѣ, представленіи ко двору, объ обѣдахъ, на которыхъ ей приходилось принимать посланниковъ, она почти не говорила отцу, не хвасталась ими.

Въ одинъ годъ она пріѣхала навѣстить Любахувку грустная и блѣдная. Она говорила, что нуждается въ отдыхѣ, но плакала по угламъ. Можно было догадываться, что какая-то домашняя трагедія порвала нить до сихъ поръ довольно сносной супружеской жизни; но Марынка не сознавалась ни въ чемъ.

Отецъ сердцемъ своимъ понялъ ея горе, но она не хотѣла ему открываться.

У Треубернеровъ было два сына, уже подростки, которыхъ дѣдъ тщетно пытался увидѣть. Одного мать привозила разъ и то не надолго, а другого подъ разными предлогами — то ученья, то нездоровья — отецъ вовсе не пускалъ въ Любахувку. Старшій мальчикъ, очень красивый, ни слова не зналъ по-польски, и что еще хуже—въ школѣ ему привили презрѣніе къ націи матери, такъ что герръ Юліанъ, краснѣя, отрекался отъ всякой связи съ Польшей. Въ Марынкѣ только тогда проснулась любовь къ отцу, къ дому, къ родинѣ, когда ее поразило какое-то таинственное несчастье, о которомъ она не упоминала, но которое ее страшно убивало.

Любаховскій съ того времени, какъ съ такой энергіей и мужествомъ принялся за хозяйство на своемъ клочкѣ земли, сильно постарѣлъ; но постоянное занятіе, дѣятельность, скромный и простой образъ жизни — поддерживали его крѣпость и бодрость духа.

Мало-по-малу у него завязались съ сосѣдями и даже дальними помѣщиками дружескія отношенія, хотя панъ Григорій не добивался этого, не напрашивался, не искалъ доступа въ аристократическіе дома.

Познанскіе знакомые князей Л., которые помнили о своемъ прежнемъ управляющемъ, первые протянули ему руку. Любаховскій охотно бывалъ у нихъ, такъ какъ не имѣлъ демократическихъ предубѣжденій, а въ хорошемъ обществѣ ему пріятно было бывать.

Дыдась и онъ пріобрѣли въ княжествѣ популярность своимъ умѣньемъ хозяйничать; о выдачѣ дочери замужъ за нѣмца мало кто и зналъ.

Въ общемъ дѣлѣ, въ интересахъ націи, старикъ принималъ самое дѣятельное участіе, хотя нѣкоторые смотрѣли на него съ недовѣріемъ.

Причиной тому были доктрины, которыя онъ провозглашалъ не стѣсняясь, непріятныя, и подозрительныя для тѣхъ, которые въ своемъ ослѣпленіи боялись и тѣни либерализма, видя въ немъ опасность для вѣры.

Григорій былъ очень набожный, но набожность его не нравилась вождямъ недавно сформировавшейся партіи въ средѣ народа. Онъ признавалъ вѣротерпимость и требовалъ для всѣхъ свободы убѣжденій; сознавалъ, что просвѣщеніе необходимо для народа; не придавалъ особеннаго значенія формѣ и, наконецъ, довольно смѣло утверждалъ, что въ католической церкви довольно многое слѣдуетъ подвергнуть реформѣ.

Но Любаховскій не ораторствовалъ объ этихъ вещахъ, не спорилъ, не наставлялъ никого и по дѣламъ своимъ былъ примѣрнымъ сыномъ церкви. Безбожіе и невѣріе возмущали его.

Хотя онъ ходилъ въ костелъ, постился, исповѣдывался, исполнялъ всѣ предписанія, однако всѣ считали старика радикаломъ и революціонеромъ. Его сторонились.

Вожди новаго лагеря ставили ему въ упрекъ то, что онъ

въ каждой вещи докапывался до самой сути, допытывался смысла и значенія, а не повиновался слѣпо ихъ приказаніямъ.

На всѣ подписки, на всѣ общественныя нужды Григорій сыпалъ щедрой рукой; когда шли выборы, онъ не пропускалъ ни одного дня, водилъ своихъ людей и чужихъ, и почти насильно заставлялъ ихъ исполнять свой гражданскій долгъ. Однако, пользуясь всѣми его услугами, ему все-таки не довѣряли ничего. Но онъ и не обижался на это. — «Я человѣкъ простой,—откровенно говорилъ онъ,—тѣ, которые стоятъ тамъ на верху, лучше моего все это понимаютъ».

Правда, что онъ дѣйствительно многія вещи понималъ совершенно иначе, чѣмъ представители интересовъ націи.

Первые симптомы борьбы двухъ національностей и преслѣдованія католической церкви сильно встревожили, но онъ все улыбался и продолжалъ утверждать, что войны не будетъ.

Среди этой мирной тишины и спокойствія, въ одинъ прекрасный вечеръ Дыдась, вернувшись изъ мѣстечка, объявилъ, что къ нимъ собирается панъ Фелисъ Х. (извѣстный публицистъ, бывшій депутатъ прусскаго сейма, который основывалъ теперь новую газету). Панъ Григорій хорошо зналъ веселаго, разговорчиваго, пріятнаго собесѣдника, очень дѣятельнаго папа Феликса и видѣлъ въ немъ пріѣзжаго гостя, но каждый разъ, какъ онъ пускался съ нимъ въ болѣе продолжительный разговоръ и дѣло доходило до точнаго опредѣленія настоящаго положенія и его задачъ, они не могли сойтись.

Скрытный панъ Григорій говорилъ:

— Прежде всего, мосци добродзѣй *), я старъ и поневолѣ уже заржавѣлъ; во-вторыхъ, они лучше меня знаютъ положеніе; да я и не лѣзу въ вожаки.

Панъ Феликсъ, сынъ нѣкогда богатыхъ родителей, которые потеряли свое состояніе тѣмъ непонятнымъ образомъ, какимъ растаяло большинство польскихъ богатствъ, въ гимназіи учился отлично, въ университетѣ — блестяще, и неизвѣстно почему изъ докторанта не сдѣлался докторомъ.

Тогда еще онъ держался либеральныхъ взглядовъ и уча-

*) Сударь, милостивый государь.

ствовалъ въ редакціи одной изъ газетъ этого направленія, издававшейся въ Познани.

Вдругъ, послѣ самыхъ разнообразныхъ приключеній, не всегда для него счастливыхъ, панъ Феликсъ, женившись на молодой, убогой нѣмкѣ, разстался съ корифеями своей партіи, сталъ каждый день посѣщать костелъ, накинулъ на себя плащъ яраго католицизма и окончательно отрекся отъ либерализма. Тогда онъ первый началъ доказывать необходимость основать политическій органъ, чисто католическій и составить свою партію.

Называли уже нѣсколько вліятельныхъ и богатыхъ пановъ, которые обѣщали ему свою помощь. Старый панъ Григорій слышалъ объ этомъ что-то мелькомъ, но это мало его интересовало.

Когда Дыдась объявилъ, что панъ Феликсъ обѣщалъ быть вечеромъ, онъ улыбнулся и, снимая ключъ съ гвоздя, на которомъ онъ всегда висѣлъ у него надъ кроватью, сказалъ:

— Принеси-ка, пожалуйста, бутылку стараго венгерскаго да бутылку французскаго, потому что панъ Феликсъ любитъ выпить.

Дѣйствительно, дѣятельный и подвижный публицистъ ѣлъ и пилъ превосходно...

Не успѣло еще стемнѣть, какъ къ крыльцу подъѣхалъ экипажъ, и маленькій, пухлый, румяный, съ веселыми, быстрыми глазами, съ откормленнымъ брюшкомъ, мужчина шумно влетѣлъ въ комнату, привѣтствуя хозяина.

— Панъ добродзѣй! дорогой! нашъ конфедератъ!—такъ его называли иногда въ шутку — здоровье, какъ вижу, въ цвѣтущемъ состояніи, вы выглядите прекрасно. Никто изъ насъ, если доживетъ до вашихъ лѣтъ, не будетъ имѣть такого румянца. Что, какъ хозяйство?

— Кое-какъ!

— Это еще отлично! — отвѣчалъ Феликсъ,— у насъ всѣ разорились, вы одинъ еще держитесь.

Любаховскій улыбался. Начавшійся разговоръ не прерывался уже ни на минуту. Феликсъ только и говорилъ объ общихъ дѣлахъ и весь былъ ими проникнутъ. Пану Григорію пріятно было узнать,—въ какомъ положеніи были дѣла страны.

— Вы видите сами, да и читатели навѣрное,— говорилъ Феликсъ,—что дѣлается все, что только возможно. Мы мужественно стоимъ въ ущельѣ и защищаемся; депутаты наши произносятъ блестящія рѣчи, мы протестуемъ противъ цѣлой Европы. Слабые, не имѣя никого на своей сторонѣ, такъ какъ даже нѣмецкіе католики не соединяются съ нами, — мы все-таки боремся и, по крайней мѣрѣ, имѣемъ ту выгоду, что насъ уважаютъ.

Старикъ нѣкоторое время молчалъ.

— Вы припоминаете, панъ Феликсъ, нашъ послѣдній разговоръ съ вами у Курнатовскаго?

Публицистъ началъ смѣяться.

— Что же, вы думаете, что я былъ до такой степени ошеломленъ, что даже и память потерялъ?

— Сохрани Богъ,—сказалъ панъ Григорій,—но мое мнѣніе не имѣетъ значенія, такъ что вы могли забыть его. Я говорилъ вамъ тогда, что, чувствуя самое глубокое уваженіе къ благороднымъ, краснорѣчивымъ посламъ нашимъ, воздавая должное ихъ мужеству и твердости... я что-то никакъ не могу понять, къ чему поведетъ все то, что вы дѣлаете въ защиту народа...

— Какъ!—вскричалъ панъ Феликсъ,—вы не видите...

— Напротивъ, вижу, — отвѣчалъ Любаховскій, — вижу, что мы, по традиціи, изрекаемъ veto. Мы устраиваемъ манифестацію, протестуемъ, печатаемъ все это въ газетахъ, разсылаемъ по другимъ государствамъ, чтобы все это было записано въ дѣлахъ Европы, но... скажите мнѣ, къ чему все это?..

— И что-же?—съ негодованіемъ перебилъ Феликсъ,—что же вы прикажете дѣлать, если у насъ связаны руки?.

— Не знаю, что-бы слѣдовало дѣлать,—медленно произнесъ старикъ,— но знаю, что то, что мы дѣлаемъ, не приноситъ никакой пользы.

— Я не зналъ, что и вы пессимистъ,— смущенно заговорилъ Феликсъ.—Что-же дѣлать нашимъ депутатамъ въ парламентѣ, какъ не защищать свое дѣло?

— Да, я хочу учиться у васъ!—прервалъ старикъ.— Столько лѣтъ мы стоимъ въ этомъ ущельѣ и я не вижу, чтобы мы

добились чего-нибудь; напротивъ, права народа все болѣе и болѣе ограничиваются.

— Ну, я вамъ скажу,—быстро вскакивая съ кресла и подходя къ Любаховскому, вскричалъ Феликсъ,—мы мало сдѣлали потому, что у насъ нѣтъ надлежащей прессы. Намъ необходимо немедленно же позаботиться о большой политической газетѣ, которая была бы строго католическая.

— А развѣ наши не такія?—спросилъ панъ Григорій.

— На каждомъ шагу отъ нихъ вѣетъ либерализмомъ, отъ котораго они не могутъ очиститься,— отвѣчалъ Феликсъ. — Я скажу вамъ откровенно... Кучка людей желаетъ этого органа, о которомъ я вамъ говорилъ; насъ тѣсный кружокъ, акціонеры прибываютъ. Вотъ ихъ списокъ; я пріѣхалъ къ вамъ съ тѣмъ, чтобы пригласить васъ присоединиться къ намъ.

Панъ Григорій отвѣсилъ вѣжливый поклонъ, но не отвѣтилъ прямо на вопросъ.

— Вотъ видите ли, эти наши газеты... не знаю, можетъ быть, я слишкомъ старъ, чтобы понять... но мнѣ кажется, что газеты, едва ли исполняютъ свое назначеніе.

Панъ Феликсъ, который не ожидалъ со стороны стараго простяка, какъ онъ его называлъ, ни тѣни оппозиціи, и хотя любилъ его, но не считалъ достойнымъ вниманія соперникомъ, просто остолбенѣлъ.

— Что? что?—вскричалъ онъ, сильно смутившись. — Помилуйте! Въ чемъ же вы можете упрекнуть наши газеты?

Панъ Григорій погладилъ лысину; ему не особенно хотѣлось пускаться въ политику, а между тѣмъ, ужинъ былъ уже на столѣ.

— Пойдемъ ужинать,—сказалъ онъ,—потомъ поговоримъ объ этомъ.

— Ѣсть и даже пить—я ничего не имѣю противъ этого,— весело отвѣчалъ панъ Феликсъ,—но не будемъ прерывать нашего разговора. Что же вы ставите въ упрекъ нашимъ газетамъ?

— Прежде всего то, что онѣ очень часто, какое!—почти постоянно совершенно напрасно поддразниваютъ нашихъ враговъ, раздражаютъ ихъ, а во-вторыхъ,—я знаю, что вы низвергнете на меня громы и молніи, когда я это скажу, но...

Видимо смущенный, онъ, по своей привычкѣ, погладилъ себя по головѣ.

— Да что тамъ толковать!..

— Напротивъ, пожалуйста! заклинаю васъ, рѣжьте правду,— сказалъ Феликсъ, закусывая рюмку водки.

— Да вѣдь, —проговорилъ старикъ, еще колеблясь, —онѣ ни болѣе, ни менѣе, какъ продаютъ насъ, выдаютъ наше дѣло.

Панъ Феликсъ подпрыгнулъ.

— И вы можете ихъ упрекать въ этомъ!

— Бей, но выслушай, — медленно произнесъ панъ Григорій, подвязывая на шею салфетку. — Они не хотятъ этого дѣлать, быть можетъ, не сознаютъ, что дѣлаютъ, но послѣдствія... просто измѣна. Газеты открываютъ и указываютъ всѣ наши слабыя стороны, какъ бы уча, куда долженъ ударить непріятель, а чуть только намъ удастся добиться какого-нибудь пустяка, такъ начинаютъ хвастать самой незначительной побѣдой, что ее сейчасъ же у насъ и отнимаютъ. Они отлично умѣютъ писать, но молчать вовсе неумѣютъ, а, по-моему, смолчать, отвлечь взоръ непріятеля отъ того, что намъ грозитъ, не меньшее искусство, чѣмъ писательство. Наконецъ, къ чему ведетъ эта ненависть? Платя ненавистью сильному, только дразнятъ его, раздражаютъ, вызываютъ, часто принуждаютъ къ войнѣ.

— Ого, го!—прервалъ Феликсъ. —Много бы пришлось говорить о томъ, въ чемъ вы насъ упрекаете. Задача газеты: выводить все на чистую воду, предавать на общій судъ; уличать слѣдуетъ... А что касается раздраженія, то кто же задѣваетъ первый, кто вызываетъ? Не мы!

— Если бы даже это и такъ, — проговорилъ панъ Григорій, — развѣ молчаніе не бываетъ часто сильнѣе слова? Этого оружія мы даже и не попробовали ни разу употребить.

Гость находился въ положеніи человѣка, который стоялъ на посту, поджидая зайца, — и вдругъ встрѣтился съ медвѣдемъ.

Такихъ упрековъ онъ никогда не слышалъ и вовсе не былъ подготовленъ отражать ихъ. Онъ какъ-то горько вздохнулъ.

— Многоуважаемый панъ Григорій, — заговорилъ онъ,—вѣдь если бы органъ основался, вы тоже будете имъ руководить; мы

съ удовольствіемъ примемъ ваши совѣты и указанія и будемъ ими руководствоваться. Что же касается до образа дѣйствій и этого лишняго раздраженія,—хотя мы въ этомъ нисколько не виноваты,—можетъ быть, что-нибудь и нужно измѣнить... Я долженъ однако обратить вниманіе на то, что въ эту минуту, на этомъ единственномъ посту, на которомъ намъ, хотя и наказуемымъ постоянной тюрьмой и штрафами, можно еще кое-какъ шевелиться,—надо встать во всеоружіи, потому что все, что намъ грозило до сихъ поръ, пустяки въ сравненіи съ настоящимъ: намъ готовится жестокій ударъ... Для насъ большая честь, что они видятъ въ польской націи какого-то опаснаго врага; трудно отгадать, что дѣлаетъ насъ въ эту минуту такими сильными и страшными, но несомнѣнно, что они готовятъ намъ новое гоненіе, новое притѣсненіе.

Тутъ панъ Феликсъ перевелъ духъ и залпомъ выпилъ стоявшую передъ нимъ рюмку.

— А до васъ ничего не дошло изъ Берлина? — спросилъ онъ.

— До меня?—отвѣчалъ старикъ,—но я не имѣю никакихъ сношеній.

— Вы?—подхватилъ гость,— да вѣдь всему свѣту извѣстно, что ваша дочь вышла замужъ за одного изъ самыхъ дѣятельныхъ чиновниковъ, занимающаго видный постъ.

— Я почти не вижусь съ зятемъ,— смущенно замѣтилъ старикъ.

— А это-то именно и плохо! Вы бы могли съ помощью дочери оказать на него вліяніе.

Любаховскій повелъ плечами.

— Я оказалъ бы вліяніе на Треубернера?—тихо проговорилъ онъ.—Позвольте мнѣ даже не объяснять этого.

Панъ Феликсъ замѣтилъ, что задѣлъ больную струну, и замолчалъ.

— О какомъ же новомъ преслѣдованіи вы говорили? — спросилъ панъ Григорій. — Развѣ мало еще того, что мы испытывали и что испытываемъ теперь?.. Не понимаю...

— Кто же это понимаетъ? — разсмѣялся Феликсъ. — Не прибавилось намъ силъ,—увы, не можемъ этого сказать: хоть бы тѣ, что остались, были хорошо организованы. Мы сидимъ себѣ

спокойно, переносимъ все съ покорностью... и вдругъ находятъ насъ до такой степени опасными и страшными для государства, что готовятъ новые законы, которые однимъ прямо опредѣлятъ изгнаніе, а у другихъ отнимутъ всякую возможность оставаться здѣсь.

— Это просто выдумки, сказки,—спокойно отвѣчалъ панъ Григорій.—Этого быть не можетъ...

— Вотъ увидите,—прибавилъ гость.—При новыхъ угрозахъ и опасностяхъ нужны и новыя силы, поэтому газета...

— Газета пригодится развѣ только на то, если это случится, чтобы перечислить наши пораженія.

Проговоривъ это, онъ вздохнулъ и какъ бы забывая, съ кѣмъ онъ спорилъ, медленно началъ говорить.

— Ужъ если началось преслѣдованіе въ наше время, когда значеніе законовъ ослабло и большая часть ихъ сдѣлалась только орудіемъ въ рукахъ нашихъ враговъ... найдутся тысячи предлоговъ къ преслѣдованію. Въ средніе вѣка, когда хотѣли истребить евреевъ, чтобы разбогатѣть ихъ имуществомъ, выдумали, что имъ нужна для ихъ обрядовъ христіанская кровь. Во времена римлянъ, на христіанъ, чтобы погубить ихъ, врали, что они устраиваютъ развратныя оргіи и почитаютъ распятаго человѣка. Вездѣ и всегда происходитъ то же самое, когда страсти овладѣютъ людьми, а безсильный законъ не можетъ защитить слабыхъ. Такъ что же они еще выдумаютъ на насъ?

— Не знаю,—отвѣчалъ Феликсъ,—недавно еще повторяли finis Poloniae, доказывали, что поляковъ нѣтъ, что имъ ничего не принадлежитъ. Теперь вдругъ встаетъ ихъ тѣнь съ угрозами, съ оружіемъ, съ заговорами и становится опасной для самыхъ могущественныхъ государствъ. Это абсурды, противъ которыхъ надо дѣйствовать логикой и хладнокровіемъ. Никогда еще газета не была такъ нужна. На что же намъ и опираться, какъ не на костелъ, на силу католицизма, который долженъ будетъ придти къ намъ на помощь, если мы встанемъ подъ его знамена!..

Публицистъ говорилъ долго и краснорѣчиво. Въ словахъ у него недостатка не было; всѣ полемическія статьи, которыя онъ писалъ, приходили ему на помощь.

Любаховскій сидѣлъ съ поникшей головой, вздыхалъ и, казалось, былъ погруженъ въ свои мысли. Наконецъ, Феликсъ замѣтилъ, что онъ напрасно старался, и спросилъ прямо, желаетъ-ли Любаховскій присоединиться къ основателямъ газеты.

— Послушайте,—отвѣчалъ старикъ, послѣ нѣкотораго размышленія. — Если признана будетъ необходимость новаго органа—чего я пока еще не вижу—если вы потребуете, чтобы каждый принесъ свою лепту, то и я по мѣрѣ силъ своихъ, такъ какъ у меня ничего нѣтъ, кромѣ небольшой суммы денегъ, дамъ ихъ вамъ. Но ни силъ своихъ, ни денегъ, я не желалъ бы тратить, если нѣтъ на то крайней необходимости. Какъ же можно сдѣлать насъ теперь опасными для кого бы то ни было и еще желать, чтобы вѣрили столь очевидной клеветѣ?

— Политика государства требуетъ иногда подобныхъ предположеній и выдумокъ,—сказалъ панъ Феликсъ. — Могу васъ увѣрить, что то, что я говорю, не выдумка, но чистая правда. Вскорѣ мы услышимъ съ трибуны сигналъ къ битвѣ, и вы увидите, какъ жадно ухватится за него нѣмецкій патріотизмъ.

Оба встали; и то ужъ они слишкомъ долго засидѣлись за ужиномъ, за которымъ не было никого, кромѣ Дыдася, а тотъ не считался. Онъ былъ правой рукой старика и вѣрнымъ его слугой. Панъ Феликсъ, достаточно охмѣлѣвшій и насытившійся, вернувшись въ гостиную, началъ разсказывать разныя исторіи про столицу, описывая ея разростаніе, красоту и образъ жизни, какой вели различные классы общества.

— Всѣ большіе города, батюшка мой,—прервалъ его Любаховскій,— всѣ столицы порождаютъ эту испорченность нравовъ, которую вы приписываете, повидимому, одному Берлину. Тутъ не хуже, не лучше, чѣмъ въ Парижѣ и Лондонѣ.

— Извините,— раздраженно прервалъ Феликсъ,— въ высшихъ классахъ нигдѣ нѣтъ такой испорченности, какъ здѣсь, потому что въ другихъ странахъ эти высшіе классы выработались вѣками, представляютъ изъ себя аристократію въ строгомъ смыслѣ этого слова, со своими традиціями, умѣющую и сами уважать себя, и заставить другихъ уважать; а здѣсь эти

высшіе классы образуетъ военщина и придаетъ всему свою окраску. Я только не хочу наводить на васъ скуку и мучить васъ своими разсказами, а то не одинъ изъ нихъ возбудилъ бы въ васъ удивленіе и ужасъ.

Старикъ молчалъ; невольно ему пришла на мысль Марынка, ея грусть, что-то горькое въ ея жизни, въ чемъ она не хотѣла признаться... О Треубернерѣ онъ ничего не зналъ. Марынка уже не хвалилась его привязанностью; воспитаніе дѣтей доказывало, какъ деспотично онъ распоряжался дома...

Какъ ни настаивалъ Феликсъ, чтобы почтенный, дорогой, извѣстный своими благодѣяніями Любаховскій, записался въ число акціонеровъ, старикъ обѣщалъ свое участіе только условно.

— Все это мечты,— сказалъ онъ наконецъ. — Простите меня за то, что я скажу вамъ, панъ Феликсъ, а съ вами вмѣстѣ и всѣмъ другимъ. Вы всѣ маленькіе люди, и вамъ кажется, что если вы начнете громко и вызвышенно разсуждать о политикѣ, то сами превратитесь въ великановъ... Ничего новаго вы еще не придумали, а между тѣмъ, наше положеніе такъ необычайно, такъ ново, что и въ исторіи нѣтъ подобныхъ примѣровъ. Намъ не слова нужны, не рѣчи, не газетныя статьи, а дѣйствія.

— Это все общія фразы,—сказалъ оскорбленный Феликсъ.— Программа должна быть строго предначертана.

Панъ Григорій зашевелился.

— Я вамъ скажу ее въ двухъ словахъ,—вскричалъ онъ.— Пусть каждый дѣлаетъ то, что у него подъ носомъ, пусть старается быть честнымъ и работящимъ и этимъ больше всего принесетъ пользы отечеству.

Наконецъ, панъ Феликсъ уѣхалъ, и послѣ его отъѣзда, панъ Григорій долго еще не могъ успокоиться, въ полномъ убѣжденіи, что его нарочно запугивали, чтобы вызвать на жертву. Дыдась, бойкій малый, въ которомъ раны отъ пуль и мечей не охладили сердца, оставшись за обѣдомъ наединѣ со старичкомъ, когда тотъ началъ нападать на публицистовъ вообще, а въ особенности на пана Феликса, кротко и покорно возразилъ:

— Быть можетъ, панъ Феликсъ и преувеличиваетъ, но

въ этомъ, должно быть, есть часть правды, потому что и мнѣ ужъ говорили въ Познани, что готовится что-то.

— Да что тамъ, чортъ возьми, можетъ готовиться? Развѣ избіеніе младенцевъ, что-ли?! — вышелъ изъ себя старикъ. — Всѣ средства противъ насъ уже исчерпаны; уничтожены законы, изданы новые, исключительные... мы отверженные.

— Ужъ я тамъ не знаю, дорогой панъ, что это можетъ быть такое,—отвѣчалъ Дыданъ,—но, право, что-то затѣвается. Люди чувствуютъ это въ воздухѣ.

Григорій пожалъ плечами.

— Поѣзжай же завтра въ Познань,—сказалъ онъ,—и послушай. Я не люблю быть подъ обухомъ какой-то неизвѣстной опасности.

Дыдась, который еще со времени солдатской службы имѣлъ въ Познани друзей и хорошихъ знакомыхъ и радъ былъ иной разъ отдохнуть и повидаться съ ними, охотно воспользовался позволеніемъ и поѣхалъ.

Его не было три дня, и старикъ уже начиналъ обвинять его въ легкомыслiи и склонности къ бездѣлью, когда Дыданъ, наконецъ, явился съ мрачной физіономіей.

Григорій не давалъ ему передышки, закидывая вопросами:

— Что же тамъ говорятъ? Что слышно?

— Точь въ точь то, что разсказывалъ здѣсь панъ Феликсъ,—отвѣчалъ Дыдась,—но я пробрался къ своему полковнику, въ редакцію.

Тутъ Дыданъ понизилъ голосъ, точно боясь, что его подслушаютъ.

— Противъ насъ готовится новый законъ, это правда, —прибавилъ онъ, — хотятъ очистить княжество Познанское и Западную Пруссію отъ поляковъ и населить нѣмцами.

Григорій даже подпрыгнулъ.

— Ерунда! — вскричалъ онъ. — Въ девятнадцатомъ вѣкѣ такіе опыты не удаются.

Дыданъ продолжалъ, не обращая вниманія на его слова:

— Не знаю, чѣмъ мы провинились, но противъ насъ страшно возстановлены; насъ боятся, какъ будто у насъ двѣ-

сти тысячъ войска. Что-бы ни случилось дурного, приписываютъ полякамъ: они составляютъ заговоры, поселяютъ рознь въ государствахъ, подрываютъ власти. Точь-въ-точь, какъ это было, говорятъ, когда-то съ евреями.

— Должно же было что-нибудь случиться, что дало поводъ? — прервалъ панъ Григорій. — Не слышалъ ли ты о какомъ нибудь новомъ заговорѣ? Не называли ли чьей нибудь фамиліи?

— Нѣтъ,— разсмѣялся Дыданъ,— но довольно того, что поляки ихъ не любятъ и, вслѣдствіе этого, подозрительны; ну, и давай всяко тѣснить насъ, рады бы однимъ взмахомъ метлы перекинуть насъ въ Америку.

— Ерунда! — повторилъ панъ Григорій. —Если ты только это и привезъ изъ Познани, такъ не зачѣмъ было и ѣздить.

Цѣлый вечеръ, промучивъ такимъ образомъ и себя и Дыдана, старикъ плюнулъ, перекрестился и сказалъ:

— Довольно! Ни слова объ этомъ, за работу! Не стоитъ набивать себѣ голову такой ерундой.

Почти вся дворня Любаховскаго состояла изъ людей, которыхъ онъ привезъ съ собой изъ Царства Польскаго, питая къ нимъ слабость вообще и предпочитая ихъ здѣшнимъ полякамъ.

Ключницей была 60-тилѣтняя панна Жабская, смолоду привезенная изъ Литвы, пользующаяся репутаціей отличной хозяйки, въ особенности по части ветчины, но неслыханно скупая для самой себя. Главнымъ ея качествомъ, основной чертой характера была до крайней степени развитая набожность. Неутомимая, дѣятельная, она имѣла на своихъ рукахъ все женское хозяйство и огороды.

Дыданъ, котораго она съ материнской заботливостью старалась удержать на религіозномъ пути, замѣнялъ экономa, управляющаго и писаря.

Наконецъ конторщикомъ, обязанности котораго не были строго ограничены, былъ Бартекъ Ходзибуй, сирота, сынъ крестьянина изъ имѣнія князя, воспитанникъ пана Григорія. Бартекъ всѣмъ былъ ему обязанъ, зато готовъ былъ и самъ отдать за него жизнь.

Ходзибуй, пріѣхавъ сюда еще холостымъ, женился на бѣдной крестьянской дѣвушкѣ, воспитанной при помѣщичьемъ дворѣ, красавицѣ, умной и развитой не по возрасту и не по положенію.

Панъ Григорій сначала не позволялъ своему воспитаннику жениться, но увидѣвъ дѣвушку и убѣдившись, что другой такой Ходзибую на всемъ свѣтѣ не найти, благословилъ молодую чету. Кристя сумѣла заслужить себѣ расположеніе и стараго пана, и панны Жабской, и всей дворни. Въ своемъ родѣ, она была очень оригинальное существо. Она исполняла свои обязанности хозяйки, требующія ручного труда, часто самаго грубаго, съ увлеченіемъ и жаромъ, и помимо этого очень интересовалась ученьемъ и книжками и всѣмъ, что дѣлалось на свѣтѣ, такъ что трудно было оторвать ее отъ чтенія.

Надъ ней смѣялись за это, но и она смѣялась и не думала исправляться. Трудно сказать, что могло сдѣлать съ этимъ свѣжимъ и молодымъ умомъ ученье, жадно хватаемое безъ всякаго порядка и системы. Жажда знанія не давала ей ничего довести до конца, такъ что въ головѣ у нея было всего понемногу, и только благодаря своему особому чутью она умѣла узнавать правду. Когда надъ ней смѣялись, она отвѣчала:

— Да вы спросите-ка у мужа, развѣ я не сама рублю зелень, не полю огорода, не хожу за коровами, не мѣшу хлѣбъ?—а если когда что нибудь и почитаю, чтобы накормить душу... кому это мѣшаетъ?

На самомъ дѣлѣ, только одному мужу было непріятно, что у нея былъ гораздо большій, чѣмъ у него, запасъ разныхъ не очень-то имъ обоимъ полезныхъ свѣдѣній. Только Жабская боялась, какъ бы это любопытство, которое, какъ извѣстно, есть первая ступенька въ адъ, не вскружило голову Кристи, но Кристя была набожна какъ истинное дитя природы. Она любила Бога всей душой.

Эта маленькая кучка людей, окружавшихъ пана Григорія, жила въ мирѣ и согласіи и представляла какъ бы одну семью... Никогда ни малѣйшій споръ не нарушилъ здѣсь покоя. Всѣ наперебой служили старому пану, который за то и любилъ ихъ какъ своихъ дѣтей.

Жабская, няньчившая когда-то Марынку, сильно была къ ней привязана и когда нѣмецъ увезъ ее, она не могла утѣшиться и, несмотря на всю свою набожность, возненавидѣла нѣмцевъ. Ксендзъ пробощъ Кростекъ, въ приходѣ котораго находилась Любахувка, часто бывая у пана Григорія, съ которымъ они играли въ марьяжъ, на молитвѣ угрожалъ ей за эту ненависть къ нѣмцамъ строгимъ наказаніемъ на томъ свѣтѣ, но и эта угроза не помогла.

— Пускай меня Господь Богъ судитъ,—отвѣчала она,—но развѣ я могу простить его?!

Одна Жабская получала иногда извѣстія отъ своей барышни, какъ она продолжала ее называть. Но не всегда она дѣлилась этими новостями даже и съ отцомъ.

Въ послѣдній пріѣздъ Марынки онѣ долгіе часы проводили вмѣстѣ и расходились съ заплаканными глазами; напрасно панъ Григорій пытался угадать, что ихъ такъ огорчаетъ. Никто въ домѣ не имѣлъ секретовъ, и когда панъ Феликсъ напугалъ хозяина, а тотъ послалъ Дыдана на развѣдки, панна Жабская знала объ этомъ. Дыданъ былъ пораженъ, что отъѣздъ его нисколько ее не удивилъ, и что она не противилась этому. Казалось, она была предупреждена обо всемъ.

— Тебѣ удивительно, что нѣмецъ выдумалъ противъ насъ новое преслѣдованіе,—сказала она,—а между тѣмъ такова ужъ ихъ натура—мучить другихъ, выгонять и захватывать себѣ мѣсто, которое Богъ далъ для всѣхъ. Въ мирѣ никто съ ними жить не можетъ, хоть-бы и хотѣлъ...

И, ворча такимъ образомъ, она пошла хлопотать по хозяйству. По возвращеніи, она разспросила Дыдана, покачала головой и заключила:

— Готовьтесь заранѣе, ужъ что заварятъ они кашу—такъ это вѣрно.

Въ одинъ прекрасный день, когда менѣе всего можно было ожидать посѣщенія пани Треубернеръ, которая лѣтомъ обыкновенно не пріѣзжала къ отцу, она вдругъ явилась.

Пана Григорія не было дома, такъ какъ онъ пошелъ по хозяйству. Ее встрѣтила Жабская и ужаснулась, увидѣвъ свою барышню: такъ она измѣнилась, похудѣла и поблѣднѣла.

Она расплакалась, обнимая Жабскую, и ее на крыльцѣ

пришлось приводить въ чувство. Однако, она успѣла уже оправиться, когда пришелъ отецъ, за которымъ сейчасъ же послали.

Но и съ нимъ встрѣча была слезная. Неожиданный пріѣздъ дочери и притомъ въ такое время, когда ей менѣе всего можно было покинуть домъ, если и не испугалъ пана Григорія, то во всякомъ случаѣ удивилъ его и обезпокоилъ.

Большой промежутокъ времени отдѣлялъ эту минуту отъ того времени, когда она оставляла отца и этотъ бѣдный домъ.

Марынка была теперь солидная женщина, отъ молодости которой остались только слѣды. Взглянувъ на нее, на ея костюмъ, на ея лицо, на грустное выраженіе всей фигуры, трудно было отгадать, что между этимъ старцемъ съ загорѣлымъ, морщинистымъ лицомъ и ею существовало какое-бы то ни было родство. Кто-же могъ-бы узнать отца этой дамы, принадлежащей, повидимому, къ самому аристократическому кругу, въ простомъ человѣкѣ, который болѣе походилъ на ея слугу.

Пани Треубернеръ въ томъ обществѣ, къ которому должна была примѣниться, набралась вкуса изящества и роскоши. Каждое ея движеніе, шагъ, взглядъ отличались желаньемъ показаться съ надлежащимъ достоинствомъ, но, вмѣстѣ въ тѣмъ, сгладили въ ней все польское, искреннее, открытое. Это была женщина, поддерживающая высокое положеніе своего мужа, принужденная играть какую-то роль и уже привыкшая къ ней.

На лицѣ, которому чужда была свободная улыбка, отражались тоска и неподдѣльная грусть. Никогда еще отецъ не видѣлъ ее до такой степени раздраженной и взволнованной. Прежде она принуждала себя казаться счастливой и довольной и скрывать грусть; теперь она точно сбросила съ себя маску и встала передъ нимъ чуть не мученицей и только старалась заглушить въ себѣ крикъ горя и слезы.

Старый Любаховскій, который надѣялся увидѣть съ ней хотя-бы онѣмечившихся внуковъ, тяжело вздохнулъ, видя, что, она ни одного не привезла.

Онъ спросилъ ее про мужа; она долго заставила ожидать отвѣта.

— У него никогда нѣтъ ни одной минуты для себя, — со

вздохомъ сказала она,—ни для дѣтей, ни для меня... что и говорить о дорогѣ?..

И, не докончивъ, она обернулась къ дому, куда они и вошли.

Тутъ ничто не измѣнилось съ первыхъ лѣтъ, ничто даже не было тронуто съ мѣста. Она остановилась въ нѣмомъ изумленіи, и слезы покатились изъ ея глазъ.

Задвинутый въ уголъ, давно уже неоткрывавшійся, стоялъ вѣнскій рояль, который отецъ пожелалъ себѣ сохранить. Столько воспоминаній соединялось съ нимъ, что бѣдная женщина разразилась рыданіями. Ея свободные молодые годы встали передъ ней.

Строгій отецъ не далъ ей долго плакать.

— Дитя мое... присядь, ты нуждаешься въ отдыхѣ...

— Увы,—прошептала она, какъ бы невольно,—не ради отдыха пріѣхала я къ тебѣ... Мнѣ необходимо излить передъ тобой свою душу... дальше я не могу скрывать этого отъ тебя... Отецъ, дорогой мой отецъ!.. Я ужасно несчастна!..

Отецъ, хотя сердце его давно предчувствовало то, въ чемъ она собиралась ему признаться, всплеснулъ руками, какъ громомъ пораженный ея словами. Онъ зналъ, что она несчастна, но не предполагалъ ея горя настолько сильнымъ, чтобы вырвать изъ груди этотъ крикъ страданія.

— Марынка моя!..

— Я уже не твоя...—съ жаромъ подхватила она, вся я... тамъ, невольница, плѣнница... дѣти мои заложники. Дѣти... дѣти мои, въ которыхъ я не узнаю своей крови!

Плачъ прервалъ ее, но она быстро отерла слезы. Блѣдное лицо запылало отъ внутренняго огня.

— Пока я одна страдала... пока жалоба моя была пустымъ нытьемъ слабаго духа... зачѣмъ мнѣ было отравлять тебѣ этимъ жизнь?.. но теперь...

Любаховскій со страха шепталъ какую-то молитву. Она бросила взглядъ на бѣднаго старика, сжалилась надъ нимъ и начала его обнимать, стараясь казаться мужественной.

— Садись, дорогой отецъ..,—сказала она,—надо посовѣтоваться, надо стряхнуть съ себя это ничтожное послушаніе, которое теперь было-бы уже забвеніемъ своихъ обязанностей,

какія у меня есть по отношенію къ тебѣ, къ дѣтямъ и наконецъ къ самой себѣ... Помнишь,—начала она, принуждая себя къ спокойному объясненію,—когда я выходила замужъ за Роберта, —я шла за него съ вѣрой въ его сердце, въ благородство характера, въ его привязанность ко мнѣ... Не могу сказать, чтобы я обманулась, но я не знала свѣта и его положенія. Робертъ былъ чиновникъ, слуга... гѣхъ, ненависть которыхъ къ намъ мы давно знаемъ, и съ которыми ты всегда уговаривалъ жить въ мирѣ, любить ихъ. Выслушай, сегодня я могу признаться тебѣ во всемъ... Меня увезли отъ тебя; я поѣхала безъ страха, полная вѣры въ своего Роберта, не зная еще, что любовь ко мнѣ могла быть въ немъ только чувствомъ, несвязаннымъ съ другими, какъ-бы развлеченіемъ, игрушкой въ свободныя отъ серьезныхъ занятій минуты... Я знала, что отецъ его, мать, родня, всѣ сильно противились его женитьбѣ потому только, что я была полька. Уже въ дорогѣ Робертъ заклиналъ меня, чтобы я какъ можно меньше вспоминала объ этомъ и вообще обо всемъ польскомъ и старалась примѣняться къ ихъ нѣмецкимъ обычаямъ. Онъ даже добился отъ меня того, что дальнимъ родственникамъ, отъ которыхъ было скрыто мое происхожденіе, я буду говорить, что принадлежу къ семьѣ, живущей въ нѣмецкихъ прибалтійскихъ провинціяхъ. Мнѣ это было непріятно, но, Боже!— чего я не сдѣлала-бы ради того, кто принесъ мнѣ въ жертву согласіе и дружбу съ отцемъ, упросилъ мать, упорствовалъ на своемъ и наконецъ съ такимъ трудомъ добился ихъ согласія? Пріѣздъ въ домъ родителей былъ для меня страшной минутой, но тогда я имѣла еще въ себѣ всѣ силы молодости и любви къ Роберту... Отецъ принялъ меня сухо и холодно, какъ человѣкъ, принужденный покориться непріятной необходимости; мать встрѣтила гордо и почти грозно. Едва мы успѣли сказать нѣсколько словъ, какъ нетерпѣливая старуха, явившаяся на этотъ пріемъ во всей роскоши и богатствѣ наряда— въ атласѣ, кружевахъ и драгоцѣнностяхъ,—повела меня къ себѣ въ кабинетъ...

Только что мы сѣли, она начала:

— Примите, пожалуйста, мою откровенность за доказательство моего расположенія; я желаю, чтобы мы обѣ не обма-

нывались; сейчасъ я скажу вамъ, чего я имѣю право отъ васъ требовать... Я противилась женитьбѣ Роберта, потому что не вѣрю, чтобы такіе смѣшанные браки могли приносить счастье, но я люблю Роберта и не въ силахъ была воспротивиться рѣшительно. Вы должны быть счастливы и гордиться принятіемъ васъ въ нѣмецкій домъ, оторвать сердце отъ всего польскаго и стараться сдѣлаться нашей дочерью—нѣмкой... Мы тутъ не знаемъ и знать не хотимъ Польши... и вовсе не желаемъ видѣть въ васъ польку... Внуковъ своихъ, если Богъ ихъ дастъ, я не позволю воспитывать иначе, какъ по-нѣмецки; ни одинъ изъ нихъ не долженъ знать ни одного слова на вашемъ противномъ языкѣ. Вы меня понимаете?..

Она замолчала, съ минуту ожидая отвѣта, что мнѣ очень трудно было сдѣлать.

— Вы—католичка,—продолжала она,—и не хотѣли перемѣнить религіи для Роберта. Я не хочу вмѣшиваться въ это, но внуки мои будутъ исповѣдывать ту-же вѣру, что и я. Я не желаю также, чтобы домъ нашъ превратился въ убѣжище для вашихъ земляковъ, которыхъ мы знать не хотимъ... Пожалуйста, чтобы ничто въ домѣ не напоминало о вашемъ происхожденіи.

Такъ говорила она, а я, начавъ слезами, которыя не произвели на нее никакого впечатлѣнія, перешла къ негодованію, собиралась протестовать... Старуха, должно быть, угадала это по моему лицу и, не давая мнѣ заговорить, заключила такъ:

— Я желала только высказать вамъ это; не въ моемъ духѣ спорить, доказывать, убѣждать—я объявляю свою волю и надѣюсь, что вы постараетесь къ ней примѣниться. Обдумайте послѣдствія оппозиціи. Скандаловъ я не терплю. Робертъ ручался мнѣ въ вашемъ послушаніи... и я вѣрю.

Она видѣла, что я собиралась возражать ей, и постаралась избѣжать этого. Она даже не обняла меня, не смягчила ничѣмъ данныхъ приказаній и принудила меня вернуться въ другія комнаты, гдѣ уже собралась вся ближняя и дальняя родня... Меня окружили, осматривали, разспрашивали; но все это дѣлалось съ очевиднымъ нерасположеніемъ, и никто не усладилъ мнѣ этихъ тяжелыхъ первыхъ минутъ.

Къ великому своему огорченію, я замѣтила перемѣну даже въ Робертѣ, который, поручивъ меня кузинѣ Бертѣ, пожилой дѣвушкѣ, самъ употреблялъ всѣ усилія, чтобы занять своихъ гостей. Кузина Берта для моего развлеченія не нашла ничего лучшаго, какъ книжки съ картинками, составленный ею самой гербаріумъ и, наконецъ, поименное перечисленіе фамилій мнѣ незнакомой родни. Кузина Берта точно знала, у кого изъ родныхъ сколько было дохода, какимъ кто обладалъ капиталомъ, сколько имѣлъ долговъ, сколько у каждой изъ барышень было приданаго и т. п. Эта финансовая сторона составляла главную тему ея разговора. Я говорила мало, больше все отмалчивалась, но меня и разспрашивали осторожно, повидимому, боясь, какъ-бы я не проболтала чего-нибудь лишняго. Я только тогда перевела духъ и могла отдохнуть послѣ этого поздно затянувшагося вечера, закончившагося шампанскимъ и пуншемъ, когда мы съ Робертомъ сѣли въ экипажъ и поѣхали на нашу новую квартиру. Я хотѣла пожаловаться ему, искать у него утѣшенія; но онъ заклиналъ меня не отравлять нашего обоюднаго счастья, доказывая, что все это вещи постороннія, процессъ обыденной жизни—какъ онъ выражался—съ которымъ приходилось мириться. Онъ замыкалъ мнѣ уста, когда я хотѣла жаловаться, и—странно—когда я говорила о самыхъ важныхъ цѣляхъ жизни, онъ перебивалъ меня разсказами о театрѣ, картинныхъ галлереяхъ и прочихъ удовольствіяхъ столицы. Однако, я принудила его хотя къ короткому разговору о томъ, что особенно тяготило меня.

— Дорогой Робертъ,—сказала я,—ты обѣщалъ, что не будешь стѣснять меня ни въ дѣлахъ вѣры, ни въ моемъ чувствѣ привязанности и любви къ отцу, родинѣ и своему народу. Мать твоя не желаетъ видѣть во мнѣ польку... но если бы я даже и желала принести тебѣ эту страшную жертву—отречься ради тебя отъ родины,—и то не могла-бы!

— Но, дорогая моя Марынка,—прервалъ онъ,—я отнюдь не запрещаю тебѣ быть полькой и католичкой... не требуй-же и ты отъ меня, чтобы я сталъ полякомъ. Ты видишь, какое патріотическое настроеніе господствуетъ у насъ въ домѣ, какъ всѣ предубѣждены противъ твоихъ соотечественниковъ; не слѣдуетъ раздражать ихъ, намъ надо избѣгать всякаго намека.

Со временемъ, эта острая ненависть сгладится... найдется средство къ примиренію, надо только имѣть терпѣніе...

Таково было начало моей новой жизни, начало, которое ясно говорило, что меня ожидаетъ въ будущемъ. Робертъ— какъ я позже убѣдилась въ этомъ—искалъ во мнѣ жену, которая умѣла-бы развлечь его, заставила забыться. Видя, какъ онъ отягченъ работой, любя его, я по мѣрѣ силъ жертвовала собой... и была такъ счастлива, когда видѣла его веселымъ. Онъ былъ буквально заваленъ работой въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ; вслѣдствіе его отличнаго знанія языковъ, политическихъ отношеній съ иностраными государствами, его брали и въ министерство иностранныхъ дѣлъ, часто посылали по какимъ-то таинственнымъ дѣламъ... Я даже почти никогда не могла узнать, когда онъ уѣзжалъ и когда долженъ вернуться. Его двоюродный братъ, тоже чиновникъ, бывшій когда-то консуломъ въ одномъ изъ портовыхъ городовъ Франціи, заступилъ при мнѣ его мѣсто, какъ вице-хозяинъ. Это былъ человѣкъ начитанный, милый, необыкновенно талантливый, но атеистъ и скептикъ, что было мнѣ очень непріятно, такъ какъ онъ не скрывалъ своихъ убѣжденій. Утѣшенія онъ не доставлялъ мнѣ никакого, потому что тоже былъ возстановленъ противъ Польши и питалъ къ ней такую-же ненависть, какой страдало все нѣмецкое общество. Мнѣ не удалось найти почти ни одного человѣка, который-бы зналъ ее болѣе основательно или желалъ съ ней познакомиться. Одни питали ни на чемъ не основанный энтузіазмъ къ героической Польшѣ, созданной въ ихъ воображеніи; другіе чувствовали ненависть и презрѣніе къ старому образу, начертанному безъ всякой критики. Когда я пробовала разъяснять самыя грубыя заблужденія, мнѣ зажимали ротъ. Для нихъ нашъ край былъ той осмѣянной Польшей, о которой пѣлъ когда-то Г. Гейне. Говорить съ ними объ этомъ было невозможно, однако я пробовала просвѣтить по крайней мѣрѣ хоть мужа, давала ему книжки, которыя онъ иногда просматривалъ; но ему недоставало слишкомъ много, самыхъ элементарныхъ свѣдѣній, чтобы это могло измѣнить его представленіе. Въ домѣ строго на строго было запрещено заниматься Польшей. Наступилъ для меня счастливый день, когда я должна была сдѣлаться ма-

терью. Я ожидала его съ нетерпѣніемъ. Я воображала, что дѣтямъ, хотя тайкомъ, мнѣ удастся привить любовь къ родинѣ, къ языку, ко всему польскому, и что я заставлю ихъ хранить этотъ кладъ подъ глубокой тайной. Но, повидимому, это угадали, и мать заранѣе приняла всѣ мѣры предосторожности, чтобы ничего не могло перейдти отъ меня къ ребенку, безъ строгаго контроля съ ея стороны. Какъ только ребенокъ началъ говорить, надзоръ удвоили, сама строгая бабушка приняла его на себя, и не было возможности заронить въ сердце дѣтей любовь ко всему тому, что я любила. Сердце разрывалось у меня на части, когда я видѣла ихъ наряженными въ пикельгаубы, съ черно-бѣлыми хоругвями въ рукахъ. Для меня это дѣйствительно хоругви и символъ траура и смерти.

Боясь моего вліянія, дѣтямъ не позволили остаться со мной, и совсѣмъ маленькими отдали въ заведеніе, подготовляя ихъ къ военной службѣ. Такова была воля дѣда и бабки.

Происходя изъ купеческаго рода, недавно возведенные въ дворянское достоинство, Треубернеры желали укрѣпить и утвердить свое молодое дворянство военной службой. Во всемъ этомъ, что такъ близко касалось дѣтей, я, мать, не имѣла голоса, меня не хотѣли слушать, не давали сказать ни слова.

Единственное достоинство, которое въ ихъ глазахъ придавало мнѣ значеніе, это было мое воспитаніе въ княжескомъ домѣ и знаніе всѣхъ формъ и правилъ внѣшняго лоска, которыхъ они еще не усвоили. Имъ льстило то, что я сумѣла поставить домъ Роберта на такую ногу, сдѣлать его настолько пріятнымъ и приличнымъ, что къ нимъ охотно съѣзжались люди высшаго круга, члены разныхъ посольствъ.

Мать даже, когда дѣло шло о какомъ-нибудь пріемѣ или праздникѣ при дворѣ, спрашивала моихъ совѣтовъ и всегда исполняла ихъ. Но мало пользы могла я извлечь изъ этого для себя.

Однако это уваженіе и почтеніе, какими меня окружали чужіе, подѣйствовало немного и на своихъ. Старый Треубернеръ, жена его, двоюродные братья и сестры во многихъ вещахъ признавали мое мнѣніе непогрѣшимымъ. Только когда я осмѣливалась вспомнить Польшу, упомянуть о нашемъ краѣ, сейчасъ же переводили разговоръ.

Робертъ надѣялся, что со временемъ, когда онъ прерветъ всѣ мои сношенія съ тобой и съ нашими друзьями, чувства мои измѣнятся и остынутъ. Онъ ошибся въ этомъ, такъ какъ я покупала книжки, выписывала журналы, но должна была скрываться.

Тихая, но неустанная борьба велась по этому поводу между нами. Мнѣ не могли однако запретить ходить въ костелъ и молиться. Только доступъ католическихъ духовныхъ въ мой домъ, который я старалась облегчить, встрѣчалъ всегда такія ловкія препятствія, что я никогда не могла надѣяться добиться успѣха.

Съ ужасомъ замѣтила я въ подростающихъ мальчикахъ такія представленія и свѣдѣнія о Польшѣ, которыя были не что иное, какъ самая черная клевета. Старшій, раза два поссорившись со мной, пошелъ съ жалобой къ отцу, невольно выдалъ меня и сдѣлался причиной большихъ для меня непріятностей. Не разъ между нами дѣло доходило до серьезныхъ стычекъ, которыя кончались моими слезами.

Старый Любаховскій началъ стонать, слушая признанія дочери.

— О! несчастный часъ,—вскричалъ онъ,—когда я позволилъ тебѣ выйти за него... Правда, я не предвидѣлъ столько горя, но...

— Но я тогда была ослѣплена,—прибавила Марынка,—и я сама виновата, потому что спрашивалась только своего сердца.

— Потомъ уже, увидѣвъ твоего старшаго сына, котораго такъ долго скрывали отъ меня, я все понялъ, но было поздно... Можно ли еще что-нибудь сдѣлать теперь?

— Ахъ!.. Сыновья мои... сыновья мои потеряны для меня и для родины!..—вздохнула молодая женщина.—Въ младшемъ, можетъ быть, еще есть искорка, брошенная мною, которую я буду стараться раздуть, но старшій завзятый нѣмецъ. Дай Богъ, чтобы мнѣ удалось исправить Юліана. Но сегодня дѣло идетъ не о нихъ, дорогой отецъ; я пріѣхала къ тебѣ съ предостереженіемъ. Готовится какое-то новое страшное гоненіе. Поговариваютъ объ изгнаніи цѣлой массы, чтобы очистить мѣсто для нѣмецкихъ колонистовъ, о выселеніи даже вла-

дѣльцевъ имѣній, не имѣющихъ здѣсь обывательскихъ правъ, которыхъ въ послѣдніе годы почти никому не давали.

Старый панъ Григорій слушалъ спокойно; видно было по его лицу, что онъ не вѣрилъ извѣстіямъ, привезеннымъ дочерью.

— Дитя мое, — проговорилъ онъ, — меня уже стращали подобными слухами, но все это выдумки людей мнительныхъ. Существуетъ извѣстная граница, которую никто не переходитъ. Гдѣ же поводъ къ такой мести? Мы не сдѣлали ничего дурного.

— Ахъ, дорогой отецъ мой! Ужъ одно то, что мы живемъ, что при каждомъ удобномъ случаѣ обнаруживаемъ свое происхожденіе, что мы до сихъ поръ не дали обезнародить себя, уничтожить... — говорила Марынка.—Это очень рѣдкіе, правда, примѣры, но въ нашемъ домѣ мнѣ приходилось встрѣчать поляковъ, фамилія которыхъ и ихъ гербъ ясно указывали на ихъ происхожденіе, и которые на мой вопросъ отвѣчали что они пруссаки! Когда я спросила одного такого инже; нернаго офицера очень почтенной у насъ фамиліи и получила подобный отвѣтъ, я съ улыбкой замѣтила ему, что онъ, правда, прусскій подданный, но—полякъ.

— Нѣтъ, — холодно сказалъ онъ мнѣ, — я не считаю себя полякомъ. Правда, родъ мой происходитъ изъ той страны, но я пруссакъ. Я даже не знаю того языка. Мать моя была нѣмка.

Я покраснѣла, слушая его, и отошла, не обращаясь уже болѣе къ нему, хотя мнѣ ужасно хотѣлось посовѣтовать ему перемѣнить фамилію.

— И я встрѣчалъ здѣсь такимъ отщепенцевъ,—вздохнулъ Любаховскій,—но вернемся къ самому важному. Что же они думаютъ сдѣлать съ нами?..

— Отъ мужа я ничего не могла узнать: отъ меня все это скрываютъ, — отвѣчала Марынка. — Мнѣ только удалось выпытать у его брата, что они дѣйствительно создаютъ какіе то планы, что теперь работаютъ надъ ними, а затѣмъ представятъ ихъ въ парламентъ. Всѣхъ, кто поселился въ Пруссіи и не имѣетъ обывательскихъ правъ, они собираются выгнать.

— Гдѣ же видано что-либо подобное?.. — вскричалъ ста-

рикъ въ негодованіи.—Вѣдь есть же купцы, владѣльцы фабрикъ и земли, которые обезпечены уже самой давностью владѣнія. Собственный интересъ нѣмцевъ не допустить такого радикальнаго средства. Они повредили бы своему карману, а вѣдь это у нихъ всегда стоитъ на первомъ планѣ.

— Повторяю вамъ, милый папаша, что извѣстіе это—не пустая выдумка. Несомнѣнно тамъ готовится что-то. Ихъ сердитъ то, что мы выбираемъ своихъ делегатовъ въ парламентъ и что такимъ образомъ нѣсколько голосовъ всегда являются въ защиту нашего народа.

— Но успокойся, успокойся. Я тебѣ говорю, что если бы даже они и выдумали что-либо подобное, то къ исполненію это окажется невозможнымъ.

— Дай Богъ!.. — прошептала Марынка, глядя въ глаза отцу,—но у тебя самого есть эти обывательскія права?

— Я никогда не хлопоталъ объ нихъ,—спокойно отвѣчалъ панъ Григорій.— Столько лѣтъ никто ихъ у меня не спрашивалъ. Есть у меня свой клочекъ земли, который и даетъ мнѣ эти права.

— Отецъ! — прервала дочь,—въ твои годы ты долженъ быть осторожнымъ, чтобы не имѣть потомъ хлопотъ и безпокойствъ.

Любаховскій махнулъ рукой.

— Э, что ты мнѣ тамъ говоришь!—разсмѣялся онъ.—Будетъ еще на это время, когда мы узнаемъ что-либо болѣе достовѣрное. Впрочемъ, твой мужъ...

Брови бѣдной жентины наморщились.

— Мой мужъ!—отвѣчала она, опуская глаза.—Я, право, не знаю, можемъ ли мы на него разсчитывать. Я знаю, что онъ страшно боится, какъ бы его не заподозрили въ послабленіяхъ полякамъ, зная, что онъ женатъ на полькѣ. Я боюсь, какъ бы онъ не оказался скорѣе слишкомъ суровымъ, если ему поручатъ приведеніе въ исполненіе этого новаго закона.

Панъ Григорій быстро взглянулъ на дочь.

— Я не могу этого допустить,—отвѣчалъ онъ.—Я здѣсь со всѣми чиновниками и своими сосѣдями нѣмцами въ хорошихъ отношеніяхъ. Кто-же вздумаетъ выдать меня и подвергнуть... Любаховскій не докончилъ.

— Ты забылъ, дорогой отецъ,—замѣтила Марынка,—о почтенныхъ Фрейерѣ и Браузе... Вѣдь они, кажется, все еще сосѣди?

— Увы! Ты во-время напомнила мнѣ объ нихъ. Я воспользуюсь этимъ случаемъ и буду искать защиты. Фрейеръ не даетъ мнѣ покоя. а Браузе, если только могъ, кажется, утопилъ бы меня въ ложкѣ воды. Всѣми способами старался я помириться съ Фрейеромъ, но у него плохо идутъ дѣла; онъ повидимому разсчитываетъ нажиться на мой счетъ, все преслѣдуетъ меня, а Браузе... тоже не лучше. Я не привыкъ чернить людей, но это такой негодяй, что отъ него всего можно ожидать. О, это штучки!..

Пріѣхавъ въ Любахувку, панъ Григорій засталъ въ своемъ ближайшемъ сосѣдствѣ трехъ небольшихъ помѣщиковъ нѣмцевъ. Кого-нибудь другого это обстоятельство способно было оттолкнуть отъ рѣшенія поселиться здѣсь, но не его, который признавалъ братство народовъ, и всю свою жизнь старался примирить любовь къ своему народу и уваженіе къ другимъ. Когда ему предсказывали, что ему тяжело будетъ съ этими нѣмцами, онъ прямо сказалъ:

— Какое мнѣ дѣло, нѣмцы ли они, италіанцы, французы или цыгане? Для меня каждый человѣкъ — человѣкъ, лишь бы былъ честенъ.

Первый, который познакомился съ нимъ и помогъ ему составить довольно хорошее представленіе объ этихъ нѣмцахъ, которыми его такъ пугали, былъ нѣкто Золингеръ.

Когда-то онъ вращался въ лучшей сферѣ, былъ чиновникомъ, а на старости лѣтъ ему захотѣлось деревенской тишины, которую онъ представлялъ себѣ чистой идилліей. Человѣкъ этотъ былъ уже немолодой, положительный, не имѣлъ никакихъ предубѣжденій противъ поляковъ, а даже, напротивъ, питалъ къ нимъ симпатію, оставшуюся у него отъ 1830 года. Въ кружкахъ своихъ земляковъ онъ не имѣлъ друзей; его не любили. Скучный, грустный, серьезный, развлекающійся только чтеніемъ. Золингеръ со своей женой, немолодой какъ и онъ,

хозяйничалъ усердно, но неловко, терпѣлъ убытки, имѣлъ долги и мучился своей идилліей.

Золингеръ, встрѣтившись съ паномъ Григоріемъ, охотно познакомился съ нимъ, навѣстилъ его и завязалъ почти дружескія отношенія. Спрошенный о двухъ другихъ сосѣдяхъ— Фрейерѣ и Браузе, онъ отдѣлался молчаніемъ, а потомъ началъ увѣрять, что мало ихъ знаетъ, такъ какъ живетъ уединенно.

Позднѣе онъ счелъ долгомъ съ большой осторожностью предупредить пана Григорія, чтобы онъ не входилъ здѣсь ни съ кѣмъ ни въ какія дѣла, не узнавъ людей.

Такимъ образомъ, Любаховскій былъ на-сторожѣ.

Послѣ Золингера явился къ нему Фрейеръ, разыгрывая необычайную вѣжливость, радушіе, предлагая свои услуги, заискивая самымъ низкимъ образомъ. Пана Григорія это сразу оттолкнуло отъ него.

Фрейеръ былъ однимъ изъ кредиторовъ покойнаго Яна Непомуцена; когда ликвидировались дѣла, онъ ставилъ всевозможныя затрудненія,— очевидно было, что онъ хотѣлъ забрать Любахувку въ свои руки. Но у пана Григорія были тогда деньги и онъ во что бы то ни стало рѣшилъ оставить землю за собой. Такимъ образомъ, Фрейера постигла неудача; онъ подъ какимъ-то пустымъ предлогомъ порвалъ сношенія съ новымъ хозяиномъ и объявилъ ему войну. Онъ разыгрывалъ роль яраго нѣмецкаго патріота и, пользуясь, благодаря этому титулу, расположеніемъ мѣстныхъ властей, которыя его боялись, неустанно надоѣдалъ своему сосѣду.

Дыдась, пріѣхавъ сюда, первый поссорился съ нимъ; начались постоянныя ссоры. Слѣдя за нимъ, юноша узналъ, что онъ имѣетъ сношенія съ контрабандистами, помогаетъ имъ и скрываетъ у себя товары. Онъ помогъ пограничной стражѣ схватить его людей на мѣстѣ преступленія, и съ этой поры Любаховскій имѣлъ въ немъ непримиримаго врага.

Фрейеръ поклялся, что выживетъ отсюда поляковъ.

Довольно было взглянуть на него, чтобы угадать, что это былъ за человѣкъ. Маленькій, подвижной, нетерпѣливый, крикливый, онъ умѣлъ быть скрытнымъ и молчаливымъ, когда надо. Постоянно въ телѣжкѣ, въ дорогѣ, ища кого-нибудь,

покупая или продавая, онъ радъ былъ завладѣть всѣмъ, и кидался на всевозможныя рискованныя предпріятія, на которыхъ часто несъ убытки.

Разъ порвавъ знакомство съ паномъ Григоріемъ и имѣя зубъ противъ Дыдася, онъ постоянно мучилъ ихъ, надоѣдалъ, хотя и не могъ заработать этимъ ничего, кромѣ того пріятнаго сознанія, что онъ не даетъ имъ покоя. Дыдась съ юношескимъ пыломъ мстилъ ему, издѣваясь надъ нимъ при каждомъ удобномъ случаѣ.

Разъ даже онъ поймалъ его съ однимъ контрабандистомъ въ волчью яму въ лѣсу.

Контрабандисты хотѣли убить Дыдася, стрѣляли въ него, но—Богъ пули носитъ, какъ говоритъ пословица.

Польское происхожденіе и польскій патріотизмъ доставляли Фрейеру немало средствъ къ преслѣдованію сосѣда, но откровенность Любаховскаго и извѣстный всѣмъ его характеръ защищали его отъ клеветы.

Въ послѣднее время Дыдась такъ далъ ему себя знать, что, наконецъ Фрейеръ потребовалъ мира. Любаховскій велѣлъ ему передать, что онъ по-христіански прощаетъ всѣ обиды, но въ примиреніе не вѣритъ.

Браузе, послѣдній изъ сосѣдей пана Григорія, хотя вполнѣ былъ согласенъ съ Фрейеромъ въ его нападеніяхъ на поляковъ, на видъ казался гораздо спокойнѣе. Насколько Фрейеръ былъ подвиженъ и крикливъ, настолько этотъ тихъ и замкнутъ въ себѣ. Хозяйство шло у него Богъ знаетъ какъ, но несмотря на это, у Браузе были деньги, онъ давалъ подъ проценты, велъ разную торговлю и вся жизнь его была покрыта какой-то непроницаемой тайной. Иногда онъ исчезалъ съ горизонта на довольно продолжительное время, потмъ вдругъ являлся снова, не объясняя никому, гдѣ онъ былъ и что дѣлалъ.

Власти, вмѣсто того, чтобы относиться къ нему подозрительно, вслѣдствіе этихъ таинственныхъ исчезновеній, оказывали ему полное уваженіе, такъ какъ убѣдились, что у него очень сильная протекція. Браузе сразу, даже не притворяясь, что хочетъ быть въ хорошихъ отношеніяхъ съ сосѣдомъ, началъ выказывать ему свое нерасположеніе, пренебреженіе, даже презрѣніе.

Когда Марынка вышла замужъ, онъ не рѣшился открыто выступить противъ старика, испугавшись зятя; однако, потомъ убѣдившись, что тотъ вовсе не намѣренъ помогать тестю, снова началъ выказывать ему при каждомъ удобномъ случаѣ свою враждебность.

Всѣ эти непріятности Любаховскій переносилъ съ такимъ равнодушіемъ, такъ спокойно, что его хищные враги не имѣли даже того утѣшенія, что имъ удалось раздразнить его. Нѣмцы не упускали ни одного случая, чтобы не пожаловаться на него, не обвинить его въ чемъ-нибудь или, по крайней мѣрѣ, не причинить ему какихъ-нибудь убытковъ.

Дыдась по возможности старался отплачивать имъ за это. Приходилось быть осторожнымъ во всемъ, въ каждой мелочи, потому что зоркое око Браузе не пропускало ничего. Дыдась защищался только тѣмъ, что, помогая дѣятельно пограничной стражѣ, онъ всегда имѣлъ въ нихъ друзей, свидѣтелей и покровителей.

Съ годами, однако, война эта начинала мало-по-малу гаснуть и потухла бы совсѣмъ, такъ какъ обѣ стороны были утомлены, если бы ее не разжегъ снова 1871 годъ, поднимая нѣмецкій патріотизмъ, который, почувствовавъ свою силу, началъ злоупотреблять ею во всѣхъ направленіяхъ.

Ни одно торжество, ни одно празднество не проходило безъ того, чтобы Любаховскаго въ чемъ-нибудь не обвинили.

Въ тотъ самый день, когда пріѣхала дочь пана Григорія съ жалобами и съ предостереженіемъ, боясь за отца, совѣтуя ему продать все и уѣзжать изъ государства, которое начинало чуть не крестовый походъ противъ поляковъ, Браузе вернулся домой послѣ довольно продолжительнаго отсутствія и, почти не отдыхая, не посидѣвъ дома, велѣлъ запречь лошадей и поѣхалъ къ Фрейеру, который жилъ по другую сторону Любахувки.

Фрейеръ построился въ своемъ имѣніи по-нѣмецки: домъ его такъ близко былъ соединенъ съ хозяйственными постройками, что совершенно исчезалъ въ нихъ... Это былъ маленькій каменный домикъ съ деревянными пристройками. Отъ входа налѣво нѣсколько комнатъ занимали сами хозяева. Тутъ была такъ называемая gute Stube, гостиная, въ которой рѣдко

появляющихся здѣсь гостей принимали во всякое время дня не чѣмъ инымъ, какъ жиденькимъ кофе и хлѣбомъ, намазаннымъ масломъ. Появлялось и пиво, если только оно было дома. Gute Stube, со своимъ комодомъ, заставленнымъ памятными чашками, чайниками и разными издѣліями изъ стекла и глины, со стекляннымъ шкафомъ, заключающимъ въ себѣ тоже цѣнные столовые приборы, со своими шварцвальдскими часами, диваномъ, столомъ, съ портретами Фридриха Великаго и всего царствующаго дома на стѣнахъ,—часть долго не посѣщаемая, запыленная гостиная производила непріятное впечатлѣніе. Ничто не свидѣтельствовало здѣсь ни о зажиточности, ни о вкусѣ. Двое дверей вели изъ нея въ комнаты хозяина и хозяйки. Его комната была собственно пріемной, въ которой улаживали всякія дѣла, принимали работниковъ, возчиковъ и т. п. Однако, Фрейеръ, не могущій усидѣть на мѣстѣ, чаще всего рѣшалъ текущія дѣла на дворѣ, sub love.

Невозможно представить что-либо болѣе унылое, чѣмъ этотъ домъ, возвышающійся среди полей, не отѣненный, не украшенный ничѣмъ, съ обожженными стѣнами, на которыхъ обрисовывались черныя линіи балокъ, связывающихъ тонкую стѣну. Нигдѣ ни въ саду, ни на окнахъ дома не было зелени, ни одного цвѣтка, иногда только развѣшивающееся бѣлье составляло все украшеніе.

Однако, въ углу сада, примыкающаго къ дому сзади, между грядками съ лукомъ, капустой и макомъ извивались двѣ-три дорожки, обсаженныя крыжовникомъ.

Здѣсь же въ углу, припертая къ полуразвалившемуся плетню, стояла старая бесѣдка, обвитая фасолью, немножко вьюномъ, настурціей и горошкомъ.

Построенная очень скромно, вся въ заплатахъ, она заключала въ себѣ столъ и двѣ лавки. Здѣсь Фрейеръ, отдыхая, засыпалъ послѣ обѣда и иногда принималъ съ глазу на глазъ какихъ-то подозрительныхъ личностей, пріѣзжавшихъ къ нему. Хозяйка, старая, молчаливая, ослабленная болѣзнью и глухая, съ завязанной всегда головой, сидѣла здѣсь съ чулкомъ и рваной книжкой, чаще всего съ повѣстью Герштеккера, больше дремля, чѣмъ читая и шевеля спицами.

Фрейеръ, одѣтый по домашнему въ такой костюмъ, что

его трудно было признать за хозяина, вертѣлся около гумна, ругаясь съ гроссъ-кнехтомъ, который имѣлъ начальство надъ челядью и работниками, когда на дворѣ показалась телѣжка, когда-то зеленая, хорошо ему знакомая, и лобъ старой огромной гнѣдой лошади, съ лысиной на подобіе фонаря. По этой лошади, равно какъ и по телѣжкѣ, Фрейръ узналъ своего пріятеля и сосѣда Браузе, котораго давно не видѣлъ и, бросивъ на прощаніе гроссъ-кнехту проклятіе, поспѣшилъ къ гостю.

Браузе, который, пользуясь нѣсколькими свободными минутками, спалъ въ телѣжкѣ, проснулся, когда она остановилась у крыльца, и уже вылѣзалъ.

Встрѣча была самая сердечная... радушная. Фрейеръ, схвативъ сосѣда подъ руку, хотѣлъ его вести въ Gute Stube, но Браузе, на лицѣ котораго отражалось какое-то нетерпѣніе, схватилъ его за руку и указалъ на бесѣдку.

— Надо намъ поговорить,—быстро вскричалъ онъ, таинственно понижая голосъ,—и не надо, чтобы кто-нибудь насъ услышалъ; сядемъ здѣсь.

Фрейеръ послушно согласился, только оглянулся и кивнулъ огромной дѣвицѣ съ засученными чуть не до плечъ рукавами, а когда та подошла, отдалъ ей какія-то приказанія. Нетерпѣливый Браузе уже шелъ, между тѣмъ, къ бесѣдкѣ, входъ въ которую по кускамъ балокъ вмѣсто ступенекъ былъ довольно неудобенъ. Онъ сѣлъ на лавку, вынулъ изъ кармана старосвѣтскую фарфоровую трубку съ портретомъ Блюхера.

Пока онъ успѣлъ ее набить, Фрейеръ уже сидѣлъ напротивъ него, улыбаясь.

— Долго же васъ не было дома!—заговорилъ онъ.

— О!—отвѣчалъ Браузе,—я полсвѣта избѣгалъ, столько дѣла свалилось на мою голову... Но это все ничего... Мы теперь наканунѣ великихъ событій, къ которымъ должны быть приготовлены, если желаемъ ими воспользоваться.

При словѣ «воспользоваться» маленькіе глазки Фрейера заблестѣли.

— Говорите же!—заторопилъ онъ.

— Не такъ-то это легко,—началъ Браузе.—Готовятся великія событія... Да, да! Наконецъ-то обѣщаютъ намъ, что и

на этомъ клочкѣ земли, спокон вѣковъ нѣмецкомъ, на который налетѣла эта польская саранча, мы будемъ, наконецъ, господами...

— Это давно бы такъ должно быть,—отвѣчалъ Фрейеръ.— Здѣсь до сихъ поръ главную роль играютъ польскій шляхтичъ и польскій хлопъ. Мы тутъ гости, но разъ уже начались споры съ ихъ духовенствомъ, я всегда предсказывалъ, что дѣло должно дойти и до войны съ поляками. Америка для нихъ открыта всегда, пускай себѣ перебираются туда и оставятъ намъ эту землю.

— Только ждать пока они, когда имъ надоѣстъ военная служба, одинъ за другимъ переселятся туда, было бы слишкомъ долго. Надо ихъ заставить уйти отсюда.

Фрейеръ утвердительно кивнулъ головой.

— Но какъ?—спросилъ онъ.

Браузе задумался.

— Умные люди, — сказалъ онъ,—придумали средство... Мѣстныхъ, коренныхъ жителей здѣсь на границѣ мало, значительная часть мало-по-малу переселилась сюда изъ Царства Польскаго... Богъ знаетъ откуда, изъ какихъ-нибудь отдаленныхъ губерній—кто ихъ тамъ спрашивалъ раньше о паспортахъ?—А теперь, кто же запретитъ тѣхъ, у которыхъ ихъ не было, хотя бы они просидѣли и пятьдесятъ лѣтъ,—выгнать? Пускай убираются назадъ, откуда пришли.

Браузе даже засмѣялся,—такъ ему понравилась эта прекрасная мысль. Фрейеръ качалъ головой.

— Не знаю, такъ ли это легко сдѣлать, какъ сказать?— возразилъ онъ.—Вѣдь мы же приняли ихъ и позволили сидѣть спокойно: жениться, воспитывать дѣтей и отдавать ихъ въ солдаты. Какъ же вдругъ пойти противъ самихъ себя и сдѣлать такую несправедливость—приказать имъ уходить?

— Какъ?—подхватилъ Браузе,—а кто же привлечетъ насъ къ отвѣтственности за то, что мы сдѣлаемъ? Нравилось намъ не видѣть—мы и не смотрѣли; захотимъ взглянуть—вѣдь это же можно. Мы у себя дома.

— Положимъ, положимъ,—отвѣчалъ Фрейеръ,—только вѣдь, если мы начнемъ выгонять хлоповъ, придется задѣть и пановъ. Этихъ здѣсь тоже не мало сидитъ, хотя и не имѣютъ на то права.

— Тѣмъ лучше!—смѣялся Браузе.—Для насъ, чѣмъ ихъ меньше, тѣмъ лучше.

Прислуга принесла на подносѣ кофе. Браузе оглянулся.

— Пускай будетъ и кофе,—сказалъ онъ, ударяя рукой по столу,—но я усталъ: шнапса бы не мѣшало.

Фрейеръ крикнулъ служанкѣ, чтобы та пренесла нордгаузеровки, а самъ наливалъ кофе.

— Откуда же ты знаешь,—спросилъ онъ,—что наконецъ эта помойная яма очистится?

— Не спрашивай объ этомъ. Ужъ если я говорю, такъ можешь мнѣ вѣрить... Намъ заранѣе надо къ этому приготовиться. Не одинъ вынужденъ будетъ оставить землю, не одинъ захочетъ продать ее. Времени имъ дадутъ мало... Все упадетъ въ цѣнѣ.

— Если бы и Любахувка лишилась такимъ образомъ хозяина,—проговорилъ Фрейеръ,—я бы ее купилъ.

— Либо я,—прервалъ Браузе, который уже выпилъ водки.

— У меня за ней были деньги. Этотъ старикъ уплатилъ мнѣ, но я обиженъ. Я вѣдь ихъ давалъ не для того, чтобы получить обратно, а чтобы получить за нихъ землю.

— На что тебѣ Любахувка?—перебилъ его Браузе,—думаешь, я не знаю, что тебѣ и свое-то скоро придется продавать?

Фрейеръ иронически улыбнулся.

— Ну, если ты все такъ хорошо знаешь, какъ то, что я буду продавать...

Они посмотрѣли другъ другу въ глаза.

— Впрочемъ, это мнѣ все равно,—прибавилъ Браузе,—этотъ клочекъ земли прилегаетъ къ моему имѣнью и потому долженъ принадлежать мнѣ.

— Мы подѣлимся,—замѣтилъ Фрейеръ.

— Оставимъ это! Медвѣдь еще въ лѣсу вѣдь! — отвѣчалъ Браузе.—То, что я тебѣ сказалъ объ изгнаніи, вскорѣ будетъ обнародовано. Намъ вообще слѣдуетъ избавиться отъ иностранныхъ подданныхъ. Всѣ эксплуатируютъ насъ, а мы никого. Въ университеты ходитъ множество иноземцевъ, зачѣмъ же намъ ковать противъ себя оружіе? Шляхта изъ Царства Польскаго покупаетъ имѣнія; хлопы учатся у насъ хозяйству и грамотѣ, того и гляди, отнимутъ у насъ хлѣбъ.

Фрейеръ сильно задумался.

— Ты, братъ, ерунду несешь,—прервалъ онъ, подумавъ.— Что намъ этого хотѣлось бы, это правда, но гдѣ же это слыхано, чтобы по китайски не пускать къ себѣ никого чужого; вѣдь потомъ, чего добраго, придется запереть дверь и своимъ, чтобы не избѣгали солдатчины!

— Отчего же нѣтъ?—вскричалъ Браузе.—Намъ необходимо завести у себя порядокъ, не оглядываясь на то, что гдѣ дѣлалось или дѣлается. Развѣ мы не сильны? Кто посмѣетъ потребовать у насъ отчета? Никто насъ не любитъ, за что же намъ любить людей?

— Ого-го! —заговорилъ Фрейеръ, дослушавъ его до конца.— А что скажетъ нашъ парламентъ? Вѣдь у насъ онъ кое-что з начитъ?

— Чистая комедія!—отвѣчалъ Браузе.—Парламентъ говоритъ, а люди дѣлаютъ себѣ что хотятъ. Только и будетъ, что испортитъ кровь канцлеру, который горячо принимаетъ къ сердцу всякую болтовню. Когда дѣло идетъ о табачной монополіи, о налогѣ на спиртъ, вообще о деньгахъ, которыя ему нужны и которыя онъ во что бы то ни стало долженъ имѣть, не прося о томъ никого и не кланяясь парламенту,— я понимаю, что онъ можетъ сердиться на тѣхъ, кто ему противится, да и то онъ сумѣетъ съ ними справиться; а ужъ если начнетъ играть на патріотической стрункѣ, да еще противъ поляковъ,— ну, тогда всего отъ насъ добьется.—Erbfeind!

И Браузе дико захохоталъ:

— У насъ ужъ такая натура, что намъ пріятно душить непріятеля; всѣ это одобрятъ и каждый приготовится схватить кого-нибудь за вихоръ. Правительство выигрываетъ этимъ въ политикѣ, а мы должны заработать деньги.

Съ минуту оба молчали.

— Правда святая, что надо пользоваться удобнымъ временемъ,—заговорилъ Фрейеръ.—Теперь за поляковъ никто не заступится. Съ ними можно сдѣлать все, что угодно; пресса насъ похвалитъ—они Vogelfrei! Ни съ кѣмъ нельзя этого продѣлать такъ удобно, какъ съ ними; они могутъ быть позабыты, осмѣяны; какъ изъ стада воловъ, мы можемъ выбирать на убой любого изъ нихъ.

Теперь Фрейеръ въ свою очередь засмѣялся.

— Имѣть въ политикѣ такое орудіе, такой удобный матеріалъ, изъ котораго во всякое время можно сдѣлать что угодно,—развѣ это не милость Господня?! Таковы наши поляки. Когда нужно, въ нихъ не признаютъ ума; говорятъ, что у нихъ нѣтъ денегъ, что все для нихъ кончено, и имъ ничего не остается, какъ только исчезнутъ съ лица земли. Другіе доказываютъ, что ихъ уже и нѣтъ. А сейчасъ же послѣ этого, когда нужно пугнуть добродушныхъ и легковѣрныхъ, чтобы патріотизмомъ вытянуть жертву изъ кармана, ихъ дѣлаютъ пугаломъ: поляки-де составляютъ заговоръ съ папой, готовятъ измѣну съ Франціей, что они находятся вездѣ и дѣлаютъ все, что можетъ намъ вредить, что у нихъ огромныя силы.

И Фрейеръ смѣялся отъ чистаго сердца, а Браузе думалъ, облокотившись на руку.

— Скоро начнётся эта пляска, — прибавилъ онъ, понижая голосъ. — Помни, что мы съ тобой идемъ рука объ руку; ты будешь дѣлать все, что я прикажу, не спрашивая, зачѣмъ и почему; я тебѣ за это отплачу. Правительство нуждается въ людяхъ благонамѣренныхъ, которые помогли бы очистить эти провинціи... Надо ужъ разъ навсегда покончить и сдѣлать ихъ нѣмецкими, какъ Эльзасъ и Шлезвигъ.

— Но у нихъ свои особые законы,—замѣтилъ Фрейеръ.

Браузе не далъ сосѣду договорить.

— Что ты понимаешь! вскричалъ онъ.—Время создаетъ законы, время же и уничтожаетъ. Что мы—кланяться будемъ передъ парламентами, что-ли! Вызовутъ крисконсультовъ, которые докажутъ, что мы ни къ чему не обязаны.

Подъ конецъ говорившій даже вышелъ немного изъ себя и быстро прибавилъ:

— Не спрашивай, что дѣлается и какъ, довольно того, что мы должны стараться скорѣе избавиться отъ поляковъ и занять самимъ ихъ мѣсто. Заготовляй списокъ тѣхъ, которыхъ надо отсюда выселить.

Фрейеръ сложилъ руки.

— Эхъ, вотъ кабы стараго Любаховскаго съ Дыданомъ, экономомъ и экономкой, а за ними и пана Францишка, и пана Адама, и пана Яна, и пана...

— А они все здѣшніе или пришлые?—сказалъ Браузе.—А то, если они здѣсь и родились, если сюда влѣзли еще ихъ отцы или даже дѣды... Впрочемъ, можно и соврать; разъ ихъ выгонятъ—кончено. Ты долженъ меня понять. Для такой работы нужны будутъ люди.

— Да я готовъ!—отвѣчалъ Фрейеръ.—Довольно ужъ они мнѣ тутъ надоѣли, пора отплатить имъ. Если нельзя будетъ прямо выгнать Любаховскаго, мы отнимемъ у него людей... Не бойся, одинъ съ Дыданомъ не пойдетъ въ поле.

— У тебя только одинъ этотъ старикъ въ головѣ—прервалъ Браузе,— но и кромѣ него много найдется кого выселять. Надо заранѣе искать, вынюхивать, выслѣживать, откуда и когда пришелъ... Пусть идутъ назадъ. У насъ для пришлецовъ нѣтъ мѣста.

Они взглянули другъ другу въ глаза; Фрейеръ придвинулся поближе и обнялъ сосѣда.

— Мы вдвоемъ тутъ справимся,—сказалъ онъ,—не вербуйте другихъ. Довольно насъ двоихъ, мы одни и попользуемся. Тише! тише! Помните, когда дѣло шло о дѣтяхъ въ школахъ, которыхъ надо было записать нѣмцами, кто лучше меня служилъ? Я зналъ,—кто назвался и кто остался полякомъ; точно такъ же я буду знать, кто не здѣшній...

Сморщенное лицо Фрейера смѣялось, а Браузе думалъ, теръ себѣ лобъ и нѣсколько разъ запилъ кофе нордгаузеровкой.

Затѣмъ посыпались фамиліи. Тщетно Фрейеръ нѣсколько разъ пытался подсунуть Любаховскаго,—онъ не получалъ никакого отвѣта. Это его сильно обезпокоило и онъ еще разъ упомянулъ пана Григорія, какъ больше всѣхъ заслуживающаго изгнанія.

— Вы не знаете, что это за опасная штука,—сказалъ онъ поснѣшно. — Онъ здѣсь всѣмъ управляетъ, руководитъ. Мало говоритъ, а вездѣ замѣтно его вліяніе. Мужики его слушаютъ, идутъ къ нему за приказаніями и совѣтами. Дойдетъ дѣло до голосованія — его и сосѣдніе люди выберутъ единогласно польскимъ кандидатомъ. У Золингера даже переманили значительную часть работниковъ, да и изъ моихъ нѣкоторыхъ совратили въ свою вѣру. Половина изъ нихъ была бы уже нѣмцами, если бы не они. Онъ заставляетъ Дыдана читать

по воскресеньямъ, онъ зоветъ ихъ братьями, онъ... О! это штучка!

— Задалъ же онъ тебѣ перцу,—перебилъ его Браузе,—но теперь ты ему отплатишь, если Треубернеръ дозволитъ. Онъ высоко стоитъ.

— Треубернеръ пальцомъ не шевельнетъ!—сказалъ Фрейеръ.

— Почемъ ты знаешь?

— Знаю, потому что ходилъ на развѣдки,— медленно заговорилъ Фрейеръ. — У меня тамъ въ его домѣ есть свои, я все знаю. Молодой Треубернеръ былъ влюбленъ въ жену до безумія, родители не соглашались на бракъ. Черезъ нѣсколько лѣтъ, когда ему не удалось передѣлать красавицу супругу, онъ сильно охладѣлъ къ ней. Дѣтей заранѣе оградили отъ ея вліянія. Но такъ какъ она нужна имъ для аристократіи, съ которой они должны жить, они ее терпятъ. Она совсѣмъ чужая среди нихъ. Они вѣжливы съ ней, не раздражаютъ, но для нея ничего не сдѣлаютъ, ничего. Да она и сама слишкомъ горда, чтобы просить. Никто тамъ не будетъ защищать стараго Любаховскаго и заступаться за него, а она не посмѣетъ даже и слова сказать за него.

— Я не ожидаю такого равнодушія,—возразилъ Браузе,— но что этотъ одинъ Григорій значитъ!..

— Онъ-то! Очень много, очень много, — отвѣчалъ Фрейеръ.—Онъ ходитъ, заложивъ руки, онъ будто ничего не дѣлаетъ, молчитъ, только дѣлаетъ знаки, а ужъ Дыданъ знаетъ, что ему дѣлать. О, этотъ Дыданъ!..

Браузе вдругъ всталъ передъ сосѣдомъ, безцеремонно взялъ его за плечо и слегка потрясъ.

— Уменъ ты, а часто самыхъ простыхъ вещей не понимаешь и не знаешь. Столько лѣтъ съ ними возишься, а не попытался поставить на молокососа такіе силки, въ которые люди попадаются какъ мухи. На твоемъ мѣстѣ, я бы ужъ давно держалъ Дыдана въ рукахъ.

— Да зачѣмъ онъ мнѣ теперь, когда я ихъ всѣхъ могу отсюда выкурить?—отвѣчалъ Фрейеръ.

Браузе ядовито продолжалъ:

— Ты хвастаешься своей ловкостью, хитростью, а когда Дыданъ надоѣдалъ тебѣ, ты даже не попробовалъ его приласкать.

— Его? Чѣмъ?

— Молодого человѣка, какъ онъ, здѣсь, въ глуши, чѣмъ легче всего прельстить?

— Онъ на женщинъ и не смотритъ! —сказалъ Фрейеръ.

— Конечно, если всѣ такія, какъ та, что приносила намъ кофе, — разсмѣялся Браузе. — Я бы ему привезъ изъ Берлина обученную всякимъ штукамъ и она бы водила его въ поводу.

— Спасибо тебѣ за совѣтъ, только теперь я ужъ не буду бояться Дыдана,—вскричалъ Фрейеръ; а вѣдь парень-то навѣрное попался бы! Да и, дѣйствительно, я могъ бы его поймать, потому что у жены есть племянница, какъ будто на то и созданная, чтобы завлекать мужчинъ, а замужъ готова выйти хоть за поляка, лишь бы только выйти. Но человѣку никогда не придетъ во-время мысль что́ ему дѣлать.

— Въ особенности,— отвѣчалъ Браузе,—потому-то я и хотѣлъ предупредить тебя заранѣе, чтобы ты собиралъ свѣдѣнія.

Проговоривъ это, гость потянулся за шапкой.

— Подожди, сдѣлай милость! — схватилъ его за рукавъ Фрейеръ.—Ты ничего мнѣ не сказалъ, только намекнулъ мелькомъ. Сговоримся, что намъ дѣлать?

— И ты еще не знаешь?— воскликнулъ Браузе.—Переписывай тѣхъ, кто не у насъ, не здѣсь родился, а давно или недавно переселился изъ-за границы. Они умѣютъ поддѣлаться подъ нашу фамилію, а ксендзамъ легко поддѣлать имъ метрики. Помни, что чѣмъ больше мы ихъ уберемъ отсюда, тѣмъ больше останется мѣста для нашихъ колонистовъ.

— Только бы намъ дали земли и денегъ,— проворчалъ Фрейеръ.—Вы получаете вознагражденіе за свой трудъ; это ужъ вѣрно, хотя вы и не сознаетесь. Кто знаетъ? Быть можетъ, вамъ даютъ и не такихъ помощниковъ, какъ я, да вы не хотите подѣлиться...

Браузе покраснѣлъ отъ гнѣва.

— Болтай, болтай такую ерунду, если хочешь, чтобы я обошелъ тебя и оставилъ на мели.

— Я ничего не говорилъ! ничего!—прервалъ испуганный Фрейеръ.—Можно же пошутить среди пріятелей... Вы, милый Браузе, катаетесь, какъ сыръ въ маслѣ, вамъ хорошо, а у меня часто и гроша нѣтъ въ карманѣ. Я служу охотно и вамъ,

и вездѣ, гдѣ того требуютъ интересы Германіи, и ничего за это не получаю!

Гость косо поглядѣлъ на него.

— Вы думаете, что я платный?—вскричалъ онъ.

Фрейеръ не отвѣчалъ. Разговоръ, нарушенный однимъ словомъ, оборвался, и теперь Браузе надѣлъ на голову шапку, посматривая на выходъ изъ бесѣдки, который замыкалъ собой хозяинъ.

Та дружба, о которой они оба говорили, мгновенно исчезла и уступила мѣсто совершенно противоположному чувству; у Браузе была кислая физіономія, а Фрейеръ, казалось, сердился на самого себя.

— Послушай, Браузе, будемъ говорить откровенно,—проговорилъ онъ,—я человѣкъ бѣдный, старый, измученный, а между тѣмъ могу на что-нибудь пригодиться; будь со мной откровененъ. Я буду дѣлать все, что прикажете, но на свой счетъ—это невозможно!..

— Ты думаешь, что тебѣ это не окупится?—сказалъ сосѣдъ.

— Когда все кончится,—прервалъ хозяинъ,—дуракъ былъ бы тотъ, кто платилъ бы за то, что получилъ даромъ и не обѣщалъ заплатить за это.

Браузе боролся съ самимъ собой. На столѣ стояла норд гаузеровка; онъ налилъ себѣ еще рюмку и выпилъ не торопясь.

— Будь здоровъ,—сказалъ онъ, протягивая руку съ воображаемымъ добродушіемъ,—мнѣ нечего тебѣ дать и нечѣмъ съ тобой подѣлиться. Какъ хочешь... Я далъ совѣтъ, что тебѣ дѣлать; пожалуй, еще мнѣ слѣдовало бы за это что-нибудь.

Фрейеръ поднялъ кверху брови и раскрылъ ротъ.

— Тебѣ!—вскричалъ онъ.

— Конечно,—смѣясь, прибавилъ Браузе,—само собой разумѣется, но я ничего не требую за дружескую услугу.

Дольше удерживать его не было возможности, Фрейеръ уступилъ ему дорогу и пошелъ съ нимъ вмѣстѣ къ телѣжкѣ. Они прошли дворъ, ни слова не говоря другъ другу. Браузе долженъ былъ разбудить спящаго кучера.

Ругая въ его лицѣ всѣхъ,—verfluchte Polaken,—онъ

вскарабкался на сидѣнье, кивнулъ головой Фрейеру и поѣхалъ домой.

Послѣ отъѣзда Браузе, хозяинъ долго стоялъ погруженный въ мысли, раздумывая о слышанномъ. Ему не хотѣлось вѣрить вполнѣ въ эту великую новость, а вмѣстѣ съ тѣмъ онъ боялся, какъ-бы, отнесясь къ этому съ недовѣріемъ, не потерять той прибыли, которую онъ могъ извлечь. Поэтому онъ хотѣлъ, по крайней мѣрѣ, провѣрить, идутъ ли подобные слухи и изъ другого источника. Ближайшее мѣстечко, въ которомъ онъ имѣлъ сношенія съ нѣсколькими чиновниками, находилось въ доброй милѣ разстоянія. Такимъ образомъ, выѣхавъ сейчасъ же, онъ могъ провести тамъ часа два, обойдя нужныхъ людей, и къ ночи вернуться домой. Привыкшая къ его странностямъ прислуга всегда была наготовѣ закладывать лошадей и ѣхать. Фрейеру надо было только перемѣнить верхнюю одежду, такъ какъ онъ не особенно заботился о своей наружности, и черезъ четверть часа онъ сидѣлъ уже въ телѣжкѣ и пара лошадей везла его ускоренной рысцой въ городъ.

По дорогѣ туда онъ не встрѣтилъ никого на пустомъ шоссе, кромѣ каменщика, разбивающаго камни. Вскорѣ показались стѣны стараго костела, два-три каменныхъ дома на рынкѣ, нѣсколько порядочныхъ домиковъ съ садами, почта, такъ называемая ратуша и дома мѣщанъ, напоминающіе своей простотой и запустѣніемъ нашу деревню. Кучеръ обернулся къ нему, не зная, куда ѣхать, и по данному знаку остановился передъ одной изъ лучшихъ гостиницъ, — это была такъ называемая Познанская гостиница, ничѣмъ не отличающаяся отъ другихъ въ этомъ же родѣ.

Бильярдъ, единственный во всемъ мѣстечкѣ, привлекалъ сюда въ послѣполуденные часы молодежь, не имѣющую лучшаго занятія. Кобылопольское пиво искусно здѣсь сохранялось и отлично подавалось; оно-то, вмѣстѣ съ бильярдомъ, и составляло притягательную силу этого мѣста сборища нѣмцевъ, соскучившихся отъ пребыванія въ краѣ, который они напрасно называли нѣмецкимъ, потому что не встрѣчали въ немъ своихъ земляковъ.

Бильярдная комната уже издали давала о себѣ знать шумными разговорами. Когда открылась дверь, все моментально

стихло, но появленіе Фрейера сейчасъ же развязало всѣмъ языки.

Всѣ привыкли встрѣчать его съ безцеремонностью, почти доходящей до пренебреженія. Нѣкоторые потрепали его по плечу, проходя мимо, спросили—откуда онъѣдетъ,—и прерванная партія продолжалась съ новымъ жаромъ.

Фрейеръ осмотрѣлъ всѣхъ присутствующихъ. Изъ старшихъ здѣсь никого не было, кромѣ разжирѣвшаго герра Гаспара Плеве, который сидѣлъ съ трубкой надъ кружкой пива, молчалъ, сильно занятый и пивомъ, и трубкой.

Плеве состоялъ на службѣ и занимаемое имъ мѣсто ставило его довольно высоко въ здѣшней іерархіи, но онъ не гордился этимъ и охотно бесѣдовалъ съ каждымъ, лишь бы убить время.

Фрейеръ подсѣлъ къ нему и приказалъ подать себѣ пива. Прошло довольно много времени и ничего не было слышно, кромѣ бильярднаго шума. Плеве раза два оборачивался къ сосѣду, какъ-бы вызывая его на разговоръ, крякнулъ, напоминая о себѣ, и продолжалъ сосать трубку.

— Что у васъ тутъ слышно?—спросилъ, наконецъ, Фрейеръ.—Давно ужъ я здѣсь не бывалъ.

Плеве пустилъ струю дыма.

— У насъ ничего не слышно; а у васъ?—отвѣтилъ онъ — Гмъ?.. Поймали контрабандистовъ, чуть ли не самыхъ главныхъ, на которыхъ уже давно точили зубы. Даніель раненъ, и попалъ въ наши руки. Что всего удивительнѣе, схватили женщину, переодѣтую мужчиной...

Фрейеръ, слышавшій эту исторію еще утромъ, выразилъ свое удивленіе по поводу дерзости этихъ людей.

— Нигдѣ нѣтъ покоя на границѣ,—съ апломбомъ произнесъ Плеве,—да и напрасно было бы его требовать, и у насъ тоже никогда его не будетъ, потому что взаимныя отношенія народонаселенія, живущаго по обѣимъ ея сторонамъ, слишкомъ тѣсны. Преслѣдуемому легко скрыться или быть спрятанномъ. Поэтому, слѣдовало бы имѣть особенно усиленный надзоръ за живущими на границѣ. Говорятъ, что теперь какъ разъ обдумываютъ подобныя средства.

— Наконецъ-то, — вскричалъ прибывшій, довольный, что

разговоръ такъ счастливо завязался.—Для насъ, принужденныхъ жить здѣсь, это будетъ большое благодѣяніе. Но какія же это новыя средства?

Плеве, пуская дымъ, посмотрѣлъ на говорившаго, какъ-бы желая угадать, зналъ-ли уже тотъ о чемъ-нибудь или желалъ выпытать у него.

— Новыя средства,—важно произнесъ онъ,—будутъ, навѣрное, только старыми, но забытыми и требующими обновленія. Ничто не ново подъ луною.

— Говорятъ о какихъ-нибудь? — разспрашивалъ Фрейеръ.

— Люди строятъ догадки, какъ и всегда, — проговорилъ старикъ, запивая пивомъ свою фразу.

— Слѣдовало бы прежде всего очистить пограничную линію отъ бродягъ.

— Дѣло въ томъ, какимъ образомъ? Вы вотъ сами живете на границѣ, такъ что отлично понимаете, что когда въ горячее время, въ жатву или въ сѣнокосъ, нуженъ работникъ, и подвертывается дешево пара здоровыхъ рукъ, не станешь спрашивать о паспортѣ.

Фрейеръ кивнулъ головой.

— Надо бы очень энергичныя средства, — продолжалъ Плеве.

— Нынче у насъ нѣтъ недостатка въ энергіи! — Плеве хлебнулъ пива и промолчалъ, потому что избѣгалъ всякаго разговора, всякаго разсужденія о распоряженіяхъ, идущихъ свыше.

— Надо бы рѣшиться выгнать всѣхъ пришлыхъ,—прибавилъ Фрейеръ, пробуя почву.

Но проба удалась не сразу; чиновникъ молчалъ, бильярдные шары пріятно ласкали его слухъ.

Только уже послѣ долгой паузы важный Плеве обратился къ собесѣднику и тихо сказалъ:

— Вы уже слышали?

— Такъ, кое-что, — отвѣчалъ Фрейеръ,—но не понимаю, что такое готовится, и боюсь, какъ бы это зарапѣе не отозвалось на насъ.

— Вы должны оказать свое посильное содѣйствіе общему дѣлу,—замѣтилъ Плеве.

— И готовы это сдѣлать,—подтвердилъ Фрейеръ,—но, желая получить какіе-нибудь результаты, надо взяться за дѣло радикально.

Плеве сдѣлалъ собесѣднику знакъ, чтобы тотъ приблизился.

— Вы слышали что-нибудь?—вторично спросилъ онъ.

— Готовится законъ...

— И новая война съ поляками,—прибавилъ Плеве, вздыхая,—когда ужъ и такъ эта постоянная возня у насъ вотъ гдѣ!—онъ указалъ на горло.

— Поляки, — продолжалъ онъ съ самоувѣренностью, на какую давала ему право многолѣтняя опытность,—народъ безпокойный. Если-бы у нихъ даже не было предлога къ войнѣ, то они готовы были бы ее вызвать. По счастью, затѣять кутерьму—это ихъ дѣло, но довести до конца стратегическій планъ—это, скорѣе, наше.

Плеве, довольный своей фразой, не торопясь вытрясъ трубку.

— А какъ вы думаете,—прошепталъ онъ,—много найдется кандидатовъ къ выселенію за границу?

— Ого! кто ихъ тамъ пересчитаетъ?—отвѣтилъ Фрейеръ.

Они еще продолжали разговаривать, когда вошелъ серьезный и грустный Золингеръ. Играющіе взглянули на него, не прерывая игры, а гость медленнымъ шагомъ направился къ освободившемуся мѣсту около Плеве. Онъ отеръ потъ, перевелъ духъ, приказалъ подать пива и довольно холодно поздоровался съ сосѣдями.

У Золингера были совершенно другія понятія, чѣмъ у всѣхъ присутствующихъ здѣсь. Его звали отсталымъ.

Поэтому-то, быть можетъ, Плеве хотѣлось разспросить его, не слышалъ ли онъ чего-либо о тѣхъ мѣрахъ, какія собираются принять для обезпеченія пограничной линіи отъ безпорядковъ и неурядицъ здѣсь господствующихъ.

— Я не знаю ничего ни о самихъ средствахъ, ни о причинахъ, которыя могли ихъ вызвать,—проговорилъ Золингеръ,—потому что я вообще мало знаю.

Старый чиновникъ въ нѣсколькихъ словахъ объяснилъ ему—въ чемъ дѣло.

Золингеръ многозначительно покачалъ своей сѣдой голово

— Я не могу судить объ этомъ,—сказалъ онъ,—но исходя изъ понятія правъ человѣчества и народа, мнѣ кажется, слѣдуетъ поступать очень осторожно и осмотрительно съ этими бѣдными людьми. Тутъ, кромѣ пограничнаго вопроса, есть еще другой—вопросъ національный. Эти двѣ націи находятся между собою въ вѣчной борьбѣ, которую слѣдовало бы скорѣе смягчать и ослаблять, чѣмъ раздражать.

— Извините,—вмѣшался Фрейеръ,—кротость уже пробовали, но она ни къ чему не повела. Нужно какъ можно больше строгости.

Плеве посмотрѣлъ на говорившаго, Золингеръ пожалъ плечами.

— Я не раздѣляю вашего убѣжденія,—отвѣтилъ онъ. Я люблю свою родину Германію, но считаю ее такой великой и сильной, что ей некого и нечего бояться, а, слѣдовательно, и не зачѣмъ прибѣгать къ строгостямъ. Здѣсь же мы имѣемъ дѣло съ народомъ несчастнымъ, благороднымъ, угнетеннымъ, чувства котораго слѣдуетъ уважать и даже прощать его заблужденія.

Фрейеръ начиналъ волноваться.

— Я тоже не раздѣляю вашего мнѣнія,—возразилъ онъ.—Щадя и уважая, мы никогда не будемъ имѣть покоя.

— Я не говорилъ о безнаказанности,—серьезно отвѣчалъ Золингеръ,—но я думаю, что вообще не стоитъ разговаривать объ этомъ, такъ какъ намъ не суждено играть въ этомъ дѣлѣ рѣшающей роли.

— Но мы можемъ быть призваны содѣйствовать правительству,—сказалъ Фрейеръ.

— Тогда мы будемъ послушны,—отвѣчалъ Золингеръ.

Шумъ около бильярда на минуту заглушилъ разговоръ, такъ что пришлось его прервать.

— А вашъ сосѣдъ,—спросилъ Плеве Фрейера,—почтенный старый полякъ, съ которымъ вы такъ давно воюете... живъ и здоровъ?

— Кажется,—улыбаясь отвѣчалъ Фрейеръ,—но я его давно не видалъ.

Золингеръ съ любопытствомъ насторожилъ уши.

— Вы говорите о старикѣ Любаховскомъ?—вмѣшался

онъ.—Я знаю, что вы его не любите и постоянно ведете съ нимъ тяжбы; но, позвольте вамъ сказать откровенно, вина въ этомъ ваша. Я тоже давно знаю Любаховскаго и хорошо его знаю; какъ и многіе изъ его родичей, онъ не имѣетъ никакихъ предубѣжденій ни противъ нѣмцевъ, ни противъ другихъ націй. Человѣкъ онъ честный, справедливый, спокойный...

— Да,—засмѣялся Фрейеръ со злостью, которая овладѣла имъ при этихъ похвалахъ,—да, по вашему я во всемъ виноватъ, а онъ агнецъ невинный. Вы говорите, что онъ ничего не имѣетъ противъ нѣмцевъ? Спросите-ка, вывѣшивалъ ли онъ когда-нибудь флагъ, справлялъ ли наши народные праздники? Онъ думаетъ только о себѣ и о своихъ...

— Потому что долженъ же онъ защищаться, когда на него со всѣхъ сторонъ нападаютъ, тѣснятъ, хотятъ отнять у него все самое дорогое. Кто родился полякомъ или нѣмцемъ, имѣетъ право остаться имъ до самой смерти.

— Хорошій же вы патріотъ? — вскричалъ Фрейеръ. — Счастье еще, что не всѣ на васъ похожи, а то поляки съѣли бы насъ съ кашей.

Золингеръ сдѣлалъ движеніе головой, но безъ малѣйшаго гнѣва.

— Нужны у насъ, конечно, и такіе, какъ вы, которые подстрекаютъ и разжигаютъ,—проговорилъ онъ,—но не обойдется дѣло и безъ такихъ, какъ я, которые сдерживаютъ. Криками и шумомъ, спорами и войной мы ничего не выгадаемъ, а только возбудимъ къ себѣ ненависть. Почитайте-ка Шиллера и вдумайтесь въ него:—слѣдуетъ любить людей, не глядя на ихъ цвѣтъ.

— Ерунда!—подхватилъ Фрейеръ.—Я знаю только одно, что намъ давно надо бросить эти фантазіи, мечты. Эта ваша политика хороша для барышень и старыхъ ханжей, а не для крѣпкаго сильнаго народа. Пусть только насъ боятся, я не забочусь о томъ, чтобы любили!

Фрейеръ провозглашалъ это съ такимъ жаромъ, что даже нѣсколько бильярдныхъ игроковъ подошли къ столу и слушали его.

— Фрейеръ!—проговорилъ одинъ изъ нихъ,—ты повторяешь то, что другіе писали и говорили; это вещи не новыя. Знаемъ мы это исповѣданіе вѣры, оно уже устарѣло.

— Таково мое убѣжденіе,—подтвердилъ Фрейеръ.

Золингеръ выпилъ пива и равнодушно глядѣлъ на сосѣда.

— У меня такая натура, что я не могъ бы жить съ ненавистью въ сердцѣ, съ гнѣвомъ и желчью, потому что это отравляло бы меня,—проговорилъ онъ, обращаясь къ Плеве.—Мнѣ кажется также, что если бы мы обращались съ поляками мягко, мы усыпили бы ихъ, а такъ мы только раздражаемъ ихъ и поддерживаемъ ихъ ненависть къ намъ. Быть можетъ, они виноваты въ томъ, что слишкомъ намъ надоѣдаютъ, но мы виноваты еще болѣе, потому что они слабы, а мы сильны. Давно бы у насъ все было смирно и княжество Познанское превратилось бы въ нѣмецкое, если бы мы старались расположить ихъ къ себѣ кротостью и мягкостью.

Фрейеръ повелъ плечами.

— Совершенно напротивъ,—отвѣчалъ онъ.—Если бы мы не были черезчуръ добры и не прощали, всѣ бы уже говорили по-нѣмецки и никто не посмѣлъ бы произносить такихъ дерзкихъ рѣчей въ парламентѣ.

Плеве пустилъ дымъ изъ трубки и молча смотрѣлъ на потолокъ, слушая споръ, но не вмѣшиваясь въ него, одинаково хмурясь и когда Фрейеръ объявлялъ войну, и когда Золингеръ проповѣдовалъ миръ.

Наконецъ, онъ дернулъ за полу ближе стоящаго Фрейера и сказалъ ему съ важностью чиновника:

— Довольно! Не слѣдуетъ позволять себѣ вслухъ подобные споры въ публичныхъ мѣстахъ.

Фрейеръ уже былъ раздраженъ, къ тому же ему казалось, что онъ такъ выслужился своимъ патріотизмомъ, что можетъ не слушать чиновника. Золингеръ, какъ другъ Любаховскаго, давно былъ ему ненавистенъ.

— Извините,—вскричалъ онъ, засовывая руки въ карманъ и надуваясь,—я не думаю скрывать своихъ убѣжденій и считаю своею обязанностью разбивать превратныя и вредныя понятія другихъ. Надо сорвать маску съ этихъ сладкихъ патріотовъ.

— Что?—отозвался Золингеръ, поднимая голову.—Въ чей это огородъ вы камушки мечете?

— Въ вашъ, въ вашъ, пріятель поляковъ и пана Люба-

ховскаго! — закричалъ Фрейеръ. — Но ужъ недолго вамъ придется провозглашать эти евангельскія истины. Скоро придется выступить противъ нихъ или вмѣстѣ съ ними убираться вонъ, потому что мы здѣсь дольше терпѣть поляковъ не желаемъ.

Золингеръ, пораженный такимъ открытымъ нападеніемъ, молчалъ съ минуту.

— Герръ Фрейеръ,—проговорилъ онъ, наконецъ,—объясните мнѣ, что это значитъ? Какъ я вижу, вы собираетесь гнать отсюда тѣхъ, кто здѣсь сидитъ дольше насъ самихъ? По какому же праву? Кто вамъ будетъ помогать?..

— Вѣдь это уже не тайна,—отвѣчалъ Фрейеръ,—что готовится новый законъ, который очиститъ эту нашу землю отъ разныхъ Любаховскихъ и Дыдановъ, и даже и отъ такихъ патріотовъ, какъ вы!

— Ого! ого!—отвѣчалъ Золингеръ.—Неужели это правда?

— Вотъ увидите сами!—все болѣе и болѣе горячился Фрейеръ, видя смѣхъ на лицахъ бильярдныхъ игроковъ и негодованіе на лицѣ Плеве. — Будетъ изданъ законъ, который дастъ намъ въ руки оружіе для избавленія отъ такихъ пришельцевъ, какъ Любаховскій.

— Ну... и какъ Золингеръ тоже?—подхватилъ сосѣдъ, указывая на себя.

— Кто знаетъ?—проворчалъ Фрейеръ. — Отецъ или дѣдъ вашъ притащился сюда изъ прибалтійскихъ провинцій... Мать или бабушка была изъ польскаго семейства. Вы не нашъ.

Золингеръ поблѣднѣлъ.

— Если здѣсь дѣйствительно должно водвориться господство такихъ людей и такихъ идей, какія вы проповѣдуете, такъ ужъ я лучше уйду отсюда съ сумой, чѣмъ оставаться съ вами.

Тщетно старался Плеве удержать ихъ.

— Ужъ я знаю,—вскричалъ Фрейеръ, — что такіе люди, какъ я, сидятъ со своими идеями высоко, а вы...

— Послушайте, Фрейеръ,—перебилъ его Золингеръ, съ трудомъ сдерживаясь,—я не знаю, съ чего вамъ пришло въ голову публично привязаться ко мнѣ и объявить войну. Я могъ вамъ простить это только потому, что вы выпили...

Окружающіе ихъ бильярдные игроки начали апплодировать и вслухъ высказывать свое одобреніе Золингеру, что окончательно привело Фрейера въ бѣшенство.

— Послушай, Золингеръ!—закричалъ онъ,—я тебѣ только одно скажу, что я выгоню твоего пріятеля изъ Любахувки и приложу всѣ свои старанія, чтобы ты сопутствовалъ ему. Намъ тутъ не надо ни поляковъ, ни такихъ нѣмцевъ, какъ ты.

Говоря это, Фрейеръ повернулся, надвинулъ на голову шапку и, засунувъ руки въ карманъ, расталкивая локтями столпившихся вокругъ нихъ гостей, вышелъ, сопровождаемый ихъ смѣхомъ, сѣлъ въ телѣжку и поѣхалъ домой.

Золингеръ сѣлъ, вытирая потъ со лба, и тихо спросилъ Плеве:

— Что это съ нимъ сдѣлалось? Или онъ былъ пьянъ?

— Конечно!—отвѣчалъ старый чиновникъ, спокойно и флегматично вытряхивая трубку.—Столько ужъ лѣтъ вы живете рядомъ и не знаете Фрейера? Поговариваютъ и это уже не тайна, что готовится какой-то новый законъ противъ польскаго населенія этого края, по которому всѣ, не здѣсь родившіеся, хотя бы и давно живущіе, подвергаются выселенію. Фрейеръ прослышалъ про это, надѣется извлечь выгоды, хотя бы для того, чтобы отмстить полякамъ за то, что долго не могъ ничего сдѣлать... Ну, и опьянѣлъ отъ этой новости!

— Какой же новости?—спросилъ Золингеръ, качая головой.—Вѣдь это просто кто-нибудь подшутилъ надъ нимъ. Такого подлаго закона у насъ никогда не было, да навѣрно и не будетъ.

Плеве промолчалъ.

— Какъ вы думаете?—обратился къ нему Золингеръ.

Но Плеве былъ очень остороженъ.

— Я ничего не знаю и ни о чемъ не смѣю думать,—сказалъ онъ.—Бываютъ иногда политическія крайности... Покойный Baerensprung всегда говорилъ, что политика на розовой водѣ ничего не стоитъ. Поляки надоѣдаютъ намъ въ своихъ газетахъ, въ парламентѣ возстановили противъ себя всѣхъ своими дерзкими рѣчами.

Золингеръ вздохнулъ.

— Но вѣдь какой-нибудь Фрейеръ не можетъ имѣть никакой силы!

— Надоѣдать сумѣетъ и самый маленькій, — отвѣчалъ Плеве,—но вѣдь это все еще за горами, а я не знаю ничего, ничего не знаю.

Говоря это, Плеве всталъ, аккуратно вытеръ свою фарфоровую трубку и, положивъ ее за пазуху сюртука, расплатился за пиво, поклонился всѣмъ и величественными шагами вышелъ изъ бильярдной залы.

Золингеръ долго еще сидѣлъ неподвижно, словно прикованный, вздыхалъ и раздумывалъ, совершенно забывая, гдѣ онъ, когда къ нему подошелъ отъ бильярда молоденькій, только-что сюда присланный чиновникъ прямо съ университетской скамьи. Румяное лицо его носило еще слѣды буршевскихъ дуэлей, которыя оставили на немъ почетные шрамы, но буршевская шапочка и лента цвѣтовъ корпораціи пошли уже на стѣну вмѣстѣ съ рапирой, маской и остальными атрибутами.

Это былъ знакомый Золингера Елеазаръ Бауръ, человѣкъ новѣйшей формаціи, воспитанный на послѣднемъ словѣ науки, поборникъ всего новаго, прогресса и самаго крайняго матеріализма. Не имѣя возможности здѣсь, въ маленькомъ городкѣ, удовлетворить свою жажду къ разсужденіямъ и спорамъ, онъ все нападалъ на Золингера, хотя тотъ не могъ равняться съ нимъ ни образованіемъ, ни живостью ума.

Онъ безцеремонно ударилъ его по плечу.

— А что, достопочтенный Золингеръ,—заговорилъ онъ,— вы поспорили съ этимъ контрабандистомъ Фрейеромъ. Изъ за чего же все вышло?

Старикъ поднялъ голову и привѣтствовалъ Баура пріятной улыбкой.

— Мы никогда не соглашаемся съ Фрейеромъ,—медленно проговорилъ онъ.—Не онъ виноватъ, что природа наградила его такимъ темпераментомъ, какъ у хищныхъ животныхъ. Ему нужна постоянная война, а мнѣ покой. Представьте себѣ,—продолжалъ онъ,—Фрейеръ неизвѣстно откуда выдумалъ, что готовится новый законъ, который выселитъ отсюда давно поселившееся польское населеніе, чтобы очистить мѣсто нѣмецкимъ колонистамъ. Я нахожу такой законъ невозможнымъ, по его жестокости и безжалостности.

Молодой чиновникъ улыбнулся.

— Милый Золингеръ, законъ не нуждается въ томъ, чтобы его подслащивали, его диктуютъ разные политическіе виды.

— Это было бы несправедливо,—твердилъ Золингеръ.

— Бываютъ исключительныя обстоятельства, когда величайшая несправедливость справедлива, — продолжалъ молодой человѣкъ,—вы все мѣрите ученіями Евангелія и Христа, а онѣ—уже утратили свою силу...

— Не для меня, потому что я ихъ признаю, — отвѣчалъ Золингеръ,—и для меня онѣ служатъ критеріемъ каждаго закона. Я не понимаю нравственности частной, раздѣльно отъ общественной. Что истина для отдѣльнаго человѣка, то должно быть такой же истиной для всего народа, для всего государства. Если она не встрѣчаетъ должнаго уваженія въ высшихъ сферахъ, то что же удивительнаго, если она будетъ въ забросѣ и пренебреженіи въ низшихъ?

Бауръ продолжалъ стоять, медленно закуривая сигару.

— Вы, Золингеръ, стоите на рубежѣ, который наука давно уже переступила. Государство имѣетъ право сдѣлать въ свою защиту все, чего требуютъ обстоятельства. Можно жертвовать людьми, идеями, допустить насиліе въ защиту государства.

— Итакъ, все возможно?—подхватилъ Золингеръ.

Бауръ молча подтвердилъ это.

— Какъ честный человѣкъ, — прибавилъ онъ черезъ минуту,—я буду сожалѣть эти жертвы политики, но, какъ человѣкъ служащій, я долженъ не имѣть жалости ни къ кому, подобно тому, какъ не имѣетъ жалости хирургъ, отрѣзая ногу раненому.

— Сравненіе неудачное,—отвѣчалъ Золингеръ.—Позвольте уже мнѣ остаться при своей старой нравственности и вѣрить въ то, что зло—всегда зло и никогда не остается безнаказаннымъ.

— Если бы я даже и желалъ разубѣждать васъ, — сказалъ Бауръ, послѣ минутнаго молчанія, — то все равно не буду въ состояніи это сдѣлать. Мы слишкомъ далеко стоимъ другъ отъ друга и никогда не можемъ сойтись въ убѣжденіяхъ...

Золингеръ всталъ и вдругъ спросилъ Баура:

— Кто же у васъ выигралъ на бильярдѣ?

Они подали другъ другу руки и разошлись въ разныя стороны.

Домъ Треубернеровъ въ Берлинѣ вполнѣ соотвѣтствовалъ тому видному положенію, какое занималъ Робертъ. Онъ принужденъ былъ держать его на извѣстную ногу, имѣть экипажи и красивыхъ лошадей, принимать въ опредѣленные дни нѣкоторыхъ чиновниковъ, одѣвать жену, потому что все это такъ ужъ было предписано свыше и личная иниціатива не имѣла никакого значенія. Марія также была обучена мужемъ, какъ она должна держать себя въ обществѣ, кого принимать и гдѣ показываться. Болѣе скромное мѣсто предоставило бы ему гораздо болѣе личной свободы. Его же положеніе, при которомъ онъ долженъ былъ принимать пословъ и иностранныхъ дипломатовъ, было чистой неволей: на него обращались взоры всѣхъ, каждый шагъ его объясняли. Такимъ образомъ, все здѣсь было разсчитано.

Какъ самъ онъ приносилъ свои обязанности отца семейства, мужа и сына въ жертву службѣ, такъ требовалъ, въ свою очередь, чтобы и жена его слѣпо исполняла всѣ его приказанія. Марынка сначала отбивалась отъ мужа, пробовала ему противиться, но встрѣчала въ немъ желѣзную волю, обусловленную служебной неволей. Отъ этой службы зависѣла вѣдь его судьба, вся будущность дѣтей—нужно же ей было покориться. Результатомъ этого было то, что жизнь утратила всю свою прелесть и превратилась въ сплошную службу.

— Задачи наши велики,—сознался ей наконецъ мужъ,— мы создаемъ новую страну; то, чего не сдѣлаютъ десять вѣковъ — сліянія единоплеменныхъ народовъ, соединенія ихъ одними законами, одними браздами правленія, превращенія въ одно государство,—то собираемся исполнить мы. Самый холодный человѣкъ оживился-бы при такомъ дѣлѣ и пожертвовалъ собой, какъ я...

Марынка не понимала его словъ и молчала; она знала только, что должна быть послушной мужу. Тоска и любовь

влекли ее въ другую сторону. Она старалась удержать дѣтей, но и тѣ черезъ нѣсколько лѣтъ начали скользить у нея изъ рукъ. Одинъ изъ двухъ сыновей, изъ особенной любви къ ней, началъ тайкомъ, съ большою осторожностью, учиться по польски и съ дѣтскимъ любопытствомъ разспрашивать мать, таскать у нея книги, совершенствоваться въ запрещенномъ языкѣ. Какъ старшій Юліанъ былъ большимъ любимцемъ отца, такъ этотъ сталъ любимцемъ матери.

Черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ свадьбы любовь Роберта совершенно остыла и ихъ связывала только общность интересовъ и привязанность къ дѣтямъ.

Утомленная, скучающая, почти покинутая мужемъ, у котораго не хватало времени даже для службы, Марынка находила извѣстнаго рода развлеченіе въ жизни большого свѣта. Литературный и артистическій свѣтъ, занимающіеся спортомъ и политикой, всѣ охотно шли къ нимъ, составляя изъ себя дворъ красавицы-хозяйки. Мужъ пользовался всѣмъ этимъ самымъ разнообразнымъ способомъ, а она и не догадывалась даже, что часто невольно служила весьма важнымъ интересамъ.

Въ минуту, когда готовился новый законъ, Робертъ былъ выбранъ въ коммиссію, которая должна была обсудить возможность его примѣненія и послѣдствія.

Ему не было никакого дѣла, что законъ этотъ касался того народа, къ которому принадлежала его жена, такъ какъ не питалъ къ ней ни малѣйшаго сочувствія; только уже потомъ онъ спохватился, что законъ можетъ задѣть его тестя, а, слѣдовательно, косвенно и жену... Однако, онъ ничего не сказалъ ей. Она откуда-то стороной узнала о готовящемся законѣ, и, сильно этимъ встревоженная, отпросилась повидаться съ отцомъ. Подобныя путешествія были такъ рѣдки, что мужъ не могъ ей отказать. Онъ попробовалъ разспросить Марынку, не слышала-ли она чего, но она не выдала себя и уѣхала. Затянувшійся визитъ ея къ отцу сильно его обезпокоилъ, такъ что, наконецъ, онъ написалъ къ ней, требуя немедленнаго возвращенія. Сначала отговаривалась болѣзнью, потомъ Марынка пріѣхала. Такъ какъ уже сильно распространился слухъ о новомъ законѣ, то Робертъ догадался, что она уже знаетъ обо всемъ...

Она не пожаловалась ему ни однимъ словомъ. Зная, что все это ее сильно занимаетъ, Робертъ испугался этого молчанія, но самъ со своей стороны продолжалъ нѣкоторое время хранить молчаніе.

Когда открылось засѣданіе парламента, онъ въ одинъ прекрасный день увидѣлъ въ публикѣ жену, и вернувшись домой выразилъ ей свое удивленіе, что такія неинтересныя засѣданія парламента интересовали ее.

— Извини,—отвѣчала она ему съ небывалой до тѣхъ поръ откровенностью,—я не надоѣдаю тебѣ своей польщизной, но я не забыла родины, не охладѣла къ ней. Дѣло идетъ о судьбѣ тысячи нашихъ семействъ.

Чиновникъ сильно поморщился.

— Наши семьи!—повторилъ онъ съ сарказмомъ.—Я тутъ ничего нашего не вижу. Выходя за меня, ты должна была отречься отъ всего не-нѣмецкаго.

— Ты не можешь обвинить меня, чтобы я дѣйствовала противъ твоихъ интересовъ,—гордо прервала она,—но позволь-же мнѣ хоть поплакать надъ горькой участью людей, съ которыми меня соединяетъ общность происхожденія.

— Ты религіозна,—горячо заговорилъ Робертъ,—позволь-же напомнить тебѣ, что Св. Писаніе приказываетъ женѣ идти за мужемъ и отречься отъ отца съ матерью.

— Кажется, я уже сдѣлала достаточно въ угоду этому приказанію,—холодно, отвѣчала Марынка, собираясь уйти. Мужъ удержалъ ее.

— Если этотъ новый законъ производитъ на тебя такое впечатлѣніе, что ты готова обнаружить свою симпатію къ полякамъ, такъ не лучше-ли было-бы намъ совершить теперь путешествіе въ Италію, котораго ты такъ желала?

— Благодарю тебя; я не желаю путешествовать; останусь дома.

— Еще одно слово,—проговорилъ мужъ,—и одна просьба. Несомнѣнно, что поляки, которые будутъ прибѣгать ко всевозможнымъ средствамъ для своей защиты, обратятся къ тебѣ. Я долженъ заранѣе предупредить тебя, что напрасно было-бы обращаться ко мнѣ съ чѣмъ-бы то ни было подобнымъ, касающимся новаго закона и его исполненія... Даже если бы дѣло

шло о твоемъ родномъ отцѣ, — я не шевельну пальцемъ...

Марынка обратила къ нему свое пылающее лицо.

— Я убѣждена была въ томъ, что ничего-бы не добилась отъ тебя просьбами,—произнесла она,—дя я и не подумала-бы просить; но если это преслѣдованіе коснется моего отца, я раздѣлю съ нимъ его участь.

Робертъ стоялъ молча; она вышла, даже не взглянувъ на него.

Въ теченіе супружеской жизни, Робертъ, повидимому, совершенно обезопасилъ себя съ той стороны, что не встрѣтитъ въ женѣ ни малѣйшаго сопротивленія; ему казалось, что борьба съ нею благополучно окончена. Новый законъ сначала нисколько не тревожилъ его; онъ не допускалъ мысли, чтобы онъ отозвался на немъ самомъ. Только случай навелъ его на мысль, что и тесть его переселенецъ изъ царства Польскаго и, такимъ образомъ, тоже подлежитъ новому закону, который готовится быть примѣненнымъ съ неумолимою строгостью.

Въ поданныхъ ему бумагахъ онъ нашелъ это имя на проскрипціонномъ листѣ. Казалось, люди, помѣстившіе его въ списокъ, предвидѣли, что его, быть можетъ, придется вычеркнуть, такъ какъ тутъ же приводили замѣчанія и резоны, по которымъ Любаховскій могъ остаться нетронутымъ.

Но именно потому, что Любаховскій былъ его тестемъ, что снисхожденіе уже было слишкомъ ясно, Робертъ рѣшилъ не вмѣшиваться въ это и предоставить закону свободное поле дѣятельности со всѣми его послѣдствіями.

Предупрежденіе жены, что она раздѣлитъ участь отца, знаніе ея характера, сильно его встревожили. Онъ не зналъ, что дѣлать.

Послѣдствія представлялись грозными. Хуже всего была огласка, скандалъ, паденіе дома, который онъ принужденъ былъ бы закрыть, и тѣнь, какую бросило бы на него все это происшествіе, которое заставило бы заподозрѣть какія-то таинственныя причины, долго скрываемыя.

Робертъ Треубернеръ не принадлежалъ къ числу людей поддающихся фатализму. Ему казалось, что онъ сумѣетъ все это измѣнить, когда дѣло дойдетъ до обнародованія того, что до сихъ поръ было тайной для жены и ея отца.

Въ теченіе нѣсколькихъ дней они почти не разговаривали. Марынка ходила взволнованная, встревоженная, но съ большимъ запасомъ энергіи.

Однажды вечеромъ, послѣ ухода гостей, мужъ, уходя къ себѣ въ кабинетъ, остановилъ ее, подъ предлогомъ пожелать спокойной ночи.

— Милая Marie,—мягко проговорилъ онъ,—ты заставила меня призадуматься надъ нашимъ послѣднимъ разговоромъ. Мнѣ бы хотѣлось знать, что это только угроза или дѣйствительно твердое рѣшеніе заплатить мнѣ за нѣсколько лѣтъ счастливой жизни—скандаломъ?..

Жена взглянула ему въ глаза съ такимъ выраженіемъ отчаянной энергіи, что Робертъ невольно отступилъ.

— Почему ты предлагаешь мнѣ этотъ вопросъ?—спросила она.—Уже рѣшена участь моего отца?

— Я ничего не знаю объ этомъ,—отвѣчалъ Робертъ,—но я только замѣчаю тебѣ, что ты убьешь все наше прошлое, если сдѣлаешь то, что грозила сдѣлать, что судьбу твоихъ дѣтей... ихъ будущее ты приносишь въ жертву мести, на которую тебя могли подстрекнуть развѣ только злые люди, ваши бунтовщики, однимъ словомъ—вся эта полякерія.

— Я никого не вижу и ни съ кѣмъ не говорю, а слушаюсь только своего сердца и совѣсти,—вскричала Марынка.—Еще ничего нѣтъ покуда, отъ отца я не получала никакихъ извѣстій, такъ чего же ты безпокоишься?..

— Помни о дѣтяхъ!—прибавилъ Робертъ, какъ бы собираясь уходить.

— Дѣти?—повторила она,—да развѣ это мои дѣти? Я знаю только твоихъ сыновей, въ нихъ нѣтъ ничего моего.

Говоря это, она вышла, оставивъ его одного. Странно звучали эти слова въ ушахъ Треубернера. Онъ чувствовалъ, что она права, ему было ее жалко, прежняя любовь просыпалась въ сердцѣ, онъ колебался.

Строгій и неумолимый чиновникъ въ первый разъ почувствовалъ въ себѣ человѣка. Невѣрными шагами направился онъ въ канцелярію, гдѣ хотѣлъ отдохнуть и подумать; но на порогѣ онъ увидѣлъ чиновника съ знакомымъ ему зеленымъ портфелемъ, заключавшимъ всѣ свѣдѣнія по интересовавшему его дѣлу.

Онъ боялся взгляда посторонняго человѣка, боясь, что тотъ можетъ прочесть что-либо у него на лицѣ.

Подумавъ минуту, онъ велѣлъ положить портфель въ сторону, на бюро, говоря, что у него теперь есть болѣе спѣшная работа.

Усѣвшись въ кресло, онъ долго оставался неподвиженъ, не смѣлъ дотронуться до бумагъ. Потъ выступилъ на чело, грудь тяжело дышала.

Наконецъ, онъ торопливо схватилъ портфель, вскрылъ и началъ рыться. Любахувкѣ былъ посвященъ цѣлый отдѣльный листъ. Это Фрейеръ и Браузе доставляли матеріалъ. Начиная со старика Любаховскаго, всѣ, поселившіеся здѣсь, подлежатъ проскрипціи. Онъ самъ, экономка, Дыдась, Худзибой, а главное—жена его, признаны были не только подлежащими выселенію, но и вообще какъ личности опасныя, для которыхъ, пожалуй, надо издавать новый законъ, который помогъ бы отъ нихъ отдѣлаться.

Робертъ нѣсколько разъ прочиталъ этотъ листъ, желая хорошенько укрѣпить его содержаніе въ своей памяти, и положилъ обратно.

Пока все это происходило въ кабинетѣ главы семейства, жена его ходила по своей комнатѣ и, останавливаясь передъ зеркаломъ, сама находила, что ея лицо могло бы послужить моделью приговореннаго къ смерти, ожидающаго чтенія приговора.

Какъ разъ въ этотъ день Юліанъ получилъ позволеніе прійти изъ школы домой къ родителямъ. Ему сказали, что отецъ занятъ, и онъ постучался къ матери.

Юліанъ былъ такимъ красивымъ мужчиной, какихъ даютъ только скрещивающіяся племена. Изъ обоихъ родовъ, къ которымъ онъ принадлежалъ кровью, онъ взялъ то, что было въ каждомъ изъ нихъ благороднаго; нѣмецкая кровь дала ему силу, а польская—красоту и привлекательность, которыя смягчали ее. Увидѣвъ его, мать бросилась обнимать и въ радости осыпала его поцѣлуями.

— Какимъ же это чудомъ?—спросила она.

— Я получилъ маленькій отпускъ,—засмѣялся Юліанъ,—такъ какъ отецъ, желая видѣться со мной, самъ выхлопоталъ этотъ отпускъ.

— Ты видѣлъ его?—подхватила мать.

— Нѣтъ,. онъ занятъ,—отвѣчалъ Юліанъ.

Вдругъ ей пришло въ голову, что сынъ этотъ можетъ превратиться въ оружіе противъ нея. Она вся задрожала.

Юліанъ остановился, чувствуя, что сталкивается здѣсь съ чѣмъ-то неожиданнымъ и важнымъ. Любопытство его было сильно возбуждено.

Марія схватила его за руку.

— Читаешь ты газеты? Знаешь, что дѣлается на свѣтѣ?

— Газетъ намъ не даютъ,—отвѣчалъ Юліанъ, всматриваясь въ измѣнившееся лицо матери.—Да онѣ меня не очень-то и интересуютъ... Газеты врутъ.

— Такъ что ты ничего не слыхалъ о новомъ законѣ противъ поляковъ?—спросила мать.

— Какое мнѣ до нихъ дѣло?—равнодушно замѣтилъ Юліанъ.

— Твоя мать полька.

— Была,—поправилъ Юліанъ съ улыбкой.

— Твой дѣдъ—отецъ ея, какъ полякъ, долженъ подвергнуться изгнанію.

— Должно быть, поляки въ чемъ-нибудь провинились противъ насъ,—сказалъ Юліанъ.

Послѣ этого короткаго разговора мать почувствовала себя такъ далеко отъ сына, что уста ея замкнулись. Юліанъ стоялъ передъ нею, не обнаруживая ни малѣйшаго волненія.

Напрасно онъ ожидалъ продолженія разговора—она отошла, какъ-бы разсерженная. Юношѣ сдѣлалось неловко, онъ не посмѣлъ возобновить разговора.

— Отецъ, навѣрное, ждетъ тебя,—проговорила она послѣ многозначительнаго молчанія.—Я не хочу, чтобы онъ подумалъ, что я тебя отнимаю у него.

Юліанъ колебался, оглядывался; но потомъ, привыкши безпрекословно исполнять приказанія, вышелъ, не противясь желанію матери.

Черезъ какой-нибудь часъ его позвали изъ сада, гдѣ онъ свободно курилъ сигару, въ кабинетъ къ отцу. Онъ засталъ отца надъ бумагами, блѣднаго и грустнаго.

Разспросивъ объ ученьи, объ отпускѣ, о здоровьи, Робертъ всталъ.

— Ты былъ у матери?—спросилъ онъ.

— Былъ; она велѣла мнѣ явиться къ вамъ.

— Говорилъ ты съ ней?

— Нѣсколько словъ. Она упоминала о какомъ-то законѣ.

Онъ взглянулъ на отца, который стоялъ противъ него.

— Я этого совсѣмъ не понимаю, — прибавилъ молодой Треубернеръ.

— Къ несчастію,—замѣтилъ Робертъ,—твоя мать и ея отецъ—польскаго происхожденія.

— Но не я!—равнодушно засмѣялся Юліанъ.

— Мать твоя предчувствуетъ, что законъ этотъ коснется ея отца,—продолжалъ Робертъ.—Старайтесь утѣшать ее.

Юліанъ, для котораго все это дѣйствительно было непонятно, слегка повелъ плечами. Онъ не придавалъ всему этому большого значенія. Его гораздо болѣе интересовало порученіе осмотрѣть франконскихъ лошадей, которыхъ покупалъ отецъ, и полученный имъ билетъ въ королевскій театръ. Онъ сейчасъ же пошелъ къ лошадямъ.

Между тѣмъ въ комнатѣ Маріи младшій сынъ Гриша, ея любимецъ, сидѣлъ у стола, куда ему подали его любимыя кушанья.

У Гриши все лицо улыбалось отъ удовольствія. Менѣе красивый, чѣмъ братъ, слишкомъ толстый для своихъ лѣтъ, Гриша имѣлъ въ лицѣ выраженіе добродушія и какъ-бы поэтической мечты. Съ большимъ трудомъ, шепотомъ, оглядываясь, говорилъ онъ съ матерью ломанымъ польскимъ языкомъ.

Мать приготовляла его къ разлукѣ съ ней. Гриша становился все грустнѣе,—опершись на локти, вытиралъ глаза.

— Ты не сдѣлаешь этого,—проговорилъ онъ,—и, наконецъ, я не могъ бы жить безъ тэбя, мама! Отецъ не можетъ быть такъ жестокъ! У него доброе сердце!

Мать молчала.

— Хочешь, я брошусь ему въ ноги и буду просить за дѣда?

— Это ни къ чему бы не повело,—холодно отвѣчала она.

У мальчика слезы потекли изъ глазъ, онъ положилъ голову на руки и зарыдалъ. Оба плакали.

Между тѣмъ Гришу искали по всему дому, чтобы позвать къ отцу, который съ нетерпѣніемъ его ждалъ. Робертъ очень

хорошо зналъ, что младшій сынъ любимецъ матери, но не думалъ, чтобы эта материнская любовь могла повліять даже на національное чувство ребенка.

Когда Гриша вошелъ съ заплаканными глазами, Робертъ, который видѣлъ въ этомъ уговариваніе матери и приготовленіе къ сопротивленію, принялъ строгій видъ, принимая его.

— Ты возвращаешься отъ матери, какъ я вижу,—закричалъ онъ издали.—Въ твоемъ возрастѣ быть склоннымъ къ слезамъ...

Мальчикъ имѣлъ время собрать всю свою рѣшимость.

— Я видѣлъ плачущую мать,—проговорилъ онъ.

— Что же это случилось съ матерью?

— Она боится за нашего дѣда,—сказалъ Гриша,—и я прихожу теперь просить за него.

— Не знаю, чѣмъ я могу ему быть полезенъ,—сухо произнесъ Робертъ,—а тебѣ совѣтую не вмѣшиваться въ дѣла старшихъ.

Мальчикъ промолчалъ. Онъ выпрямился, какъ передъ военнымъ начальникомъ, отъ котораго ждетъ приказанія.

— Отецъ твоей матери—полякъ, мы—нѣмцы. Дѣло его ко мнѣ не относится.

Не получивъ отвѣта на это наставленіе, Робертъ поглядѣлъ на сына.

— Мать твоя, кажется, грозитъ, что пойдетъ за отцомъ, если его выселятъ. Она не имѣетъ на это права.

Робертъ ждалъ съ минуту, ожидая повидимому, что сынъ будетъ ему возражать. Гриша хранилъ молчаніе.

— Вы должны оба утѣшить мать и не допустить до того, чтобы она причинила мнѣ такое огорченіе. Я знаю, что Юліанъ будетъ настолько уменъ, а ты?

Гриша не заставилъ долго ждать своего отвѣта.

— Я пойду за матерью,—коротко отвѣчалъ онъ.

Треубернеръ поблѣднѣлъ. Рука, въ которой онъ держалъ бумагу, задрожала, брови сдвинулись. Онъ указалъ сыну на дверь и отвернулся отъ него. Гриша вышелъ.

Марія плакала въ своей комнатѣ, когда онъ вернулся къ ней, подбѣжалъ и началъ цѣловать её, крича:

— Я сказалъ отцу... пойду за тобой...

Мать обняла его и крѣпко прижала къ сердцу.

— Нѣтъ, дорогой мой,—проговорила она сквозь слезы,—я пойду одна. Я не хочу, чтобы ты бросилъ отца, который никогда тебѣ не простилъ бы этого. Но помни, помни всю свою жизнь, что у тебя была мать полька, несчастная, которая...

Она не докончила. На крикъ, вырвавшійся изъ ея устъ, прибѣжала служанка и ее начала приводить въ чувство.

Гриша все время цѣловалъ ей руки, повторяя, что онъ такъ и умретъ съ этой любовью къ ней и къ странѣ, дочерью которой она была.

Наконецъ, слезы прекратились, мать сама измѣнила разговоръ съ Гришей, отстраняя мрачное воспоминаніе о томъ, что имъ угрожало. Она стала распрашивать его объ ученьи, о товарищахъ, объ успѣхахъ. Въ это время вошелъ Юліанъ, присланный отцемъ.

Братья, которые были въ разныхъ заведеніяхъ и видались рѣдко, встрѣтились, тѣмъ не менѣе, холодно. Давно уже продолжалось между ними какое-то несогласіе. Юліанъ завидовалъ младшему въ любви къ нему матери, въ способностяхъ, хотя у него самого не было въ нихъ недостатка, наконецъ въ выбранномъ имъ поприщѣ, которое казалось ему и легче, и привлекательнѣе.

Марія каждый разъ, когда видѣла ихъ, старалась сблизить ихъ другъ съ другомъ, чтобы они узнали другъ друга и полюбили. И теперь до начала спектакля она оставила ихъ однихъ.

Юліанъ первый съ важностью старшаго спросилъ Гриша объ ученьи, объ экзаменахъ.

— Все у меня идетъ недурно,—отвѣчалъ Гриша съ нѣкоторой гордостью.—Я буду однимъ изъ первыхъ. А ты?

— Кажется, и я буду не изъ послѣднихъ,—пренебрежительно отвѣчалъ Юліанъ. —Я былъ послушенъ отцу, избирая военное поприще, потому что онъ видитъ въ этомъ самое вѣрное средство выдѣлиться и выслужиться, но я не люблю его. Я чувствую больше влеченія къ праву.

— Я доволенъ своимъ инженерствомъ,—прервалъ Гриша.

— Мать говорила тебѣ о непріятномъ недоразумѣніи у нихъ съ отцемъ изъ-за нашего дѣда?—замѣтилъ Юліанъ.

— Я узналъ отъ нея о грустномъ новомъ законѣ,—отвѣ-

чалъ Гриша,—но я не могу съ нимъ примириться. Какъ это можетъ быть, чтобы вдругъ начали преслѣдовать невинныхъ людей?

— Мы не можемъ объ этомъ судить—проговорилъ Юліанъ.—Мать плачетъ, но отецъ знаетъ, что ему дѣлать, и мы должны ему быть послушны.

— Могу же я имѣть свой умъ и свое сердце?—вскричалъ Гриша.—И то и другое говоритъ за дѣда и за мать. Старый дѣдъ ни въ чемъ не провинился... Мать не можетъ покинуть его, а я матери.

Юліанъ, расхаживавшій по комнатѣ, остановился и посмотрѣлъ на брата съ ироніей.

— Вотъ такъ философъ!—вскричалъ онъ.—Отецъ мнѣ ближе, чѣмъ дѣдъ. Мы—нѣмцы; нашъ патріотизмъ заставляетъ насъ идти противъ поляковъ, хотя бы даже и противъ дѣда, если онъ къ нимъ принадлежитъ.

— И противъ родной матери?—прибавилъ Гриша.

— Ты, кажется, думаешь учить меня?—гнѣвно вырвалось у Юліана.

— Я только спрашиваю,—спокойно сказалъ Гриша.—Я вижу мать въ слезахъ.

— И мнѣ ее жалко,—началъ Юліанъ,—но отецъ одинъ имѣетъ право приказывать.

— Я не отказываю ему въ этомъ правѣ,—съ энергіей возразилъ Гриша,—но когда дѣло идетъ о матери, хотя бы и противъ него, я стану на ея сторонѣ. Я знаю, что ты, Юліанъ, совершенно отрекся отъ своего польскаго происхожденія и не чувствуешь ни привязанности, ни уваженія къ народу, къ которому отчасти принадлежишь и самъ; я настолько же чувствую себя полякомъ, насколько и нѣмцемъ, а кто слабъ и въ угнетеніи, тотъ, по моему, заслуживаетъ сочувствія.

— Это отлично,—сказалъ Юлій,—только все это, съ позволенія сказать, бабьи сентименты, а я настолько же чувствую себя мужчиной, насколько и нѣмцемъ.

Гриша смѣрилъ его взоромъ съ ногъ до головы и, посмотрѣвъ на часы, проговорилъ:

— Не пора ли въ театръ?

Юліанъ, почти оскорбленный такимъ отвѣтомъ, сказалъ презрительно:

— Что же это, ты даже не желаешь со мной разговаривать?

— Потому что ни малѣйшаго желанія не имѣю ссориться,— возразилъ Гриша.—Убѣдить тебя мнѣ все равно не удастся, зачѣмъ же я буду нарываться на непріятности? Я никогда не имѣлъ счастья заслужить твою любовь, но во всякомъ случаѣ я не желаю и ненависти.

Юліанъ качалъ головой изъ стороны въ сторону.

— Философъ! философъ!—вскричалъ онъ,—и, вдобавокъ, сентиментальный. Хотя ты и моложе, но я охотно послушался бы твоего совѣта, какъ мнѣ поступить. Идти ли за отцемъ или за матерью—если они разссорятся?

— Идти за сердцемъ,—отвѣчалъ Гриша.—Упадемъ къ ногамъ отца и попросимъ его, чтобы онъ не терзалъ такъ мать и защитилъ дѣда. Я думаю, что это наши обязанности.

— А я такъ думаю, что это былъ-бы опрометчивый и невѣрный шагъ съ нашей стороны. Какое мнѣ дѣло до дѣда поляка?

— Мать! мать!—горячо подхватилъ Гриша.

— Мать женщина,—сказалъ Юліанъ,—отецъ знаетъ, что дѣлаетъ. Отъ этого можетъ зависѣть наша будущность, его, всей семьи. Принести дѣду въ жертву все—мѣсто, свое значеніе, имущество—отецъ не можетъ.

— Отецъ сдѣлаетъ, какъ захочетъ,—сказалъ Гриша,—я же съ своей стороны сдѣлаю то, что приказываетъ совѣсть.

— Ты думаешь, что отецъ тебѣ это проститъ, что не будетъ стараться удержать? Нѣтъ... если пойдешь за матерью, то пропадешь. Ты говоришь, что я никогда не чувствовалъ къ тебѣ любви, а, однако, я даю тебѣ совѣтъ отъ всего сердца, по братски.

— Благодарю,—кротко отвѣчалъ Гриша.

Въ эту минуту вошелъ слуга и напомнилъ имъ, что пора въ театръ. Юліанъ бросился къ своей шпагѣ, каскѣ и перчаткамъ, чтобы явиться въ полной формѣ. Гриша медленно надѣлъ шинель и, ни слова не говоря, приготовился къ выходу.

Такъ окончился этотъ первый въ жизни болѣе серьезный разговоръ между братьями, первая проба ихъ взаимныхъ отношеній.

Юліанъ не могъ устоять противъ чувства уваженія къ брату, выступающему въ защиту матери, но вмѣстѣ съ тѣмъ сожалѣлъ его и гордился тѣмъ, что шелъ за отцемъ, умъ котораго казался ему въ этомъ дѣлѣ единственнымъ судьей.

— Мать поплачетъ,—говорилъ онъ самому себѣ,—но не посмѣетъ противиться. Не броситъ же она дома, не захочетъ вызвать такой скандалъ? Этого не можетъ быть! Гриша напрасно только навлечетъ неудовольствіе отца.

Съ другой стороны, младшій обвинялъ Юліана.

— Бунтъ противъ отца поднимать ей не зачѣмъ,—сказалъ онъ мысленно, садясь вмѣстѣ съ братомъ на извозчика, который долженъ былъ везти ихъ въ театръ,—а отказать ей заступиться за дѣда, это не хорошо.

Всю дорогу они оба молчали, но умы ихъ работали и встрѣча эта, вмѣсто того, чтобы сблизить ихъ, еще болѣе отдалила.

— Юліанъ имѣетъ уже всѣ качества и недостатки солдата,—подумалъ Гриша,—послушаніе для него все, а чувство — ничто. Пускай же идетъ себѣ съ Богомъ за отцомъ, а я пойду за матерью.

Послѣ отъѣзда сыновей, ни Робертъ, ни жена его не захотѣли видѣть другъ друга и не сошлись къ чаю. Она приказала подать себѣ чай въ свою комнату, а онъ принималъ нѣсколькихъ гостей.

Среди нихъ были и такіе, которымъ хотѣлось разузнать что-нибудь у такого важнаго администратора. Треубернеръ отдѣлался отъ нихъ, не допуская никакихъ разговоровъ по этому предмету

На другой день сыновья пришли вмѣстѣ проститься съ отцомъ, но этотъ, выйдя къ нимъ, не проговорилъ уже ни слова о томъ, зачѣмъ позвалъ ихъ къ себѣ. Гришѣ строго приказалъ готовиться къ экзаменамъ, Юліану напомнилъ, чтобы онъ не дѣлалъ долговъ и не завязывалъ дорого стоящей дружбы съ легкомысленной богатой молодежью.

Получивъ такія напутствія на дорогу, они пошли къ матери, но у этой на прощанье были только слезы и благословеніе для обоихъ. Она даже горячѣе обнимала Юліана, быть можетъ, оттого, что менѣе надѣялась прижать его еще разъ къ своему материнскому сердцу.

Никогда еще въ этой довольно глухой мѣстности, изрѣдка только оживлявшейся какой-нибудь катастрофой, вызванной контрабандой, — никогда еще не господствовало такого оживленія, такой дѣятельности, какъ теперь.

Извѣстіе объ изгнаніи тѣхъ, которые, несмотря на давность пребыванія, не имѣли еще полныхъ правъ въ Пруссіи, облетѣло всѣхъ, начиная отъ роскошныхъ барскихъ домовъ и кончая самыми бѣдными избушками. Оно пробудило во всѣхъ странныя чувства, изумленіе, недовѣріе, тревогу, безпокойство. Нѣмцы уже грозили, хотя еще не знали всѣхъ деталей закона, хотя онъ даже еще не былъ принятъ и утвержденъ.

Въ богатыхъ домахъ боялись недостатка рукъ и работниковъ, уменьшенія голосовъ за представителей провинціи на сеймѣ, вообще политическихъ послѣдствій; въ избахъ во всей своей силѣ выступали нищета, неволя, голодъ и холодъ, съ которыми предстояло бороться изгнанникамъ. Покинуть землю и людей, къ которымъ привыкъ,— страшило даже самыхъ смѣлыхъ.

Ксендзъ на всѣ разспросы поводилъ только плечами и совѣтовалъ молиться Богу; шляхтичъ отвѣчалъ общими фразами; всѣ понимали, что несчастье не только возможно, но даже почти неизбѣжно. Мстительная рука судьбы чувствовалась въ этомъ жестокомъ средствѣ, необходимости котораго никто не понималъ. Нѣкоторые нѣмцы, предвидя, что законъ этотъ можетъ повредить ихъ собственнымъ интересамъ, подвергали его сомнѣнію.

Вездѣ разсчитывали, соображали, старались угадать, кого онъ можетъ задѣть. Хлопы ждали съ поникшими головами, не смѣя совѣтоваться, чтобы не выдать себя. Нѣкоторые упорно выдавали себя за здѣшнихъ, хотя въ дѣйствительности и происходили изъ-за границы.

Чиновники въ канцеляріяхъ были завалены работой съ утра до ночи. Съ полокъ доставали старыя, запыленныя бумаги, къ которымъ давно уже никто не дотрагивался, и усердно копались въ нихъ.

Не одна ненависть и жажда мести искали удовлетворенія въ клеветѣ, такъ какъ каждый предвидѣлъ, что одного смѣло брошеннаго подозрѣнія будетъ достаточно для изгнанія изъ страны, возвращеніе въ которую было навсегда закрыто.

Страхъ со своими большими глазами не давалъ покоя даже тѣмъ, которымъ нечего было бояться.

Нѣкоторые заранѣе старались снискать расположеніе чиновниковъ, но тѣ отвѣчали на все важнымъ, серьезнымъ молчаніемъ.

Любаховскій, съ хладнокровіемъ приготовленнаго на все надломленнаго жизнью человѣка, предвидѣлъ то, что ожидало его, а главное тѣхъ, которыхъ онъ поилъ и кормилъ, и которые ему такъ вѣрно служили.

Дыдась былъ на первомъ планѣ. Чужеземецъ, съ давно просроченнымъ паспортомъ, онъ не имѣлъ никакой точки опоры, никакого предлога, чтобы остаться здѣсь; но онъ равнодушно смотрѣлъ на ожидавшую его участь.

— Гдѣ панъ, тамъ и я,—говорилъ онъ. — Прикажутъ убираться вонъ—лишь бы только съ нимъ. Что мнѣ?... Главное тутъ идетъ о немъ.

Дѣйствительно, тяжелѣе всего была участь Любаховскаго, такъ какъ у него не было уже ни прежнихъ своихъ друзей и покровителей, ни средствъ, чтобы поселиться гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ; однако, онъ все еще вѣрилъ, что Треубернеръ, если и не заступится за него открыто, то найдетъ какое-нибудь средство выхлопотать для него позволеніе остаться здѣсь. Главное, онъ заботился о своихъ людяхъ, къ которымъ привыкъ, любилъ ихъ, зналъ, что можетъ на нихъ разсчитывать и не сумѣетъ обойтись безъ нихъ.

— Я безъ Дыдася—это все равно, что безъ правой руки и безъ глазъ.

Послѣ Дыдася, не считая Жабской, такъ какъ она, какъ женщина, не подлежала, по мнѣнію старика, этому закону,— самымъ дорогимъ былъ Худзибой и его жена.

Безъ Ходзибуя, несмотря на всю его честность и добросовѣстность, панъ и весь дворъ обошлись бы еще какъ нибудь, но не безъ его жены. Теперь она, дѣйствительно, была душой Любахувки.

Дѣятельная, проницательная, живая, Кристя распоряжалась мужемъ, распоряжалась Жабской, подавала совѣты пану Григорію, а Дыдасемъ, который былъ восхищенъ ею, бросала, какъ мячикомъ.

Въ первую минуту, когда разошлось извѣстіе о предстоящемъ изгнаніи, Кристя слушала молча, съ сжатыми губами, насупивъ брови, время отъ времени требуя какихъ нибудь объясненій. Ожидали, что она скажетъ что нибудь, такъ какъ всѣ привыкли обращать на нее свои взоры и искать у нея совѣта. Она покачала головой, оперлась на руку, подумала и, видя всѣхъ въ отчаяніи, воскликнула со свойственной ей живостью:

— И это мужчины! Стоятъ, повѣсивъ носъ, вздыхаютъ— точно ужъ и конецъ свѣта для нихъ насталъ... Какъ вамъ не стыдно! Развѣ пруссаки не люди? А если даже и выйдетъ такой законъ, то зачѣмъ же человѣку данъ разумъ, чтобы отдѣльныя личности не могли спастись?.. Гдѣ нельзя спасти всѣхъ,—хорошо спасти и нѣсколькихъ. Теперь только и надо думать о томъ, какъ бы надуть нѣмцевъ, какъ бы вывернуться. Если нельзя ихъ подкупить, то, быть можетъ, удастся найти какое-нибудь другое средство. На что же у насъ головы?.. Я знаю только, что я отвязываю фартукъ, ухожу изъ кухни, хоть бы мужъ умиралъ съ голоду, — завиваю волосы и отправляюсь ловить нѣмцевъ, чтобы спасти своего муженька, себя, а если удастся—и еще кого-нибудь.

Надъ ней начали смѣяться.

— Смѣйтесь, смѣйтесь,—отвѣчала она, нисколько не обижаясь.—Я не могу поступить иначе, если всѣ здѣсь теряютъ головы.

— Но что же вы думаете дѣлать? — спросилъ Дыдась, который свято вѣрилъ въ нее, но на этотъ разъ не могъ понять, что она собиралась предпринять.

Красавица Кристя посмотрѣлась въ зеркало и улыбнулась мелкимъ чертамъ своего хорошенькаго личика.

— Господь, между прочимъ, далъ намъ для защиты и лицо,—сказала она. — Доведенная до крайности, я, пожалуй, воспользуюсь и этимъ оружіемъ.

Дыдась вспыхнулъ отъ ревности и гнѣва.

— Мужъ вашъ будетъ очень доволенъ этимъ! —воскликнулъ онъ.

— Мужъ мой,—возразила она, нисколько не смущаясь,— онъ вѣритъ мнѣ, и, ручаюсь вамъ, что будетъ спокойно смо-

трѣть, какъ я буду вскруживать головы нѣмцамъ. Онъ отлично знаетъ, что ему нечего бояться.

Дыдась устыдился.

— Притомъ же,— прибавилъ онъ,—съ нѣмцами это не то, что съ нашимъ братомъ... Не знаю, есть ли у нихъ сердце, хотя они часто говорятъ и поютъ о немъ. Зарядъ пропадетъ даромъ...

— Это ужъ мое дѣло,—смѣясь, возразила Кристя.

Она собиралась было уже уйти послѣ этого, но вспомнила что-то и обратилась къ Дыдану.

— Я буду хлопотать за всѣхъ, не за одного мужа, — сказала она.— У меня на первомъ планѣ старый панъ, а я вижу, что онъ и не думаетъ защищаться, дочь не можетъ, зять не хочетъ. Ну, такъ, быть можетъ, мнѣ удастся что-нибудь сдѣлать; но только, слушайте, Дыданъ: тутъ дѣло идетъ о жизни или смерти; если я прикажу вамъ, вы должны все бросить и слушать меня.

Дыданъ покачалъ головой.

— Развѣ когда-нибудь бывало иначе?—тихо прошепталъ онъ.

Кристя разсмѣялась.

— Если такъ было, то нечѣмъ вамъ хвастаться,—сказала она,—потому что до сихъ поръ экономка не должна была распоряжаться, но теперь, когда она одна не потеряла присутствія духа...

Дыдась поклонился. Онъ хотѣлъ было, воспользовавшись представившимся случаемъ, поцѣловать ей руку, но Кристя вырвала руку и, погрозивъ ему, убѣжала.

Вечеромъ, когда Ходзибуй вернулся съ поля, жена все ему разсказала и долго сидѣла съ нимъ на сундукѣ, совѣтуясь и шепчась. Это былъ образцовый мужъ, влюбленный до ослѣпленія, мягкій, вѣрующій въ свою Кристю, не ревнивый, и, если бы не излишняя снисходительность — золотой человѣкъ.

Насколько она была ртутью, настолько его можно было назвать оловомъ. Однако, когда Кристя оживляла его, онъ жилъ и двигался энергично.

На другой день, какъ она и собиралась, старательно принарядилась, сдѣлала дома всѣ нужныя распоряженія, заперла

кладовыя и чуланы, сѣла на телѣгу и поѣхала въ мѣстечко.

У нея еще не было обдуманнаго плана, она ѣхала просто наудачу; она ничего не знала, кромѣ того, что должна спасти Любахувку, пана своего и себя.

Прежде всего она заѣхала на постоялый дворъ, тотъ самый, куда бильярдъ каждый день привлекалъ множество народа и гдѣ кобылепольское пиво каждый день цѣлыми бочками вливалось въ глотки и желудки обѣихъ націй, такъ какъ, къ прискорбію нашему, надо сознаться, что ничто у насъ не привилось такъ легко и быстро, какъ привычка выпиванія огромнаго количества пива. Положимъ, пиво всегда было довольно распространеннымъ напиткомъ бѣдной шляхты въ Старой Польшѣ, но его больше ѣли, скорѣе питались имъ, чѣмъ пили. Медъ являлся напиткомъ развлекающимъ и отгоняющимъ мрачныя думы. Наконецъ, вино прибавляло силъ и оживляло. Всѣ знали, что пиво дѣлаетъ человѣка и мысли его тяжелыми, усыпляетъ и обезсиливаетъ.

Пиво въ «Познанской гостиницѣ» пана Губы было превосходно и наливалось съ большимъ умѣньемъ; одному Богу извѣстно, не подбавляли-ли въ него чего-нибудь, потому что нигдѣ оно не было такъ вкусно, какъ здѣсь.

Благодаря такому блестящему положенію своихъ дѣлъ, пану Губѣ удалось уже купить гостиницу, присоединить къ ней клочекъ земли и мечтать уже о какомъ-нибудь болѣе грандіозномъ предпріятіи. Вдовецъ, онъ имѣлъ только одну дочь Рузю, которую онъ очень любилъ и которую Кристя тоже любила и была съ ней въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ. Поэтому, ее очень хорошо принимали въ этомъ домѣ. А такъ какъ черезъ «Познанскую гостиницу» проходило все, что должно было происходить и происходило въ окрестностяхъ, то Кристя могла собрать здѣсь самыя лучшія свѣдѣнія о положеніи дѣла, тѣмъ болѣе, что дѣло это прямо и косвенно касалось всѣхъ, такъ какъ всѣ горячо имъ интересовались, и Губа съ Рузей также не менѣе другихъ.

Прибывъ въ гостиницу, Кристя сразу очутилась въ самомъ центрѣ сплетенъ; со всѣхъ сторонъ полились онѣ на нее, и

каждый вопросъ съ ея стороны былъ какъ бы поворотомъ ключа, отпиравшимъ затворъ.

Губа, который принималъ у себя весь здѣшній чиновничій міръ, очень хорошо понималъ, что не долженъ былъ ничего говорить противъ новаго закона, ни жалѣть изгнанниковъ, ни соболѣзновать, что у него отнимутъ столько посѣтителей. И онъ молчалъ, хотя въ такомъ кругу, какъ теперь, съ дочерью и Кристей, онъ откровенно сознавался, что это будетъ общее разореніе.

— Ну, да развѣ ужъ ты такъ и позволишь имъ выгнать всѣхъ до единаго, какъ бы имъ того хотѣлось? — спросила Кристя.—Развѣ нѣтъ какого-нибудь средства вывернуться?

Губа развелъ руками и проговорилъ:

— А какое же средство? На нихъ нѣтъ никакого средства.

Кристя улыбнулась.

— Мы еще поговоримъ объ этомъ,— возразила она,— но прежде всего—въ чьихъ рукахъ будетъ списокъ, на кого возложено переписать насъ несчастныхъ?

— Всѣ будутъ участвовать въ этомъ,— сказалъ Губа.— Понимаете вы? Если бы еще одинъ... но вѣдь тутъ одинъ будетъ бояться и остерегаться другого. Наконецъ, протрубили, что это дѣло очень важное, что самъ канцлеръ настаиваетъ на этомъ, такъ что всѣ наперерывъ пожелаютъ услужить ему, хотя бы изъ одной боязни.

— Очень хорошо,—отвѣчала Кристя,—но скажите мнѣ все-таки, кто здѣсь будетъ самымъ дѣятельнымъ, самымъ главнымъ?

Губа поднялъ руку, какъ бы собираясь пересчитать по пальцамъ, но вдругъ остановился.

— А развѣ вы ихъ знаете?

— Кого мнѣ нужно будетъ—постараюсь познакомиться,— отвѣчала экономка.—Говорите же, говорите.

— Прежде всего, старый Плеве,—сказалъ Губа.

— Что это за человѣкъ?—спросила она.

— Какимъ же ему и быть? Машина отличная,—отвѣчалъ хозяинъ,—прикажутъ ему считать—будетъ считать, шить сапоги—будетъ шить, судить—будетъ судить.

— А въ глубинѣ души?—прибавила Кристя.

— Добрый старикъ,— сказалъ Губа.—Изъ излишняго усердія впередъ не выскочитъ.

— Затѣмъ кто?—продолжала она разспрашивать.

Губа одну за другой перечиталъ еще нѣсколько фамилій высшихъ чиновниковъ. Всѣ они не нуждались въ комментаріяхъ. Наконецъ, очередь дошла до Баура.

— Молодой референдарь,—сказалъ Губа,—но онъ принадлежитъ къ тѣмъ новымъ, которыхъ я не понимаю. Въ головѣ у него—страсть какъ умно, но все у него пустяки—ничего нѣтъ святого на свѣтѣ. Онъ не злой; но если ему скажутъ, что что-нибудь необходимо для человѣчества, онъ готовъ на все. Я вамъ скажу,—если бы онъ завтра вдругъ перешелъ на сторону соціалистовъ, демократовъ – бѣда была бы.

Кристя не совсѣмъ поняла это послѣднее мнѣніе.

— Есть еще у него молодой товарищъ асессоръ Ридель.

Тутъ онъ покачалъ головой.

— Охъ, это тоже штука,—сказалъ онъ.—Я слыхалъ, что его на нѣсколько лѣтъ посылали по столицамъ, чтобы онъ присмотрѣлся къ организаціи полиціи, которая въ особенности была блестяща въ Парижѣ, при Наполеонѣ. Не знаю, извлекъ ли онъ изъ этого какую-нибудь пользу, но знаю то, что въ Парижѣ изъ него сдѣлали француза, ужаснаго волокиту, въ особенности за молодыми женами. Я, ей Богу, долженъ запирать отъ него Рузю,—такой онъ дерзкій.

Кристя захлопала въ ладоши.

— Давайте-же мнѣ его, панъ Губа!

Старикъ даже отступилъ на два шага.

— Боже сохрани!—воскликнулъ онъ.

Кристя начала громко хохотать.

— Не бойтесь за меня,—сказала она.—Ни одинъ изъ нихъ мнѣ не страшенъ. Дѣло только въ томъ, черезъ котораго изъ нихъ можно бы что-нибудь сдѣлать, кто самый смѣлый, чтобы можно было завязать съ нимъ дружескія отношенія.

Хозяинъ стоялъ молча и серьезно глядѣлъ на нее.

— Въ такое дѣло я не хочу вмѣшиваться, — отвѣчалъ онъ.—Дѣло нечисто.

Раскраснѣвшаяся Кристя вскочила съ дивана.

— Вѣдь вы же меня знаете!—вскричала она.—Развѣ я

способна на грязное дѣло? Надо спасать людей, которые не могутъ себѣ помочь, которыхъ жалко.

— Вамъ только и спасать ихъ! — съ нѣкоторой злобой прибавилъ Губа.—Что вы себѣ вообразили? Что эти пруссаки, только приласкайся къ нимъ, только улыбнись, покажи зубки — такъ ужъ они сейчасъ и ручки сложатъ? Вы ихъ не знаете. Для нихъ нѣтъ отца съ матерью, если есть приказъ свыше. Тутъ ни вы, да и никто не поможетъ. Что приказано, то должно исполниться; ни упросить, ни разжалобить ихъ слезами нельзя. Это напрасно.

Губа безсильно опустилъ руки.

— Такъ этого офранцузившагося асессора фамилія Ридель, — замѣтила Кристя съ притворнымъ равнодушіемъ.—А бываетъ онъ у васъ?

— Какже!—воскликнулъ Губа, почти обиженный этимъ сомнѣніемъ.—Гдѣ же бы ему и бывать какъ не здѣсь? Они сходятся съ Бауромъ за шахматами. Ридель человѣкъ со средствами, такъ что вмѣсто пива я выписываю для нихъ настоящаго французскаго вина отъ Ніера, и они выпиваютъ вдвоемъ каждый вечеръ по бутылкѣ; это удовольствіе стоитъ имъ всего только 15 зильбергрошей и вино ничего себѣ. Только немножко кисловато.

— Сегодня онъ здѣсь будетъ?—спросила Кристя.

— Эхъ, оставьте вы меня въ покоѣ!—съ неудовольствіемъ возразилъ Губа.—И къ чему это поведетъ?

— Должна же я спасать себя и мужа?—воскликнула Кристя,—а какъ, ужъ это мое дѣло. Мужъ знаетъ объ этомъ и самъ меня послалъ; будьте спокойны.

Губа вздохнулъ.

— Я знаю, что у васъ ума довольно, но—береженаго и Богъ бережетъ. Зачѣмъ лѣзть въ когти дикому звѣрю? Развѣ мы не знаемъ этихъ людей? Это точно совсѣмъ другіе люди, у нихъ совсѣмъ нѣтъ жалости. Эхе-хе! — закончилъ онъ со вздохомъ.

— Но отчего же бы мнѣ не попробовать?—спросила экономка.

Губу кликнули изъ бильярднаго залы, и онъ быстро удалился. Кристя осталась въ глубокомъ раздумьи вдвоемъ

съ Рузей на диванѣ. Онѣ почти не разговаривали; Кристя не объясняла своихъ намѣреній. Рузя только слѣдила за ней съ любопытствомъ.

Послѣ скромнаго обѣда, Кристя въ комнаткѣ хозяйской дочки занялась исправленіемъ своего туалета. При всей его скромности, замѣтно было, что она хотѣла казаться хорошенькой, что ей давалось очень легко. Она въ высшей степени обладала женскимъ инстинктомъ, который не позволялъ ей сдѣлать въ своемъ туалетѣ какую-нибудь несообразность. Совершенно не измѣняя своего обыкновеннаго туалета, не прибавляя ничего рѣзкаго, яркаго, Кристя одной чистотой умѣла придать ему изящество, замѣняющее всякую роскошь. Пара ленточекъ, гладко причесанные и немножко завитые волосы, придавали ея лицу свѣжесть и какую-то особенную прелесть. Она казалась совершенно переодѣтой, хотя въ дѣйствительности едва-едва прикоснулась къ своему утреннему платью. Рузя удивлялась, что весь этотъ новый костюмъ помѣщался въ ея дорожномъ мѣшечкѣ.

Губа, который, ходя по хозяйству, время отъ времени заглядывалъ и къ дочкѣ, также удивлялся искусству молодой экономки такъ дешево и такъ изящно наряжаться.

Не теряя при этомъ времени, наговорившись съ Рузей, Кристя пересмотрѣла также всѣ нѣмецкія газеты, какія были въ Познанской гостиницѣ. Если бы она нашла какія-нибудь книги, она непремѣнно прочла бы ихъ, чтобы удовлетворить своему любопытству, но у Губы, кромѣ календарей и божественныхъ книгъ, не было ничего.

Рузя читать не любила.

Вечеромъ начали собираться постоянные гости и окружили бильярдъ, на которомъ подвизалась молодежь. Изъ бильярдной залы двери вели въ другую комнату, гдѣ ѣли и пили. За ней была комната хозяина, занимаемая по вечерамъ Губой со своей дочерью, а теперь къ нимъ присоединилась еще и Кристя, которая выпросила себѣ вязать чулокъ, чтобы занять руки, и усѣлась такъ, чтобы Ридель, который долженъ былъ здѣсь играть съ Бауромъ въ шахматы, замѣтилъ ее. Ей казалось, что этого будетъ вполнѣ достаточно, чтобы завязать съ ней знакомство. У Кристи не было недостатка въ самона-

дѣянности, а оно, какъ извѣстно, всегда является признакомъ какой-нибудь силы.

Бауръ и Ридель пришли вмѣстѣ. Первый изъ нихъ съ не зажившими еще слѣдами почетныхъ ранъ, полученныхъ изъ-за чести «націи», былъ красивый, крѣпко сложенный юноша, съ веселымъ лицомъ, но слишкомъ обыденными чертами лица. Видно было, что когда оно потолстѣетъ и раздуется отъ пива, это будетъ физіономія, ничѣмъ не отличающаяся отъ другихъ, встрѣчаемыхъ на улицѣ, около портерныхъ и складовъ пива. Теперь только еще остатки молодости дѣлали это лицо болѣе оживленнымъ и красивымъ. Ридель былъ вовсе не похожъ на товарища; продолжительное его пребываніе за границей придало его фигурѣ и движеніемъ что-то чужеземное, нѣкоторую претензію на изящество, красоту и ловкость. Отъ прусской важности и натянутости у него осталось очень мало. Маленькая головка, маленькое личико, немножко искривленное, глагодаря моноклю, костюмъ, сбрисовывающій фигуру, очень быстрыя и довольно свободныя движенія—все это это имѣло въ себѣ что-то французское.

Однако, это не мѣшало Риделю осмѣивать французовъ, значительную часть обычаевъ и привычекъ которыхъ онъ самъ перенялъ. Въ особенности къ женщинамъ онъ приступалъ совсѣмъ не по-нѣмецки — рѣшительно, пускаясь на остроуміе и поражая изяществомъ своихъ манеръ, что рѣдко встрѣчается среди нѣмцевъ.

Кристя не ошиблась, предположивъ, что когда онъ увидитъ ее, онъ сейчасъ же заберется въ ихъ комнату. Къ Рузѣ Ридель не смѣлъ подступить слишкомъ близко, потому что тутъ ему грозилъ бракъ, къ которому онъ питалъ отвращеніе. Увидавъ Кристю, онъ схватилъ Баура за руку.

— Елеазаръ,—вскричалъ онъ, — я умру, если ты меня не представишь! Кто она такая?

— Кто? Гдѣ?—смѣясь, спросилъ Бауръ.

— Посмотри-же, вѣдь это чудо красоты! — вскричалъ Ридель, поправляя на себѣ костюмъ.

— Да что тутъ! Экономка изъ ближайшаго имѣнія!—разсмѣялся Бауръ.—Могу тебѣ ручаться, что не переодѣтая царевна.

— Хотя бы даже пастушка!—въ восторгѣ вскричалъ Ридель, встрѣтивъ нарочно устремленный на него взоръ Кристи.— Пойдемъ, пойдемъ!

И схвативъ за руку Баура, онъ вошелъ съ нимъ вмѣстѣ въ комнату хозяина.

Этого только и ждали Кристя; теперь она уже была увѣрена, что будетъ имѣть его въ своихъ рукахъ. Ридель говорилъ по-нѣмецки и по-французски, такъ что не было другого выбора, какъ нѣмецкій, потому что Кристя, хотя и понимала по-французски, но говорить не рѣшалась, а по-нѣмецки болтала очень свободно. Она переняла даже чисто нѣмецкія остановки, пропуски, сокращенія, что придавало ея языку какую-то дѣтскую прелесть.

Послѣ перваго привѣтствія, Ридель такъ занялся ею, что Бауръ потерялъ всякую надежду оттащить его отъ нея и пошелъ искать себѣ другого партнера въ шахматы.

Своими чисто французскими изящными манерами онъ разсмѣшилъ бы непривыкшую къ нимъ экономку, если бы дѣло не было такъ важно для нея.

Само собой разумѣется, что въ этотъ вечеръ Кристя ни о чемъ не говорила, кромѣ тѣхъ мелочей обыденной жизни, какія могъ доставить городокъ. Ридель забавно описывалъ свою жизнь въ немъ, свою скуку и недостатокъ нѣмецкаго общества, къ которому онъ, по его словамъ, такъ привыкъ и которое онъ предпочиталъ всякому другому, да къ тому же и нуждался въ немъ, какъ въ нѣкоторомъ развлеченіи и отдыхѣ.

Кристя, какъ мы уже сказали, была очень любознательна и проглотила не мало книжекъ, не дѣлая особеннаго выбора между ними, и умѣла очень ловко обнаружить свою начитанность.

Ничто не могло болѣе поразить и пріятнѣе зазвучать въ ушахъ асессора, какъ этотъ признакъ высшей цивилизаціи («Bildung... Kultur») красивой женщины, которую онъ считалъ совершенно необразованной деревенской дѣвушкой. Для него любовница съ такими качествами, какія онъ съ каждой минутой открывалъ въ экономкѣ, была идеаломъ.

Губа, который расхаживалъ взадъ и впередъ, прислушиваясь къ разговору, просто остолбенѣлъ, замѣтивъ, что подъ

конецъ вечера нѣмецъ уже началъ усердно уговаривать Кристю переселиться въ городъ.

Бауру еле-сле удалось потомъ, хотя бы изъ приличія, вытащить Риделя въ другую комнату за шахматный столикъ.

Асессоръ былъ восхищенъ, упоенъ, очарованъ красотой и образованіемъ молодой женщины. Напрасно товарищъ старался ему объяснить, что Кристя очень бѣдна и находится въ положеніи болѣе чѣмъ скромномъ и къ тому же зависимомъ, имѣетъ мужа—простого и грубаго, что ни влюбиться въ нее, ни сблизиться съ ней не могло быть никакой надежды. Размечтавшійся асессоръ и слушать этого не хотѣлъ. Онъ клялся, что со времени своего прибытія въ эти края, онъ не провелъ такъ пріятно ни одного вечера, что всѣ барышни и барыни этого маленькаго городка не достойны развязать ботинки прекрасной экономки.

Двѣ партіи, одну за другой, проигралъ Ридель, хотя обыкновенно онъ выигрывалъ, и не отпустилъ Баура, пока не узналъ всѣхъ подробностей относительно прекрасной Кристи.

— Что самое скверное,—заключилъ Вауръ,—что всѣ они изъ того хутора, и начиная съ хозяина, должны будутъ выселиться, такъ какъ они не здѣшніе.

Риделя покоробило, но онъ не посмѣлъ ничего сказать.

Кристя, одержавъ такую побѣду, далеко не хвалилась ею. Она взгрустнула, задумалась, стала безпокоиться. Губа тоже ходилъ смущенный.

— И кой чортъ принесъ ее сюда!—ворчалъ онъ.—Нѣмецъ запылалъ, а нѣтъ ничего ужаснѣе того, если такой холодный человѣкъ согрѣется. Не дастъ мнѣ покоя. А я тутъ еще долженъ буду прислуживать ему, помогать ему въ его любовной интрижкѣ.

На другое утро Кристя приказала заложить лошадей и отправилась въ Любахувку.

Не доѣзжая до дома, она встрѣтила въ полѣ своего мужа и, выскочивъ изъ телѣжки, бросилась ему на шею. Потомъ они, тихо разговаривая между собой, дошли до самыхъ воротъ, откуда Ходзибуй долженъ былъ вернуться въ поле. Тутъ Кристю поджидалъ Дыданъ, который со вчерашняго дня не имѣлъ ни минуты покоя отъ ревности и тревоги.

Онъ хотѣлъ было завязать съ ней разговоръ, но Кристя обошлась съ нимъ очень сурово.

— Ахъ, оставь ты меня къ покоѣ! Ужъ не должна ли я отдавать тебѣ отчетъ въ каждомъ моемъ поступкѣ? Ничего не скажу, да нечего и говорить то, вотъ и все.

И захлопнула за собой дверь. Но черезъ полчаса она уже пошла на конференцію съ Жабской, потомъ и съ самимъ паномъ, у котораго просидѣла около часу. Дыданъ ходилъ съ опущенной головой.

Онъ былъ огорченъ поступкомъ экономки, которая такъ строго и такъ невѣжливо обошлась съ нимъ; но ей все позволялось. Онъ всегда говорилъ о ней съ глубокимъ уваженіемъ, оправдывалъ каждый ея поступокъ, хотя бы онъ былъ для него самого очень непріятенъ.

Онъ пошелъ, какъ убитый, посидѣлъ немножко, потомъ направился къ работникамъ, чтобы на нихъ выместить свой гнѣвъ. Но вдругъ — о, неожиданность!—изъ дома прибѣжала дѣвушка и, остановившись въ воротахъ гумна, стала кричать:

— Дыданъ, Дыданъ! скорѣй, скорѣй! Васъ зовутъ.

Дыданъ, никакъ этого не ожидавшій, поспѣшилъ, не вѣря своимъ ушамъ.

— Что? кто?

— Барыня, моя госпожа, экономка зоветъ васъ.

Работники разразились смѣхомъ, видя, какъ онъ пустился бѣжать по направленію къ дому. Всѣ знали его слабость къ пани Кристи, и подтрунивали надъ нимъ.

Кристя стояла у стола и въ большой мискѣ мыла посуду, до которой слугамъ не позволено было дотрогиваться, изъ боязни, чтобы не перебили. Она имѣла обыкновеніе всегда быть чѣмъ-нибудь занятой. Руки ея возились съ фарфоромъ, а голова была занята совсѣмъ другимъ. Увидѣвъ на порогѣ Дыдана, она улыбнулась.

— Только что прогнала васъ,— сказала она,—а вотъ ужъ и нуждаюсь въ васъ. Слушайте и отвѣчайте мнѣ коротко и ясно: что Фрейеръ до сихъ поръ якшается съ контрабандистами и помогаетъ имъ, или нѣтъ?

Дыданъ, который слѣдилъ за нимъ, поспѣшилъ увѣрить, что тотъ ни на минуту не переставалъ заниматься контрабандой.

— Но теперь онъ уже сдѣлался ихъ начальникомъ, т. е. человѣкомъ, который чужими руками жаръ загребаетъ. Другіе идутъ за него въ огонь, подставляютъ спины, сидятъ въ тюрьмахъ, а онъ собираетъ барыши.

— Это плохо! Это плохо! — задумчиво проговорила Кристя. — Мнѣ бы надо было поймать его на мѣстѣ преступленія.

— Теперь это уже трудно,—вздохнулъ Дыдась,—хотя иногда, при болѣе значительной контрабандѣ онъ еще присутствуетъ и самъ, караулитъ; они крадутъ съ нимъ вмѣстѣ, но, когда представляется удобный случай, обкрадываютъ и его.

— Фрейеръ больше всѣхъ намъ вредитъ, потому что постоянно подстрекаетъ, возстановляетъ противъ насъ, — прибавила Кристя со вздохомъ. — Ахъ, если бы Господь Богъ предалъ его въ наши руки!..

— Съ нѣкотораго времени,—сказалъ Дыданъ,—по приказанію пана мы уже стали снисходительно относиться къ нему, чтобы не дразнить его, но, если понадобится, его легко взять снова подъ надзоръ. Кто знаетъ!..

Кристя бросила на Дыдася такой выразительный взглядъ, что у него кровь закипѣла.

— Если вы прикажите, — проговорилъ Дыданъ, — я буду караулить его!..

— Мнѣ нечего вамъ приказывать, — скромно возразила экономка,—это дѣло не мое, это дѣло нашего пана. Хотите ему быть полезнымъ, дайте мнѣ въ руки Фрейера, только такъ, чтобы онъ не могъ отпереться отъ своего участія. Мнѣ не зачѣмъ объяснять вамъ всего этого, уговаривать.

— Вы знаете, что стараго пана нашего я люблю больше всѣхъ на свѣтѣ, послѣ Бога, — сказалъ Дыданъ.

Онъ хотѣлъ еще продолжить свою бесѣду съ ней, но Кристя, собравъ чашки и поставивъ ихъ на комодъ, принялась укладывать разбросанное бѣлье и взглядомъ своимъ уже прощалась съ Дыданомъ, вполнѣ увѣренная, что онъ исполнитъ то, на что она ему указала.

— Что у насъ сегодня? — спросилъ онъ уже на порогѣ.

— Ну! Слава Богу! Четвергъ!—разсмѣялась Кристя.—Что это, вы ужъ и счетъ днямъ потеряли?

— Съ субботы на воскресенье бываютъ часто очень важ-

ныя контрабанды. Фрейеръ иногда провожаетъ ихъ до границы.

— Не мое дѣло совѣтвоать вамъ.

— Такъ, по крайней мѣрѣ, хоть благословите меня,—проговорилъ Дыданъ.

Экономка со смѣхомъ обернулась и сдѣлала въ воздухѣ огромный кресть, принимая очень серьезный видъ.

— Benedicat te Deus!

Ночь была безлунная, вѣтреная и темная; какой-то холодный, осенній, густой туманъ не позволялъ взору прорѣзать, ночную тьму, не давалъ свободно дышать.

Изрѣдка порывъ вѣтра налеталъ на вѣтви деревъ, которыя жалобно зашелестя, ломались и падали на землю. Никакого звука не слышно было въ этомъ свинцовомъ воздухѣ; мертвая тишина царила кругомъ. На небѣ никакая перемѣна не указывала на то, что такой мертвый сонъ могъ скоро окончиться.

На голыхъ вѣтвяхъ деревъ и сухихъ листьяхъ, охваченныхъ раннимъ морозомъ, медленно осѣдала сырость, подобная предсмертному поту. Все кругомъ спало или бѣжало прочь отъ этихъ мѣстъ, отзывавшихся гнилью и трупами.

Только на границѣ, которую кое-гдѣ обозначали нагнувшіеся столбы съ неразборчивыми надписями, время отъ времени какой-то тихій, глухой шорохъ прерывалъ молчаніе, но, едва достигнувъ уха, вдругъ прекращался и снова возвращалась продолжительная тишина.

Конная и пѣшая стража стояла на своихъ мѣстахъ, прислушиваясь къ каждому звуку, утомленная, защищаясь отъ сна рѣдкимъ позѣваніемъ. Сырость, страшнѣе и холоднѣе лютаго мороза, пронизывала ихъ до костей.

Всѣ они знали, что такія ночи часто бывали предвѣстницами удачной облавы, кровавыхъ сценъ; что контрабандисты разсчитывали на всемогущій сонъ, быстроту нападенія и невозможность преслѣдованія.

Но обыкновенно все это дѣлалось въ извѣстное время, такъ какъ у нихъ было точно разсчитано время, необходимое на то, чтобы перебраться черезъ границу и сбросить свои тюки въ безопасномъ мѣстѣ.

Опасный часъ нападенія уже прошелъ. Люди, привыкшіе

разсчитывать время, развиваютъ въ себѣ такое чутье, что на яву, во снѣ, въ дремотѣ, въ томъ положеніи, когда человѣкъ впадаетъ въ совершенное забытье, они могутъ вести счетъ часамъ,

Иногда изнуренный сторожъ, просыпаясь, можетъ сказать, сколько времени онъ проспалъ. Была полночь; ничто не шевелилось. Подъ старой сосной, почти обнаженной отъ вѣтвей, стоялъ закутанный въ шинель сторожъ. Это было его любимое мѣсто. Внизу, въ пескѣ, между корнями сосны, онъ имѣлъ двѣ ямки, въ которыхъ могъ удобно держать ноги; большое углубленіе въ выгорѣвшемъ пнѣ позволяло ему облокотиться и отдохнуть, опершись на оружіе. Въ двухъ шагахъ отъ него ложе, приготовленное изъ сухихъ листьевъ и травы, было смято и походило на берлогу дикаго звѣря.

Сѣрая неподвижная фигура человѣка, казалось, спала.

Вдругъ, среди глубокой тишины, на опушкѣ лѣса послышался какой-то шорохъ. Онъ шелъ, приближаясь, точно огромный ужъ пробирался черезъ чащу. Стража уже проснулась и тихій свистъ сталъ вторить шороху. Всѣ три звука то прекращались, то возобновлялись и, наконецъ какъ бы ускоренныиъ бѣгомъ, стали приближаться къ соснѣ и человѣку, который все еще стоялъ неподвижно. По всей границѣ вѣтеръ какъ бы въ заговорѣ съ этимъ таинственнымъ движеніемъ на землѣ, зашумѣлъ верхними вѣтвями сосенъ.

Вдругъ болѣзненный крикъ раздался въ воздухѣ и какъ бы подавленный какой-то тяжестью, заглушенный, смолкъ. Въ темнотѣ блеснуло. Поднялся шумъ, въ которомъ ничего нельзя было разобрать, кромѣ борьбы, стоновъ и проклятій. Человѣкъ, стоявшій подъ деревомъ, сидѣлъ на груди лежащаго на землѣ контрабандиста. На крикъ сбѣжались другіе стражники.

Одинъ изъ нихъ зажегъ приготовленныя заранѣе лучины, отъ которыхъ разомъ вспыхнуло пламя и поднялся густой дымъ.

При свѣтѣ этого импровизированнаго факела можно было теперь разглядѣть, что осталось отъ ночнаго нападенія и борьбы. Часть контрабандистовъ, никѣмъ не преслѣдуемая, разбѣжалась по лѣсу, чтобы попасть въ руки заранѣе поставленной стражи. Главный отрядъ ихъ, окруженный со всѣхъ сторонъ, наполовину погибъ подъ ударами засады, вторая же половина лежала связанной на землѣ, тщетно ища глазами помощи.

Въ длинныхъ сапогахъ, съ ружьемъ за плечами и револьверомъ у пояса, безъ шапки, потому что потерялъ ее гдѣ-то въ лѣсу, смѣясь, стоялъ Дыданъ, и нагнувшись надъ лежащимъ на землѣ человѣкомъ, съ притворнымъ почтеніемъ привѣтствовалъ его. Схваченный человѣкъ, маленькій, бѣдный, съ налитыми кровью глазами, рвался и метался, стараясь разорвать веревки.

Это былъ Фрейеръ. На искривленныхъ губахъ его, какъ пѣна у измученнаго коня, выступала слюна, окрашенная кровью.

Около нихъ не было никого. Раздѣлъ плѣнныхъ, повидимому, заранѣе условленный, оставилъ Фрейера въ рукахъ Дыдана.

Сцену эту освѣщала уже догоравшая лучина.

Пламя поиграло еще одну минуту на угляхъ, потомъ погасло, еще нѣсколько мгновеній бѣгали яркія искры... и снова мракъ окуталъ всю окрестность.

Подъ сосиой слышно было какое-то движеніе, шорохъ, шепотъ, потомъ тяжелый ходъ коня, неувѣренный и тихій шагъ его—и снова тишина.

Въ нѣкоторомъ разстояніи отъ мѣста, гдѣ разыгралась эта сцена между двумя заклятыми врагами, стояла изба съ выбитыми окнами. Дыданъ, который велъ подъ уздцы лошадь, съ сидящимъ на ней связанымъ Фрейеромъ, остановился здѣсь. Онъ помогъ плѣннику слѣзть съ лошади и втолкнулъ его въ пустую хату. Фрейеръ не въ силахъ былъ сопротивляться; Приведя его, Дыданъ искалъ уже вокругъ себя свѣчку и спички. Заблестѣлъ свѣтъ. Фрейеръ закрылъ себѣ глаза. Онъ оглядывался вокругъ, а сторожъ, отгадавъ его мысль, толкнулъ его въ уголъ и погрозилъ.

Въ это время послышались приближавшіеся шаги. Это былъ Ходзибуй и писарь изъ сосѣдней деревни.

Напрасно Фрейеръ закрывалъ глаза. Прибывшіе встрѣтили его смѣхомъ и нѣмецкими комплиментами; только Дыданъ молчалъ. Онъ приготовлялъ бумагу и перо.

Теперь только должна была начаться рѣшительная борьба.

— Видите, герръ Фрейеръ, что я вовсе не хочу васъ губить; потому что, если бы я захотѣлъ это сдѣлать, мнѣ достаточно было бы передать васъ въ руки стражи, а я именно выручилъ васъ.

— Чего же ты хочешь за эту услугу?—взвылъ Фрейеръ.— Знаю, что ты сдерешь съ меня шкуру, потому что долго ждалъ этого.

— Ни шкуры твоей, ни денегъ я не хочу, —отвѣчалъ Дыдась,—но мы напишемъ протоколъ о случившемся, а вы намъ его подпишите. Вы подстрекали управленіе, чтобы Любаховскаго и всѣхъ слугъ его выселили отсюда; теперь вы должны помогать, чтобы мы остались и могли спокойно сидѣть на мѣстѣ.

— Это не въ мой власти,—вскричалъ Фрейеръ.

— Дѣлай, что хочешь,—отвѣчалъ Дыданъ и приготовился писать.

Наступило молчаніе. Ходзибуй, очень жалостливый, но не вмѣшивающійся ни во что, сообразивъ, что могло помочь въ такихъ обстоятельствахъ, досталъ привѣшенную къ поясу бутылку, откупорилъ ее, налилъ полную чарку нордгаузеровки и подалъ дрожащему Фрейеру.

Нѣмецъ сначала оттолкнулъ ее; но потомъ подумалъ и, вытянувъ шею,—такъ какъ руки у него были связаны,—показалъ движеніемъ губъ, что принимаетъ предлагаемый напитокъ. Экономъ влилъ ему водку въ открытый ротъ, смѣясь надъ этимъ младенцамъ, котораго ему приходилось поить.

Дыдась между тѣмъ писалъ, писалъ быстро, кратко, прочитывая каждую строчку. Наконецъ онъ подписалъ свое имя и фамилію, пригласилъ Ходзибуя, потомъ писаря и сталъ развязывать правую руку Фрейера.

Нѣмецъ не защищался и не протестовалъ, глубоко задумавшись, вѣроятно надъ тѣмъ, какъ бы ему выпутаться. Все это было беззаконно, насильственно и считалось за «Erpressung...» Потому Фрейеръ имѣлъ основаніе думать, что законъ долженъ былъ защитить его...

Но когда Дыданъ будетъ наказанъ на совершенное имъ насиліе, пришлось бы и ему отвѣтить за контрабанду, главныхъ виновниковъ которой давно уже розыскивали.

Дрожащей, затекшей отъ веревокъ рукой Фрейеръ подписалъ протоколъ, уже ни слова не говоря.

— По моему, герръ Фрейеръ,—проговорилъ Дыданъ,—слѣдовало бы повѣсить васъ на первой осинѣ,—никто бы даже

и не полюбопытствовалъ узнать, кто оказалъ вамъ эту услугу; но пани экономка заступилась за васъ, ей вы обязаны жизнью.

Изумленнымъ взоромъ Фрейеръ искалъ около себя ту, которая спасла ему жизнь. Дыданъ разсмѣялся.

— У насъ все было такъ хорошо и такъ вѣрно обдумано, что мы уже заранѣе рѣшили, что съ вами дѣлать. Экономка, наша добрая экономка не позволила васъ повѣсить. Вы должны навѣки сохранить къ ней чувство благодарности.

Фрейеръ сверкнулъ глазами, и въ нихъ отразилось чувство, совершенно непохожее на благодарность.

— Пустите же меня!—проворчалъ онъ.

— Волки съѣдятъ васъ въ лѣсу,—разсмѣялся Ходзибуй,— я готовъ проводить васъ до самаго дома.

Фрейеръ молчалъ; ему развязали руки и распутали веревки. Дыданъ старательно спряталъ бумагу въ карманъ. Всѣ выпили по рюмочкѣ водки, а освобожденный нѣмецъ, хотя и могъ уже возвращаться домой, не двигался съ мѣста, помня о волкахъ, ночи и лѣсѣ.

Потомъ всѣ вмѣстѣ вышли изъ пустой избы въ лѣсъ, вѣтвями котораго шевелилъ вѣтеръ, стряхивая съ нихъ капли дождя.

На фольваркѣ всѣ спали, огни были погашены, только въ спальнѣ Ходзибуевъ горѣла еще свѣча, и Кристя полусидѣла, полулежала на своей постели, прислушиваясь къ шуму вѣтра, прерываемому паденіемъ дождевыхъ капель на оконныя стекла. Она не могла спать, но была уже до такой степени изнурена нѣсколькими безсонными ночами, что каждую минуту глаза ея смыкались и голова падала на грудь. Но тотчасъ же пробуждаясь, испуганная, она стряхивала съ себя этотъ сонъ и начинала молиться.

На дворѣ тихо заворчала собака, чьи-то тихіе шаги приближались. Кристя встала, открыла окно и сдержаннымъ голосомъ, быстро, умоляющимъ тономъ, вскричала:

— Это вы? Это вы?

Издалека отвѣтили на это тихимъ хлопаньемъ въ ладоши, и Кристя, оставивъ окно открытымъ, выбѣжала.

Ходзибуй, по старшинству, пустилъ впередъ Дыдана, въ

разорванной одеждѣ, съ исцарапаннымъ лицомъ, съ растрепанными волосами, но смѣющагося съ тріумфомъ.

На ладони онъ держалъ полъ-листа бумаги, которую онъ съ почтеніемъ отдалъ красавицѣ.

— А что? Развѣ не молодецъ? — вмѣшался Ходзибуй. — Клянусь Богомъ, если-бы не онъ велъ насъ, не онъ командовалъ нами и направлялъ насъ, контрабандисты похоронили бы насъ въ лѣсу, а такъ — ни одинъ изъ нихъ не успѣлъ даже и выстрѣлить.

Любопытнымъ взоромъ пробѣжала Кристина протоколъ и затѣмъ взглядомъ поблагодарила Дыдася.

— Вотъ видите, мы все исполнили по вашей инструкціи, точь-въ-точь какъ вы приказали; но какъ это поможетъ съ такимъ человѣкомъ?

— Это ужъ мое дѣло,—прервала экономка,—я буду знать, какъ съ нимъ поступить. И онъ долженъ быть мнѣ послушнымъ.

Ходзибуй зѣвнулъ и осмотрѣлся кругомъ.

— Все это хорошо,—проговорилъ онъ,—но у меня почти весь день ничего во рту не было, такъ что — дай-ка поѣсть, а политику отложимъ до завтра.

Съ сіяющимъ лицомъ явилась на другой день экономка въ комнаты пана. Дождь лилъ все время, а старый Любаховскій, сидя у окна, читалъ хронику. Это было его любимое занятіе. Въ немъ сказывалась ораторская жилка прадѣдовъ, и когда ему попадалась красивая рѣчь, онъ начиналъ произносить ее вслухъ, думая, быть можетъ, что призванъ произносить ее передъ цѣлымъ сеймомъ.

Экономка, ничего не зная объ этомъ, какъ разъ подоспѣла на рѣчь Яна Казиміра, послѣ отреченія, которая уже вызвала у старика слезы на глазахъ. Отеревъ ихъ, онъ обратился къ ней съ привѣтствіемъ.

— Что же ты приносишь мнѣ, ранняя птичка?

Кристя поцѣловала у него руку.

— Надѣюсь, что ничего дурного,—съ нѣкоторой гордостью произнесла она.—У насъ однимъ врагомъ меньше стало. Мой мужъ и Дыданъ поймали вчера Фрейера на мѣстѣ преступленія, на границѣ, съ контрабандистами. Все было заранѣе

подготовлено. Фрейеръ принужденъ былъ подписать протоколъ, и теперь онъ у насъ въ рукахъ. Если онъ пожелаетъ повредить намъ хоть въ малѣйшихъ пустякахъ...

Любаховскій горько улыбнулся.

— И что же? Да вѣдь это самый вѣрный способъ сдѣлать его неумолимымъ врагомъ нашимъ. Теперь сообрази: онъ воръ, потому что онъ обкрадываетъ казну, а мы, не донося на него, становимся его сообщниками. Нечистое это дѣло, моя Кристя!.. Нечистое. Я знать ничего не хочу объ этомъ и ты не должна ни сама вмѣшиваться въ это дѣло, ни впутывать въ такія грязныя спекуляціи своего мужа или Дыдана.

Старикъ вздохнулъ. Кристя слушала его, слегка пристыженная и смущенная.

— Пусть будетъ такъ, какъ вы рѣшите,—сказала она.— А все-таки хорошо, если Фрейеръ будетъ бояться насъ, хотя бы мы ничего не собирались ему сдѣлать. Развѣ нужно выбирать средства для защиты, борясь съ такими подлыми, негодными людьми?

— Нужно, — возразилъ Любаховскій, — такъ какъ чужіе грѣхи не даютъ намъ права грѣшить.

Кристина уже не хотѣла далѣе ни оправдываться, ни спорить. Смѣлая женщина должна была выхлопотать у старика еще болѣе важную вещь; поэтому она снова поцѣловала ему руку, ласкаясь.

— Какъ же, дорогой панъ, не возмущаться, когда насъ такъ преслѣдуютъ ложью и клеветою.

— Про какую же это ложь ты говоришь? — спросилъ старикъ.

— Да какъ же, когда они называютъ васъ не здѣшнимъ, недавно сюда переселившимся?

— Что же ты хочешь? Я дѣйствительно переселился сюда только послѣ смерти Яна Непомуцена, — сказалъ старикъ, глядя ей въ глаза, которые она боязливо опустила.

— Но вѣдь вы здѣсь родились?—подхватила Кристина.

— Я не знаю, гдѣ я родился,—спокойно отвѣчалъ Любаховскій.

— Какъ же это возможно?

— Потому что прежде мы не очень заботились о бумагахъ и метрикѣ, а я рано остался сиротой. Почемъ же ты знаешь, что я навѣрное здѣсь родился?

— Ахъ, Боже мой!—въ смущеніи проговорила она,— это всѣ говорятъ, всѣ знаютъ, и я увѣрена, что если-бы поискать, то и метрика нашлась бы.

На это смѣлое утвержденіе Любаховскій отвѣчалъ только знакомъ св. креста, не говоря ни слова.

— Ты бредишь, дитя мое, хотя и отъ добраго сердца, — сказалъ онъ холодно.

Кристя, хотя покраснѣвшая и смущенная, не дала себя сбить, зная его снисходительность и расположеніе къ ней.

— Простите меня,—сказала она, все цѣлуя у него руку, которую тотъ отнималъ. — Всѣ говорятъ, что вы здѣсь родились, что родители ваши жили здѣсь. Вы говорите, что не знаете, гдѣ родились: отчего же бы это и не могло быть такъ, хотя вы и не знаете этого?

— Оттого, дитя мое, что я болѣе всѣхъ заинтересованъ въ томъ, чтобы знать, гдѣ я родился,—тихо проговорилъ старикъ,—и все-таки не добился достовѣрныхъ свѣдѣній.

— Потому что вы... право... честное слово,—быстро заговорила Кристя, — никогда и не старались отыскать свою метрику.

Любаховскій посмотрѣлъ на нее съ улыбкой, повелъ плечами и подалъ знакъ, что разговоръ объ этомъ долженъ считаться оконченнымъ.

Кристина еще разъ поцѣловала у него на прощанье руку и вышла изъ комнаты.

Что дѣлалось съ Фрейеромъ, пойманнымъ такъ ловко въ ловушку и вынужденнымъ подписать свой приговоръ,—трудно себѣ представить. Такимъ людямъ, какъ онъ, въ минуты отчаянія приходятъ въ голову самыя странныя мысли. Отчаяніе хватается за средства, не обсуждая ихъ, не взвѣшивая—тутъ уже нечего терять.

Вернувшись домой, онъ ни въ чемъ не признался своей женѣ; онъ далъ ей только понять то, что она сама уже очень давно знала, что онъ ненавидитъ Любаховскаго и его служащихъ, и что онъ не остановился бы ни передъ какими жерт

вами, чтобы отплатить имъ за все то, что онъ изъ-за нихъ вытерпѣлъ.

Фрейеру уже не разъ приходило въ голову употребить противъ Дыдася то средство, которое ему недавно посовѣтовалъ Браузе—привлечь Дыдася на свою сторону и завладѣть имъ при помощи женщины, которая сумѣла бы завлечь его въ свои сѣти.

Племянница его жены, Мина, которая жила у родныхъ въ Берлинѣ и иногда пріѣзжала въ деревню къ Фрейерамъ, пришла ему теперь на мысль. Авось она сумѣетъ забрать въ свои руки Дыдана и вырвать изъ его рукъ этотъ документъ, а самого его привлечь на свою сторону!

Мина казалась ему совершенно подходящей. Она была очень красива. Фрейеру она казалась гораздо прекраснѣе экономки, славившейся здѣсь своей красотой, она была молода, по крайней мѣрѣ, казалась такой ему и многимъ другимъ; наконецъ, это было испорченное созданіе, привыкшее къ городскимъ интригамъ, жадное до такихъ интригъ и старающаяся непремѣнно выйти замужъ.

Разъ, будучи у Фрейеровъ, Мина вслухъ высказала мнѣніе, которое показалось ему тогда чудовищнымъ: что она готова выйти замужъ хоть за поляка, лишь бы только надѣть чепецъ.

Въ отчаяніи, Фрейеръ, котораго Дыдась предупредилъ о своемъ скоромъ пріѣздѣ по извѣстному дѣлу, рѣшилъ выписать къ тому времени Мину, дать ей нужныя инструкціи и даже удержать ее у себя, лишь бы только была надежда съ ея помощью прибрать къ рукамъ Дыдана. Онъ казался ему душой всей Любахувки.

— Не будетъ его,—говорилъ онъ, — Любаховскій падетъ, а я восторжествую.

Немедленно, не жалѣя даже денегъ, Фрейеръ телеграфировалъ Минѣ, чтобы она пріѣзжала ухаживать за его больной женой. Что Мина охотно покинетъ Берлинъ, чтобы поважничать въ деревнѣ, разыгрывая роль наслѣдницы бездѣтнаго дяди,—въ этомъ Фрейеръ не сомнѣвался.

Съ лихорадочной поспѣшностью отправилъ онъ телеграмму и получилъ отвѣтъ, что она сейчасъ же выѣзжаетъ. Надо

было подъ какимъ-нибудь предлогомъ отложить свое свиданіе и разговоръ съ Дыдапомъ до пріѣзда Мины.

Фрейеръ въ такихъ мелкихъ вывертываніяхъ былъ очень ловокъ. Дыдасю тоже нечего было особенно торопиться, потому что онъ держалъ въ рукахъ нѣмца. Мина, племянница Фрейера, на красоту и способности которой возлагались такія надежды, не представляла изъ себя ничего особеннаго, какъ воображалъ Фрейеръ.

Сирота, воспитанная въ большомъ городѣ... скорѣе самимъ городомъ, даже улицей, чѣмъ людьми, слишкомъ распущенная, очень рано наученная искусству кокетствомъ ловко кружить головы и опоражнивать карманы поклонниковъ, Мина отличалась тѣмъ, что вела свои дѣла всегда очень смѣло, доходила до самой крайней дозволенной границы, но перейти ея не позволяла никогда.

Будучи еще очень молодой дѣвушкой, она имѣла передъ глазами грустный примѣръ своей подруги, соблазненной и лишившей себя поэтому жизни.

Оплакивая ее, Мина поклялась, что никогда не допуститъ себя такъ погибнуть. Поэтому она дурила, бѣсновалась, но въ концѣ концовъ всегда представляла влюбленнымъ въ нее такой ультиматумъ:

— Женись на мнѣ.

А такъ какъ она не имѣла никакого приданаго, кромѣ хорошенькаго личика, много ловкости, но очень плохое воспитаніе и, наконецъ, весьма сомнительное наслѣдство по смерти Фрейеровъ,—то никто не хотѣлъ жениться.

Съ каждымъ годомъ Мина все болѣе нападала на весь мужской полъ, но это нисколько не помогало ей выйти замужъ.

Больше всего ее раздражало то обстоятельство, что другія дѣвушки, гораздо менѣе ея красивыя, менѣе ловкія, находили себѣ мужей, а она — нѣтъ! Такой ужъ у нея былъ... Рес!

Влетѣвъ къ Фрейерамъ какъ буря, Мина все перевернула вверхъ дномъ. Ее призвали къ больной, а старая тетка была здоровехонька. Наконецъ, дядюшка объяснилъ ей наединѣ въ чемъ тутъ дѣло: надо было вскружить голову полячку и заковать его въ неволю.

Мина бросилась цѣловать дядю въ знакъ благодарности, что онъ далъ ей порученіе, такое согласное съ ея призваніемъ. Ей казалось, что ничего не могло быть легче этого.

Не подозрѣвая, что его здѣсь ожидало, Дыдась, съ гордостью побѣдителя, явился наконецъ къ Фрейеру, заранѣе условившись, что застанетъ его дома. Но вмѣсто того, онъ нашелъ въ Gute Stube пестро наряженную, улыбающуюся незнакомую ему племянницу.

Послѣдняя, взглянувъ на Дыдана, вовсе не отличавшагося красивой наружностью, сейчасъ же сказала самой себѣ, что непремѣнно завладѣетъ имъ. Одно только обстоятельство, повидимому, стояло на дорогѣ и, быть можетъ, дѣйствительно, спасло Дыдася. Она ни слова не понимала по-польски; а онъ очень смѣшно и очень плохо говорилъ по-нѣмецки. Бойкая, смѣлая, миленькая дѣвушка, съ открытымъ ротикомъ, жгучимъ взоромъ, подсаживающаяся такъ близко, что онъ даже отодвигался въ смущеніи,— въ первую минуту сбила его съ пути. Онъ собирался предъявить Фрейеру свои требованія и... вдругъ напалъ на такое искушеніе. Просидѣвъ съ ней полчаса, такъ какъ Фрейеръ нарочно не приходилъ, — Дыдась хотѣлъ было уже дать тягу, потому что онъ не на шутку испугался Мины. Сильная тревога овладѣла имъ: что бы это могло значить?

Въ эту минуту вошелъ Фрейеръ, наблюдавшій за всѣмъ этимъ издали.

Однако, Мина не ушла, но, заступая мѣсто будто бы больной хозяйки, стала приготовлять закуску, не сводя глазъ съ Дыдася, все время забавляя его и улыбаясь ему.

Дыдась, неловкій, тяжеловѣсный, загорѣлый, просто одѣтый, вовсе ей не нравился Но у Мины было много родныхъ и знакомыхъ среди театральной прислуги, благодаря которымъ она часто посѣщала драмы и трагедіи и изучила искусство обольщенія по самымъ лучшимъ образцамъ. Подсмѣиваясь въ глубинѣ души надъ этимъ неотесаннымъ мужикомъ, она вела противъ него правильную атаку.

Дыдась былъ несомнѣнно честный, добрый малый и въ сердцѣ своемъ, крамѣ почтенія и уваженія къ экономкѣ, доходящихъ до страсти, не имѣлъ ничего болѣе, что могло бы

превратиться въ опасную для него страсть. Но онъ былъ человѣкъ и притомъ молодой, и желаніе понравиться ему пріятно льстило. Поэтому онъ не очень сильно противился взорамъ и улыбкамъ Мины, какъ это слѣдовало бы.

Она возбуждала его любопытство. Никогда еще онъ не видалъ ни одной нѣмки въ такомъ родѣ.

Фрейеръ такъ ловко маневрировалъ, что Дыдась долженъ былъ просидѣть у него гораздо больше, чѣмъ онъ того желалъ, а Мина имѣла довольно времени, чтобы заинтересовать его.

Какъ онъ ей своей неотесанностью, такъ и она ему своей смѣшной элегантностью вовсе не понравилась. Однако, онъ долженъ былъ признать за ней большую долю живости, смѣлости, не лишенной нѣкоторой прелести.

— Недаромъ она выросла на берлинскомъ хлѣбѣ,— говорилъ онъ, возвращаясь упоенный, припоминая всѣ ея слова, улыбки.—Вотъ такъ мѣщаночка! Вотъ такъ молодецъ!... Ахъ, чтобъ ее!..

Въ планы Фрейера входило также познакомить Мину съ экономкой, ввести ее на фольварокъ и такимъ образомъ облегчить ей сближеніе съ Дыдасемъ.

Экономка между прочимъ занималась лѣченіемъ больныхъ крестьянъ домашними средствами. Мина, подъ предлогомъ болѣзни тетки, отправилась на фольварокъ. Она слыхала о немъ и о Кристѣ, но представляла ее себѣ совершенно не такой, какою нашла въ дѣйствительности.

Кристина произвела на нея подавляющее впечатлѣніе: она почувствовала въ ней существо высшее, лишавшее ее смѣлости. Вмѣстѣ съ тѣмъ, однако, пробудилась зависть и... и ненависть. Невозможно было увлечь человѣка, который каждый день смотрѣлъ на такую красивую и гордую женщину. Онъ, навѣрное, уже былъ влюбленъ въ нее. Воевать съ ней— Мина не имѣла смѣлости.

Завязавшаяся уже интрига готова была порваться. Услышавъ объ этомъ, Фрейеръ разсердился.

— А ты думала взять его, какъ грибъ при дорогѣ?—проговорилъ онъ. — Что тебѣ такъ скучно у насъ? Хочешь бѣжать въ Берлинъ?.. Потрудись немножко. Здѣсь ты можешь поискать себѣ мужа.

Кристя, при видѣ этой столичной барышни, которая привезла съ собой въ деревню глупыя моды, возмущенная, прямо объявила мужу, что хоть бы пришлось устроить сцену, она избавится отъ этой нѣмки.

Нѣмка и сама не имѣла никакого желанія напрашиваться на ея дружбу. Дыдана ловили другимъ способомъ. Его ловили въ полѣ, приглашали, возбуждая въ немъ несбыточныя надежды, что это изгнаніе поляковъ, о которомъ столько говорили, окончится ничѣмъ и кто найдетъ хоть какое-нибудь пустяшное доказательство, что онъ давно живетъ здѣсь, тотъ останется.

Дыдась былъ слишкомъ простодушенъ и правдивъ, чтобы противиться кажущейся откровенности и, повидимому, доброжелательству Фрейера. Добротой его легко было подкупить.

— Они не такіе дурные люди, — говорилъ онъ себѣ,— какъ это мнѣ казалось. Всегда такъ!.. Своя рубашка ближе къ тѣлу.

Предупредительность и вѣжливость со стороны Фрейера;— хотя онъ легко могъ объяснить ихъ, мало-по-малу смягчали его сердце. Наконецъ, и эта Мина, которая сначала показалась ему такимъ страннымъ хищнымъ созданіемъ, снискала его симпатію. Между прочимъ, она подкупила его и тѣмъ еще, что все расхваливала его успѣхи въ нѣмецкомъ языкѣ и высказала ему желаніе испробовать свой талантъ — въ польскомъ языкѣ.

Это была геніальная мысль.

Ничѣмъ не могла она такъ привлечь къ себѣ Дыдася, какъ этимъ желаніемъ узнать его любимый языкъ. Онъ взялся давать ей уроки.

Минѣ никогда бы и въ голову не пришло учиться по-польски, но это было единственное средство сблизиться съ Дыданомъ. Побѣда склонялась на сторону негоднаго Фрейера. Дыдась, недовольный самимъ собой, не смѣлъ поднять глазъ, все больше и больше, самъ того не замѣчая, льнулъ къ ловкой нѣмкѣ. Онъ не узнавалъ себя. Между тѣмъ она, не давая ему понять, что она собирается его онѣмечить, на самомъ дѣлѣ дѣлала его гораздо снисходительнѣе къ всему, что происходило вокругъ.

Мало есть людей, которые могли бы противиться чувству, порожденному удовлетвореннымъ самолюбіемъ. Дыдась, въ котораго была влюблена красивая нѣмочка (потому что онъ такъ объяснялъ завязавшіяся между ними отношенія), самъ уже начиналъ чувствовать къ ней что-то. Мина умѣла выпытывать отъ него и собирать всѣ свѣдѣнія, необходимыя Фрейеру, которому, конечно, сейчасъ же все доносила.

Перемѣны, какая произошла въ немъ, никто бы пожалуй и не замѣтилъ такъ скоро, если бы не Кристя. Она строго обращалась съ Дыданомъ, когда онъ выказывалъ ей свою любовь, но когда она стала остывать,— первая замѣтила это.

— Дыданъ что-то перестаетъ мнѣ нравиться, — замѣтила она разъ мужу.—Я очень любила его прежде, когда онъ обнаруживалъ такую привязанность къ барину; я нисколько не сомнѣваюсь въ томъ, что бы эта привязанность остыла, но онъ съ нѣкоторыхъ поръ сталъ совсѣмъ другимъ, и, подъ предлогомъ наблюденій за Фрейеромъ, что-то слишкомъ часто заглядываетъ къ нему. Что его можетъ привлекать туда? Что это значитъ?

Ходзибуй улыбнулся и приложилъ палецъ ко рту.

— Оставь его! — это пройдетъ. Обыкновенная скарлатина, которую каждый долженъ перенести. Племянница Фрейера, ловкая дѣвка... поймала его на удочку. Однако мнѣ кажется, что это слишкомъ крупная рыба для нея — не удержитъ, сорвется.

Кристина даже вскрикнула.

— Что? Нѣмка? Нѣмка? Та, которую мы разъ встрѣтили въ полѣ съ Фрейеромъ, съ зелеными лентами?

— Ну да,—она самая!

— Хорошо, что ты мнѣ это сказалъ,—отвѣчала жена,—я должна его допросить! Нашелъ себѣ время для романа съ нѣмкой, какъ разъ когда они насъ, какъ дикихъ звѣрей, преслѣдуютъ. Съ ума сошелъ!..

При первой же встрѣчѣ Кристя не выдержала.

— Что это съ вами сдѣлалось?— спросила она Дыдана... Вы больше сидите у Фрейера, чѣмъ дома. Говорятъ, что вамъ пришлась по вкусу его племянница? Не хотѣлось бы мнѣ этому вѣрить.

— Кто же это вамъ наговорилъ про меня? — спросилъ онъ.

— Всѣ объ этомъ говорятъ, даже дѣвки, когда доятъ коровъ,—разсмѣялась экономка.

Юноша покраснѣлъ отъ стыда и призадумался; потомъ повелъ плечами. Кристя не спускала съ него глазъ.

— Не вѣрьте этому, — отвѣчалъ онъ. — Я караулю Фрейера, чтобы онъ не могъ повредить намъ, я слѣжу за нимъ, а людямъ кажется, что я ѣзжу изъза какой-то нѣмки.

— Что же? Вы находите ее красивой? — ехидно спросила она.

Онъ не захотѣлъ пускаться въ дальнѣйшій разговоръ объ этомъ предметѣ и, не отвѣтивъ даже на ея вопросъ, отдавъ ей хозяйственное распоряженіе Любаховскаго, удалился.

— Я готова поклясться, что тамъ дѣйствительно что-то есть,—въ раздумьи проговорила экономка. — Онъ имѣлъ видъ преступника: врать онъ еще не научился.

Вокругъ все уже начинало волноваться, приходить въ движеніе, хотя законъ еще не начали примѣнять. Это должно было подогрѣть уже начинавшій было остывать нѣмецкій патріотизмъ, а ничто не могло произвести такого сильнаго дѣйствія, какъ эти дрожжи, сфабрикованныя изъ польской крови и слезъ.

Нанятый для этого философъ Гартманъ одобрялъ это средство, какъ якорь спасенія для всей будущности нѣмцевъ; и въ самомъ дѣлѣ, чего только нельзя доказать продажными софизмами? Опасность, указанная имъ, относилась ко всему славянскому міру, но съ другими славянскими народами не такъ легко было продѣлать подобную штуку, какъ съ поляками. Надъ кѣмъ-же ее продѣлать?

Само собой разумѣется, что надъ слабыми и беззащитными! Отнять у нихъ землю, ни до чего и никуда ихъ не допускать, не давать имъ даже никакого мѣста, которое могло бы доставить вліяніе, силу и власть!..

Такъ какъ очень легко было придумать какую-нибудь от-

личную формулу закона, которая позволила бы изгнать цѣлыя тысячи поляковъ и очистить мѣсто для нѣмецкихъ колоній,— то мысль эта крѣпко засѣла въ головы нѣмцевъ.

Поводы этого движенія были различны. Самое движеніе чрезвычайно быстро и неожиданно. Однихъ подстрекалъ ихъ собственный интересъ, другіе хотѣли подслужиться, какъ патріоты, и создать себѣ такимъ путемъ честь и славу. Нѣкоторые наконецъ просто обрадовались, что нашли себѣ какое-нибудь интересное занятіе, противъ этого застоя. Въ пивныхъ горячо обсуждали вопросъ о преслѣдованіи поляковъ, придавая этому очень большое значеніе. Болѣе смѣлые предлагали даже свои чудовищныя программы; всѣмъ извѣстно, что насколько нѣмецъ обыкновенно бываетъ сдержанъ, настолько же онъ бываетъ необузданъ, разъ его выбьютъ изъ колеи: онъ тотчасъ прибѣгаетъ къ самымъ крайнимъ теоріямъ, не уважающимъ ничего на свѣтѣ.

Не разъ случалось, напримѣръ, на нѣмецкихъ дорогахъ, что военные пассажиры запрещали въ вагонѣ говорить по польски. Другіе предлагали закрыть польскія типографіи. Вотъ уже нѣсколько лѣтъ, какъ вездѣ на водахъ меню обѣдовъ, обыкновенно писавшіяся по-французски, приказываютъ писать по-нѣмецки. Подобныхъ мелочей существуетъ множество. Извѣстіе о какомъ-то правительственномъ распоряженіи, объявлявшемъ войну полякамъ, должно было взволновать умы, Въ законѣ есть статья, наказывающая за возбужденіе взаимной ненависти среди подданныхъ одного и того же государства, — а тутъ ненависть эту поддерживали въ высшихъ слояхъ и старались узаконить ее.

Всѣ бросились въ эти вновь открытыя ворота.

Въ первую минуту, когда должна была начаться эта странная очистка, которая пока только еще носилась въ воздухѣ и нельзя еще было даже знать— приведется-ли она въ исполненіе,—безпокойство и волненіе умовъ было самое большое.

Одни старались защитить себя отъ преслѣдованія, другіе— извлечь изъ него какъ можно больше пользы для себя. Въ маленькомъ городкѣ всякое такое столкновеніе интересовъ гораздо опаснѣе, чѣмъ въ большихъ центрахъ жизни, гдѣ оно имѣетъ столько выходовъ въ различныхъ направленіяхъ, что

никогда не течетъ такъ порывисто по одному руслу. Въ этихъ маленькихъ лужахъ обыкновенно господствуютъ спокойствіе и усыпленіе, но лишь только попадетъ въ нее какая-нибудь возбуждающая капля,—сейчасъ поднимается страшная муть. Ни одно явленіе не проходитъ здѣсь, не оставляя за собой слѣдовъ.

Такъ было и здѣсь, у Губы, гдѣ чиновники собирались вокругъ пива и бильярда. Послѣднимъ, впрочемъ, были не особенно довольны, и Губа обѣщалъ поставить новый; но, какъ человѣкъ съ царькомъ въ головѣ, онъ хотѣлъ сначала избавиться отъ стараго инвалида, а потомъ уже какъ можно дешевле купить другой на его мѣсто.

Прежде бывало, что окрестная молодежь хоть проѣздомъ заѣзжала на часокъ къ Губѣ, чтобы поболтать хоть бы и понѣмецки съ Плеве, Бауромъ, Риделемъ и другими.

Теперь шляхта стала объѣзжать это мѣсто, гдѣ она часто бывала принуждена вести разговоръ о щекотливомъ предметѣ... Губа охалъ, но на это не было никакого лѣкарства. Раздѣлить гостиницу на два аппартамента для двухъ націй, значитъ, признать обостренное положеніе, которое не могло же вѣдь продолжаться вѣчно.

Такимъ образомъ, Познанская гостиница стала посѣщаться исключительно нѣмецкими чиновниками и колонистами. Фрейеръ, Браузе и даже Золингеръ, показывались поодиночкѣ почти каждый день.

Ридель, въ первый разъ встрѣтившій здѣсь Кристину, о которой не могъ забыть, прибѣгалъ сюда и слѣдующіе дни, ища ее, разспрашивая про нее, и, повидимому, такъ былъ занятъ ею, что Бауръ, который въ особенности не одобрялъ этого, безжалостно смѣялся надъ нимъ.

Кристя, которая въ своей умной головкѣ разсчитала все, хотѣла забрать въ свои руки Риделя и черезъ него спасти Любаховскаго; но для этого надо было довести его до извѣстной степени горячности чувствъ, раскалить его, какъ желѣзо передъ ковкой. Она только по книжкамъ знала, что такъ бываетъ, но не нашла ни малѣйшей опасности. Она шла наобумъ.

Поэтому она разсчитала, что чѣмъ дольше она не пока-

жется, тѣмъ она будетъ болѣе желанной. И дѣйствительно, когда Ридель, послѣ недѣльнаго тщетнаго ожиданія, увидѣлъ ее, онъ совсѣмъ потерялъ разсудокъ.

Счастье еще, что встрѣча эта произошла въ комнатѣ дочери Губы и не имѣла ни одного свидѣтеля.

Хотя Кристина и защитила себя отъ нѣмца, садясь за Рузей, но не могла помѣшать ему подойти къ ней съ другой стороны.

Изъ устъ Риделя полились жалобы, признанія, вопросы, такіе спутанные, что на нихъ трудно было отвѣчать. Губа очень неловко вмѣшивался въ разговоръ, Рузя изъ простого любопытства не оставляла подруги.

— Ахъ!—съ жаромъ восклицалъ асессоръ,—вы не можете себѣ представить, какъ я скучалъ о васъ. Вы здѣсь единственный человѣкъ, съ которымъ можно поговорить, который выдѣляется изъ окружающей толпы. Не могу повѣрить, не могу надивиться, что вы не были ни въ Парижѣ, ни въ Берлинѣ или даже въ какомъ-нибудь большомъ городѣ,—и усвоили себѣ столько вещей, доступныхъ только немногимъ.

— Однако, какой вы льстецъ,—смѣясь возразила Кристя.—Я не знаю даже самыхъ простыхъ вещей, хотя и стараюсь разгадать ихъ; вы слишкомъ снисходительны... Я не получила блестящаго образованія и всѣмъ, что знаю, обязана исключительно самой себѣ.

— Тѣмъ удивительнѣе!—вскричалъ Ридель.—Представьте же себѣ такого человѣка, какъ я, осужденнаго, послѣ жизни въ совершенно иной сферѣ, дышать здѣшнимъ тяжелымъ воздухомъ. Какое это счастье, когда найдешь передъ кѣмъ излить свое горе! Вы должны хоть изъ жалости навѣщать здѣсь насъ, какъ больныхъ.

— А мы?—возразила Кристя,—мы гораздо бѣднѣе, несчастнѣе васъ. Намъ столько предстоитъ перенести... А вы еще хотите, чтобы мы васъ жалѣли...

Ридель прикусилъ губу, оглянулся вокругъ и пробормоталъ:

— Развѣ это васъ касается?

— Такъ, значитъ, вы не знаете, до какой степени это тяжело для меня?

Асессоръ сдѣлалъ видъ, что не понимаетъ, такъ какъ ему не хотѣлось затрагивать щекотливый вопросъ.

— Что?—спросилъ онъ.

— Ну, ужъ какъ будто вы не знаете, что насъ здѣсь почти всѣхъ, не исключая меня съ мужемъ, моего стараго пана... всѣхъ, всѣхъ грозятъ выгнать вонъ, что всѣ мы стоимъ въ спискѣ.

Ридель сморщился.

— Что тамъ говорить объ этомъ?—сказалъ онъ.—Ничего еще нѣтъ, такъ только, пустая болтовня.

— И вы ручаетесь, что ничего изъ этого не будетъ!—накинулась на него Кристя.

Ридель сразу остылъ, точно кто-нибудь холодной водой его облилъ.

Наступило неловкое молчаніе. Асессоръ, видимо, искалъ какого-нибудь для себя выхода изъ этой такъ рѣшительно поставленной дилеммы.

— Это не такія вещи,—сказалъ онъ, наконецъ,—о которыхъ можно такъ легко говорить; могу вамъ только поручиться, что законъ и все, что законъ требуетъ, должно быть точно исполнено. Правительство дѣлаетъ то, къ чему побуждаетъ его необходимость.

Кристина сидѣла съ опущенной головой, не поднимая на Риделя глазъ.

— Трудно намъ, бѣднымъ, понять эту необходимость, — отвѣчала она, — достовѣрно только одно: что мы падаемъ ея жертвой... А вы хотите, чтобы мы, осужденные на цыганское скитанье по свѣту, завтра ожидая декрета, сегодня еще веселились?

Услыхавъ, что Кристина заговорила такъ смѣло, Губа испугался и ушелъ, подавъ знакъ дочери, чтобы она держалась въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ разговаривающихъ, такъ что Кристя осталась одна съ асессоромъ.

Желая вывернуться, Ридель отвѣтилъ нѣмецкой поговоркой:

— Никогда не ѣдятъ кушанье такимъ горячимъ, какъ оно приготовлено.

— Да, я это знаю,—прошептала Кристя,—только кому-то позволятъ остыть?

— Развѣ это можетъ васъ интересовать, кто именно? — спросилъ онъ.

— Разумѣется; прежде всего меня интересуетъ мой мужъ и моя судьба, потомъ мой добрый старый баринъ, котораго мнѣ хотѣлось бы спасти, хотя бы цѣной своей жизни, затѣмъ всѣ тѣ, съ которыми я жила... страдала... росла... Кажется, мы всѣ въ Любахувкѣ осуждены.

Ридель ломалъ и рвалъ на кусочки недокуренную сигару.

— Развѣ вы это знаете?—прервалъ онъ.

— А вы вовсе и не знали объ этомъ?—спросила экономка.

— Не зналъ, нѣтъ, — отвѣчалъ вышедшій изъ себя нѣмецъ.—Я чиновникъ только, пока сижу въ канцеляріи и имѣю передъ собой бумаги... Разъ вставъ изъ-за стола и заперевъ за собой дверь, я уже становлюсь свободнымъ человѣкомъ, пріобрѣтаю человѣческія права.

Испуганная такимъ оборотомъ разговора, который угрожалъ ей тѣмъ, что всѣ ея планы могутъ рухнуть, Кристина старалась какъ-нибудь дать другое направленіе.

— Вы сегодня слишкомъ погружены въ какія-то грустныя мысли,—замѣтилъ асессоръ.

— Правда, и я призналась вамъ въ нихъ,—отвѣчала Кристя.

— Но то, что я услыхалъ сейчасъ отъ васъ,—сказалъ Ридель,—объясняетъ мнѣ, почему изгнаніе неизбѣжно. Весь домъ, вся прислуга, всѣ не здѣшніе.

— Нѣтъ, это не совсѣмъ вѣрно,—отвѣчала Кристина,—но всѣ очень мало заботились о томъ, чтобы обезпечить себя на законномъ основаніи,—всѣ полагались на какія-то—я тамъ не знаю—трактаты, обѣщанія. Такъ, напримѣръ, нашъ старый панъ, который здѣсь родился...

— Его, навѣрное, не выселятъ,—прибавилъ Ридель.

— Нѣтъ,—и его, потому что никакъ не могутъ найти метрики,—возразила Кристина.

Все это уже наскучило асессору.

— Такъ зачѣмъ же онъ не берегъ ея?

— Могъ-ли онъ ожидать, что, послѣ двадцати лѣтъ спокойной жизни, кто-нибудь спроситъ ее у него?

— А!—вскричалъ Ридель,—а если онъ вмѣсто метрики представитъ свидѣтелей?

Кристя засмѣялась.

— Ему около восьмидесяти лѣтъ,—замѣтила она.

Асессоръ едва могъ усидѣть на мѣстѣ.

— Сдѣлаемъ условіе, — начала Кристя, ободряясь. — Мы, съ панной Рузой, а пожалуй и еще съ двумя-тремя подругами, обязуемся развлекать и развеселять васъ въ вашей скукѣ, а вы за это—спасти нашихъ мужей, отцовъ и братьевъ!

Хотя просьба Кристи была высказана въ формѣ шутки, однако Ридель наморщился, и по измѣнившемуся лицу его видно было, какъ это ему было непріятно.

Онъ призадумался на минуту.

— Мнѣ разсказывали здѣсь исторію одного старичка, — сказалъ онъ, — который выдалъ дочь за важнаго чиновника, а теперь этотъ зять не хочетъ заступаться за тестя... Какъ же вы хотите, чтобы человѣкъ посторонній сдѣлалъ что-либо подобное!

— Вы знаете, чья это исторія?—спросила Кристя.

— Не знаю,—сказалъ Ридель,—я этихъ польскихъ фамилій ни произнести, ни запомнить никакъ не могу.

— Это именно грустная исторія моего барина. Дочь его вышла за нѣкоего Треубернера.

Фамилія эта, повидимому, поразила асессора.

— Какъ?.. Frau Треубернеръ!.. Ея превосходительство?

— Это дочь моего пана Любаховскаго,—подтвердила экономка.

— А что же она дѣлаетъ?—съ любопытствомъ разспрашивалъ Ридель, оправившись отъ изумленія.

— Мнѣ кажется,—холодно сказала Кристя, — что, когда выгонятъ ея отца, она пойдетъ за нимъ...

Асессоръ задумался и долго сидѣлъ молча, наконецъ пробормоталъ:

— Curiose Geschichte!

— Да,—прервала его экономка,—для васъ она curiose, а для насъ — traurige.

— А все это оттого, что старикъ не берегъ метрики, — задумчиво произнесъ асессоръ,—но если бы она нашлась...

— Ахъ! если бы она нашлась!—вскричала Кристя, какъ молніей сверкнувъ своими глазами.

Ридель, въ отвѣтъ на этотъ вызовъ хотѣлъ что-то сказать, но вдругъ умолкъ. Онъ не замѣтилъ, какъ къ концу разговора подошелъ Бауръ, который, услыхавъ, о чемъ идетъ рѣчь, сильно толкнулъ его, какъ бы давая ему знать, что онъ слишкомъ увлекся.

Ридель и самъ сообразилъ, что его могли иначе понять, а потому замолчалъ.

Кристя, между тѣмъ, щебеча и не выходя за предначертанныя рамки, пересчитывала всѣ жертвы этого несчастнаго закона.

Ридель между тѣмъ успѣлъ опомниться, нѣсколько остынуть и заставить себя выслушивать въ холодномъ молчаніи горячій разсказъ экономки, который она излагала ему не жалѣя красокъ. Бауръ, надѣявшійся вытащить товарища изъ этого опаснаго мѣста искушенія, увидѣвъ, что старанія его были бы напрасны, всталъ и потитоньку вышелъ.

Кристя была такъ оживлена, такъ прекрасна въ своемъ увлеченіи, что Ридель, забывъ обо всемъ въ мірѣ, и не думалъ вовсе бѣжать отъ нея.

Изъ громкаго ихъ разговоръ перешелъ въ тихій, болѣе спокойный... На лицѣ Кристины замѣтенъ былъ лучъ какой-то надежды. Ей необходимо было въ тотъ же день вернуться въ Любахувку и, погоривъ съ Риделемъ, она исчезла.

Теперь только Бауръ могъ его вытащить изъ этой комнаты черезъ бильярдную залу.

— Дорогой асессоръ,—сказалъ онъ ему,—непрістойно мнѣ, младшему по лѣтамъ и въ служебной іерархіи, дѣлать тебѣ замѣчанія, но я не могу понять твоего увлеченія женщиной...

Ридель сдѣлалъ почти гнѣвное движеніе.

— Женщиной!—воскликнулъ онъ,—совершенно необыкновенной, подобную которой трудно найти у насъ въ Германіи! У насъ есть теперь все, даже флотъ, котораго еще такъ недавно у насъ не было, но женщинъ у насъ нѣтъ. Новомодное воспитаніе и реалистическое направленіе нашего вѣка лишили ихъ остатка поэзіи. Когда-то наши женщины гордились пониманіемъ поэтовъ и любовью къ идеалу; теперь онѣ добиваются названія хорошей хозяйки. Такого esprit follet, какъ это простое дитя природы, я не отыщу во всей великой

Германіи... Поэтому не удивляйся, что она вскружила мнѣ голову.

— Жаль головы!—прибавилъ Бауръ.

— Феноменальное существо! — пробормоталъ Ридель, уже не слушая его.

Они вошли въ бильярдную комнату, въ которой царствовало грустное, торжественное молчаніе, прерываемое шепотомъ.

Всѣ собрались въ кучку и о чемъ-то тихо и осторожно разговаривали.

Пивно-бильярдное общество было въ этотъ день въ полномъ комплектѣ. Всѣ оглядывались на двери и каждый разъ, какъ въ нихъ появлялся Губа, всѣ умолкали или оборачивались къ бильярду, на сукнѣ котораго еще лежали шары отъ послѣдней партіи.

— Я никакъ не ожидалъ этого,—говорилъ одинъ изъ чиновниковъ. — Когда-то еще этотъ уголокъ заселится,—а я не думаю, чтобы это скоро могло случиться, — здѣсь будетъ настоящая пустыня.

— Да, это все виновата неслыханная неосмотрительность, безпечность этихъ людей. Нѣкоторые, повидимому, легко могли бы спастись, если бы были нѣсколько предусмотрительнѣе.

— Кто же здѣсь останется?—прошепталъ другой.—Я не знаю ни одного, котораго бы нельзя было выселить, хотя сыновья нѣкоторыхъ служили въ войскѣ.

Всѣ поводили плечами.

— Исключенія и модификаціи должны быть, — сказалъ другой.

— Не думаю, — возразилъ молчавшій до сихъ поръ уже посѣдѣвшій чиновникъ, —законъ этотъ изданъ не столько ради своихъ послѣдствій, сколько изъ-за того нравственнаго впечатлѣнія, которое онъ долженъ произвести. Онъ закроетъ дорогу. Поэтому, онъ долженъ быть неумолимъ и не щадить никого. Объ этомъ лучше всѣхъ долженъ знать Треубернеръ и поэтому не смѣетъ спасать своего тестя, который долженъ подвергнуться изгнанію.

— А мы, — прибавилъ одинъ изъ молодежи, вытирая пальцы, вымазанные мѣломъ при бильярдѣ, — а мы, оставшись здѣсь одни, будемъ какъ бы первыми піонерами въ американской

пустынѣ. Хотя, по правдѣ сказать, государство, обладающее всѣмъ необходимымъ для цивилизованной жизни, я предпочитаю тому, которое мы еще сами должны созидать, прежде чѣмъ начать извлекать изъ него прибыль.

— Роль колонизатора завоеванной земли, положимъ, очень почетна, но она будетъ тяжела, охъ, какъ тяжела!

Никто ничего не возразилъ на это. Золингеръ, стоявшій сбоку и курившій плохенькую сигару, махнулъ рукой.

— Я здѣсь поселился уже очень давно,—сказалъ онъ,— для меня всѣ эти перемѣны, которыя должны произойти, гораздо чувствительнѣе, чѣмъ для васъ. Я помню еще здѣсь время, когда мы, нѣмцы и поляки жили въ такихъ дружескихъ отношеніяхъ, что можно было ожидать очень сноснаго modus vivendi. Я, который хорошо знаю Швейцарію, гдѣ три языка рядомъ живутъ въ такомъ согласіи, а протестантизмъ и католицизмъ взаимно помогаютъ другъ другу, чтобы религіозное чувство не ослабло,—я думалъ тогда, что и здѣсь можно устроить сносную жизнь. Между тѣмъ... между тѣмъ, — Золингеръ вздохнулъ, — гдѣ только полякъ столкнется съ нѣмцемъ, тамъ непремѣнно вмѣшается фанатизмъ. Кто началъ, я не знаю: поляки или мы. Лишь только затронули чувствительную струнку, которая зовется у насъ націей, сейчасъ же началась война. Газеты подливали масла въ огонь. Вмѣсто того, чтобы смягчать взаимную ненависть, ее разжигали. Поляки хвастались своей настойчивостью, вызывая правительство на бой. Трудно, чтобы кто-нибудь позволилъ насмѣхаться надъ собой, чувствуя свою силу. Мы, нѣмцы, писали небывалыя вещи о полякахъ и полькахъ, не зная ихъ вовсе. Языкъ ихъ мы сдѣлали какимъ-то діалектомъ, литературы не признали, отказали имъ въ культурѣ, оплевали ихъ прошлое, вмѣсто того, что бы пожалѣть ихъ. Не было человѣка, который принесъ бы малѣйшую жертву для мира и спокойствія. И та и другая сторона прибѣгали къ различнымъ оружіямъ въ этой борьбѣ. Поляки обязаны намъ тѣмъ, что теперь они стали гораздо выносливѣе, хитрѣе, умнѣе, чѣмъ были. Наши преслѣдованія вырвали ихъ изъ оцѣпенѣнія, дали имъ достоинства и качества, которыхъ они не имѣли.

— Ого! ого! — прервалъ старый чиновникъ. — Вы слиш-

комъ увлекаетесь, господинъ Золингеръ, слишкомъ. Надо знать поляковъ.

— Да,—замѣтилъ Золингеръ,—если-бы вы знали ихъ такими, какими они были, и сравнили съ тѣми, какихъ мы видимъ теперь, вы должны были бы сознаться, что они выиграли отъ этой борьбы, а мы проиграли. Мы научили ихъ бороться, придали имъ силы.

Старикъ вздохнулъ и сѣлъ на диванъ.

— Надо признаться,—вскричалъ послѣ нѣкотораго молчанія Ридель,—что эти поляки имѣютъ много недостатковъ, исключительно имъ присущихъ, но нельзя имъ отказать и въ извѣстныхъ достоинствахъ. Быстрый, острый умъ, сообразительность, но при этомъ неслыханное легкомысліе. Какъ тутъ понять, чтобы старинный владѣтель клочка земли — не знаю, какъ тамъ его фамилія—этотъ тесть Треубернера, жилъ и хозяйничалъ здѣсь нѣсколько десятковъ лѣтъ, не стараясь обезпечить себя, не хлопоча о помѣщичьихъ правахъ, которыя прежде онъ такъ легко могъ получить.

— Вы упомянули о Любаховскомъ, — сказалъ, нагибаясь, Золингеръ,—я его очень люблю. Золотой человѣкъ. Но что же вы съ нимъ будете дѣлать, если онъ твердо увѣренъ, что Господь долженъ покровительствовать его народу и ему самому! Поэтому, онъ во всемъ полагается на Бога, а если и падетъ жертвой своей излишней вѣры въ Провидѣніе, то скажетъ себѣ въ утѣшеніе, что такова Божья воля, что онъ терпѣлъ и страдалъ за свои грѣхи и за грѣхи праотцевъ

Молодые чиновники иронически улыбались.

— Какое грустное положеніе женщины, — прибавилъ Ридель, — этой фрау Треубернеръ, между мужемъ, который ничего знать не хочетъ объ ея отцѣ, и отцомъ, осужденнымъ на изгнаніе.

— Мнѣ говорили, что разрывъ уже произошелъ; бракъ почти уже нарушенъ, а дѣти...—Золингеръ не докончилъ.

— Мнѣ кажется,—началъ Ридель, наморщивъ брови,—что старика можно было бы спасти, и что его превосходительство Треубернеръ былъ бы очень благодаренъ за это. Ему самому, конечно, неловко касаться этого дѣла, но если бы кто-нибудь за него постарался.,.

— Извините,—важно произнесъ Плеве, съ неудовольствіемъ вмѣшиваясь въ разговоръ,—вы слишкомъ далеко зашли. Тутъ ничего нельзя подѣлать, развѣ путемъ помилованія.

— Извините, господинъ совѣтникъ,—возразилъ Ридель,—все дѣло въ затерявшейся метрикѣ. Этотъ старикъ, отецъ фрау Треубернеръ, родился здѣсь.

— Никогда ничего не слыхалъ объ этомъ,—вскричалъ Плеве.—Всѣмъ извѣстно, что онъ пріѣхалъ сюда изъ королевства *), чтобы вступить во владѣніе этимъ клочкомъ земли.

— Что нисколько не мѣшаетъ тому, что онъ могъ здѣсь родиться, какъ всѣ это утверждаютъ,—возразилъ Ридель.

— Но кто же утверждаетъ?—воскликнулъ Плеве.

— Я слышалъ это сейчасъ отъ его экономки,—пробормоталъ Ридель.

Смѣхъ, раздавшійся въ толпѣ, смутилъ говорившаго—онъ вдругъ остановился, но, желая чѣмъ-нибудь закончить свою рѣчь, онъ прибавилъ:

— Прелестная тема для писателей драмъ и романовъ.

Разговоръ, исчерпавъ этотъ предметъ, понемножку сталъ утихать. Посматривали на часы, нѣкоторые удалялись незамѣтно—по-англійски, другіе прощались, бильярдная зала опустѣла и послѣдній посѣтитель—какой-то бѣдный канцелярскій чиновникъ, вздремнувшій было въ уголкѣ, неожиданно разбуженный, не допилъ своей кружки пива и быстро удалился, сильно сконфуженный.

Губа остался одинъ съ своими думами, грустный и апатичный. Съ заботой на сердцѣ началъ онъ читать вечернія молитвы и, осмотрѣвъ лампу, которая должна была горѣть всю ночь, легъ въ постель, разсчитывая, сколько онъ понесетъ убытковъ, когда этотъ несчастный законъ будетъ приведенъ въ исполненіе.

То же, что и съ нимъ, происходило почти со всѣми въ мѣстечкѣ и его окрестностяхъ. Болѣе слабые, фамиліи которыхъ легко поддавались передѣлкѣ на нѣмецкій ладъ, готовы уже были отречься отъ матери, лишь бы только спасти себя. Губа тоже охотно принесъ бы въ жертву необходимости свое

*) Царства Польскаго.

польское происхожденіе, но вѣра, которую онъ исповѣдывалъ, служила слишкомъ яснымъ доказательствомъ его происхожденія, а отъ вѣры Губа не отрекся бы ни за какія сокровища этого свѣта.

Между прочими людьми, принимавшими сердечное участіе въ общемъ горѣ, былъ и пробощъ *) стариннаго костела въ мѣстечкѣ. Среднихъ лѣтъ, энергичнаго характера, пріученный жизнью къ спокойной и безстрастной борьбѣ, ксендзъ готовъ былъ, хотя бы подвергая опасности самого себя, помогать несчастнымъ.

Онъ предвидѣлъ, что во многихъ случаяхъ метрики могли служить доказательствомъ мѣстнаго происхожденія. Костелъ и кладовая, въ которой хранился маленькій архивъ, — два раза горѣли за послѣднюю половину столѣтія; нѣкоторыя метрическія книги совсѣмъ пропали, другія обгорѣлыя, не шнурованныя, не имѣли законной силы.

Однако, они могли послужить нѣкоторымъ указаніемъ, и на всякій случай ксендзъ Кростекъ всю эту кучу разорванныхъ, полуобгорѣлыхъ книгъ перетащилъ къ себѣ въ домъ, тщательно ихъ перебирая, пересматривая и по возможности приводя въ порядокъ.

Какъ разъ этой работой онъ былъ занятъ, самъ заступая мѣсто переплетчика, когда въ пріемной его комнатѣ раздалось откашливаніе и послышались чьи-то шаги.

Это былъ обычный способъ доклада о себѣ. Ксендзъ Романъ Кростекъ спросилъ: кто тамъ? получилъ въ отвѣтъ: покорный слуга ксендза добродзѣя.

Напрасно стараясь узнать по голосу одного изъ многочисленныхъ «покорныхъ слугъ» своихъ, ксеидзъ проговорилъ:

— Пожалуйте ко мнѣ сюда...

На порогѣ показался ксендзовскій любимецъ—Дыдась.

Любахувка и старый панъ ея имѣли то счастье, что люди ихъ любили... Старикъ этотъ — олицетвореніе прошлаго — съ яснымъ, открытымъ челомъ, съ благородной репутаціей, съ непоколебимымъ душевнымъ спокойствіемъ, пробуждалъ уваженіе даже въ противникахъ своего народа.

---

*) Ксендзъ.

— Какъ поживаешь, дитя мое? Какъ поживаешь?—проговорилъ ксендзъ, не вставая изъ-за столика, за которымъ онъ сидѣлъ безъ сутаны *), съ засученными рукавами и лицомъ раскраснѣвшимся отъ непривычнаго труда.

— Какъ видишь, мнѣ пришлось превратиться въ ремесленника,—засмѣялся онъ,—добросовѣстнаго переплетчика нѣтъ, а тутъ каждый маленькій листокъ имѣетъ громадную важность. Такъ что клею самъ, какъ могу; но надо отдать справедливость, занятіе это далеко не изъ пріятныхъ — весь перемажешься клейстеромъ.

Дыдась готовъ былъ бы помочь ксендзу, но время у него было точно разсчитано, онъ долженъ былъ скоро вернуться, ему было поручено пригласить ксендза въ воскресенье къ обѣду.

— Придется вамъ морить себя голодомъ изъ-за меня,— возразилъ онъ, выслушавъ порученіе,—потому что въ воскресенье,—какъ бы я ни торопился,—я не могу быть въ Любахувкѣ къ часу.

— Баринъ приказалъ сказать, что будетъ васъ ждать хоть до трехъ,—сказалъ Дыдась.

Говоря это, онъ подошелъ къ столику, на которомъ были разложены бумаги, и съ любопытствомъ присматривался къ этимъ пожелтѣвшимъ листамъ.

— Что это за реестры?—спросилъ онъ черезъ минуту.

— Метрики,—отвѣчалъ ксендзъ Романъ,—но нѣкоторыя изъ нихъ попали въ огонь, такъ что остались только клочки бумаги. Кто знаетъ? въ такія времена и это можетъ пригодиться...

— Боже мой!—пробормоталъ Дыданъ,—если бы вамъ какънибудь, по счастью, нашлась въ этихъ бумагахъ метрика стараго пана.

— Какимъ образомъ? — возразилъ ксендзъ, не прерывая работы,—вѣдь онъ прибылъ изъ Царства Польскаго?

— Но говорятъ, что онъ родился въ Познанскомъ княжествѣ,—прибавилъ Дыданъ.—Наша экономка клянется, что она сто разъ слыхала, что родители барина жили въ княжествѣ и онъ здѣсь явился на свѣтъ. Но... метрики нѣтъ.

---

*) Верхнее облаченіе ксендзовъ.

— Нѣтъ? — спросилъ ксендзъ. — Это ты мнѣ очень интересную новость сообщилъ! Нѣтъ метрики? Какъ же это можетъ быть?

— Я слышалъ это изъ устъ барина, — отвѣчалъ Дыдась, — онъ не знаетъ даже хорошенько, гдѣ родился...

Ксендзъ задумался и бумаги, которыя онъ держалъ, выскользнули изъ рукъ. Онъ посмотрѣлъ на года, выставленные на поляхъ, устремилъ на нихъ свой взоръ и не скоро поднялъ его на Дыдана.

— Сколько же лѣтъ вашему барину? — спросилъ онъ.

— Я заключаю изъ того, что слышалъ, что должно быть около 80, — проговорилъ Дыданъ. — И въ такомъ-то возрастѣ, когда пора бы уже и отдохнуть, намъ съ нимъ придется отправиться странствовать Богъ знаетъ куда. Онъ терпѣливо переноситъ это, какъ и все, что встрѣчаетъ его на жизненномъ пути, покоряясь волѣ Божіей; но, несмотря на кажущееся спокойствіе, я боюсь, что тоска по дорогой Любахувкѣ заѣстъ его.

— Полно! — воскликнулъ ксендзъ, — до изгнанія и гоненія дѣло еще не дошло, а Господь Богъ милостивъ къ рабамъ своимъ.

Дыдась замолчалъ, опечаленный; онъ боялся говорить больше, поклонился, повторяя, что ксендза будутъ ждать къ обѣду, и ушелъ.

Ксендзъ Романъ долго сидѣлъ потомъ, съ глазами устремленными въ книги, и уста его невольно повторили:

— Ахъ, если бы метрика нашлась!..

Часть вторая.

Послѣ лихорадочнаго безпокойства, вызваннаго готовившимся закономъ, который долженъ былъ оторвать тысячи семействъ отъ тѣхъ мѣстъ, къ которымъ они успѣли уже прирости, послѣ этого ужаснаго ожиданія, когда надежда ежеминутно чередовалась съ сомнѣніемъ, почти отчаяніемъ,—первые проскрипціонные приговоры посыпались, какъ градъ. Кто-же опишетъ положеніе страны, жители которой, точно будто почва заколебалась у нихъ подъ ногами, сразу почувствовали себя бездомными, сиротами, осужденными безъ вины. Ни у кого не было сбереженій на черный день, потому что никто не ожидалъ отъ Бога такой кары.

Смерть для многихъ была бы гораздо легче, чѣмъ этотъ безжалостный приговоръ.—Убирайтесь на всѣ четыре стороны! вы не имѣете права жить на этой землѣ!..

Политическихъ крайностей, заставлявшихъ забыть евангельскіе законы, христіанскую терпимость, и вмѣсто милосердія поднимать знамя ненависти и преслѣдованія, — темныя массы люда, конечно, не понимали. Для нихъ существуетъ только одна человѣчность; поэтому законъ этотъ казался имъ ужаснымъ по своей жестокости.

Можно было предвидѣть несомнѣнныя слѣдствія этого закона—съ обѣихъ сторонъ непріятныя обостренныя отношенія. Правду говоритъ пословица: «Кто сѣетъ вѣтеръ — собираетъ бурю».

Старикъ Любаховскій до сихъ поръ смотрѣлъ совершенно спокойно на то, что подготовлялось; онъ былъ убѣжденъ, что

всѣ эти извѣстія преувеличены, что угроза окажется неисполнимой. За свою долгую жизнь, онъ привыкъ, что, если даже въ политикѣ и прибѣгали иногда къ такимъ средствамъ, которыя расходились съ общими понятіями о нравственности, то всегда ихъ сглаживали, смягчали, прикрашивали, старались придать имъ хоть съ внѣшней стороны видъ справедливости. Здѣсь же цинично выступала ненависть, месть и попираніе самыхъ вѣчныхъ истинъ. Старикъ не зналъ уже—на какомъ онъ свѣтѣ... Онъ молчалъ.

Окружающіе видѣли по его лицу, что онъ былъ убитъ до такой степени, что совсѣмъ даже не могъ думать о себѣ. Тѣмъ болѣе зато заботились о немъ другіе. Ожидали нѣкоторой помощи и поддержки отъ Треубернера, но оттуда не было слышно ни слова.

Бѣдный Любаховскій въ защиту свою имѣлъ только ничего незначущаго Дыдана, погруженную въ хлопоты экономку и безсильныхъ людей, искренно сожалѣвшихъ его: ксендза, Золингера и другихъ.

Фрейеръ, принужденный къ нейтралитету и бездѣйствію, заслонялся отъ Дыдана своей племянницей, а то, что желалъ сдѣлать незамѣтно, возложилъ на своего пріятеля Браузе.

Старика Любаховскаго, такъ уважаемаго и любимаго всѣми, рѣдко кто видѣлъ за предѣлами Любахувки, въ которой никто почти не бывалъ.

Кругомъ все уже грозно шумѣло и предвѣщало бурю, а Любаховскій еще ничего не дѣлалъ, чтобы отвратить ее отъ своей головы.

Надежда разыскать метрику, о которой говорила Кристина, оказалась напрасной. Ксендзъ Романъ самымъ старательнымъ образомъ перелисталъ всѣ книги и замѣтки и нигдѣ не нашелъ ни малѣйшихъ слѣдовъ ея.

Отъ дочери старикъ не имѣлъ никакихъ извѣстій, а писать ей обо всемъ онъ не хотѣлъ, чтобы не усиливать ея безпокойства. Напрасно Дыданъ каждый день напоминалъ ему, что надо что-нибудь предпринять.

— Воля Божія, а если намъ нечего дѣлать,—холодно отвѣчалъ онъ,—то будемъ ждать, что будетъ. Я ничего не знаю.

Кристя напрасно вела атаку противъ Риделя, напрасно ѣздила

въ мѣстечко, напрасно умоляла чиновниковъ. Никто даже не подавалъ ей ни малѣйшей надежды на то, чтобы возможно было обойти законъ и сдѣлать исключеніе.

— Если найдется метрика,—говорилъ Ридель,—положеніе дѣла сразу измѣнится: тогда ужъ никто его не задѣнетъ; но необходимо, чтобы документъ этотъ былъ формаленъ, имѣлъ законную силу.

Любаховскій, когда ему говорили о метрикѣ, поводилъ плечами и добродушно смѣялся.

— Это пустяки—что я здѣсь родился, этого не можетъ быть,—говорилъ онъ.

И больше не хотѣлъ разговаривать.

Постоянно побуждаемый сдѣлать какой-нибудь рѣшительны шагъ, Любаховскій, котораго письменно пригласили въ Познань на совѣтъ по поводу новаго закона, хотя онъ и не любилъ подобныхъ съѣздовъ, какъ «переливанія изъ пустого въ порожнее»—по его же словамъ,—рѣшился на этотъ разъ отправиться.

Съѣздъ этотъ, назначенный въ одномъ изъ самыхъ большихъ домовъ, собралъ большое число помѣщиковъ, заботящихся и безпокоящихся о себѣ и обо всемъ народонаселеніи.

Когда Любаховскій пріѣхалъ въ своей скромной бричкѣ, то дворъ, площадь передъ воротами—все было наполнено экипажами, лошадьми и людьми. Въ комнатахъ онъ засталъ шумъ и гамъ, среди которыхъ съ трудомъ можно было что-нибудь разслышать или разобрать.

Значительной части собравшихся здѣсь пановъ еще не угрожала опасность; но они вполнѣ сознавали, что нетронутые сегодня, завтра они испытаютъ на себѣ слѣдствія преслѣдованія.

Вошедшаго старика всѣ привѣтствовали дружескими рукопожатіями, но никто не смѣлъ спросить, правда ли, что онъ принадлежитъ къ числу проскрипціонныхъ, какъ о томъ ходили слухи. Нѣкоторые предвидѣли, что въ такомъ случаѣ онъ будетъ нуждаться въ помощи, а торопиться съ поданіемъ ея никто не желалъ.

Хозяинъ, особа весьма солидная, съ очень старинной фамиліей, привѣтствовалъ гостей покровительственнымъ тономъ.

Увидѣвъ Любаховскаго, онъ кивнулъ ему головой.

— Дорогой мой Любаховскій,— проговорилъ онъ,—я слыхалъ, правда ли это? Ты, ты, поселившійся здѣсь уже сколько лѣтъ, вѣдь ты имѣешь сильную подпору въ лицѣ зятя... Можетъ ли это быть?!

Старикъ слушалъ съ величайшимъ спокойствіемъ, не обнаруживая ни малѣйшаго волненія.

— Да,—отвѣчалъ онъ,—говорятъ, что и меня тоже выгонятъ вонъ... говорятъ... Ни зять, ни дочь не могутъ ничѣмъ помочь, хотя бы даже и желали, а я...

По поводу старика Любаховскаго поднялся шумъ. Одни говорили, что вѣдь еще ничего нѣтъ; другіе, что законъ не знаетъ чувства жалости...

Почти каждый изъ стоявшихъ вокругъ приводилъ какой-нибудь возмутительный фактъ. Бѣднякамъ, отягченнымъ семьями, больнымъ, не давали даже времени приготовиться. Нѣкоторыхъ голодныхъ и умирающихъ уже выбросили за границу, и солдаты, стерегущіе ее съ другой стороны, дѣлились съ умиравшими отъ голода и холода хлѣбомъ и одеждой.

Среди собравшихся здѣсь и разсказывавшихъ первые результаты закона, который немедленно приводился въ исполненіе, въ особенности выдѣлялись трое помѣщиковъ тѣмъ, что всѣ къ нимъ обращались.

Это были депутаты, которые тщетно старались защитить своихъ соотечественниковъ, и теперь объясняли, почему они не могли этого сдѣлать. Одинъ изъ нихъ, въ которомъ по самому виду нетрудно было отгадать отличнаго оратора, какъ разъ начиналъ говорить.

— Съ нашей стороны,—сказалъ онъ,—въ этомъ должны сознаться и сами непріятели,— было сдѣлано все, что только возможно. Прочтите только наши рѣчи въ защиту нашихъ правъ... Потомство разрѣшитъ нашъ споръ съ ними. Самая большая вина въ изданіи такого закона вопіющей несправедливости падаетъ на презрѣнную, подлую нѣмецкую прессу.

Его прервали; нѣсколько разъ слово «потомство» можно было разобрать въ общемъ шумѣ.

Нѣкоторые изъ помѣщиковъ, увидѣвъ Любаховскаго, обратились къ нему съ вопросами:

— Правда ли это?

— Должно быть, правда,—отвѣчалъ старикъ,—потому что я дѣйствительно пришлый и хотя у меня и есть имѣнье, но помѣщичьихъ правъ я не имѣю. Поэтому не можетъ быть, чтобы для меня сдѣлали исключеніе.

— А его превосходительство?—спросилъ одинъ изъ помѣщиковъ.

— Я не обращался къ нему съ этой просьбой, чтобы не поставить его въ неловкое положеніе,—возразилъ старикъ.— Годы мои сочтены. Я сумѣю перенести... Надо подумать о тѣхъ, которые, лишенные всякихъ средствъ, очутятся въ страшной крайности.

Стоявшій возлѣ него помѣщикъ проговорилъ недовольнымъ тономъ:

— Ужъ, пожалуйста, только, Любаховскій, безъ всякихъ пожертвованій, не требуйте съ нашей стороны никакихъ подписокъ, никакихъ денежныхъ пожертвованій, я заранѣе протестую. Мы разорились, обѣднѣли, почти всѣ обанкротились. Галиція и королевство въ гораздо лучшемъ положеніи, они и помогутъ.

Шумъ заглушилъ слова говорившаго, которому Любаховскій ничего не отвѣтилъ.

Въ собраніи, которое должно было обсуждать дѣла и совѣтываться, царствовала такая сумятица, умы были такъ раздражены, всѣ прибыли съ такими неточными понятіями о настоящемъ положеніи, и засѣданіе открылось такъ бурно, что можно было сказать впередъ, что собраніе это не приведетъ ни къ какимъ результатамъ.

Этотъ безпорядочный шумъ и крикъ продолжались уже довольно долго, когда одинъ изъ всегдашнихъ вожаковъ всякихъ собраній и митинговъ громкимъ голосомъ потребовалъ водворенія порядка.

Почти единогласно избрали двухъ предсѣдателей, четырехъ секретарей и стали спорить объ окончательномъ выборѣ между ними. Ясно было, что два лагеря, которыми руководили двѣ непріязненныя другъ другу личности, должны были столкнуться и здѣсь.

Хозяинъ, которому это было очень непріятно, старался

склонить враждующія стороны къ примиренію, но вмѣсто этого сдѣлалъ то, что, несмотря на всѣ его просьбы и увѣщанія, нѣсколько человѣкъ скрылись и ушли совсѣмъ, а остальные стали упрекать другъ друга.

Старый Любаховскій, для котораго это состояніе умовъ и разногласіе въ мнѣніяхъ относительно такого общаго дѣла казались странными и непонятными, просилъ слова.

— Позвольте мнѣ сдѣлать одно замѣчаніе,—сказалъ онъ,— я не вижу здѣсь ни малѣйшаго повода къ спорамъ. Насъ постигло такое великое несчастіе, что мы должны искать средствъ помочь себѣ. Съ этимъ мы всѣ согласны. Кто будетъ руководить нами въ нашихъ совѣщаніяхъ, это уже не такъ важно.

Старику не дали говорить, онъ отступилъ и замолчалъ.

Шумъ не унимался, волненіе не прекращалось. Одинъ изъ прибывшихъ изъ столицы высказалъ мнѣніе, что общими силами ничего не удастся подѣлать, что каждый долженъ самъ по себѣ стараться помогать несчастнымъ, но никого нельзя ни къ чему принуждать, ни къ чему обязывать. Кто-то другой пошелъ еще далѣе:

— Мнѣ кажется, — замѣтилъ онъ, — что сдѣлать ничего нельзя, и что совѣтываться теперь уже поздно. Чѣмъ болѣе мы будемъ волноваться, тѣмъ сильнѣе возбудимъ противъ себя преслѣдователей.

На него закричали: Usque ad finem! слѣдуетъ бороться.

— Да, — прибавилъ кто-то другой, — но надо отстаивать землю, а не людей, которыхъ мы не можетъ спасти. Распоряженія уже сдѣланы, каждый ищетъ, кого бы выгнать, лишь бы только подслужиться. Они не сжалятся ни надъ умирающимъ, ни надъ больнымъ, ни надъ удрученными годами. Всѣ мы въ опасности.

Никакъ не могли приступить къ совѣщанію. Повторяли жалобы и упреки, прерывали другъ друга, никто не подавалъ разумнаго совѣта.

Депутаты взывали къ потомству: они надѣялись, что симпатіи всего міра будутъ на сторонѣ обиженныхъ.

Наконецъ, хозяину удалось, среди этихъ жаркихъ преній, выдѣлить болѣе спокойныхъ, собрать ихъ въ другую комнату

и здѣсь уже установить извѣстный порядокъ. Такъ какъ онъ самъ не могъ быть здѣсь руководителемъ, то предсѣдателемъ былъ выбранъ мужчина среднихъ лѣтъ, одаренный сильнымъ голосомъ.

Заранѣе подготовившійся ораторъ напрашивался произнести внушительную рѣчь, подъ тѣмъ предлогомъ, что онъ начнетъ съ описанія настоящаго положенія. Чтобы принять какія-нибудь мѣры противъ зла, надо его знать.

— Мы его знаемъ! — воспротивился кто-то другой, которому тоже хотѣлось говорить. — Мы отлично знаемъ, въ чемъ дѣло: въ томъ, чтобы уничтожить, истребить насъ. Подумаемъ о защитѣ.

Трудно было найти болѣе благопріятный случай для одного изъ краснорѣчивыхъ членовъ парламента, который провалился на послѣднихъ выборахъ, чтобы произнести давно обдуманную рѣчь о народной солидарности.

Положимъ, это была пустая, не ведущая ни къ какимъ практическимъ результатамъ рѣчь, но тѣмъ не менѣе дѣйствительно прекрасно составленная.

Ораторъ еще отиралъ потъ съ чела, когда раздались протесты, что провинція не въ состояніи приносить пожертвованій и оказывать помощь несчастнымъ.

— Такъ зачѣмъ же мы сюда собрались? — воскликнулъ кто-то.

Глухое молчаніе было отвѣтомъ на этотъ вопросъ.

— Слова!

— Прошу слова! — слышалось со всѣхъ сторонъ.

Защитникъ земли, который разъ уже высказывалъ свое мнѣніе, желая обратить главное вниманіе на этотъ вопросъ, все повторялъ свое: — Будемъ искать средствъ отстоять землю.

Громкіе крики превратились въ шопотъ. Какой-то мужчина, блѣдный, истомленный, съ нѣкогда красивымъ, но страшно истасканнымъ лицомъ, до такой степени, что оно даже становилось противнымъ,—выступилъ впередъ. На лицѣ его отражалось что-то похожее на презрѣніе къ своимъ будущимъ противникамъ.

— Это очень хорошо со стороны патріотизма, — началъ говорить онъ, — приказывать намъ держаться за свою землю,

запрещать намъ продавать ее; но если имѣніе обременено долгами? У меня есть дѣти, и я могу спасти имъ состояніе, продавъ землю нѣмцу за такую хорошую цѣну, какой мнѣ не можетъ дать никто изъ нашихъ помѣщиковъ; развѣ же можно считать преступленіемъ съ моей стороны, если я отрекусь отъ земли ради своихъ дѣтей! Пускай господа патріоты соберутъ деньги и спасаютъ землю, покупая ее у меня по той цѣнѣ, какую даетъ нѣмецъ. За что же я одинъ буду терять?

Поднялся такой шумъ, что ничего нельзя было разобрать, кромѣ бурнаго протеста. Тотъ, кто поднялъ этотъ вопросъ, толкаемый со всѣхъ сторонъ, холоднымъ взглядомъ отвѣчалъ на всѣ нападенія.

Его упрекали въ разореніи имѣнія, въ расточительности, роскоши, и неизвѣстно, чѣмъ бы это все кончилось, если-бы одинъ изъ главныхъ вожаковъ не началъ говорить о необходимости основать банкъ, который явился бы на помощь разореннымъ.

— Кредитъ насъ губитъ, — замѣтилъ другой, — а вы хотите облегчить его. Занимаютъ, транжирятъ, долгъ остается, растетъ и такимъ путемъ мы приближаемся къ погибели. Развѣ, если вмѣстѣ съ кредитомъ учредить опеку надъ слишкомъ расточительными.

— Вотъ это хорошо!— вскричалъ кто-то.—Ужъ не для того-ли, чтобы выставить себя на смѣхъ?

— Долги, долги,—прогорилъ другой,—долги насъ губятъ. Имѣніе даетъ три процента, а мы платимъ по пяти или по шести.

Въ одной группѣ поднялся такой громкій смѣхъ, что заглушилъ все. Этотъ взрывъ смѣха казался такимъ страннымъ и неумѣстнымъ, что нѣкоторые изъ находившихся въ залѣ вышли огорченные.

Любаховскій, прислушивавшій ко всему, тихо вышелъ, убѣдившись, что все это ни къ чему не поведетъ.

Онъ хотѣлъ уже незамѣтно проскользнуть къ дверямъ, чтобы разыскать свою телѣжку и вернуться домой, когда старый знакомый заступилъ ему дорогу. Они подали другъ другу руки. Они были знакомы другъ съ другомъ еще въ лучшія

времена, когда Любаховскій занимался дѣлами князя. Роховскій (такъ звали стараго друга), выдавъ потомъ свою дочь за познанскаго помѣщика и, отдавъ имѣніе сыну, самъ жилъ съ ней. Съ Любаховскимъ они встрѣчались рѣдко, поэтому встрѣча была очень сердечная.

— Что же ты, мой старикъ?—проговорилъ Роховскій, съ нѣжностью глядя на него,—что ты подѣлываешь? Какъ твои дѣла? Что дочь, внуки?

Любаховскій покраснѣлъ. Они взялись подъ руку и пошли въ кабинетъ, гдѣ нѣкоторые изъ собравшихся помѣщиковъ—о, чудо!—играли въ карты. Роховскій съ пріятелемъ сѣли въ сторонѣ.

— Дочь я вижу очень рѣдко,—отвѣчалъ старикъ,—внуковъ почти никогда. Боюсь, какъ бы меня не заставили покинуть Познань, какъ не здѣшняго.

— Можетъ-ли это быть? А зять, занимающій такое высокое положеніе?

— Это-то именно и лишаетъ его возможности помочь мнѣ,—отвѣчалъ Любаховскій.

— Про меня знаешь что-нибудь?—съ ироническою улыбкой спросилъ Роховскій.

— Ничего новаго не слыхалъ.

— Такъ я тебѣ скажу,—прибавилъ старый пріятель.—Я жилъ здѣсь у дочери по паспорту. Кажется, ни во что не вмѣшивался, а между тѣмъ мнѣ приказано оставить этотъ край.

— Почему?

— О причинѣ нельзя спрашивать,—докончилъ Роховскій съ насмѣшливой улыбкой.—Вскорѣ намъ, полякамъ, не позволено будетъ даже проѣзжать черезъ Познань и долѣе 24 часовъ дышать прусскимъ воздухомъ.

— Это неправдоподобно!—прошепталъ Любаховскій.

— Вскорѣ для молодежи, родившейся не здѣсь, будутъ закрыты прусскіе университеты.

— Странно,—прошепталъ старикъ,—Что же еще?

— Я думаю,—говорилъ Роховскій,—что это кончится тѣмъ, что насъ будутъ прямо избивать, гдѣ бы мы ни показались. Мы имѣли дерзость въ продолженіе цѣлаго столѣтія выдерживать истребленіе и грабежъ; мы не вымерли, какъ они того желали,

и вотъ имъ бѣднымъ пришлось самимъ взять на себя истребленіе ненавистнаго племени.

Оба старика взглянули другъ на друга глазами полными слезъ.

— Спажи мнѣ, думалъ-ли кто изъ насъ дожить когда нибудь до такого времени?— спросилъ Роховскій.

— Никто изъ насъ не могъ имѣть ни малѣйшаго понятія о такомъ положеніи вещей,—отвѣчалъ Любаховскій,—потому что—кто же могъ ожидать, чтобы одна половина рода человѣческаго сдѣлалась палачемъ другой и еще хвасталась этимъ? Мнѣ еще до сихъ поръ все кажется, что это сонъ, призраки, а не дѣйствительность.

— Грустно мнѣ покидать дочь и внучатъ,—вздохнулъ Роховскій,—но надо утѣшаться хоть тѣмъ, что изрѣдка можемъ видѣться другъ съ другомъ въ Галиціи.

— Дорогой мой Роховскій,—проговорилъ послѣ нѣкотораго раздумья Любаховскій,—я живу совсѣмъ уединенно, никого не вижу, ничего не слышу, и потому, быть можетъ, не все понимаю. Такія жестокія мѣры, принятыя противъ насъ, не могутъ быть безъ причины. Въ чемъ же мы провинились? чѣмъ мы заслужили это?—не знаю; мнѣ кажется, у насъ даже прибавилось сдержанности, спокойствія, такъ что мы не могли никому быть не только опасными, но даже непріятными. Въ чемъ же мы провинились?

— Видитъ Богъ, не знаю,—отвѣчалъ Роховскій.—Какъ громъ упало на насъ это преслѣдованіе. Я не понимаю его, но думаю, что оно не безъ разсчета. Что же ты будешь дѣлать теперь?

— Не знаю,—отвѣчалъ Любаховскій. — Ты слышалъ навѣрное, что старый Хлопицкій, который занялъ опасное мѣсто въ битвѣ подъ Гороховцемъ, отвѣтилъ на вопросъ: почему онъ всталъ тамъ,—toute place est bonne pour se faire tuer. Я могъ бы сказать тебѣ: для меня все равно, гдѣ бы ни умереть.

— Ошибаешься, старикъ,—сказалъ Роховскій,—ни жить, ни умирать не безразлично гдѣ.

Оба замолчали.

Любаховскій протянулъ руку пріятелю.

— Мнѣ ужъ больше нечего здѣсь дѣлать,—сказалъ онъ.— Хотѣлъ я послушать это совѣщаніе, ожидая отъ него какихъ

нибудь благопріятныхъ результатовъ, но вижу, что вмѣсто согласія, здѣсь еще болѣе возрастаетъ рознь. Я предпочитаю не смотрѣть на это и не слушать всего этого.

Старикъ уже всталъ, но въ ту же минуту хозяинъ заступилъ ему дорогу.

— Это еще что? ты собираешься уѣзжать?

— Я думаю, что больше здѣсь нечего дѣлать.

— Ну, ужъ извѣстно, безъ обѣда я тебя не отпущу,— прибавилъ онъ съ такимъ важнымъ, барскимъ выраженіемъ, которое говорило: такого обѣда дома вѣть не найдешь. Роховскій, также приглашенный, тоже долженъ былъ остаться.

Между тѣмъ въ боковой комнатѣ, гдѣ еще продолжалось засѣданіе, слышался говоръ, ни на минуту не прекращающійся, изрѣдка только прерываемый болѣе громкими криками, смѣхомъ. Одни входили туда, другіе выходили, уже утомленные. Споръ отклонился совсѣмъ въ сторону. Говорили о хозяйствѣ, о машинахъ, о цѣнѣ земли, считали, сколько людей унесла эмиграція, поддерживаемая какими-то таинственными способами, сколько унесетъ теперь это изгнаніе.

Вначалѣ жарче всѣхъ разсуждавшіе постепенно остывали и начинали зѣвать; въ комнатѣ стало пустѣть, и можно уже было предвидѣть минуту, когда всѣ разойдутся.

Вдали слышался стукъ экипажей тѣхъ изъ гостей, которые не хотѣли уже долѣе ожидать опоздавшаго обѣда. Въ эту минуту пригласили къ столу. Всѣ гости оживились.

Изъ широко растворенныхъ дверей видно было столовую, заставленную двумя длинными столами, дополненіемъ къ которой служили еще двѣ комнаты съ прибавочными столами.

Уже въ довольно веселомъ настроеніи садились за патріотическій борщъ.

Одинъ изъ старѣйшихъ депутатовъ, который уже давно началъ говорить рѣчи и подписывать протесты, громогласно сталъ утѣшать тѣхъ, которые, нахмурившись, грустно шли медленными шагами къ своимъ мѣстамъ.

— Господа! я вамъ говорю, что бояться тутъ нечего. Цѣлыхъ сто лѣтъ не могли справиться съ нами и налогами, и новый законъ постигнетъ таже участь. Будемъ только вѣрить нашему народному девизу, который, хоть и въ рюмкѣ родился,

но долженъ слиться съ жизнью: будемъ любить другъ друга *)! Это значитъ: будемъ держаться другъ за друга, защищать другъ друга и не будемъ раздѣляться на разныя партіи. Опасность не въ преслѣдованіи, а въ разъединенности, въ отсутствіи единодушія.

Всѣ стали аплодировать этой всѣми признанной истинѣ, но, какъ всегда и вездѣ, каждый, говоря это, вздыхалъ, чтобы всѣ поддавались ему, а самъ не желалъ никому дѣлать никакихъ уступокъ. Такъ что «возлюбимъ другъ друга» превращалось въ какую-то платоническую любовь, которая исчезала тотчасъ же, какъ только вставали изъ-за стола.

За обѣдомъ, даже самыя нахмуренныя лица прояснились, одинъ только Любаховскій молча, въ глубокой задумчивости, сидѣлъ въ углу съ Роховскимъ.

Роховскій смотрѣлъ, слушалъ и изрѣдка новодилъ плечами. Кто, подобно ему, зналъ положеніе страны и всего народонаселенія, тотъ, дѣйствительно, не могъ не удивляться веселому настроенію общества.

— Смотри, — обратился онъ къ Любаховскому, — если бы кто нибудь вошелъ сюда, посмотрѣлъ на насъ, послушалъ,— развѣ не могъ подумать, что мы вполнѣ счастливы, что мы тержествуемъ? На всѣхъ дицахъ видна свободная, непринужденная веселость... сіяетъ радость, хотя, на самомъ дѣлѣ, радоваться намъ нечему. Конечно, это великая сила, если въ самыхъ тяжелыхъ обстоятельствахъ люди умѣютъ сохранить все присутствіе, спокойствіе духа, свободу мысли, гражданское мужество, но у насъ наружность обманываетъ, эти сіяющія лица вовсе не служатъ признакомъ силы, а легкомыслія. Всѣ они говорятъ: «ничего, какъ нибудь дѣло уладится», а это выраженіе прямо означаетъ, что въ личныхъ своихъ дѣлахъ человѣкъ сумѣетъ бороться, а общественныя дѣла сдаетъ на волю Провидѣнія.

Дѣйствительно, ни по лицамъ, ни по разговорамъ нельзя было опредѣлить всю тяжесть положенія. Можно было подумать, что разсчитываютъ на свои собственныя силы; Любаховскій былъ огорченъ такой легкомысленностью.

---

*) Kochajmy sie!

— Если бы дѣло шло только о немъ,—сказалъ наконецъ Роховскій,—я бы уважалъ мужество, съ какимъ мы переносимъ то, что насъ встрѣчаетъ; но больше всего пострадаетъ отъ этого бѣдный народъ, работники, для которыхъ трудъ—все богатство, изъ которыхъ ни у кого нѣтъ не только запасовъ на дорогу, но даже хлѣба на завтра,—люди обремененные семьями, безъ одежды, безъ возовъ и лошадей. Завтра ихъ выбросятъ за границу. Мы найдемъ себѣ убѣжище или гдѣнибудь въ семействѣ или, наконецъ, за деньги въ гостинницѣ, а они не знаютъ, куда толкнетъ ихъ судьба... быть можетъ за Волгу... быть можетъ, куда-нибудь въ безлюдную пустыню, за степи, черезъ которыя придется перебраться пѣшкомъ.

— Вѣдь это братья во Христѣ всѣмъ намъ—христіанамъ, и братья наши по крови, какъ сыны одного народа, а мы, смѣясь, даемъ имъ погибать!

— Тише,—пробормоталъ Роховскій,—чтобы насъ не подслушали. Ты знаешь вѣдь, что здѣсь уже большинство согласно съ тѣмъ, чтобы свалить все на руки галичанъ и кореняжей. Великая Польша, когда дѣло идетъ о деньгахъ, всегда готова выставить себя бѣдною. Нечего, значитъ, и говорить о судьбѣ народа.

Да,—отвѣчалъ старикъ,—говорить нечего, но мы, мой Роховскій, должны подѣлиться послѣднимъ.

Они замолчали; въ ту минуту кто-то разсказывалъ о судьбѣ одного извѣстнаго помѣщика, имѣніе котораго продавалось съ молотка.

— Но этого не можетъ быть,—возражалъ хозяинъ.—Мы видѣли, какъ онъ роскошно выступалъ въ послѣдній карнавалъ.

— И это доконало его,—прибавилъ разсказчикъ.—До послѣтней минуты онъ держался съ гордостью и стоицизмомъ, не уменьшая своего штата. Онъ не разсчиталъ ловчаго, не продалъ лошадей, не уменьшилъ число прислуга, не сократилъ своихъ расходовъ. Со дня на день, постепенно, изъ большого барина онъ превратился въ банкрота.

— Это не можетъ быть,—повторилъ хозяинъ.—Я вамъ объясню, какъ это произошло. Вы знаете его дядю, богача, купца, который не хотѣлъ помочь ему продолжать вести жизнь на

такую ногу. Все это не что иное, какъ маневръ чтобы заставить скупца помочь илемяннику.

— Да онъ ни гроша не дастъ! я его знаю!—прервалъ кто-то съ другого конца стола.

— И я его знаю: онъ настолько же скупъ, насколько и гордъ,—прибавилъ другой,—гордость побѣдитъ. Племянникъ его является представителемъ его фамиліи.

— А! а! — разсмѣялся кто-то, — скупецъ разсчиталъ, что ему выгоднѣе самому быть представителемъ.

Всѣ разсмѣялись.

Кто-то заговорилъ о сахароваренiи и сахарѣ; но разговоръ не продержался долго на эту тему; дѣла сахарозаводчиковъ шли плохо, сахаръ упалъ въ цѣнѣ.

Любаховскій и Роховскій имѣли случай наслушаться всевозможныхъ разсужденій; только уже о новомъ законѣ, ради котораго всѣ съѣхались, не было и рѣчи. Всѣ считали слишкомъ для себя утомительнымъ постоянно имъ заниматься.

Обѣдъ съ дессертомъ и рюмками затянулся такъ долго и наконецъ принялъ характеръ настолько отличный отъ цѣли собранiя, что можно было забыть—зачѣмъ съѣхались сюда эти землевладѣльцы, собравшiеся спасать отечество.

Послѣ обѣда, столики для картъ стояли уже готовы.

Любаховскій, не простившись ни съ кѣмъ, кромѣ старика Роховскаго, проскользнулъ незамѣтно отыскивать свою телѣжку и, погруженный въ свои мысли, молясь не устами, но въ душѣ,—поѣхалъ домой.

Недалеко отъ дома, его поразило то, что онъ увидѣлъ свѣтъ въ окнахъ и свою прислугу около крыльца. Это было для него такъ непонятно, такъ странно, что, ставъ на крыльцо, онъ искалъ глазами, не горитъ-ли гдѣ-нибудь.

Въ эту минуту, передъ нимъ явилась какая-то тѣнь, которой онъ не могъ узнать, и дочь бросилась ему на шею.

Около нее стоялъ высокій мальчикъ, котораго онъ не зналъ. Это былъ Гриша, сопровождавшій свою мать.

Любаховскій расплакался. Онъ не смѣлъ спрашивать, но какой-то внутренній голосъ говорилъ ему, что прибытiе дочери и внука,—какъ онъ думалъ,—на прощанье съ нимъ, предвѣщало приближавшуюся опасность.

Онъ съ нѣжностью смотрѣлъ на Гришу, который имѣлъ въ своемъ лицѣ нѣкоторыя черты матери и нѣсколько польскій типъ, но прусское воспитаніе, военная дисциплина, сдѣлали изъ него совсѣмъ не то существо, какое старикъ надѣялся увидѣть въ своемъ внукѣ.

На лицѣ дочери послѣдніе мѣсяцы оставили страшный слѣдъ. Глаза ея впали, щеки покрылись морщинками, уста были сжаты, кожа на вискахъ какъ-бы присохла къ кости. Страданіе отражалось на ней съ ужасной выразительностью отчаянія.

Тѣмъ спокойнѣе долженъ былъ Любаховскій держать себя передъ дочерью.

— Я понимаю твой пріѣздъ,—обратился онъ къ ней,—ты хотѣла со мной проститься. Я очень тебѣ благодаренъ, но я еще не получилъ никакого приказанія и еще ничего не знаю о своей участи.

— Я пріѣхала вовсе не прощаться съ тобой, дорогой отецъ,—отвѣтила Марынка,—но чтобы изъявить свою готовность сопутствовать тебѣ, вмѣстѣ съ внукомъ. Я желаю раздѣлить твою участь...

— Вѣрь мнѣ, Марыня, что это могло-бы ее сдѣлать только тяжелѣе,—сказалъ старикъ.—Я не могу принять отъ тебя жертвы, какую ты хочешь мнѣ принести.

— Отчего?—воскликнула она.—Мужъ мой нисколько во мнѣ не нуждается, дѣти подросли. Домъ, въ которомъ я должна стыдиться своего происхожденія и своей народности, опротивѣлъ мнѣ. Ты старикъ, одинъ, безъ опеки, почему же бы мнѣ не сопровождать тебя, хотя бы для того, что бы показать злодѣямъ, какъ мы умѣемъ переносить страданія, всѣ, вмѣстѣ. Я хочу быть при тебѣ.

— Ни ты, ни Гриша, не можете мнѣ сопутствовать,—прервалъ старикъ,—вся будущность этого мальчика тамъ, при отцѣ. Я не могу ему дать ничего, кромѣ страданія.

Среди этого разговора, вторично вбѣжала Жабская, ведя за собой экономку. Такъ какъ она постоянно проживала теперь въ мѣстечкѣ, стараясь отдалить катастрофу, то надо было узнать отъ нея, дѣйствительно-ли она вскорѣ угрожала.

Кристя вбѣжала, сильно взволнованная, почти не въ си-

лахъ будучи говорить; на ея молодомъ лицѣ видны были слѣды утомленія. Уже нѣсколько дней, не имѣя времени ни поѣсть, ни отдохнуть, она пила только кофе съ булкой, простудилась и кашляла.

На вопросъ Любаховскаго, она постаралась успокоить его, хотя сама далеко не была спокойна. Никакого распоряженія еще не было, и чиновники сомнѣвались, чтобы оно когда-нибудь могло быть отдано.

Все, происходившее въ Любахувкѣ, могло казаться невѣроятнымъ тому, кто не видѣлъ этого собственными глазами. Одна бѣдная крестьянская дочь, живое, дѣятельное, ничего, повидимому, незначущее существо, въ скромномъ ситцевомъ платьицѣ, двигало здѣсь всѣмъ и, можно сказать, незамѣтно всѣмъ заправляло.

Старикъ имѣлъ твердое убѣжденіе, что такъ какъ ничѣмъ нельзя было помочь, то надо было, по крайней мѣрѣ, съ гордостью и достоинствомъ перенести готовящійся ударъ. Поэтому, онъ ничего не предпринималъ и ни о чемъ не заботился. Старая охотничья сумка изъ барсучьей шкуры, сучковатая палка, козловые сапоги стояли приготовленными къ дорогѣ.

Дыданъ долженъ былъ сопутствовать ему. Что-же касается Ходзибуя съ женой, то старикъ давалъ имъ полную свободу распорядиться собой; а въ случаѣ, если бы и они подверглись изгнанію, онъ готовъ былъ раздѣлить съ ними свою участь.

Онъ не зналъ, что ему было дѣлать.

Онъ думалъ, что самое лучшее для него было-бы пріобрѣсти хоть маленькій клочекъ земли, но онъ не зналъ цѣны ея въ королевствѣ; во всякомъ случаѣ, для этого надо было собрать соотвѣтственный капиталъ. Съ болью въ сердцѣ, принужденъ онъ былъ продать этотъ послѣдній клочекъ родной земли. Онъ уже примирился даже съ этимъ, лишь-бы только продать его въ польскія руки. Насколько могъ и умѣлъ, онъ разсчитывалъ, сколько онъ можетъ взять за него, сколько на имѣніи было долга и что должно было ему остаться.

Оказывалось, что, при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ,

Любахувка не могла дать болѣе нѣсколькихъ тысячъ рублей. Это было ничто, даже при самыхъ скромныхъ требованіяхъ старика. Перевозить вещи было немыслимо, приходилось, значитъ, покупать все, начиная со стола и миски для супа. Невозможно было обзавестись даже самой жалкой лачужкой. Ему самому немного надо, но Дыдась, старая прислуга, гдѣ все это было помѣстить, какъ прокормить?

На другой-же день, Марыня, не бравшая никакого приданаго, объявила отцу, что, хотя и съ болью сердца, она принуждена сѣсть ему на шею, вмѣстѣ съ Гришей, такъ какъ не желаетъ брать ни одного гроша.

Старикъ одобрилъ такое рѣшеніе, не признаваясь, что дѣлиться было нечѣмъ. Дома у него было всего нѣсколько сотъ марокъ, а тутъ еще надо было уплатить небольшіе счета.

Вечеромъ, онъ позвалъ Дыдася.

— Поѣзжай къ пану Червецкому,—сказалъ онъ ему,—и попроси его пріѣхать ко мнѣ. Скажи, что дѣло очень важное.

Дыданъ поклонился ему до колѣнъ.

— Простите, баринъ, что я вмѣшиваюсь,—замѣтилъ онъ,—но зачѣмъ вамъ такъ торопиться, когда поспѣшность можетъ причинить убытки. Никакого приказа еще нѣтъ; экономка насторожѣ, каждый день ѣздитъ въ городъ, все знаетъ. Авось, метрика найдется?..

— Не тебѣ меня учить!—отвѣчалъ старикъ.—Поѣзжай, пожалуйста, къ Червецкому.

Дыдась замолчалъ.

— Для васъ все это окончится благополучно,—пробормоталъ онъ.—Всѣ говорятъ, что это невозможно, чтобы осмѣлились выгнать васъ.

Старикъ и на это ничего не отвѣтилъ, только, послѣ нѣкотораго раздумья, приказалъ снова позвать экономку, но ея не было дома. Она съ утра была въ мѣстечкѣ.

Любаховскій молча вернулся къ дочери. Всѣ усилія его были направлены на то, чтобы склонить ее вернуться домой, но она настаивала на томъ, чтобы остаться при отцѣ.

Кристя вернулась изъ мѣстечка только къ ночи; мужъ ожидалъ ее, приготовивъ самъ обѣдъ и разогрѣвая его. Она прыгнула изъ телѣжки прямо на сильныя руки.

— Голубка моя!—ты такъ совсѣмъ у меня измучаешься! Что-же слышно?—спросилъ Ходзибуй.

— Голова у меня идетъ кругомъ,—отвѣчала она.—Ничего нельзя узнать... Ридель, который служитъ мнѣ, говоритъ, что еще никакого распоряженія нѣтъ. Старикъ Плеве, въ которомъ мнѣ удалось пробудить жалость, отнимаетъ у меня всякую надежду, говоритъ, что это неизбѣжно, если только не найдется метрика. А! метрика эта! метрика!

Кристя оглянулась и замолчала.

Они вошли въ комнату, гдѣ, покинутая всѣми, канарейка билась въ клѣткѣ.

— Баринъ нашъ послалъ сегодня за Червецкимъ,—замѣтилъ Ходзибуй,—хоть сердце его и приросло къ этому углу, онъ собирается продать его. Червецкій оцѣнилъ Любахувку и инвентарь, который я самъ ему показалъ, сосчиталъ наши долги и разсчиталъ, что намъ останется всего какихъ-нибудь нѣсколько десятковъ тысячъ марокъ. На него самого не хватитъ, а тутъ еще дочь съ внукомъ пріѣхали безъ гроша, надо и для нихъ. Это будетъ нищета...

— Хуже того,—прибавила Кристя,—потому что останется какъ разъ столько, что и съ голоду умереть нельзя, да и жить-то не на что.

Онъ повелъ плечами.

— Червецкій оцѣнилъ Любахувку, какъ слѣдуетъ, это правда,—продолжалъ Ходзибуй,—но Фрейеръ далъ-бы гораздо больше.

— Старикъ ни за что не продастъ нѣмцу, хоть-бы тотъ ему золотыя горы давалъ!—прервала Кристя,—сохрани Богъ, чтобы это попало въ руки Фрейера...

— Какія же у тебя надежды?—спросилъ мужъ, самъ подавая ей обѣдъ.

— Я? надежды?—отвѣчала Кристя.—Я надѣюсь только на то, что нѣмецъ, который такъ втюрился въ меня, отыщетъ какое-нибудь средство къ спасенію... Какое?—не знаю. Онъ подаетъ мнѣ какія-то надежды.

— Вретъ,—сказалъ Ходзибуй,—будь съ нимъ осторожна.

Кристина ударила его по плечу.

— Будь спокоенъ,—отвѣчала она.—Вышлютъ барина—и мы поѣдемъ съ нимъ.

— Чтобы быть ему обузой!—отвѣчалъ экономъ.—И на что мы можемъ ему пригодиться, если тамъ онъ не будетъ хозяйничать?

— Не можемъ-же мы тоже оставаться здѣсь!—проговорила она.—Я-бы здѣсь не прожила и недѣли.

Хозяинъ хлопоталъ, прислуживая женѣ, которая молчала, погруженная въ свои мысли. Послѣ нѣкотораго отдыха, она спросила о Дыданѣ. Нѣсколько дней тому назадъ, она — потому что она одна теперь всѣмъ здѣсь распоряжалась, потребовала къ себѣ Дыдана, чтобы бросить ему въ лицо обвиненіе въ томъ, что онъ попалъ въ сѣти племянницы Фрейера.

При первомъ же намекѣ Дыданъ вспылилъ...

— Что? что?—вскричалъ онъ,—чтобы нѣмка могла мнѣ понравиться, чтобы я связался съ нѣмкой!

— Ты самъ не понимаешь и не знаешь, что дѣлаешь,—отвѣчала Кристина.—Мина, красивая и испорченная дѣвушка, знаетъ, какъ понравиться и захватить въ свои руки; ты и самъ того не замѣтишь, какъ попадешь въ ея лапы... Смотри, она окрутитъ тебя.

Дыданъ сдѣлалъ недовольную гримасу.

— Вы, кажется, считаете меня малымъ ребенкомъ,—вскричалъ онъ...

— Я тебя считаю очень хорошимъ и честнымъ человѣкомъ,—прибавила экономка, - но тебѣ не справиться съ Фрейеромъ и его племянницей, ты не устоишь противъ нихъ. Ты, хоть и учишь ее по-польски, а попадешь въ нѣмецкую неволю.

— Никогда ни во что не попаду да и не боюсь вовсе,—отвѣчалъ Дыданъ.

Кристя только разсмѣялась.

Предостереженіе ея, все-таки, подѣйствовало; Дыданъ сдѣлался осторожнѣе, но осторожность его продолжалась только дня два, и нѣмка вскорѣ сумѣла усыпить его бдительность.

Чтобы изобразить состояніе души бѣднаго Дыдана, довольно сказать, что онъ жалѣлъ и горевалъ, что она не родилась полькой.

Въ теченіе этихъ нѣсколькихъ дней, въ Любаховкѣ ничего

не измѣнилось на видъ, но, на самомъ дѣлѣ, все перепуталось, смѣшалось. Марыня сидѣла съ сыномъ, въ которомъ старый дѣдъ души не чаялъ, и сердце у него разрывалось, что онъ не могъ оставить его при себѣ, такъ какъ его совѣсть не допускала этого.

Изъ Берлина каждый день приходили то угрожающія, то умоляющія письма мужа, который долженъ былъ употребить все свое вліяніе, чтобы оправдать болѣзнью самовольно продолженный отпускъ Гриши. Каждый день, каждый часъ ждали, какъ грома, рокового приказа о выселеніи, но его все еще не было. Кристя увѣряла, что это еще затянется, а, быть можетъ, Господь Богъ и отвратитъ несчастье.

Марыня, убѣжденная, что никто не будетъ въ состояніи противиться этому закону, никто не вымолитъ для себя снисхожденія, что мужъ ея не сдѣлаетъ ни шага—не отходила отъ отца, чтобы быть возлѣ него въ часъ страшной катастрофы.

И онъ и она, сидя теперь съ этимъ томительнымъ ожиданіемъ катастрофы въ сердцѣ, вспоминали прошлые годы, прощались со всѣмъ, что ихъ окружало.

Гриша, который чувствовалъ, что въ его судьбѣ должна была произойти совершенная перемѣна, по цѣлымъ днямъ учился по-польски.

Наконецъ, изъ Берлина перестали приходить письма.

Мать готова была на все для своего сына, она хотѣла хоть его имѣть своимъ.

Гриша не объяснялъ ей, что, какъ воспитанникъ военной школы, онъ дѣлался почти дезертиромъ, не возвратившись въ назначенный срокъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ надѣялся, что отецъ защититъ его отъ дурныхъ послѣдствій этого шага. Мать не понимала ни важности этого шага, ни опасности, какой онъ подвергался. Поэтому, все было спокойно въ Любахувкѣ, по крайней мѣрѣ на видъ, когда однажды, около полудня, на измученныхъ лошадяхъ, примчалась изъ мѣстечка экономка и, даже не раздѣваясь, побѣжала къ Треубернеръ, которая помѣщалась здѣсь въ одной маленькой комнаткѣ.

— Барыня, — вскричала она, запинаясь, — барыня, ради Бога, пусть баринъ спрячется или убѣжитъ. Изъ мѣстечка

ѣдутъ за нимъ, какъ за дезертиромъ, не знаю, кто... жандармы, кажется!

Съ безумнымъ крикомъ бросилась мать искать сына, который ходилъ съ книжкой по гостиной. Слыша крики, Гриша прибѣжалъ къ ней.

При первыхъ словахъ объ опасности, онъ поцѣловалъ у матери руку, схватилъ шапку и бросился бѣжать. Экономка едва успѣла схватить его за полы.

— Пойдемте со мной,—вскричала она, — мой мужъ спрячетъ васъ лучше, чѣмъ вы сами... Васъ поймали-бы сейчасъ...

Не дожидаясь далѣе, не совѣтуясь ни съ кѣмъ, Гриша далъ знакъ экономкѣ, что онъ согласенъ и, не простившись со старикомъ, исчезъ за угломъ дома. Едва выбѣжалъ онъ изъ комнаты матери, которая бросилась на диванъ, ломая руки, какъ вошелъ старый Любаховскій, встревоженный шумомъ.

— Гдѣ Гриша? что случилось съ Гришей?—спросилъ онъ.—Я видѣлъ, какъ онъ бѣжалъ по двору съ экономкой.

— Изъ мѣстечка дали знать,—съ отчаяніемъ въ голосѣ, сказала мать,—что за нимъ прислали жандармовъ, какъ за дезертиромъ. Я знаю, кому мы этимъ обязаны,—мой мужъ указалъ, гдѣ онъ находится.

Старикъ всплеснулъ руками.

— Что мы будемъ дѣлать?—воскликнулъ онъ.

— Что? Пусть хоть онъ убѣжитъ, пусть хоть онъ одинъ останется у меня, мы съ тобой вмѣстѣ перейдемъ границу и останемся съ тобой.

Старикъ опустилъ голову на грудь.

— Марынка моя,—сказалъ онъ,—но это невозможно! Меня выселяютъ, его будутъ ловить. Онъ будетъ выданъ по первому требованію... Мы не въ состояніи будемъ укрыть его... Какая-же судьба его ожидаетъ?

— Какая-бы ни была, лишь-бы не сдѣлался нѣмцемъ; пусть онъ скитается, пусть работаетъ, чтобы не умереть съ голода, я сама готова трудиться для него, лишь-бы только онъ остался моимъ ребенкомъ, твоимъ внукомъ... Треубернеръ имѣетъ одного сына, второй принадлежитъ мнѣ. Развѣ это не справедливо?

Не успѣлъ еще Любаховскій отвѣтить, какъ на дворѣ раздался лошадиный топотъ. Онъ выглянулъ въ окно. Пріѣхавшіе на двухъ телѣгахъ жандармы слѣзли передъ фольваркомъ. Ходзибуй и Дыданъ встрѣчали ихъ. Жандармы вошли въ фольварокъ.

Черезъ нѣсколько времени, Дыданъ принужденъ былъ привести ихъ въ домъ самого пана. Здѣсь, не предупредивъ даже хозяина, они сейчасъ-же начали обыскъ. Къ счастью, заранѣе увѣдомленная, Жабская успѣла спрятать мундиръ и шинель Гриши, такъ что не осталось никакихъ слѣдовъ.

Старшій изъ жандармовъ потребовалъ свиданія съ хозяиномъ дома. Это былъ мужчина съ огромными усами, широкоплечій, съ краснымъ лицомъ и широкими бровями. Онъ обратился къ Любаховскому по-нѣмецки.

— Я плохо понимаю нѣмецкій языкъ,— медленно проговорилъ старикъ,— и жалѣю, что не могу вамъ отвѣтить.

Ожиданіе продолжалось недолго; усатый унтеръ-офицеръ, какъ-бы подумавши, заговорилъ по-польски, съ акцентомъ, ясно свидѣтельствовавшимъ, что онъ рѣдко употреблялъ этотъ языкъ.

— Гдѣ вашъ внукъ Григорій Треубернеръ?

— Не знаю,— кротко отвѣчалъ старикъ.

— Онъ былъ здѣсь,—говорилъ жандармъ.

— Былъ, вмѣстѣ съ матерью, но его уже нѣтъ.

— Если вы его укрываете, и онъ будетъ найденъ, вы знаете?.. васъ ждетъ отвѣтственность...

— Ищите его,— сказалъ хозяинъ,—онъ вовсе не скрывается и я его не прячу. Онъ, можетъ, просто ушелъ въ поле, или поѣхалъ къ сосѣдямъ...

Жандармы начали обыскъ на дворѣ, на сѣновалѣ, во всѣхъ строеніяхъ, но нигдѣ не нашли ни малѣйшаго слѣда бѣглеца.

Экономъ съ женой приготовили на фольваркѣ обильный завтракъ и задержали на нѣкоторое время жандармовъ. Наконецъ, послѣ многихъ тщетныхъ усилій, они убѣдились, что имъ придется вернуться въ мѣстечко съ пустыми руками.

Несчастная мать, видя ихъ отъѣздъ, вздохнула свободнѣе. Гриши — не нашли. Но радость эта была, увы, преждевременна.

Когда экономка дала знать о высланныхъ въ Любахувку

жандармахъ для арестованія Гриши, и ей удалось во время увести его изъ дома,—она, мужъ и Дыдась, на время, спрятали его въ стогъ сѣна, гдѣ никто не могъ заподозрить его убѣжища.

Завтракъ для голодныхъ солдатъ былъ слишкомъ привлекателенъ, чтобы они могли устоять, хотя они и не должны были принимать его при исполненіи обязанностей. Едва они начали попивать пиво и истреблять колбасы съ капустой, одно изъ любимыхъ нѣмецкихъ кушаньевъ, какъ Дыдась, имѣвшій уже на готовѣ пару лошадей, въ кустахъ за хлѣвами, сѣлъ, вмѣстѣ съ Гришей, въ телѣгу и помчался въ лѣсъ. Здѣсь пустая изба, памятная протоколомъ Фрейера, должна была послужить временнымъ убѣжищемъ. Они направились къ ней по дорожкѣ, на которой рѣдко можно было кого-нибудь встрѣтить, а тѣмъ болѣе еще среди бѣлаго дня.

Одинъ только Фрейеръ, по своимъ дѣламъ, отъ которыхъ онъ еще не отказался, проѣзжалъ иногда по этой тропинкѣ, остерегаясь всегда, чтобы кого нибудь не встрѣтить.

Какъ разъ въ этотъ день онъ былъ на своемъ объѣздѣ и, услыхавъ лошадиный топотъ, бросился въ кусты, чтобы не быть замѣченнымъ.

Изъ своего убѣжища ему легко было увидѣть и узнать Дыдана, а въ товарищѣ его угадать внука Любаховскаго, о которомъ онъ узналъ черезъ Мину.

Пристально оглядѣвъ ихъ и тщетно стараясь угадать, что они могли здѣсь дѣлать, Фрейеръ далъ имъ проѣхать мимо, прислушался, въ какую сторону они поѣхали, вспомнилъ о той избѣ и, когда уже убѣдился, что его не замѣтятъ, поспѣшилъ домой.

Едва онъ вышелъ изъ лѣса въ поле, какъ еще съ большимъ удивленіемъ увидалъ передъ собой жандармовъ. Никто не уважалъ ихъ такъ сильно, какъ онъ. Унтеръ-офицеръ былъ даже лично знакомъ ему.

Что они могли здѣсь дѣлать въ такое время,—онъ не понималъ этого. Встрѣча съ ними была неизбѣжна.

Фрейеръ привѣтствовалъ унтеръ-офицера чрезвычайно вѣжливо. Послѣ завтрака даже жандармы бываютъ въ хорошемъ настроеніи духа. Фрейеръ нашелъ унтеръ-офицера расположеннымъ къ бесѣдѣ.

Спрошенный о томъ, что привело его сюда, жандармъ отвѣчалъ, что розыскивалъ дезертира, но не могъ найти его, хотя обыскалъ всю Любахувку.

Это сейчасъ же навело почтеннаго нѣмца на то, что онъ могъ бы обдѣлать, если не особенно выгодное дѣло, то по крайней мѣрѣ отплатить Дыдасю за его преслѣдованія. Онъ завязалъ съ жандармомъ болѣе продолжительную бесѣду, давъ понять, что онъ можетъ быть имъ полезнымъ.

Четверть часа спустя, Фрейеръ очень спокойно повернулъ къ своему дому, а жандармы потихоньку отправились въ лѣсъ по указанной тропинкѣ. Здѣсь одинъ изъ нихъ остался караулить лошадей, а остальные пѣшкомъ отправились къ избушкѣ въ лѣсу.

Только-что Дыдась съ молодымъ бариномъ расположились немножко отдохнуть, какъ вблизи послышались шаги. Въ дверяхъ показался жандармскій унтеръ-офицеръ и, прямо подойдя къ Гришѣ, объявилъ ему, что онъ получилъ приказаніе арестовать его.

Гриша не могъ, да и не думалъ защищаться; онъ только посмотрѣлъ на Дыдана и позволилъ взять себя, не говоря ни слова.

Дыдась имѣлъ только то утѣшеніе, что унтеръ-офицеръ, смѣясь, поручилъ ему поблагодарить Фрейера за такія точныя указанія, которыя привели ихъ къ самому мѣсту.

Сначала Дыданъ хотѣлъ было сопутствовать арестованному юношѣ, но потомъ раздумалъ, что онъ мало пригодился бы юношѣ, такъ какъ въ мѣстечкѣ ихъ все равно разлучили бы,— а между тѣмъ онъ могъ быть гораздо полезнѣе, давъ сначала знать о случившемся въ усадьбу, а потомъ отомстивъ подлому Фрейеру.

Родъ мести, какую онъ хотѣлъ исполнить надъ нѣмцемъ, выборъ ея—такъ заняли голову и сердце Дыдася, что онъ и не замѣтилъ, какъ доѣхалъ до фольварка, куда лошадь сама привезла его.

Каждый разъ, какъ онъ вспоминалъ Гришу, грудь его сжималась, слезы выступали на глазахъ.

Экономка, сидѣвшая у окна, увидѣвъ Дыдана одного, не понимая, что это значило, предчувствуя уже какое-то несчастіе, выбѣжала къ нему навстрѣчу.

— Господи Іисусе! — вскричала она, — что ты сдѣлалъ съ молодымъ бариномъ?

Дыдась слѣзъ молча, но лицо его обнаруживало ясно, что онъ не могъ сказать ничего утѣшительнаго.

— Гдѣ баринъ?—наступала на него экономка; у него потъ выступалъ на лбу.

— Ахъ!—вдохнулъ онъ,—Фрейеръ насъ выдалъ, подсмотрѣлъ и привелъ жандармовъ. Его взяли...

Съ крикомъ, не слушая болѣе ничего, бросилась экономка въ избу, откуда выглядывалъ мужъ.

— Схватили барина! — закричала она. — Отличился Дыданъ!.. Боже мой! Что мы будемъ дѣлать, что скажетъ мать, когда узнаетъ?.. А невозможно скрыть отъ нея... А дѣдъ?..

Дыданъ стоялъ, какъ обвиняемый передъ судьями.

— Выслушай же, какъ все произошло, — сказалъ онъ,— я не виноватъ... Фрейеръ искалъ случая отомстить намъ.

Онъ началъ разсказывать, клянясь, что свернетъ шею Фрейеру, что доведетъ его до сумы, что подожжетъ его...

Кристина, не слушая этихъ угрозъ, побѣжала къ Любаховскому. Отъ матери невозможно было скрывать случившееся, потому что она одна могла спасти свое дитя.

Непріятно было брать на себя такую обязанность, но Кристина чувствовала въ себѣ теперь достаточно мужества на все.

Пока она добѣжала до матери, въ дверяхъ она встрѣтила старика, который не могъ усидѣть на мѣстѣ отъ безпокойства. По заплаканнымъ глазамъ ея онъ угадалъ, что случилось какое-то несчастіе.

— Говори, не скрывай отъ меня ничего,—вскричалъ онъ.— Гдѣ онъ!?

— Ахъ, баринъ! Я и мужъ дѣлали все, что могли, чтобы укрыть его,—бормотала экономка, — но Дыданъ вмѣшался въ это дѣло, повезъ его въ лѣсъ. По дорогѣ этотъ негодяй Фрейеръ выслѣдилъ ихъ и указалъ дорогу жандармамъ. Они схватили молодого барина.

Любаховскій оперся о косякъ двери — ноги у него подкосились; но онъ не произнесъ ни слова, точно языкъ у него присохъ къ небу.

Марынка, услыхавъ изъ комнаты голосъ Кристины, отво-

рила дверь; сердце ея билось. Она взглянула на отца, на Кристину, и поблѣднѣла.

— Его взяли?—вскричала она.

Никто не отвѣчалъ. Любаховскій только подошелъ къ дочери и поцѣловалъ ее въ лобъ.

— Дитя мое, успокойся. Такова воля Божія... Ничего съ нимъ не случится...

На поблѣднѣвшемъ лицѣ Марыни не видно было отчаянія, но сильная энергія и сдерживаемый гнѣвъ.

— Пусть мнѣ заложатъ лошадей,—проговорила она,—я должна ѣхать за нимъ и защищать его, и, если удастся, вырвать его изъ рукъ. Отецъ мой, лошадей въ мѣстечко!..

Говоря это, она машинально стала опорожнять карманы; увидѣвъ это, Любаховскій подошелъ къ письменному столу, вынулъ изъ него, забывая о самомъ себѣ, все, что имѣлъ, и отдалъ дочери.

Марынка даже не поблагодарила его. Она накинула себѣ на плечи пальто, завернулась въ платокъ, обняла отца и, какъ будто это могло ускорить ея отъѣздъ, вышла на крыльцо ждать лошадей, которыхъ уже закладывали.

Между тѣмъ на фольваркѣ Ходзибуй воевалъ съ Дыданомъ, который все грозилъ поджечь и убить Фрейера.

— Сердце у тебя доброе, это правда,—говорилъ ему экономъ,—но куда ты дѣвалъ голову, не знаю!.. Ты не виноватъ, что этотъ подлецъ тебя выдалъ: никто и не упрекнетъ тебя... Мстить же теперь Фрейеру и подвергать себя опасности быть также схваченнымъ, когда нашъ панъ такъ нуждается въ людяхъ и въ помощи,—тоже было бы не умно. Фрейеру ты не долженъ подавать вида, что мы знаемъ о его предательствѣ.— Будетъ время! Даю тебѣ слово, выкурятъ насъ отсюда, но и мы передъ отъѣздомъ пустимъ его съ дымомъ... Ну, а теперь—молчокъ, не время теперь поднимать исторіи.

Дыдась понялъ это, въ особенности когда Кристина подтвердила слова мужа. Вечеромъ ему пришлось поѣхать по хозяйству въ поле. Едва онъ вышелъ на большую дорогу, какъ услыхалъ за собой топотъ. Въ телѣжкѣ Фрейера ѣхала изъ мѣстечка Мина и, увидѣвъ издали своего, какъ она его называла—«Szac», начала махать ему платкомъ и звать къ себѣ.

Дыданъ остановился, спрашивая самого себя, слушать ли ему ее. Тѣмъ временемъ нѣмка подъѣхала.

Привѣтствіе было такое холодное, что Мина разсердилась и вмѣстѣ съ тѣмъ испугалась. Она догадалась, что что-то случилось. Все закипѣло въ Дыданѣ при видѣ ея; она возбуждала въ немъ необъяснимое чувство привлекательности и отвращенія.

Онъ чувствовалъ презрѣніе къ самому себѣ, что подобное созданіе могло привлекать его. Онъ слегка только поклонился ей.

— Что съ вами?—высовываясь изъ телѣжки, начала она.— Скажите мнѣ... скажите.

— Я не люблю жаловаться,—возразилъ Дыданъ.—У насъ большое горе дома. Былъ у насъ внукъ нашего барина... Прислали за нимъ жандармовъ... Мы бы еще и спасли его, да чертъ вмѣшался въ это дѣло... Кто-то выдалъ... Мальчика у насъ взяли.

Мина, отлично зная чувства дяди и ихъ взаимныя отношенія, нѣсколько смутилась.

— Кому же было выдавать,—отвѣчала она,—развѣ у жандармовъ носы не лучше нашихъ? На это и предательства не надо было...

Дыданъ въ волненіи закрутилъ усы и бросилъ на нее такой взглядъ, что Мина испугалась. Не ожидая его отвѣта, она дала знакъ кучеру ѣхать дальше, а Дыданъ проговорилъ ей на прощанье:

— Найдите себѣ другого учителя для польскаго языка... Мнѣ ужъ некогда. Къ тому же я слышалъ, что вы насмѣхались надъ нашимъ языкомъ у Лауна. Зачѣмъ же я буду предавать вамъ его на посмѣшище?

Онъ ударилъ лошадь и поскакалъ не оглядываясь, хотя личико этого дьявола - искусителя носилось передъ его глазами.

Мина, не доѣхавъ до дома, начала плакать. Ей пришлось достать платокъ и спрятать въ него свое раскраснѣвшееся лицо, когда Фрейеръ вышелъ ей навстрѣчу. Онъ былъ встревоженъ.

Ему доставляло необыкновенное удовольствіе то обстоятельство, что онъ могъ отомстить Дыдану и ненавистному сосѣду; но когда онъ теперь поразмыслилъ, онъ увидалъ, что то, что

онъ хотѣлъ сохранить въ тайнѣ, легко могло обнаружиться и разжечь снова опасную войну.

— Чего ты ревешь, обезьяна?—съ гнѣвомъ закричалъ онъ на Мину, которой терпѣть не могъ.

Миной, такъ грубо выруганной, въ свою очередь овладѣлъ гнѣвъ. Дядю, этого противнаго скупца, она терпѣла только въ надеждѣ, что извлечетъ себѣ изъ этого какія-нибудь выгоды.

— Навѣрное, вы чѣмъ-нибудь провинились передъ Дыданомъ,—проговорила она.—Я встрѣтила его, онъ былъ взбѣшенъ и изъ того, что онъ мнѣ сказалъ, я заключаю, что мы ужъ его больше не увидимъ. Онъ простился со мной...

Фрейеръ поблѣднѣлъ. Онъ качалъ головой, дѣлая видъ, что это его нисколько не занимаетъ; но, когда Мина вошла въ домъ и стала жаловаться теткѣ, онъ съ любопытствомъ прислушивался.

— Не могъ же вѣдь жандармъ меня выдать, — говорилъ онъ самому себѣ,—потому что въ слѣдующій разъ никто бы и пальцемъ ему не махнулъ.

Мина съ тревогой доказывала теткѣ, что у Дыдана навѣрное была какая-нибудь важная причина сердиться на Фрейера, провинившагося передъ Любаховскимъ, хотя и обязался жить съ нимъ въ согласіи.

Видя плачущую племянницу, старая тетушка побѣжала къ мужу, чтобы добыть у него свѣдѣнія о томъ, что произошло. Супружескія отношенія ихъ были очень странны и неровны. Иногда они ссорились и долго не говорили другъ съ другомъ; иногда Фрейеръ становился ласковымъ и старался подмазаться къ женѣ; то опять ходили, какъ бы не замѣчая другъ друга. Теперь Мина представляла собою узелъ, связывавшій ихъ другъ съ другомъ.

— Что ты такое сдѣлалъ? — обратилась старуха къ мужу.— Что это дѣло твоихъ рукъ, въ этомъ я могу голову дать па отсѣченіе. Мина плачетъ, жалко просто глядѣть на нее...

Фрейеръ развелъ руками, принимая на себя видъ невинно обвиняемаго.

— То случилось,—сказалъ онъ,—что рано или поздно

должно было случиться. Кто же могъ предвидѣть, что жандармъ, вмѣсто того, чтобы быть мнѣ благодарнымъ, выдастъ меня?

Въ нѣсколькихъ словахъ онъ открылъ все женѣ, которая поблѣднѣла отъ страха.

— Достанется же тебѣ теперь отъ этихъ поляковъ,—сказала она.—Только мы немножко успокоились, благодаря Минѣ, такъ нѣтъ—надо же тебѣ было накликать бѣду! Я знаю, что больше не проживу здѣсь съ тобой: лучше я поѣду къ сестрѣ, лучше пойду служить, чѣмъ ждать здѣсь, чтобы насъ подожгли, или... или, не знаю какъ, отмстили...

— Если бы только могли,—быстро возразилъ Фрейеръ.—Вотъ то-то и бѣда, что имъ надо заботиться о самихъ себѣ, и не успѣютъ они оглянуться, какъ ихъ уже здѣсь не будетъ. Теперь они не страшны.

Онъ махнулъ рукой.

Такъ утѣшалъ себя Фрейеръ, но, несмотря на это, все не очень былъ спокоенъ.

Едва дождавшись слѣдующаго утра, экономка, которая не могла сопутствовать Маринѣ въ мѣстечко, потому что не имѣла тогда лошадей, да и боялась оставить все хозяйство на руки старой Жабской,—поспѣшила ужъ на развѣдки и заѣхала къ Губѣ, гдѣ послѣ вчерашняго вечера еще мыли и мели полы. Несчастіе, постигшее бѣдныхъ Любаховскихъ, извѣстное всѣмъ, было предметомъ разговоровъ и всевозможныхъ предположеній. Въ этомъ усматривали иниціативу отца, который, не желая требовать къ себѣ насильно жену, принуждалъ ее такимъ образомъ вернуться.

Жандармъ, въ довольно хорошемъ настроеніи духа, такъ какъ ему удалось поймать дезертира, не скрывалъ какимъ образомъ онъ нашелъ его, описывалъ свою встрѣчу съ Фрейеромъ, и радость, какую ему доставила возможность сдѣлать какую-нибудь непріятность сосѣду. Фрейера вообще не любили, поэтому, хотя онъ исполнилъ свой долгъ, всѣ молчали, никто не хвалилъ его за это. Гришу, который такъ бодро и храбро держалъ себя, будучи въ рукахъ жандармовъ и зная, что наказаніе неизбѣжно, всѣ жалѣли.

Поведеніе Треубернера показывало—до какой степени за-

конъ этотъ обѣщалъ быть неумолимымъ, если человѣкъ съ такимъ вліяніемъ и значеніемъ не могъ ничего сдѣлать.

До поздняго вечера гости Губы только этимъ и были заняты, и разошлись, мучимые любопытствомъ—какія послѣдствія повлекутъ за собой семейныя отношенія Любаховскаго съ нѣмцемъ, который знать его не хотѣлъ.

Ридель былъ самымъ умѣреннымъ въ отношеніи сужденій и высказываніи своихъ мнѣній. Причиной этого было то, что онъ уже дня два не видѣлъ прекрасной экономки.

Губа вышелъ навстрѣчу Кристинѣ къ конюшнѣ, гдѣ она оставила свою бричку. Онъ хотѣлъ выказать ей свое сочувствіе, но опасался; поэтому онъ предпочелъ встрѣтить ее безъ свидѣтелей и поговорить съ ней.

Онъ помогъ ей вылѣзти изъ брички и, предвидя вопросы, разсказалъ ей—въ какомъ положеніи былъ Гриша, когда его привезли сюда и въ какомъ ему показалась потомъ мать, спѣшившая вслѣдъ за нимъ. Онъ успокоилъ Кристю, разсказавъ, что мать такъ была увѣрена, что ничего не случится съ ея сыномъ, что даже не плакала. Экономка улыбнулась; она лучше другихъ знала, что это значило. Слезы показались бы ей менѣе страшными.

Едва успѣвъ обнявъ Рузю, пошептавшись о чемъ-то съ Губой, приказавъ покормить лошадей и держать ихъ наготовѣ, Кристина отправилась въ мѣстечко. Это былъ часъ, когда всѣ чиновники находились дома. Никто не слѣдилъ за движеніями Кристи въ этомъ лабиринтѣ грязныхъ, тѣсныхъ улицъ, окруженныхъ большими огородами, среди которыхъ новые и порядочные дома чередовались съ полуразвалившимися избушками, да никто и не угадалъ бы, что направляло ея шаги по всевозможнымъ направленіямъ, по разнымъ закоулкамъ. Когда она потомъ черезъ нѣсколько часовъ вернулась къ Губамъ съ лицомъ, раскраснѣвшимся отъ усталости, никто также не спросилъ ее, гдѣ она была.

Лошади стояли заложенными. Кристя попросила немного кофе и кусокъ хлѣба съ масломъ, съ аппетитомъ съѣла его и, прощаясь съ Рузей, прошептала:

— Не дай тебѣ Богъ испытать мою участь. Я должна хлопотать за всѣхъ, а кто знаетъ, пригодится ли на что-нибудь

то, что такъ меня мучитъ и такъ дорого мнѣ стоитъ. Скажи Риделю, что я оставила ему поклонъ.

Случай со внукомъ, страданія дочери, всевозможныя заботы, удары судьбы, преслѣдовавшіе его, заставили наконецъ стараго Любаховскаго, хотя и безъ надежды, чтобы это могло принести какую нибудь пользу,—искать выхода... помощи...

Въ трехъ миляхъ отъ Любахувки жилъ изъ вѣжливости называемый графомъ—въ дѣйствительности же, потомокъ стариннаго извѣстнаго дворянскаго рода, родственникъ князя, у котораго когда-то служилъ Любаховскій. Когда, получивъ въ наслѣдство этотъ клочекъ земли, Любаховскій, изъ любви къ нему, отказался отъ спокойной и счастливой жизни, чтобы пріѣхать сюда—бороться и работать, князь далъ ему письмо, горячо рекомендующее его графу Жаровскому.

Долго старикъ не хотѣлъ ѣхать съ этимъ письмомъ къ такому важному барину, но наконецъ, не желая пренебрегать милостью князя, поѣхалъ съ визитомъ, везя съ собой это рекомендательное письмо. Онъ нашелъ здѣсь резиденцію гораздо болѣе роскошною, чѣмъ у его князя.

Даже пріемъ сопровождался нѣкоторыми формальностями. Старый графъ спросилъ сначала рекомендательное письмо, потомъ назначилъ часъ аудіенціи и наконецъ соблаговолилъ даже пригласить Любаховскаго къ обѣду.

Изъ разговора старикъ убѣдился, что какая-то желѣзная преграда отдѣляла его отъ графа и отъ свѣта, къ которому тотъ принадлежалъ. Нигдѣ и никогда еще не чувствовалъ онъ такъ сильно разницы въ общественномъ положеніи. Графъ былъ чрезвычайно вѣжливъ, ничѣмъ не нарушилъ этикета, даже не обнаруживалъ явной гордости, но обходился съ Любаховскимъ такъ, какъ будто считалъ его существомъ изъ другой крови и тѣла, которымъ можно долго забавляться, пожалуй, даже любить, но всегда держать на почтительной дистанціи. Любаховскій ни въ чемъ не нуждался тогда отъ графа и только изрѣдка, чтобы не прервать совершенно отношеній, ѣздилъ къ нему заявить свое почтеніе.

Графъ, цѣня эту почтительную сдержанность въ отдаленіи, не надоѣдая ничѣмъ, не прося ничего, — любилъ стараго Любаховскаго и выказывалъ ему расположеніе, что было тѣмъ болѣе легко, что не надо было ничѣмъ ему доказывать.

Всѣмъ были извѣстны связи графа въ столицѣ, высокое положеніе, занимаемое имъ въ свѣтѣ, и то вліяніе, которымъ онъ пользовался даже при дворѣ. Наивному старику казалось, что, въ случаѣ опасности быть выселеннымъ, можно будетъ что-нибудь сдѣлать черезъ него, выхлопотать какое нибудь снисхожденіе.

Поэтому, хотя каждый подобный шагъ стоилъ ему очень дорого, послѣ долгой борьбы съ самимъ собою, Любаховскій рѣшилъ ѣхать въ Жарновъ.

Онъ уже очень давно тамъ не былъ, онъ не былъ даже увѣренъ—застанетъ ли графа, хотя и зналъ часы, когда могъ быть принятымъ; перекрестившись, онъ пустился въ путь.

Онъ зналъ графа только настолько, насколько ему позволяли его узнать рѣдкія и короткія посѣщенія и общественное мнѣніе. Во всѣхъ отношеніяхъ, это былъ человѣкъ благороднаго характера, съ большимъ тактомъ, славящійся тѣмъ, что онъ дѣлалъ много добра, не хвастаясь этимъ. Онъ исполнялъ всѣ обязанности землевладѣльца, но вмѣстѣ съ тѣмъ старался быть на самомъ лучшемъ счету въ чиновномъ мірѣ; вообще, онъ держался нейтралитета до такой даже степени, что измѣнялъ даже польскимъ обычаямъ, что многіе ставили ему въ укоръ.

Графъ не обращалъ на это никакого вниманія.

Какъ членъ парламента, графъ для всѣхъ былъ persona grata. Въ національномъ лагерѣ онъ не былъ очень дѣятеленъ; онъ не отклонялся отъ пожертвованій, которыхъ отъ него требовали, но не давалъ себя склонить къ принятію участія въ дѣлѣ народной самозащиты.

Впрочемъ, объ этомъ дѣлѣ, которое такъ сильно занимало другихъ, онъ никогда не говорилъ. У него были тысячи способовъ, чтобы избѣжать столкновенія со щекотливыми вопросами, которые могли бы вызвать его хотя бы на самую скромную и самую легальную оппозицію.

Прибывъ въ Жарновъ, Любаховскій, противъ обыкновенія,

съ трудомъ добрался до графа. Графу нездоровилось. Любаховскаго очень вѣжливо спросили, насколько ему необходимо было видѣть графа. Наконецъ, когда онъ уже собирался уѣзжать, боясь надоѣсть, камердинеръ объявилъ ему, что графъ его принимаетъ.

Любаховскій нашелъ его блѣднымъ, утомленнымъ, жалующимся на дурное состояніе здоровья.

Разговоръ коснулся, конечно, злобы дня. Старикъ съ горечью обрисовывалъ свое положеніе и, хотя ни о чемъ не просилъ, но видно было, что пріѣхалъ сюда искать спасенія.

Долгое молчаніе наступило послѣ признанія старика. Графъ раза два вздохнулъ.

— По правдѣ признаться,—сказалъ онъ наконецъ,—я не люблю говорить о такихъ вопросахъ, которые вытекаютъ изъ распоряженій властей, хотя бы распоряженія эти были очень тяжелы для насъ. Я все-таки убѣжденъ, что они вызваны необходимостью, что тѣ, которые держатъ въ своихъ рукахъ бразды правленія, страдаютъ не меньше нашего. Мы не имѣемъ права судить объ этомъ, потому что у насъ не хватаетъ данныхъ.

Любаховскій слушалъ и не понималъ.

— Шановный *) панъ!—прибавилъ графъ,—сдѣлайте мнѣ такое одолженіе, не будемъ говорить объ этомъ.

Старикъ остолбенѣлъ отъ изумленія, но, послушный волѣ хозяина, сейчасъ же прервалъ свои жалобы. Графъ повернулъ разговоръ на хозяйство, цѣны хлѣба, сношенія съ заграницей, конкурренцію Америки и т. п. Для Любаховскаго все это представляло теперь такъ мало значенія, такъ мало интереса, что, посидѣвъ еще нѣсколько минутъ, онъ всталъ и началъ прощаться. Графъ проводилъ его до самыхъ дверей.

— Не могу удержаться,—заговорилъ онъ, дойдя до порога и слегка пожимая протянутую руку Любаховскаго,—чтобы не дать вамъ совѣтъ. Отношенія мои съ княжескимъ семействомъ, которое и до сихъ поръ еще сохранило о нихъ воспоминаніе (старая княгиня еще недавно спрашивала о васъ) налагаютъ на меня обязанность предостеречь васъ: объ этомъ вопросѣ

*) Уважаемый—польское обращеніе.

изгнанія и т. п. не слѣдуетъ говорить. Надо перенести этотъ ударъ и не разсуждать. Это только ухудшаетъ наше положеніе.

— Мое положеніе, графъ, — холодно возразилъ Любаховскій,—кажется, ужъ не можетъ ухудшиться, такъ какъ я принадлежу къ числу тѣхъ, которые на старости лѣтъ должны покидать родную землю.

Графъ попятился назадъ, какъ будто соприкосновеніе съ такимъ человѣкомъ пугало его.

— Какъ? Вы.

— Да, я.

— Вы получили уже приказаніе?

— Нѣтъ еще, но не подлежитъ никакому сомнѣнію, что оно ждетъ меня,—сказалъ Любаховскій.—Быть можетъ, вамъ неизвѣстно, что моя дочь замужемъ за человѣкомъ, занимающимъ очень высокое положеніе, за его превосходительствомъ г. Треубернеромъ.

— Мой пріятель! Робертъ?—прервалъ графъ.

— Зять мой,—докончилъ Любаховскій. — Однако онъ не желаетъ вмѣшиваться въ это дѣло,—даже и не пытается помочь мнѣ.

— Это лучшее доказательство,— подхватилъ графъ,— что ничего нельзя сдѣлать, что тутъ слѣдуетъ покориться и молчать. Главное—молчать.

Старикъ долго стоялъ съ опущенной на грудь головой.

— Такъ какъ я навѣрное скоро покину этотъ край,—заговорилъ онъ наконецъ,—то позвольте съ вами проститься, графъ.

Онъ низко поклонился. Хозяинъ стоялъ въ смущеніи.

— Мнѣ чрезвычайно непріятно, что мы разстаемся въ такихъ грустныхъ обстоятельствахъ. Прошу васъ вѣрить, что это мнѣ крайне прискорбно.

Любаховскій чувствовалъ себя еще болѣе неловко и непріятно. Онъ сѣлъ въ бричку, давая себѣ слово, что больше ужъ никогда и никуда не поѣдетъ ни совѣтываться, ни жаловаться. Хотя онъ и отдалился отъ сосѣдей и старыхъ знакомыхъ, но это не защитило его отъ наѣздовъ съ ихъ стороны.

Разошлись вѣсти о его отношеніяхъ съ Треубернеромъ,

которыя сначала игнорировали, о прибытіи дочери и внука, о его бѣгствѣ и арестѣ. Это возбудило любопытство, и двери не запирались, но вмѣстѣ съ тѣмъ видно было нѣкоторое опасеніе при сближеніи со старикомъ, которому грозила большая опасность.

Той храбрости, столько доказательствъ которой дали предки на полѣ битвы, въ этой безкровной борьбѣ ни у кого не хватало.

Никто не смѣлъ говорить, никто не смѣлъ пошевельнуться, всѣ выказывали равнодушіе. Сосѣди пріѣзжали обыкновенно по вечерамъ, сидѣли и долго слушали, поводили плечами, но такъ были скупы на слова, какъ будто слова эти могли разойтись по всему свѣту и скомпрометировать ихъ.

Когда объявлены были первые списки выселяемыхъ и бѣдные, попавшіе въ нихъ, нуждались въ помощи дѣятельной и братской, чтобы хоть сколько нибудь облегчить ихъ положеніе, всѣ устранялись, чтобы не имѣть ничего общаго съ несчастными, какъ-будто тѣ могли заразить ихъ своимъ несчастіемъ. Одинъ только Любаховскій нисколько не заботился о томъ, что про него скажутъ.

Послѣдніе гроши онъ отправилъ черезъ Дыдана несчастнымъ братьямъ; закупилъ одежду, обувь, однимъ словомъ, все, въ чемъ могли нуждаться бѣдняки, и приказалъ раздавать имъ это.

Такое поведеніе вызвало всеобщее изумленіе, а болѣе осторожные сочли даже своимъ долгомъ предупредить старика, что этимъ онъ можетъ ухудшить свою собственную участь.

— Мнѣ нечего терять,—отвѣчалъ онъ на всѣ предостереженія.—Я исполняю долгъ христіанина, никто и нигдѣ не можетъ мнѣ поставить этого въ укоръ.

Такая робость и трусость тамъ, гдѣ имеино требовалось мужество, могли бы казаться даже смѣшными, если бы не производили слишкомъ грустнаго, удручающаго впечатлѣнія.

Любаховскій довольно долго не получалъ никакихъ извѣстій отъ своей дочери о внукѣ, но зато и распоряженіе объ изгнаніи тоже не приходило.

Старикъ имѣлъ время приготовиться покинуть Любахувку. Слѣдовало ее непремѣнно продать. Червецкій дѣятельно взялся за это, но покупателей, кромѣ нѣмцевъ, не было.

— Я бы купилъ,—говорилъ одинъ колонистъ,—потому что это недурной клочекъ земли, да и хозяйство въ порядкѣ,—но пріобрѣтеніе земли послѣ изгнанныхъ обращаетъ на себя всеобщее вниманіе. Могутъ преслѣдовать за это. Извѣстно, что они хотятъ, чтобы земля переходила въ руки нѣмцевъ. Они сейчасъ же замѣчаютъ, кто имъ мѣшаетъ. Зачѣмъ же я буду подвергать себя опасности?

Всѣ старанія были тщетны, даже пониженіе цѣны не помогло. Червецкій пріѣзжалъ каждую недѣлю.

— Ну, что, докторъ, какъ покупатели?

— Нѣтъ ни одного,—былъ обыкновенный отвѣтъ.—Если вы хотите нѣмца, у меня есть цѣлый десятокъ, начиная съ сосѣдей—Фрейера и Браузе, которые уже обращались ко мнѣ.

— Нѣмцу! ни за что на свѣтѣ!—прервалъ Любаховскій.—Они для насъ неумолимы, наша обязанность быть непоколебимыми. Правда, подъ старость лѣтъ я останусь безъ крова и хлѣба, но—Богъ милостивъ, семейство князя, которому я такъ долго служилъ, я думаю, дастъ мнѣ убѣжище.

Червецкій не уговаривалъ.

Любахувка съ такимъ образцово и заботливо въ теченіе многихъ лѣтъ веденнымъ хозяйствомъ привлекала многихъ, но какой-то страхъ отталкивалъ.

Старикъ съ нетерпѣніемъ ожидалъ катастрофы; каждый стукъ на дворѣ, каждый посланный съ письмомъ, казались ему вѣстниками неизбѣжнаго приказа.

Экономка почти каждый день ѣздила въ мѣстечко на развѣдки и возвращалась ни съ чѣмъ. Губа съ большимъ неудовольствіемъ замѣчалъ, что она все больше и больше сближалась съ Риделемъ, который, хотя и избѣгалъ теперь всякихъ разговоровъ о ней, но на самомъ дѣлѣ только ею одной и жилъ. Прежняя свобода, съ какой проводили время въ Позманской гостиницѣ за пивомъ и бильярдомъ, подъ вліяніемъ грустныхъ, тяжелыхъ обстоятельствъ, превратилась въ подозрительное молчаніе и недовѣріе, остерегались хозяина и почти что боялись другъ друга.

Бауръ сидѣлъ молча, Плеве говорилъ о постороннихъ вещахъ, а когда слишкомъ откровенный Золингеръ затрогивалъ вопросъ о настоящемъ положеніи, то всѣ расходились.

Очень многіе изъ сосѣднихъ нѣмцевъ помѣщиковъ, которымъ до сихъ поръ жилось недурно, боялись, чтобы общее состояніе всего края не ухудшилось.

Они соглашались съ Золингеромъ, что есть тлѣющіе костры, которые не слѣдуетъ шевелить, чтобы не разжечь ихъ неловкимъ тушеньемъ. Не каждому приходилось по вкусу — изъ спокойнаго землепашца превратиться въ воина, день и ночь принужденнаго стоять на стражѣ. Трудно было ожидать любви отъ тѣхъ, которыхъ такъ притѣсняли. Modus vivendi, выработанный годами, былъ сносенъ,—въ будущемъ же должно было ожидать непримиримую ненависть.

Только нѣсколько такихъ, какъ Фрейеръ и Браузе, спекулянтовъ, которые только о томъ и думали, гдѣ-бы имъ заработать—на своемъ ли патріотизмѣ, на чужомъ ли несчастьи, радовались и суетились въ мутной водѣ.

Фрейеру Дыданъ не давалъ спать. Онъ не боялся съ его стороны доноса въ дѣлѣ контрабанды, такъ какъ готовъ былъ отпереться ото всего, даже отъ собственноручной подписи, оправдываясь ненавистью къ нему Дыдася; но онъ боялся вспыльчиваго характера Дыдана, который, въ отчаяніи, могъ даже прямо покуситься на его жизнь.

Самымъ дурнымъ признакомъ служило то, что съ того дня, какъ онъ встрѣтилъ Мину на дорогѣ, онъ ея знать не хотѣлъ. Она посылала ему устное приглашеніе, писала къ нему по-нѣмецки, рѣшилась даже написать по-польски, но ничто не помогло. Дыдась даже не отвѣчалъ.

Нѣмка, которая во всей этой интригѣ видѣла только въ перспективѣ бракъ, проклинала дядю, а, быть можетъ, и еще кой-кого, и клялась отомстить невѣрному.

Дыданъ тоже носилъ въ сердцѣ месть, но таился съ нею и откладывалъ. Въ ожиданіи этомъ, время то проходило очень медленно, то мчалось съ необыкновенной быстротой. Новаго ничего не было, наконецъ, съ одной почтой старикъ получилъ нѣсколько словъ отъ дочери, которая писала ему, что надѣется скоро вернуться.

Любаховскаго это скорѣе огорчило, чѣмъ обрадовало. Онъ не требовалъ для себя жертвъ и, послѣ нѣкотораго раздумья, готовъ былъ даже отказаться отъ внука, лишь бы

только не испортить ему карьеры. Что ему съ нимъ было дѣлать?

Нѣсколько дней спустя, экономка, вернувшись изъ мѣстечка, вмѣсто того, чтобы пойти къ себѣ домой, прямо бросилась къ старому пану. Онъ и всѣ его окружавшіе такъ уже привыкли теперь къ тому, что если и случалось что новаго, то навѣрное ничего хорошаго съ собой не приносило, что поспѣшность, съ какой вбѣжала Кристина, встревожила старика. Но на лицѣ ея не замѣтно было огорченія, ни тревоги—скорѣе какое то радостное изумленіе и необыкновенное волненіе.

— Что же ты намъ привезла новаго? — спросилъ Любаховскій.

— Сама не знаю,—отвѣчала Кристя,—мнѣ самой не хочется вѣрить тому, что я привожу.

— Если что хорошее, такъ и я не повѣрю,—сказалъ старикъ,—но что же?

— Метрика ваша нашлась!—вскричала она.

Она ожидала безпредѣльной радости. Любаховскій, не трогаясь съ мѣста, покачалъ головой.

— Что ты выдумываешь. Не можетъ быть! — пробормоталъ онъ. — Это какое-нибудь надувательство. Говорю тебѣ, что этого не можетъ быть.

— Какъ же не можетъ, когда мнѣ сказалъ это самъ ксендзъ,—прибавила Кристина,—что нѣсколько дней тому назадъ онъ взялъ еще не просмотрѣнную книгу, въ которой пробощъ вкратцѣ записывалъ метрики, и въ ней, подъ тѣмъ годомъ, который какъ разъ совпадаетъ съ вашимъ возрастомъ, записана метрика Григорія—Яцка Любаховскаго, сына Ѳаддея—Игнатія и Меланіи, урожденной Згурской.

До сихъ поръ молча и равнодушно слушавшій старикъ поднялъ руки и радостно ударилъ въ ладоши.

— Положительно, это чудо! — воскликнулъ онъ, — потому что я самъ почти былъ увѣренъ, что не родился здѣсь и не былъ крещенъ. Гдѣ-же это? какъ?

Говоря это, Любаховскій дрожащимъ отъ волненія голосомъ сталъ звать мальчика—Томку, чтобы тотъ приготовилъ ему одежду.

— Дорогая Кристя,—сказалъ онъ, — пусть мнѣ заложатъ

кихъ-нибудь лошадей; я самъ поѣду убѣдиться. Мнѣ просто вѣрится этому.

— Пробощъ самъ говоритъ, что не знаетъ, какъ онъ не мѣчалъ до сихъ поръ, потому что разъ по десяти просматривалъ эти метрики, а ничего не видалъ.

Старикъ бормоталъ что-то непонятное; Кристина то блѣдѣла, то краснѣла.

— Если вы хотите ѣхать, баринъ, то возьмите съ собой ыдана,—сказала она,—потому что одного я васъ не пущу.

—Э, что со мной можетъ случиться?—разсмѣялся уже поселѣвшій Любаховскій.—Я ужъ ничего теперь не боюсь.

Кристина побѣжала приказать запрягать, а Дыдану,—сопроождать барина. Во всемъ домѣ съ этой радостной вѣстью адрость выступила въ сердцахъ, хотя это нисколько не измѣнило судьбы другихъ: ни Дыдана, ни Ходзибуя.

— Съ нами пусть дѣлаютъ, что хотятъ, лишь бы нашъ старый панъ могъ здѣсь остаться, — говорила Кристя. — олодые перенесутъ все, что посылаетъ Богъ.

Радость, которую испыталъ Любаховскій, была кратковременна. Онъ перебралъ въ умѣ все, что только зналъ о своемъ ѣтствѣ и молодости, и не могъ повѣрить существованію этой етрики. Насколько хватала его память, его воспоминанія, нъ никогда не слыхалъ, чтобы его родители оставались здѣсь олѣе или менѣе продолжительное время,—покойный Янъ Неомуценъ никогда не упоминалъ объ этомъ.

Наконецъ подъѣхала самая лучшая бричка, старика посадили на удобную подушку—и онъ поѣхалъ. Дыдась занялъ ѣсто на козлахъ рядомъ съ кучеромъ.

Старикъ велѣлъ ѣхать прямо къ священнику. Увидѣвъ его, сендзъ Романъ вышелъ ему навстрѣчу на крыльцо, но и на го лицѣ было больше какого-то смущенія, чѣмъ радости.

— Знаю, что привело васъ ко мнѣ,—сказалъ онъ тихо.— ѣйствительно, я нашелъ записанной вашу метрику, это не одлежитъ сомнѣнію, но...

Онъ покачалъ головой.

— Пойдемте же посмотрѣть это чудо, — проговорилъ Любаховскій.

Въ комнатѣ, въ которой ксендзъ занимался, на столѣ на-

ходилась тетрадь синей толстой бумаги, исписанной оче
блѣдными чернилами. На половинѣ страницы находилась здѣ
среди многихъ другихъ, замѣтка по метрикѣ.

Любаховскій взялъ листъ въ свои дрожащія руки, впил
въ него глазами и шепнулъ ксендзу такъ тихо, что чуть-чу
подальше стоящій человѣкъ, навѣрное, ничего бы не услыхал

— Метрика эта написана позднѣе.

— Изъ чего вы это заключаете?— спросилъ ксендзъ.

— Вѣдь здѣсь написано: Яценъ,— проговорилъ Любахо
скій, пристально всматриваясь въ написанное.

— Но вѣдь вы же носите это имя,— замѣтилъ пробощъ.

— Да, только не по крещенію,—возразилъ Любаховскій,—
по мvропомазанію. При крещеніи мнѣ было дано имя Григорій
а набожность матери, особенно почитавшей св. апостола Руси
склонила меня принять это имя при мvропомазаніи.

Ксендзъ молчалъ. Бумага выпала изъ рукъ Григорія
онъ погрузился въ раздумье.

— Это загадка, загадка,—прервалъ молчаніе ксендзъ Р
манъ.— Я не могу объяснить ее иначе, какъ позднѣйшей з
писью метрики и неосторожностью того, который пронумер
валъ ее. Но это нисколько не уменьшаетъ ея силы. Навѣрн
ее записывали по обгорѣвшимъ бумагамъ, а переписчикъ, зна
васъ, дополнилъ то, что, по его мнѣнію, было нужно.

— Не понимаю,—прибавилъ старикъ,—но принимаю эт
свершившееся надо мной по милости Божіей — за чудо. Так
будьте добры, отецъ, выдайте мнѣ, на основаніи этого, метрик
которая, быть можетъ, защититъ меня отъ изгнанія. Я радуюс
не столько за себя, дорогой отецъ, сколько за дочь, зятя
внуковъ. Sit nomen Domini benedictum *).

Ксендзъ обнялъ его, сильно растроганный Онъ старалс
перелить въ старика радость, которую испытывалъ самъ, и
тотъ, какъ бы не довѣряя своему счастью, остался погружен
нымъ въ задумчивость и грусть.

Просидѣвъ у ксендза, пока тотъ не накормилъ и не на
поилъ его, нуждаясь въ отдыхѣ и желая повидать Губу, Лю
баховскій приказалъ кучеру ѣхать въ Познанскую гости

*) Да будетъ благословенно имя Господне.

цу. Съ обществомъ, которое здѣсь собиралось, онъ никогда былъ въ такихъ отношеніяхъ, чтобы долженъ былъ избѣгь его. Всѣ знали Любаховскаго за человѣка спокойнаго и, сколько нѣмцы могутъ уважать поляка, уважали его. Въ мъ цѣнили примирительный духъ. Онъ защищалъ и оправвалъ чиновниковъ, которыхъ всѣ другіе обвиняли.

— Чѣмъ же они виноваты? — говорилъ онъ, — они исполютъ приказанія: это ихъ обязанность. Ножницы не виноваты, о рѣжутъ, а виновата рука, которая ихъ держитъ.

Съ утра уже вѣсть о найденной метрикѣ Любаховскаго, спространенная самимъ всендзомъ, разошлась уже по городу. чти всѣ радовались этому.

Только Фрейеръ и Браузе встрѣтили ее восклицаніемъ: hwindel!

Ни тотъ, ни другой не хотѣли вѣрить въ то, чтобы могла йтись метрика; они скорѣе готовы были обвинить всѣхъ во ки, чѣмъ повѣрить этому.

Многозначащее молчаніе, которымъ было встрѣчено это склицаніе, заставило Фрейера призадуматься, и онъ уже не спространялся болѣе по этому предмету.

Между нимъ и Браузе произошло тихое, тревожное совѣщаніе, послѣ котораго они остались еще на минуту, прислуиваясь къ разговорамъ. Браузе сталъ острить и посмѣяться надъ переполохомъ поляковъ. Фрейеръ поддерживалъ го своимъ смѣхомъ; но такъ какъ никто имъ не отвѣчалъ, аже никто не слушалъ ихъ внимательно, то они, выпивъ ива, оба вмѣстѣ вышли изъ гостиницы.

Пришедшій затѣмъ Бауръ принялъ эту новость молча и урово.

Ридель, чрезвычайно удивленный, обрадованный, нисколько е скрывалъ, что его радовало то, что должно было доставить еликую радость хорошенькой экономкѣ.

Никого это не поражало, такъ какъ всѣ привыкли уже ъ его чувствамъ къ молодой экономкѣ, не находя уже въ ихъ ничего дурного, потому что Ридель нисколько не сблизился съ ней, а оставался все въ тѣхъ же отношеніяхъ, какъ ри началѣ знакомства.

Шлеве, позднѣе всѣхъ узнавшій объ этомъ, выслушавъ

разсказъ, закусилъ губы и сказалъ, послѣ нѣкотораго раздум что онъ долженъ видѣть эту метрику.

Самая искренная радость была у Губы и его дочер Отецъ разсчитывалъ, что для Рузи во многихъ отношеніях очень полезно общество экономки, вліяніе которой онъ ст вилъ очень высоко, а пребываніе въ Любахувкѣ старика обе печивало и бребываніе Кристины.

Губа встрѣтилъ Любаховскаго очень торжественно, хотѣ даже отвести ему особенную комнату, чтобы тотъ могъ отдо нуть; но старикъ не принялъ этого и сѣлъ между нѣмцам чтобы не подать повода думать, что онъ ихъ избѣгаетъ. Он имѣлъ настолько деликатности, чтобы не заводить разговор о щекотливомъ законѣ и показался всѣмъ нисколько не изнѣж шимся.

Только приходъ Золингера прервалъ это молчаніе. Золи герръ, по обыкновенію, сейчасъ же высказалъ свое мнѣні строго осуждая это ненужное, по его мнѣнію, поддразниваніе

Любаховскому не годилось вмѣшиваться въ эти разговор которыхъ хотѣли-бы избѣжать даже и сами собравшіеся здѣс чиновники, когда къ крыльцу подъѣхала старая, всѣмъ зна комая телѣжка, и изъ нея вылѣзъ мужчина среднихъ лѣт на короткихъ ногахъ, съ поднятой головой, румяный, съ дер кимъ выраженіемъ лица, съ зачесанными кверху волосам Маленькій носикъ, неловко сидящій по срединѣ широкаго лица и ротъ съ толстыми, мясистыми губами, дѣлали его физіоно мію смѣшной. Выглянувъ изъ окна, Золингеръ поморщился и сказалъ громко:

— Герръ Любичъ!

Двери отворились, и въ комнату съ шумомъ вошелъ на званный Золингеромъ помѣщикъ, который, окинувъ взором все общество, произнесъ по-нѣмецки:

— Auf die Ehre!

Ничего въ этомъ не было смѣшнаго, но Любичъ смѣялся говоря это; потомъ бросилъ шапку на столикъ, снялъ пальт и, потирая руки, подошелъ поздороваться съ Любаховскимъ который холодно ему поклонился.

Первымъ его дѣломъ было потребовать себѣ водки, жа луясь на страшный холодъ. Никто какъ-то не подходилъ к

эму, никто съ нимъ не заговаривалъ, и панъ Габріель Любичъ самъ первый обратился къ Плеве.

— Ну, что же? Не слыхали вы? Какъ? Покупаетъ правительство наши имѣнія? Вы знаете, я признаюсь откровенно, го готовъ продать Дембину и Самолазы. Для колонизаціи рая не можетъ быть ничего болѣе удобнаго. Они должны орошо мнѣ заплатить. Я не вѣрю въ этотъ патріотизмъ, акъ крѣпво держащійся за землю, у меня патріотизмъ въ ердцѣ. Я очень радъ, что казна скупаетъ имѣнія и тѣмъ самымъ спасетъ шляхту. Ей Богу! Пусть только хорошенько заплатятъ, а я ужъ найду, гдѣ себѣ купить землю.

Всѣ молчали, никто не прерывалъ его, но никто также и не слушалъ. Тщетно Любичъ искалъ глазами поддержки и подтвержденія высказанныхъ имъ мнѣній. Нѣмцы стояли молча, Любаховскій о чемъ-то тихо разговаривалъ съ Золингеромъ.

Плеве, къ которому приблизился потомъ Любичъ и сѣлъ рядомъ съ нимъ, немножко отодвинулся отъ него, взялъ въ руки кружку, и не поддерживая разговора, казалось, всецѣло былъ занятъ пивомъ и трубкой.

Раздраженный тѣмъ, что не встрѣтилъ здѣсь ожидаемой симпатіи къ его убѣжденіямъ, Любичъ прямо обратился къ старику:

— Ну, что вы на это скажете?

— Я? Ничего,—коротко отвѣчалъ Любаховскій.

— Кажется, и вамъ приказано выѣхать?—спросилъ Любичъ.

— Пока еще нѣтъ,—проговорилъ старикъ.

— Что касается до этого,—прибавилъ Любичъ,—то ужъ что же дѣлать! Какъ есть—такъ и есть! Жесткій орѣшекъ, многимъ очень трудно будетъ разгрызть его, но въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго! Каждое правительство имѣетъ право избавляться отъ тѣхъ, кто ему не нравится. Признаюсь, я даже предпочитаю работника-нѣмца.

Онъ повелъ плечами.

Всѣ молчали. Любичъ улыбался.

— Я слыхалъ, что колонистовъ хотятъ выписать изъ Шлезвигъ-Голштиніи. До сихъ поръ у насъ мало было пасторовъ и киркъ; посмотримъ, что-то скажутъ наши ксендзы, когда число ихъ умножится!

Онъ началъ смѣяться.

— Я стою за свободу убѣжденій, для меня кирка такъ хороша, какъ и нашъ костелъ; по крайней мѣрѣ меньше будет фанатизма.

Молчаніе продолжалось. Любичъ замѣтилъ, что и эта про завязать разговоръ и похвастаться своею благонамѣренность не удалась. Поэтому онъ прервалъ свою апологію протеста тизма и вернулся къ цѣнности имѣній.

— Я надѣюсь взять за Дембину и Самолазы хорош деньги,—сказалъ онъ.—Знаю, что братья-шляхта будетъ мен преслѣдовать за то, что я сбываю землю. Лбомъ стѣну н прошибешь, лучше продать теперь по своей волѣ, чѣмъ потом быть вынужденнымъ продать, когда увеличатся долги; а тут хозяйничать нѣтъ средствъ, кромѣ нѣмца, которому дадут деньги за три процента, тогда какъ я долженъ платить пять Нечего тутъ и упрямиться; кто не хочетъ пойти по міру с сумой, тотъ долженъ продать.

И на это никто ему ничего не отвѣтилъ. Только Золин геръ, взглянувъ на веселаго Любича, замѣтилъ:

— Кажется, насколько я слышалъ, вашъ родъ уже нѣ сколько сотъ лѣтъ владѣетъ Дембиной и Самолазами. Неужел же вамъ не жалко будетъ той земли, на которой вы роди лись, тѣхъ мѣстъ, гдѣ жили родители и дѣды, наконецъ, про давать и ихъ гроба?

— Я не пускаюсь въ сентиментализмъ,—отвѣчалъ Лю бичъ.—Я отецъ семейства,—надо оставить что-нибудь дѣтямъ да и я самъ лично предпочитаю имѣть 100 талеровъ чистыхъ чѣмъ 200 невѣрныхъ. Я хотѣлъ продать своимъ единоплемен никамъ,—никто не даетъ порядочной цѣны. Дембина и Само лазы стоятъ по крайней мѣрѣ 300 тысячъ талеровъ.

Плеве началъ качать головой, а Золингеръ разсмѣялся вслухъ.

— Казна не собирается переплачивать,—замѣтилъ онъ.

— Да вѣдь у меня на нихъ долга 200 тысячъ,—подхва тилъ Любичъ,—а должно и у меня остаться хоть 100. Жела етъ казна пріобрѣсти ихъ и поддержать хорошій примѣръ,— пусть заплатитъ триста. Что это для нея значитъ?

Онъ всталъ и началъ прохаживаться.

— Я первый, который самъ предлагаетъ имѣніе,—прибавилъ онъ,—но я переселюсь отсюда. Жена поплачетъ немножко, и я не желаю обращать вниманія на бабьи слезы.

Краснорѣчіе Любича, рисовавшее тревожное настроеніе его души, цинизмъ, съ какимъ онъ выражался, взгляды и сентенціи, которыя онъ провозглашалъ, рѣшительно ни въ комъ не нашли сочувствія. Всѣ отворачивались, никто его не слушалъ; онъ принужденъ былъ замолчать, но чело его наморщилось. Онъ подошелъ къ бильярду, какъ бы желая присоединиться къ игравшимъ на немъ двумъ молодымъ канцелярскимъ чиновникамъ, но и тутъ его приняли очень холодно. Ему оставался только одинъ Губа, къ которому онъ обратился, прося его подать закуску.

— Чего прикажете?—спросилъ хозяинъ безъ особеннаго желанія служить ему. — Не знаю, сумѣю ли угодить вамъ, такъ какъ вы любите хорошо покушать, а моя кухня не изысканна.

— Дай, что есть, разсмѣялся Любичъ, пріятно польщенный этимъ опасеніемъ Губы,—я знаю, что я не у Курнатовскаго не буду особенно взыскателенъ; я голоденъ.

Любаховскій воспользовался этой минутой и приготовился къ отъѣзду. Дыдась, уже начинавшій безпокоиться, нѣсколько разъ заглядывалъ въ окно, да и лошади были уже заложены. Старикъ поклонился всѣмъ присутствовавшимъ и вышелъ. Любичъ, обиженный молчаніемъ, какимъ Любаховскій встрѣтилъ его, занялъ его мѣсто и сталъ смѣяться надъ нимъ.

— Этотъ тоже, волей не волей, долженъ будетъ продать свою Любахувку, но кто-то нынче купитъ? Нѣмцу онъ не захочетъ продать. Какъ можно!!. Счастье еще, что его зять занимаетъ такое высокое положеніе и не дастъ ему погибнуть. Будь на его мѣстѣ другой человѣкъ—онъ могъ бы быть теперь очень полезнымъ и для другихъ черезъ Треубернера. Приказалъ бы себѣ заплатить. Но это пуританинъ, господа, пуританинъ!

И Любичъ смѣялся, выпивая вторую рюмку водки.

Въ Любахувкѣ уже три дня господствовала тревога; экономка, поѣхавшая по дѣламъ въ мѣстечко, вмѣсто того, чтобы вернуться, по обыкновенію, черезъ нѣсколько часовъ, отослала домой лошадей и на клочкѣ бумаги извѣстила мужа, что она должна ѣхать въ Жерновъ, гдѣ у нея были родные: двоюродные братья и сестры.

Ходзибуй, зная ея энергію и мужество, сначала былъ спокоенъ. Уже раньше ходили слухи, что ея дальнимъ родственникамъ, бѣднымъ людямъ, грозитъ изгнаніе, но не вѣрили этой дурной вѣсти. Теперь она, къ несчастію, подтверждалась. Кристя, выѣхавъ въ среду на нѣсколько часовъ, въ субботу еще не вернулась въ Любахувку.

Всѣ теперь убѣждались, какъ она была имъ нужна, до какой степени они чувствовали себя безпомощными безъ нея. Старикъ спрашивалъ объ ней почти каждый часъ. Жабская одну за другой посылала на фольварокъ дѣвушекъ—узнать не вернулась ли Кристя, потому что ей послышалось, что кто то подъѣхалъ. Дыданъ ходилъ, кусая ногти, не въ состояніи ни минуты усидѣть въ избѣ, а въ голову ему приходили такія предположенія, что онъ готовъ былъ бросить все и бѣжать ей на помощь. Въ ужаснѣйшей тревогѣ проводилъ дни и ночи мужъ, вскакивая, выбѣгая, разсылая работниковъ, нанимая жидовъ и обѣщая имъ вознагражденіе, если принесутъ ему какое-нибудь извѣстіе о женѣ.

Между тѣмъ Кристина какъ въ воду канула.

Знали только, что, пріѣхавъ въ среду въ мѣстечко, она получила отъ сестры письмо съ нарочнымъ, что она и ея родные должны были быть выселены за границу съ первымъ транспортомъ. Кристя лучше всѣхъ знала ихъ положеніе. Всѣ были бѣдны и не имѣли ничего, кромѣ рабочихъ рукъ. Они служили работниками и работницами въ имѣніи графа Жарновскаго, но заработка ихъ съ трудомъ хватало на самое скромное содержаніе такой многочисленной семьи. Управляющій, человѣкъ жестокій, рѣзкій, сохранилъ еще въ памяти традиціи стараго времени, когда мужика не называли иначе, какъ хамъ.

Гораздо ранѣе того, какъ начали приводить въ исполненіе новый законъ и выселять пришельцевъ за границу, у графа

уже было сдѣлано распоряженіе, чтобы разсчитали тѣхъ, кто не принадлежалъ къ мѣстному населенію, и немедленно прогнали ихъ. Графъ ничего и слышать о нихъ не хотѣлъ.

Сожалѣнія, снисхожденія, помощи нельзя было и ожидать. Кристя все, что только имѣла и что только могла вырвать изо-рта у себя самой и у мужа,—посылала имъ. Только ею они и жили. Но въ Любахувкѣ и прежде-то нечѣмъ было дѣлиться, а тѣмъ болѣе теперь. Кристя продавала платья, перины, пухъ — однимъ словомъ, все, что только у нее было.

Эти двѣ двоюродныя сестры повыходили замужъ за работниковъ, пришедшихъ изъ королевства и, что еще хуже, бѣжавшихъ отъ воинской повинности. У одной изъ нихъ было двое болѣзненныхъ, хворыхъ дѣтей, у другой — трое. Братья, также женатые, съ маленькими дѣтьми, изъ которыхъ старшему было лѣтъ девять, очутились въ такомъ же положеніи.

Можно себѣ представить тревогу бѣдной Кристины, когда, будучи въ мѣстечкѣ, она получила отъ сестры извѣстіе, что той, со дня на день, грозитъ изгнаніе.

Посланный прибавлялъ, что у нихъ не было ни куска хлѣба, ни гроша денегъ на дорогу; что двое дѣтей были больны, а у одного брата была повреждена топоромъ нога, которая не давала ему ходить.

Кристя болѣзненнымъ крикомъ встрѣтила это извѣстіе. Прежде всего, она мысленно сосчитала свои капиталы, что она могла продать изъ своихъ вещей, что призанять — и съ ужасомъ увидала, какъ эта сумма была ничтожна, въ сравненіи съ такими тяжелыми нуждами.

Губа, видя ее въ отчаяніи, въ слезахъ, предложилъ одолжить ей сто марокъ. Болѣе онъ не могъ. Въ Любахувку не стоило возвращаться. Ни у нее, ни у мужа не было ничего. За послѣдніе мѣсяцы исчерпались всѣ средства, всѣ запасы.

Узнавъ случайно о положеніи бѣдной женщины, Ридель сейчасъ же прибѣжалъ къ Губѣ, предлагая свою помощь, но хозяинъ зналъ заранѣе, что деньги эти не могли быть приняты. Поэтому онъ совралъ, что все уже уладилось.

Кристя, не глядя ни на что, слушаясь только своего сердца, которое влекло ее къ этимъ несчастнымъ, нанявши, при помощи Губы, подводу, отправилась въ Жарновъ.

Здѣсь, по приказанію графа, всѣ избы были уже очищены отъ бѣдняковъ, осужденныхъ на изгнаніе.

Не было никого. Растворенныя двери и окна, потухшіе очаги, остатки сора — свидѣтельствовали только, что здѣсь прошла мстительная рука судьбы.

Всѣ изгнанники были уже на границѣ, подъ конвоемъ, ожидая новыхъ партій несчастныхъ. Кристя должна была торопиться, чтобы еще застать ихъ тамъ.

Да они и не могли бы дольше оставаться здѣсь; такъ какъ знакомый писарь предупредилъ ее, что было отдано приказаніе не принимать и не позволять никому останавливаться, кто будетъ спрашивать изгнанниковъ. Графу казалось, что пребываніе такихъ людей въ его имѣніи компрометировало его, что его могутъ заподозрить въ покровительствѣ несчастнымъ, въ агитаціи, колонизаціи... однимъ словомъ, въ дѣйствіяхъ, противныхъ германизаціи. Поэтому, приказано было уничтожать всѣ слѣды отъ этихъ несчастныхъ, о которыхъ не позволялось даже вспомнить. Графъ былъ въ такой тревогѣ, что даже, совершенно ни къ чему, написалъ президенту письмо, оправдываясь передъ нимъ, что онъ ничего не зналъ объ этихъ работникахъ, сваливая всю вину на управляющаго.

Заплаканная, убитая горемъ, Кристя, мчалась днемъ и ночью къ границѣ, чтобы еще застать изгнанниковъ.

Разспрашивая въ каждой гостиницѣ, въ каждой придорожной корчмѣ, гдѣ приблизительно могли находиться изгнанники, экономка нѣсколько успокоилась, убѣдившись, что встрѣтитъ своихъ братьевъ и сестеръ еще до границы. Кромѣ того, это сопровождалось извѣстными формальностями, которыя нельзя было такъ скоро уладить.

Шли они безъ пищи, голодные, больные, имѣя въ душѣ отчаяніе и тоску изгнанія.

Послѣ долгаго осматриванія вокругъ, не увидитъ-ли ихъ, Кристя замѣтила передъ маленькой корчмой въ лѣсу таборъ, состоящій изъ нѣсколькихъ возовъ, запряженныхъ худыми лошадьми или тащимыхъ людьми; въ таборѣ этомъ, начиная

со стариковъ съ палками и кончая дѣтьми, всѣ возрасты имѣли своихъ представителей. Изъ этой молчаливой кучи, только часть которой могла помѣститься подъ кровлею корчмы, изрѣдка слышался плачъ ребенка, стонъ больныхъ, жалобы женщинъ, ворчанье мужчинъ.

Зрѣлище было раздирающее. Блѣдныя, съ заплаканными глазами, угрюмыя лица, дышащія безсильной жаждой мести, другія уже отупѣвшія отъ чрезмѣрнаго страданія, сонныя. Даже стража, которая должна была сопровождать этихъ невольниковъ, казалось, страдала, вмѣстѣ съ ними, и отворачивалась отъ этого зрѣлища нужды, которой не могли ничѣмъ помочь. Передъ крестомъ, стоявшимъ у дороги, двѣ старыя женщины громко голосили и читали молитвы.

Нѣсколько пьяныхъ и только еще напивавшихся, громко проклиная, на чемъ свѣтъ стоитъ, своихъ преслѣдователей, принуждали солдатъ останавливать ихъ.

Кристя издали искала глазами своихъ. Это были единственные ея близкіе родственники по крови на землѣ, столь непохожіе на нее, какъ будто между ними и ею была цѣлая пропасть. Кристя изъ полевого бутона развилась въ красивый цвѣтокъ, а они и онѣ, заглушенные сорной травой, высохли на стеблѣ.

Двѣ двоюродныя сестры Кристи не имѣли ни ея красоты, ни ума. Это были существа, истощенныя своими дѣтьми — этимъ благословеніемъ небесъ. Одна изъ нихъ держала у груди младенца, желтаго, худого, напрасно жавшаго своими худыми пальчиками грудь матери, которая не могла ему дать пищи. Вмѣсто молока, у нея текли слезы изъ глазъ и капали на плакавшаго ребенка.

Старшія дѣти съ крикомъ и плачемъ рвали одежду матерей, прося хлѣба, крича, что они голодны. Братья, одинъ изъ которыхъ съ больной ногой, прикрытый кафтаномъ, лежалъ на землѣ, съ трудомъ развязывали свои мѣшки, заключавшіе въ себѣ жалкіе запасы пищи.

Эта великая общая нужда, дѣлая однихъ эгоистами и жадными, прятавшими свои припасы, другимъ открывали сердца. Дѣлились всѣмъ, послѣднимъ кускомъ, не думая о завтрашнемъ днѣ.

Нѣкоторые, со стоическимъ хладнокровіемъ, смѣялись надъ нуждой. Послѣдній грошъ должны были нести мужчины и даже женщины въ корчму, чтобы оживить себя и разогрѣть каплей купленнаго тамъ яда. Неосторожныя матери, встревоженныя, смачивали водкой высохшія уста дѣтей.

Долго стояла Кристина, со взорами, устремленными на эту страшную картину человѣческаго несчастія, пока рѣшилась, наконецъ, подойдти къ своимъ.

Они принадлежали къ числу самыхъ бѣдныхъ, такъ какъ и здѣсь были различныя степени бѣдности. Нѣкоторыхъ катастрофа захватила съ запасами... здоровыхъ и сильныхъ, — и эти старались ободрить другихъ.

— Ну, не отчаявайтесь, — говорилъ пожилой мужчина, доставая изъ мѣшка хлѣбъ и кусокъ солонины. — Ничего не дѣлается безъ воли Божіей, какъ говоритъ ксендзъ; — волосъ не упадетъ съ головы.

Кристя, видя, какъ стоявшая на колѣняхъ сестра ея пеленала ребенка и отъ ослабленія чуть не падала сама, — подбѣжала, наконецъ, къ кучкѣ своихъ, которые еще не видали ея.

— Салюся моя! — вскричала она, бросаясь на шею одной изъ сестеръ, — гдѣ Ягнешка? гдѣ твой Павелъ?

— Іисусе Христе! Да, вѣдь, это Кристина! — закричала обрадованная Салюся. — О, Боже! ты услышалъ насъ! Мы тебя ночью, сквозь сонъ, звали на помощь, потому что ты одна могла помнить о насъ и спасти насъ.

И женщина начала громко звать мужа и сестру:

— Ягня! Павелъ! Куда вы дѣлись?.. Вотъ и Кристина наша!

Встрѣча была трогательная, слезная: цѣловались, обнимались. Кристина поочереди здоровалась съ дѣтьми и старшими.

— Какъ-же это вы могли подумать, что я забуду о васъ? — говорила она. — Какъ только я узнала о вашей бѣдѣ, сейчасъ-же собрала все, что было, и погналась за вами. Павелъ! иди къ возу, возьми мѣшокъ, тамъ есть ѣда; надо сварить дѣтямъ чего-нибудь теплаго.

Но не было мѣста, гдѣ-бы можно было развести огонь, да

и нечѣмъ было. Въ такой тѣснотѣ каждый съ бою беретъ свое мѣсто: толкали другъ друга. Пришедшій изъ корчмы, заявилъ, что тамъ немыслимо было поставить горшокъ къ огню.

Кристина прерывала, повторяя:

— Я заплачу; принесите хворосту; есть-же, вѣдь, какой нибудь горшокъ?

Но женщины, уста которыхъ были полны упрековъ и жалобъ, не хотѣли ѣсть. Онѣ плакали, опершись на руки.

Одной пришлось оставить на корню лѣнъ, котораго ей не удалось собрать—никто гроша не хотѣлъ дать за него.

Мужчины жаловались, что ихъ обсчитали при послѣднемъ разсчетѣ. Не скоро еще, когда все это уже исчерпалось, Кристина начала утѣшать ихъ и, вынувъ всѣ свои запасы, стала дѣлить ихъ. Ей цѣловали руки.

— Не можетъ быть, — вскричалъ Павелъ, поднимаясь съ земли,—чтобы Господь не услышалъ нашихъ стоновъ и не послалъ на нихъ наказаніе. Куда мы дѣнемся?! Мы погибнемъ съ голода.

— Не бойтесь, — отвѣчала Кристя, — вѣрьте мнѣ: люди имѣютъ сердце—о васъ думаютъ, совѣтуются найдутъ мѣсто и работу. Для васъ собираютъ деньги.. не покинутъ васъ...

— Ну, ну,—проговорилъ старшій братъ,—это такъ только говорится, а гдѣ у нихъ хватитъ на всѣхъ. Вѣдь, говорятъ, что всѣхъ хотятъ выгонять, кто только говоритъ по-польски, а такихъ много.

Экономка объясняла имъ, что теперь пока изгоняли только тѣхъ, кто пришелъ изъ-заграницы.

— Когда это было,—отвѣчалъ Павелъ—я былъ еще ребенкомъ и ничего не помню.

Кристя занялась сама дѣлежемъ привезенныхъ булокъ, сыра, холоднаго мяса, когда послышался шумъ и, среди толпы, показалась черная фигура. Это шелъ, опираясь на палку, старичекъ ксендзъ, а съ нимъ органистъ и мальчикъ съ корзиной, раздавая по дорогѣ булочки и кренделькн дѣтямъ, хлѣбъ взрослымъ, крестя ихъ святымъ крестомъ и придавая имъ бодрости, чтобы они не сомнѣвались въ Божьей опекѣ. Солдаты отворачивались, пропуская его, равно какъ и другихъ, кто спѣшилъ сюда, съ помощью и милосердіемъ. Голодъ и

жажду можно было утолить, но залѣчить сердечныя раны, — не могло даже слово Божіе. Бѣдняки стонали.

Было также нѣсколько тяжко больныхъ, которые уже не могли тащиться далѣе; просьбами женщинъ, вмѣшательствомъ ксендза, добились у начальника отряда, который велъ ихъ къ границѣ, чтобы тотъ согласился остановиться здѣсь на ночлегъ. Кристина побѣжала скорѣе нанять за деньги для своихъ особенное помѣщеніе въ пустомъ хлѣвѣ. Туда снесли всѣ узелки, перетащили дѣтей; нашлась пара сноповъ соломы; экономка сама приготовила ужинъ. Но гораздо больше, чѣмъ этимъ ужиномъ, накормила и насытила она добрымъ словомъ, шедшимъ изъ сердца.

До поздней ночи, уста не замыкались; только когда огарокъ свѣчки сталъ уже гаснуть, дѣти заснули крѣпкимъ сномъ, старшіе тоже, сами не зная какъ, закрыли глаза и отъ утомленія погрузились въ глубокій сонъ.

Кристя, прислонившись къ стѣнѣ, завернувшись въ платокъ, тоже закрыла глаза, но просыпалась каждую минуту, чтобы наблюдать за несчастными.

Только что она закрывала глаза, какъ ее будило безпокойство, тревога; ей казалось, что грозитъ какая-то опасность... что можетъ быть куда нибудь упала искра... что ночью ихъ могутъ убить.,. Нѣсколько разъ также ее будили своимъ крикомъ другія женщины, просыпаясь и не узнавая въ страшной темнотѣ, гдѣ онѣ и что съ ними дѣлается.

Нѣкоторые уносились въ прошлое; имъ казалось, что они еще были въ спокойныхъ избахъ и что ихъ будили на работу. Женщины вскакивали разводить огонь, мужчины смотрѣли, не свѣтаетъ ли.

Издали слышно были въ этомъ таборѣ стоны сквозь сонъ, плачъ, тревоги, оханье, крики и хрипъ въ изнуренныхъ грудяхъ. Кристинѣ ночь эта казалась цѣлымъ вѣкомъ. Наконецъ, она встала и первая пошла готовить.

Стража тоже торопила уже въ дальнѣйшій путь, и экономка, напоивъ своихъ, накормивъ, отдавъ имъ все, что у нея было, смѣшавъ свои слезы съ ихъ плачемъ, бросилась въ свою бричку, закрыла лицо и велѣла возвращаться домой. Милостивый сонъ сократилъ ей этотъ путь. Такъ она проѣхала и

черезъ мѣстечко; когда же ея телѣжка остановилась передъ домомъ, мужъ, выбѣжавъ къ ней навстрѣчу, долженъ былъ снести ее въ избу на рукахъ, до того ослабла она отъ усталости.

Въ головѣ ея эти пережитые въ горѣ часы оставили послѣ себя какъ бы выжженное пятно. Она не могла забыть, что видѣла зрѣлище величайшаго горя человѣка, гонимаго на подобіе звѣря своими-же братьями — людьми. Никогда не допускала она мысли, чтобы одна изъ этихъ кровавыхъ страницъ исторіи, изъ временъ варварства, воскресла и встала живой передъ ея глазами. Она думала, не вѣрила, протирала глаза.

Было ли это ужасное человѣчество тѣмъ, которое Христосъ возродилъ своимъ свѣтомъ, или тѣмъ, которое замыкалось въ тѣсномъ кружкѣ единоплеменниковъ, считая весь остальной свѣтъ варварами.

У бѣдной женщины голова шла кругомъ, ужасныя сомнѣнія давили грудь. Она хотѣла спрашивать всѣхъ, кого-бы ни встрѣтила, неужели свѣтъ такъ быстро перемѣнился, что то, что вчера было законнымъ, вдругъ стало незаконнымъ, милосердіе — грѣхомъ, сожалѣніе, сочувствіе — запрещеннымъ чувствомъ.

Въ Любахувкѣ, какъ только старый Любаховскій узналъ о ея возвращеніи, сейчасъ-же послалъ просить ее къ себѣ. Онъ догадывался и зналъ, гдѣ она была, но желалъ услышать страшную правду изъ ея устъ. Вмѣсто измученной и больной жены, которую пришлось уложить въ постель, прибѣжалъ ея мужъ, со слезами описывая, въ какомъ положеніи она вернулась.

Старикъ, который уже нѣсколько дней не спалъ, молясь по цѣлымъ ночамъ, долженъ былъ употребить всю силу воли, чтобы побѣдить сомнѣніе, овладѣвшее имъ. Онъ приказалъ заботиться о больной, самъ вернулся къ молитвѣ.

Кристю испытанное ею горе и утомленіе только на минуту могли удержать отъ дѣятельныхъ занятій. Сдѣлавъ все, что только умѣла и могла для своей родни, она опять стала думать о старомъ баринѣ и объ остальныхъ обитателяхъ Любахувки. Изнуреніе вызвало продолжительный, мертвый сонъ,

но на другое утро уже никакая сила въ мірѣ не могла удержать ее въ постели. Она была необходима, такъ какъ всѣ потеряли головы или, сложа руки, ожидали неизбѣжнаго удара судьбы, приготовившись ко всему. Она уже видѣла, что большая часть изъ тѣхъ, на чью помощь могли разсчитывать изгнанники, боялись до нихъ дотронуться, чтобы самимъ не подвергнуться преслѣдованію. Ужасный, животный эгоизмъ отталкивалъ людей другъ отъ друга.

Встала она, несмотря на просьбы мужа, рано, и видя, что Любаховскій уже на ногахъ, поспѣшила къ нему. Сначала она хотѣла, жалѣя старика, смягчить видѣнныя ею страшныя картины: однако, поразмыслив, она рѣшила, что теперь не время было врать, хотя бы даже жалѣючи. Старикъ встрѣтилъ ее со вздохомъ и тихо спросилъ:

— Говори, говори! что же дѣлается? что тамъ дѣлается?

Кристина скрестила руки; горе сдѣлало ее краснорѣчивой.

— Ахъ, баринъ! Я видѣла адъ на землѣ, — вскричала она. — Людей безъ всякой вины гонятъ, какъ скотъ, въ такое время. Человѣкъ, глядя на все это, теряетъ разсудокъ и хочетъ спросить въ костелѣ у распятаго Бога, что сдѣлалось съ Его евангельскимъ ученіемъ о любви и братствѣ? Простите; баринъ, что я, глупая, можетъ быть скажу глупость. Я слышала, какъ ксендзъ говорилъ, что лютеране и кальвинисты слишкомъ много взяли у св. Павла, истолковывая его не такъ, какъ мы; но вѣдь этотъ св. Павелъ прежде всего проповѣдывалъ любовь! А гдѣ же она?

Старикъ приложилъ палецъ къ устамъ.

— Тсъ! — сказалъ онъ — тсъ!.. на землѣ по волѣ Божіей происходятъ такія дѣла, которыхъ мы не понимаемъ; поэтому нечего намъ судить о нихъ. И ихъ жестокость, и наша мука, должно быть, были нужны, если Господь Богъ допустилъ ихъ.

— Ахъ, если-бы вы видѣли, баринъ, этихъ изгнанниковъ! — продолжала она. — Сердце у меня разрывалось на части. Я думала про себя: что намъ въ томъ, что ихъ умъ настроилъ желѣзныхъ дорогъ, зажегъ какой-то новый яркій свѣтъ, пустилъ голосъ по проволокѣ на другой конецъ свѣта, — если

сердце у нихъ зачерствѣло и изъ человѣка сдѣлалась какая-то безжалостная машина, когда тѣ, кто долженъ заботиться о примиреніи и согласіи, сами разжигаютъ ненависть и подстрекаютъ къ борьбѣ, истребленію.

Любаховскій вторично положилъ палецъ на уста.

— Что дѣлается въ мѣстечкѣ?—спросилъ онъ,—какъ тамъ настроены чиновники?

— Ни отъ кого нельзя ожидать снисхожденія,— отвѣчала Кристина.—Ландратъ, говорятъ, былъ на дурномъ счету... его обвиняли въ излишней снисходительности, податливости; теперь, со страху, чтобы его не прогнали съ мѣста, онъ рветъ и мечется какъ бѣшеный, желая доказать свое усердіе, и клянется, что никому не окажетъ снисхожденія и выгонитъ вонъ до послѣдняго. Даже изъ чиновниковъ тѣ, которые были лучше и добрѣе, со страху стали теперь жестоки. Ни съ однимъ нельзя говорить... самые лучшіе заперлись, чтобы имъ не надоѣдали просители. На помощь чиновникамъ выступаютъ цѣлыя толпы доносчиковъ, указывая, гдѣ скрывается кто-нибудь подозрительный, кто пришелецъ или родился отъ такого.

— Прекрасныхъ вещей можно ожидать,— тихо прибавилъ Любаховскій.

— Всѣ дрожатъ, — продолжала Кристина, — потому что достаточно не имѣть доказательствъ, что вы здѣсь родились, чтобы быть изгнаннымъ, достаточно быть полякомъ, ходить въ костелъ и говорить тѣмъ языкомъ, который они называютъ verpfluchter polnischer Kauderwälsch.

Любаховскій сдѣлалъ ей знакъ, чтобы замолчала; онъ поникъ головой.

— Судный день,—вырвалось изъ ея устъ.

Оба замолчали.

— Иди отдохни,—сказалъ старикъ спокойно.—Не отчаявайся. Пути Господни неисповѣдимы... надо покориться... Кто знаетъ? Они дѣлаютъ для насъ еще дороже этотъ языкъ и націю, за которые мы страдаемъ; безъ этого мы были-бы гораздо равнодушнѣе ко всему этому. . Иди отдохни.

— Некогда отдыхать, — прервала Кристина. — Мнѣ надо опять ѣхать въ мѣстечко, чтобы тамъ хоть разузнать, что насъ ожидаетъ.

— Тоже, что и другихъ, — сказалъ Любаховскій. — Что касается до меня, то я не надѣюсь, чтобы мнѣ позволили спокойно здѣсь остаться, но я приготовился ко всему.

Старикъ еще говорилъ, когда раздался стукъ экипажа, и изъ за плетня мелькнули двѣ головы, два знакомыя лица— Фрейера и Браузе.

Кристю покоробило, когда она ихъ увидала, хотя она еще не допускала той мысли, чтобы они посмѣли заѣхать во дворъ; но телѣжка остановилась у воротъ, и оба сосѣда съ дерзкими лицами, хотя не безъ нѣкотораго опасенія оглядываясь вокругъ, ворвались во дворъ, направляясь прямо къ ожидавшему ихъ Любаховскому.

Видно было, что они чувствовали большой страхъ, но имѣли какую-то важную причину, чтобы поговорить лично съ паномъ Григоріемъ.

Фрейеръ шелъ впереди быстро, радуясь, что засталъ старика одного, такъ какъ Дыданъ и Ходзибуй были въ полѣ. Оба нѣмца разсчитывали на это.

Фрейеръ поклонился почти вѣжливо.

— Мы тутъ пришли къ вамъ сосѣдъ,—проговорилъ онъ— не со злымъ намѣреніемъ, но съ добрымъ словомъ. Вы знаете, что теперь происходитъ; вы не здѣшній: если вамъ до сихъ поръ еще не приказали очистить Любаховку, то все равно со дня на день бумага эта можетъ прійти, а Треубернеръ васъ не выручитъ. Это дудки! Долго ждалъ нашъ канцлеръ, чтобы вы перестали быть поляками. Сами виноваты, что онъ васъ выгоняетъ, потому одни мы, нѣмцы, должны здѣсь остаться. Мы съ Браузе пріѣхали, чтобы помочь вамъ. Разумѣется, вы должны распродать все, понятное дѣло; у поляковъ нѣтъ денегъ и они не заплатятъ вамъ такъ, какъ мы. Мы покупаемъ Любахувку.

Браузе, какъ эхо, повторилъ за нимъ нетерпѣливо:

— Мы съ Фрейеромъ покупаемъ Любахувку.

— Очень вамъ благодаренъ за ваши добрыя желанія относительно Любаховки, но я не получилъ приказанія оставить княжество и надѣюсь не получу, потому что я здѣсь родился, какъ указываетъ метрика.

Фрейеръ и Браузе, въ нѣмомъ изумленіи, переглянулись.

— Шутка шуткой, — отвѣчалъ Фрейеръ, — но вѣдь всѣмъ извѣстно, что вы когда-то откуда-то прибыли сюда, а о помѣщичьихъ правахъ вы не хлопотали.

— Да, но это нисколько не мѣшаетъ тому, — возразилъ Любаховскій, — чтобы я здѣсь родился, гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ жилъ, а потомъ опять вернулся на родину.

— Вы шутите, — прервалъ Браузе.

Григорій указалъ на свои сѣдые волосы.

— Я никогда не шучу, — холодно сказалъ онъ.

Онъ приподнялъ шляпу и направился къ дому, и не думая приглашать ихъ съ собой.

Гости стояли въ смущеніи. Фрейеръ ужасно боялся, какъ-бы не явился Дыданъ; Браузе едва удалось его успокоить. Поэтому онъ молчалъ, но все-таки съ нѣкоторой тревогой оглядывался вокругъ.

Браузе громко закричалъ.

— Послушайте.

Панъ Григорій обернулся.

— Совѣтуемъ вамъ не упускать удобнаго случая. Мы хорошо вамъ заплатимъ, — прибавилъ Браузе.

— Если-бы даже вы мнѣ вдвоемъ давали милліонъ талеровъ, — сказалъ Любаховскій, — не продамъ вамъ земли нашей, тѣмъ болѣе, что ничто меня къ тому не принуждаетъ.

На этотъ разъ старикъ поспѣшно удалился, оставляя ихъ на дворѣ. Фрейеръ торопилъ съ отъѣздомъ. Браузе, все еще не вѣря, хотѣлъ попытать еще какіе-нибудь доводы, когда Кристя, присутствовавшая все время, обратилась къ нему:

— Старый нашъ баринъ не станетъ даже говорить объ этомъ: не ждите понапрасну.

— Пойдемъ, — тихо проговорилъ Фрейеръ. — Надо узнать, откуда взялась эта метрика, о существованіи которой никто до сихъ поръ не зналъ.

Волей неволей приходилось уходить, и Браузе, не отвѣтивъ ничего экономкѣ, проклиная подъ носъ всѣхъ и все, направился къ бричкѣ. Быстро сѣвъ въ нее, они приказали кучеру ѣхать въ уѣздный городокъ.

Всю дорогу они не могли переварить новости, услышанной изъ устъ пана Григорія. Браузе не вѣрилъ въ существованіе

какая-нибудь метрика, то она навѣрное подложна, потому что метрики, Фрейеръ утверждалъ, что если-бы даже и нашлась никто не слыхалъ, чтобы Любаховскій былъ родомъ изъ княжества, а родство его съ Яномъ Непомуцеиомъ еще ничего не доказываетъ.

Уже далко за полдень остановились они передъ Познанской гостинницей, но, войдя туда съ крикомъ и шумомъ, не нашли тамъ еще никого изъ административныхъ чиновъ городка. Пивной часъ еще не наступилъ.

Оба они знали польское происхожденіе Губы, но считали его уже онѣмечившимся, своимъ, потому что онъ отлично говорилъ по-нѣмецки и старался быть съ ними въ наилучшихъ отношеніяхъ.

Фрейеръ приказалъ подать себѣ ветчины и колбасы, а Браузе потребовалъ пива.

Самъ Губа поспѣшилъ исполнить ихъ требованіе. Онъ желалъ теперь слѣдить за всѣмъ и пользовался каждымъ удобнымъ случаемъ, чтобы подслушать и поразузнать, что происходитъ.

Браузе, беря изъ его руки кружку, на крышкѣ которой съ замѣчательной реальностью былъ изображенъ кривой Фридрихъ,—поднялъ на него свои взоры.

— Слыхали вы когда-нибудь о томъ, чтобы Любаховскій здѣсь родился?

Вопросъ захватилъ Губу врасплохъ, такъ что онъ принужденъ былъ долго молчать.

— Вы слышите?—повторилъ Браузе.

Губа уже успѣлъ обдумать свой отвѣтъ.

— Какое мнѣ дѣло до того, кто гдѣ родился?— отвѣчалъ онъ,—почемъ я знаю?!

— Но вѣдь ты же знаешь точно также, какъ и всѣ мы, что онъ притащился сюда изъ королевства?

— Я былъ еще очень молодымъ, когда это было,—отвѣчалъ Губа.

— А слыхалъ ты когда-нибудь, чтобы онъ былъ здѣшнимъ?— подхватилъ Фрейеръ.

— Никогда даже не сомнѣвался въ этомъ,—послѣ нѣкотораго раздумья отвѣчалъ Губа,—онъ больше 20 лѣтъ сидитъ здѣсь спокойно.

Браузе погрозилъ ему пальцемъ, а Губа, избѣгая дальнѣйшихъ разговоровъ, быстро удалился, какъ будто его позвали.

— Не можетъ этого быть, не можетъ быть!—воскликнулъ Браузе, ударяя кулакомъ по столу,—это ложь, обманъ, подлогъ: или зять приказалъ поддѣлать ему метрику, или онъ самъ себѣ ее сдѣлалъ. Это польская продѣлка... У нихъ на все скоро находятся документы; но гдѣ же эта метрика?

— Конечно, у пробоща,—сказалъ Фрейеръ, смѣясь.—Пробощъ съ нимъ—другъ и пріятель.

— А ксендзъ первый нашъ врагъ,—прибавилъ Браузе.

— Только теперь шутить нечего,—прервалъ Фрейеръ.—Тутъ и его превосходительство не поможетъ. Онъ долженъ уходить прочь отсюда, это самый опасный человѣкъ. Онъ помнитъ еще старыя времена, которыя были совсѣмъ другія.

Они покачали головой.

Фрейеръ задумчиво сталъ ѣсть и жадно запивать пивомъ, когда на порогѣ появился Ридель. Не обзаведясь еще домомъ, онъ обѣдалъ у Губы и проводилъ здѣсь большую часть свободнаго времени.

Фрейеръ и Браузе были мало съ нимъ знакомы, а первый изъ нихъ чувствовалъ даже къ нему уваженіе и страхъ, такъ какъ сознавалъ его превосходство надъ собой.

Браузе, болѣе смѣлый, задѣвалъ всѣхъ и сейчасъ же завязалъ съ новоприбывшимъ разговоръ на патріотическую тему. Но Ридель, выслушавъ его, только повелъ плечами, не удостоивъ даже своего отвѣта.

Фрейеръ толкнулъ друга локтемъ.

— Оставь,—прошепталъ онъ,—онъ не любитъ пускаться въ разсужденія съ людьми малознакомыми.

Дѣйствительно, Ридель, повертѣвшись въ бильярдной комнатѣ, направился прямо къ Губѣ, желая избѣжать дальнѣйшаго разговора съ людьми, къ которымъ чувствовалъ какое-то отвращеніе.

Послѣ Риделя явился Бауръ, но и съ нимъ Браузе тщетно старался завязать разговоръ. Бауръ отвѣтилъ ему довольно рѣзко и ушелъ.

Наконецъ, появился старый Плеве, съ которымъ они оба были въ лучшихъ отношеніяхъ. Браузе съ большей предупредительностью далъ ему мѣсто и вступилъ въ разговоръ, начиная прямо съ пана Григорія.

Плеве уже имѣлъ свѣдѣнія о томъ, что оказалось, что Любаховскій былъ родомъ изъ княжества. Это нисколько его не удивило, да ему и дѣла никакого не было до этого. Когда Браузе высказалъ свои подозрѣнія, Плеве поморщился.

— Метрики поддѣлать нельзя,—сказалъ онъ серьезно.—Если бы такая вещь открылась, судъ приговорилъ бы къ очень строгому наказанію; никто на это не рѣшится, да къ тому же шнурованныя книги никому недоступны, кромѣ тѣхъ, кто стережетъ ихъ. Я ничего не знаю о метрикѣ; но если только она существуетъ, то выбей себѣ изъ головы, что она могла быть поддѣлана. Я не могу и не хочу ничего слышать о подобныхъ вещахъ.

Получивъ такой отпоръ, Браузе, проворчавъ что-то себѣ подъ носъ, замолчалъ и сѣлъ спокойно. Изъ всѣхъ, прибывшихъ потомъ, онъ также не нашелъ ни одного, кто-бы пожелалъ заинтересоваться метрикою и выслушивать его настойчивые доводы.

Наконецъ явилась мелкая сошка—канцелярскій чиновникъ Лоберъ, который усиленно старался какъ-нибудь воспользоваться настоящимъ положеніемъ дѣлъ. Окинувъ взоромъ все общество и боясь, какъ-бы его не подслушали, онъ кивнулъ Фрейеру и Браузе и повелъ ихъ пить пиво къ Зильберштейну, такъ какъ въ этой грязной конурѣ, за скернымъ пивомъ, они свободнѣе могли поговорить.

Пока все это происходило въ мѣстечкѣ, панна Мина, которая имѣла достаточно основанія разсчитывать на Дыдана и, несомнѣнно, надѣялась выйти за него замужъ, приходила теперь въ отчаяніе, видя себя покинутой, забытой.

Она ломала себѣ голову, какимъ бы образомъ снова привлечь его. Фрейеръ, не обращая на нее вниманія, совершенно откровенно говорилъ съ женой и Браузе о всѣхъ своихъ планахъ. Мина слушала спокойно, изъ чего онъ могъ заключить, что она раздѣляетъ его убѣжденія, а о Дыданѣ и не думаетъ, убѣдившись, что ея браку съ нимъ не бывать.

Между тѣмъ Дыданъ поклялся себѣ прервать съ ней навсегда и никогда даже не встрѣчаться съ ней. Какъ прежде онъ

искалъ ее, пользовался каждымъ удобнымъ случаемъ, чтобы поговорить наединѣ, такъ теперь избѣгалъ ея и сторонился. Нѣмку это приводило въ бѣшенство. Она рѣшила во что бы то ни стало поймать его, заставить объясниться и снова привлечь его къ себѣ. Фрейера она никогда не любила, теперь же, когда убѣдилась, что она служила ему только слѣпымъ орудіемъ для его низкихъ цѣлей, она просто ненавидѣла.

По прежнимъ своимъ свиданьямъ съ Дыданомъ, она помнила всѣ его пути, всѣ тропинки, и рѣшилась теперь воспользоваться этимъ.

Съ дерзостью и рѣшительностью, какія могутъ придать только обманутыя надежды, она вечеромъ того же дня, когда Фрейеръ и Браузе были въ городѣ, съ завязанной платкомъ головой, въ тепломъ полушубкѣ, поджидала невѣрнаго на той дорогѣ, по которой онъ долженъ былъ возвращаться съ поля.

Она такъ неожиданно выскочила ему навстрѣчу изъ своей засады, что лошадь чуть было не сбросила Дыдана, если бы тотъ не удержалъ ее своей сильной рукой. Мина, схвативъ его за полу кафтана, начала умоляющимъ голосомъ, со слезами такъ упрашивать, что онъ сжалился надъ ней, въ его душѣ проснулось къ ней какое-то чувство, котораго онъ никогда не анализировалъ и развитію котораго способствовали болѣе всего молодость и доброе сердце.

Онъ слѣзъ съ лошади, желая на этотъ разъ рѣшительно покончить всѣ отношенія съ ней, не оставивъ даже никакой надежды.

Мина сначала залилась слезами и стала осыпать его упреками, выставляя на видъ свою любовь и его неблагодарность. Она увѣряла его, что готова на какія угодно жертвы для него, что готова сдѣлаться полькой и служить ему и его несчастнымъ собратьямъ, участь которыхъ она согласна была раздѣлить.

Напрасно Дыданъ старался положить предѣлъ этому потоку словъ; долго не давала она ему сказать ни слова и въ концѣ концовъ возбудила въ немъ жалость.

Такимъ образомъ, Дыданъ уже съ нѣкоторымъ расположеніемъ къ ней сталъ оправдываться, сваливая все на Фрейера.

Говоря о немъ, онъ увлекся до того, что выдалъ свое желаніе отмстить ему за его низкую измѣну.

— Слушай-же, вскричала дѣвушка, хватаясь за послѣднее средство исправить зло. — Ты, можетъ быть, думаешь, что я стану его защищать, что я чувствую хоть каплю привязанности къ этому скущу? Я его ненавижу такъ же, какъ и вы; я готова сдѣлать все, что только пожелаешь, все, что прикажешь. Пусть гибнетъ, пусть пропадаетъ.

Она сильно схватила его за руку.

— Ты не можешь отмстить ему,—вскричала она,—я заступлюсь за тебя и докажу тебѣ, что изъ любви къ тебѣ я готова на все. Увидишь!

Она проговорила это съ такой рѣшимостью, съ такой энергіей и такъ горячо, что Дыданъ даже испугался.

— Отмстить я сумѣю и самъ, — возразилъ онъ,—я ни въ чьей помощи не нуждаюсь.

— Нѣтъ, я отмщу за тебя! вскричала Мина,—но тогда, когда это случится, помни, чѣмъ ты мнѣ будешь обязанъ и не покидай меня.

Стараясь ее успокоить, Дыданъ началъ говорить мягче, но дѣвушка не слушала его и все страстнѣе повторяла:

— Я отмщу за тебя! Но помни!

Вся эта сцена разыгралась въ сумерки на дорогѣ, рѣдко посѣщаемой, но не совсѣмъ пустой. Стукъ колесъ, издалека достигшій до ихъ ушей, принудилъ Дыдана быстро вскочить на лошадь, вырвавшись отъ Мины, которая, уцѣпившись руками за сѣдло, все еще повторяла ему, что отмститъ за него. Стукъ приближался и дѣвушка, повторивъ еще разъ свою клятву, наконецъ убѣжала, оставивъ Дыдана одного на дорогѣ. Онъ пришпорилъ коня и быстро ускакалъ. Мина побѣжала въ другую сторону.

Сначала сильно взволнованный, Дыданъ потомъ сталъ себя убѣждать, что все это не имѣло никакого значенія, что дѣвушка только пробовала снова привлечь его къ себѣ, что, быть можетъ, она даже любила его, но что изъ этого ничего не могло выйти. Онъ сожалѣлъ только, что съ самаго начала позволилъ нѣмкѣ такъ сблизиться съ собой.

Весь вечеръ прошелъ у него въ грустныхъ размышленіяхъ о послѣдствіяхъ, какія влечетъ за собой каждый необдуманный шагъ. Размышленія эти долго не давали ему уснуть. Было уже около полуночи, когда, наконецъ, утомленный, онъ отпра-

вился на покой. Молитвы онъ обыкновенно читалъ впотьмахъ и въ этотъ разъ читалъ ихъ по своему обыкновенію, но, въ разсѣянности, начиналъ, прерывалъ и снова начиналъ, упрекая себя за разсѣянность, когда въ окно, черезъ которое доходило немножко свѣта со двора, онъ увидалъ какой-то странный блескъ. Въ испугѣ онъ подбѣжалъ къ окну и увидѣлъ на небѣ что-то, какъ-бы зарево, которое росло на его глазахъ.

Какъ стоялъ, полураздѣтый, такъ и выбѣжалъ Дыданъ на дворъ.

Въ домѣ всѣ уже спали; оглянувшись, онъ увидалъ за строеніями, которыя стояли черными и молчаливыми, уже довольно широко разлившееся зарево пожара, которое росло такъ быстро, что прежде, чѣмъ онъ опомнился, весь дворъ былъ залитъ его блескомъ. Его охватила какая-то тревога, хотя онъ не могъ еще дать отчета, гдѣ свирѣпствовалъ этотъ, повидимому, близкій пожаръ. Однако, не могло быть ни малѣйшаго сомнѣнія: въ той сторонѣ было только имѣніе Фрейера,

Дыданъ схватился за голову, вспомнивъ месть, о которой ему говорила Мина.

Онъ еще не успѣлъ обдумать, дѣйствительно-ли огонь былъ подложенъ сумасшедшей дѣвушкой, какъ со стороны барскаго дома послышался знакомый голосъ стараго Любаховскаго, стоявшаго уже на крыльцѣ.

Дыданъ подбѣжалъ къ нему.

— Фрейерувка горитъ, нѣтъ сомнѣнія,—вскричалъ старикъ.

— Да... можетъ быть,—заикаясь, отвѣчалъ Дыданъ,—но что намъ до этого? Довольно онъ намъ нагадилъ, это кара Божія.

— Не говори ерунды!—коротко и строго замѣтилъ старикъ.—Никогда не спрашивай, кого спасаешь,—друга или врага. По отношенію ко второму долгъ еще больше. Собирай людей, садитесь на лошадей и поѣзжайте, да поживѣе.

Дыданъ еще не трогался съ мѣста.

— Но, панъ,—возразилъ онъ,—что же мы будемъ помогать нѣмцу, когда онъ на каждомъ шагу насъ преслѣдуетъ?

Голосъ старика начиналъ становиться гнѣвнымъ:

— Ты хочешь, чтобы я самъ собралъ людей и повелъ ихъ?—строго замѣтилъ онъ.—Садись на лошадь, разбуди работниковъ, дай знать экономку, да живо.

Между тѣмъ зарево росло съ неслыханной быстротой и разливалось по небу. Изъ-за строеній видны были снопы искръ, взлетавшихъ вверхъ. Издалека вѣтеръ доносилъ голоса тревоги.

Старый панъ зябъ, стоя на крыльцѣ, и громкимъ голосомъ торопилъ всѣхъ. Все живое поднялось на ноги.

— Фрейерувка горитъ!—повторяли не безъ нѣкотораго озлобленія, но приказанія были отданы, и послушный Дыданъ уже сидѣлъ на конѣ среди работниковъ.

Пожаръ распространялся съ такой быстрой, что помощь эта была уже почти безполезна. Топотъ скачущихъ лошадей раздался по дорогѣ, и панъ Любаховскій одинъ остался на крыльцѣ.

Дыданъ мчался молча, присматриваясь теперь къ открывшемуся виду пожара, который, благодаря соломеннымъ крышамъ и старымъ деревяннымъ строеніямъ, охватилъ уже всѣ хозяйственныя постройки.

Какъ разъ въ эту минуту на жиломъ домѣ, до сихъ поръ представлявшемся чернымъ на красномъ огненномъ фонѣ, загорѣлась крыша. Маленькая кучка людей въ полномъ отчаяніи, безсильно вертѣлась вокругъ, когда подоспѣлъ Дыданъ со своими людьми. По дорогѣ, видъ огня, какая-то жажда борьбы съ губительной стихіей, измѣнили его настроеніе. Онъ забылъ, что долженъ спасать Фрейерувку, онъ видѣлъ только, что ему предстоитъ сдѣлать честное дѣло. Его работники и онъ самъ сейчасъ же бросились разбирать горящія постройки, чтобы отдѣлить огонь отъ уцѣлѣвшихъ; начали обливать стѣны, ломать крыши, словомъ,—Дыданъ принесъ съ собой спасеніе, и прежде чѣмъ растерявшійся отъ отчаянія нѣмецъ пришелъ въ себя и замѣтилъ, что случилось, кто явился къ нему на помощь,—слѣды этой помощи были очевидны.

Фрейеръ какъ-бы остолбенѣлъ, казалось, онъ не хотѣлъ вѣрить своимъ глазамъ. Немножко подальше, стоящая на землѣ на колѣняхъ возлѣ старой Фрейерши, Мина глядѣла на суетящагося Дыдана, не понимая, какъ могъ онъ явиться на помощь тому, которому такъ страстно желалъ отомстить.

Прибывшіе работники вмѣстѣ съ мѣстными такъ ловко и удачно принялись за дѣло, что меньше, чѣмъ черезъ часъ, можно уже было считать пожаръ совершенно погашеннымъ.

Правда, остатки стѣнъ, балокъ, крышъ, еще горѣли, но отдѣленные отъ строеній, бывшихъ уже внѣ опасности. Дыданъ, приведя все въ порядокъ, разставивъ стражу, сдѣлавъ распоряженія, куда еще надо носить воду и поливать, почти не глядя на Фрейера, къ которому онъ не хотѣлъ подходить, приказалъ подать себѣ коня и собирался ѣхать. Никто не смѣлъ приблизиться къ нему съ благодарностью, да и онъ ни къ кому не приближался. Издали онъ увидѣлъ Мину, которая устремила на него взоръ, полный страха, но онъ дѣлалъ видъ, что не знаетъ ни ея, ни кого вообще. Фрейеръ не смѣлъ къ нему приблизиться; Мина, которую толкали и просили, отказалась наотрѣзъ, и сама Фрейерша, хотя и неохотно, пошла благодарить уже сидѣвшаго на лошади Дыдана. Дыданъ, которому она была совершенно мало знакома, кивнулъ только головой, махнулъ рукой и позвалъ людей, которымъ только-что хотѣли вынести водки. Одинъ изъ работниковъ, Флорекъ, который любилъ выпить, хотѣлъ было обратить вниманіе предводителя на это обстоятельство, но Дыданъ выругалъ его и прибавилъ:

— На коней! Мы не нуждаемся въ ихъ угощеньи.

Послушные работники вскочили на коней и помчались за Дыданомъ, весело болтая и шутя. Уже становился ясный день и на блѣдномъ фонѣ ранняго утренняго неба виднѣлись только клубы разстилавшагося по землѣ дыма, когда они вернулись домой, и Дыданъ пошелъ доложить старику, что они спасли, что могли и что имъ удалось спасти почти всѣ запасы хлѣба. Любаховскій даже не спросилъ о Фрейерѣ.

— Слава Богу!—сказалъ онъ и вошелъ въ домъ.

Браузе, который не скоро еще явился на помощь своему ближайшему сосѣду съ горстью лѣнивыхъ и нерасторопныхъ слугъ, встрѣтился на пожарѣ съ Дыданомъ, сталъ было распоряжаться, но убѣдившись, что никто его не слушаетъ, отошелъ въ сторону и сталъ успокаивать плакавшаго Фрейера.

Видъ людей, присланныхъ Любаховскимъ, произвелъ на него, какъ и на Фрейера, удручающее впечатлѣніе. Онъ предпочелъ бы, пожалуй, чтобы все сгорѣло, чѣмъ чтобы полякъ, этотъ ненавистный сосѣдъ, незванный, непрошенный явился на помощь и оказался такимъ великодушнымъ и благороднымъ.

Послѣ отъѣзда Дыдана, два сосѣда сошлись.

— Ну, что ты мнѣ скажешь на то, что старикъ прислалъ мнѣ людей на помощь?—пробормоталъ Фрейеръ.

— Будь увѣренъ, что это не ради тебя,—отвѣчалъ Браузе,—они хотятъ выставить себя такими евангельски безгрышными. Они будутъ хвалиться этимъ. Имъ это нужно для чего то. Будутъ потомъ трубить въ газетахъ, что мы злодѣи, а они святые люди. Я предпочелъ бы, чтобы они подожгли.

Онъ махнулъ рукой.

— Но съ чего же это у тебя пожаръ?—спросилъ онъ.

— Не знаю, никто не можетъ сказать отчего,—отвѣчалъ Фрейеръ.—Никого въ этихъ строеніяхъ не было. У меня людямъ запрещено курить, да никто изъ нихъ и не показывался тамъ.

— Можетъ быть, они нарочно подожгли, чтобы потомъ спасать! —прервалъ Браузе и посмотрѣлъ на молчавшаго Фрейера, который ничего не отвѣчалъ.

Догадки о возникновеніи пожара были самыя разнообразныя. Нѣмецъ предполагалъ какую-нибудь месть и вспоминалъ, кого онъ обидѣлъ послѣдняго. Впрочемъ, его гораздо болѣе интересовала теперь страховка, по возможности высокая оцѣнка сгорѣвшаго имущества и то, сколько онъ могъ при этомъ нажить, чѣмъ самая причина пожара. Черезъ нѣсколько часовъ мучительной болтовни, разспросовъ слѣдствія, Фрейеръ, даже не ложась спать, приказалъ запрягать, чтобы ѣхать въ мѣстечко и немедленно начать хлопоты о вознагражденіи за понесенные убытки.

Онъ уже собирался садиться въ бричку, когда блѣдная, съ заплаканными глазами, съ трагическимъ выраженіемъ на лицѣ, вышла изъ боковой комнаты Мина. Отчаяніе, отражавшееся на ея лицѣ, поразило даже очень равнодушнаго Фрейера.

— Возьмите меня, пожалуйста, съ собой,— проговорила она.—Я чувствую себя нездоровой, испугалась. Я вамъ не нужна и хочу вернуться домой, въ Берлинъ.

Она говорила это дрожащимъ и встревоженнымъ голосомъ, но быстро и рѣшительно повторяя:

— Я должна ѣхать! Я должна ѣхать!

Когда же Фрейеръ задумался и долго не отвѣчалъ, она замѣтила нетерпѣливо:

— Отвезите меня, пожалуйста, на станцію, потому что... Я пойду пѣшкомъ!

— Но ты именно теперь нужнѣе всего теткѣ,— прервалъ Фрейеръ.—Больная, испуганная, она не имѣетъ никого возлѣ себя.

— Но я не могу, не могу,— вскричала Мина.—Довольно я сидѣла здѣсь. Я чувствую себя больной.

Она закрыла лицо руками и заплакала.

Фрейеръ только пожалъ плечами; эта настойчивость въ такую непріятную минуту огорчала его. Онъ сказалъ только холодно:

— Хочешь, такъ поѣзжай!

Мина исчезла и черезъ нѣсколько минутъ показалась въ дверяхъ съ маленькимъ узелкомъ, одѣтая по дорожному.

— Вещи мнѣ, пожалуйста, вышлите въ Берлинъ.

— А тетка?— спросила Фрейеръ.

— Я съ ней простилась,—прошептала Мина, которой, повидимому, очень хотѣлось поскорѣе уѣхать отсюда.

Фрейеръ, который долже и не разговаривалъ съ ней, погрузившись въ свои мысли, слышалъ только отъ времени до времени, какъ она плакала и разговаривала сама съ собой. Какъ только они остановились передъ гостиницей, Мина очень холодно и поспѣшно простилась съ дядей, повернулась и исчезла.

Въ мѣстечкѣ уже знали, что у Фрейера ночью былъ пожаръ; его обступили со всѣхъ сторонъ съ утѣшеніями и разспросами.

Золингеръ, который оказался здѣсь, извинялся, что не поспѣшилъ ему на помощь, такъ такъ не былъ въ то время дома.

— Навѣрное, у васъ не было достаточно рукъ для спасенія,— сказалъ онъ, — а изъ сосѣдей едва ли кто вспомнилъ о своихъ обязанностяхъ.

— Я обязанъ,—забывшись, невольно признался нѣмецъ,— я обязанъ Любаховскому, что у меня отстояли хлѣбъ.

— Какимъ это образомъ?—спросилъ Плеве.

— Онъ прислалъ на помощь своихъ работниковъ и писаря,— отвѣчалъ Фрейеръ.

— Вотъ видите,—вскричалъ Золингеръ,—я всегда говорилъ вамъ, что это человѣкъ честный. Трудно нынче требовать отъ поляка, чтобы онъ любилъ насъ и помогалъ, а однако онъ...

Фрейеръ пробормоталъ что-то.

— И такихъ-то людей,—заключилъ Золингеръ,—мы изгоняемъ!..

Плеве наморщился.

— Не говорите этого: законъ твердъ, какъ сталь, одинаково для всѣхъ. Онъ можетъ быть самымъ лучшимъ человѣкомъ,—но онъ полякъ и не здѣшній.

— А я слышалъ, что нашлась метрика, доказывающая, что онъ родился въ Познани.

— Метрика!—проворчалъ молодой канцеляристъ,—что это за метрика! Книга обгорѣла, прошнурованна уже потомъ—она не имѣетъ никакого значенія.

Золингеръ возмутился.

— Не слѣдуетъ притѣснять его,—съ жаромъ прервалъ онъ.—Онъ старикъ... да и наконецъ, кто-бы могъ поддѣлать метрику? Зачѣмъ предполагать такія вещи!

— Не говорите этого,—вторично предостерегъ Плеве.—Законъ имѣетъ цѣлью избавиться отъ нерасположеннаго къ намъ народа. Мы должны объяснять его, какъ намъ нужно.

— Нѣтъ! нѣтъ!—вскричалъ Золингеръ,—такъ, какъ приказываетъ справедливость. Коль скоро есть метрика...

— Пускай его зять защищаетъ,—сказалъ Плеве,—это не наше дѣло.

— Но вѣдь онъ еще не получилъ приказанія оставить княжество,—вмѣшался Фрейеръ.

— Но сегодня его получитъ,—прибавилъ канцеляристъ со злобной усмѣшкой,—сегодня... Распоряженіе уже сдѣлано.

— А много ему дано времени?—съ любопытствомъ спросилъ Фрейеръ.

— Даже слишкомъ... двѣ недѣли,—отвѣчалъ канцеляристъ.

— Ого!—отозвался кто-то издалека.

— Имѣетъ время все распродать,—прибавилъ сосѣдъ,—но не имѣетъ на это желанія.

— Значитъ, зять нисколько не помогъ,—проговорилъ Золингеръ.—Жалко мнѣ очень этого человѣка.

Напрасно Фрейеръ заговаривалъ о своей бѣдѣ—судьба стараго Любаховскаго гораздо болѣе занимала всѣхъ. Отданное ему приказаніе имѣло большое значеніе. Если ужъ онъ не могъ быть спасеннымъ, то кому же надѣяться на большую снисходительность? Губа ходилъ, какъ убитый.

Уже смеркалось, а пивное собраніе въ Познанской гостиницѣ, вмѣсто того, чтобы рѣдѣть, все возрастало. Пожаръ во Фрейерувкѣ, приказъ, отданный Любаховскому, нѣсколько другихъ подобныхъ распоряженій, возбуждали любопытство.

Сначала высказывали сожалѣніе и сочувствіе, но потомъ всеобщее настроеніе умовъ приняло другое направленіе. Патріотизмъ, доказательствомъ котораго должно было быть безжалостное преслѣдованіе поляковъ, — все росъ и принималъ лихорадочный характеръ. Болѣе умѣренные не смѣли слова вымолвить, а остальные съ энтузіазмомъ произносили имя канцлера, превознося до небесъ его политику, предусмотрительную, зоркую, неумолимую и обѣщающую блестящую будущность нѣмецкому народу.

Заставляли молчать тѣхъ, которые оказывались болѣе мягкими.

— До сихъ поръ мы были здѣсь только гостями,—говорила молодежь, — и должны были терпѣть возлѣ себя поляковъ съ равными правами; ихъ языкъ, ихъ чириканье, раздавались въ нашихъ школахъ... Мѣра терпѣнія наконецъ переполнилась...

Къ этимъ доводамъ, повторяемымъ стократно, съ прибавленіемъ, что законъ не долженъ имѣть жалости, присоединяли еще насмѣшки, циничныя шутки, сравнивающія поляковъ съ цыганами.

Можно себѣ представить, какой болью, какимъ горемъ наполняло все это сердце бѣдной Кристи, которая какъ разъ въ это время пріѣхала въ мѣстечко и, зайдя къ Губѣ. должна была выслушивать всѣ эти сарказмы и видѣть, что то, что вызывало на ея глазахъ слезы, нѣмцамъ доставляло величайшее удовольствіе.

Съ ужаснымъ хладнокровіемъ разсказывали о нуждѣ изгнанниковъ, о ихъ численности, о приготовленіяхъ къ очищенію этой земли и ея колонизаціи, о великомъ значеніи этого закона, который долженъ былъ нанести ударъ всему польскому въ этой несчастой польской провинціи.

Губа, который замѣтилъ Кристю и видѣлъ, какъ то, что она услыхала, приковало ее къ мѣсту, боясь, какъ-бы она въ порывѣ отчаянія не сказала чего-нибудь раздражительнаго и опаснаго,—шепнулъ ей что-то на ухо и отвелъ къ дочери.

Кристя съ рыданіями бросилась на диванъ.

— Я пріѣхала въ отчаяніи,—проговорила она,—ища спасенія. Писарь привезъ сегодня Любаховскому приказъ, чтобы онъ не позже, какъ черезъ 2 недѣли, оставилъ этотъ край. Мы представили его метрику, ее приняли, но высказали сомнѣніе въ томъ, чтобы она могла быть принята за достовѣрный документъ.

— Что же дѣлаетъ старикъ?

— Молится и сидитъ спокойно; невозможно понять, что онъ думаетъ,—говорила Кристя. — Онъ безпокоится только о дочери и внукѣ, о которыхъ не имѣетъ никакихъ извѣстій. Три раза писалъ къ зятю—напрасно...

Отдохнувъ немножко, экономка поѣхала къ ксендзу.

Ксендзъ-деканъ былъ погруженъ въ чтеніе какой-то газеты и протиралъ себѣ глаза. Увидѣвъ вошедшую, онъ быстро всталъ и пошелъ къ ней навстрѣчу.

— Старикъ?.. Что дѣлаетъ вашъ старикъ?—спросилъ онъ.— Я смертельно за него боюсь. Говорили мнѣ, что онъ получилъ приказъ... Я представилъ метрику...

Тутъ ксендзъ понизилъ голосъ.

— Метрики не признаютъ,—прибавилъ онъ,—она не имѣетъ никакого значенія, подозрѣваютъ даже, что она поддѣльная... Но кто же бы посмѣлъ?..

Онъ поднялъ кверху руки.

— Великій Боже! — прибавилъ онъ,—до какого страшнаго времени мы дожили!..

— Но вѣдь метрика...—прервала Кристя.

— Метрика выписана изъ обгорѣвшей книги,—сказалъ деканъ.—Капелька доброй воли—и ее признали-бы законной: злоба и недоброжелательство могутъ ее откинуть. Просить—ничего не поможетъ. Что же будетъ съ Любахувкой?

— Бросимъ ее на волю Божію, на тѣхъ, кому можно будетъ здѣсь остаться, но ни мой мужъ, ни Дыданъ — не будутъ имѣть права жить здѣсь. Любаховскій готовъ ее продать, лишь-бы она перешла въ польскія руки.

Деканъ долго раздумывалъ.

— Любахувку онъ можетъ оставить дочери, — прошепталъ онъ.

— Но намъ не на что будетъ жить, — вздохнула Кристина. — Изъ княжеской семьи нѣтъ никого, кто-бы оказалъ покровительство старику. Куда мы дѣнемся? Что сдѣлаемъ съ собой? На дорогу даже не хватаетъ денегъ, а добыть не откуда.

Ксендзъ Романъ задумался; подошелъ къ окну и выглянулъ на дворъ, слегка освѣщенный блѣднымъ мѣсяцемъ.

— Я долженъ ѣхать къ старику, хотя не могу привезти ему никакого другого утѣшенія, кромѣ того, чтобы онъ покорился волѣ Божіей.

Онъ позвалъ мальчишку и приказалъ запрягать. Лошади и люди привыкли къ подобнымъ ночнымъ поѣздкамъ къ больнымъ и умирающимъ. Кристя осталась ночевать въ мѣстечкѣ, потому что должна была искать денегъ.

Меньше чѣмъ въ четверть часа старая бричка декана уже катилась въ сторону Любахувки. Когда ксендзъ пріѣхалъ и выскочилъ изъ нея, старикъ вышелъ къ нему навстрѣчу съ улыбкой и сказалъ:

— Я чувствовалъ, что вы сегодня пріѣдете. Богъ вамъ заплатитъ. Душа моя нуждается въ поддержкѣ, которую вы несете. Ожидаемый приказъ пришелъ: я былъ и теперь готовъ ко всему, что будетъ угодно Господу Богу, но душа моя мрачна, какъ могила. Меня не страшитъ убожество, нужда, сиротство... Жаль мнѣ этого клочка земли, въ которомъ мнѣ такъ хотѣлось уложить свои кости; жаль мнѣ, что я поведу за собой на мученья и всѣхъ этихъ людей, дѣлившихъ со мной и долю и недолю. Куда мы дѣнемся? Съ чѣмъ пойдемъ? Что будетъ съ этой бѣдной Любахувкой? Нѣмцы хотятъ ее купить... Изъ нашихъ не нашлось никто... Я отдалъ бы дешево.

Онъ вздохнулъ.

— Я именно съ тѣмъ и пріѣхалъ къ вамъ; вызовемъ сюда къ намъ Ороховскаго. У него лежатъ въ банкѣ деньги, Любахувка недалеко отъ его деревни.

— Ороховскій! Ороховскій!—вздохнулъ старикъ.—Онъ не разъ приходилъ мнѣ на мысль, но это человѣкъ черствый, безжалостный... Деньги для него составляютъ все.

— Попробуемъ,—прервалъ ксендзъ.

— Какимъ образомъ?—спросилъ Григорій.

Стали совѣтоваться, что лучше: написать-ли Ороховскому или поѣхать къ нему. Ороховскій, не женатый, не молодой, пускался въ разныя спекуляціи съ землей, хлѣбомъ, торговалъ лошадьми, былъ въ компаніяхъ съ жидами. Рѣдко видѣли его гдѣ-либо, кромѣ ярмарокъ и аукціоновъ. Особенной сердечной добротой онъ не отличался.

Старый панъ Григорій не хотѣлъ ѣхать къ нему. Ксендзъ предложилъ свои услуги.

— Это ни къ чему не поведетъ, отецъ мой,—сказалъ Любаховскій.

— Поѣду,—прошенталъ ксендзъ,—утопающій за соломинку хватается.

Утромъ ксендзъ Романъ былъ уже въ дорогѣ. Въ двухъ миляхъ оттуда, въ лѣсу, стоялъ хуторокъ, въ которомъ жилъ Ороховскій. Ксендзъ засталъ его въ кожухѣ и шерстяной шапочкѣ на лысой головѣ, занятаго овечьими шкурками, которыя онъ покупалъ.

При видѣ этого гостя, заставлявшаго предполагать какую-нибудь просьбу о помощи, Ороховскій, крайне смущенный, вышелъ ему навстрѣчу, извиняясь, что ксендзъ застаетъ у него такой безпорядокъ.

— Мы люди простые, промышленные, объ элегантности не заботимся,—сказалъ онъ,—ужъ вы извините; мы живемъ такъ со дня на день, рѣдко бываемъ дома.

Дѣйствительно, страшный безпорядокъ господствовалъ въ комнатахъ, заброшенныхъ разными вещами, смѣшанная вонь которыхъ дѣлала воздухъ невыносимымъ. Шкуры, деготь, мыло, боченки съ сельдями, сушеная рыба, сало,—все это, нагроможденное въ большія и малыя кучки по всѣмъ угламъ, издавало убійственную вонь.

Для ксендза съ трудомъ разыскали какое-то старое кресло. Ороховскій считался за очень набожнаго, онъ выказывалъ большое усердіе въ исполненіи религіозныхъ обязанностей и уваженіи къ духовнымъ; ксендзъ надѣялся, что его слова подѣйствуютъ на поляка.

— Дорогой мой Ороховскій,—проговорилъ онъ, садясь,—я пріѣхалъ къ тебѣ съ просьбой... Во имя Божіе я требую отъ тебя доброе дѣло, которое не разоритъ тебя.

Ороховскій всплеснулъ руками.

— Я готовъ, готовъ, отецъ мой,—воскликнулъ онъ,—но я бѣденъ, безъ гроша теперь... Все въ оборотѣ.

— Можно-ли такъ говорить?!—прервалъ ксендзъ Романъ.

Тотъ смѣшался.

— Люди безъ сердца и совѣсти выгоняютъ Любаховскаго, у него нѣтъ ни гроша за душой, надо продать Любахувку. Онъ продаетъ ее дешево, а ты долженъ купить.

— Я? Любахувку!—вскричалъ Ороховскій.—Да на что мнѣ она! Земля плохая, я ее знаю, пустырь, хозяйство запущено, луга залиты. Если бы онъ даже даромъ ее отдавалъ, я бы не взялъ.

Говоря это, онъ смотрѣлъ на ксендза и, прочитавъ что-то въ его лицѣ, закончилъ уже гораздо тише:

— Денегъ нѣтъ, не могу.

— Ты выплатишь по частямъ. Земля не должна выйти изъ польскихъ рукъ, — говорилъ ксендзъ,—нѣмцы имѣютъ на нее виды.

— Знаю, знаю, Фрейеръ и Браузе,—прибавилъ Ороховскій и поцѣловалъ ксендза въ руку.

— Отчего-бы нѣмцамъ и не купить? — прибавилъ онъ. — Рано или поздно они насъ выживутъ отсюда, мы не удержимся! Пускай только хорошо платятъ.

— Любаховскій ни за что не продастъ имъ, — сказалъ ксендзъ Романъ.

— А я не куплю,—прошепталъ хозяинъ, покачивая головой.

Онъ вдругъ замолчалъ, подумалъ.

— Сколько же онъ хочетъ за эту Любахувку?— спросилъ онъ.

— Самъ оцѣни ее.

— Для меня она очень мало стоитъ.

— Говори, сколько?

Надо было видѣть, какъ, припертый къ стѣнѣ, Ороховскій потѣлъ, заикался, считалъ, находилъ все болѣе и болѣе недостатковъ въ несчастномъ хуторкѣ, дѣлавшихъ его ничего нестоящимъ клочкомъ земли.

Ксендзъ торопился.

— Ороховскій,—сказалъ онъ,—хоть разъ въ жизни покажи, что у тебя есть еще немножко сердца, Господь много грѣховъ проститъ тебѣ за это.

— Ну, покупаю, — послѣ нѣкотораго размышленія пробормоталъ Ороховскій, — покупаю.

— Одѣвайся и поѣзжай со мной.

— Теперь не могу, явлюсь черезъ часъ.

— Слово!

— Ей Богу — пріѣду, — подтвердилъ спекуляторъ. — Слово сказано, а для меня слово свято.

Ксендзъ, отказавшись даже отъ кофе и рюмки вина, всталъ и сейчасъ направился обратно въ Любахувку.

Долго ждали здѣсь Ороховскаго, а кто могъ-бы прослѣдить его шагъ за шагомъ, тотъ легко угадалъ-бы причину такой проволочки. По дорогѣ онъ заѣхалъ къ Браузе и просидѣлъ у него полчаса. Послали за Фрейеромъ, но не застали того дома. Браузе и Ороховскій долго шепотомъ совѣщались другъ съ другомъ, два раза Ороховскій порывался ѣхать, и каждый разъ его удерживали. Наконецъ, они, повидимому, поладили, подали другъ другу руки и шляхтичъ, взобравшись на телѣжку, поспѣшилъ въ Любахувку.

Тутъ лежали уже разложенные на столѣ карты, планы, инвентари, документы, а грустный панъ Григорій сидѣлъ надъ ними понуривъ голову. Ксендзъ не хотѣлъ его покидать и утѣшалъ его набожными словами.

Ороховскій началъ говорить, что готовъ услужить уважаемому сосѣду, пораженному ударами судьбы, но взамѣнъ этого требовалъ справедливой и умѣренной оцѣнки.

Слабыя стороны были ему отлично извѣстны; онъ доказалъ это, не взглянувъ ни на карту, ни въ инвентарь, да притомъ, по его мнѣнію, имѣнія вообще упали въ цѣнѣ, такъ что — что же онъ могъ дать за Любахувку?

Послушать его — такъ казалось, что ему еще придется доплатить, лишь-бы только онъ согласился взять. Ксендзъ остановилъ его.

Любаховскій несмѣло пробормоталъ весьма умѣренную цѣну. Ороховскій закричалъ.

Съ ангельскимъ терпѣніемъ выслушалъ старикъ вторично все то, что выдумывалъ покупатель на его дорогое сокровище. Онъ еще уменьшилъ свои требованія, но и этого оказалось недостаточно.

Ксендзъ, потерявъ терпѣніе, хотѣлъ было уже прекратить всѣ переговоры, какъ вдругъ Ороховскій, поцѣловавъ его въ руку, согласился уплатить ту сумму, которую сначала признавъ невозможной. У него даже оказалось случайно при себѣ нѣсколько сотъ талеровъ, которые онъ и отдалъ, написавъ на скорую руку условіе.

Со слезами на глазахъ подписалъ его старый панъ Григорій, когда двери распахнулись, и дочь съ плачемъ бросилась къ нему въ объятія...

Трогательную картину представлялъ видъ этого старика, съ лицомъ яснымъ, но грустнымъ, какъ ночь, — склоненнаго надъ дочерью, возвращавшейся къ нему въ минуту скорби. Марыня, уже начинавшая сѣдѣть, ничего не говорила, слышны были только ея рыданія и тяжелое дыханіе отца.

Ксендзъ, какъ ни хотѣлъ ободрить ихъ словами утѣшенія, но не находилъ ихъ, не находилъ голоса въ груди: онъ сложилъ руки и сталъ молиться въ душѣ.

Ороховскій, не понимая сначала, что произошло, сильно смутился, осмотрѣлся, увидалъ, что никто не обращаетъ на него вниманія, и на цыпочкахъ вышелъ изъ комнаты.

Сейчасъ же за порогомъ человѣкъ этотъ, который, быть можетъ, никогда не былъ свидѣтелемъ подобной сцены, остановился, задумался, постоялъ нѣкоторое время, забывшись, гдѣ онъ и что дѣлаетъ, наконецъ, очнулся и тихо, медленнымъ шагомъ, въ раздумьи, направился къ своей бричкѣ.

Онъ имѣлъ полное право радоваться заключенной сдѣлкѣ, но этого не было на немъ замѣтно, скорѣе безпокойство и неловкость.

Нѣмая сцена отца съ дочерью продолжалась довольно долго. Наконецъ, Любаховскій вырвался изъ ея объятій. Въ блѣдное лицо и за минуту передъ тѣмъ совершенно почти безжизненное, вступила какая-то новая жизнь, глаза засверкали, уста задрожали, все лицо приняло выраженіе энергіи и силы.

— Довольно этихъ безсильныхъ слезъ!—вскричалъ онъ,— будемъ помнить, что мы дѣти тѣхъ отцовъ, которые съ большимъ геройствомъ переносили все: турецкую неволю, бунты и

рѣзню хлоповъ, ужасныя мученія, что мы дѣти земли, пропитанной кровью. Это былъ-бы слишкомъ большой тріумфъ для безчеловѣчнаго преслѣдователя, если-бы онъ увидалъ въ глазахъ нашихъ слезы. Мужества, мужества!.. Я иду въ изгнаніе, гордясь тѣмъ, что попалъ въ число представителей того прошлаго, котораго и до сихъ поръ бо́ятся непріятели, хотя теперь оно уже стало трупомъ, призракомъ. Марынка, будь спокойна... Смотри... Я готовъ идти даже пѣшкомъ.

Говоря это, старый Лобаховскій сталъ по-солдатски маршировать по комнатѣ.

— Да, я ничего, ничего! — прибавилъ онъ. — Даю тебѣ слово, что я даже радуюсь. Бѣдный народъ гонятъ, надо же и намъ раздѣлить съ нимъ ихъ участь; безъ этого они могли-бы подумать, что мы отдѣляемся отъ нихъ. Говорятъ, что въ народѣ охладѣло братство; не вѣрю, не можетъ этого быть, найдутся сердца, протянутся руки, откроются двери. Мы не погибнемъ.

Марынка слушала и съ удивленіемъ, съ восторгомъ смотрѣла на отца.

— А! цивилизованные варвары! — воскликнула она.

— Тсъ! — почти уже даже весело прервалъ ее оживившійся Любаховскій. — Не надо ни ругать, ни проклинать; они только орудіе въ рукѣ Господа. Намъ необходимо было страданіе... Я слышалъ, что нынѣшніе доктора поднимаютъ иногда упавшія силы больного мышьякомъ. Такимъ же точно образомъ и Богъ даетъ намъ страданіе — мышьякъ, чтобы воскресить въ насъ исчерпанныя силы... Мы оживлены подъ ударами судьбы!

Старикъ, дѣйствительно, могъ служить самымъ лучшимъ примѣромъ дѣйствія на человѣка горя, какъ лѣкарства. За минуту передъ тѣмъ совершенно павшій духомъ, теперь онъ двигался, жилъ, помолодѣлъ.

— Но я тебя ни за что не покину, — прервала Марыня, — дорогой отецъ, я съ тобой, ни на шагъ не отойду отъ тебя.

— Это невозможно, — холодно отвѣчалъ Любаховскій, — ты имѣешь дѣтей, имѣешь извѣстныя обязанности по отношенію къ нимъ, и чѣмъ менѣе въ твоемъ духѣ они воспитаны, тѣмъ болѣе ты должна бодрствовать надъ ними! Ахъ, а мой славный, бѣдный Гриша? — Говори же, что съ нимъ? Его схватили здѣсь, что же его тамъ ожидало?

Мать оживилась при воспоминаніи о сынѣ.

— Его могло постичь дѣйствительно строгое наказаніе за бѣгство,— отвѣчала она,—но отецъ заступился за него,—такъ, по крайней мѣрѣ, я предполагаю; все наказаніе ограничилось тѣмъ, что его продержали подъ сравнительно легкимъ арестомъ. Бѣдный, какъ ему хотѣлось-бы вырваться изъ ихъ рукъ и прилетѣть сюда, но онъ не можетъ.

— И не долженъ,—вскричалъ старикъ,—я напишу ему,— онъ долженъ слушаться отца. За его любовь къ тебѣ и ко мнѣ я люблю его, люблю горячо, но, сохрани Богъ, подстрекать его къ бунту; онъ долженъ остаться...

— Дорогой отецъ, если бы ты зналъ, какое это мученье для него,— сказала Марія.—Я добилась позволенія видѣть его, конечно, при свидѣтеляхъ; офицеръ былъ такъ любезенъ, что оставилъ мать съ сыномъ почти совсѣмъ однихъ, такъ что отошелъ къ самымъ дверямъ. Гриша могъ откровенно разсказать мнѣ все, что съ нимъ произошло. Всѣ преслѣдуютъ его, какъ поляка, и во всей школѣ нѣтъ иного разговора, какъ объ этихъ «Polaken aus der Polakei, Polnische Wirthschaft», и вообще всего того, чѣмъ насъ допекаютъ нѣмцы. Гриша настолько уменъ, что не сердится на дураковъ; но то же самое, что происходитъ въ его школѣ, повторяется въ газетахъ, въ обществѣ, въ литературѣ... Слово «полякъ» стало для нихъ синонимомъ падшаго, оглупѣвшаго человѣка. Изъ парламента идетъ инициатива ненависти, объявленіе войны, подстрекательства; что же удивительнаго, что такой громкій голосъ будитъ всѣхъ!

— А твой мужъ?— чуть слышнымъ голосомъ спросилъ Любаховскій.

Лицо дочери покрылось румянцемъ.

— Мой мужъ,—отвѣчала она, съ тревогой поглядывая на ксендза, который былъ молчаливымъ свидѣтелемъ всей этой сцены,—мой мужъ, я должна отдать въ этомъ справедливость, что онъ, по крайней мѣрѣ, ни однимъ словомъ не раздражаетъ меня, не подстрекаетъ, не вызываетъ. Онъ молчитъ; я знаю, что онъ страдаетъ, но навѣрное думаетъ то же, что и всѣ они, раздѣляетъ ихъ взгляды и убѣжденія и ничего не сдѣлаетъ для насъ. Онъ будетъ стараться удержать Гришу и передѣлать его на свой ладъ.

Старикъ больше ничего ужъ не спрашивалъ.

— Будь спокойна обо мнѣ,—прибавилъ онъ,—изгнаніе уже постановлено, рѣшено окончательно,—но у меня достаточно и мужества, и силы. Я старался защитить свою случайно найденную метрику, о существованіи которой я самъ сначала ничего не зналъ, подлинность которой сомнительна для меня самого,—но, съ другой стороны, кто же и съ какой стати сталъ бы ее поддѣлывать? Метрику эту, подъ предлогомъ ея неформальности, откинули...

— Не знаю, кто-то,—прибавила дочь,—прислалъ съ нея копію моему мужу; мнѣ дали объ этомъ знать изъ его канцеляріи. Я почти увѣрена, что если бы только Робертъ пожелалъ заняться этимъ, поддержать ее, замолвить хоть одно слово въ твою пользу,—ты былъ-бы спасенъ. Я, такъ давно не видавшая его, даже не говорившая съ нимъ, превозмогла себя. Пошла къ нему, на колѣняхъ просила его за тебя. Онъ весь поблѣднѣлъ. Я думала, что мнѣ удастся тронуть его; онъ молчалъ, но, наконецъ, сказалъ своимъ рѣшительнымъ, холоднымъ, сухимъ тономъ, который я такъ хорошо знаю: „Не могу, не сдѣлаю ничего... Я не могу принести въ жертву твоему отцу всей моей будущности, будущности моихъ дѣтей. Если хочешь для него денежной помощи, я дамъ, сколько ты пожелаешь, приказывай“... Я закричала на него, что ты ничего не примешь...

— Ты знаешь меня,—сказалъ Любаховскій гордо.—Братскую помощь я могу принять, но милостыню отъ зятя,—никогда, никогда... Господь послалъ тебя сюда ко мнѣ въ рѣшительную минуту. Орховскій, котораго ты застала здѣсь, купилъ мою Любахувку... Отчего я не могъ оставить ее тебѣ?!. Увы, у меня ничего нѣтъ, катастрофа эта застала меня врасплохъ, безъ гроша; мнѣ не на что было ѣхать и самому, и вытянуть отсюда всѣхъ этихъ бѣдняковъ, моихъ старыхъ слугъ... Ороховскій обязался уплатить мнѣ впродолженіе нѣсколькихъ дней то немногое, что ему еще осталось доплатить. Немного... но довольно, чтобы не умереть съ голода. Мнѣ легко будетъ найти аренду въ королевствѣ. Я очень радуюсь, что не продалъ нѣмцу, такъ что ты спокойно можешь оставить меня...

Марынка покачала головой.

— Срокъ назначенъ, какъ и для другихъ, — проговорила она, — какъ для другихъ, такъ и для тебя его можно затянуть.

— Зачѣмъ? Зачѣмъ? — возразилъ Любаховскій. — Горькое лѣкарство надо глотать сразу. Откладываніе только продлило-бы мученье, и вмѣсто того, чтобы просить объ этомъ, ускорили бы лучше развязку. Ты видишь, что я силенъ, крѣпокъ, здоровъ и приготовленъ къ тому, что посылаетъ мнѣ Господь... Пусть Жабская укладывается; да пускай сдѣлаетъ для меня это одолженіе, чтобы какъ можно меньше брала съ собой узелковъ и тряпокъ.

Старый Григорій принудилъ даже себя улыбнуться, говоря это. Когда слезы навертывались ему на глаза, онъ притворялся веселымъ и шутилъ.

— Я слишкомъ долго засидѣлся на одномъ мѣстѣ, — началъ онъ, — такъ бы я и сгнилъ здѣсь, заплѣсневѣлъ; это случилось какъ разъ въ самую пору, это мнѣ здорово, ты увидишь сама... Движеніе, новыя занятія, все это молодитъ стариковъ, я даже ужъ теперь чувствую себя свѣжѣе, и вѣрь мнѣ, Марыня, что наша участь, моя участь въ тысячу разъ сноснѣе, чѣмъ многихъ другихъ.

Дочь слушала все это и молчала; когда же она отъ времени до времени говорила что-нибудь, то видно было, что половина ея мыслей летѣли подъ покинутую кровлю, къ дѣтямъ, а другая витала вокругъ ея достойнаго отца, показывающаго такой примѣръ геройства.

— Богъ немножко покаралъ меня, — говорилъ онъ ксендзу, — я слишкомъ привязался къ своей Любахувкѣ, а вѣдь все это, — мірская суета... Провелъ же я большую часть жизни, не имѣя ея, — и хорошо было, такъ и теперь сумѣю обойтись безъ нея, не надо баловать себя. Если бы даже и пожелали затянуть для меня срокъ, то я не могу принять этой милости, не могу и не хочу. Просить такихъ людей — это уже тяжелое испытаніе; принимать отъ нихъ что-либо — униженіе...

Ксендзъ, слушавшій съ нѣмымъ изумленіемъ и восторгомъ, сталъ прощаться.

— Отецъ мой, — сказалъ старикъ, цѣлуя ему руку, — прошу васъ, подѣйствуйте на Марыню, чтобы она не настаивала со-

провождать меня,—при дѣтяхъ она гораздо нужнѣе. Тѣмъ болѣе, что Гриша нѣтъ, а я боюсь, какъ-бы отецъ насильно не онѣмечилъ его.

Марынка ничего не говорила, и это молчаніе больше всего тревожило старика, знавшаго характеръ дочери. Съ той же рѣшимостью и твердостью, съ какой она прежде выходила замужъ, переносила она теперь всѣ послѣдствія этого шага, всѣ удары судьбы, ей самой себѣ приготовленной.

Сейчасъ же послѣ отъѣзда ксендза, Любаховскій приказалъ позвать къ себѣ Дыдана и экономa.

Тѣ, хотя и ничего еще не знали, уже безпокоились насчетъ пріѣзда Ороховскаго. Вмѣстѣ съ Ходзибуемъ притащилась и исхудавшая, охрипшая, изнуренная Кристина.

— Господь Богъ помогаетъ намъ въ нашемъ горѣ,—очень спокойно началъ говорить Любаховскій. — Мнѣ удалось продать Любахувку и продать весьма недурно для такого времени...

— Не Ороховскому ли, избави Богъ?—прервалъ его Дыданъ.

— Отчего же, избави Богъ? — грозно сказалъ Любаховскій.—Что это значитъ?

— Ахъ!—вскричалъ Дыданъ,—иначе я и выразиться не могу! Вѣдь это лучшій другъ Браузе и Фрейера, съ которымъ вмѣстѣ онъ обдѣлываетъ разныя темныя дѣлишки. Если они согласился купить Любахувку, то ужъ, конечно, не для себя, а для нихъ..

Лицо старика омрачилось.

— Я не зналъ этого,—проговорилъ онъ.—Ксендзъ мнѣ рекомендовалъ его.

— Потому что это ханжа, но очень дурной, злой человѣкъ,—прибавилъ Дыданъ.

— Уже сдѣлано!—вздохнулъ старикъ.—Я подписалъ купчую, взялъ задатокъ, отступиться уже не могу. Поѣзжай ты теперь, Дыданъ, въ городъ и постарайся продать все остальное: лошадей, упряжь, остатки хлѣба. И мнѣ, и вамъ нужны деньги, а я долго засиживаться не хочу... Сердце мякнетъ, надо его подкрѣпить.

Кристина стояла, опершись на руку, и поплакивала, но въ то же время безпокойный умъ ея работалъ.

— Баринъ, развѣ уже нѣтъ никакой надежды, развѣ же нельзя хоть попробовать... попросить? Пани Марыня могла бы написать къ графинѣ Ранцау, быть можетъ, похлопотала бы за васъ передъ отцомъ...

Старичекъ разсмѣялся.

— Ты наивна, дитя мое, — сказалъ онъ. — Политика не знаетъ чувства, не имѣетъ сердца. Подумайте и вы о томъ, чтобы сбыть все, что могло-бы обременить васъ въ дорогѣ. Я ужъ говорилъ твоему мужу, что я ему дарю изъ разныхъ вещей — пускай продаетъ. Дыданъ тоже.

Молодой парень молча поклонился.

— Э! что мнѣ тамъ! я не хочу думать о себѣ..

— Ну, такъ думай обо мнѣ, — отвѣчалъ старикъ, — потому что черезъ недѣлю я долженъ уѣхать. Отвѣта отъ тѣхъ, кому я писалъ, жду со дня на день. Изъ лошадей остается только гнѣдая четверка для моей рессорной брички, четыре темногнѣдыхъ подъ фургонъ, больше мнѣ не надо. Что останется изъ вещей непроданныхъ, раздайте бѣднымъ крестьянамъ.

Всѣ эти распоряженія и мельчайшія подробности, касающіяся приготовленій къ дорогѣ, старикъ отдавалъ съ такимъ присутствіемъ духа, съ такою твердою памятью и хладнокровіемъ, что дочь не могла ему надивиться.

Дѣйствительно, эта катастрофа произвела на него оживляющею дѣйствіе. Старикъ нарочно, чтобы не позволить себѣ задуматься и грустить, ходилъ, суетился, заглядывалъ въ каждый уголокъ, выбирая, что ему взять съ собой, что можно было сложить у ксендза, который отдалъ въ его распоряженіе пустой чуланъ, — что, наконецъ, онъ желалъ кому-нибудь подарить.

Одного изъ слугъ онъ постоянно имѣлъ при себѣ. Онъ возвращался въ домъ, чтобы не оставить дочку одну, опять уходилъ, даже ни на минуту не отдохнулъ до самаго вечера.

Отъ ксендза вѣсть о продажѣ Любахувки облетѣла сейчасъ-же всѣхъ сосѣдей, а такъ какъ старика всѣ уважали и любили, то стали являться знакомые, съ разспросами и сожалѣніями.

Марынка, между тѣмъ, взяла въ свое вѣдѣніе домовое хозяйство и ни на шагъ не отступала отъ отца. По всему, что она дѣлала, онъ ясно видѣлъ, что она упорствовала въ своей

мысли сопровождать его; онъ все время противился этому, но Марынка ничего не отвѣчала.

Между тѣмъ у Фрейера производилось слѣдствіе о причинѣ пожара, которое доказало, что тутъ несомнѣнно былъ поджогъ, но не могли найди даже слѣдовъ виновника.

Правда, посрединѣ хлѣва, откуда показался огонь, нашли втоптанный въ грязь носовой платокъ, который прачка признала за собственность Мины, но это ни къ чему не повело, потому что, кто-же осмѣлился-бы подозрѣвать ее?

Жена Фрейера, женщина подозрительная и нелюбившая Мины, шептала, что передъ пожаромъ слышала, какъ та быстро вышла и съ большой торопливостью вернулась, но Фрейеръ считалъ эти подозрѣнія смѣшными.

Между людьми ходили самыя странныя предположенія и догадки, а поспѣшный отъѣздъ нѣмки дѣлалъ ихъ до нѣкоторой степени вѣроятными, хотя, все-таки, загадочными.

Фрейеръ утѣшалъ себя тѣмъ, что ожидалъ себѣ солиднаго вознагражденія изъ страхового общества, надѣялся пополамъ съ Браузе купить у Ороховскаго Любахувку, а, главное, нѣмецкимъ тріумфомъ въ этомъ княжествѣ, которое вскорѣ должно было совсѣмъ освободиться отъ поляковъ.

Вмѣстѣ съ поляками, исчезли звуки ненавистнаго Kanderwelsch'а, сеймъ, напоминающій республику, споры о языкѣ въ школахъ, польскіе депутаты въ парламентѣ, ненавистное духовенство и все, что еще напоминало здѣсь о Польшѣ.

Рѣдко, кто умѣетъ сохранить здравый умъ и сердце въ минуту побѣды, и мало есть народовъ, которыхъ-бы не опьяняло счастье.

Нѣмцы, съ далеко не цивилизованнымъ цинизмомъ, бѣсновались не только въ тѣхъ классахъ общества, дикости которыхъ нельзя и удивляться, но даже въ высшихъ сферахъ, въ сферахъ науки и высшей образованности.

Преслѣдуемымъ не оставалось ничего, какъ только смотрѣть, чтобы съ гордостью и достоинствомъ переносить не только физическіе притѣсненія, но и нравственныя обиды.

Просьбы о снисхожденіи вызывали насмѣшки. Непріязненное настроеніе противъ поляковъ было до такой степени повсемѣстно, что даже тѣ, которые имѣли съ своемъ сердцѣ другія чувства, должны были скрывать ихъ и молчать.

Золингеръ ночью пріѣхалъ къ старому Любаховскому, который, съ благодарностью, протянулъ ему руку.

Лицо нѣмца было омрачено чувствомъ стыда и боли. Любаховскій принималъ его какъ и прежде, благодаря за расположеніе.

— Вѣрьте мнѣ, — проговорилъ Золингеръ, садясь, — что судьба ваша очень интересуетъ меня, очень больно затрогиваетъ меня, но невозможно противиться теченію... По моему, это политическая ошибка, долженствующая повлечь за собой плачевныя для насъ послѣдствія, не считая стыда; но какъ остановить человѣка, который напился?! По моему, постыдно не умѣть привлечь къ себѣ людей, не умѣть управлять ими и быть вынужденными избавляться отъ нихъ такъ, какъ французская революція, которая осуждала на смерть, потому что не могла сладить съ живыми. Это явный признакъ слабости; но теперь объ этомъ нельзя говорить.

Золингеръ пожалъ руку старика.

— Жаль мнѣ васъ, — продолжалъ онъ, — жаль мнѣ всѣхъ вашихъ, но намъ невозможно даже открыто выказать свое сочувствіе. Произволъ одного человѣка управляетъ толпой.

— Мнѣ жаль васъ, — возразилъ Любаховскій, — я предпочитаю быть осужденнымъ самому, чѣмъ осуждать другихъ. Когда вы остынете, вы должны будете стыдиться, что, называя себя такимъ великимъ народомъ, вы поступаете, какъ самые слабые и боязливые.

— Мало у насъ здѣсь земли! — вздохнулъ Золингеръ. — Борьба идетъ за землю: Голодъ страшный совѣтчикъ... Что-же вы думаете дѣлать съ собой?

— Я, — весело отвѣчалъ старикъ, — я возвращусь туда, откуда пріѣхалъ нѣсколько десятковъ лѣтъ тому назадъ... къ своимъ. Тяжело это для меня, но мы научились страдать.

— А дочь? а внуки ваши?

У Любаховскаго потемнѣло въ глазахъ.

— Я оставляю ихъ здѣсь, — сказалъ старикъ. — Къ счастью, они могутъ остаться.

— Не смѣйтесь надо мной и не презирайте меня, — прибавилъ нѣмецъ, — что я пріѣхалъ къ вамъ ночью, какъ-бы стыдясь любви и уваженія, которыя я къ вамъ питаю. Въ дѣйствительности, я просто не хочу воевать съ этой толпой.

— Я понимаю ваше положеніе,—сказалъ Любаховскій,— если васъ спросятъ о мнѣніи, вы принуждены будете лгать и отрекаться отъ своихъ убѣжденій?

— Нѣтъ,—отвѣчалъ Золингеръ,—я буду молчать. Минуты безумія надо прожить подольше отъ него. Я собираюсь въ Австрію, тамъ настроеніе умовъ гораздо спокойнѣе. Печальныя времена настали, когда приходится уходить отъ террора опьянѣвшей толпы.

Любаховскій больше слушалъ, чѣмъ говорилъ, а Золингеръ путался, повторялъ по нѣсколько разъ тоже самое, скорбѣлъ.

Наконецъ, они распростились, и хозяинъ, провожая гостя до крыльца, обнялъ его, почти съ жалостью.

Дни летѣли быстро, приближался и назначенный для отъѣзда срокъ; но съ Ороховскимъ вышли затрудненія въ уплатѣ денегъ и пришлось продолжить срокъ.

Въ особенности раздражало Любаховскаго такое продолжительное пребываніе дочери, которую онъ непремѣнно хотѣлъ уговорить остаться при дѣтяхъ; но Марынка, не противясь ему, не говоря ни слова, не трогалась съ мѣста, упорно стояла на своемъ и, будучи совершенно готовой въ путь, все ждала.

Однажды вечеромъ, Любаховскій, измученный, пришелъ къ дочери, чтобы немножко отдохнуть, прося ее почитать ему, какъ вдругъ, какъ-то тревожно, таинственно, вошла панна Жабская и шепнула что-то на ухо Марынкѣ. Покраснѣвъ и смутившись, что не укрылось отъ глазъ отца, дочь вскочила съ кресла и попросила позволенія на минутку уйдти. Жабская, которой онъ сдѣлалъ знакъ головой, осталась въ комнатѣ.

— Какую ты, тамъ, новость принесла Марынѣ?—спросилъ старикъ.—Зачѣмъ это вы ее мучите?

— Но... ничего тамъ нѣтъ...,—живо заговорила старая дѣва,—это дѣла по хозяйству.

Любаховскому пришлось удовольствоваться этимъ; долго ждалъ онъ дочь, и нескоро вернулась она на свое кресло, извиняясь передъ отцомъ.

— Напрасно чѣмъ-то тебя безпокоили,—промолвилъ панъ Григорій.—Тебѣ все надоѣдаютъ съ разными пустяками... Вѣдь ты у меня гостья... Что-же тамъ случилось?

Марынка покраснѣла.

— Я давала Жабской порученіе, — отвѣчала дочь, — но вышло иначе; не стоитъ говорить объ этомъ.

Старикъ посмотрѣлъ на часы.

— Теперь ужъ поздно читать, — сказалъ онъ. — Я не люблю отрывочнаго чтенія; оставимъ его. Иди, отдохни, я тоже прочту свои вечернія молитвы.

Они разошлись. Любаховскій, хотя вовсе не догадывался, что могло такъ интересовать Марынку, замѣтилъ однако вечеромъ какую-то бѣготню, движеніе. Это продолжалось такъ долго, что наконецъ онъ велѣлъ позвать къ себѣ Дыдана.

— Что у васъ тамъ такое? — спросилъ онъ. — Вы что-то отъ меня скрываете. Дочь нѣсколько разъ куда-то уходила... въ домѣ какая-то бѣготня. Говори, что тамъ?

— Ничего нѣтъ, баринъ, — пробормоталъ Дыданъ, — по крайней мѣрѣ, я ничего не знаю.

— Ты? Чтобы ты чего-нибудь не зналъ въ домѣ? — разсмѣялся старикъ. — Не говори ерунды.

— Да когда же нѣтъ ничего, — подтвердилъ Дыданъ. — Развѣ можетъ быть какое-нибудь бабье дѣло! Вы вѣдь знаете, какъ Жабская умѣетъ изъ мухи слона дѣлать, изъ-за пустяковъ поднять шумъ и суматоху. Навѣрное, что-нибудь съ прислугой — у нея вѣдь всегда есть любимчики и враги... Дѣвки между собой разругались.

Любаховскій, видя, что и отъ него ничего не узнаешь, приказалъ ему идти спать. Самъ же, хотя уже легъ было, сейчасъ-же всталъ и началъ развѣдывать. Вскорѣ онъ еще болѣе укрѣпился въ убѣжденіи, что у дочери дѣйствительно было какое-то особенное дѣло. Къ ней то и дѣло приходили Жабская и кто-то еще, кого онъ не могъ разглядѣть ночью.

Онъ притаился на крыльцѣ. Сдержанный шопотъ доходилъ до него изъ корридора. Принесли что-то на подносѣ. Старикъ испугался, не больна ли дочь. Онъ постучался къ ней — двери были заперты на ключъ изнутри. Онъ окликнулъ дочь — она отвѣчала, что уже лежитъ въ постели, что здорова и проситъ его также ложиться.

Бормоча себѣ что-то подъ носъ, все еще не довѣряя, старикъ потащился въ другой уголъ. Въ помѣщеніи Марынки ясно

слышался чей-то шепотъ. Далеко уже за полночь, ничего не разузнавши, мучимый догадками, Любаховскій долженъ былъ наконецъ, вернуться въ спальню и лечь, но уснулъ онъ только подъ утро.

Ему казалось, что въ домѣ, гдѣ обыкновенно царила тишина, вплоть до утра слышны были осторожные шаги, шепотъ, открываніе дверей, но онъ сказалъ себѣ, что навѣрное это ему послышалось. Утромъ онъ не нашелъ ничего новаго, все было въ порядкѣ, только на лицахъ прислуги и вообще всѣхъ окружающихъ онъ замѣтилъ какое-то безпокойство. Два или три раза онъ поймалъ Жабскую на мѣстѣ преступленія въ ту самую минуту, какъ она дѣлала какіе-то таинственные знаки Марынкѣ.

Вдругъ въ 10 часовъ, когда старикъ уже успокоился, на дворъ влетѣли двѣ брички. На обѣихъ сидѣли жандармы, которые и выскочили передъ крыльцомъ. Солдаты встали у дверей, никого не пропуская.

Любаховскій не понималъ, что это значило, и думалъ уже, что, должно быть, его насильно хотятъ переправить черезъ границу, когда въ комнату вошелъ его знакомый фельдфебель Мейнертъ.

Прежде съ этимъ Мейнертомъ, какъ говорится, можно было жить. Приглашаемые на помощь въ случаѣ контрабанды—здѣсь вообще часто появлялись жандармы — бывалъ и Мейнертъ. Подъ веселую руку и съ глазу на глазъ съ нимъ даже можно было разговаривать по-польски. Продолжительное пребываніе въ этомъ краѣ освоило его съ этимъ языкомъ.

Но прошло то время. Теперь онъ держалъ себя холодно и строго и дѣлалъ видъ, что никого не знаетъ. Войдя въ комнату, онъ даже не снялъ шапки и, не отвѣчая на вопросъ хозяина, рѣзко спросилъ: гдѣ находится дезертиръ Григорій Треубернеръ?

Старикъ перекрестился.

— Вѣдь вы же его ужъ схватили,—сказалъ онъ; — съ тѣхъ поръ я его не видалъ... ничего о немъ не знаю.

Мать, присутствовавшая при этой сценѣ, стояла молча. Фельдфебель обратился къ ней—она пожала плечами, утверждая, что ничего о немъ не знаетъ, такъ какъ уже нѣсколько дней живетъ сама въ деревнѣ.

Послѣ минутнаго раздумья, жандармъ счелъ необходимымъ предупредить стараго Любаховскаго, что за укрывательство дезертира назначено строгое наказаніе, что если кто знаетъ о его убѣжищѣ и не доноситъ, тотъ также подвергается отвѣтственности. Марынка стояла блѣдная, но спокойная на видъ.

Любаховскому сейчасъ же пришла на мысль ночная бѣготня; но онъ не выказалъ ни малѣйшей боязни.

Солдаты тотчасъ же начали производить на дворѣ тщательный обыскъ. Марынка то блѣднѣла, то краснѣла.

Осмотрѣли всѣ комнаты, углы, даже шкафы, взяли ключи отъ подваловъ, отъ чердаковъ, отъ разныхъ чуланчиковъ, а у остальныхъ построекъ разставили стражу. Изъ дома никого не выпускали, такъ что старую бабу, пришедшую изъ деревни и желавшую вернуться назадъ, задержали и перетрясли всѣ ея узелки, не отпуская до тѣхъ поръ, пока все не кончилось.

Дыдана арестовали и не позволяли ему двинуться съ мѣста.

Оставаясь наединѣ съ дочерью, старикъ съ нѣмымъ упрекомъ взглянулъ на нее, долго не смѣя промолвить ни слова. Только, когда жандармы ушли, онъ тихо проговорилъ:

— Былъ... ночью... я знаю... Что же вы съ нимъ сдѣлали?

— Я думаю, что теперь онъ уже въ безопасности.

— Ребенокъ съ ума сошелъ!—проворчалъ Любаховскій и поднялъ руки къ небу. Мать закрыла лицо руками.

Между тѣмъ, жандармы хозяйничали по всей Любахувкѣ, такъ тщательно и добросовѣстно исполняя возложенныя на нихъ обязанности, что пробовали даже палкой стоги съ сѣномъ, ища, не спрятался ли тамъ кто-нибудь.

Дыданъ обратился, наконецъ, съ одному знакомому солдату съ наивнымъ вопросомъ: кого они ищутъ? Разсерженный жандармъ, сначала выругавъ его, объяснивъ, наконецъ, что изъ Берлина пришелъ приказъ арестовать Григорія Треубернера.

— Признаться сказать,—возразилъ на это Дыданъ,—я не считаю нашего панича до такой степени ограниченнымъ, чтобы скрываться тамъ, гдѣ зналъ навѣрное, что его будутъ искать.

— Мы исполняемъ, что намъ приказано,—сказалъ солдатъ—а я вамъ скажу, что бѣглецъ всегда скрывается тамъ, гдѣ всего менѣе вѣроятности, что его будутъ искать, а именно— у васъ самихъ. Я готовъ присягнуть, что вы знаете, гдѣ онъ.

Дыданъ пожалъ плечами и ничего не отвѣчалъ.

Во все время обыска, старый Григорій не тронулся съ дивана, на которомъ сидѣлъ и, устремивъ взоръ въ полъ, тихо молился. Мать ходила отъ окна къ окну.

Часа два продолжался обыскъ, и наконецъ утомленный жандармъ, вытирая со лба потъ, долженъ былъ отдохнуть. Ему было приказано взять съ собой Любаховскаго и отвезти его въ мѣстечко, чтобы лишить его возможности содѣйствовать бѣгству внука. Однако, фельфебеля удалось упросить и вмѣсто того, чтобы увозить хозяина, онъ согласился оставить въ Любахувкѣ двухъ жандармовъ, чему не были рады ни старикъ, ни его дочь.

Цѣлый день прошелъ съ этимъ обыскомъ, болтовней, совѣщаніями и только уже вечеромъ всѣ могли немного отдохнуть. Одна только Марынка не успокоилась и послѣ отъѣзда жандармовъ, сильно опечаленная оставленнымъ гарнизономъ. Любаховскій такъ былъ занятъ этимъ неожиданнымъ происшествіемъ, что совсѣмъ забылъ о самомъ дѣятельномъ существѣ—экономкѣ, которой не видно было во все время обыска. Онъ очень удивился этому обстоятельству.

— Господи!—воскликнулъ онъ,—да вѣдь мы были безъ нашей правой руки!.. Гдѣ же Кристя?

— Она еще вчера вечеромъ уѣхала по своимъ дѣламъ въ мѣстечко и до сихъ поръ не вернулась, но сейчасъ должна пріѣхать.

Позвали Ходзибуя, который также заявилъ, что жена его навѣрное вернется вечеромъ.

Дѣйствительно, черезъ часъ она пріѣхала и прямо прибѣжала къ Марынкѣ. Лицо ея сіяло.

Марынка бросилась къ ней навстрѣчу.

— Нашъ паничъ,—закричала она еще съ порога,—уже въ безопасности... за границей... Будьте за него спокойны. Если выслѣдятъ, что онъ былъ здѣсь, я отвѣчаю за все, такъ какъ я его переправила черезъ границу. Мнѣ удалось даже достать ему паспортъ и я не уѣзжала до тѣхъ поръ, пока не помѣстила его въ мѣстечкѣ у человѣка, за котораго могу поручиться. Тамъ будетъ онъ ожидать насъ всѣхъ или вашихъ приказаній.

Марынка, не говоря ни слова, обнимала ее и на такой радости, желая что-нибудь подарить ей на память, быстро сняла съ руки браслетъ и заставила Кристину принять этотъ подарокъ. Любаховскій благословилъ ее, торжествующую, и поцѣловалъ въ голову.

— Вотъ что значитъ женщина!..—проговорилъ онъ.—Мы необходимы для разговоровъ, совѣщаній, но только однѣ онѣ умѣютъ воспользоваться временемъ и во время взяться за дѣло.

—Что-же Гриша?—прервала мать.

— Приказывалъ поцѣловать вамъ ручки,—отвѣчала Кристина.—Онъ былъ неустрашимъ и такъ красиво выглядѣлъ въ хлопской сермягѣ, что хоть картину пиши. Два раза мы встрѣчались съ жандармами.

Мать задрожала.

— Я слышала, что они здѣсь все перевернули вверхъ ногами—,прибавила она,—мой мужъ даже не попробовалъ напоить ихъ. Говоритъ, что они не хотѣли пить. Конечно, если онъ подчивалъ ихъ обоихъ сразу: надо имъ было каждому наединѣ предложить шнапса. На ночь я имъ такого дамъ рому, что намъ всѣмъ можно будетъ спокойно спать. Паничу тамъ тоже послано въ теплой избѣ, такъ что онъ можетъ теперь выспаться за двѣ безсонныя ночи.

— Теперь нашъ чередъ!—сказалъ Любаховскій. — Лишь бы Ороховскій привезъ деньги, ни минуты здѣсь не останемся, чтобы по возможности сократить покинутому Григорію часы и дни тревоги.

Мать подбѣжала къ нему, поцѣловала руку и вскричала:

— Ѣдемъ! ѣдемъ!

Давно уже не видалъ Любаховскій своего зятя. Сначала отношенія были еще сносныя, хотя важный чиновникъ, чѣмъ выше занималъ мѣсто, тѣмъ холоднѣе становился къ старику и, наконецъ, окончательно прервалъ съ нимъ всякія сношенія.

У нихъ не было ни ссоръ, ни размолвокъ, ни недоразумѣній; но Марынка не могла пріѣзжать къ отцу и самъ Треубернеръ никогда не показывался. Воспитаніе дѣтей, упорное молчаніе, жалобы дочери—оттолкнули Любаховскаго отъ зятя.

Мы уже видѣли, чѣмъ все это кончилось.

Человѣкъ, посвятившій свое домашнее счастье, семью, жену, службѣ, обѣщавшей ему высокое мѣсто въ чиновной іерархіи, заставилъ Марынку почти совершенно забыть обязанности дочери. Для него всѣ эти жертвы казались естественными, потому что онъ не имѣлъ въ жизни другой цѣли, кромѣ того, чтобы выдвинуться, насколько дозволяли его способности, строгость, исполнительность и трудолюбіе.

И дѣйствительно, онъ шагалъ впередъ очень быстро, потому что въ немъ видѣли идеалъ чиновника, который по военному исполнялъ свои обязанности и завелъ военную дисциплину въ своемъ отдѣленіи.

Треубернеръ никогда не дѣлалъ никакихъ задержекъ, никогда за нимъ самимъ не бывало остановки, съ желѣзной энергіей исполнялъ онъ все, что ему повѣряли, ни на волосъ не уклоняясь, не отставая ни на шагъ, но и не выскакивая впередъ. Никогда не хворалъ, никогда не просилъ отпуска; какъ хорошо смазанное колесо быстро и безъ шума вращался онъ въ бюрократичномъ механизмѣ. Среди такихъ занятій, хлопотъ, утомленія, сердце его никогда не откликалось. Все шло отлично до самой минуты катастрофы и перелома.

Здѣсь въ первый разъ всей силы, какой обладалъ Треубернеръ, оказалось недостаточно для того, чтобы побороть сопротивленіе, оказанное ему женой и однимъ изъ дѣтей. Онъ думалъ, что сладитъ съ Марынкой,—и не могъ ее сломить.

Она покидала его.

Въ глубинѣ души этого холоднаго человѣка, въ которомъ никто не могъ бы заподозрить никакой привязанности, никакого чувства, проснулась, хотя и слишкомъ поздно, любовь и сожалѣніе о томъ, что онъ долженъ былъ утратить.

Онъ любилъ жену по своему; онъ чувствовалъ, что лишиться этой подруги жизни, этой отличной хозяйки, дамы, которая сумѣла его мѣщанскому кружку придать аристократическій оттѣнокъ и подняла его на такую высокую ногу, какъ онъ самъ выдвинулся по службѣ, — было для него ужасно.

Воспоминанія о жизни, проведенной съ ней, о ея достоинствахъ и качествахъ, которыя онъ такъ высоко цѣнилъ въ

ней, о ея добротѣ и кротости, привязанности къ дѣтямъ, вѣрности и любви къ нему,—отравляли ему жизнь.

Надежда, что она вернется, побѣжденная его неумолимой строгостью и суровостью—обманула его. Ударъ, нанесенный ему побѣгомъ Гриши, отъѣздъ жены къ отцу,—все это дѣлало его несчастнымъ.

Онъ думалъ выдержать, отречься отъ младшаго сына, ожидать возвращенія метери; но черезъ нѣсколько дней, когда даже занятія, усиленный трудъ и борьба съ самимъ собой не привели ни къ чему, онъ почувствовалъ, что силы покидаютъ его. Послѣ двадцати слишкомъ лѣтъ своей службы, онъ въ первый разъ былъ принужденъ признать себя больнымъ и не идти на службу.

Приглашенный докторъ нашелъ чрезвычайное истощеніе силъ, нервное раздраженіе, доходящее до крайней степени, и предписалъ совершенный покой. Все это случилось какъ разъ въ ту минуту, когда онъ былъ всего нужнѣе на службѣ, такъ какъ никто не могъ его замѣнить.

Его потребовали изъ высшихъ сферъ; готовый принести свою жизнь въ жертву службѣ, Робертъ всталъ съ постели, дотащился кое-какъ до бюро и... его вынесли оттуда безъ чувствъ.

На другой день его навѣстилъ министръ, заставилъ его признаться во всемъ, тѣмъ болѣе что всѣ знали его положеніе,—и далъ ему отпускъ на нѣсколько дней.

Треубернеръ надѣялся, что когда онъ самъ пріѣдетъ къ женѣ, то ему удастся убѣдить ее вернуться.

О томъ, чтобы спасти стараго отца отъ изгнанія, Робертъ даже и не подумалъ. Черезъ часъ послѣ полученія отпуска, онъ уже ѣхалъ въ Любахувку.

Съ ужасомъ смотрѣла на него жена, когда онъ вылѣзалъ изъ экипажа. Любаховскій не узналъ его. Это былъ мужчина, преждевременно состарѣвшійся, сухой, серьезный, вытянутый, точно прусскій солдатъ. Привыкшій къ приказаніямъ и повиновенію, онъ потерялъ все, что свойственно человѣку свободному, одаренному волей и управляющему самимъ собой; онъ двигался медленно, какъ будто ему не доставало какого-то импульса, голоса свыше и подчиненныхъ, которыми онъ при-

выкъ повелѣвать. Предоставленный самому себѣ, онъ двигался тяжело и несмѣло.

Марынка, увидѣвъ его такимъ блѣднымъ, послѣ дами болѣзни и истощенія на лицѣ, выбѣжала къ нему навстрѣчу.

Онъ принудилъ себя встрѣтить жену холодно, хотя самъ весь дрожалъ. Онъ собирался сейчасъ-же начать съ ней свое объясненіе, но появившійся въ эту минуту старикъ повелъ его въ комнату.

Встрѣтились они молча, никто не рѣшался заговорить.

— Я пріѣхалъ,—проговорилъ онъ, наконецъ, тихимъ голосомъ,—за тобой, Марынка. Я готовъ даже выхлопотать прощеніе Гришѣ или, по крайней мѣрѣ, уменьшеніе наказанія. Невозможно было избѣгнуть того, что случилось съ нами. Необходимо покориться волѣ Божіей... мы не можемъ требовать для себя особенныхъ законовъ.

— Ради Бога,—проговорилъ старикъ голосомъ, въ которомъ слышалась боль,—ради Бога, не думай, чтобы я требовалъ для себя жертвы, или чѣмъ-нибудь вызвалъ ее и добровольно принялъ. Я просилъ Марынку вернуться къ тебѣ. Что же касается Гриши, то такой дѣтскій поступокъ можетъ быть прощенъ ему въ виду благородныхъ побужденій.

— Къ несчастію,—замѣтилъ строгій отецъ,—Григорій рецидивистъ. Я надѣюсь, однако...

— Гриша уже за границей,—проговорила жена, къ которой вернулась уже вся сила воли и самообладаніе.—О немъ не можетъ быть и рѣчи, а я ни отца, ни его не покину.

Это рѣшительное заявленіе на минуту замкнуло уста Треубернеру; онъ поблѣднѣлъ.

— Не знаю, чѣмъ заслужилъ я это,—началъ онъ дрожащимъ голосомъ, послѣ краткаго молчанія,—но, прошу тебя, моя дорогая Марынка, сжалься надо мной. Я совсѣмъ убитъ... не знаю, буду ли въ силахъ перенести эти утраты. Вѣрь мнѣ, что я говорю это не для угрозы... тутъ дѣло идетъ не обо мнѣ одномъ, а объ насъ всѣхъ. Итакъ, все должно быть потеряно?.. Треубернеръ поблѣднѣлъ, опустилъ глаза.

— Это просто невозможно,—сказалъ онъ,—ни для кого не дѣлается исключенія, я не могу его требовать для себя. Такова воля того, чья воля правитъ всѣми, чтобы законъ этотъ

былъ неумолимъ... Малѣйшая тѣнь какой-нибудь уступки—и все бы испортилось. Потребовать этого — достаточно было бы для того, чтобы погубить самого себя и разрушить дѣло цѣлой жизни.

— Да я этого и не требую, я бы даже и не принялъ единичнаго снисхожденія, я стыдился бы этого,—сказалъ старикъ, волнуясь.—Марынка, прошу тебя...

Всѣ замолчали. Треубернеръ задумчиво глядѣлъ въ окно, но ничего не видѣлъ. Онъ молчалъ, облокотившись на руку, какъ бы ища въ мысляхъ, что-бы ему сказать въ свою защиту, чѣмъ поправить свое дѣло.

— Ты сдѣлаешь невыносимой мою жизнь, — пробормоталъ онъ, обращаясь къ женѣ.—Все, что я такъ долго и съ такими усиліями воздвигалъ, распадается...

— Мы должны разойтись,—не давая ему говорить, начала жена. — Я оставлю тебѣ одного ребенка, можешь мнѣ отдать другого... Я отдала тебѣ свою молодость, служила вѣрно, ни разу ты не услышалъ жалобы изъ моихъ устъ... Позволь же мнѣ теперь служить отцу и исполнить свой священный долгъ.

Любаховскій опять сталъ протестовать.

— Я не могу принять этой жертвы...

Никто не уступалъ; на всѣхъ лицахъ, кромѣ менѣе всѣхъ выразительнаго лица Роберта, видна была твердая рѣшимость.

Марынка подошла къ отцу, встала предъ нимъ на колѣни, обняла его и начала умолять его удалиться.

— Позволь мнѣ остаться съ нимъ наединѣ, проститься съ нимъ,—сказала она.—Не слушай, не мучайся тѣмъ, въ чемъ не ты, а одна я виновата.

Любаховскій хотѣлъ встать, но силы на минуту покинули его.

Марынка вдругъ обратилась къ мужу и, указывая на погруженнаго въ мысли отца, быстро проговорила:

— Выпроси для него не милость, потому что онъ и самъ этого не требуетъ, но облегченіе... Могутъ продолжить ему этотъ несчастный срокъ..., а потомъ... Ты видишь, что онъ боленъ, знаешь его года...

Треубернеръ задумался; наконецъ, онъ, казалось, былъ побѣжденъ.

— Попробую, — тихо проговорилъ онъ такимъ тономъ, который заставлялъ усомниться, чтобы проба эта удалась.

Марынка хотѣла броситься къ его ногамъ, но онъ отскочилъ въ испугѣ.

— Попробую,—повторилъ онъ еще разъ.

Любаховскій сѣлъ, считая все оконченнымъ и, желая отвлечь вниманіе отъ себя и своихъ страданій, обратился къ зятю:

— Я не понимаю этого закона, хотя мы всего могли ожидать отъ такой ненависти... Въ особенности я не понимаю этого момента, когда этотъ законъ вдругъ сдѣлался необходимымъ... Побудительныя причины къ этому, должно быть, лежатъ внѣ сферы нашихъ свѣдѣній о политическихъ отношеніяхъ государства, такъ какъ причинъ этихъ никакъ нельзя угадать. Кажется, никакихъ новыхъ обвиненій противъ насъ нѣтъ...

— Я ничего не знаю,—проговорилъ Треубернеръ.—Я никогда бы и не осмѣлился требовать объясненія приказаній. Я знаю только, что никакой важный шагъ не дѣлается безъ причины и повода...

— А! ненависть! ненависть объясняетъ все, все оправдываетъ,—замѣтила Марынка.—Зачѣмъ же искать еще другихъ причинъ?..

Разговоръ этотъ, въ которомъ Треубернеръ мало принималъ участія, продолжался до обѣда. Зять Любаховскаго, радуясь близости жены, начиналъ мало-по-малу пріобрѣтать свободу мыслей. Пробовалъ нѣсколько разъ спрашивать о Гришѣ, но жена отвѣчала ему молчаніемъ.

Сейчасъ же, послѣ обѣда, Робертъ объявилъ о своемъ отъѣздѣ, такъ какъ хотѣлъ поспѣшить выхлопотать продолженіе срока. Но не успѣли еще заложить лошадей, какъ въ воротахъ стали появляться никогда невиданные экипажи никогда здѣсь не бывавшихъ сосѣдей.

Пріѣздъ въ Любахувку его превосходительства былъ слишкомъ важнымъ происшествіемъ. Всѣ хотѣли воспользоваться этимъ случаемъ и извлечь изъ него выгоды для себя.

Первый явился графъ изъ Жарнова, пріятель Треубернера, который, несмотря на холодный пріемъ, какой онъ такъ недавно оказалъ старику, не постѣснился пріѣхать, чтобы повидать такого важнаго чиновника.

Робертъ принялъ его съ изысканной вѣжливостью, но чрезвычайно церемонно. Смущенный этимъ, графъ, несмотря на то, что чувствовалъ себя оскорбленнымъ такимъ холоднымъ пріемомъ, поспѣшилъ оправдаться во всемъ, что могло набросить малѣйшую тѣнь подозрѣнія на его политическую неблагонадежность.

Онъ зашелъ даже такъ далеко въ своей апологіи новаго закона, что призналъ это распоряженіе за истинное благодѣяніе.

Треубернеръ, разсѣянный, ничего не отвѣчалъ. Затѣмъ графъ перешелъ на другую тему, на придворныя новости и старался развеселить его превосходительство, но и это ему не удалось.

Его превосходительство оставался молчаливымъ и замкнутымъ въ самомъ себѣ. Слѣдовавшіе за графомъ гости такъ надоѣли, наконецъ, Треубернеру, что онъ, какъ можно скорѣе, простившись съ хозяиномъ и женой, не возобновляя при постороннихъ щекотливаго разговора, уѣхалъ.

Всегда радушный, Любаховскій на этотъ разъ долженъ былъ извиниться и, приказавъ принести вина, упросилъ дочь замѣнить его; самъ же ушелъ къ себѣ въ комнату.

Это послужило для всѣхъ сигналомъ къ отъѣзду, быть можетъ, болѣе поспѣшному, чѣмъ бы имъ хотѣлось. Графъ первый соблюдая самыя необходимыя правила приличія, уѣхалъ, не безъ удивленія, что въ дочери этого Любаховскаго, къ которому относился такъ свысока, онъ нашелъ особу, знакомую съ высшимъ берлинскимъ обществомъ.

Для всѣхъ вообще это былъ день обманутыхъ надеждъ, ошибокъ въ разсчетахъ и недовольства самими собой.

Одна только Марынка радовалась, что принудила мужа къ уступкѣ, на которую она возлагала нѣкоторыя надежды.

Въ Любахувкѣ наплывъ гостей, посѣщеніе зятя, пріемъ почти незнакомыхъ гостей — было страшной тяжестью для панны Жабской и для всѣхъ. Въ особенности горевала панна Жабская, что они застали домъ въ такомъ безпорядкѣ и должны были увезти съ собою скверное представленіе.

Старый Григорій, пробравшись къ себѣ въ спальню, сѣлъ на постель и, найдя на столикѣ разложенную книжку Ѳомы Кемпійскаго, погрузился въ чтеніе, забывая о горькой дѣйствительности.

Марынка нисколько не сомнѣвалась, что «проба» удастся мужу. Въ такомъ случаѣ надо было вернуть назадъ Гришу.

Призвали на совѣтъ Кристину...

Выслушавъ, что ей было разсказано, прекрасная экономка съ покорностью заявила, что... пожалуй, лучше бы... подождать.

— Съ Гришей тамъ ничего не случится, — прибавила она, — я за это ручаюсь; впрочемъ, я готова пробраться къ нему, посмотрѣть, и если ему чего-либо недостаетъ,— доставить ему. А вдругъ придется ему вторично бѣжать?..

— Отецъ выхлопочетъ, что обѣщалъ, — проговорила пани Марыня.

— Обѣщалъ?— спросила Кристя.

— Обѣщалъ постараться,— поправилась Марынка,— а такъ какъ у него много друзей и большое вліяніе, то я нисколько не сомнѣваюсь, что онъ выхлопочетъ эту милость.

Послѣ пребыванія его превосходительства, въ Любахувкѣ все измѣнилось. Чиновники въ мѣстечкѣ, убѣдившись, что сношенія не окончательно прерваны, стали снисходительнѣе къ старику, предвидя, что для него будетъ исключеніе, что ему будетъ позволено остаться.

Экономка воспользовалась этимъ, дѣлая разныя приготовленія... на всякій случай, менѣе всего, однако, надѣясь на то, чтобы они остались.

Безуміе охватило всѣхъ. Подстрекаемая съ обѣихъ сторонъ росла ненависть, раздавались угрозы, осмѣивали слезы несчастныхъ.

Жабская съ большимъ усердіемъ собирала всѣ сплетни, хотя панъ Григорій не позволялъ ихъ повторять. Каждый день ждали извѣстія отъ Треубернера, но тотъ—молчалъ.

Сейчасъ же, послѣ своего возвращенія въ Берлинъ, обдумавъ все по дорогѣ, Треубернеръ попросилъ частную аудіенцію у своего начальника, который одинъ отдѣлялъ его отъ высшей власти

Его сейчасъ же приняли.

Что касается до строгости образа дѣйствій и характера, то его начальникъ былъ положительно вторымъ томомъ его самого. Одна изъ задачъ отлично устроенной бюрократіи—это сдѣлать

всѣ орудія такъ похожими другъ на друга, до такой степени безличными, чтобы они выглядѣли, какъ солдаты въ строю.

Баронъ В. былъ похожъ на Роберта, какъ родной братъ, не потому, чтобы онъ родился таковымъ, но потому, что служба сдѣлала изъ нихъ обоихъ одинъ и тотъ же типъ. Тотъ же холодъ, та же неумолимая строгость были въ обоихъ. Даже лица ихъ сдѣлались похожими одно на другое.

Поздоровались они очень вѣжливо. Они были одни.

— Ты имѣешь что нибудь сказать мнѣ съ глазу на глазъ?— проговорилъ баронъ, подавая ему стулъ. — Я къ твоимъ услугамъ. Ну, какъ твое путешествіе?

— Благодарю, хорошо,—отвѣчалъ Треубернеръ.—Я въ непріятномъ положеніи... Оно небезъизвѣстно и вамъ, конечно.

Баронъ утвердительно кивнулъ головой.

— Я въ очень грустномъ положеніи,—повторилъ Робертъ,— но я не говорилъ бы вамъ о немъ ни слова, если бы не былъ доведенъ до крайности. Будучи молодымъ, я женился на женщинѣ, къ которой чувствовалъ и чувствую еще и теперь пылкую привязанность и любовь. Вы знаете мою жену: это особа такая развитая, такая умная, такая образованная и благовоспитанная...

Баронъ сдѣлалъ знакъ, что вполнѣ раздѣляетъ его мнѣніе.

— Но на ней,—грустно продолжалъ Робертъ,—тяготѣлъ первородный грѣхъ. Она была полькой. Я думалъ, что, выйдя за меня замужъ, она будетъ въ состояніи забыть это. Я старался не принимать у себя въ домѣ ея соотечественниковъ. Дѣтей воспиталъ такъ, чтобы они могли приносить пользу родинѣ... Я ни въ чемъ не могу упрекнуть себя... Все шло хорошо, по моему желанію, до объявленія новаго закона...

Лицо барона приняло строгое выраженіе. Треубернеръ сказалъ:

— Живъ еще отецъ моей жены, старикъ... увы, закоренѣлый полякъ. Я не зналъ о томъ, что онъ родился не въ княжествѣ и что законъ этотъ можетъ быть примѣненъ и къ нему. Все зданіе, съ такимъ трудомъ мною воздвигнутое, мой покой и домашнее счастье—рушилось: жена убѣжала отъ меня къ отцу, за ней пошелъ одинъ изъ сыновей. Я долженъ потерять женщину, отсутствіе которой ощутитъ и все общество; безъ сомнѣнія—это возбудитъ неудовольствія, развяжетъ языки...

Баронъ не находилъ надобности слушать далѣе, онъ съ безпокойствомъ взглянулъ на часы.

— Дорогой мой коллега,—проговорилъ онъ,—конечно, я все это и самъ зналъ, но чѣмъ же тутъ помочь? Посуди самъ... Неужели ты желаешь, чтобы для тебя сдѣлали исключеніе, уступку, которая тебѣ повредила бы?

— Будьте справедливы, баронъ, — прервалъ Робертъ. — Я давно уже страдаю... никогда мнѣ и въ голову не приходило просить для себя милости, исключенія...

— Вотъ именно мы, чиновники, должны подавать примѣръ послушанія и повиновенія этому новому закону.

— И я точно такого же мнѣнія,—прибавилъ Треубернеръ,— и ничего не требую.

Удивленіе, выразившееся теперь въ лицѣ барона, казалось, говорило: «такъ зачѣмъ же ты мнѣ все это разсказываешь?»

Робертъ опустилъ голову.

— Отецъ моей жены боленъ и можетъ представить объ этомъ свидѣтельство; дѣло идетъ только о продолженіи ему срока.

Онъ поднялъ голову и взглянулъ на барона, который стоялъ, опустивъ одну руку въ карманъ, а другой опершись на столъ, мрачный и молчаливый.

— Я твой другъ, — проговорилъ баронъ, — мы давно уже служимъ вмѣстѣ, ты не можешь сомнѣваться въ моемъ къ тебѣ расположеніи, дорогой Робертъ. Если ты ищешь у меня совѣта, то я скажу тебѣ одно: ты долженъ все игнорировать.

— Слезы жены, мученье этого старика, потерю сына!—замѣтилъ Робертъ.

— Что же ты хочешь? Чего же ты хочешь? Иначе я тебѣ ничего не могу посовѣтывать. Довольно малѣйшаго движенія твоего сердца, чтобы потерять плоды многолѣтнихъ трудовъ. Въ такую минуту выказать слабость — по отношенію къ поляку.

— Ты считаешь это невозможнымъ?

— Я ничего не знаю, — отвѣчалъ баронъ,— но считаю съ твоей стороны неудобнымъ и неловкимъ вмѣшиваться въ это.

— Ты правъ,— сказалъ Треубернеръ,—вставая.

— Говоря тебѣ откровенно, князь разспрашивалъ меня о твоихъ семейныхъ отношеніяхъ. До него дошли слухи.

— Онъ знаетъ все,—пробормоталъ Робертъ.

— Я отвѣчалъ ему, что, что касается тебя, то я ручаюсь, что ты не поддашься никакому вліянію.

— Благодарю,—прошепталъ Робертъ, протягивая ему руку.

— Уступки вещь опасная,—прибавилъ баронъ,—начинаются онѣ легко, но потомъ имъ нѣтъ конца.

Робертъ уже не смѣлъ сказать больше ни одного слова; онъ взялся за шляпу.

— Я предвидѣлъ результатъ нашей бесѣды,—прибавилъ онъ.

— Законъ этотъ гораздо важнѣе, чѣмъ онъ можетъ казаться поверхному наблюдателю,—откровенно заговорилъ баронъ. — Я никогда не сомнѣвался и не сомнѣваюсь въ патріотическомъ настроеніи нашего народа; но что бы тамъ ни было, бываютъ минуты охлажденія,—въ такіе моменты патріотизмъ требуетъ новыхъ жертвъ. Исчезаетъ онъ, когда дѣло идетъ о наложеніи налога на табакъ, объ акцизѣ на пиво, объ обложеніи акцизомъ производства спирта и т. п. Тогда экономная хозяйка бросаетъ немножко дрожжей въ кадку, чтобы вызвать броженіе. А ты знаешь, что нѣтъ болѣе дѣйствительныхъ дрожжей для вызова броженія въ нашемъ патріотизмѣ, какъ ненависть къ полякамъ. Для насъ ничего не значитъ удалить хоть бы нѣсколько тысячъ бѣдняковъ, а такія мѣропріятія противъ нихъ раздражаютъ ихъ, опьяняютъ и тѣмъ самымъ облегчаютъ намъ введеніе новыхъ законовъ. Поляки служатъ намъ козлами ощущенія. Вдобавокъ, это матеріалъ, которымъ мы можемъ распоряжаться по нашему благоусмотрѣнію. Никто за нихъ не заступится, они слабы и беззащитны.

Робертъ ничего не отвѣчалъ.

Баронъ закончилъ щекотливую конференцію другимъ вопросомъ о текущихъ дѣлахъ, и Треубернеръ вышелъ взволнованный, смущенный, не зная, какъ ему теперь поступить.

Въ тотъ же вечеръ одинъ изъ его подчиненныхъ, въ вѣдѣніи котораго находились донесенія и отчеты, касающіеся выселяемыхъ поляковъ, пришелъ къ Роберту съ докладомъ. Онъ зналъ положеніе дѣлъ и надѣялся извлечь какія-нибудь выгоды.

Отъѣздъ изъ Берлина жены, вторичное бѣгство сына—все это было ему извѣстно. Онъ не требовалъ даже прямого приказанія, онъ ждалъ только малѣйшаго намека и готовъ былъ спасти Любаховскаго. Треубернеръ былъ въ томъ состояніи духа, которое даетъ

ясновидѣніе и когда чиновникъ вошелъ къ нему въ канцелярію съ бумагами, онъ уже зналъ, что его навѣрноебудутъ испытывать.

Привычка къ строгой дисциплинѣ вернула ему всю твердость души. Холодно, оффиціально, сухо, разложилъ докладчикъ свои списки и указалъ исключительныя обстоятельства, касающіяся нѣкоторыхъ изгнанниковъ. Болѣзнь стараго Любаховскаго также была здѣсь отмѣчена; все дѣло было только въ томъ, могла ли она служить достаточной и основательной причиной къ продолженію срока. Треубернеръ стоялъ, устремивъ взоръ на бумаги, и слушалъ; ни однимъ знакомъ не выказалъ онъ какого-либо безпокойства или волненія.

Чиновникъ долго держалъ свой палецъ противъ рубрики имени и фамиліи старика, давая своему начальнику время сказать хоть одно слово, дать понять однимъ движеніемъ; но Робертъ съ полнымъ хладнокровіемъ обратилъ его вниманіе на другое обстоятельство: относительно молодежи, отбывшей воинскую повинность въ Пруссіи и не имѣющей правъ оставаться.

— Военное начальство должно быть запрошено по этому предмету и должно высказать свое мнѣніе,—сказалъ онъ.—Вообще, дѣло идетъ о строгомъ исполненіи, а не о смягченіи закона.

Изумленный докладчикъ подождалъ еще, но, наконецъ, видя, что молчаніе Роберта не случайное, а умышленное и обдуманное, пошелъ дальше. Итакъ, старому Любаховскому нельзя было продолжить срокъ.

Чиновникъ, о которомъ идетъ рѣчь, былъ довольно странной особой среди чиновнаго міра. Вмѣсто того, чтобы увлечься этимъ призваніемъ, которое открывало ему широкую дорогу въ будущемъ, онъ страдалъ немножко литературнымъ бредомъ, пописывалъ фельетоны подъ псевдонимомъ Plautulus, и даже уже написалъ цѣлый романъ изъ уголовной хроники. Ему необходимо было знакомиться съ различными сферами общества, проѣзать въ салоны, а пани Траубернеръ какъ разъ открыла ему свои двери. За это онъ чувствовалъ къ ней большую благодарность и признательность, а Марыня—довѣріе къ нему, такъ какъ она считала его за человѣка съ сердцемъ. Онъ желалъ услужить ей теперь, зная, какъ горячо интересуется она судьбой его.

Въ этотъ же день онъ получилъ по почтѣ записку, подписанную только иниціалами М. Т. Въ послѣднихъ словахъ она заключала просьбу за больного старика. Почтовый штемпель

позволялъ догадываться, откуда было это письмо. Она побудила его поспѣшить явиться къ Треубернеру съ докладомъ, а когда это не привело ни къ какимъ результатамъ, онъ сталъ раздумывать, могъ ли онъ и долженъ ли былъ жертвовать собой мало его интересующему семейству. Но онъ просто боготворилъ Марыню, это единственное въ своемъ родѣ явленіе среди аристократіи. Будь онъ бѣденъ и женатъ — онъ навѣрное не пожертвовалъ бы собой; но, къ счастью, онъ былъ холостой и имѣлъ богатаго отца, по прихоти котораго онъ только и служилъ.

Два дня спустя принесли уже подписанные высшимъ начальствомъ проскрипціонные листы. Въ нихъ стояло имя Любаховскаго съ примѣчаніемъ, что, на основаніи докторскихъ свидѣтельствъ ему дозволено остаться, не долѣе, однако, какъ допервыхъ дней весны.

Читая это, Робертъ обрадовался, но вмѣстѣ съ тѣмъ и испугался. Кто былъ виновникомъ этой милости? Кто хлопоталъ объ ней? Развѣ нельзя было заподозрить именно его самого въ этомъ снисхожденіи?

Треубернеръ задержалъ бумаги и не поставилъ своей подписи. Позвали того чиновника.

— Кто разрѣшилъ этотъ случай?—спросилъ онъ.

— Прецедентъ, и даже не одинъ, а много,—отвѣчалъ чиновникъ.—Нельзя отказать одному въ томъ, что получилъ и другіе.

— Извините,—прервалъ Робертъ, - бываютъ случаи схожіе между собою, но не совершенно одинаковые, а обстоятельства требуютъ строгости.

Съ большимъ присутствіемъ духа, доказывающимъ ясно, что онъ былъ подготовленъ къ отпору подобныхъ возраженій, чиновникъ сталъ приводить разные случаи.

Послѣ нѣкотораго раздумья, Робертъ, смущенный, тихо проговорилъ:

— Моя подпись была бы здѣсь лишней и неумѣстной.

— Хотя она и не необходима, но отсутствіе ея можетъ обратить вниманіе на этотъ случай,—сказалъ чиновникъ.

Холодный потъ обливалъ чело его превосходительства.

— Перейдемъ къ другимъ дѣламъ,—съ усиліемъ проговорилъ Робертъ.

Тѣмъ дѣло и кончилось, хотя и не безъ послѣдствій, которыхъ не могъ предвидѣть услужливый чиновникъ. Въ тѣхъ

сферахъ, которыя должны бы, повидимому, стоять выше канцелярскаго соперничанья, каждый, хоть сколько-нибудь успѣвъ выдѣлиться и обогнать товарищей, непремѣнно вызываетъ зависть.

Робертъ былъ окруженъ завистливыми людьми, и на другой же день уже стали шептать, что онъ позволилъ себѣ сдѣлать въ своихъ интересахъ послабленіе, выхлопотавъ отцу своей жены дозволеніе остаться, несмотря на то, что секретные рапорты выставляли старика, какъ закоренѣлаго поляка.

Изъ этой мелочи сдѣлали важное дѣло, которое все больше и больше расходилось въ высшихъ сферахъ. Вовсе не подозрѣвая этого, Робертъ какъ разъ радовался своей энергіи, съ какой онъ противостоялъ искушенію, когда его вдругъ предупредили, что онъ въ подозрѣніи.

Даже отсутствіе его подписи объясняли, какъ доказательство его ловкости и хитрости. Между тѣмъ быстро были отданы распоряженія, и въ мѣстечкѣ всѣ съ радостью встрѣтили извѣстіе о томъ, что Любаховскій получилъ милость.

Экономка, которая больше сидѣла на караулѣ въ уѣздномъ мѣстечкѣ, чѣмъ дома, узнавъ объ этомъ поздно вечеромъ отъ Риделя, поспѣшила домой съ этимъ извѣстіемъ.

Старый Григорій, который успѣлъ уже остыть и ко всему приготовиться, принялъ эту вѣсть почти равнодушно. Дочь видѣла въ этомъ свою побѣду, хотя не получила письма отъ мужа.

— Это нисколько не измѣняетъ моего положенія,—сказалъ Любаховскій,—только вмѣсто валенковъ мнѣ придется одѣть на дорогу калоши.

— Подумаемъ лучше, что намъ дѣлать съ Гришей, — прибавилъ старикъ,—дѣло тутъ не обо мнѣ, старикѣ; вѣдь онъ имѣетъ еще всю жизнь впереди. Сидѣть тамъ взаперти въ какой-то дырѣ, неизвѣстно, въ какомъ обществѣ—онъ не можетъ. Для меня проволочка представляется милостью, для него будетъ наказаніемъ. Что онъ тамъ дѣлаетъ?

Присутствовавшая при этомъ экономка старалась успокоить старика, что панъ Григорій имѣетъ тамъ приличное общество, что ему доставляютъ книги, что панъ Леонъ Водинскій собирался взять его къ себѣ въ деревню,—но этого было мало старику.

Мать казалась спокойной, хотя и она безпокоилась о Гришѣ.

— Бросимъ мы эти проволочки! Тронемся,—заключилъ Любаховскій.

Жабская запротестовала, что она еще не готова.

— Я бы тѣмъ временемъ добрался до Варшавы, — сказалъ старикъ, — Марынка вернулась бы къ мужу.

— Ты знаешь хорошо, отецъ мой, — прервала дочь, — что я тебя не покину.

Поднялся споръ, возобновлявшійся тысячу разъ. Панъ Григорій не желалъ принять отъ дочери такую жертву, но она не хотѣла отказаться отъ нея. Наконецъ, онъ позволилъ ей провожать себя до Варшавы, но съ тѣмъ условіемъ, чтобы оттуда она вернулась къ мужу.

Съ нетерпѣніемъ отъ него ожидавшееся письмо не приходило, между тѣмъ нужно было знать, что онъ думаетъ, что собирается предпринять.

Послѣ многихъ разсужденій, Марынка рѣшилась сама ѣхать въ Берлинъ. Отецъ соглашался на это, обѣщая ждать ея возвращенія. Однако, она сначала хотѣла увидѣться съ Гришей.

Безъ экономки и здѣсь дѣло не могло обойтись; она одна при своемъ обширномъ знакомствѣ могла облегчить переѣздъ черезъ границу. Она не предвидѣла новыхъ затрудненій.

Продажа Любахувки, которую старикъ считалъ уже покончennой, не двинулась ни на шагъ. Невозможно было понять Ороховскаго, который съ такой поспѣшностью подписалъ купчую, имѣлъ и нужную сумму, а между тѣмъ такъ оттягивалъ ея отдачей.

Причину этого не могли угадать даже люди, близко знавшіе его. Случилось то, что случается очень рѣдко — въ немъ проснулась совѣсть. Послѣ того, что онъ слышалъ отъ ксендза, что онъ видѣлъ своими глазами, — онъ колебался сдѣлать эту подлость. Онъ покупалъ Любаховку, чтобы отдать ее съ барышемъ для себя въ руки Фрейера и Браузе. Таковъ былъ планъ въ началѣ, и онъ вовсе не заботился о томъ, что люди скажутъ. Ксендзъ напугалъ его.

Быть привлеченнымъ къ отвѣту людьми, для него ничего не значило, но имѣть дѣло съ Господомъ Богомъ, Который зналъ его сокровенныя мысли и назѣрное защититъ Любаховскаго, онъ не желалъ. Съ другой стороны ему было очень жалко потерять задатокъ, выданный имъ при заключеніи условія.

Къ числу жертвъ этихъ мелкихъ, незамѣтныхъ, почти забытыхъ недоразумѣній, принадлежалъ Дыданъ.

Человѣкъ это былъ простой, всегда жилъ въ согласіи съ самимъ собой и своей совѣстью, работалъ и никогда не выходилъ изъ своей колеи. Онъ любилъ своего стараго пана и уважалъ его, за нимъ сейчасъ же слѣдовала обожаемая имъ экономка. За нее онъ готовъ былъ отдать жизнь, такъ же какъ и за пана. Съ этими двумя чувствами, хотя онъ и не былъ счастливъ, но привыкъ жить.

Все было хорошо, пока мирное теченіе его жизни не было смущено этой испорченной когда-то красивой, чуждой всякому благородному чувству Миной.

Дыданъ, отвергаемый Кристиной, постоянно уважаемый нѣмкой, хотя онъ и сопротивлялся, хотя онъ и не любилъ, въ концѣ концовъ позволилъ вскружить себѣ голову. За недостаткомъ другихъ, онъ готовъ былъ болтать, улыбаться, слушать и откровенничать даже съ Миной.

Иногда на него нападало какое-то отвращеніе, какъ-будто ему удавалось заглянуть ей въ душу, и онъ хотѣлъ бѣжать отъ нея; то снова соблазнъ овладѣвалъ имъ, и хотя онъ и ударялъ себя въ грудь, сознавая, что грѣшитъ, — онъ снова упивался нездоровой фальшивой любовью. Началась она дѣйствительно притворствомъ, но въ концѣ концовъ Мина влюбилась въ него не на шутку.

Любовь въ такихъ существъ, какъ она, переходя въ страсть, ослѣпляетъ, доводитъ до безумія и часто даетъ въ руки ножъ или огонь. Прійдя въ отчаяніе, дѣвушка, чтобы привлечь его и привязать къ себѣ, взяла на помощь огонь. Ей казалось, что послѣ доказательства такой любви, Дыдану уже нельзя будетъ ее бросить.

Между тѣмъ, пожаръ, который она устроила, онъ пріѣхалъ тушить. Онъ не желалъ имѣть съ ней ничего общаго.

Въ эту же ночь Мина убѣжала отъ Фрейера, отрекаясь отъ неблагодарнаго. Гнала ее также и тревога, какъ бы не открыли виновницы пожара.

Причина его такъ и осталась неразгаданной, но дѣвушка, вернувшись на ту мостовую, которой она уже не надѣялась видѣть и ходить по ней, почувствовала себя такой несчастной, что жизнь стала для нея невыносимой.

Бросивъ своихъ родныхъ, прервавъ съ ними всякія сношенія, Мина переѣхала къ своей старой пріятельницѣ.

Остатокъ красоты, смѣлость, дерзкія слова, маленькій голосокъ и умѣнье наряжаться ярко и пестро, доставляли ей поклонниковъ, въ особенности среди молодыхъ военныхъ. Ее поочередно называли то капитаншей, то поручицей, то майоршей.

Съ бокаломъ шампанскаго въ рукѣ, съ игривой пѣсенкой на устахъ, своими эксцентричными движеніями она вызывала рукоплесканія и бурные восторги; но когда занавѣсь опускалась, огни гасли, рюмки и бокалы разбивались и приходилось оставаться наединѣ съ самой собой, всеселье превращалось въ страшное отчаяніе.

У спокойнаго Дыдана она научилась мечтать объ идеальномъ счастьи, которое навѣки исчезало передъ ней.

Она плакала въ уединеніи, прогоняя подругъ, проклиная свою долю. думая о самоубійствѣ.

— Броситься въ воду! — по ея мнѣнію, было неизбѣжной послѣдней сценой этой мерзкой драмы.

Къ Дыдану она чувствовала ненависть и такую злобу, что съ удовольствіемъ вонзила бы ножъ ему и себѣ въ грудь.

По временамъ она порывалась летѣть туда и привести въ исполненіе свою месть, такъ какъ теперь она только ею одной и жила. Но она помнила, что за местью слѣдуетъ исправительный домъ, обстриженные волосы, грубый кафтанъ, хлѣбъ, какъ камень и жесткая постель...

Иногда она ложилась съ этимъ жгучимъ желаніемъ мести, спала съ ней, мечтала и вставала съ одной и той-же мыслью: сжечь Любахувку и вмѣстѣ съ нею и его, истребить безъ всякаго слѣда все, что тамъ было, и самой броситься въ пламя. Эта жажда мести, то остывая, то разгораясь, сдѣлалась наконецъ ея единственной мечтой.

Въ одно воскресенье она рѣшила поѣхать навѣстить Фрейеровъ. Отъ пожара тутъ ужъ слѣдовъ не было, свозили дерево на новыя постройки; Фрейеръ уже обдумалъ, какъ онъ раздѣлитъ съ Браузе Любахувку.

Здѣсь знали почти все, что дѣлалось въ Любахувкѣ, разсказывали о самоотверженіи Дыдана, объ отправленіи Гриши заграницу, о пребываніи его матери въ Любахувкѣ, о его

отцѣ... И вдругъ вся эта кучка ненавистныхъ людей должна была выскользнуть у нихъ изъ рукъ, убѣжать, а Дыданъ— преспокойно сопровождать ихъ.

Кто знаетъ, что у нее тамъ сидѣло въ головѣ. Она пріѣхала къ дядѣ и разъ, и другой, а за третьимъ разомъ осталась у тетки,—но трудно было удержать ее дома. Она бѣгала по полямъ, заглядывая въ корчмы на большой дорогѣ, стояла на одномъ мѣстѣ по цѣлымъ часамъ, поджидая того, который и не думалъ къ ней ѣхать.

Дыданъ, гдѣ-бы ее ни встрѣчалъ, былъ-ли верхомъ или пѣшкомъ, убѣгалъ, чтобы не встрѣтиться съ нею.

Вмѣсто того, чтобы обидѣться, Мина, отвергнутая, желала, по крайней мѣрѣ, насытиться местью, думая, что угрозой заставитъ его поддаться. Она осталась у Фрейеровъ. Она имѣла здѣсь полную свободу, ей ни передъ кѣмъ не надо было отдавать отчетъ въ своемъ поведеніи. Фрейеръ пользовался ею, чтобы снискать расположеніе пограничной стражи. Итакъ, она ходила и ѣздила, гдѣ ей вздумается. Отъ ея взора не укрылось постоянное шмыганье заграницу Дыдана, экономки къ Гришѣ. Она знала его исторію и знала, что не могла причинить своимъ врагамъ бо́льшаго огорченія, какъ предать его въ руки нѣмецкихъ жандармовъ.

Дыданъ, которому она иногда надоѣдала анонимными письмами, наконецъ даже и не читалъ ихъ.

Марынка, будучи наконецъ не въ состояніи противиться желанію видѣть сына, упросила экономку перевести ее черезъ границу. Все здѣсь было заранѣе подготовлено къ этому, но для женщины, не привыкшей укрываться, представляло тысячи трудностей. Гриша, зная, какъ это будетъ трудно для матери, умолялъ, чтобы ему, позволили пріѣхать къ матери.

Борьба между сыномъ и матерью кончилась тѣмъ, что Гриша побѣдилъ.

Назначили безопасное мѣсто, куда должна была пріѣхать мать. Не было и тѣни опасности. Гриша имѣлъ друзей, и въ хлопской сермягѣ свободно бродилъ на границѣ.

Наружность Марынки не дозволяла ей нигдѣ показаться, не обративъ на себя вниманія.

Любаховскій, съ безпокойствомъ отпуская дочь и экономку,

предписывалъ имъ осторожность, помня о положеніи Гриши, который былъ дезертиръ.

Съ несказанной радостью, перешелъ юноша границу со своимъ проводникомъ, спѣша къ матери.

Онъ былъ одѣтъ работникомъ, но, присмотрѣвшись внимательно, можно было замѣтить, что это переодѣтый. Весело болталъ онъ, идя по лѣсу, разспрашивая товарища о названіяхъптицъ и деревьевъ, какъ вдругъ выскочившіе съ двухъ сторонъ жандармы схватили ихъ.

За контрабандистовъ ихъ нельзя было принять, потому что они не имѣли при себѣ ничего подозрительнаго, и проводникъ надѣялся, что ихъ сейчасъ-же отпустятъ, только обыщутъ. Они говорили, что идутъ къ роднымъ въ сосѣднюю деревню. Гриша сначала не потерялъ храбрости, но, узнавъ одного изъ жандармовъ, который схватилъ его въ первый разъ, онъ испугался, бросился бѣжать, но его сейчасъ-же поймали.

Проводника отпустили, записавъ его фамилію, а бѣднаго юношу жандармы увели съ собой.

Между тѣмъ мать сидѣла невдалекѣ, поджидая сына, терзаемая тревогой.

При каждомъ шелестѣ она порывалась бѣжать навстрѣчу, такъ что экономка съ трудомъ ее удерживала.

Часъ прибытія Гриши болѣе или менѣе былъ опредѣленъ; онъ не пришелъ. Съ возростающей тревогой ждала мать еще нѣсколько часовъ; наконецъ, Дыданъ, стоявшій на стражѣ, побѣжалъ разузнать—и его тоже не было видно.

Мужественная обыкновенно Кристина на этотъ разъ потеряла свою храбрость и слезы навертывались у нея на глазахъ. Мать была почти увѣрена въ какомъ-нибудь несчастіи, ломала руки и заливалась слезами.

Только уже вечеромъ, когда бѣдныя женщины совсѣмъ пали духомъ, и не знали, что дѣлать, потому что ночь могла ихъ застать въ этомъ лѣсу, прибѣжалъ Дыданъ.

Онъ не хотѣлъ ничего скрывать.

— Ахъ, пани!—вскричалъ онъ,—несчастье случилось! Пана Григорія взяли! Клянусь, что тутъ было чье-то предательство, на него была засада.

Несчастная мать хотѣла знать, какъ все случилось, приписывая все это несчастіе себѣ.

Возвращеніе въ Любаховку было грустное. Старый дѣдъ съ горя, упалъ безъ чувствъ.

Марынка немедленно, поцѣловавъ его, вскочила въ тележку и помчалась въ мѣстечко, откуда собиралась ѣхать въ Берлинъ спасать своего ребенка. Это было трудной задачей даже въ первый разъ, при строгой прусской дисциплинѣ, — а что-же теперь, когда онъ бѣжалъ вторично и снова былъ схваченъ!

Въ Любаховкѣ, послѣ отъѣзда дочери, Любаховскій впалъ въ какое-то оцѣпененіе: постоянно молился, не могъ ни ѣсть, ни пить, не отвѣчалъ на вопросы.

Кристина послала за ксендзомъ.

Ксендзъ могъ пріѣхать только на другой день послѣ обѣдни и засталъ своего пріятеля въ томъ же состояніи апатіи.

Не скоро удалось ксендзу добиться отъ старика признанія.

— Всегда,—сказалъ онъ,—бываетъ такъ, какъ теперь со мной, съ тѣми людьми, которые не хотятъ принять посланной Богомъ кары, а умничаютъ и стараются ускользнуть. Я не хотѣлъ перенести того, что мнѣ было предназначено, и вотъ теперь моя тяжесть увеличилась. Надо было просто взвалить всю тяжесть себѣ на плечи. Дочь теперь поѣхала къ мужу по дѣлу сына; мнѣ ничего не остается, какъ тронуться отсюда не ожидая ея. Но Ороховскій мѣшаетъ. Вы мнѣ его отыскали, дорогой отецъ, уговорите же его теперь, ради Бога, разъ навсегда со мной покончить, потому что я не могу дольше такъ оставаться.

Ксендзъ охотно согласился быть посредникомъ.

Любаховскій, какъ будто прибытіе духовнаго отца его оживило, отдалъ рѣшительныя приказанія: онъ хотѣлъ сейчасъ-же уѣзжать отсюда.

Нужно было сдѣлать нѣсколько неизбѣжныхъ прощальныхъ визитовъ въ окрестностяхъ. По старинному обычаю, непремѣнно слѣдовало проститься съ доброжелательными людьми.

На первомъ мѣстѣ былъ графъ изъ Жарнова, тѣмъ болѣе, что ему надо было еще отдать визитъ.

На другой же день, панъ Григорій уже сидѣлъ въ бричкѣ. Въ Жарновъ пріѣзжали такіе-же скромные гости, какъ онъ,—къ управляющему; затѣмъ посылали гофмаршала и, такимъ образомъ, получали аудіенцію.

Управляющій, старый знакомый Любаховскаго, человѣкъ немолодой, только тѣмъ и держался у графа, что былъ извѣстенъ по своему патріотизму и заслонялъ собой графа, который знать ничего не хотѣлъ о дѣлахъ своего народа. Съ огромными усами, хотя самъ очень маленькаго роста, Мальвачъ привѣтствовалъ старца на порогѣ, съ уваженіемъ, но съ такимъ измѣнившимся лицомъ, точно съ нимъ случилось какое горе. Онъ жалъ руки Любаховскаго, а въ груди у него слышались рыданія.

— Отецъ мой! стоило-ли тебѣ утруждать себя изъ-за этого трутня!—вскричалъ онъ.

— Какъ, трутня! я пріѣхалъ проститься съ графомъ — сказалъ Любаховскій.

— Развѣ онъ этого стоитъ,—воскликнулъ управляющій,— этотъ подлый предатель?

Любаховскій остолбенѣлъ.

— Что съ тобой?—вскричалъ онъ.

— Что со мной?—еще громче закричалъ Мальвачъ.—Такъ ты не знаешь, что онъ сдѣлалъ? Онъ уже не принадлежитъ болѣе къ нашему обществу: подлецъ, негодяй.

Онъ говорилъ все это, задыхаясь отъ негодованія.

— Что случилось?—повторилъ изумленный Любаховскій.

— Что? Онъ безъ всякаго принужденія, по своей волѣ, чтобы заработать 200.000 марокъ, а, быть можетъ и орденъ получить, продалъ всѣ свои земли для нѣмецкой колоніи.

Старикъ всплеснулъ руками.

— Можетъ ли это быть? Что его принудило къ этому?

— Ничего его не побуждало, кромѣ алчности и подлости,— живо заговорилъ Мальвачъ.—Пусть-бы, главное, самъ лѣзъ въ грязь по уши; а то вѣдь я у него 20 лѣтъ службу управляющимъ; люди готовы приписать мнѣ участіе въ этой подлости.

— Разскажи, какъ-же все это случилось?

— Со дня изданія новаго закона, я всегда видѣлъ графа безпокойнымъ,—продолжалъ Мальвачъ.—Онъ все считалъ, разспрашивалъ меня о доходахъ, старался доказать мнѣ, что и 4 проц. неполучали, что совсѣмъ неправда, потому что въ хорошіе года я давалъ ему шесть чистыхъ. Я видѣлъ его безпокойство. Узнавъ о пріѣздѣ къ вамъ зятя, онъ такъ торопился поговорить съ нимъ, что мы всѣ головы потеряли

отъ его нетерпѣнія. Наконецъ, онъ сталъ напѣвать, что «какъ вѣрный подданный, спѣшитъ исполнить желаніе правительства и продаетъ за весьма умѣренную плату свое имѣніе, отлично поддающееся колонизаціи». Это еще ничего! Надо знать исторію имѣнія, чтобы понять весь ужасъ этой подлости. Онъ унаслѣдовалъ его не отъ родителей, а отъ дяди, который прямо и громко заявилъ, что для того отдаетъ свое имѣніе ему, чтобы быть увѣреннымъ, что оно не перейдетъ въ нѣмецкія руки.

Панъ Григорій не могъ ничего сказать Мальвачу; слезы навертывались у него на глазахъ, онъ ломалъ руки и охалъ.

— Мой трудъ, всѣ мои заботы объ этой дорогой землѣ, которую я берегъ, какъ родную мать,—все, все пропало! А если бы вы знали еще, съ какимъ холодомъ, съ какимъ равнодушіемъ ведетъ онъ эту спекуляцію! Онъ оставляетъ могилы отцовъ, могилу жены, но для него гораздо дороже нѣсколько сотъ тысячъ марокъ!..

Разгоряченный Мальвачъ проклиналъ графа.

— Еще дня два,—прибавилъ онъ,—только бы мнѣ свести счеты—и я бросаю Жарновъ, я не могу присутствовать при этой позорной продажѣ.

Разгоряченный Мальвачъ излилъ всю свою душу въ упрекахъ графу и, должно быть, хорошо представилъ его старику, если тотъ, обыкновенно очень снисходительный къ людямъ, не пожелалъ видѣть Жарновскаго.

— Я ему скажу, что вы были и, узнавъ, что онъ сдѣлалъ, не захотѣли имѣть съ нимъ никакихъ дѣлъ. Пусть же знаетъ, что его ожидаетъ!

Любаховскій улыбнулся.

— Мой честный старый другъ,—возразилъ онъ,—ты ошибаешься. Будутъ завидовать его смѣлости, будутъ его ругать, но никто не прекратитъ съ нимъ знакомства. Наши братья, бѣдняки, возьмутятся какъ и мы, но только они одни.

— Ты правъ,—сказалъ Мальвачъ,—въ среднемъ классѣ, въ народѣ, надо искать привязанности къ землѣ и обычаямъ.

Просидѣвъ здѣсь часъ, Любаховскій распростился со своимъ раздраженнымъ другомъ и поѣхалъ къ ближайшему сосѣду, пану Матросинскому. Это былъ домъ, считавшійся патріотичнымъ, семейство старыхъ нравовъ и обычаевъ, люди набожные.

Старый панъ Григорій рѣдко ихъ видѣлъ, но уважалъ. Навстрѣчу ему вышла вся семья. Знали, что онъ принадлежитъ къ числу изгнанниковъ, и приняли съ сочувствіемъ и участіемъ. Но на самомъ порогѣ хозяинъ наклонился къ нему и шепнулъ ему на ухо:

— Прошу васъ, дорогой сосѣдъ, будте осторожны въ разговорѣ. Мы окружены шпіонами, доносчиками, принуждены молчать.

— О, мы ихъ не обманемъ!—сказалъ Любаховскій.—Они сами хорошо знаютъ, что они заслужили съ нашей стороны.

Начавшійся разговоръ дѣйствительно ни разу не коснулся злобы дня. Говорили обо всемъ, кромѣ этого. Хозяинъ, не смотря на это, тревожно оглядывался. Видя, что онъ приноситъ съ собой тревогу, Любаховскій посидѣлъ недолго, уѣхалъ еще къ одному сосѣду, Скальскому.

Это былъ человѣкъ образованный, состоятельный, которому нельзя было отказать въ способностяхъ, но который ни на что не годился. Онъ имѣлъ совершенно иныя понятія, чѣмъ всѣ.

— Безцѣльный патріотизмъ, шумный, бурный,—говаривалъ онъ всегда,—слишкомъ дорого намъ стоилъ. За него насъ преслѣдуютъ, не даютъ намъ шевельнуться свободно.

— Я пріѣхалъ проститься съ вами, панъ Іеронимъ—сказалъ Григорій, входя. — Вы навѣрное слышали, что я принужденъ покинуть этотъ край.

— Благодарите за это журналистовъ и ораторовъ.—Сказалъ хозяинъ.—Мы такъ хвастаемся своей силой, что наконецъ стали даже притворяться, что мы сами вѣримъ въ нее. Я ненавижу заговоры и тайную пропаганду, которая демонализуетъ людей; но, ей-Богу, въ ней больше логики, чѣмъ въ нынѣшней нашей болтовнѣ и похвальбѣ. Куда же вы отправитесь?—прибавилъ хозяинъ.

— Въ Королевство.

— А какъ съ Любахувкой?

— Ее покупаетъ Ороховскій.

— Вѣроятно, не для себя,—отвѣчалъ хозяинъ,—онъ вѣдь все плутуетъ.

Послѣ минутнаго молчанія, панъ Іеронимъ спросилъ его, откуда онъ ѣхалъ. Любаховскій упомянулъ о графѣ.

— Правда-ли, что онъ предлагаетъ Жарновъ для колонизаціи?—быстро спросилъ хозяинъ.

— Не только предложилъ, но предложеніеу уже принято.

— Сколько же ему даютъ?

Любаховскій сказалъ сумму.

— Го, го! Славная сумма! —вскричалъ хозяинъ.—Не знаете, куда онъ теперь отправится?

— Не знаю.

По лицу пана Іеронима почти навѣрное можно было судить, что онъ завидуетъ смѣлости графа.

— Графъ Жарновскій очень мало, или даже вовсе не виноватъ, — говорили многіе. — Онъ находился въ стѣсненныхъ обстоятельствахъ. Имѣніе пошло бы съ молотка, правительство все равно купило бы его, и онъ былъ бы разоренъ. Онъ спасалъ себя, какъ могъ, а вѣдь все-таки, если не онъ самъ, то, быть можетъ, его семейство могло быть полезно отечеству.

Другіе заходили еще дальше въ своихъ разсужденіяхъ, приводимыхъ въ его оправданіе.

— Намъ говорятъ: земля, земля, она даетъ намъ силу! — твердили другіе.—Неправда! Жиды нынче правятъ всей Европой. А что помогло имъ въ этомъ?.. А вотъ именно то, что они не привязывались къ землѣ, которая есть самый неблагодарный рабочій станокъ. Свободные они шли всюду, гдѣ заработокъ былъ легче и больше, барыши прятали въ карманы въ то время, какъ другіе окончательно раззорялись, они заработывали, создавая силу капитала. Нынче имъ весь свѣтъ служитъ за плату. Они господа, а мы ихъ слуги и невольники.

На другой день Любаховскій покончилъ свои визиты по сосѣдямъ, и когда ксендзъ спросилъ его, какое они произвели впечатлѣніе, онъ отвѣчалъ:

— Не особенно пріятное. Говорятъ много, но что надо дѣлать—никто не знаетъ; а такъ какъ здѣсь надо дѣйствовать сообща, а мы къ этому не привыкли, то очень грустно!

Ксендзъ Романъ заявилъ, что общество должно бы строго карать такихъ отступниковъ, какъ графъ и тѣмъ удерживать другихъ отъ подобныхъ подлостей.

— Да, отецъ мой,—сказалъ Любаховскій,—но у насъ нѣтъ общественнаго мнѣнія. Каждый кружокъ судитъ иначе.

Вернувшись отъ Ороховскаго, ксендзъ привезъ съ собой только обѣщаніе скоро покончить это дѣло—и ничего больше.

— Все это для меня непонятно,—говорилъ онъ,— у Ороховскаго деньги есть, и дѣло это онъ могъ бы покончить хоть завтра, а между тѣмъ не хочетъ.

— Такъ онъ думаетъ еще что нибудь выторговать у меня?—спросилъ старикъ.

— Не знаю и не понимаю его,—прибавилъ ксендзъ.—Безпокоясь за васъ, я велѣлъ слѣдить за нимъ. Мнѣ говорятъ, что онъ постоянно сносится съ Фрейеромъ и Браузе. Я подозрѣваю его въ какой нибудь хитрой штукѣ.

— Въ такомъ случаѣ надо бы бросить это дѣло съ нимъ.

Ксендзъ замолчалъ и подумалъ минуту.

— Не принимайте меня за софиста,—проговорилъ онъ,—но надо быть осторожнымъ и осмотрительнымъ въ своихъ поступкахъ и не требовать отъ себя слишкомъ многаго. Вы не хотите продать нѣмцу—очень хорошо; но не можете же вы караулить, чтобы этотъ клочекъ земля никогда не попалъ въ ихъ руки. Если Ороховскій сдѣлаетъ этотъ грѣхъ, то онъ падетъ не на вашу совѣсть.

— Да, если бы я этого не предвидѣлъ,—возразилъ Григорій,—но если предвидѣлъ и не принялъ мѣръ, то дѣло другое.

На другой день Любаховскій послалъ Ороховскому письмо съ требованіемъ немедленно покончить дѣло. День былъ прекрасный, сухой и сравнительно теплый. Одѣтый по домашнему, съ палкой, служившей ему въ послѣдніе годы въ его ежедневныхъ прогулкахъ по хозяйству, никому ни слова не говоря, собрался панъ Григорій обойти въ послѣдній разъ свои поля, проститься съ лѣскомъ, взглянуть еще разъ на постройки.

Дыданъ, который издали постоянно слѣдилъ за нимъ, потащился за старикомъ, боясь, какъ бы тотъ, слишкомъ огорченный, не ослабѣлъ гдѣ нибудь въ этой прощальной прогулкѣ. Всѣ, кончая даже работниками, поняли старика, и слезы навернулись у нихъ на глазахъ.

Всѣ видѣли, какъ медленно, шагъ за шагомъ, тащился старичекъ, и останавливался. На нѣкоторыя изъ плодовыхъ деревьевъ, которыя онъ самъ прививалъ, онъ клалъ руку—онъ прощался съ ними. Быть можетъ, и въ нихъ что-то дрогнуло.

Его развлекали и успокоивали воробьи, которымъ онъ сыпалъ иногда зерно, летавшіе теперь вокругъ него, сопровождавшіе его цѣлой стаей.

Природа, не раздѣляя его печали, улыбалась радостнымъ днемъ, яснымъ. Дорожка вела изъ сада въ лѣсъ. Она шла по высокому берегу рва, выкопаннаго для осушки полей. Дыданъ видѣлъ, какъ онъ наклонился, чтобы посмотрѣть не засыпался ли онъ.

До дороги въ лѣсъ онъ раза два останавливался, опирался на палку и осматривался вокругъ. Отсюда онъ могъ видѣть границы своихъ небольшихъ владѣній. Съ одной только стороны ихъ заслонялъ лѣсокъ. Въ то время, когда ему досталось Любахувка, лѣсъ былъ страшно истребленъ, въ немъ оставалось только нѣсколько старыхъ деревъ. Панъ Григорій засадилъ вырубленный лѣсъ и теперь это былъ уже порядочный лѣсокъ. У самаго края стоялъ вѣковой дубъ, который уважали всѣ владѣльцы. Пень у него былъ точно высѣченный изъ камня, вѣтви грубыя, часть которыхъ уже высохла, не вездѣ листья покрывали его, но онъ выглядѣлъ очень величественно, точно стражъ границы, какъ отецъ семейства, которое его окружало. Любаховскій присматривался ему издалека, потомъ подошелъ къ нему, обошелъ его вокругъ и долго стоялъ подъ нимъ, опершись на палку, и думалъ. Потомъ межей, по серединѣ полей, часть которыхъ была засѣяна, онъ вернулся назадъ домой. Здѣсь, въ полѣ онъ встрѣчалъ груши, на вѣтвяхъ которыхъ висѣли палки, бросаемыя осенью пастухами; онъ прошелъ на межѣ нѣсколько камней, обросшихъ мхомъ.

Хозяйственныя постройки, разбросанныя довольно широко, онъ обошелъ всѣ.

Старый дворовый песъ, съ торчащей шерстью, съ ошпареннымъ бокомъ, притащился къ барину, понюхалъ его, помахалъ хвостомъ и вернулся въ свою берлогу.

Дыданъ, слѣдившій за нимъ издали, рѣшилъ, что теперь онъ можетъ уже подойти. Немножко дальше стоялъ и экономъ, ожидая, не позовутъ-ли его.

Онъ обратился къ Дыдану, какъ-бы доканчивая свою мысль:

— Съ этой стороны надо было непремѣнно загородить въ этомъ году.

— А пускай себѣ Ороховскій городитъ,—сказалъ Дыданъ.

— Хорошій плетень изъ хвороста держится гораздо дольше, чѣмъ кажется,—прибавилъ старикъ,—но и изъ хвороста надо строить аккуратно.

Дыданъ не возражалъ.

Вмѣстѣ вошли они черезъ калитку на дворъ передъ домомъ. Когда-то, когда старикъ почучилъ Любахувку, онъ былъ совсѣмъ голый; онъ самъ обсадилъ его вокругъ тополями, липами, а между ними густо росли сирень, розы, акація. Маленькій полисадникъ подъ самыми окнами, окруженный бѣлымъ березовымъ плетнемъ, заключалъ теперь только сухіе стебли растеній и цвѣтовъ.

Старикъ остановился здѣсь, оперся обѣими руками на палку и остался на мѣстѣ какъ прикованный. Этотъ маленькій полисадничекъ находился подъ присмотромъ Марыни, которая сама садила здѣсь цвѣты, поливала, ухаживала за ними, забавлялась ими, дѣлала изъ нихъ букеты отцу, имѣла даже здѣсь свою маленькую лавочку, на которой сидѣла, когда эта часть двора была въ тѣни.

Толпой хлынули воспоминанія дней, проведеныхъ здѣсь съ ней, о томъ счастьи, какимъ они наслаждались, пока Треубеннеры не купили Lubokau и не пріѣхали поблагодарить его за сосѣдскую услугу.

А потомъ, потомъ Марія привязалась къ человѣку, ради котораго должна была отречься отъ всѣхъ и отъ всего. Вся жизнь этого единственнаго возлюбленнаго ребенка такъ ясно представилась ему, такъ стѣснила его сердце, что онъ совершенно забылъ о себѣ.

Что осталось теперь отъ всѣхъ тѣхъ надеждъ, отъ прошлаго счастья?

Съ садикомъ Марыни онъ никакъ не могъ разстаться. Ему какъ-то странно было представить себѣ, что кто-нибудь чужой, хотя-бы даже Ороховскій, будетъ хозяйничать въ этомъ дорогомъ садикѣ. Дыданъ, стоявшій не вдалекѣ, казалось, ожидалъ приказаній, старикъ чувствовалъ, что онъ гдѣ-то близко, обратился къ нему и подозвалъ.

— Дыдась,—тихо сказалъ онъ,—зачѣмъ намъ оставлять чужимъ хотя-бы сухія палки, по которымъ текли наши слезы,

чтобы они надругались надъ ними? Мы все отдаемъ имъ въ цѣлости, но садика этого мнѣ жалко, пусть и онъ исчезнетъ вмѣстѣ съ нами. Эти розы садила Марыня. Вели ихъ вырвать и сжечь. Плетень тоже. Понимаешь?

Дыданъ отлично понималъ это.

— Ахъ, будьте спокойны, они вѣдь покупаютъ Любахувку не для забавы и не для цвѣтовъ и готовы посадить здѣсь капусту. Это извѣстно.

Старый панъ Григорій медленными шагами вошелъ въ домъ.

Принужденный кончать дѣло, платить деньги и брать купленное имѣніе, Ороховскій послѣ долгаго колебанія обѣщалъ наконецъ пріѣхать съ нотаріусомъ, купчей и деньгами.

Этого только и ждалъ старикъ, чтобы уѣхать, не пользуясь продолженіемъ срока. Онъ хотѣлъ избѣжать самопожертвованія дочери. Его тревожила только судьба несчастнаго Гриши, который принесъ себя въ жертву любви къ нему и къ матери. Ему казалось, что отецъ навѣрное выхлопочетъ смягченіе кары малолѣтнему преступнику; но, съ другой стороны, кто не знаетъ, какъ неумолима для всѣхъ и безъ исключенія прусская дисциплина?

— Ѣхать! ѣхать! мы не нуждаемся въ милости! Ѣдемъ.

Въ назначенный день явился Ороховскій, такой кислый, смущенный, недовольный, какъ будто онъ собирался обдѣлать невыгодное для себя дѣло, принести жертву. Любаховскій съ нетерпѣніемъ встрѣтилъ его. Начали писать купчую.

Старикъ требовалъ помѣстить тамъ пунктъ, чтобы помѣстье это никогда не могло перейти въ руки человѣка другой націи и религіи. Ороховскій протестовалъ.

— Зачѣмъ это писать! Зачѣмъ навлекать на себя ихъ месть! Я не намѣренъ подвергать себя опасности изъ-за Любахувки.

— Вы мнѣ это обѣщали!—вскричалъ панъ Григорій.

— Ну, я не спорю, и даю вамъ слово, что буду стараться избѣжать этого; но вписывать въ купчую? Купчая вѣдь должна быть вписана въ актовую книгу.

— Вы не можете отвѣчать за условіе, поставленное мною. Ясно, что это моя вина.

Ороховскій сдѣлалъ порывистое движеніе.

— Условія этого я не признаю.

— А я отъ него не отступаюсь, — сказалъ Любаховскій.

— Что-же будетъ?— спросилъ Ороховскій.

— Ничего не будетъ,—рѣшительно отвѣчалъ Любаховскій.

Ксендзъ взглянулъ на него.

— Если онъ дастъ слово...—вмѣшался онъ.

— Почему же онъ не хочетъ написать этого слова? — сказалъ старикъ. — Онъ не можетъ подвергнуться отвѣтственности за мои требованія.

— Довольно у меня и безъ того хлопотъ, чтобы еще задѣвать теперь полицію и попасть подъ надзоръ!

Онъ пожалъ плечами.

— Я не могу возвратить вамъ задатокъ, — проговорилъ Любаховскій. — У меня нѣтъ ни гроша.

Ороховскій сталъ что-то бормотать, посматривая на декана. Ксендзъ Романъ принялся уговаривать обоихъ, чтобы они какънибудь поладили. Ручательство свое Ороховскій могъ выдать частнымъ документомъ.

— Не дамъ письменнаго обязательствава! — кричалъ Ороховскій.

Поладить было невозможно. Такъ какъ панъ Григорій не могъ вернуть денегъ, то невольно возникалъ вопросъ, долженъли онъ былъ вернуть ихъ въ томъ случаѣ, когда Ороховскій не желалъ вписать въ купчую пунктъ, который онъ прежде принялъ.

Ксендзъ былъ того мнѣнія, что ничто не обязываетъ его къ возврату.

— Не знаю, что въ данномъ случаѣ говоритъ законъ, — проговорилъ Любаховскій, — но я не хочу присвоивать себѣ чужую собственность. Во всякомъ случаѣ, я долженъ отдать, и прошу только подождать, потому что у меня нѣтъ денегъ.

Ороховскій молчалъ, но казалось былъ очень доволенъ этимъ недоразумѣніемъ и не торопился съ разрѣшеніемъ его.

Все такъ и осталось не рѣшеннымъ; подали обѣдъ, пошли къ столу. Все время обѣда покупатель сидѣлъ угрюмо, ѣлъ мало, думалъ и морщился. Любаховскій ни до чего не дотронулся: говорилъ, что постится; одинъ только ксендзъ Романъ закусывалъ, да и то какъ-то разсѣянно.

Жабская принуждена была вести съ нимъ разговоръ, чтобы не давать воцариться зловѣщему молчанію.

Во время обѣда ее вызвали.

Она долго не являлась, что, впрочемъ никого не удивило; а когда вернулась, то шаталась на ногахъ, хваталась за стулья, и добравшись до своего мѣста, сѣла съ такимъ смущеніемъ, что ксендзъ испугался. Она налила себѣ стаканъ воды и торопливо вышила. Разговоръ послѣ этого уже какъ-то не вязался.

Послѣ обѣда снова начались споры. Ороховскій сталъ мало-по-малу уступать и согласился уже на особенный частный документъ, обезпечивающій, что онъ никому не продастъ этого имѣнія, какъ только католику и поляку.

Ксендзъ воспользовался свободной минутой и подойдя къ Жабской, тихо спросилъ ее:

— Что съ вами случилось?

— Я не могу здѣсь говорить,—отвѣчала Жабская,—ради Бога, зайдите ко мнѣ. Страшное несчастіе случилось, я теряю голову, нашъ панъ этого не переживетъ.

Говоря это, она вышла. Ксендзъ Романъ употребилъ все свое вліяніе, весь свой авторитетъ на то, чтобы поскорѣе уладить окончательно дѣло продажи, и покончивъ его, вышелъ за Жабской. Онъ засталъ ее въ ея комнатѣ, на колѣняхъ передъ иконой, въ слезахъ.

— Ахъ, отецъ, отецъ, — заговорила она, увидѣвъ его, и, шатаясь, пошла ему навстрѣчу.—Господь Богъ поразилъ насъ. Я получила письмо отъ нашей барыни, она лежитъ и—не знаю, встанетъ-ли. Она прислала съ этимъ письмомъ свою довѣренную прислугу, чтобы та разсказала намъ о несчастіи, которое сама барыня не въ силахъ была описать. Вы знаете, что Гриша, благодаря чьему-то низкому, подлому доносу, схваченъ былъ жандармами. Бѣдный малый, говорятъ, былъ въ отчаяніи. Когда привезли его на мѣсто, гдѣ должны были судить, такъ какъ онъ вторично дезертировалъ, съ нимъ обходились очень строго, несмотря на отца. Надѣли ему на руки кандалы, а такъ какъ онъ отвѣчалъ бойко, смѣло и дерзко, то даже просьбы отца не подѣйствовали, чтобы судьи приняли во вниманіе его молодость, его благородныя побужденія. Оказывается, что у Гриши либо были друзья, либо онъ сумѣлъ пріобрѣсти ихъ,

довольно того, что онъ нашелъ средство распилить себѣ кандалы и спустился на одѣялѣ и простынѣ изъ окна. Онъ настолько хорошо зналъ мѣстность, что могъ проползти нѣсколько шаговъ по землѣ, добраться до частокола, который онъ конечно легко перелѣзъ-бы, какъ отличный гимнастъ. Разъ уже очутившись за ней, Гриша имѣлъ все наготовѣ, чтобы съ быстротой молніи пробраться за границу. Повидимому, все шло счастливо. Ему удалось благополучно спуститься внизъ по импровизированной веревкѣ, но когда онъ поползъ по землѣ, направляясь къ частоколу, часовой замѣтилъ его и окликнулъ. Гриша вскочилъ и во весь духъ побѣжалъ къ частоколу, такъ какъ все равно ему уже нечего было терять, надѣясь при томъ на свою большую ловкость. Онъ былъ уже на частоколѣ, когда часовой прицѣлился и выстрѣлилъ.

Ксендзъ болѣзненно вскрикнулъ:

— Убили его?

— Ахъ, убили его, убили!—Смертельно раненый въ грудь, онъ еще жилъ нѣсколько часовъ. Дали знать отцу и матери; на ея рукахъ онъ и скончался. Наша добрая барыня лежитъ теперь въ постели, по временамъ теряя разсудокъ. Говорятъ, что мужъ высказываетъ большую заботливость, но перенесетъ-ли она такой ударъ! А что будетъ съ нашимъ бѣднымъ старикомъ, когда онъ узнаетъ объ этомъ горѣ?!

— Надо скрыть отъ него это несчастье, — проговорилъ ксендзъ. Пускай уѣзжаетъ отсюда. Дочь можетъ выздоровѣть и пріѣхать къ нему. Это будетъ утѣшеніемъ имъ обоимъ.

Ксендзъ Романъ говорилъ такъ, но и самъ не очень-то вѣрилъ, чтобы можно было спасти разбитаго жизнью Любаховскаго. Жабская заливалась слезами.

— Ради Бога, не выдай себя плачемъ!—напомнилъ ксендзъ.

Когда надо было вернуться въ комнату, гдѣ совершилась купчая, у него самого не хватило силъ явиться съ веселымъ лицомъ. Любаховскій сейчасъ же замѣтилъ въ немъ перемѣну.

— Что съ вами, отецъ мой?—спросилъ онъ.

— Жаль мнѣ Любахувки, а еще больше — васъ, которые насъ покидаютъ; мы съ Жабской всплакнули.

— Не было-ли тамъ письма отъ Марынки?—подозрительно спросилъ онъ.

— Не знаю; но Жабская навѣрное мнѣ сказала-бы, — отвѣчалъ ксендзъ. — Не пишетъ она, повидимому, потому, что скоро сама надѣется пріѣхать.

— Прежде всего она должна похлопотать за Гришу,—прибавилъ панъ Григорій. — Жаль мнѣ мальчугана и я ужасно боюсь за него. Вы знаете, какъ строги прусскіе законы, какъ строго караютъ они малѣйшій проступокъ противъ дисциплины, а онъ дважды у нихъ бѣгалъ.

— Онъ малолѣтній; каждый кодексъ принимаетъ это во вниманіе,— сказалъ ксендзъ.

Такимъ образомъ удалось нѣсколько отвлечь мысли старика отъ послѣдствій бѣгства внука. Ороховскій сталъ считать деньги, не опустивъ случая подпустить всѣ акціи провинціальныхъ банковъ, саксонскіе билеты, ганноверскіе, которые ему трудно было сбыть съ рукъ. Къ счастью, ксендзъ контролировалъ и, замѣтивъ это, сдѣлалъ строгое внушеніе спекулянту, который, поцѣловавъ ему руку, взялъ обратно всѣ эти бумаги и долженъ былъ расплатиться прусскими билетами.

Теперь у Любаховскаго не было никакихъ препятствій, онъ могъ ѣхать когда угодно. Онъ самъ готовъ былъ ускорить отъѣздъ, отдавалъ приказанія и необходимыя распоряженія, но въ рѣшительную минуту всегда являлось что-нибудь, что, какъ будто нечаянно, затягивало его отъѣздъ.

Въ эту ночь, послѣ отъѣзда Ороховскаго, на фольваркѣ, куда собралась вся дворня, Жабская разсказывала имъ объ участи, постигшей бѣднаго Гришу!

Дыданомъ овладѣла такая дикая жажда мести, такое безуміе, что Ходзибуй испугался за него. Онъ торжественно поклялся, что отмститъ за кровь бѣднаго юноши, хотя-бы съ опасностью для собственной жизни.

Экономка, не смотря на свое собственное отчаяніе, зная свою власть надъ нимъ, стала его усмирять.

— Оставь ты эти угрозы,—говорила она.—Что бы сказалъ на это нашъ старый панъ, если бы слышалъ тебя, онъ, который постоянно твердилъ намъ о прощеніи. Вѣдь мы христіане, и то-то и отличаетъ насъ отъ язычниковъ и людей другихъ религій, что намъ запрещена месть. Гришу вѣдь все равно не вызовешь изъ гроба тѣмъ, что самъ сдѣлаешь преступленіе.

— Развѣ вы думаете, что я этого не знаю? — вскричалъ Дыданъ. — Но человѣкъ перестаетъ владѣть собой, когда такое отчаяніе овладѣетъ имъ. Что теперь будетъ съ нашимъ бѣднымъ паномъ!

— Пускай бы ужъ уѣзжалъ поскорѣе отсюда и мы съ нимъ,—прервала экономка, — покрайней мѣрѣ можно будетъ дольше скрывать передъ нимъ истину, а тутъ того и гляди, какое-нибудь неосторожное слово,—и все откроется.

Итакъ, рѣшили уговаривать старика къ отъѣзду и ускорить разставаніе съ Любахувкой. Ходзибуй съ женой должны были еще остаться для сдачи хозяйства.

Оказалось однако, что никто не могъ этого сдѣлать такъ хорошо, какъ Дыданъ, и потому старикъ хотѣлъ поручить это ему. До поздней ночи всѣ сидѣли и разговаривали о своей несчастной долѣ, а Кристина все бѣгала къ Жабской, ухаживая за старушкой.

Дыданъ, заходя къ старику, радовался, что находилъ его немного спокойнѣе. Каждый разъ приходя къ нему, онъ получалъ приказанія, относительно укладыванія и отъѣзда.

Слѣдующій день былъ пятница, относительно которой нѣмцы имѣютъ тѣже предразсудки, какъ мы относительно понедѣльника. Предразсудокъ этотъ мало-по-малу сталъ уже распространяться и среди поляковъ.

Любаховскій, не желая въ этомъ сознаться, подъ какимъ-то предлогомъ перенесъ день отъѣзда на субботу; потомъ, найдя субботу неудобной по причинѣ еврейскаго шабаша, окончательно назначилъ день отъѣзда на вторникъ.

Вѣрнѣе всего, онъ все откладывалъ потому, что надѣялся получить какое-нибудь извѣстіе отъ дочери. Нѣсколько разъ онъ намекалъ экономкѣ, чтобы она съѣздила въ Берлинъ и привезла ему отъ Марынки какія-нибудь утѣшительныя извѣстія о Гришѣ; но всегда готовая на всякія услуги, Кристя на этотъ разъ ни за что не хотѣла понять, чего онъ отъ нея хотятъ.

Случай съ молодымъ Треубернеромъ былъ слишкомъ трагиченъ, да и самъ онъ принадлежалъ къ слишкомъ извѣстной фамиліи, чтобы остаться не замѣченнымъ.

Газеты, жаждущія подобныхъ исторій, чтобы потомъ долго питаться ими, съ жадностью принялись расписывать о семей-

ствѣ преступника, о причинахъ, побудившихъ его на такой шагъ и т. п. При этомъ, само собой разумѣется, не забыли указать на то, что его мать была полька, — и въ его происхожденіи видѣли причину преступленія. Это подало давно желанный поводъ глумиться надъ поляками.

Спустя нѣсколько дней послѣ смерти бѣднаго юноши, всѣ берлинскія газеты были переполнены самыми ужасными сплетнями, самыми злостными предположеніями. Къ счастью, Любаховскій изъ принципа давно уже бросилъ читать нѣмецкія газеты, такъ что не надо было слѣдить за тѣмъ, какъ-бы они не попали ему въ руки. Онъ получалъ только «Курьеръ», а такъ какъ онъ доставлялъ ему минутное развлеченіе, то ему аккуратно приносили его. Никто въ него и не заглядывалъ.

„Курьеръ“ вообще мало помѣщалъ этихъ уголовныхъ хроникъ, которыми переполнены бываютъ другія газеты, но злобная статья какой-то нѣмецкой газеты, упиравшей на то, что мать Гриши была полькой,—заставила его напечатать отвѣтъ.

Никто и не подозрѣвалъ этого, когда въ понедѣльникъ вечеромъ, наканунѣ отъѣзда, передъ Любаховскимъ положили послѣдній нумеръ „Курьера“. Старикъ принялся читать. Всѣ были на фольваркѣ онъ одинъ былъ въ домѣ.

Прошло уже часа два, когда Дыдану вздумалось провѣдать старичка. Были сумерки; онъ велѣлъ подать свѣчу, а самъ потихоньку вошелъ въ комнату.

Первое, что бросилось ему въ глаза, это былъ скомканный нумеръ „Курьера“, лежавшій подъ столомъ. Онъ не нашелъ старика ни въ креслѣ, ни на одномъ изъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ онъ обыкновенно сидѣлъ. Дыданъ подумалъ-было, что онъ прошелъ въ спальню, какъ вдругъ пришедшій съ огнемъ мальчикъ вскрикнулъ на порогѣ.

Любаховскій сидѣлъ передъ диваномъ съ поникшей головой. Дыданъ бросился къ нему.

Старикъ былъ безъ чувствъ, въ обморокѣ, но жизнь еще не покинула его.

— За докторомъ! — закричалъ Дыданъ, а самъ положилъ его на диванъ и сталъ приводить въ чувство.

Въ одно мгновеніе, созванные его крикомъ, прибѣжали экономка, Жабская, вся прислуга, дворня и съ плачемъ и стономъ, окружили ложе больного.

Старикъ тяжело вздохнулъ и медленно раскрылъ глаза. Ему подали воды, стали растирать, согрѣвать и, къ великой радости, экономка и Дыданъ замѣтили, что онъ понемногу приходитъ въ ссбя.

Посланный за докторомъ, встрѣтивъ сго на дорогѣ, привезъ гораздо раньше, чѣмъ ожидали.

Молодой докторъ, полякъ, уважавшій и любившій старика, сейчасъ же осмотрѣлъ его и принялъ мѣры, чтобы опасность, угрожавшая его жизни, не повторилась.

Любаховскій съ трудомъ могъ говорить, но во всемъ остальномъ былъ нормаленъ, онъ постепенно успокоивался, плакалъ и молился.

Несмотря на упадокъ силъ, оставшійся послѣ обморока, онъ старался превозмочь его и не поддаться, и когда, пріобрѣлъ способность говорить, то выразилъ желаніе ѣхать къ дочери.

Докторъ прямо объявилъ, что не можетъ позволить этого въ интересахъ ихъ обоихъ, а такъ какъ онъ главнымъ образомъ настаивалъ на томъ, какое впечатлѣніе должно было это произнести на Марынку, то Любаховскій съ покорностью принялъ это рѣшеніе.

Кристина предложила теперь свои услуги, — не медля ни минуты поѣхать въ мѣстечко, откуда съ первымъ поѣздомъ отправиться въ Берлинъ и привезти ему извѣстіе о дочери.

Докторъ былъ пораженъ самообладаніемъ Любаховскаго.

— Другіе то были люди,—думалъ про себя молодой докторъ.—Школа несчастія научила ихъ страдать и стоять твердо на своемъ посту. Мы отлично развиваемъ въ себѣ гимнастикой мускульную силу, но силы духа у насъ нѣтъ.

Когда Жабская стала подъ утро со слезами разспрашивать его о здоровьи стараго пана, онъ отвѣчалъ успокоительно.

— Такіе мужи стараго закала,—сказалъ онъ ей,—умираютъ, когда сами того хотятъ. Никакая болѣзнь не можетъ ихъ сломить. Слава Богу, ему гораздо лучше, опасность уже миновала.

Дѣйствительно, подъ утро старикъ заснулъ довольно спокойнымъ сномъ, въ обыкновенное время всталъ, помолился, потребовалъ одѣться и долго разговаривалъ съ докторомъ, который съ удивленіемъ смотрѣлъ на него. Правда, онъ ошибся

въ діагнозѣ и предсказаніи своемъ относительно больного, но— къ лучшему. Онъ поражался этой силой, приписывая ее крѣпкому организму старика, тогда какъ у него былъ могучій духъ.

Докторъ былъ увѣренъ, что уже нѣтъ опасности и что скоро на Любаховскомъ и слѣда не будетъ отъ пережитаго кризиса.

Только Дыданъ и остальная прислуга замѣтили въ немъ какую-то перемѣну, которую не могли себѣ объяснить. Черты лица его были тѣ же, но выраженіе совсѣмъ другое. Какая-то торжественная важность облекла ихъ, взоръ его смотрѣлъ на землю, но, казалось, искалъ какіе-то призраки, невидимые для людей. Онъ ходилъ, не глядя впередъ, руководясь инстинктомъ, тогда какъ взоръ его блуждалъ гдѣ-то далеко.

Со времени отъѣзда Кристи, которая должна была привезти ему извѣстіе о дочери, онъ считалъ часы и минуты, не могъ ничѣмъ другимъ заняться.

Въ тотъ же день онъ еще заказалъ въ ближайшихъ костелахъ заупокойныя обѣдни за душу внука и у своего ксендза заказалъ торжественную панихиду.

Цѣлый день онъ ни о чемъ не говорилъ, ни о чемъ не просилъ, кромѣ этой панихиды, на которой онъ желалъ присутствовать.

Экономка между тѣмъ спѣшила къ Марынкѣ и прямо съ вокзала поѣхала къ ней.

Худая, желтая, съ глазами, пылающими отъ внутренняго жара, лежала въ постели несчастная мать, ускоренное и тяжелое дыханіе которой слышно было среди окружающяго ее молчанія. Замѣтивъ Кристю, она протянула бѣлыя руки.

— Отецъ!—вскричала она.

— Онъ меня къ вамъ прислалъ,—проговорила экономка.— Самъ онъ не имѣлъ силъ пріѣхать, но я могу васъ увѣрить, что онъ принялъ этотъ тяжелый ударъ какъ истинный христіанинъ, уповая на Божественное Провидѣніе. Одно время мы боялись за него, но теперь онъ уже на ногахъ.

Марынка сложила руки какъ бы для молитвы.

— Теперь у меня уже никого нѣтъ на свѣтѣ, кромѣ одного его; другой мой сынъ принадлежитъ отцу, онъ не мой.

Она покачала головой.

— Онъ не мой; я ему не нужна. Мужу я тоже помѣха.

Если бы я могла тронуться съ мѣста, я поѣхала бы съ тобой ухаживать за отцомъ; но я не могу подняться.

— Насколько я знаю,—прервала Кристина,—нашъ панъ вовсе не желаетъ отрывать васъ отъ дома. Онъ желалъ бы васъ видѣть, но самъ сталъ бы отговаривать васъ отъ поѣздки.

— Изъ жалости ко мнѣ онъ долженъ взять меня отсюда,—проговорила Марынка—здѣсь все мнѣ напоминаетъ о моей ошибкѣ, которую такъ жестоко покаралъ Господь. Ахъ, мой дорогой, мой добрый Гриша!.. Если бы только видѣла его съ закрытыми глазами и съ блѣднымъ лицомъ въ гробу! Какъ онъ былъ прекрасенъ, онъ будто улыбался!.. Должно быть, ему пріятно было покидать эту юдоль плача.

Послышался стукъ въ двери, вошелъ осторожно Треубернеръ, который узналъ, что пріѣхалъ кто-то, посланный отъ отца. Человѣкъ этотъ, до сихъ поръ казавшійся невозмутимымъ, выглядѣлъ теперь какъ приговоренный къ смерти, взоръ его какъ-то странно блуждалъ, походка была неувѣренная.

Видя, что онъ подходитъ къ кровати, жена тихо отвернулась, избѣгая его взгляда и разговора. Понявъ это, онъ не подошелъ ближе, шепнулъ что-то Кристѣ, спросилъ у сидѣвшей у постели сестры милосердія о докторѣ, немного постоялъ и вышелъ медленными шагами.

Услыхавъ, что онъ вышелъ, Марынка обратилась къ Кристѣ.

— Не зачѣмъ тебѣ сидѣть при мнѣ,—возвращайся къ отцу, берегите его, утѣшайте. Пусть ѣдетъ отсюда, далеко; здѣсь самый воздухъ отравленъ ненавистью. Ахъ, не могу долѣе выдержать, не хочу, пойду за моимъ Гришей.

— У васъ есть другой сынъ,—замѣтила экономка.

— Я говорила тебѣ: у меня нѣтъ никого; онъ принадлежитъ отцу, онъ нѣмецъ, онъ меня не знаетъ. Не нуждается во мнѣ, и я не хочу мучиться изъ за него на этомъ свѣтѣ.

Она начала тихо плакать. Кристя цѣловала ея холодныя руки, прося успокоиться.

Поздно ночью явился домашній докторъ съ другимъ еще, взятымъ имъ на помощь. Жаръ уже увеличивался и положеніе больной говорило, что минута развязки приближается. Кристина, не предвидѣвшая этой страшной катострафы, только

тогда поняла страданія Марынки, когда докторъ по обязанности шепнулъ, что пора позвать духовника.

Предупреждая его, Марынка сама позвала ксендза.

Для экономки, не понимающей, какъ это горе могло такъ быстро сломить жизнь, это былъ неожиданный ударъ!

Опять пришелъ мужъ и подошелъ къ кровати, но и на этотъ разъ она закрыла глаза, чтобы не видѣть его и ничего не отвѣчала, когда онъ съ ней заговорилъ.

Приходъ ксендза заставилъ всѣхъ удалиться изъ комнаты.

Послѣ религіознаго обряда, больная заснула отъ утомленія, а Кристина снова усѣлась у ея кровати.

Утромъ, бѣлый саванъ уже покрывалъ ложе, передъ которымъ стоялъ на колѣняхъ Треубернеръ, вмѣстѣ со своимъ сыномъ, и молился.

Кристи уже нечего было здѣсь дѣлать; какъ опьянѣвшая, вышла она изъ комнаты, думая только о томъ, какъ она вернется въ Любахувку и что скажетъ старому отцу.

— Изъ жалости, я не могу сказать ему всей правды—думала она, садясь въ вагонъ.—Я привезу ему поклонъ и это желаніе покойницы, чтобы онъ уѣзжалъ, какъ можно скорѣе.

По дорогѣ, она мечтала, плакала, засыпала отъ утомленія и просыпалась съ испугомъ. Пріѣхавъ въ мѣстечко, она должна была остановиться отдохнуть у Губы, прежде чѣмъ ѣхать въ Любахувку. Думая о своемъ пріѣздѣ туда, она теряла всю храбрость и рѣшительность. Она не знала, сумѣетъ-ли соврать.

Въ гостиницѣ Губы, несмотря на грозное положеніе, на борьбу двухъ раздраженныхъ націй, веселились шумно. Стучали бильярдные шары, слышенъ былъ звонъ кружекъ, раздавались голоса краснорѣчивыхъ ораторовъ, проповѣдывавшихъ ненависть къ полякамъ. Кристина ушла въ комнату Рузи, а, когда старый Губа всталъ передъ ней, не смѣя разспрашивать, она сказала:

— У насъ все кончено! Гришу застрѣлилъ солдатъ, мать убила таже пуля, теперь очередь за нашимъ старикомъ, который уже одной ногой въ гробу. И все это проклятые нѣмцы!

— Ради Бога!—прошепталъ Губа,—перестань. Молчи. Что, если бы кто услыхалъ!

Она пожала плечами.

— Никого здѣсь не было отъ насъ, изъ Любахувки?— спросила она.

— Мужъ вашъ пріѣзжалъ,—прервала Рузя,—узнавать объ васъ. Отъ него мы узнали и про Фрейера.

— Что же, какую еще новую подлость выкинулъ нашъ пріятель?—спросила Кристина.

— Теперь ужъ онъ никому больше не будетъ вредить,— сказалъ Губа.—Я ему всегда такой конецъ предсказывалъ.

— Что же съ нимъ случилось?

— Онъ постоянно имѣлъ дѣло съ контрабандистами—это ихъ штука,—прибавилъ Губа.

— Какая штука?—выходила изъ себя экономка.

— Да развѣ же вы не знаете? Вѣдь это и въ газетахъ уже было,—сказалъ Губа,—что пограничная стража, объѣзжая утромъ границу, нашла его на землѣ, уже похолодѣвшаго, съ пулей въ груди. Выстрѣлъ, говорятъ, былъ такъ мѣтокъ, что пуля попала ему въ самое сердце.

Кристя вскрикнула, но въ ея крикѣ не было горя, а скорѣе изумленіе и радость.

— Производится слѣдствіе, потому что ни на кого нѣтъ ни малѣйшаго подозрѣнія; къ тому же Фрейеръ не имѣлъ теперь ни съ кѣмъ никакихъ споровъ.

Кристина задумалась и сморщила брови.

— Въ томъ нѣтъ ничего удивительнаго, — прошептала она.—Они подстрекаютъ два народа ко взаимной другъ къ другу ненависти; можно было предвидѣть, что это должно вызвать кровопролитіе. Тѣ, которымъ нѣмцы объявили войну, не могутъ любить ихъ.

Она встала и начала прощаться со старымъ Губой, который уже подавалъ ей знаки молчать.

— Мы, съ нашимъ старымъ паномъ, быть можетъ, даже ужъ и завтра тронемся отсюда, такъ какъ намъ дольше не зачѣмъ здѣсь сидѣть. Будьте здоровы, да сохранитъ васъ Господь.

Рузя съ плачемъ проводила ее на крыльцо. Она уже садилась въ телѣжку, когда подбѣжалъ Ридель, съ улыбкой на устахъ, представлявшій рѣзкій контрастъ съ ея глубокой грустью. Онъ непремѣнно хотѣлъ удержать ее, но она на него разсердилась.

— Я везу съ собой смерть!—вскричала она.—Не до шутокъ мнѣ теперь.

И телѣжка быстро помчалась въ Любахувку. Она была уже на полдорогѣ, какъ къ ней приблизился галопомъ, скакавшій по полямъ мужчина. Только вблизи она узнала въ немъ Дыдана.

— Вы знаете, что Фрейера убили, какъ собаку,—сказалъ онъ смѣясь.—Пуля попала ему въ самое сердце. Онъ только схватился за грудь, повернулся и упалъ лицомъ въ грязь, которая ему всегда была такъ пріятна.

Дыданъ дико захохоталъ.

— А вы откуда знаете, какъ онъ падалъ и умиралъ?—спросила экономка.

— Гей, гей, люди мнѣ говорили,—весело отвѣчалъ онъ.—Еще тутъ кое-кому слѣдуетъ получить по счету. Но въ концѣ концовъ заслуженную плату получатъ всѣ.

Онъ ѣхалъ съ ней рядомъ. У воротъ ждалъ мужъ съ распростертыми объятіями.

— Нашъ панъ?—вскричала она.

— Молится, слава Богу, спокоенъ. Докторъ говоритъ, что нѣтъ ни малѣйшей опасности... Я видалъ его черезъ окно. Лицо ясное, только глаза немного впали и щеки съежились.

Экономка уже сама бѣжала къ дому. Любаховскій почувствовалъ, что она пріѣхала и вышелъ къ ней навстрѣчу. Въ ту минуту, какъ она собиралась говорить и приготовилась врать, энергія бѣдной женщины вдругъ исчезла, и она разразилась страшнымъ плачемъ.

Старикъ, какъ стоялъ, такъ и упалъ на колѣни, снявъ шапку и сталъ вслухъ читать молитву.

— Помилуй, Господи, душу усопшей рабы твоей Марины. Аминь...

Дыданъ долженъ былъ подать ему руки, чтобы помочь встать, и довелъ до спальни. Кристина шла за ними, не говоря ни слова.

Онъ упалъ на свое старое кресло, въ груди его что-то душило, но онъ не могъ плакать. Экономку онъ ни о чемъ не спросилъ. Казалось, онъ примирился со всѣмъ и былъ спокоенъ.

Съ четверть часа прошло такъ въ нѣмомъ для всѣхъ ожиданіи, какъ вдругъ онъ поднялъ голову и сказалъ Дыдану:

— Дайте знать ксендзу, что я желаю его видѣть и убѣдительно прошу пріѣхать проститься со мною.

Услыхавъ это, Кристина обрадовалась, думая, что онъ собирается ѣхать на другой день; отъѣздъ изъ этихъ мѣстъ, окруженныхъ воспоминаніями,—было его единственное спасеніе.

Кристина все ждала, думая, что, быть можетъ, старикъ пожелаетъ разспросить ее; но старикъ хоть и смотрѣлъ на нее, однако, не говорилъ ни слова.

Пришла Жабская, бормоча что-то объ ужинѣ и жалуясь, что онъ во весь день ничего въ ротъ не бралъ.

— Мнѣ ужъ не надо ѣсть!—отвѣчалъ старикъ,—дайте мнѣ только воды, а то во рту пересохло...

Зажгли лампу, мальчикъ пришелъ раздѣвать его.

— Дай мнѣ воды умыться и принеси мнѣ чистое бѣлье; а Жабской скажешь, что хотя сегодня не день перемѣны, но желаю имѣть чистое бѣлье на себѣ...

Жабская сейчасъ-же принесла сама. Любаховскій старательно умылся, надѣлъ рубашку, свой старый халатъ и, раскрывъ книжку, началъ молиться.

Такъ прошла вся ночь.

Дыданъ, сидѣвшій насторожѣ, хотѣлъ уговорить его лечь, но онъ прогналъ его движеніемъ руки, а потомъ пробормоталъ:

— Иди ты спать.. тебѣ, молодому, сонъ нуженъ...

Вдругъ какая-то мысль поразила старика, онъ взглянулъ прямо въ глаза Дыдану, который не выдержалъ этого проницательнаго взора и смутился.

— Ты знаешь десять заповѣдей Господнихъ? — вдругъ спросилъ онъ.

— Знаю,—прошепталъ тотъ.

— Читай...

Запинаясь, началъ говорить Дыданъ.

— ...Пятая: не убій...

Старикъ остановилъ его, повторяя:

— Пятая: не убій!

И воцарилось глубокое молчаніе.

— Спи, если сегодня ты будешь въ состояніи спать,— прибавилъ Любаховскій и вернулся къ молитвѣ.

Подъ утро лампа на столѣ догорѣла. Любаховскій сидѣлъ въ креслѣ, со сложенными на груди руками, вѣки его были закрыты, уста слегка открыты, съ радостной, счастливой улыбкой...

Тихо, на цыпочкахъ, вошелъ пріѣхавшій ксендзъ Романъ. Онъ приблизился къ сидѣвшему, нѣжно положилъ ему на лобъ руку, дотронулся до его рукъ... и всталъ передъ нимъ на колѣни.

— Вѣчный покой дай ему, Господи, и свѣтъ вѣчный пусть свѣтитъ ему...

Старикъ уснулъ непробуднымъ сномъ, навѣки.

ПАНЪ ТВАРДОВСКІЙ.

ПОВѢСТЬ,

ОСНОВАННАЯ НА НАРОДНЫХЪ ПРЕДАНІЯХЪ,

І. КРАШЕВСКАГО.

ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія В. С. Балашевъ и Ко, Фонтанка 95
1899.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 16 ноября 1899 г.

Типографія „В. С. Балашевъ и К^ие^. Фонтанка, 95.

Отъ автора.

Повѣсть о Твардовскомъ есть первый опытъ обработки народнаго преданія. Ничего особеннаго не могу сказать о ней, кромѣ того, что опытъ спаиванія и склейки зеркальныхъ обломковъ, въ которыхъ не доставало кусковъ стекла, достигнутъ не безъ труда. Изъ всего однако выяснилось, что съ Твардовскимъ никто не былъ счастливъ.

Поляки, повидимому, взяли Твардовскаго изъ европейской западной легенды. Народная фантазія передѣлала его по своему, перекрестила и одѣла въ кунтушъ. Онъ потерялъ нѣмецкій характеръ, сдѣлался совершеннымъ и ждетъ теперь поэта, который бы воспѣлъ его, переработалъ и воспроизвелъ въ существо, дѣйствительно народное и поэтическое. Если бы, въ данную минуту, мы рѣшились сдѣлать что нибудь съ Твардовскимъ, мы поняли бы его совершенно иначе. Но пробы юношескихъ силъ я не намѣренъ касаться. Sit ut est.

Въ Твардовскомъ сохранились всѣ отрывки легендъ, связанныя, по возможности, съ полнымъ уваженіемъ къ буквѣ... Вникнувъ въ легенду, можно было бы поступить свободнѣе. Но замѣчаніе это—теперь несвоевременно; пусть идетъ въ міръ такъ, какъ навѣяло на насъ вдохновеніе времени.

Просмотрѣно чрезъ тридцать пять лѣтъ.

Дрезденъ 1884 г. **І. Крашевскій.**

Часть I.

I.

Какимъ образомъ на отца Твардовскаго напали разбойники и что изъ того послѣдовало.

Въ темную лѣтнюю ночь, какія бываютъ въ августѣ, по окрестностямъ Подгуржа проѣзжалъ шляхтичъ Твардовскій. На небѣ собирались тучи. Усталый конь, которому надоѣли острыя шпоры всадника, шелъ медленнымъ шагомъ, выбирая удобную тропинку, и, точно предчувствуя грозу, навастривалъ уши и поднималъ голову. Дорога проходила по лѣсной чащѣ и, размытая и изборожденная ливнями, представляла не мало труда, какъ для лошади, такъ и для всадника... Много страха испытывалъ бѣдный шляхтичъ. Темная ночь, освѣщаемая изрѣдка молніей, скрещивавшейся на горизонтѣ, замедляла путь; лошадь спотыкалась. Шляхтичъ тяжело вздыхалъ... Да и какъ было не взыхать ему!.. Дома ждала его молодая жена, которую онъ давно не видалъ и которую любилъ больше всего на свѣтѣ. Хоть Твардовскій былъ не изъ трусливаго десятка, но при такой ужасной темнотѣ и ему сдѣлалось страшно. Въ другое время онъ не побоялся бы ѣхать по какой угодно трущобѣ, но теперь, когда за сѣдломъ его висѣлъ мѣшокъ съ червонцами, вырученными отъ продажи имущества, оставшагося ему въ наслѣдство по смерти дяди, непріятно было бы встрѣтиться съ какимъ нибудь шатающимся бродягой. И лошадь, точно угадывая мысли своего господина и сочувствуя его страху, фыркала, останавливалась и дрожала. Твардовскому сдѣлалось

еще страшнѣе. Подъ вліяніемъ переживаемыхъ имъ страшныхъ минутъ, шляхтичъ съ большимъ ожесточеніемъ понукалъ коня, который не слушался и упирался, какъ лошакъ, точно его гнали въ пропасть или заставляли прыгнуть чрезъ высокую стѣну... Вдругъ молнія блеснула и передъ глазами Твардовскаго появилось нѣсколько разбойничьихъ лицъ.

— Стой,—крикнули они.

Вслѣдъ за этимъ раздалось нѣсколько выстрѣловъ и изъ ближайшихъ кустовъ выскочило еще нѣсколько разбойниковъ. Испуганный конь шарахнулся въ сторону, но одинъ изъ злоумышленниковъ сдержалъ его за поводья. Въ одно мгновенье шляхтичъ схватился за саблю, но замѣченныя имъ дула самопаловъ, направленныхъ въ него въ упоръ, охладили его неблагоразумный порывъ. Сознавая свое безсиліе, шляхтичъ опустилъ руку и въ отчаяніи вскричалъ:

— Спасите меня, если есть здѣсь живая душа!... Спаси меня хоть самъ дьяволъ!

Не успѣлъ шляхтичъ, окруженный злоумышленниками, выговорить послѣднихъ словъ и взмахнуть саблей, какъ вдругъ раздался чей-то страшный голосъ, который поразилъ не только Твардовскаго, но и разбойниковъ... Злоумышленники стояли, какъ истуканы, боясь тронуться съ мѣста и позабывъ о путешественникѣ... Вслѣдъ за раздавшимся голосомъ, послышался лошадиный топотъ и передъ нимъ очутилось нѣсколько всадниковъ, между которыми былъ одинъ гигантскаго роста и сидѣлъ на черномъ конѣ. Увидѣвъ ихъ, разбойники бросились въ кусты, а Твардовскій, пользуясь случаемъ, бѣжалъ безъ оглядки. Между тѣмъ, ночь становилась темнѣе; вѣтеръ свистѣлъ, а молніи скрещивались все чаще и чаще. Избавившись какимъ-то чудомъ отъ угрожавшей ему опасности, съ холоднымъ потомъ на лбу, Твардовскій, быстро миновавъ чащу, перевелъ духъ. Здѣсь онъ поблагодарилъ Господа за чудесное избавленіе его отъ разбойниковъ и хотѣлъ отъѣхать въ сторону, чтобы дать отдыхъ усталому коню. Не успѣлъ онъ сдѣлать нѣсколько шаговъ, какъ снова послышался лошадиный топотъ. Твардовскій съ безпокойствомъ оглянулся... передъ нимъ стоялъ его освободитель на черномъ конѣ. Блеснувшая молнія освѣтила блѣдное лицо незнакомца. Лицо это показа-

лось ему знакомымъ: онъ гдѣ-то видѣлъ его. Твардовскій на многовеніе призадумался и вдругъ вспомнилъ, что точно такое же лицо онъ видѣлъ въ краковскомъ костелѣ Дѣвы Маріи, на образѣ Архистратига Михаила, поражающаго копьемъ сатану. При этой мысли волосы шляхтича поднялись дыбомъ и холодная дрожь пробѣжала по всему тѣлу... крупныя капли пота выступили на лбу; онъ хотѣлъ перекреститься, но рука его точно окаменѣла и не двигалась съ мѣста!.. Онъ боялся даже оглянуться и усиленно началъ пришпоривать свою утомленную клячу.

А буря усиливалась и наконецъ превратилась въ ужасный ливень. Громъ съ страшнымъ трескомъ раскатывался надъ головою Твардовскаго; удары его отзывались эхомъ въ горахъ и какъ-то жалобно стонали и, умолкая на минуту, съ большею энергіей и силой разражались то отрывисто, то протяжно. Казалось, что небо разрывалось на части; молніи бороздили по немъ, бросая въ глаза путника электрическіе отблески. Ночь была по истинѣ фантастическая; между тѣмъ, ливень усиливался и немилосердно хлесталъ въ глаза, а вѣтеръ пронизывалъ до мозга костей. Вообразите ужасъ Твардовскаго, при такой фантастической обстановкѣ, когда онъ услыхалъ за собою слова незнакомца, раздавшіяся въ его ушахъ какимъ-то демоническимъ смѣхомъ:

— Здорово, пріятель!... Ты что же бѣжишь отъ меня, не поблагодаривъ за услугу!

— Здорово,—пробормоталъ шляхтичъ, стуча зубами, какъ въ лихорадкѣ.—Какая ужъ благодарность въ лѣсу!.. Добраться бы скорѣе куда нибудь, да спрятаться отъ бури, пообогрѣться, да обсушиться.

— Успокойся, дружище! до кормчы еще далеко, а отъ разбойниковъ—ты въ безопасности... Поѣзжай-ка, пріятель, потише... мнѣ нужно покалякать съ тобою.

Волей-неволей, нужно было послушаться своего страшнаго избавителя, который казался ему, въ данную минуту, опаснѣе разбойниковъ, и эта мысль ужасала его. Твардовскій сдержалъ клячу.

— Ты, дружище, звалъ меня и, какъ видишь, я къ твоимъ услугамъ,—началъ черный избавитель.

— Я?...—заикнулся шляхтичъ:—я?...

— Да, ты,—продолжалъ черный, разражаясь ужаснымъ смѣхомъ.—Припомни-ка, любезный: не ты ли звалъ на помощь дьявола!

— Да ты-то кто-же будешь?

— Я тотъ, кого ты призывалъ спасти,—хладнокровно отвѣчалъ черный:—я дьяволъ!

Страшная дрожь пробѣжала по тѣлу шляхтича и капли холоднаго пота оросили его лобъ и лицо. Тщетно старался онъ поднять руку и перекреститься, напрасно шевелилъ губами, чтобы произнести молитву: языкъ его точно приросъ къ гортани, а на рукахъ—висѣли пудовыя гири.

— Что же ты молчишь?.. Или ты недоволенъ моей услугой? Пойми, пріятель, что если-бы я не подоспѣлъ во время, разбойники съ тобой раздѣлались бы по своему, и ухнули бы твои денежки, какъ въ пропасть... А что было бы тогда съ твоей молодой женой?..

— Чего же ты хочешь отъ меня?.. Говори скорѣе, сатана,—пробормоталъ шляхтичъ.

— Успокойся, пріятель —я многаго не потребую отъ тебя: деньги мнѣ не нужны, а душа твоя охранена молитвами жены и ея милостынями нищимъ.

— Ну, такъ чего же ты желаешь отъ меня? Говори, да поскорѣе!..—ободрившись, повторилъ Твардовскій.

— Не торопись: ночь еще длинна, а у меня времени много.

Твардовскій глубоко вздохнулъ, но поневолѣ долженъ былъ повиноваться дьяволу. Они ѣхали шагомъ. Кляча шляхтича вздрагивала подъ нимъ.

— Возьми съ меня, что угодно,—сказалъ наконецъ Твардовскій,—только отпусти меня.

— Не торопись, любезный,—съ невозмутимымъ хладнокровіемъ отвѣчалъ дьяволъ:—корчма еще далеко,—успѣемъ поговорить.

— Да чего тебѣ нужно отъ меня, наконецъ?

— Именно объ этомъ я и думаю теперь, и хочу говорить...

„Часъ отъ часу не легче“, подумалъ Твардовскій.—Сердце его билось и какая-то необъяснимая тяжесть ложилась на грудь. Онъ не слыхалъ ни свиста вѣтра, ни грома, который

съ ужаснымъ трескомъ раздавался въ продолженіе всего пути, освѣщаемаго электрическими блестками молній: такъ страхъ его былъ великъ.

— Успокойся, я не разорю тебя,—сказалъ дьяволъ, смѣясь.—Ты отдай мнѣ то, о чемъ не думаешь и не гадаешь, на что не разсчитываешь, но что по возвращеніи своемъ застанешь дома.—Если ты согласишься отдать мнѣ это, то и самъ не разоришься, да и я не останусь въ накладѣ.

— Но что „это“, о чемъ ты просишь меня?

— Не знаю,—заливаясь смѣхомъ, отвѣчалъ дьяволъ.—Ты послѣ узнаешь о томъ... Вѣдь я не требователенъ, и мнѣ не нужно многаго.

Согласенъ,—сказалъ Твардовскій, послѣ минутнаго размышленія...—„Восемь мѣсяцевъ, какъ я уѣхалъ изъ дома,—прибавилъ онъ про себя:—что бы тамъ могло случиться?“

— Ты согласенъ?—съ радостью переспросилъ дьяволъ:—ты, не шутя, согласенъ,—повторилъ онъ:—слово?..

— Verbum (слово).

—„Verbum nobile debet esse stabile“ (благородное слово должно быть твердо)—добавилъ дьяволъ и, сдержавъ клячу Твардовскаго, указалъ на развѣсистый дубъ, стоявшій у дороги, подъ которымъ велѣлъ остановиться.

Буря продолжалась и дождь усиливался.

Когда всадники подъѣхали къ дубу, лошадь чернаго всадника исчезла, точно провалилась сквозь землю, и дьяволъ, очутившись на землѣ, началъ вынимать изъ кармана разныя вещи, между которыми Твардовскій замѣтилъ огарокъ сальной свѣчи, сдѣланной изъ человѣческаго сала; дьяволъ вынулъ изъ того же кармана длинный листъ пергамента и перо.

Операція эта совершилась въ минуту. Твардовскій сидѣлъ на лошади и съ трепетомъ ожидалъ, что будетъ дальше. Дьяволъ, взявъ огарокъ свѣчи, потеръ ее объ ногу и зажегъ. Сѣвъ подъ дубомъ и разложивъ пергаменъ на колѣняхъ, онъ началъ писать на немъ цирографъ (договоръ). Минуту спустя, дьяволъ подалъ рукопись шляхтичу. При тускломъ свѣтѣ огарка, Твардовскій прочелъ актъ, написанный по всѣмъ правиламъ закона, и взялся за перо, чтобы скрѣпить его своею подписью, но дьяволъ вдругъ схватилъ его за лѣвую руку, и

Твардовскій почувствовалъ легкій уколъ булавки. Дьяволъ обмокнулъ перо въ появившейся крови и подалъ его Твардовскому. Шляхтичъ безпрекословно повиновался и подписалъ условіе, послѣ чего имъ вдругъ овладѣла ужасная тоска... Онъ даже не взглянулъ на своего страшнаго спутника и избавителя и, повернувъ лошадь, помчался отъ него во весь карьеръ. Среди бури, дождя, молній и грома ему слышались ужасныя слова дьявола; громкій хохотъ его, казалось, раздавался позади шляхтича; но Твардовскій не въ состояніи былъ объяснить себѣ ни зловѣщаго его смѣха, ни странныхъ словъ, произнесенныхъ дьяволомъ, и только спрашивалъ себя, что бы это могло быть? Не крикъ ли совы, не шумъ ли вѣтра?

Но то былъ не крикъ совы, не свистъ вѣтра:—онъ зналъ, какъ кричитъ сова и какъ свиститъ вѣтеръ.

Раздосадованный и грустный, онъ спѣшилъ домой.

II.

Что нашелъ Твардовскій у себя дома.

Шляхтичъ издали замѣтилъ свой домъ, на которомъ бѣлѣлась труба и высилось на кровлѣ свитое гнѣздо аиста, а вскорѣ заблестѣлъ и прудъ, въ которомъ невозмутимо полоскались гуси и утки. Сердце Твардовскаго учащенно забилось; и чѣмъ ближе подъѣзжалъ онъ къ своему жилищу, тѣмъ сильнѣе билось его сердце и выраженіе лица становилось грустнѣе. Съ какимъ напряженнымъ желаніемъ стремился онъ къ своему родному крову; казалось, онъ готовъ былъ однимъ прыжкомъ перескочить отдѣлявшее его отъ дому пространство... онъ молился и плакалъ, думая о своей женѣ: здорова-ли? весела-ли? все-ли благополучно?—и тысячи подобныхъ мыслей тѣснились въ его воспламенившемся мозгу и онъ энергично понукалъ измученную клячу къ усиленнымъ скачкамъ... и опять молился и плакалъ, плакалъ и молился... Шуточное-ли дѣло не видѣть молодую жену въ продолженіе восьми мѣсяцевъ!

Онъ напрягалъ свой взглядъ съ цѣлью увидѣть кого нибудь на дорогѣ, кто бы разсказалъ ему о его женѣ, о домашнихъ;

не встрѣтитъ-ли его кто нибудь, не поджидаетъ-ли? Но, увы! напрасно онъ напрягалъ свое зрѣніе: на опустѣлой дорогѣ ничто не шелохнулось, вокругъ царствовало безмолвіе и покой; ни одной души не встрѣтилось ему на пути. Волей-неволей, нужно было сжиться съ мыслью, что нескончаемый путь когда нибудь приведетъ его къ конечной цѣли путешествія; между тѣмъ, минуты казались ему днями, а лошадь хромала и еле передвигала ноги. Невыразимое безпокойство овладѣвало всѣмъ его существомъ; ему становилось и жарко, и душно, и вдругъ холодно; потъ градомъ катился съ его лица, несмотря на то, что послѣ бури и ужаснаго ливня дневной жаръ давно уже ослабъ и солнце клонилось къ заходу.

Наконецъ цѣль его путешествія была достигнута: шляхтичъ подъѣзжалъ къ воротамъ своего жилища, которыя стояли открытыми настежъ; на дворѣ—ни живой души, на крыльцѣ — тоже. Скамеечка подъ липою, на которой любила посиживать по вечерамъ его несравненная Ганна, была пуста. Шляхтичъ нахмурилъ брови, сердце его сжалось отъ боли и на глазахъ навернулись слезы... Твардовскій заторопился, и заторопилась и кляча, почуявъ конецъ своему мученью и предвкушая лакомыя блюда сѣна и овса.

Вотъ онъ и у воротъ дома... Но что же это никто не встрѣчаетъ его? Твардовскій терялся въ догадкахъ и, соскочивъ съ лошади, взошелъ на крылечко, а затѣмъ въ сѣни...

Заслышавъ скрипъ двери, старая Магда вышла къ нему навстрѣчу.

— Тсъ!..—прошептала она, прикладывая палецъ къ губамъ, въ знакъ молчанія.—Барыня больна... Господь даровалъ вамъ сына... Не входите къ ней... Радость можетъ вредно подѣйствовать на ея здоровье.

При этомъ извѣстіи Твардовскій вспомнилъ о случившемся съ нимъ въ прошлую ночь несчастіи, и ему послышался вдругъ адскій смѣхъ дьявола. Онъ схватился обѣими руками за голову и, дрожа, проговорилъ:

— Сына Богъ далъ?.. Сына!...

— Да, сына,—возразила старуха,—вотъ ужъ скоро часъ, какъ я приняла его... Вы всегда вѣдь желали сына, и Господь наградилъ васъ имъ. Надо отслужить молебенъ Пречистой Дѣвѣ Маріи.

Твардовскій стоялъ, какъ пораженный громомъ. Нѣсколько минутъ спустя, онъ тяжело вздохнулъ и вышелъ на крыльцо, приказавъ между тѣмъ предупредить жену о своемъ пріѣздѣ.

Изумленная неожиданною горестью своего господина, служанка не могла понять, что случилось съ хозяиномъ: неужели его огорчила пріятная новость?..

— И что съ нимъ сдѣлалось, право?..—ворчала старуха, уходя въ боковую комнату, двери которой и ставни были обиты циновками. — Чѣмъ бы радоваться да благодарить Бога, а онъ вдругъ пришелъ въ отчаяніе... Что нибудь да не такъ.

Въ это время Твардовскій разсѣдлалъ лошадь и отдалъ сѣдло работнику, который, кланяясь ему до земли, поздравлялъ съ счастливымъ пріѣздомъ и съ новорожденнымъ сыномъ. Твардовскій не слыхалъ привѣтствія работника и даже не поблагодарилъ его.

— Добрая барынька, а я пришла къ вамъ съ радостной вѣсточкой,—говорила между тѣмъ Магда, садясь на постель родильницы.—Работникъ изъ Ольшева говорилъ мнѣ, что видѣлъ нашего пана.

— Гдѣ, Магдочка, гдѣ?—воскликнула Ганна, приподнимаясь на постели.

— Тише, тише, барынька, поберегите себя; не надо такъ волноваться... Работникъ встрѣтилъ его по дорогѣ на обратномъ пути.

— О, такъ онъ пріѣдетъ сегодня!.. Быть можетъ, онъ уже пріѣхалъ!—радовалась хозяйка.—Бѣги, Магдочка, посмотри на дворѣ.

— Можетъ быть, и будетъ, можетъ быть, и пріѣхалъ!.. На дворѣ слышны чьи-то шаги,—отвѣчала осторожная старуха.

— Поди же, поди, Магдочка, встрѣть его и приведи скорѣй ко мнѣ... Пріѣхалъ, пріѣхалъ, мой ненаглядный, вернулся!..—и женщина, раскраснѣвшись, какъ піонъ, сѣла на постели...

Магдалина ушла, и, встрѣтивъ Твардовскаго, сказала:

— Пожалуйте! я подготовила къ встрѣчѣ вашу жену.

На порогѣ комнаты Твардовскій въ первый разъ услышалъ крикъ новорожденнаго ребенка, и затрепеталъ при ужасной

мысли, что горькая участь малютки уже рѣшена... Но, превозмогая свои чувства, онъ бросился къ постели больной...

Ганна плакала отъ радости... Безпокойство, какое она испытывала въ его отсутствіе, трепеща за жизнь любимаго мужа, мысли объ опасности путешествія и собственныя мученія—истомили ее... Но теперь, при видѣ его цѣлымъ и невредимымъ, блѣдность изнуреннаго лица уступила мѣсто яркому румянцу... Въ тихихъ, но горячихъ поцѣлуяхъ они излили всю свою радость, и въ эту счастливую минуту Твардовскій забылъ и о сынѣ, и о дьяволѣ, неотступно преслѣдовавшемъ его мысли. Когда же Ганна поднесла ему ребенка, чтобы онъ благословилъ его, Твардовскій вспомнилъ, что дитя не принадлежитъ ему... Печальный видъ мужа изумилъ Ганну, но она не посмѣла спросить о причинѣ его грусти...

Больная опустилась на подушки. Тяжелый вздохъ вырвался изъ ея груди...

Черезъ нѣсколько дней Ганны не стало на свѣтѣ: Твардовскій остался съ сыномъ... Домъ его опустѣлъ, широкій дворъ заросъ травою и все хозяйство извелось; но Твардовскій и не заботился ни о чемъ: ужасная мысль о запродажѣ своего сына дьяволу не выходила изъ памяти и всюду преслѣдовала его.

III.

Какъ выросъ сынъ Твардовскаго и какъ онъ потомъ ходилъ въ адъ за отцовскимъ цирографомъ.

Дитя нужно было окрестить. Твардовскій пригласилъ въ кумовьи своихъ сосѣдей и послалъ за ксендзомъ въ Прошовицы. Но, повидимому, и дьяволъ не дремалъ: кумовья пріѣхали, а ксендза нигдѣ не могли отыскать.

Шляхтичъ послалъ за другимъ, но тотъ оказался больнымъ; послалъ за третьимъ—того разнесли лошади.

Наконецъ за четвертымъ ксендзомъ разсерженный Твардовскій поѣхалъ самъ.

Онъ смекнулъ, что и въ этомъ были шутки дьявола.— Однако и Твардовскій вернулся ни съ чѣмъ. Ксендзъ, къ которому ѣздилъ Твардовскій, не рѣшался ѣхать къ нему потому-ли, что отказъ трехъ его собратовъ смущалъ его или потому, что о ребенкѣ ходили ужъ разнорѣчивые слухи и достигли его ушей—неизвѣстно.

Однако всѣ неудачи нисколько не смущали Твардовскаго. Онъ поѣхалъ въ Краковъ къ настоятелю костела св. Флоріана, и, объяснивъ ему суть дѣла, просилъ помочь его горю. Набожный старецъ, не колеблясь, далъ Твардовскому частицу св. мощей и велѣлъ привезти ребенка въ Краковъ.

Повѣсивъ драгоцѣнную святыню на шею ребенка, Твардовскій собрался въ путь. Четверка клячъ потащила дѣдовскую коляску. Шляхтичъ разсчитывалъ въ тотъ же день быть въ Краковѣ, но, какъ на бѣду, поднялась ужасная буря и Твардовскій вынужденъ былъ остановиться въ корчмѣ и переждать грозу.

Но не успѣли лошадямъ подать корму, какъ погода прояснилась и шляхтичъ, пользуясь случаемъ, выѣхалъ изъ корчмы. Едва тронулись лошади, небо опять начало заволакиваться тучами и поднялась сильнѣйшая буря. Твардовскій рѣшился однако доѣхать до Кракова во что бы то ни стало. Укутавъ дитя, онъ двигался впередъ... На пути, коляска Твардовскаго опрокинулась два раза; два раза тощія клячи шляхтича едва не разнесли тяжелую дѣдовскую коляску, но честныя мощи охраняли дитя; нѣсколько разъ они блуждали по дорогѣ, сворачивая въ сторону, и, наконецъ, послѣ многочисленныхъ препятствій, благополучно добрались до Кракова.

На слѣдующее утро, мамка понесла малютку въ церковь; по дорогѣ на нее напала большая собака и навѣрное разорвала бы ее, если-бъ она не догадалась перекреститься. Вслѣдъ за этимъ, мчавшійся всадникъ едва не задавилъ ее; потомъ она сама едва не попала подъ колеса тяжелой кареты, и наконецъ, на церковной уже паперти, поскользнулась и едва не выронила ребенка. Къ счастію, подлѣ нея находился Твардовскій и подхватилъ дитя...

Наконецъ-таки ребенка окрестили.

Возвращеніе домой было уже спокойное. Но съ этого именно

дня обрушились всѣ несчастія на бѣднаго шляхтича: несчастья слѣдовали одно за другимъ. Дьяволъ мстилъ Твардовскому... Буря, вѣтеръ, градъ и засуха, дождь и громовые удары, пожары, воровство, падежъ скота не давали опомниться ему, но Твардовскій сносилъ все безъ ропота и молился.

Между тѣмъ дитя росло и крѣпло. Изумительныя понятливость и способности развивались не по днямъ. Всѣ завидовали счастливому отцу; одинъ только Твардовскій уныло и грустно смотрѣлъ на своего любимца и часто, взявъ его къ себѣ на колѣни, проливалъ надъ нимъ горькія слезы.

Въ такомъ положеніи прошло десять лѣтъ. Смѣтливый мальчикъ, замѣчая слезы отца, ласкалъ его и съ любовью спрашивалъ о причинѣ грусти, точно предчувствуя, что виною этихъ слезъ—онъ. Несчастный отецъ, чувствуя необходимость высказаться передъ кѣмъ нибудь и облегчить свою душу, рѣшился наконецъ открыть сыну ужасную тайну, глодавшую его сердце и душу. Выслушавъ отца, ребенокъ соскочилъ съ колѣнъ и, весело захлопавъ въ ладоши, вскричалъ:

— Успокойся, отецъ; я возвращу твое обязательство, хотя бы для этого пришлось мнѣ идти самому въ адъ.

Зная ужасную тайну, ребенокъ съ каждымъ днемъ росъ, умнѣлъ и укрѣплялся. Каждый день мальчикъ напоминалъ о ней отцу, утѣшалъ его въ грусти и просилъ молиться Пречистой Дѣвѣ. Когда ребенокъ подросъ настолько, что могъ учиться, Твардовскій отдалъ его въ школу „Всѣхъ Святыхъ“, въ Краковѣ. Мальчикъ учился прекрастно и удивлялъ учителей своими рѣдкими способностями. Имѣя твердое намѣреніе вырвать изъ когтей дьявола отцовское обязательство, мальчикъ началъ изучать священное писаніе. Съ этою цѣлью онъ просиживалъ надъ нимъ по цѣлымъ днямъ и все свободное отъ занятій время проводилъ въ чтеніи книгъ духовнаго содержанія. Онъ горячо молилъ Создателя послать ему силы для исполненія своего намѣренія, которое сроднилось со всѣмъ его существомъ.

Въ такомъ положеніи прошло еще пять лѣтъ. Молодой Твардовскій почувствовалъ, что наступило время дѣйствовать.

Въ то время состоялъ звонаремъ при костелѣ Всѣхъ Святыхъ маленькій, худой, горбатенькій и набожный старичокъ,

по имени Доминикъ. Никто не зналъ его возраста, да онъ и самъ позабылъ счетъ своимъ лѣтамъ. Зная праведную жизнь почтеннаго старца, всѣ чтили и уважали его; многіе прибѣгали къ нему съ различными просьбами и пользовались его умными совѣтами. Ходили слухи, что ему представлялись видѣнія, что и онъ имѣлъ мощь творить чудеса.

Къ этому старику рѣшился прибѣгнуть и сынъ Твардовскаго. Однажды онъ встрѣтилъ его на кладбищѣ, у церковной паперти. Старичокъ стоялъ на колѣняхъ и пѣлъ „литанію“ (молебенъ) къ Пречистой Дѣвѣ. Длинная сѣдая борода покрывала плоскую изсохшую грудь старца, а отъ лысой головы его, казалось, исходило лучистое сіяніе. Не смѣя прерывать благоговѣйной молитвы старика, Твардовскій ждалъ пока онъ окончитъ молитву. Когда старикъ поднялся на ноги и оперся на свой посохъ, молодой человѣкъ подошелъ къ нему, и, благоговѣйно поцѣловавъ руку, началъ просить о помощи.

— Отче!—такъ началъ Твардовскій: — наслышавшись о святой жизни твоей и о спасительныхъ совѣтахъ, прибѣгаю къ тебѣ за помощью... Не оставь меня, несчастнаго, помоги твоимъ мудрымъ совѣтомъ: неминуемая гибель ждетъ меня впереди.

— Чѣмъ могу быть полезнымъ для тебя, сынъ мой? Какого совѣта ты ждешь отъ меня?—тихо спросилъ его старецъ, опускаясь на камень.

— Дѣло въ томъ,—продолжалъ Твардовскій:—пятнадцать лѣтъ тому назадъ, когда отецъ мой, темною ночью, проѣзжалъ по глухой чащѣ лѣса, на него напали разбойники и дьяволъ спасъ его жизнь... и за эту услугу потребовалъ отъ него того, о чемъ онъ не думалъ и не гадалъ, но что, между прочимъ, онъ долженъ былъ найти по возвращеніи домой. Отецъ, чтобы только отдѣлаться отъ дьявола, не задумываясь, подписалъ свое обязательство. Въ ту минуту, когда сатана заключилъ съ моимъ отцомъ свой ужасный договоръ, я только что появился на свѣтъ... Много препятствій противоставилъ дьяволъ, когда отецъ мой хотѣлъ окрестить меня; но Господь хранилъ дитя отъ козней сатаны... и настоятель костела св. Флоріана благополучно окрестилъ малютку. Все это я узналъ отъ отца, когда сдѣлался взрослымъ мальчикомъ, и теперь пришелъ про-

сить твоей помощи: посовѣтуй, праведный старче, какъ сойти мнѣ въ адъ и возвратить отцовское обязательство?..

Старикъ призадумался. Онъ долго вздыхалъ надъ положеніемъ несчастнаго молодого человѣка. Наконецъ собрался съ духомъ и сказалъ:

— Уповай на Бога, сынъ мой!.. Ему единому возможно все; Его волѣ предоставь свою участь. Старайся, сынъ мой, очистить свою душу молитвой, постомъ и покаяніемъ, и да проститъ Онъ твои великія и малыя прегрѣшенія... Возложи на шею твою святыя мощи, возьми кропильницу и святой воды: съ ними ты безопасно войдешь въ адъ... Много испытаній представится тебѣ на пути, но ты крѣпись, сынъ мой... Причастившись св. Тайнъ, выйди въ поле, за Краковъ... Тамъ встрѣтишь ты полевую мышь, которая и приведетъ тебя къ дверямъ ада... Подходя же къ нимъ, пой святыя пѣсни и псалмы, кропи св. водою по сторонамъ, и кропи до тѣхъ поръ, пока дьяволъ не отдастъ тебѣ отцовскаго обязательства. Святый Духъ будетъ предохранять тебя отъ искушеній, а ангелъ хранитель—руководить тобою... Молись, сынъ мой, и уповай на Бога и, паче всего, бойся грѣха...

Выслушавъ со вниманіемъ старика, Твардовскій поблагодарилъ его за мудрый совѣтъ и немедленно началъ приводить въ исполненіе свое намѣреніе. Онъ исповѣдывался, причастился, взялъ св. воды и мощи, съ которыми не разлученъ былъ со дня крещенія, и вышелъ за городъ.

Вскорѣ навстрѣчу ему откуда-то выбѣжала полевая мышь, и онъ пошелъ за нею. Въ продолженіе всего пути, юноша горячо молился и шелъ, опустивъ глаза въ землю, боясь согрѣшить даже взглядомъ.

Онъ никого не встрѣтилъ въ продолженіе перваго дня; только къ вечеру юноша послышалъ позади себя чей-то пріятный голосъ, окликнувшій его:

— Куда идешь, молодецъ?

Твардовскій оглянулся: за нимъ бѣжала молодая дѣвушка, поразительной красоты. Такой онъ не видывалъ никогда. Казалось, что ни одна изъ краковскихъ красавицъ, разъѣзжающихъ въ коляскахъ на своихъ рысакахъ, въ золотѣ и брилліантахъ, ничто были въ сравненіи съ этой дѣвушкой. И эта-то

красавица манила его къ себѣ, звала такимъ пріятнымъ голосомъ, отъ котораго сердце юноши готово было разорваться на части!.. Онъ догадался, что сатана-искуситель начинаетъ свои проказы... Молодой человѣкъ закрылъ глаза и по прежнему продолжалъ молиться.

— Подожди меня, милый!—кричала ему во слѣдъ дѣвушка.—Я заблудилась и не знаю куда идти! Пойдемъ вмѣстѣ!..

Твардовскій не отвѣчалъ и съ усердіемъ молился.

Но вдругъ молодой человѣкъ почувствовалъ, что дѣвушка, подбѣжавъ къ нему, дернула его за платьѣ и страстно зашептала:

— Не бѣги, постой, мой милый! Не оставляй меня одну!.. Скоро ужъ ночь, а я боюсь... пойдемъ вмѣстѣ... Не правда ли? вѣдь ты пойдешь со мной?..

— Я молюсь и иду къ чорту, въ адъ,—отвѣчалъ Твардовскій,—и если ты хочешь идти со мною туда, то, пожалуй, ступай!

— Ха, ха, ха! Въ адъ!—воскликнула дѣвушка, заливаясь неудержимымъ смѣхомъ!..—Если ты дѣйствительно идешь туда, я, пожалуй, послѣдую за тобой и посмотрю, гдѣ этотъ адъ!..

Дѣвушка побѣжала за нимъ... она то отставала, то опережала его, смѣясь въ то же время надъ его безразсудствомъ и умоляя измѣнить свое намѣреніе. Но Твардовскій былъ глухъ на всѣ ея просьбы и обольщенія.

Солнце уже давно зашло, и не предвидѣлось впереди ни какого жилища. Твардовскій не отчаявался и слѣдилъ за мышью.

Истощивъ все краснорѣчіе, дѣвушка начала упрекать его въ равнодушіи къ прекрасному полу.

— Безстыжій ты человѣкъ! лентяй!—говорила она:—можно ли такъ обращаться съ слабымъ созданіемъ!.. Вѣдь это жестоко съ твоей стороны... Дѣвушка идетъ одна, а онъ хоть бы слово сказалъ съ нею... Это совсѣмъ безчеловѣчно!.. Оставлять молодую дѣвушку ночью, среди пустыни—это больше, чѣмъ безчеловѣчно!.. Умилосердись надо мной, бѣдной!.. Видишь, какъ я устала!.. Посиди, отдохни со мною.

— Не могу,—возразилъ юноша:—я поклялся передъ Богомъ и не нарушу своего обѣта.

— Хорошо, посмотримъ, далеко ли ты пройдешь,—отвѣчала красавица, смѣясь.

Вскорѣ они подошли къ дремучему лѣсу... У опушки его стояла гостиница, откуда до нихъ доходилъ пріятный запахъ яствъ. Изъ бѣлыхъ высокихъ трубъ струился синій дымокъ; въ окнахъ виднѣлось множество народа. Спутница Твардовскаго остановилась въ дверяхъ гостиницы и умоляла зайти покушать и отдохнуть.

— Зайдемъ,—говорила она,—отдохнемъ,закусимъ... теперь ночь... путь твой далекъ... дорога идетъ дремучимъ лѣсомъ...

Но Твардовскій продолжалъ молиться и шелъ дальше, даже не взглянувъ на гостиницу. Градъ упрековъ посыпался на молодого Твардовскаго.

— Безсовѣстный! тиранъ! мучитель!.. Впрочемъ, ты далеко не уйдешь!.. Въ лѣсу тебя ограбятъ, убьютъ!.. Останься лучше здѣсь и переночуй со мною, а завтра, чѣмъ свѣтъ, мы пустимся въ дорогу!..

Бѣдный юноша крѣпился и, не слушая дѣвушку, миновалъ гостиницу и продолжалъ идти. Въ лѣсу ему сдѣлалось страшно: было темно и холодно; между тѣмъ, мышь продолжала бѣжать, указывая путь своими свѣтящимися, какъ двѣ свѣчки, глазами.

Долго шелъ Твардовскій, молясь Пресвятой Дѣвѣ... Вдругъ онъ замѣтилъ передъ собою какихъ-то людей, которые грабили путешественника...

— Эй! малый, поди сюда!—крикнули ему злоумышленники:—помоги намъ снести мѣшки съ деньгами въ нашу берлогу; за труды, мы дадимъ тебѣ много золота. Слышишь, малый, или и тебѣ будетъ карачунъ!..

Но Твардовскій не обращалъ вниманія и шелъ дальше. Наконецъ голодъ и жажда начали мучить его. Вдругъ на дорогѣ онъ увидѣлъ какіе-то мѣшки, наполненные провизіей, повидимому, кѣмъ-то потерянные; дальше повстрѣчались съ нимъ проѣзжіе, которые, расположившись въ сторонкѣ, съ аппетитомъ закусывали и приглашали его раздѣлить съ ними трапезу; фруктовыя деревья, сгибаясь подъ тяжестью плодовъ, умильно манили его отвѣдать ихъ. Но Твардовскій не поддавался искушенію и продолжалъ идти.

Послѣ нѣсколькихъ дней своего путешествія, Твардовскій почувствовалъ запахъ сѣры и смолы... земля подъ нимъ сдѣлалась горячей. Юноша вошелъ въ темный, густой лѣсъ, къ которому вела широкая, торная дорога. По ней шли и ѣхали разнаго званія люди, большіе и маленькіе, одни въ каретахъ, и коляскахъ, на великолѣпныхъ лошадяхъ; другіе тащились на крестьянскихъ тощихъ кляченкахъ, запряженныхъ въ простыя телѣги. Народъ копошился точно муравьи въ муравейникѣ. Твардовскій съ ужасомъ замѣтилъ, что всѣ они были съ закрытыми глазами, точно мертвые; одинъ онъ между ними казался живымъ существомъ. Мышь, за которою онъ шелъ, незамѣнно исчезла и Твардовскій догадался, что онъ на пути къ аду.

IV.

Какимъ образомъ Твардовскій пришелъ въ адъ и что тамъ видѣлъ.

Чѣмъ ближе подходилъ Твардовскій къ аду, тѣмъ съ большимъ усердіемъ молился. Толпы народа съ каждой минутой увеличивались, но онъ проходилъ мимо ихъ, не обращая ни малѣйшаго вниманія. Страшное зрѣлище представилось его глазамъ. Всѣ тропинки, примыкавшія къ большой дорогѣ, были наполнены народомъ.

Шестимѣстныя золоченыя коляски богачей, запряженныя ихъ грѣхами, въ образѣ страшныхъ чудовищъ, неслись во весь карьеръ въ адъ. Вмѣсто лошадиной сбруи, этихъ ужасныхъ чудовищъ украшали слезы людскія и, вмѣсто убора, точно бисеръ нанизанный на ниткѣ, свѣтились потъ и кровь человѣческіе...

Нѣкоторые тянулись на ненасытномъ брюхѣ, въ которомъ виднѣлись огромные замки, деревни, села, золото и серебро, утраченное спокойствіе и счастіе цѣлыхъ семействъ, попранныя и униженныя добродѣтели.

Пьяницы, пошатываясь изъ стороны въ сторону, шеренгою шли за огромною бочкой, изъ которой струилась водка, и налившіеся кровью глаза, прищуриваясь, съ любовью глядѣли на нее.

Шли тамъ и тщедушные діалектики, схоластики и теологи,

съ большими фоліантами подъ мышкой и Аристотелемъ въ рукахъ. Огромное перо, къ которому они были привязаны за шею, тащило ихъ, точно собакъ на сворѣ, въ адъ.

Передъ нѣкоторыми катились червонцы, за которыми они бѣжали, точно кошка за мышью, пожирая ихъ своими жадными глазами, горѣвшими страстью къ легкой добычѣ.

Многихъ увлекала за собою обольстительная черноглазая красавица... Напрасно они оглядывались назадъ... за ними не видно было ихъ мирнаго жилища, безмятежной жизни и золотого прошлаго. Какъ ни колебались они, какъ ни сдерживали страстные порывы, но взглядъ обольстительной красавицы, расточавшей свои чудныя улыбки, манилъ ихъ къ себѣ. Стоило только дивной красавицѣ показать носикъ своей миніатюрной ножки, раскрыть свои страстныя объятья, обнажить изъ подъ тонкой ткани свою бѣлоснѣжную грудь, роскошныя плечи, точно выточенныя изъ каррарскаго мрамора, они забывали свою нерѣшительность и усталость; кровь клокотала въ ихъ жилахъ, мозгъ кипѣлъ и сердце рвалось къ красавицѣ на грудь... и они бѣжали за нею.

Были, между многочисленнымъ народомъ, и такіе, которые возводили глаза къ небу, и, между тѣмъ, незамѣтно для себя, быстро двигались въ адъ.

Были и такіе, которыхъ вели за руки собственныя дѣти, воспитанники, слуги, наложницы.

Нѣкоторые поддерживали длиннѣйшіе шлейфы своихъ госпожъ и мирно тащились за ними въ адъ.

Шли также и воры, которые, по пути, крали все, что ни попадалось имъ подъ руку, даже чужіе грѣхи, какъ платки изъ кармана неосторожныхъ людей. Они радовались, что не видали на дорогѣ ни тюрьмы, ни палача, ни висѣлицы...

Шли тамъ и «веселыя» женщины съ пѣснями и пляской, съ распущенными косами, съ сладострастной улыбкой на устахъ, которою они ловили прохожихъ, какъ рыбу въ сѣть.

Были и гастрономы, любители вкусныхъ блюдъ, которые спокойно дремали въ мягкихъ креслахъ (послѣ сытныхъ кушаньевъ), которыя несли невидимыя адскія силы; а за ними шли толстыя кухарки, приготовлявшія кушанья и баловавшія вкусъ своихъ господъ.

Были и аристократы, гордо расталкивавшіе толпу и попиравшіе ногами нищету и бѣдность.—Предъ ними черти несли на подушкахъ регаліи: булавы, митры, жезлы, сенаторскія кресла, титулы и ордена.

Были тамъ и разнаго сорта люди, сцѣпившіеся руками другъ за друга, парами.

Была и жена бурмистра, ведшая своего мужа за носъ.

Была и любовница, несшая на плечахъ своего любовника, придавленнаго ея башмакомъ.

Была и молодая дѣвушка, которая тащила за послѣднюю прядь волосъ плѣшиваго старика.

Многихъ черти немилосердно тащили за ноги, за волосы, за носы, за уши, за языки, за бороды, за усы...

Видъ этой ужасной, ни съ чѣмъ несравнимой дороги, съ ея разнообразными видами грѣховности, достоинъ былъ вниманія и кисти художника, но Твардовскій не обращалъ ни на что особеннаго вниманія, и съ молитвою на устахъ, шелъ своею дорогой, обходя конныхъ и пѣшихъ грѣшниковъ.

Наконецъ онъ достигъ вратъ ада и остановился вмѣстѣ съ прочими. Никто не охранялъ ихъ. Швейцаръ, въ богатой ливреѣ самого сатаны, съ поклономъ и привѣтствіемъ открывалъ дверь настежь и пропускалъ мимо себя людей всѣхъ сословій и ранговъ.

Однако, увидѣвъ Твардовскаго съ кропильницею въ рукѣ и со священною пѣснью на устахъ, швейцаръ нахмурился и передъ самымъ его носомъ захлопнулъ дверь. Твардовскій покропилъ ее святой водою и она сама открылась передъ нимъ и онъ вошелъ въ преддверіе ада.

Едва Твардовскій переступилъ порогъ, какъ до его слуха долетѣли страшные вопли грѣшниковъ, которые мучились въ аду. Пронзительные ихъ вопли заглушали его робкую пѣснь, но сила этой священной пѣсни была такъ велика, что невыносимый шумъ тартара вскорѣ замолкъ и сонмъ неустрашимыхъ чертей явился передъ нимъ.

Твардовскій окропилъ святой водою вокругъ себя.

— Что тебѣ нужно, чистая душа?—спросилъ одинъ изъ чертей.—Зачѣмъ ты пришолъ сюда?—повторили другіе.

Всѣ они между тѣмъ ежились и корчились и отскакивали передъ каждымъ движеніемъ руки съ кропиломъ.

— Я пришелъ за обязательствомъ, даннымъ моимъ отцомъ на мою душу,—отвѣчалъ Твардовскій, а самъ продолжалъ пѣть и двигался дальше, въ глубину ада.

Дьяволы исчезли.

Скоро Твардовскій пришелъ въ темную и глубокую пещеру, гдѣ засѣдалъ самъ сатана, по имени Люциферъ, глава низверженныхъ ангеловъ съ неба.

Черти окружили Твардовскаго, но ни одинъ изъ нихъ не посмѣлъ дотронуться до него, боясь его чистоты душевной и святой воды, которою онъ продолжалъ кропить.

Послѣ продолжительныхъ переговоровъ съ чертями, сатана началъ входить въ сдѣлку съ Твардовскимъ и предлагалъ ему золото, вмѣсто обязательства, которое будто бы затерялось, но Твардовскій не соглашался... Ему предложили лучшую изъ женщинъ, первую въ мірѣ красавицу, предлагали высокія должности, но юноша оставался непреклоннымъ. Черти уговаривали Твардовскаго взять, что ему нравится, ссылаясь на то, что того дьявола нѣтъ въ аду, который заключилъ условіе съ его отцомъ, что онъ будто бы таскается по свѣту и что обязательство это хранится именно у него.

На все это Твардовскій отвѣчалъ молитвой, пѣніемъ и кропиломъ и вынуждалъ чертей послать за своимъ сотоварищемъ, у котораго находилось обязательство.

Приведенный дьяволъ запирался, что онъ никогда не бралъ обязательства отъ его отца: онъ клялся всѣмъ на свѣтѣ, что даже никогда не видалъ его.

Твардовскій опять началъ кропить водою и черти обѣщали отдать ему обязательство.

Наконецъ къ Твардовскому притащили огромнѣйшій сундукъ, въ которомъ хранились архивныя бумаги ада. Черти предложили ему самому поискать обязательство. Юноша испугался, увидѣвъ въ какомъ безпорядкѣ находились документы. Это былъ настоящій архивъ сатаны. Тутъ были бумаги на всѣхъ языкахъ и нарѣчіяхъ, всѣхъ націй и вѣковъ.

Затрудняясь въ отысканіи своего документа, Твардовскій вспомнилъ о святомъ Антоніи, патронѣ потерянныхъ вещей. Онъ усердно помолился ему и въ минуту нашелъ цирографъ.

Тутъ ужъ волей-неволей, пришлось чертямъ разстаться съ

этимъ документомъ. Онъ спряталъ его въ карманъ. Тогда чертъ, который искусилъ его отца, подскочилъ къ Твардовскому и поклялся, что онъ возьметъ его душу и безъ этого обязательства, но юноша больше не слушалъ чертей и, запѣвъ „Te Deum“, направился къ выходу.

Однако, выходъ изъ ада оказался труднѣе, чѣмъ входъ въ него. Ворота, въ которыя онъ вошелъ, закрылись передъ нимъ, дорога съ народомъ исчезла, земля обрушивалась подъ его ногами, стѣны ада дрожали; ужасныя чудовища раскрывали свои пасти, чтобы поглотить его; женщины искушали его своими прелестями и предлагали вкусныя яства. Встрѣчались знакомые, которые протягивали къ нему свои руки и заговаривали съ нимъ; богатая шляхта окружала его, но Твардовскій крѣпился и шелъ мимо ихъ съ молитвою на устахъ. Во всѣхъ этихъ странныхъ призракахъ онъ видѣлъ искушеніе; позади него раздавались жалобные крики страдальцевъ въ аду!..

Наконецъ онъ нашелъ дверь и вышелъ изъ ада. Воротами ему прищемило ногу и отъ этого онъ прихрамывалъ всю жизнь.

Выйдя изъ ада, Твардовскій упалъ на колѣни и усердно возблагодарилъ Господа за свое избавленіе отъ когтей дьявола.

Идя по той же дорогѣ, прежде многолюдной, онъ не видалъ уже ни одной души. Крѣпко держалъ онъ вырученное съ такимъ трудомъ отцовское обязательство и бѣжалъ безъ оглядки. Передъ нимъ явилась опять та же мышь и привела его къ самому дому въ Прошовицахъ.

Юноша отъ изнеможенія упалъ безъ чувствъ на порогѣ отцовскаго дома. Придя въ себя, онъ разсказалъ отцу о своихъ похожденіяхъ и вручилъ ему цирографъ, который обрадованный отецъ сжегъ въ ту же минуту на освященномъ огнѣ, чтобы дьяволъ не воспользовался даже и его пепломъ.

Отецъ Твардовскаго успокоился на старости лѣтъ. Вскорѣ онъ отправилъ своего сына въ краковскую школу...

Не долго, однако, жилъ послѣ этого старикъ. Въ одно, совсѣмъ непрекрасное, утро пришелъ къ юношѣ работникъ Твардовскаго и сообщилъ ему печальное извѣстіе о смерти его отца.

Молодой Твардовскій долго и искренно оплакивалъ смерть

старика. Неутѣшный въ потерѣ его, онъ старался развлечь себя науками и остался въ школѣ, ректоръ которой очень полюбилъ его за необыкновенное прилежаніе и успѣхи въ наукахъ.

V.

Какимъ образомъ Твардовскій сдѣлался ученымъ.

Не напрасно, однако, клялся дьяволъ погубить Твардовскаго... Съ того времени, когда юноша побывалъ въ аду, дьяволъ не отступалъ отъ него ни на шагъ и всюду преслѣдовалъ его; онъ слѣдилъ за каждымъ его движеніемъ и отыскивалъ малѣйшія поры, куда бы вдохнуть въ него свое тлетворное дыханіе. Но душа юноши была чиста, какъ новорожденнаго младенца.

Посвятивъ себя наукѣ, которую избралъ путеводною звѣздою, Твардовскій не прельщался свѣтомъ и его заманчивостью; онъ не зналъ слова «грѣхъ». Часъ его еще не пробилъ,—часъ, который является въ жизни каждаго человѣка минутой увлеченія, обаянія, минутой безумія, когда начинается переломъ жизни, минутой наслажденія, блаженства или гибели,—минутой, которую никто не можетъ ни предвидѣть, ни подстеречь...

Твардовскій всецѣло отдался наукѣ и мысли. Сатана-искуситель понялъ, что только этимъ путемъ можно погубить Твардовскаго, и схватился за эту мысль со всею страстью дьявола. Онъ ждалъ минуты, когда Твардовскій, исчерпавъ весь источникъ знанія, достигнетъ границы невозможнаго,— границы, которую воспрещено переступать мудрецамъ свѣта.

Минута эта вскорѣ настала. Всѣ законы науки были постигнуты имъ: онъ проникнулъ въ сокровеннѣйшіе тайники науки, разрѣшилъ запутаннѣйшіе вопросы и вскорѣ превзошелъ всѣхъ извѣстныхъ тогда мудрецовъ.

Такіе успѣхи юноши возбуждали зависть въ его противникахъ, которые, несмотря на свою зависть, удивлялись ему. Нѣкоторые превозносили его умъ до небесъ, другіе—порицали и злословили; недоучки сравнивали его съ педантомъ; ученые, разговаривая о немъ, значительно покачивали головой.

Наконецъ не осталось уже ни одной отрасли науки, кото-

рую бы онъ не изучилъ и не превзошелъ первыхъ ея законодателей. Стоило ему прочесть какую нибудь книгу о новомъ открытіи науки, какъ онъ уже зналъ ее основательно. Даръ слова и разумѣнія служили ему поразительно вѣрно; изучая извѣстный предметъ по книгамъ, онъ могъ уже исправлять тѣ книги, которыя изучалъ; по началу онъ зналъ конецъ, а убѣдившись въ своемъ знаніи, онъ предсказывалъ, что должно было произойти въ продолженіе вѣковъ.

Время летѣло быстро. Твардовскій былъ и теологомъ, и математикомъ, и философомъ, и физикомъ, и докторомъ—словомъ, ученымъ по всѣмъ отраслямъ науки, человѣкомъ, въ которомъ соединялись всѣ совершенства, рѣдко встрѣчающіяся въ одномъ существѣ. Кромѣ того, онъ былъ еще молодъ...

При этомъ, онъ не походилъ на тѣхъ мудрецовъ, которые, вкусивъ отчасти плода науки, мнятъ себя совершенствами; чѣмъ болѣе постигалъ онъ науку, тѣмъ менѣе убѣжденъ былъ въ своемъ знаніи: наука казалась ему неисчерпаемымъ источникомъ...

Несмотря на то, что стоялъ уже выше всѣхъ столповъ Геркулесовыхъ, Твардовскій чувствовалъ свое ничтожество, видѣлъ, что многое еще не постигнуто, не изучено, многое сокрыто еще для ума человѣческаго, которому суждено открывать эти сокровища исподволь, вѣками; онъ чувствовалъ, что человѣкъ, съ его крошечнымъ муравьинымъ трудолюбіемъ, способенъ воздвигнуть колоссальный храмъ науки, возвысить его и затѣмъ снова разрушить; многія поколѣнія не достигнутъ его совершенства и, созидая новые храмы, будутъ разрушать ихъ.

Но пророческій духъ Твадовскаго былъ противоположенъ духу тогдашняго времени и шелъ вразрѣзъ съ мнѣніями ученыхъ. И дѣйствительно, много ли ученыхъ того времени, стоявшихъ во главѣ науки, чувствовали свое ничтожество, и какъ низко еще стояли они?... Будучи почти ребенкомъ и только что ознакомясь съ нѣкоторыми тайниками науки, Твардовскій отражалъ своей деревянной саблей знанія тяжеловѣсные удары меча прежнихъ мудрецовъ!.. Излюбленнымъ занятіемъ его было опроверженіе тогдашней системы науки: онъ осмѣивалъ нелѣпости ученаго міра и безумную гордость Аристарховъ науки. Опроверженія свои онъ подкрѣплялъ изреченіемъ Креза: Vanitas vanitatum... Достигая своей цѣли,

убѣждая неразумныхъ, разсуждая о наукѣ, онъ никогда не обнаруживалъ радости на своемъ лицѣ, какъ школьникъ, которому удалось доказать учителю, что онъ правъ; вмѣсто радости, на лицѣ его появлялись грусть и уныніе старика, которому неожиданно преградили дорогу...

При всей своей страсти опровергать фальшивыя мнѣнія тогдашнихъ ученыхъ, принимавшихъ ложь за чистую монету справедливости, и при желаніи возстановить здравую логику, Твардовскій находилъ разгадку истины тамъ, гдѣ прочіе не подозрѣвали ея, — въ ученомъ хламѣ и грязныхъ ямахъ, въ которые сливались помои разсудка и фальши.

Осмѣивая тогдашнія системы науки, онъ въ то же время изыскивалъ средства для улучшенія ихъ, указывая путь къ достиженію цѣли, посредствомъ здраваго разсудка и мышленія. Разнорѣчивость мнѣній ученыхъ съ ученикомъ и якобы дерзкая самонадѣянность ученика, въ отношеніи глубокомысленныхъ и ничего не смыслящихъ учителей, не была понята никѣмъ и не оцѣнена по достоинству. Завистники измышляли средства подставить ногу Твардовскому... А на все это разсчитывалъ и дьяволъ. Сначала ему нужно было посѣять въ разочарованной душѣ Твардовскаго сѣмя неудовольствія, влить въ сердце его каплю желчи и отчаянія и, отравивъ его тѣло, возмутить тихую душу.

Дьяволъ зналъ по опыту, что страсти смѣняются отчаяніемъ, а отчаяніе вѣрный путь къ преступленію, на которое онъ такъ разсчитывалъ.

Восходя со ступеньки на ступеньку по лѣстницѣ науки, Твардовскій вскорѣ достигъ степени доктора и профессора. Способъ его ученія походилъ скорѣе на игрушку, чѣмъ на систему серьезнаго преподаванія, и чѣмъ болѣе открывалъ онъ истинъ, тѣмъ съ большимъ пристрастіемъ ученики поглощали его науку, которою онъ точно дразнилъ ихъ, разжигая страсть съ каждымъ днемъ все сильнѣе и сильнѣе и разсыпая передъ ними драгоцѣнные перлы знанія. Но ученики не удовлетворялись, напротивъ, съ большею алчностью требовали продолженія наукъ.

Такой профессоръ не могъ не возбудить опасенія, и дьяволъ видѣлъ это и тѣшился, зная заранѣе, что душа Твардовскаго

рано или поздно будетъ принадлежать ему... До настоящаго времени онъ не былъ еще увѣренъ въ успѣхѣ и старался только опутать его плотнѣе дьявольскою сѣтью. Въ то время, когда наука приносила свои плоды и вытѣсняла изъ души его вѣру, дьяволъ не сомнѣвался въ успѣхѣ.

Душа Твардовскаго начинала колебаться, не стало ужъ въ ней младенческой довѣрчивости, которая такъ крѣпко сидѣла въ его организмѣ въ прежнее время. Путешествіе въ адъ, представлялось ему какимъ-то тяжелымъ сномъ, въ дѣйствительность котораго онъ вѣрилъ съ каждымъ днемъ слабѣе. Дерзкія мысли рождались въ его умѣ и онъ гордо поднималъ голову. Оставаясь наединѣ съ своими мыслями, онъ удивлялся откуда онѣ приходили къ нему, хотя и чувствовалъ, что онѣ гнѣздятся внутри его. Между тѣмъ, дьяволъ радовался и спаивалъ ихъ невидимою рукою, какъ спаиваются золотая розсыпь или звенья цѣпи въ рукахъ искуснаго венеціанскаго ювелира.

Между тѣмъ, слава Твардовскаго облетѣла уже предѣлы міра и увеличивалась съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе. Со всѣхъ концовъ свѣта съѣзжались къ нему ученые — одни насладиться его умной бесѣдой, другіе — почерпнуть изъ его источника знаній полезныя свѣдѣнія, третьи—просто изъ любопытства взглянуть на всемірное диво. Всѣ они вызывали его на диспуты и ученые споры, изъ которыхъ Твардовскій всегда выходилъ побѣдителемъ.

Пріобрѣтя все, чѣмъ можетъ гордиться человѣкъ, Твардовскій почувствовалъ себя вдругъ одинокимъ. Для массы, Твардовскій былъ необыкновеннымъ человѣкомъ, для ученыхъ — слишкомъ опаснымъ конкуррентомъ; его бросили всѣ, и родные, и знакомые, и онъ дѣйствительно былъ одинокимъ на свѣтѣ. Наука замѣняла ему друзей, свѣтъ, и онъ съ большею алчностью принимался за изученіе новыхъ наукъ, которыя запускали въ него когти всеобъемлющаго ума; наука была его единственной отрадой, когда свѣтъ началъ удаляться отъ него, когда все, что было близко ему, отшатнулось, и оставило его въ одиночествѣ.

Отцовскій домишко давно опустѣлъ: тамъ хозяйничали чужіе люди. Да и какая ему была нужда до него!.. Для жизни — немногаго нужно... Наука, одна изъ самыхъ дешевыхъ стра-

стей, и если бы всѣ люди были больны ею, если бы искренно отдались и любили ее—науку,—она насытила бы ихъ.

Такимъ образомъ проходили юные дни Твардовскаго, безъ обаянія, безъ страсти, безъ сладостныхъ воспоминаній, этихъ благоуханныхъ цвѣтовъ, которыми устилается путь молодости и слѣды которыхъ на долго остаются въ памяти преклонныхъ людей.

Одинокій среди міра живыхъ, онъ бесѣдовалъ съ міромъ усопшихъ, съ книгами, написанными мертвымъ языкомъ, источникъ которыхъ, казалось, былъ неисчерпаемъ, но который онъ старался исчерпать до дна всѣми силами своей души. Часто находилъ онъ въ нихъ скучныя повторенія стараго, отжившаго, разный сбродъ мыслей и выраженій и, питаясь ими, чувствовалъ себя голоднымъ; тогда онъ удовлетворялся собственнымъ мышленіемъ; онъ разжигалъ свои страсти лишь для того, чтобы не дать потухнуть огню, давно воспламенившемуся въ его душѣ, чтобы дать пищу своей умственной жизни.

Наконецъ, Твардовскій почувствовалъ въ себѣ какую-то жажду, желаніе чего-то необыкновеннаго, чего онъ не могъ объяснить себѣ, но которое терзало и мучило его... О, какъ радовался въ эти минуты сатана-искуситель; онъ всегда былъ возлѣ него и при малѣйшей оплошности Твардовскаго, готовъ былъ завладѣть его душой...

Напрасно Твардовскій обращалъ вокругъ себя взоры, напрасно искалъ онъ пищи своей изнемогающей душѣ, какъ ищетъ ее человѣкъ, разслабленный долгою болѣзнью; но, увы! вмѣсто пищи, онъ находилъ лишь обглоданныя кости и нигдѣ матеріи, нигдѣ желаннаго удовлетворенія души.

Этимъ случаемъ воспользовался дьяволъ и предсталъ передъ Твардовскимъ, въ образѣ ученаго доктора.

VI.

Диспутъ Твардовскаго съ дьяволомъ.

Была уже глубокая ночь, а Твардовскій все еще сидѣлъ надъ грудою запыленныхъ фоліантовъ на своемъ чердакѣ. Глаза его блуждали съ выраженіемъ отчаянія. Блѣдные лучи луны

врывались чрезъ маленькое оконце въ его комнатку. Книги, инструменты и разные атрибуты ученаго въ безпорядкѣ валялись по комнатѣ. Мумiи, чучела, уроды въ спиртѣ, минералы и рѣдкiя произведенiя природы, все это свидѣтельствовало о тревожномъ состоянiи духа ихъ хозяина и носило отпечатокъ его мыслей, колобродившихъ въ такомъ же безпорядкѣ, въ какомъ находилась и его комната. Казалось, что все это было изучено имъ, что ужъ больше нечего было изучать, что во всемъ этомъ ученомъ хламѣ онъ больше не имѣлъ никакой надобности, а между тѣмъ Твардовскiй искалъ между нимъ чего-то необыкновеннаго, не зная за что взяться и съ чего начать.

Это была одна изъ тѣхъ голодныхъ минутъ, въ которыя онъ жаждалъ умственной пищи, въ которыя ощущалъ потребность утолить свой голодъ существеннымъ элементомъ...

И такую именно минуту избралъ сатана,—и избралъ очень удачно.

Дьяволъ былъ очень догадливъ, когда дѣло касалось души Твардовскаго: онъ не являлся къ нему въ томъ ужасномъ видѣ, въ какомъ изображаютъ обыкновенно на картинахъ... къ ученому и нужно было явиться, какъ къ собрату, ученымъ человѣкомъ.

Превратившись въ доктора, онъ вошелъ къ нему безъ шума, точно боясь нарушить спокойствiе ученаго, углубившагося въ изученiе толстыхъ фолiантовъ.

Услышавъ шелестъ, Твардовскiй равнодушно поднялъ голову и обернулся назадъ... Передъ нимъ стоялъ человѣкъ среднихъ лѣтъ, съ серьезнымъ задумчивымъ лицомъ, присущимъ ученому. На немъ былъ длинный кафтанъ темнаго цвѣта, похожiй на ксендзовскую рясу: на головѣ одѣта высокая мѣховая шапка; на шеѣ висѣла золотая цѣпь. Одною рукою онъ опирался на длинный посохъ, въ другой держалъ свитокъ пергамента. Коротенькая бородка торчала клиномъ и черные глаза искрились огнемъ; орлиный носъ съ изорванною ноздрею, казалось, испускалъ паръ; сжатыя губы выражали ироническую улыбку. Высокiй лобъ испещренъ былъ глубокими морщинами, проходившими по совершенно лысой головѣ, къ которой, точно въ насмѣшку, приклеены были ослиныя уши...

Вошедшій устремилъ на Твардовскаго пристальный взглядъ черныхъ искрившихся глазъ, похожихъ на глаза крокодила, готоваго поглотить бѣдное животное, привлеченное ихъ обаяніемъ...

Твардовскій не ошибся, принявъ дьявола за ученаго. Видъ былъ непріятенъ для него, такъ какъ заранѣе зналъ, что дѣло навѣрное возбудится о рѣшеніи какого-нибудь пустого вопроса или ложнаго мнѣнія. Визиты ученыхъ были такъ часты, что надоѣли ему.

Твардовскій хотѣлъ отказать гостю, но дьяволъ предвидѣлъ это и ловко отклонилъ нелюбезность хозяина; искусно коснувшись его самолюбія—этой слабой струнки ученыхъ людей,— онъ началъ превозносить его знаніе и разжигать тщеславіе,— и дьяволъ вполнѣ успѣлъ въ своемъ предпріятіи... Вскорѣ мрачное лицо Твардовскаго прояснилось и на губахъ появилась улыбка удовольствія; скука исчезла, какъ дымъ, — скука, которая, какъ увѣрялъ ученый дьяволъ, несовмѣстима въ великомъ человѣкѣ.

Развалясь въ креслѣ и засунувъ руки въ карманы, Твардовскій началъ перечислять незнакомцу свои муки и страданія по поводу изсякшаго источника науки, радуясь, что нашелся человѣкъ, который понимаетъ его и вполнѣ сочувствуетъ ему.

Въ голосѣ, взглядѣ и рѣчахъ дьявола, Твардовскій нашелъ отличные черты необыкновеннаго ума ученаго и высокое его направленіе... онъ вполнѣ довѣрился ему и открылъ передъ нимъ свою душу.

— Ты спрашиваешь меня, собратъ, почему я скученъ?— сказалъ Твардовскій,—научи же меня, пожалуйста, какъ быть веселымъ?.. Массѣ, — этой глупой толпѣ, стаду дикихъ звѣрей,—только массѣ доступно веселье... именно массѣ, немногимъ отличающейся отъ стада звѣрей, у которой душа — невольникъ тѣла!.. Но намъ, ученымъ, стоящимъ несравненно выше массы,—намъ нѣтъ времени думать о пустякахъ... Мы летимъ на небо, какъ титаны, и громоздимъ гору на гору, ради того, чтобы потомъ упасть съ этихъ шаткихъ подмостковъ въ грязь!.. Не ужасно ли это?.. Несмотря на мою славу, о которой ты говоришь мнѣ, я чувствую себя недостойнымъ

имени ученаго:—я многаго не понимаю, многаго не постигъ; мало могу сдѣлать, но многаго жаждетъ душа моя!.. Наука не удовлетворяетъ моихъ желаній; я не могу, подобно циникамъ, довольствоваться однимъ хлѣбомъ и водой, тощимъ питаніемъ науки!.. Я упиваюсь этой жаждой, этимъ драгоцѣннымъ нектаромъ знанія... Я жажду имѣть болѣе, нежели можетъ дать свѣтъ!.. Стократъ грѣшитъ тотъ, кто довольствуется тѣмъ, что даетъ ему свѣтъ!..

При этихъ словахъ лицо сатаны оживилось и онъ улыбнулся. Бесѣда съ Твардовскимъ доказала ему, что ученый прочно стоялъ ужъ на томъ пути, на который онъ хотѣлъ поставить его.

— Жажда науки,—говорилъ дьяволъ,—жжетъ твое благородное сердце, мудрецъ. Точно такая же жажда мучила и греческихъ мудрецовъ,— этихъ свѣтильниковъ древняго міра... Вспомни Аристотеля въ послѣднія минуты жизни: «поглотите меня, если я не въ силахъ поглотить васъ!» — воскликнулъ онъ, бросаясь въ пучину Мориса. То было отчаяніе жаждущаго человѣка, и—признаться—отчаяніе безумное... Но прежде чѣмъ отчаяваться, слѣдуетъ все испытать; лучше до послѣдней минуты жизни искать для ума пищи и свѣта, чѣмъ бросаться, очертя голову, въ пропасть, откуда нѣтъ возврата... Вѣдь жизнь наша такъ коротка.

— Свѣта!.. Пищи!..—вскричалъ Твардовскій:—но гдѣ же искать ихъ?.. Въ книгахъ?.. Я прочелъ все, что только можно было прочесть; испыталъ все, что можно было испытать, что можетъ обнять мысль человѣка. И я перебралъ въ моемъ умѣ и узналъ все, но многое осталось еще для меня загадкою!.. И за это я презираю себя, потому что не могу постигнуть того, что окружаетъ меня!

— Нужно попытаться еще разъ, чтобы достигнуть того, что непонятно тебѣ, — на это есть средства, — возразилъ дьяволъ.

— Средства!..—съ ироніей сказалъ Твардовскій,—средства нужны только для скотовъ и невѣждъ!

— Ты забываешь, собратъ, что назначеніе ученаго—терпѣніе и опытъ,—такъ созданъ свѣтъ, и если не можемъ понять его, то должны, какъ инквизиторы, пытать... Не забы-

вай, собратъ, что когда одни пытаются разгадать его, другіе, въ то же время, пользуются плодами ихъ труда и выигрываютъ вдвое больше, чѣмъ первые...

— Такъ неужели я до сихъ поръ стоялъ на ложномъ пути!—вскричалъ Твардовскій, ударивъ себя по лбу.—Я, чувствующій въ себѣ неудержимую страсть къ наукѣ и ищущій, какъ Архимедъ, рычага, твердой почвы, на которой моя мысль могла бы опереться и поднять цѣлый свѣтъ!.. Неужели всѣ попытки мои, всѣ знанія были одной лишь профанаціей, глупой, смѣшной иллюзіей?.. Неужели внутренній жаръ, этотъ огонь, который жжетъ мое сердце, былъ неосуществимою мечтою, бредомъ, призракомъ?..

Дьяволъ отвѣтилъ:—нѣтъ;—онъ держалъ себя на сторожѣ и не подтверждалъ словъ Твардовскаго, боясь разсердить его; онъ видѣлъ, что еще не время представлять науку въ настоящемъ ея видѣ. Въ свою очередь, Твардовскій не хотѣлъ знать этой истины, но теперь, когда трудъ этотъ сдѣлался для него не по силамъ, онъ гнался за нимъ, какъ скованный узникъ за свободой.

— Нѣтъ, этого нельзя сказать,—возразилъ сатана.—Но увѣренъ ли ты, что перешелъ всѣ границы науки и мысли?..

Твардовскій иронически улыбнулся.

— Попробуемъ свои силы,—гордо и смѣло сказалъ Твардовскій:—увидимъ, кто изъ борьбы выйдетъ побѣдителемъ.

— Попробуемъ,—отвѣтилъ сатана.

— Кстати, ночь великолѣпная, луна свѣтитъ прекрасно,—пойдемъ за городъ.

— Согласенъ.

Ученые встали и ушли.

VII.

Матюша-сиротка.

Никто во всемъ Краковѣ не зналъ о диспутѣ Твардовскаго съ сатаною, никто ихъ не могъ подслушать, а отгадать о происходившемъ—и подавно. Споръ длился всю ночь, но къ утру дьяволъ вышелъ побѣдителемъ.

Твардовскій былъ изумленъ познаніями и ученостью дьявола. Когда они возвращались домой, Твардовскій сказалъ ему:

— Откуда у тебя, собратъ, такая масса знаній?.. Гдѣ ты учился?

— Эту премудрость далъ мнѣ дьяволъ, взамѣнъ моей души, которую я ему продалъ, — отвѣчалъ сатана. — Доказательство моей учености ты видѣлъ и, конечно, не усомнишься въ справедливости моихъ словъ.

Сказавъ это, дьяволъ кивнулъ ему головой, въ знакъ прощанія, и скрылся въ одной изъ многочисленныхъ улицъ. Впечатлѣніе произнесенныхъ словъ было предусмотрѣно дьяволомъ... Твардовскій узналъ, гдѣ находится источникъ мудрости и знаній; онъ только и думалъ теперь о томъ. Другимъ путемъ дьяволъ не могъ бы достигнуть лучшей цѣли: онъ посѣялъ зерно и исчезъ, для того, чтобы дать ему взойти и вырости; въ плодахъ же онъ не сомнѣвался.

И успѣхъ оправдалъ его ожиданія.

Съ этой минуты Твардовскій, алчущій науки и большей славы, не могъ выбросить изъ головы мысль, что одинъ дьяволъ можетъ дать ему сверхъестественную мудрость. Мысль эта срослась съ его сердцемъ и точила его какъ червякъ, хуже—сосала, какъ змѣя. Онъ по цѣлымъ днямъ задумывался надъ вопросомъ продажи своей души дьяволу... Съ каждымъ днемъ онъ убѣждался въ необходимости совершенія купчей, и рѣшился на этотъ ужасный подвигъ, какъ ни жалко было ему своей безсмертной души. Твардовскій помнилъ какихъ трудовъ стоило ему выручить изъ рукъ сатаны отцовское обязательство, какимъ опасностямъ подвергался онъ въ аду — и при этой мысли рѣшимость оставляла его...

Мысль о томъ, что онъ долженъ признать надъ собою превосходство дьявола, — терзала его самолюбіе... Въ немъ замѣчалась рѣзкая перемѣна: онъ не цѣнилъ уже такъ высоко своей учености, какъ цѣнилъ ее прежде, и презиралъ себя... Наружность его оставляла на себѣ отпечатокъ внутренней борьбы, тоски и досады... Магическія и волшебныя книги, брошенныя имъ съ презрѣніемъ, онъ опять вынесъ на свѣтъ Божій и началъ искать въ нихъ разъясненія своихъ недоразумѣній; онъ черпалъ изъ этого источника все то, что могло

сблизить его съ дьяволомъ, что могло бы просвѣтить его умъ и наставить на тотъ путь знаній, которыхъ онъ такъ жаждалъ. Однако, при всемъ его желаніи, онъ не былъ еще увѣренъ, можно-ли цѣною души купить вѣчную мудрость; онъ боялся найти въ ней призракъ, зловредный напитокъ, который не утолитъ его жажды, а только разожжетъ ее...

Въ минуты борьбы съ самимъ собою, онъ съ горестью вспоминалъ свои юныя лѣта, когда въ душѣ его таилась вѣра и надежда...

Часто Твардовскій вспоминалъ школьную скамью, на которой мечталъ о сладкомъ будущемъ, на которой провелъ столько блаженныхъ часовъ въ наукѣ и незыблемой религіи, которую такъ любили и изучали его умъ и сердце; онъ вспоминалъ мраморный полъ въ костелѣ Пречистой Дѣвы Маріи, на которомъ, стоя на колѣняхъ, такъ горячо предавался молитвѣ и пѣлъ священныя пѣсни; вспоминалъ и тѣ минуты религіознаго вдохновенія, когда самъ онъ сочинялъ пѣсни, которыя распѣвались на всѣхъ перекресткахъ Кракова... Теперь эти пѣсни не отзывались въ его сердцѣ, не возбуждали въ немъ того чувства, которое порождало ихъ. Теперь онъ смотрѣлъ на нихъ, какъ на забаву юности, глазами холоднаго мудреца, который распростился навсегда съ вѣрой во все хорошее, глазами поэта, у котораго заснула муза и увяли надежды.

Сравнивая настоящее свое положеніе съ прошедшею тихою, безмятежною юностью, онъ горько жалѣлъ о ней... Но, къ сожалѣнію, нельзя было вернуться къ прошлому, да и счастія этого было бы слишкомъ недостаточно для его возраста, какъ молока матери. Жизнь, это—путешествіе, изъ котораго никто не возвращается,—развѣ только мысленно... Какъ ни жалко родного крова, молодыхъ лѣтъ, всего близкаго намъ, мы движемся впередъ, чтобы пройти возможно большее пространство, все дальше и дальше, и приходимъ наконецъ къ конечной цѣли нашего путешествія — къ могилѣ...

Излюбленнымъ мѣстомъ прогулокъ Твардовскаго было урочище за Вислою, на Подгорье, въ Кржеменцахъ. Тамъ проводилъ онъ нерѣдко цѣлые дни и ночи; туда шли за нимъ его ревнители науки, гдѣ онъ, подъ открытымъ небомъ, хлесталъ ихъ бичомъ невѣрія. Открывая бездонную пропасть науки,

зіявшую подъ ногами смѣльчака, который рѣшался изслѣдовать ее, Твардовскій скорѣе охлаждалъ его рвеніе, чѣмъ возбуждалъ его. Дикая мѣстность, гдѣ онъ бесѣдовалъ съ своими учениками, вполнѣ соотвѣтствовала его мыслямъ. И понынѣ народъ называетъ эту мѣстность каѳедрой Твардовскаго.

Обязанности профессора вскорѣ надоѣли Твардовскому и онъ оставилъ свою каѳедру въ пустынѣ. Въ немъ еще не исчезла совѣсть и онъ не хотѣлъ заражать своимъ невѣріемъ другихъ. Очень немногіе изъ его слушателей ходили къ нему на квартиру, отчасти изъ любопытства, отчасти изъ привязанности, но и тѣ вскорѣ оставили его, убѣдившись, что изъ ученія его не могутъ извлечь надлежащей пользы.

Только одинъ Матюша остался при немъ. Это былъ сирота, котораго нашелъ Твардовскій на церковномъ кладбищѣ на рукахъ умирающей матери; онъ взялъ его къ себѣ изъ состраданія. Ребенокъ выросъ на глазахъ Твардовскаго и привязался къ нему, какъ къ родному отцу. Матюша не отходилъ отъ него ни на одинъ шагъ, онъ былъ его тѣнью, слѣдилъ за нимъ шагъ за шагомъ, даже сопутствовалъ ему въ уединенныхъ прогулкахъ, оберегая его, какъ дитя.

Маленькій, худой и блѣдный Матюша посвятилъ всю жизнь свою тому, кому былъ обязанъ ею; служить ему было его единственнымъ счастьемъ; онъ жилъ только Твардовскимъ, безъ него онъ не зналъ бы, что̀ такое жизнь. Въ цѣломъ мірѣ не было никого, къ кому онъ могъ привязаться, о комъ бы могъ думать и любить: Твардовскій составлялъ для него все. Привязанность его превратилась въ рабскую страсть, дошла до самоотверженія, до самозабвенія. Казалось, что онъ воплотился въ Твардовскаго. Жизнь Твардовскаго была его жизнью, членомъ, съ которымъ онъ разстался бы только вмѣстѣ съ своею жизнью.

Привязанность эта обратила на себя всеобщее вниманіе. Народъ смѣялся надъ Матюшей, называя его юродивымъ, и говорилъ, что Твардовскій, посредствомъ тайной магіи, привязалъ его къ себѣ; иначе нельзя было допустить самоотверженной преданности Матюши къ Твардовскому.

Будучи десятилѣтнимъ мальчикомъ, Матюша ничему еще *не* учился, даже понятія не имѣлъ о наукѣ. Вся премудрость

свѣта для него заключалась въ священныхъ пѣсняхъ, а ксендзовъ, которые пѣли ихъ, онъ считалъ величайшими мудрецами свѣта. Твардовскій казался ему существомъ такимъ необыкновеннымъ, что при одной мысли о немъ у него кружилась голова. Матюша никогда не слѣдилъ за поступками Твардовскаго,—онъ чувствовалъ это сверхъ своихъ силъ; мальчикъ старался только служить своему господину „вѣрою и правдой", быть послушнымъ, преданнымъ, повиноваться во всемъ и ни въ чемъ не безпокоить его. Если онъ былъ голоденъ, то скорѣе согласился бы украсть кусокъ хлѣба, чѣмъ обезпокоить Твардовскаго; когда же платье его распадалось на клочки отъ ветхости, онъ штопалъ его до тѣхъ поръ, пока не находилъ гдѣ нибудь выброшеннаго, но болѣе крѣпкаго рубища, которое, осмотрѣвъ и заштопавъ, надѣвалъ на себя, и тогда жилъ спокойно и счастливо.

Твардовскій, казалось не обращалъ на его рѣдкую привязанность особеннаго вниманія, а если и обращалъ когда-нибудь, то только въ то время, когда неловкій мальчикъ чѣмъ нибудь особенно надоѣдалъ ему, былъ неисправенъ, докучливъ. Тогда Твардовскій выбрасывалъ его за дверь, и Матюша, какъ вѣрная собаченка, ложился у порога, готовый явиться на первое требованіе хозяина... Мысль оставить Твардовскаго никогда не зарождалась въ его головѣ.

Во время отлучекъ Твардовскаго на Кржеменки, Матюша не зналъ, что дѣлать съ собою. Ему хотѣлось сопровождать его, но боялся оставить квартиру, которую нечѣмъ было запереть. Онъ колебался... Часто по цѣлымъ днямъ Матюша ожидалъ возвращенія Твардовскаго, и выбѣгалъ на улицу смотрѣть, не возвращается-ли его хозяинъ, боясь отойти отъ дому, который стерегъ, какъ собака, находясь неотлучно при дверяхъ. Мучимый голодомъ, онъ иногда отлучался отъ дома на самое короткое время, бѣжалъ на рынокъ, и, стащивъ какимъ нибудь образомъ булку, бѣгомъ возвращался домой, садился на порогѣ и спроваживалъ посѣтителей однимъ и тѣмъ же неизмѣннымъ отвѣтомъ:

— Дома нѣтъ профессора,—за Вислою.

Но съ каждымъ днемъ число посѣтителей уменьшалось... казалось, что всѣ позабыли Твардовскаго. Въ то же время и

Твардовскій началъ отлучаться на продолжительное время въ Кржеменки. Противъ обыкновенія онъ даже не бралъ съ собою книгъ и ходилъ одинъ, углубленный въ мысли.

Такъ продолжалось нѣсколько мѣсяцевъ и Матюша сидѣлъ у порога блѣдный, худой, тощій, голодный, въ лохмотьяхъ, равнодушно относясь ко всему на свѣтѣ: а если кто сожалѣлъ его, онъ возражалъ съ улыбкой:

— Это не вредно для меня, мнѣ и здѣсь очень хорошо!

VIII.

Какимъ образомъ Твардовскій рѣшился продать себя дьяволу, что происходило въ душѣ его и какія условія онъ заключилъ съ нимъ.

Грустный и задумчивый сидѣлъ однажды Твардовскій на своей каѳедрѣ въ Кржеменкахъ. Настала уже третья или четвертая ночь, какъ онъ вышелъ изъ Кракова и блуждалъ по Подгуржу. Солнце уже давно зашло; звѣзды слабо мелькали въ свѣтлой лазури неба; мѣсяцъ съ пурпурно-краснымъ лицомъ выходилъ изъ-за лѣса. Осенняя ночь хотя и была свѣтла, но вѣтеръ шумѣлъ деревьями и, срывая листья, разносилъ ихъ по долинѣ. На дорогѣ мѣстами поднималась пыль, которую вѣтеръ, крутя передъ собою, гналъ столбомъ въ неизвѣстное пространство. Несмотря на бурю, затемнявшую путнику дорогу, на небѣ было ясно и свѣтло, а въ воздухѣ пахло холодомъ. Въ душѣ Твардовскаго, точно также какъ и въ воздухѣ, было ясно и свѣтло, но вѣтеръ сомнѣнія металъ и шумѣлъ въ его мысляхъ. Слабо мерцали тамъ звѣзды надежды; кровавая луна непреодолимой жажды знанія поднималась на осиротѣломъ небѣ вѣры. Извините читатель за подобное сравненіе, но таковъ былъ въ то время языкъ поэзіи.

Твардовскій рѣшился вызвать дьявола, видѣться съ нимъ непремѣнно, въ эту же ночь, и отдать ему свою душу взамѣнъ славы, мудрости и науки. Странная мысль натолкнула его на эту рѣшимость. Онъ вспомнилъ, что ужъ однажды былъ во власти сатаны и что только Провидѣніе помогло ему спасти отцовское обязательство. Твардовскій, точно игрокъ, отыгравшій

свои деньги, бросалъ ихъ опять на столъ, чтобы проиграть, ссылаясь на то, что они уже были проиграны имъ; точно также и онъ бросалъ свою душу въ руки дьявола, оправдываясь, что душа его уже была въ аду и только случайно ему удалось спасти ее... Такимъ именно аргументомъ старался онъ заглушить вопіющую совѣсть, сожалѣніе о безсмертной душѣ, которую мѣнялъ на мишурную славу и ждалъ только наступленія ночи. Все было готово; всѣ чернокнижническіе аппараты были въ порядкѣ: съ ними онъ долженъ былъ выйти въ полночный часъ на перекрестокъ дороги, для свиданія съ дьяволомъ.

Но долго не наступала эта желанная минута; время шло черепашьимъ шагомъ, точно для того, чтобы дать возможность обдумать ему свой шагъ; Твардовскій не послушался голоса совѣсти, которая тѣснилась въ его воспламененномъ воображеніи, и напрасно приходило на помощь минутное раскаяніе, напрасно воскресали воспоминанія прошлой безукоризненной молодости, напрасно онъ заглядывалъ въ свое прошлое,—мысли тѣснились, перегоняя другъ друга, и налегали на него тяжелымъ камнемъ, который онъ, впрочемъ, и не желалъ сбросить, находясь въ возбужденномъ состояніи въ ожиданіи роковой минуты.

Устремивъ свой взоръ къ небу, Твардовскій ждалъ полуночи, которая, какъ нарочно, медлила своимъ наступленіемъ, и точно удалялась отъ него на неограниченное пространство... Мысли одна другой чернѣе налетали на него и душа готова была вылетѣть изъ его грѣшнаго существа: онъ изнемогалъ отъ нетерпѣнія... Наконецъ, онъ далъ имъ полную свободу, открылъ передъ ними душу и заговорилъ про себя:

— Ничто не заставитъ меня отказаться отъ принятаго мною намѣренія: разъ я рѣшился, и поставлю на своемъ. Если еще есть въ рукахъ сатаны капля науки, которую я тщетно розыскиваю на землѣ, если въ его распоряженіи находятся всевѣдѣніе и сверхъестественная власть, если онъ можетъ наградить меня ими, — я отдамъ ему не только душу, но и всего себя въ полное распоряженіе!

Въ воображеніи Твардовскаго воскресли воспоминанія юности, въ ризахъ свѣтлыхъ и ясныхъ, какъ майскій день, съ лавровымъ вѣнкомъ на головѣ, съ вѣрою въ сердцѣ, съ надеждою и любовью въ груди.

«Да развѣ недостаточно было тебѣ надежды, вѣры и любви?» пронеслось въ его воображеніи.

— Да, мало,—отвѣчалъ Твардовскій воскресшему воспоминанію,—мало, потому что вѣра слѣпа,—мало, потому что надежда обманчива, — мало, наконецъ, потому, что любовь неудовлетворяетъ моего самолюбія и ни къ чему не способна. Во мнѣ падаетъ надежда и стынетъ любовь. Я долженъ дать моей жизни ту вѣру, надежду и любовь, которыя недоступны массѣ, которыя были бы понятны только мнѣ.

И въ душѣ его возстала ненасытная жажда славы, стройная и величавая, въ черномъ одѣяніи, съ цѣпью на груди, съ лавровымъ вѣнкомъ на головѣ и глубокими морщинами на лицѣ.

— Всѣ средства къ славѣ доступны и святы,—сказала ему возставшая жажда славы,—нѣтъ никакой разницы между пресмыкающимся червемъ по землѣ и человѣкомъ, который не отличается чѣмъ нибудь отъ другихъ!..

На смѣну славѣ возстала вѣра, съ крестомъ въ рукахъ и глазами, вознесенными къ небу и полными слезъ.

— Зачѣмъ ты разстаешься со мною и продаешь свою душу сатанѣ, взамѣнъ славы?—рыдая сказала—вѣра... Развѣ я не вѣрно служила тебѣ? Развѣ не услаждала я тебя, когда ты трудился въ потѣ лица, когда совершалъ трудныя работы? Развѣ не открывала я тайнъ свѣта и жизни; развѣ не указывала я на премудрость Творца и Вседержителя?.. Чего же тебѣ больше, кромѣ утѣхи на землѣ и надежды въ будущей жизни, которыя я разсыпала передъ тобою щедрою рукой? Зачѣмъ же ты покидаешь меня и бросаешься въ разъяренныя волны твоихъ необузданныхъ страстей? Ужели ты забылъ, что „блаженны нищіе духомъ, ибо ихъ есть царствіе небесное“; а царство небесное не есть-ли высшая премудрость? Ужели забылъ ты, что на небѣ откроются всѣ тайны и ты узнаешь все ничтожество мудрости человѣка на землѣ?.. Ужели за эту мудрость ты рѣшаешься отдать свою безсмертную душу въ руки сатаны?

Но слабый голосъ вѣры заглушалъ голосъ славы; съ пылающими глазами и распростертыми руками, слава, казалось, хотѣла покорить себѣ весь міръ.

— Жажду! жажду!—вопіяла она:—напоите меня, хотя уксу-

сомъ и желчью... Но не отнимайте у меня этой чаши, потому что жажда моя неутолима!..

На смѣну славѣ и вѣрѣ появилась добродѣтель, скромная, невинная, чистая, какъ голубица, и съ плачемъ проговорила:

— Зачѣмъ ты отталкиваешь меня, учитель?.. Что я сдѣлала тебѣ?.. Развѣ увѣренность, что я была съ тобою, не услаждала твоихъ шаговъ на тернистомъ пути; развѣ не вытирала я твоего пота лица и слезъ изъ твоихъ очей? Развѣ я не покоилась, какъ вѣрная жена, въ твоей чистой совѣсти?.. Неблагодарный!.. Ужели ты промѣняешь меня на развратную славу и оттолкнешь отъ себя вѣрную добродѣтель?..

Добродѣтель горько плакала, закрывъ лицо руками...

Жажда славы и премудрости возразила добродѣтели въ отвѣтъ:

— Жажду! жажду! утолите ее кровью, желчью, чѣмъ угодно, только бы не жаждать безъ мѣры, безъ конца...

Добродѣтель смолкла и тихо удалилась.

Когда видѣнія мысли исчезли, на горизонтѣ неба появились двѣ свѣтлыя тѣни; онѣ, казалось, летѣли на осеннихъ сѣрыхъ облакахъ, опускаясь книзу; въ этихъ тѣняхъ Твардовскій узналъ своихъ родителей. На головахъ ихъ сіяли звѣзды и въ рукахъ красовались мученическія пальмы; дивною гармоніею звучала ихъ рѣчь:

— Сынъ нашъ!..—говорили они:—не достаточно-ли тебѣ и той науки, которою ты обладаешь?.. Мы меньше твоего знали, но и этого знанія достало намъ на двѣ жизни: земную и вѣчную... Ты ищешь счастія, сынъ нашъ?.. Такъ знай же, что оно заключается не въ наукѣ, но въ мирѣ, любви и спокойствіи... Ищешь славы? Но слава не въ мудрости, а въ геройскомъ самоотверженіи... Наслажденій ищешь ты, сынъ нашъ?.. Ихъ ты найдешъ въ соединеніи двухъ любящихъ сердецъ!.. Наука, — это пропасть, поглощающая человѣка, которая раздавитъ его, какъ ничтожнаго червя... Тебѣ извѣстно, сынъ нашъ, что познаніе добра и зла погубило нашихъ прародителей и губитъ каждаго, кто въ безумной гордости дерзнетъ сравняться съ Богомъ, и ничтожнымъ своимъ умишкомъ осмѣлится обнять весь міръ, въ которомъ малѣйшая его частица отразиться не можетъ!.. Зачѣмъ тебѣ больше знанія и мудрости?.. Ты раскаешься, и самъ

станешь проклинать, когда онѣ помутятъ и отравятъ твою жизнь!.. Не свертывай съ пути истины, сынъ нашъ, и не иди по собственной волѣ въ адъ, изъ котораго вывело тебя однажды Милосердіе Всевышняго!.. Вернись, вернись, сынъ нашъ!

Горько плакали тѣни родителей, и слезы ихъ капали на томимую жаждою душу Твардовскаго, но не могли однако погасить огонь, потому что жажда славы продолжала кричать:

— Напойте меня! Дотуда не отниму устъ своихъ отъ уксуса и желчи, пока не утолю жажды, мучимой меня!.. Жажду, жажду!..

Глаза Твардовскаго обратились къ звѣздамъ, по которымъ онъ узналъ, что полночь ужъ близка. Онъ всталъ со скалы, на которой лежалъ, и пошелъ на перекрестокъ дороги, гдѣ уже поджидалъ его дьяволъ.

На распутіи стоялъ крестъ, отъ ветхости погнувшійся въ сторону и обросшій мохомъ; на крестѣ, скрипя, вертѣлся небольшой флюгеръ; куски полотна, обмотаннаго набожными крестьянами вокругъ креста, трепало вѣтромъ, какъ парусъ на челнокѣ. У подножія креста валялись поломанныя колеса, хворостъ и камни, обросшіе мохомъ и наполовину увязшіе въ землю.

Когда Твардовскій подходилъ къ перекрестку дороги, небо, до сихъ поръ ясное и звѣздное, начало хмуриться и заволакиваться темными осенними тучами; съ сѣвера подулъ вѣтеръ и вскружилъ опавшія листья и хворостъ. Твардовскій оглянулся. Дороги развѣтвлялись накрестъ и шли въ четыре разныя направленія. Первая изъ нихъ, шедшая къ сѣверу, широкая, удобная,—называлась утѣхой; вторая шла къ югу—дорога труда и терпѣнія; третья — къ востоку, называлась надеждой и четвертая дорога шла къ западу и называлась дорогою отчаянія и горя. Всѣ дороги были широки и торны; вѣтеръ шумѣлъ и крутилъ столбомъ песокъ и листья, которые прыгали и вертѣлись какъ ярмарочные балаганные петрушки. Надъ дорогою утѣхъ и наслажденій летѣли голуби; надъ дорогою труда—взвивался соколъ; надъ дорогою надеждъ—летѣли дикія гуси, а на западной дорогѣ—кричали вороны и совы.

Твардовскій снялъ платье и выворотилъ его на изнанку. Затѣмъ вынулъ изъ кармана священный мѣлъ, свѣчу изъ че-

ловѣческаго сала, кубокъ съ водою, кропило, книгу и нѣсколько человѣческихъ костей. Потомъ взялъ волшебную палочку, раскрашенную магическими, черными и бѣлыми знаками, воткнулъ ее въ землю и обвелъ вокругъ себя священнымъ мѣломъ магическую черту. Старый крестъ, стоявшій на распутьѣ служилъ центромъ круга, въ которомъ расположился Твардовскій. Разбросавъ человѣческія кости и окропивъ вокругъ себя святой водою, Твардовскій зажегъ свѣчу и началъ заклинать сатану на всѣхъ живыхъ и мертвыхъ языкахъ, слова которыхъ вѣтеръ разносилъ во всѣ стороны свѣта.

— Явись, духъ ада!—заклиналъ Твардовскій:—тебя ждетъ человѣкъ, который хочетъ продать тебѣ свою душу. Явись ко мнѣ со всѣмъ твоимъ могуществомъ. Человѣкъ этотъ продаетъ свою душу не за золото, не за роскошь, утѣхи и наслажденія свѣта, но за мудрость и славу... Возьми ее, сатана, и дай мнѣ взамѣнъ древо познанія!... Явись передо мною, духъ ада!... Заклинаю тебя именемъ твоего повелителя, который первымъ упалъ съ неба въ преисподнюю ада!.. Заклинаю тебя именемъ твоего униженія, твоихъ мукъ и покорности волѣ Всевышняго!.. Предстань передо мною и возьми отъ меня дарованную мнѣ Богомъ душу... отними ее у Него!.. Заклинаю тебя именемъ всѣхъ духовъ тьмы, низверженныхъ съ неба въ побѣдный день воскресенія, именемъ преисподней ада, огня, геенны и спасенныхъ душъ изъ тьмы кромѣшной; именемъ мукъ, которыя терпѣлъ, терпишь и нескончаемо будешь терпѣть, на которыя ты вѣчно осужденъ. Призываю тебя разъ, призываю дважды, семь кратъ и семьдесятъ семь кратъ. Явись передо мною, сатана!..

Когда Твардовскій произносилъ послѣднія слова своего ужаснаго заклинанія, передъ кругомъ, обведеннымъ священнымъ мѣломъ, появилось странное существо, освѣщенное какимъ-то красноватымъ свѣтомъ... Взглянувъ на появившагося, Твардовскій узналъ въ немъ своего ученаго, который въ послѣднее время бесѣдовалъ съ нимъ. Хриплый и насмѣшливый голосъ его страшно прозвучалъ въ ушахъ Твардовскаго.

— Не понимаю, зачѣмъ это, собираясь продать свою душу дьяволу, ты принялъ такія предосторожности и огородилъ себя священнымъ мѣломъ и водою,—проговорилъ появившійся духъ.

— Потому что не желаю, чтобы душа моя досталась тебѣ даромъ, какъ душа ребенка,—возразилъ Твардовскій:—я знаю съ кѣмъ имѣю дѣло: ты вѣдь посолъ ада?..

— Я, докторъ; говори, что тебѣ нужно отъ меня?

— Что мнѣ нужно?.. Мнѣ нужно, чтобы ты показалъ мнѣ древо познанія и разрѣшилъ вкушать его плоды... Я хочу быть мудрѣйшимъ изъ всѣхъ мудрецовъ, сильнѣйшимъ изъ всѣхъ сильныхъ на землѣ; я хочу знать свѣтъ такъ, какъ знаетъ его самъ Творецъ, со всѣми его тайнами, прошлымъ и будущимъ, силою вещей и силою существа; я хочу быть мудрѣйшимъ изъ мудрецовъ, сильнѣйшимъ изъ сильныхъ, величайшимъ изъ великихъ.

— Слишкомъ многаго требуешь ты отъ меня!—возразилъ сатана.—Что же ты дашь мнѣ за все это?

— Мою безсмертную душу!

— Душу!.. — воскликнулъ смѣясь сатана: — но увѣренъ ли ты, что душа твоя стоитъ всего этого?.. Увѣренъ ли ты, что она и теперь не принадлежитъ мнѣ, что она стоитъ не на томъ пути, на которомъ была до появленія твоего на свѣтъ.

— Я увѣренъ лишь въ томъ, что всѣ, сдѣланныя мною до сего времени, прегрѣшенія я искуплю покаяніемъ; увѣренъ, что не стою на невозвратномъ пути къ аду; увѣренъ, что душа мудреца стоитъ того, о чемъ прошу и чего жажду, потому что она увлечетъ за собою много душъ неразумной массы, глупыхъ подражателей и послѣдователей; увѣренъ, что мудрость увлечетъ ихъ всѣхъ,—однихъ убѣжденіемъ, другихъ примѣромъ, третьихъ доказательствомъ; иные пойдутъ изъ любопытства, другіе по глупости, третьи по вѣрѣ...

Дьяволъ разсмѣялся, услышавъ увѣренный отвѣтъ Твардовскаго.

— Отлично!—Пиши обязательство на свою душу!..

— Не торопись, пожалуйста,—оборвалъ его Твардовскій.—Ты покажи мнѣ напередъ, что можешь ты дать за мою душу, которую я *продаю,* но не отдаю такъ.

— Я ужъ доказалъ тебѣ, при первомъ нашемъ свиданіи, всю мощь моего ума. Чего же тебѣ еще?

— Этого недостаточно. Ты докажи мнѣ,—можешь ли ты

передать мнѣ силу и власть твою на землѣ, и въ состояніи ли я буду воспользоваться твоею премудростью.

— Какимъ образомъ?

— Выслушай меня... Я долженъ предложить тебѣ три испытанія: во-первыхъ: снеси мнѣ все серебро, находящееся въ Польшѣ, въ Олькушскія копи, которыя давно уже не даютъ серебра...—этимъ Господь наказалъ за святотатство олькушскій магистратъ, - и пусть оно все лежитъ тамъ для меня одного, чтобы я, по желанію, могъ въ каждое время распорядиться имъ.

— Зачѣмъ тебѣ оно?—спросилъ сатана:—вѣдь этимъ ты разоришь страну, такъ какъ его не откуда будетъ добыть. Что тебѣ въ немъ?

— Это мое условіе, и такъ должно быть!—возразилъ Твардовскій.

— Хорошо. Что же больше?—смѣясь, возразилъ сатана.—Я вижу, что съ тобой не легко сговориться и больше труда, чѣмъ стоитъ твоя ветхая душа.

Твардовскій самодовольно улыбнулся.

— Во-вторыхъ,—продолжалъ Твардовскій,—въ эту же ночь, ты долженъ выкопать прудъ подъ Кнышиномъ и сдвинуть камень, который лежитъ подъ Червеньскомъ; затѣмъ, въ-третьихъ, поставь Соколью скалу подъ Краковомъ такимъ образомъ, чтобы она своимъ шпицемъ упиралась въ землю, а вверху находилось ея основаніе. Все это ты долженъ сдѣлать въ продолженіе этой ночи и въ моемъ присутствіи... безъ всякой помощи. Этимъ ты убѣдишь меня въ своей всесильности, и тогда я заключу съ тобой условіе и отдамъ духовную на мою душу.

— И все это только испытаніе!—воскликнулъ сатана.—Хитеръ же ты, нечего сказать! Ну, а если ты, послѣ этого испытанія, откажешься отъ своего намѣренія и не продашь мнѣ своей души? Что тогда?.. Вѣдь даромъ трудиться и переворачивать свѣтъ на изнанку вовсе неудобно для меня!..

Твардовскій помолчалъ немного и потомъ отвѣтилъ:

— Какъ хочешь — твоя воля; но это мое непремѣнное условіе, и ты долженъ отвѣтить мнѣ: да или нѣтъ.

Дьяволъ призадумался и долго почесывалъ себѣ копытомъ

затылокъ. Онъ гримасничалъ и, какъ будто-бы разсчитывая что-то, ворчалъ про себя:

— Да, тяжелое испытаніе! очень тяжелое! Однако, дѣлать нечего,—пиши обязательство, и какъ ни тяжелы условія, но пусть будетъ по твоему.

— Нѣтъ, не стану писать, пока ты не докажешь мнѣ всей своей силы и власти.

— Напрасно торгуешься.

— Какъ не торговаться, когда я продаю свою послѣднюю драгоцѣнность—душу, ради того лишь, чтобы утолить мою жажду. Я долженъ торговаться, потому что это послѣдній торгъ въ моей жизни. Я вовсе не желаю отдать тебѣ за безцѣнокъ своего безсмертія. Думай и дѣлай, какъ знаешь.

— Выходи изъ круга и слѣдуй за мной,—сказалъ дьяволъ.

Твардовскій окропилъ себя святой водой, взялъ книгу и, перекрестясь, вышелъ изъ круга.

Дьяволъ, видя, что его хитрость не удалась, заскрежеталъ зубами: при такомъ вооруженіи, онъ не могъ овладѣть Твардовскимъ.

На распустьѣ на нихъ набѣжалъ смерчъ, который подхватилъ ихъ и они понеслись стрѣлой; долго носились они по рвамъ, горамъ и долинамъ, пока, наконецъ, прибыли въ Олькушъ, гдѣ дьяволъ вдругъ исчезъ.

У спуска въ копи Твардовскій ждалъ дьявола. Черезъ нѣсколько мгновеній, ученый замѣтилъ двигающуюся массу чудовищъ, несущихъ на своихъ плечахъ серебряную руду. Они подходили къ отверстію, бросали серебро, уходили и снова возвращались съ такими же ношами. Наконецъ, за стаей чудовищъ, показался и самъ дьяволъ, который руководилъ духами, и, принеся съ собою небольшой обломокъ серебра, бросилъ его въ яму.

— Это послѣдній,—сказалъ сатана.

— Чѣмъ же ты мнѣ докажешь, что это послѣдній? —спросилъ пойманный Твардовскій.

— А почему же ты сомнѣваешься, что не послѣдній?—спросилъ въ свою очередь дьяволъ.

Волей-неволей, нужно было согласиться съ дьяволомъ, хотя и не будучи увѣреннымъ, что онъ снесъ все серебро и что руда была дѣйствительно серебряная.

Между тѣмъ, дьяволъ, раздосадованный недовѣріемъ Твардовскаго, плюнулъ въ яму, точно нечаянно, и съ тѣхъ поръ копи залиты водою.

Твардовскій и дьяволъ опять сѣли на смерчъ и полетѣли въ Кнышинъ.

Здѣсь Твардовскій показалъ дьяволу урочище Чеховщизно, которое слѣдовало превратить въ прудъ. Дьяволъ выбѣжалъ на средину и началъ усердно рыть землю копытами, когтями и зубами; онъ выбрасывалъ ее цѣлыми глыбами, пока наконецъ не выкопалъ пространную ложбину. Усталый и раздосадованный заданной ему на урокъ работой, онъ остановился на краю вырытаго имъ пруда и опять плюнулъ; вода съ шумомъ разлилась по ложбинѣ, и, ударившись о берега пруда, наполнила его до самыхъ краевъ.

— Вотъ тебѣ и второе испытаніе,—сказалъ дьяволъ.— Теперь, пока кочета не пропѣли въ урочный часъ, приступимъ къ третьему.

Они опять сѣли на тотъ же смерчъ и полетѣли на немъ къ Червеньску.

Здѣсь Твардовскій показалъ огромный камень, покрытый мхомъ и плесенью, глубоко вросшій въ землю, и велѣлъ его перебросить черезъ лѣсъ, воду и луга на поле.

Дьяволъ покачалъ головою, точно удивляясь величинѣ камня; онъ вертѣлся около него со всѣхъ сторонъ, натуживался, вздыхалъ, пока наконецъ ему удалось покачнуть его на бокъ. Тогда онъ повернулся къ нему спиною, взвалилъ на плечи, какъ куль муки, понатужился, и, замахнувшись, подбросилъ его вверхъ... Каменная глыба со свистомъ поднялась къ облакамъ и, перелетѣвъ черезъ лѣсъ, мимо облаковъ, грохнулась на землю.

— Теперь вернемся въ Краковъ къ послѣднему испытанію, хотя по условію достаточно и трехъ,—сказалъ сатана.

Твардовскій ничего не возразилъ на это, и они сѣли на свою воздушную лошадку и помчались въ Краковъ, къ такъ называемой Сокольей или песчаной скалѣ, которая стояла остріемъ вверхъ.

Долго глядѣлъ на нее дьяволъ и придумывалъ, какъ ловчѣе приняться за дѣло.

Твардовскій съ любопытствомъ посматривалъ на дьявола и улыбался своей хитрости. Маленькая фигурка дьявола вертѣлась вокругъ скалы, дотрогивалась когтями и смотрѣла исподлобья на угрюмо стоявшаго Твардовскаго.

Наконецъ, дьяволъ приподнялся на оконечности копытъ и быстро началъ расти вверхъ; маленькая фигурка его вытянулась на глазахъ Твардовскаго выше скалы... Схватившись руками за оконечность шпица, дьяволъ перевернулъ ее, какъ палку и поставилъ вверхъ основаніемъ. Не сразу, однако, удалось дьяволу поставить скалу на мѣсто: она шаталась и трещала, пока онъ не уравновѣсилъ ее, глубоко воткнувъ остріемъ въ землю.

Доказавъ свою силу, дьяволъ уменьшился до прежняго своего роста.

— Что? Доволенъ ты мною?—сказалъ дьяволъ, поравнявшись съ Твардовскимъ.

— Хорошо; пойдемъ писать цирографъ.

— Съ удовольствіемъ,—къ твоимъ услугамъ... Однако, задалъ же ты мнѣ работу; порядкомъ я умаялся надъ нею.

Сказавъ это, оба отправились на каѳедру Твардовскаго въ Кржеменки.

IX.

Какъ написано было обязательство.

Когда дьяволъ и Твардовскій пришли на Кржеменки, послѣдній зажегъ свѣчу и вынулъ изъ-за пазухи кусокъ чистаго пергамена.

— Что же ты думаешь, Твардовскій, — сказалъ ему дьяволъ, видя, что онъ начинаетъ писать, — что цирографы пишутся, какъ ваши acta et mandata, на ослиной или телячьей кожѣ?.. Ты полагаешь, что запродажа души можетъ быть совершена на этомъ грязномъ лоскуткѣ, годномъ только для вашихъ omnibus et universis, praesentibus et futuris, на выдѣлъ земли и хозяйства монахамъ. Ошибаешься, дружище... У меня для такого акта имѣется перга-

менъ, приготовленный въ Италіи изъ человѣческой кожи, изъ кожи повѣшенныхъ. Тверже и лучше этого пергамена не отыщешь въ цѣломъ мірѣ, потому что онъ выбитъ и выглаженъ палками при жизни, да и послѣ смерти высушенъ на висѣлицѣ... Ты полагаешь,—продолжалъ дьяволъ,—что твои чернила, измышленныя разными миньятюристами и рубрикантами, тоже годны для совершенія акта?.. О, нѣтъ!.. Адъ принимаетъ только тѣ цирографы, которые написаны человѣческою кровью... Кровь въ этомъ случаѣ служитъ символомъ, задаткомъ тѣлу, точно также, какъ и мысль служитъ задаткомъ душѣ. Это двѣ цѣпи, за которыя мы тащимъ ad infernos душу и тѣло... Нѣтъ, ты позволь пустить тебѣ кровь изъ средняго пальца, которой достаточно будетъ одной капли для написанія акта... Но прежде, чѣмъ приступить къ составленія акта, слѣдуетъ потолковать относительно редакціи... Довѣришь ли ты мнѣ ее, какъ искусному нотаріусу?..

— Нѣтъ,— возразилъ Твардовскій.— Каждый пунктъ мы обсудимъ вмѣстѣ.

— Хорошо; видно, ничего съ тобой не подѣлаешь; пусть будетъ по твоему. Къ дѣлу. Ты продаешь свою душу... Что хочешь за нее?.. Говори все, какъ слѣдуетъ, чтобъ было понятно, ясно. Возьмемъ среднюю цѣну и не будемъ торговаться, какъ жиды изъ-за боченка селедокъ.

— Тебѣ, я вижу, хочется поддѣть меня на честность, чтобы легче обмануть меня, — сказалъ Твардовскій!.. Хе, хе, хе, не торопись, любезный, успѣешь. Прежде всего я требую твою дьявольскую премудрость во всемъ,—премудрость вдохновенную, которая ниспосылалась бы на меня свыше, безъ труда, безъ усилій, по мѣрѣ моихъ надобностей.

— Согласенъ, но только съ условіемъ и съ оговоркой: адская премудрость должна всегда быть послушна аду... Я дамъ ее тебѣ, но съ тѣмъ, чтобы ты пользовался ею не иначе, какъ во вредъ людямъ. Иного употребленія премудрости ада я не допускаю.

— Да вѣдь ты ограничиваешь возможность пользованія ею, и этимъ самымъ...

— Дѣлюсь тѣмъ, что имѣю.

— Какая же мнѣ польза отъ того, когда ты связываешь

меня этимъ и по рукамъ, и по ногамъ?.. Нѣтъ, я не согласенъ на такія условія. Я хочу дѣйствовать вполнѣ независимо...

— Этого я не въ состояніи дать тебѣ... Твое требованіе безъ смысла... это чистѣйшая абстракція, ложное понятіе, хотя и не безъ идеи. Въ цѣломъ мірѣ нѣтъ свободнаго человѣка, и ты не можешь пользоваться ею въ томъ видѣ, въ какомъ представляешь себѣ.

— Въ такомъ случаѣ, все безполезно.

— Нѣтъ, дружище, нѣтъ, не торопись, выслушай сначала... Что бы ты сказалъ, если бы адъ позволилъ тебѣ дѣлать все, что ты хочешь, но что онъ будетъ наблюдать за тобою, чтобы ты не злоупотреблялъ данной тебѣ премудростью?..

— Это та же неволя, и я все-таки буду связанъ навсегда: мнѣ нельзя будетъ поступать по собственному усмотрѣнію.

— Напротивъ, ты будешь поступать, какъ тебѣ угодно, по крайней мѣрѣ, тебѣ будетъ казаться, что ты поступаешь по своей волѣ.

— Но я буду чувствовать, что все добро, дѣлаемое мною, превращается во зло.

— Нѣтъ, ты не будешь чувствовать этого въ первыя минуты... Ты можешь дѣлать добро безъ злого намѣренія.

— Но ты дѣлаешь меня виновнымъ уже тѣмъ, что предупреждаешь меня.

— Но безъ жертвъ и обоюдныхъ уступокъ невозможно совершить купчей.

Твардовскій подумалъ и затѣмъ сказалъ:

— Кто нибудь изъ насъ, однако, долженъ попасть впросакъ.

— Что же, ты согласенъ?—спросилъ дьяволъ.

— Согласенъ,—отвѣчалъ Твардовскій.

Оба улыбнулись.

Такимъ образомъ, первый пунктъ условія былъ окончательно рѣшенъ.

— Во-вторыхъ,— продолжалъ Твардовскій,— ты долженъ дать мнѣ славу, такъ какъ слава равносильна съ могуществомъ. Человѣкъ, поступкамъ котораго сопутствуетъ слава, почерпаетъ силы въ самомъ себѣ; слава, это дипломъ, атте-

статъ въ его поведеніи, увѣренность, что̀ все сдѣланное имъ будетъ одобрено и принято свѣтомъ. Слава дѣлаетъ его властелиномъ массы; слава—синонимъ гордости и тщеславія; она—громкое имя пустого призрака, орудіе дѣйствій, сила, жезлъ могущества и власти надъ умами. О, слава великая, дивная, большая... ей поклоняются народы!..

— Хорошо, получишь и славу, изъ которой ты можешь дѣлать какое угодно употребленіе,—сказалъ сатана,—хотя бы она услаждала тебя настолько, насколько услаждаетъ ребенка колыбельная пѣсня...

— Въ третьихъ,—продолжалъ Твардовскій,—ты долженъ мнѣ дать власть творить чудеса, вопреки законамъ природы или человѣческаго ума.

— Это придетъ къ тебѣ незамѣтно, само собою, посредствомъ твоей дьявольской мудрости. Но предупреждаю тебя, что въ дѣйствіяхъ, несогласныхъ съ законами природы, власть наша является призракомъ, или симуляціей власти. Мы не можемъ творить чудеса, но умѣемъ морочить людей, которымъ кажутся наши дѣла чудомъ.

— Для меня безразлично, на какомъ фундаментѣ основаны ваши чудеса... Согласенъ.

— Наконецъ, ты убѣдился, что я добросовѣстный покупатель. Теперь выслушай мои условія. Во-первыхъ, ты отдашь мнѣ душу свою послѣ жизни и пойдешь въ адъ со всѣми твоими приверженцами и послѣдователями...

— До моихъ приверженцевъ и послѣдователей мнѣ дѣла нѣтъ: каждый долженъ отвѣчать самъ за себя. Что же касается лично меня, я отдамъ свою душу только послѣ самой долголѣтней жизни.

— Твое долголѣтіе нисколько не зависитъ отъ меня.

— Но въ твоей власти будетъ сократить мою жизнь.

— И это не въ моей власти, несмотря на все мое желаніе свернуть тебѣ голову тотчасъ по подписаніи обязательства,—я не хочу скрывать передъ тобою ничего... Разъ ты рѣшился продать свою душу такой дорогой цѣною, я считаю себя въ правѣ требовать отъ тебя вмѣстѣ съ душою и тѣло, прежде чѣмъ душа выйдетъ изъ него... Я долженъ взять тебя живымъ...

— Живымъ!—воскликнулъ съ ужасомъ Твардовскій.

— Да, живымъ, — возразилъ дьяволъ съ замѣчательнымъ спокойствіемъ.—Въ противномъ случаѣ, я не согласенъ на твои условія... Иначе, лежа на смертномъ одрѣ, ты можешь покаяться... придетъ духовенство, уговоритъ тебя исповѣдываться, причащаться, поститься, молиться... Для насъ это дѣло совершенно неподходящее, и мы наживемъ съ тобою много хлопотъ. Во избѣжаніе же этого, намъ необходимо взять тебя живымъ и здоровымъ въ послѣдніе дни твоей жизни.

— Хорошо, согласенъ,—отвѣчалъ Твардовскій, послѣ нѣкотораго раздумья и колебанія. — Но мы должны разсмотрѣть этотъ вопросъ подробно: слѣдуетъ назначить мѣсто, откуда ты можешь взять меня, и именно взять изъ того, но отнюдь не изъ другого мѣста.

— Это зачѣмъ?

— Это мое непремѣнное желаніе. Зубъ за зубъ, око за око. Ты отрываешь отъ моего ломтя кусокъ хлѣба и хочешь, чтобы я остался не вознагражденнымъ за него. Я отдаюсь тебѣ, но только въ Римѣ.

— Какія глупости!—воскликнулъ сатана.—Зачѣмъ же въ Римѣ, а не въ другомъ какомъ мѣстѣ?.. Римъ вѣдь очень далеко отсюда!..

— Иначе я не желаю.

— Быть не можетъ!

— Безъ этого и словъ не стану терять.

— Ты шутишь со мною?..

— Напротивъ, ты издѣваешься надо мною.

— Зачѣмъ же именно въ Римѣ?

— Затѣмъ, что я оттуда хочу идти въ адъ.

— Не думаешь ли ты, что святость мѣста предохранитъ тебя отъ нашихъ рукъ?

— Нисколько... Я не желаю только идти въ адъ изъ моего родного города, изъ тѣхъ мѣстъ, которые дороги для меня по разнымъ воспоминаніямъ. Желаніе мое отдаться вамъ вдали отъ родины, гдѣ никто меня не знаетъ, и гдѣ некому будетъ оплакивать моей несчастной судьбы, гдѣ, наконецъ, случай этотъ останется незамѣченнымъ.

— Но для этого можно уѣхать за границу, хотя бы, напримѣръ, въ Парижъ, Амстердамъ и проч., но зачѣмъ же въ Римъ?

— Я не измѣню своего желанія.

— Чудакъ ты, право!

— Ты тоже несговорчивъ и упоренъ, какъ оселъ.

— Такъ ты рѣшительно отказываешься измѣнить свое намѣреніе?

— Рѣшительно. Говори: да или нѣтъ.

— Тяжелъ же ты, Твардовскій; но дѣлать нечего, пусть будетъ по твоему. Ты черезчуръ ужъ хитеръ... Вообрази, если ты нарочно не пожалуешь въ Римъ ко времени твоей смерти, что,—между нами скажу, весьма вѣроятно,—что я буду дѣлать тогда съ тобою?

— Это будетъ зависѣть отъ тебя, чтобы я во время попалъ туда... Ты своей дьявольской премудростью долженъ побуждать меня къ этому...

— Согласенъ, согласенъ; пусть такъ; пиши же обязательство, пока не пропѣли кочета и не прошелъ срокъ моему пребыванію на землѣ.

Съ этими словами дьяволъ укололъ палецъ Твардовскаго и, омочивъ перо въ его крови, подалъ продавцу души и началъ диктовать условіе.

Едва Твардовскій успѣлъ написать обязательство и къ большому свертку пергамена приложить печать изъ чернаго воску, какъ послышалось пѣніе кочетовъ... Вдругъ все исчезло... Блѣдный лучъ утренней зари освѣтилъ изнуренныя глаза Твардовскаго, который, опершись на локоть, вскорѣ уснулъ глубокимъ сномъ человѣка, проведшаго безсонную ночь въ непосильныхъ ощущеніяхъ и тревогѣ сердца.

X.

Какъ Твардовскій возвратился въ Краковъ и что слышалъ въ отголоскахъ колоколовъ.

Поутру проснулся Твардовскій. Солнце стояло уже высоко, утро было холодное. У ногъ его лежалъ Матюша сиротка и смотрѣлъ ему въ глаза. Твардовскій удивился—откуда онъ появился здѣсь.

Изнуренный въ продолженіе ночи, ученый проснулся съ

тяжелымъ воспоминаніемъ о случившемся... Твардовскій почувствовалъ въ себѣ большую разницу... Онъ смотрѣлъ уже на вещи иными глазами, иначе понималъ свѣтъ, иначе мыслилъ, иначе чувствовалъ. Твардовскій убѣдился въ этомъ при первомъ взглядѣ на Божій міръ... Онъ узнавалъ себя только по прошлому, потому что помнилъ его, и, какъ растеніе, держался той почвы, на которой возросъ, на какой былъ вчера; но между вчерашнимъ и сегодняшнимъ днемъ стояла теперь непреодолимая преграда, которая отдѣляла его отъ двухъ жизней, совершенно различныхъ между собою, ничего общаго не имѣющихъ и не похожихъ другъ на друга... Прошлая жизнь его была полна труда, сомнѣній, горя и шаткой надежды, новая же — ознаменовалась гордою самоувѣренностью, непозволительнымъ желаніемъ зла, высокомѣрнымъ величіемъ, порочнымъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, сладострастнымъ чувствомъ.

Твардовскій задумался надъ своимъ новымъ положеніемъ; его мысли носили свѣжій отпечатокъ дьявольскихъ навожденій, подъ вліяніемъ которыхъ онъ дѣйствовалъ въ прошедшую ночь... Онъ замѣчалъ, что сатана далъ ему, вмѣсто желаемой премудрости,—злобу и гордость... Однако, вникая умомъ своимъ въ законы природы и мысли, онъ видѣлъ всѣ предметы яснѣе, выразительнѣе: ничего не казалось ему теперь тайной, напротивъ, тамъ, гдѣ онъ видѣлъ раньше мракъ неизвѣстности, передъ нимъ открывалась завѣса и все представлялось въ блестящемъ видѣ. Онъ внутренно радовался этому, несмотря на одолѣвавшее его чувство какой-то ненависти, не испытанной и невѣдомой ему до сего времени,—чувство ненависти къ людямъ и свѣту... влеченіе къ непонятной злобѣ...

— Зачѣмъ ты пришелъ сюда?—спросилъ Твардовскій, обращаясь къ Матюшѣ.

— Я безпокоился о тебѣ и думалъ не случилось ли чего съ тобою...

— Развѣ ты считалъ это своею обязанностью...

— Обязанностью?.. — съ удивленіемъ переспросилъ мальчикъ.—Нѣтъ, не обязанностью... мной руководила благодарность къ тебѣ...

— Какая же эта благодарность?—спросилъ съ недовѣріемъ и улыбкой ученый.

— Это... я не знаю какъ выразиться лучше... Это какое-то чувство, которое сжимаетъ сердце и тянетъ къ своему благодѣтелю, чувство тайнаго влеченія къ самопожертвованію...

— Или искусное забрасываніе удочки на новыя милости и ласки,—съ адской усмѣшкой возразилъ Твардовскій.

— О, нѣтъ, совсѣмъ не то...

— Что слышно въ Краковѣ?

— Всѣ говорятъ о тебѣ.

— Что же говорятъ?

— Очень удивляются, что ты подолгу сидишь на Подгорьѣ, а злые языки утверждаютъ, что ты въ сношеніи съ дьяволомъ.

При этомъ Матюша перекрестился, а Твардовскій разсмѣялся.

— А еще что говорятъ?

— Масса народу приходитъ домой, и, зная, что я служу у тебя, спрашиваютъ, гдѣ ты. Цѣлыя толпы не отходятъ отъ дверей и надоѣдаютъ мнѣ своими разспросами... Я ужъ и не знаю, какъ отдѣлываться отъ нихъ... Имъ кажется, что ты можешь чудеса творить...

— А ты думаешь—нѣтъ?..—гордо возразилъ Твардовскій.

— А если дѣйствительно можешь творить чудеса, то почему же ты не хочешь помочь людямъ?

— Почему? Развѣ ты не знаешь, что я дѣлаю въ этой пустынѣ? Быть можетъ, я здѣсь и творю чудеса...

— Однако, пойдемъ лучше домой, — сказалъ Матюша.— Давно пора... въ твоихъ книгахъ давно крысы завелись и ужъ пылью заросли... Развѣ они больше не нужны тебѣ? Развѣ ты исчерпалъ ужъ всю премудрость изъ нихъ?

— Да,—отвѣтилъ Твардовскій, — источникъ книжной премудрости изсякъ... Теперь можно сжечь ихъ.

— Зачѣмъ же ты прячешься отъ людей съ своею премудростью?

— Я вѣдь сказалъ тебѣ, что ты не знаешь, что я дѣлаю въ пустынѣ, ну и молчи...

Матюша замолчалъ.

Твардовскій и Матюша подходили къ Кракову. Едва только они вошли въ городъ, какъ колокольный звонъ эхомъ разнесся

по пустыннымъ улицамъ, въ которомъ слышалось, что-то жалобное, плачущее...

— Видно, кто нибудь умеръ?—спросилъ Матюша ученаго,—что-то очень жалобно стонутъ колокола.

Твардовскій молчалъ... Онъ тоже слышалъ жалобный стонъ колоколовъ, которые отзывались въ его сердце и точно говорили ему:

— Несчастный, горе тебѣ!.. Ты отвергъ Бога ради суеты мірской, ради свѣта и мудрости... Горе душѣ твоей, которую ты продалъ сатанѣ... Вѣчныя мученія ждутъ тебя за эту кратковременную побѣду на землѣ; они раздавятъ тебя, какъ ничтожнаго червя, и покорятъ твою гордость и славу, которой ты жаждалъ съ такимъ нетерпѣніемъ... Горе тебѣ, Твардовскій... Душа твоя сегодня умерла для неба и начала жить для ада и геенны вѣчной, гдѣ испытаешь ты плачъ и скрежетъ зубовъ!..

И всѣ колокола церквей сливались въ одинъ непрерывный унылый звукъ, разносившійся эхомъ надъ городомъ и говорившій ему:

— Горе, горе душѣ твоей, Твардовскій!

Твардовскому казалось, что всѣ, какъ и онъ, понимаютъ вѣщій языкъ колоколовъ. Но, не обращая вниманія на народъ, который останавливался и смотрѣлъ на него съ уваженіемъ, онъ продолжалъ идти, бросая изрѣдка презрительные взгляды вокругъ.

Частыя отлучки изъ дому на Подгорье и долгое тамъ пребываніе дѣлали Твардовскаго въ глазахъ необразованной массы какимъ-то сверхъестественнымъ существомъ... О немъ говорили, какъ о великомъ волшебникѣ, и каждый считалъ его какимъ-то чудомъ премудрости. Слава его распространилась отъ убогихъ хатъ до царскихъ палатъ... Всѣ говорили о немъ... Твардовскій не зналъ, чему приписать свою извѣстность: вліянію ли дьявола или личнымъ заслугамъ. Несмотря на невѣдѣніе, сердце его радовалось...

Сомнѣніе это однако навело ученаго на грустныя размышленія...

Проходя по улицѣ и находясь въ глубокой задумчивости, онъ былъ остановленъ старухой, которая дотронулась до его руки и сказала:

— Мудрецъ, будь благодѣтелемъ, излѣчи мою больную дочь.

Твардовскій, желая испытать свое могущество, въ которомъ онъ не былъ еще убѣжденъ, призадумался на минуту... По странному предчувствію, онъ узналъ въ этой старухѣ женщину, которая жила въ убогой хаткѣ на Клернажѣ, вмѣстѣ съ своею больною дочерью. Онъ никогда не видѣлъ ихъ, но, въ данную минуту, зналъ, что дочь ея больна отъ рожденія и что излѣчить ее могла вода изъ близълежащаго источника.

— Чѣмъ больна твоя дочь?—спросилъ ее Твардовскій.

Старуха съ плачемъ начала разсказывать болѣзнь своей любимой дочери... Но Твардовскій перебилъ ее:

— Успокойся, старушка, дочь твоя будетъ здоровою черезъ три мѣсяца, три недѣли, три дня, три часа и три четверти. Давай ей пить три раза въ день по три кружки воды, изъ источника, который находится въ трехъ шагахъ отъ твоей хаты, возлѣ третьяго дома твоихъ сосѣдей.

Старушка поблагодарила ученаго и поспѣшно ушла домой, чтобы испытать цѣлительность этого источника на своей дочери.

Твардовскій шелъ дальше. На дорогѣ онъ повстрѣчался съ однимъ италіанцемъ, профессоромъ университета.

— А, здравствуйте, Твардовскій, — привѣтствовалъ его профессоръ по латынѣ.

— Мое почтеніе,— отвѣтилъ Твардовскій на томъ же языкѣ.

— Что васъ такъ долго не видно?— спросилъ италіанецъ.— Про васъ говорятъ такія чудеса, что уму непостижимо: говорятъ, что вы въ сношеніяхъ съ дьяволомъ. Не завидная однако слава для профессора первой школы въ королевствѣ... Хотя этому никто не вѣритъ, но ваше уединеніе и частыя отлучки... избѣганіе общества...

— Я не избѣгаю его, но вы знаете, что мысли требуютъ отдыха и уединенія, особенно, если онѣ утомлены трудомъ и горемъ; минуты уединенія служатъ для свихнувшагося ума прекрасной діэтой.

— Правда, правда, — отвѣчалъ профессоръ: — для своего оправданія вы можете привести множество изреченій древнихъ ученыхъ, примѣровъ и мнѣній святыхъ отцовъ, которые уединялись въ пустынѣ; все это правдоподобно, но можно ли до такой степени забывать свои обязанности и пренебрегать свѣ-

томъ! Всѣ ученики и друзья твои ждутъ тебя съ нетерпѣніемъ. Слава твоя заставляетъ насъ скучать, а ты, какъ нарочно, избѣгаешь ее.

— Слава?..—сказалъ Твардовскій:—вы думаете, что у меня есть слава?.. О, нѣтъ, мой другъ, слава одного города не можетъ быть мірской извѣстностью... Она только губитъ насъ. Оставляя свою родину и переселяясь въ другое мѣсто, мы становимся неизвѣстными, ничтожными, и съ новыми усиліями труда должны вновь пріобрѣтать ее.

— Какой же тебѣ еще славы? — спросилъ удивленный профессоръ.

— Какой? Такой, которая бы распространилась по всему земному шару, чтобы имя мое произносилось всѣми народами, какъ устами бѣдняковъ, такъ равно и въ королевскихъ палатахъ, ежедневно, ежечасно, ежеминутно.

— Такой славой пользуется только одинъ Господь,—возразилъ тихо италіанецъ.

— И дьяволъ,—смѣясь, прибавилъ Твардовскій.

Удивленный профессоръ отступилъ на шагъ и призадумался.

— Какъ понимать это?

— Я могу объяснить тебѣ это, какъ философъ. Величайшее добро, какъ равно и величайшее зло могутъ имѣть безграничную абсолютную славу. Слава же есть центръ двухъ противоположныхъ полюсовъ. Скажите же мнѣ, которому изъ нихъ я обязанъ своей славѣ?

— Соединеніемъ обоихъ вмѣстѣ въ одно цѣлое, если хотите знать. Твою мудрость признаютъ всѣ и относятъ ее къ чернокнижію, которое происходитъ не отъ Бога, начала добра, а внушается духами.

— Духами?—холодно сказалъ Твардовскій.—Но какъ можетъ говорить народъ объ ученыхъ, когда онъ не въ состояніи понять ихъ?..

— Однако, vox populi—vox Dei,—возразилъ профессоръ:—гласъ народа—гласъ Божій. Существованіе колдовства и чаръ никто не опровергаетъ, но онѣ происходятъ отъ злого духа.

— Совершенно вѣрно,—возразилъ ученый:—если существуетъ дьяволъ, то существуютъ и чары... До свиданья.

— До свиданья.

На смѣну профессора-итальянца къ Твардовскому подошла толпа студентовъ, — толпа, кипучая и жаждущая науки, румяная, свѣжая, хотя голодная и въ рубищѣ. Завидѣвъ Твардовскаго, студенты не могли обуздать своей радости. Они начали подбрасывать шапки на воздухъ и кричать:

— Vivat, Tvardovius! vivat!

Твардовскій самодовольно улыбался, потому что въ этихъ овацiяхъ онъ видѣлъ свое величайшее торжество. Студенты окружали его и привѣтствовали со всею страстью молодости, какъ дѣти, считающія человѣка величайшимъ мудрецомъ, который превращается для нихъ въ изобрѣтательнаго генія игръ и увеселеній.

Къ студентамъ присоединились и городскіе обыватели, женщины, дѣти, жиды и жидовки, всегда любопытные, какъ и лакомые (одно другого стоитъ). Твардовскій очутился внутри толпы, которая надвигалась на него со всѣхъ сторонъ съ криками:

— Ура, Твардовскій! ура!

Матюша-сирота плакалъ отъ радости, вытирая слезы рукавомъ своей грязной рубашки. На лицѣ Твардовскаго сіяла улыбка гордости и побѣды.

Между тѣмъ колокола пятидесяти краковскихъ церквей раздавались въ ушахъ ученаго:

— Горе, горе, тебѣ, Твардовскій! горе душѣ твоей несчастной, горе съ твоею славой, съ твоимъ величіемъ, потому что ты запродалъ душу свою сатанѣ, запродалъ за минуту ничтожной жизни жизнь цѣлой вѣчности!.. Горе тебѣ, магистръ, горе душѣ твоей! Лучше бы не родиться тебѣ на свѣтъ или умереть отъ голода и тяжкихъ болѣзней.

Понятны были ему эти стоны колоколовъ, вой собакъ и крикъ народа, двигавшагося толпою за нимъ. Но въ колокольномъ звонѣ онъ слышалъ больше злой иронiи, чѣмъ побѣдныхъ криковъ радости...

Недовольный Твардовскій остановился и сказалъ:

— Молчите, колокола!

Въ одно мгновеніе веревки оборвались въ рукахъ звонарей и колокола, издавъ унылый звукъ, простонали въ воздухѣ послѣдній разъ...

Въ эту минуту Твардовскій входилъ въ свое жилище, передъ которымъ еще долго раздавались возгласы народа:

Vivat, Tvardovius! vivat!

XI.

Какъ король посылалъ за Твардовскимъ.

Что такое слава? Гдѣ ея начало? Не похожа ли она на глыбу снѣга, скатывающуюся съ горы и принимающую видъ гигантскаго шара, съ каждой минутой растущаго въ объемѣ, захватывающаго за собою все, что попалось ему навстрѣчу; не похожа ли она на глыбу снѣга, превратившагося въ громадное облако, несущееся подъ небесами съ быстротою молніи и засыпающее на своемъ пути села, деревни, лѣса и города, пока, наконецъ, растаетъ и превратится въ озеро?.. Такъ именно возрождается, растетъ и умираетъ слава. Нерѣдко приходитъ она неожиданно и незаслуженно, и человѣкъ, ложась въ постель, не знаетъ о ней; проснувшись же на слѣдующій день, онъ видитъ ее стоящей въ своемъ изголовьѣ, которая столько вѣнчаетъ его голову, сколько обременяетъ ее... Случается, что она такъ же скоро исчезаетъ, какъ и приходитъ... Ну, что такое, въ сущности, слава?.. Мечта, призракъ чего-то несуществующаго!.. Каждый можетъ дать ее и отнять обратно, но никто не знаетъ, гдѣ она, что она и для кого она!..

Слава Твардовскаго была не болѣе, какъ сонный бредъ. Продавъ ночью свою душу дьяволу, онъ ощутилъ ее у себя утромъ въ головѣ и она пришлась ему въ пору, точно шапка, сдѣланная по заказу на его голову. Ему казалось, что онъ давно ждалъ ее къ себѣ въ гости; давно надѣялся на нее, точно эта слава была ему обѣщана кѣмъ нибудь, и онъ не удивлялся ей; онъ встрѣтилъ славу равнодушно, какъ встрѣчается заимодавецъ съ кредиторомъ, вносящимъ уплату въ срокъ по векселямъ.

Однако, слава его была могущественна, для которой не существовало ни невѣрующихъ, ни завидующихъ, ни оспаривающихъ ее соперниковъ, такъ какъ Твардовскій стоялъ вы-

соко въ мнѣніи народа, который покорно сгибалъ передъ нимъ свою голову и, поэтому, не смѣлъ завидовать его славѣ. Въ городѣ носились слухи о его чудесныхъ исцѣленіяхъ, совѣтахъ и средствахъ, которые онъ давалъ; о чарахъ, колдовствѣ и заклятіи, которыя онъ производилъ. Повтореніе слуховъ, переходившихъ изъ устъ въ уста, вдвое увеличивало ихъ и разнообразило съ безконечными варіантами. У дверей Твардовскаго толпился народъ съ ранняго утра до поздняго вечера; вельможи присылали за нимъ своихъ лошадей въ раззолоченыхъ коляскахъ и осыпали его золотомъ за каждый визитъ, за каждое лѣкарство, прописанное имъ, а нерѣдко даже за одно его слово. Счастье сопутствовало ему и увеличивало съ каждой минутой его славу; слухи росли не по днямъ, а по часамъ, и каждый слухъ ознаменовывался какимъ нибудь новымъ чудомъ. Слава великаго чародѣя росла, не зная границъ.

И онъ радовался славѣ, такъ какъ гордость его и жажда были насыщены ею: онъ обладалъ тѣмъ, чего такъ страстно желалъ, испилъ ту чашу сладости, о которой мечталъ и которая струилась теперь черезъ край, какъ неизсякаемый источникъ. Но былъ ли счастливъ Твардовскій—объ этомъ умалчиваетъ его исторія.

Однажды позднимъ вечеромъ Твардовскій сидѣлъ передъ раскрытымъ фоліантомъ, хотя и не читалъ его; на столѣ горѣла лампа. Матюша спалъ въ углу комнаты, опершись рукою въ подбородокъ. Въ комнатѣ царила глубокая тишина... и ничто не нарушало этой торжественной тишины ночи, въ которую погруженъ былъ весь городъ, мирно собравшійся ко сну. На большомъ столѣ покрытомъ толстымъ сукномъ, передъ которымъ сидѣлъ чародѣй, стояли и лежали различные предметы ученыхъ. На немъ находились и черепъ человѣка, и кости, и ребра великановъ; на потолкѣ висѣло чучело крокодила, въ углу стояла египетская мумія, завернутая въ пелену и испещренная іероглифическими знаками; въ огромныхъ банкахъ лежали уроды въ спиртѣ; у черной стѣны бѣлѣлся скелетъ человѣка; надъ окномъ находился распятый нетопырь.

Было время, когда Твардовскій изучалъ по нимъ тайны природы, пыталъ прошлое и доискивался будущаго. Теперь все

это оказалось для него не нужнымъ и безполезнымъ хламомъ, который онъ съ презрѣніемъ готовъ былъ бросить въ печь, какъ огрызокъ плода, изъ котораго онъ высосалъ сокъ.

Вдругъ глубокая тишина нарушилась какимъ-то подозрительнымъ шелестомъ; послышался чей-то тихій говоръ. Твардовскій улыбнулся и прищурилъ глаза: посреди мертвой тишины явственно раздались слова, которыя, кромѣ Твардовскаго, едва ли бы кто могъ понять.

Скелетъ. Какая смертная скука стоять у этого безумца, точно на часахъ, безъ всякаго употребленія и пользы. Никто болѣе не считаетъ моихъ реберъ, никто не дотрогивается до моихъ костей, какъ считалъ и дотрогивался къ нимъ прежній господинъ. Только крысы грызутъ у ногъ моихъ пальцы. Лучше бы мнѣ лежать въ сырой землѣ, чѣмъ маяться здѣсь безъ пользы. Тамъ, по крайней мѣрѣ, я выспался бы за всѣ безсонно проведенныя ночи въ жизни. А здѣсь, точно на посмѣшище выставленъ я, и Богъ вѣсть зачѣмъ понацѣпляли на меня разныхъ пружинокъ вмѣсто мускуловъ, которыя немилосердно жмутъ мои когда-то свободно двигавшіяся подъ кожей бѣлыя кости. Чтобъ тебѣ самому, проклятый мудрецъ, служить по смерти пугаломъ и посмѣшищемъ народу! Зачѣмъ ты держишь меня здѣсь безъ всякаго употребленія?

Рука великана. Молчи, сверчокъ! Ты видишь, что я спокойно лежу и не жалуюсь... Ты думаешь, что мнѣ лучше здѣсь, чѣмъ тебѣ; мнѣ, которая была больше, чѣмъ весь ты, ничтожный червякъ!.. Ты думаешь, что пріятно мнѣ слышать, когда всѣ эти пустыя головы съ очками на носахъ разсуждаютъ обо мнѣ, доказывая, что я никогда не была человѣкомъ, а какимъ-то безсловеснымъ животнымъ или чѣмъ нибудь хуже этого; мнѣ, думаешь, лучше чѣмъ тебѣ? вѣдь я была членомъ одного изъ допотопныхъ великановъ, сильная и мускулистая рука при жизни!..

Скелетъ. Сильна по величинѣ, да по глупости развѣ...

Уродецъ въ банкѣ. Ай, ай! какъ мучусь я несчастный, но терплю вѣдь, хотя и думаютъ обо мнѣ, что у меня нѣтъ и не было ни жизни, ни души и что я никогда не видалъ свѣта. Пріятно ли мнѣ, сидя въ банкѣ, смотрѣть на этотъ свѣтъ, который описывали мнѣ такъ прекрасно; на эту ком-

нату, въ которой не видно ничего, кромѣ грязи и лысой головы ученаго.

Мумія. Что вы разворчались тамъ, противные олухи, что вы здѣсь, кто вы? люди или рабы? Молчать! Я здѣсь царица.

Всѣ. Ха, ха, ха! Царица!.. Ты царица?.. Да здравствуетъ царица!.. Ха, ха, ха!

Мумія. Развѣ не видите вы на моихъ пеленахъ надписи? Я египетская царица!.. Не понимаю только, какъ смѣетъ этотъ безумецъ рѣзать меня на куски и давать больнымъ вмѣсто лѣкарства. Горе ему въ день моего мщенія.

Всѣ. Горе тому отъ великой царицы, которую рѣжутъ по кусочкамъ и принимаютъ внутрь вмѣсто лѣкарства, у кого отяжелѣетъ голова, заколетъ въ боку или прогніетъ утроба!

Мумія. Во всѣхъ гробницахъ Египта не было женщины прекраснѣе меня...

Всѣ. О, великая, прекрасная царица! Какъ жаль, что тебя обкарналъ нашъ общій мучитель! Однако, ты, видно, царица безъ штата и безъ двора, потому что сама себя хвалишь!

Нетопырь. Неужели уже ночь?.. Ахъ какъ мнѣ хочется слетѣть изъ этого окна, къ которому прибилъ меня этотъ аспидъ!.. Зачѣмъ я здѣсь, за что прибили меня?.. Что любопытнаго нашли они въ моихъ крыльяхъ?.. Я вѣдь простая мышь, какъ мой отецъ, мать, какъ вся семья моя, только что съ крыльями. Какъ весело теперь жить на свѣтѣ моимъ братцамъ и сестрицамъ!.. То-то радуются они, счастливцы. Сколько огоньковъ блеститъ въ окнахъ, сколько прохладныхъ, роскошныхъ гнѣздъ свили они себѣ въ подпольѣ, на чердакахъ и въ подвалахъ.. О, зачѣмъ я не могу улетѣть къ нимъ?..

Крокодилъ. Висѣть, висѣть и висѣть безконечно въ этой сырой и холодной избѣ! Когда же, наконецъ, окончатся мои мученія!.. Когда издохнетъ этотъ противный лысый палачъ!.. О!.. попался бы ты мнѣ въ зубы на берегахъ Нила, я отомстилъ бы тебѣ за себя!..

Голова человѣка. Добрый вечеръ, братцы, добрый вечеръ!.. Хорошо ли почивать изволили днемъ?.. Вотъ ужъ проснулась наша лампа и свѣтитъ мнѣ прямо въ глаза... пора вставать, да пойти прогуляться...

И, стуча зубами, черепъ поднимался на столѣ...

Въ эту минуту Твардовскій ударилъ рукою по столу, и таинственный голосъ мгновенно замолкъ.

Матюша проснулся.

За дверью послышались чьи-то шаги, ручка застучала и на порогѣ появилась фигура человѣка.

Твардовскій взглянулъ на вошедшаго, безъ удивленія и любопытства, и самодовольно улыбнулся. Вошедшій однако-же не отличался ничѣмъ особеннымъ и приходъ его не предвѣщалъ большой радости. Онъ стоялъ у порога, завернувшись въ черный плащъ; на головѣ его одѣта была шляпа съ чернымъ перомъ, на ногахъ – сапоги съ длинными носами; изъ подъ плаща выглядывалъ конецъ шпаги; на груди блестѣла золотая цѣпь съ такимъ же медальономъ. Фигура молодого человѣка, съ томными, потухшими глазами, со стиснутыми губами, острымъ носомъ и черными усами, изъ подъ которыхъ едва замѣтны были уста, похожа была на самаго обыкновеннаго человѣка, съ небольшой эспаньолкой, какую носили въ то время на западѣ.

Незнакомецъ снялъ шляпу и сдѣлалъ шагъ впередъ.

— Я ждалъ васъ,—сказалъ Твардовскій, вставъ съ кресла.

— Меня?—воскликнулъ удивленный незнакомецъ.

— Да, именно васъ,—отвѣчалъ Твардовскій:—не удивляйтесь; идя сюда, вы должны были знать, что я умѣю угадывать мысли человѣка.

— Ошибаетесь, милостивый государь,—возразилъ съ полунасмѣшкой, съ полупрезрѣніемъ пришедшій незнакомецъ, нѣсколько оскорбленный самоувѣренностью Твардовскаго.

— Я никогда не ошибаюсь, — возразилъ въ свою очередь Твардовскій: — хотите, чтобы я сказалъ: кто вы?

— Очень любопытно, скажите,—сказалъ незнакомецъ, увѣренный, что Твардовскій не знаетъ его, и, указывая на Матюшу, продолжалъ:—но прежде, чѣмъ начать разговоръ, я просилъ бы васъ... выслать этого человѣка.

— Это слуга мой,—отвѣчалъ Твардовскій, и далъ знакъ Матюшѣ, чтобы онъ вышелъ.

Матюша безпрекословно исполнилъ приказаніе.

— Теперь я къ вашимъ услугамъ.

— Вы придворный его королевскаго величества. Не такъ ли?

— Такъ, но развѣ вы видѣли меня когда нибудь при дворѣ.

— Вы присланы отъ короля, который нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ лишился любимой жены... Говорить ли далѣе?..

— Довольно,—вскричалъ удивленный придворный, приблизясь къ Твардовскому. Выраженіе презрѣнія и насмѣшки исчезли съ его блѣднаго лица; онъ видимо растерялся. — Но, Бога ради, скажите мнѣ, откуда вы узнали о томъ?.. Вѣдь я тайно говорилъ съ королемъ, и, кромѣ меня, никто не зналъ, что я пойду сюда; могу васъ увѣрить, что въ комнатѣ, кромѣ короля и меня, никого не было, и подслушать насъ у дверей рѣшительно никто не могъ. Къ тому же, я шопотомъ говорилъ съ его величествомъ, а слѣдовательно, никто не могъ знать о чемъ мы шепчемся.

— Но я знаю,—смѣло отвѣчалъ Твардовскій,—потому что все, сокрытое для обыкновенныхъ смертныхъ, открыто для меня, и будущее людей я читаю, какъ въ книгѣ.

— Поэтому, считаю лишнимъ передавать вамъ о томъ, что требуетъ отъ васъ король и что можете ли вы исполнить его просьбу, — продолжалъ придворный, пораженный всевѣдѣніемъ Твардовскаго.

— Что могу, въ этомъ не можетъ быть сомнѣнія, но сдѣлаю ли—это вопросъ.

— Почему же, если вы имѣете возможность и средства исполнить просьбу короля?

Твардовскій улыбнулся.

— Для меня нѣтъ королей!.. По нѣкоторымъ причинамъ, прежде чѣмъ рѣшиться сдѣлать для него что-нибудь, я долженъ подумать, можно ли удовлетворить его просьбу.

— Какія же это причины?

— Огорченный потерей своей любезнѣйшей жены, король желаетъ видѣть ея тѣнь и проситъ вызвать ея духъ. Не такъ ли?

— Совершенно вѣрно.

— Но хорошо ли будетъ, если король опять увидитъ свою несравненную жену, Варвару?.. Вѣдь раны, которыя начали уже заживать, опять растравятся; увидѣвъ жену, онъ захочетъ обнять ее, прижать къ своей истомленной груди, поговорить съ нею, и сердце его, вмѣсто того, чтобы успокоиться, обольется кровью... Свиданіе это можетъ принести королю

больше вреда, чѣмъ пользы, больше горя, чѣмъ утѣшеній... Каждый прожитый имъ день уноситъ часть воспоминаній, но когда воспоминаніе это оживится призракомъ, наступитъ новое отчаяніе, которое всею тяжестью ляжетъ на все его существо; незабвенный ея образъ отразится на душѣ и грусть овладѣетъ имъ снова съ большею силою и на болѣе продолжительное время. Не есть ли это желаніе—разстройство его воображенія и не принесетъ ли оно новыхъ страданій,—желаніе испытать во второй разъ тяжкую болѣзнь, которую онъ испыталъ при ея смерти?.. Не правда ли?.

— Я вполнѣ согласенъ съ вами и предоставляю вашей мудрости дѣйствовать по своему усмотрѣнію,—смиренно отвѣчалъ придворный.—Вамъ лучше извѣстно, чѣмъ мнѣ.

— По крайней мѣрѣ, мнѣ такъ кажется,—продолжалъ Твардовскій.—Много есть въ мірѣ вещей, которыхъ я не знаю и не вижу, да и не хочу видѣть, и поэтому умышленно отвращаю свой взоръ отъ нихъ. Будущее королевскаго величества есть именно одинъ изъ тѣхъ предметовъ, которыхъ я не смѣю и не хочу изучать и доискиваться.

— Что же вы думаете предпринять?

— Въ данную минуту я не могу вамъ отвѣтить. Мнѣ нужно, по крайней мѣрѣ, три дня на размышленіе, по истеченіи которыхъ вы можете придти ко мнѣ въ такое же время, какъ и сегодня.

— Позвольте, по крайней мѣрѣ, сказать вамъ о томъ, что обѣщаетъ король, если вы исполните его просьбу.

— Интересно знать,—невольно воскликнулъ Твардовскій,—дѣйствительно, зная обо всемъ, я не могу угадать, чѣмъ наградитъ меня король.

— Его королевское величество вовсе не разсчитываетъ, когда-нибудь вознаградить васъ за эту услугу. Онъ просто хочетъ подарить вамъ на память золотую цѣпь, вѣсомъ въ триста золотниковъ, драгоцѣнный перстень и соболью шубу, которую въ послѣдній разъ привезъ царскій посолъ изъ Москвы, красотѣ которой, до сихъ поръ никто не можетъ надивиться. Повторяю, король считаетъ себя не въ состояніи вознаградить васъ; всѣ эти подарки будутъ служить лишь слабымъ знакомъ его благорасположенія къ вамъ...

— Благодарю за его милости и честь, которыя онъ дѣлаетъ своему ничтожному слугѣ, — отвѣчалъ Твардовскій. — Не забудьте придти въ условленный часъ, черезъ три дня.

Съ этими словами онъ поклонился придворному, который отвѣтилъ ему тѣмъ же и, выйдя изъ комнаты, захлопнулъ за собою дверь.

Твардовскій призадумался, оставшись одинъ; но едва только шаги придворнаго затихли на лѣстницѣ, какъ въ углу комнаты что-то зашевелилось и изъ подъ огромной кипы книгъ вылѣзъ дьяволъ и, зѣвая во весь широкій ротъ, сказалъ:

— Добрый вечеръ!

— А я только что собирался звать тебя.

— Я этого ждалъ и, какъ видишь, легокъ на поминѣ. Что нужно?

— Ты вѣдь знаешь въ чемъ дѣло и что занимаетъ меня въ эту минуту?

— Знаю, но не вполнѣ,— равнодушно замѣтилъ дьяволъ.

— Его величество, король нашъ,— по нѣкоторомъ размышленіи началъ Твардовскій,— лишился нѣжно любимой имъ супруги, Варвары *). Она была для него дороже всего на свѣтѣ, потому что онъ женился и жилъ съ ней не какъ съ королевой, а имѣлъ въ ней истинную жену и подругу жизни, и, несмотря на всѣ добродѣтели первой королевы, такъ преждевременно скончавшейся, Варвара, взятая королемъ съ боя, затмила всѣ качества своей предмѣстницы. Огорченный ея смертію, король самъ проводилъ тѣло ея въ Вильну и носилъ всегда портретъ ея на своей груди; при одномъ воспоминаніи о ней слезы душатъ его и онъ дѣлается неутѣшнымъ. Вѣсть обо мнѣ достигла и его слуха. Народная молва, разгласившая о моемъ колшебномъ могуществѣ, посредствомъ котораго я вызываю духовъ, надоумила короля увидѣть тѣнь любимой жены. Только сію минуту ушолъ отъ меня королевскій посолъ, который передалъ мнѣ его монаршую просьбу. Дѣло теперь, собственно, въ томъ: могу ли я вызвать призракъ умершей и показать его королю?

— Право, не знаю, гдѣ обрѣтается душа королевы. Если

*) Въ 1551 году.

она тамъ, въ небесахъ, тогда трудненько будетъ вызвать ее обратно на землю.

— Трудно, но полагаю не невозможно?

— Не знаю, какъ отвѣтить тебѣ на этотъ вопросъ. Есть заклятія и на добрыхъ духовъ; на злыхъ же ты знаешь самъ, потому что они гораздо сговорчивѣе первыхъ. Поройся въ умѣ, авось найдешь средство и на нихъ.

— Знаю, — возразилъ Твардовскій, глубоко призадумавшись.

— Во всякомъ случаѣ, — отвѣчалъ дьяволъ,—старайся показать духъ такимъ образомъ, чтобы онъ больше не влюбился въ него; напротивъ, по возможности, устрой такъ, чтобы призракъ внушилъ ему ужасъ и отвращеніе. Память и любовь къ умершимъ соединяютъ живущихъ съ мертвыми неразрывными и таинственными узами, вслѣдствіе чего они мало грѣшатъ. Многіе, — говорю это по собственному опыту, — удержались на пути добродѣтели, благодаря единственно воспоминанію объ усопшихъ. Мы, какъ тебѣ извѣстно, хлопочемъ только о томъ, чтобы всѣ грѣшили побольше, потому что собственно на этомъ только и держится міръ, и онъ давно бы пошелъ въ преисподнюю, если бъ не было этого пресловутаго malum necessarium. Поэтому я такъ крѣпко и отстаиваю это, и не безъ причины... Во-вторыхъ, ты долженъ имѣть въ виду, чтобы король не дотрагивался и ни подъ какимъ видомъ не приближался къ вызванному духу, даже не говорилъ съ нимъ, иначе, если бы духу вздумалось отвѣчать на его вопросы, то король непремѣнно умретъ, а тебя сожгутъ, повѣсятъ или расчетвертуютъ, какъ колдуна и чернокнижника. Впрочемъ, дѣлай, какъ хочешь. Съ своей стороны я предлагаю лишь одно условіе. Вѣдь надобно же и мнѣ чѣмъ-нибудь воспользоваться! Ты долженъ отказаться отъ какого бы то ни было вознагражденія. Я слышалъ вашъ разговоръ насчетъ золотой цѣпи, перстня и собольей шубы; не бери ничего этого, а если тебѣ нужно, то я самъ все предоставлю тебѣ. Проси короля только объ одномъ, чтобы онъ простилъ перваго преступника, котораго на слѣдующій день надлежало повѣсить передъ ратушей. Этимъ ты пріобрѣтешь еще большую славу,— славу безкорыстнаго человѣка,—а для насъ ты сдѣлаешь большую услугу, такъ какъ мы заинтересованы въ немъ, по-

тому что чрезъ его посредство увеличится кортежъ преступниковъ. Нужно помнить о себѣ, primo mihi. За это и я буду полезнымъ для тебя въ этомъ дѣлѣ. Помни, главное, о двухъ предметахъ: во-первыхъ, для себя, чтобы король во время появленія духа, не трогался съ мѣста и не говорилъ бы съ призракомъ; во-вторыхъ, для меня,— чтобы помиловалъ преступника. Теперь прощай, я тороплюсь въ другую сторону. Vale et me ame.

Съ этими словами дьяволъ исчезъ въ той же книгѣ, изъ которой вышелъ, а Твардовскій бросился на свою жесткую постель, стоявшую въ углу комнаты.

Лампа по прежнему освѣщала своимъ тусклымъ свѣтомъ всѣ предметы ученаго человѣка. Мумія, крокодилъ, скелетъ и уроды въ банкахъ стояли на своихъ мѣстахъ и въ томъ же порядкѣ. Вскорѣ Твардовскій заснулъ крѣпкимъ, могучимъ сномъ. Матюша-сиротка, неустанно наблюдавшій за своимъ господиномъ, тихонько подошелъ къ кровати и покрылъ его одѣяломъ, такъ какъ въ комнатѣ чувствовался ужасный холодъ. Онъ погасилъ лампу и, машинально перекрестившись и пробормотавъ что-то про себя, легъ на полу, въ ногахъ своего господина.

XII.

Какъ Твардовскій вызывалъ тѣнь королевы.

По истеченіи трехъ дней, которые Твардовскій долженъ былъ употребить для обсужденія своихъ дѣйствій по порученію короля, вечеромъ, въ тѣ же часы, какъ и три дня тому назадъ, на лѣстницѣ послышались чьи-то шаги и вскорѣ появился на порогѣ комнаты Твардовскаго королевскій посолъ (это былъ М..., любимецъ короля Августа). Твардовскій поджидалъ его, и поэтому, едва послѣдній появился въ дверяхъ, ученый сдѣлалъ нѣсколько шаговъ къ нему навстрѣчу.

— Какой отвѣтъ я долженъ отнести его величеству?— началъ придворный, послѣ обычныхъ привѣтствій.

— Желаніе короля можетъ быть исполнено, — отвѣчалъ

Твардовскій, послѣ минутнаго размышленія, — но только съ условіемъ, безъ исполненія котораго ничто не въ силахъ заставить меня быть послушнымъ королю.

— Какія бы ни были ваши условія, я увѣренъ, что король приметъ ихъ, если только они будутъ приличны для его величества. Король такъ горячо любилъ свою супругу, что за одинъ мигъ, въ который онъ увидитъ ее, готовъ пожертвовать своею, дорогою для всѣхъ насъ, жизнью.

— Первое мое условіе: чтобы король, при появленіи тѣни его жены, не пытался приближаться къ ней, не говорилъ бы ни слова и не сходилъ съ мѣста, на которомъ будетъ поставленъ въ минуту появленія; во-вторыхъ, чтобы во время вызова тѣни не присутствовалъ никто, кромѣ меня, короля и васъ; въ третьихъ,—король долженъ помиловать перваго преступника, который будетъ осужденъ на смерть черезъ повѣшеніе на площади передъ ратушей; затѣмъ, я отказываюсь отъ какого бы то ни было вознагражденія.

— Ручаюсь, что всѣ поставленныя вами условія будутъ удовлетворены королемъ,—отвѣтилъ придворный, удивленный такими легкими и странными условіями.— Что же касается награды, я не совѣтовалъ бы вамъ отказываться отъ нея: вы много можете выиграть черезъ это. Подумайте хорошенько, не желаете ли еще чего нибудь?..

— Ничего не желаю, — возразилъ Твардовскій, улыбаясь съ ироніей.

Оба замолчали.

Удивляясь безкорыстію Твардовскаго, придворный поспѣшилъ съ радостной вѣстью къ королю. Прошло не болѣе двухъ часовъ времени, какъ тотъ же придворный возвратился къ Твардовскому и, объявивъ ему, что король согласенъ на всѣ условія, просилъ слѣдовать за нимъ во дворецъ.

Твардовскій предвидѣлъ, что король не заставитъ себя долго ждать и не станетъ откладывать испытанія до другого времени; онъ зналъ, что его величество былъ нетерпѣливъ. Гордясь своимъ безкорыстіемъ, Твардовскій собрался въ путь въ минуту. Собравъ всѣ нужныя аппараты для вызыванія духовъ, какъ-то: волшебный жезлъ, свитокъ пергамена, книгу и какой-то ящичекъ, который положилъ подъ мышку, онъ завернулся въ

плащъ и, приказавъ Матюшѣ остаться дома, вышелъ вмѣстѣ съ придворнымъ за дверь.

Темная ночь окутала уже улицы города непроницаемымъ мракомъ; угрюмыя тучи висѣли въ воздухѣ и вѣтеръ изрѣдка свистѣлъ по крышамъ пустынныхъ проулковъ Кракова, защищенныхъ высокими каменными стѣнами домовъ. Улицы были пусты, кое-гдѣ слышенъ былъ жалобный вой собакъ, да нѣсколько отрывистыхъ голосовъ пьяныхъ гулякъ, кутившихъ еще въ кабакахъ, несмотря на неурочный часъ и запрещеніе властей держать открытыми кабаки позже зари. Иногда раздавались звуки сабли, влекущейся по землѣ, на которую набрасывались собаки, и опять все смолкало, и только одинъ вѣтеръ сильно свистѣлъ. Тьма была непроницаемая; надобно было быть опытнымъ человѣкомъ, чтобы не заблудиться въ лабиринтѣ краковскихъ улицъ, освѣщаемыхъ лишь небесными фонарями (если таковые имѣлись только въ скверную осеннюю погоду). Путники наши, повидимому, хорошо были знакомы съ улицами, потому что шли съ увѣренностью и безъ остановокъ, сворачивая то вправо, то влѣво и пробираясь по разнымъ примѣтамъ на домахъ и колокольняхъ, пока наконецъ добрались къ королевскому дворцу.

Они вошли въ калитку, ключъ отъ которой былъ у придворнаго. Пройдя маленькимъ дворикомъ въ длинную галлерею съ тонкими готическими колоннами и нѣсколько корридоровъ, они скоро достигли королевской половины. На крыльцѣ не было никого. Вокругъ царствовалъ глубокій мракъ и мертвая тишина, и только вдали въ одномъ изъ оконъ замка, за красною занавѣскою, мелькалъ огонекъ. Путники снова начали подыматься по лѣстницѣ и вошли въ корридоръ, гдѣ ихъ встрѣтилъ королевскій придворный и проводилъ до самыхъ королевскихъ покоевъ. Комната, въ которую они вошли, не отличалась особеннымъ блескомъ убранства. Это была караульня. Кругомъ стѣнъ стояли дубовыя лавки, по срединѣ—большой дубовый столъ. Въ углу высилась огромная печка съ голландскими изразцами. Большія окна съ мелкими стеклами, оправленными въ олово, въ видѣ рамъ, шли по одну сторону. Потолокъ держался на толстыхъ балкахъ съ рѣзными украшеніями. Комната освѣщена была двумя витыми желтыми свѣчами, вставленными

въ огромные мѣдные подсвѣчники. На холодномъ каменномъ полу лежали въ разныхъ мѣстахъ, завернувшись въ плащи, королевскіе солдаты, находившіеся у него на жалованьѣ. Одни изъ нихъ спали на разостланныхъ кожахъ, другіе—просто на связкахъ соломы. Подлѣ каждаго лежали сабля и отстегнутый поясъ. У дверей, прислонившись къ стѣнѣ, стоялъ часовой, вооруженный съ головы до ногъ. Не успѣлъ Твардовскій со своимъ спутникомъ войти въ эту комнату, какъ нѣсколько человѣкъ изъ лежавшихъ на полу приподнялись съ постелей и со всѣхъ сторонъ послышался окликъ:

— Кто идетъ?

— Тсъ!—отозвался придворный, прикладывая палецъ къ губамъ и указывая съ таинственнымъ видомъ на входившаго вслѣдъ за нимъ Твардовскаго. Придворные тотчасъ умолкли. Многіе изъ нихъ, опершись на локтяхъ, съ любопытствомъ осматривали Твардовскаго и иронически перешептывались между собою, какъ это всегда бываетъ между придворными. Никто изъ нихъ никогда не видалъ Твардовскаго, и они напрасно терялись въ догадкахъ, зачѣмъ бы могъ король, въ такую позднюю пору, потребовать къ себѣ незнакомое имъ лицо. Между тѣмъ, придворный который ввелъ Твардовскаго, указавъ ему знакомъ на скамью, отправился доложить королю о его приходѣ. Въ ожиданіи возвращенія придворнаго Твардовскій присѣлъ.

Придворный тихонько, на цыпочкахъ, подошелъ къ другой двери, завѣшанной ковромъ, который онъ приподнялъ, и скрылся. Возвратившись черезъ нѣсколько минутъ, онъ подалъ знакъ Твардовскому, чтобы онъ слѣдовалъ за нимъ. Въ то же время онъ разбудилъ одного изъ стражи и шопотомъ отдалъ ему какія-то приказанія. Другіе начали вставать и надѣвать сабли. Впустивъ Твардовскаго, придворный опустилъ дверной коверъ. Они прошли двѣ темныя комнаты и остановились у полуотворенныхъ дверей, откуда виднѣлся свѣтъ.

Это была небольшая комната со сводами и однимъ окошкомъ. Полъ былъ устланъ персидскимъ ковромъ; по угламъ стояли мраморные столы, на которыхъ лежали оправленныя въ пергаменъ книги и связки бумагъ. Въ глубинѣ виднѣлась кровать, завѣшанная малиновыми занавѣсками; у кровати стоялъ

столъ, покрытый сукномъ и уставленный серебряными кубками для вина и воды, вызолоченными лоханью и рукомойникомъ.

Вокругъ стѣнъ находились скамьи, покрытыя ковромъ; по срединѣ комнаты стояли два кресла, обитыя малиновымъ бархатомъ и золотой бахрамой. Въ углу, на столѣ, горѣла лампа.

Неподалеку отъ кровати стоялъ средняго роста, сутуловатый мужчина, въ черномъ платьѣ. Лицо его было блѣдно и брови нахмурены. Длинная, раздвоенная борода его падала на грудь; усы и волосы были немного подстрижены. Едва Твардовскій переступилъ порогъ королевской комнаты, какъ король закричалъ ему:

— Не подходи, не подходи близко!

Смѣшавшійся и изумленный Твардовскій остановился у порога. Придворный сталъ подлѣ него.

Спустя минуту, король бросилъ на него робкій взглядъ и, замѣтно волнуемый страхомъ и нерѣшительностью, продолжалъ:

— Ты обѣщалъ вызвать тѣнь любимой супруги моей, королевы Варвары?

— Да, ваше величество и милостивый государь,— отвѣчалъ, собравшись съ духомъ, Твардовскій:—я обѣщалъ это вашему королевскому величеству, но только съ извѣстнымъ условіемъ.

— Какія-же твои условія?—спросилъ нетерпѣливо Августъ.

— Во-первыхъ, ваше королевское величество, вы не должны говорить съ духомъ, не должны прикасаться къ тѣни и не подходить къ ней.

— Какъ? не сказать ни слова? не выразить и знака чувства? Это ужъ слишкомъ; но если это крайне необходимо...

— Необходимо для безопасности вашей священной особы. Я не прошу у васъ никакой награды, кромѣ помилованія преступника, котораго завтра должны казнить.

— Я уже слышалъ объ этомъ,— сказалъ король,—и желалъ бы знать, почему ты интересуешься этимъ преступникомъ и почему онъ такъ дорогъ тебѣ?

— Я вовсе не интересуюсь имъ и даже не знаю, кто онъ,— отвѣчалъ Твардовскій.

— Но я попрошу тебя,—продолжалъ король послѣ минут-

наго молчанія,—не употреблять заклятій, запрещенныхъ церковію. Они могутъ погубить мою душу. Вызови мнѣ тѣнь королевы простыми заклятіями бѣлой магіи или молитвою, подобающею духу королевы.

Твардовскій, вмѣсто отвѣта, покачалъ головою.

— Намъ надо комнату побольше этой,—сказалъ онъ, помолчавъ.

По знаку короля придворный открылъ другія двери, завѣшанныя тоже ковромъ. Прежде всѣхъ вошелъ Твардовскій; за нимъ вошелъ придворный съ лампою, а затѣмъ король. Пройдя двѣ небольшія комнаты, они вошли въ огромную залу, обитую чернымъ сукномъ, съ тремя окнами и двумя дверьми по обоимъ концамъ залы; кругомъ, по стѣнамъ, тянулись скамьи, посрединѣ стоялъ столъ, покрытый до полу чернымъ сукномъ; на стѣнѣ висѣло распятіе, въ большомъ каминѣ догорали уголья, бросая блѣдный свѣтъ на залу.

Они молча вошли туда. Блѣдный король поодаль, молча, опустился въ кресло; Твардовскій началъ свои приготовленія. Разложивъ на столѣ свои чернокнижные аппараты, онъ осмотрѣлся вокругъ и велѣлъ придворному закрыть распятіе. Король, ничего не возразилъ противъ этого и, казалось, не замѣчалъ или показывалъ видъ, что не замѣчаетъ его распоряженій.

Передъ началомъ заклинаній, Твардовскій отошелъ въ другой конецъ залы и обратился къ королю съ вопросомъ:

— Нѣтъ-ли у вашего королевскаго величества волосъ покойной королевы.

Августъ поспѣшно разстегнулъ грудь и, отыскавъ на ней черную книжечку съ золотыми застежками, снялъ съ шеи и, вынувъ волосы покойной, приказалъ придворному передать ихъ Твардовскому.

— Передъ началомъ заклинаній, осмѣливаюсь напомнить вамъ, государь, о нашемъ условіи: сидите тихо и безмолвно, не говорите ни одного слова при появленіи тѣни, иначе и съ вами, и со мной можетъ случиться большое несчастіе.

Король кивнулъ головою въ знакъ согласія. Видно было, что страхъ и радость боролись въ немъ и онъ не могъ пересилить въ себѣ этихъ чувствъ, хотя и старался скрыть ихъ.

Брови его нахмурились еще болѣе, тяжелое дыханіе колебало грудь, лицо блѣднѣло, жилы на вискахъ налились кровью и руки судорожно сжались.

Твардовскій приступилъ къ вызыванію тѣни и началъ жечь на лампѣ волосы королевы. Густой туманъ окуталъ всю комнату. Вскорѣ дымъ началъ разстилаться по землѣ и лампа засвѣтилась ярче, въ то же время противоположная дверь съ шумомъ отворилась и въ комнату вдвинулась, не прикасаясь къ землѣ, какая-то воздушная фигура, образъ которой, по мѣрѣ приближенія, становился все яснѣе и яснѣе. Фигура эта изображала молодую женщину небольшого роста, съ прекраснѣйшими чертами лица, голубыми, томными глазами и бѣлокурыми волосами, стройная какъ тополь, и въ бѣлой, легкой одеждѣ, подъ которой виднѣлся блестящій, драгоцѣнный уборъ. Она двигалась медленными шагами, останавливаясь на пути, а затѣмъ снова двигалась, точно стрѣлка на циферблатѣ часовъ. Прекрасныя ея глаза, въ которыхъ таилась страстная любовь и чувство невыразимой грусти, обращены были къ королю.

Въ моментъ появленія тѣни Августъ онѣмѣлъ отъ страха и закрылъ глаза; когда же онъ открылъ ихъ,—передъ нимъ, въ нѣсколькихъ шагахъ, стояла жена, которую онъ любилъ больше всего на свѣтѣ. Король впился въ нее глазами, глазами полными грусти и отчаянія; тяжелый вздохъ вырвался изъ его истомленной груди. Тѣнь придвинулась ближе, вперивъ свой взглядъ въ короля, взглядъ, силѣ котораго онъ не могъ противустоять при жизни; глаза короля встрѣтились съ небесными глазами призрака и онъ не могъ преодолѣть себя. Позабывъ объ условіи и подвергая себя опасности, онъ вскочилъ съ кресла и, протянувъ руки, вскричалъ:

— Это ты, Варвара?!...

Въ ту же минуту, вызванная тѣнь королевы затрепетала и страшно измѣнилась: вмѣсто очаровательнаго призрака король увидѣлъ передъ собою изсохшій трупъ въ истлѣвшей одеждѣ, изъ подъ которой обнаруживалось источенное червями гнилое тѣло... Трупный удушливый запахъ распространился по комнатѣ.

Король вскрикнулъ и упалъ безъ чувствъ. Лампа погасла.

Придворный въ отчаяніи ломалъ руки и проклиналъ чернокнижника. Вскорѣ на крикъ его сбѣжалась королевская стража; безчувственнаго короля перенесли въ спальню и послали за докторомъ Шнеебергеромъ. Твардовскій же скрылся изъ замка и всѣ поиски остались тщетными.

На слѣдующій день по всему городу ходили самые невѣроятные слухи о случившемся происшествіи. Говорили, что Твардовскій вызывалъ тѣнь умершей королевы и едва не погубилъ короля...

Августъ однако сдержалъ слово и помиловалъ преступника, котораго на другой день должны были повѣсить передъ ратушей.

XIII.

Какъ дьяволъ объяснилъ Твардовскому, что онъ ввелъ его въ заблужденіе.

Вернувшись домой, Твардовскій разбудилъ Матюшу, и желая подкрѣпить себя сномъ, собирался уже лечь спать, какъ вдругъ явился передъ нимъ дьяволъ.

— Король не сдержалъ слова?—спросилъ сатана.

— Да,—отвѣчалъ Твардовскій и какъ-то растеряно кивнулъ головою.

— Что-же дальше?

— Тѣнь королевы превратилась въ отвратительный трупъ.

— Прекрасно!...—воскликнулъ дьяволъ и засмѣялся.

— Чему же ты смѣешься, сатана?..—сказалъ съ упрекомъ Твардовскій.—Вѣдь ты самъ не желалъ этого, ты вѣдь самъ предостерегалъ меня!..

— Ты старался,—возразилъ дьяволъ,—предостеречь короля всѣми мѣрами, и однимъ этимъ ты заставилъ его поступить совершенно наоборотъ. Ты знаешь, что людямъ все запрещенное особенно нравится Возбужденное любопытство вѣдь не знаетъ предѣловъ, и тутъ-то люди забываютъ уже всѣ предосторожности. Мнѣ именно того и хотѣлось, чтобы прелестный образъ королевы явился передъ королемъ въ отвратительномъ видѣ въ ту

самую минуту, когда тотъ думалъ уже осязать его. Видѣніе это, вмѣсто того, чтобы усилить любовь короля къ покойной, возбудило въ немъ отвращеніе къ предмету прежняго обожанія. Теперь король начнетъ искать развлеченія среди другихъ женщинъ и вскорѣ совсѣмъ забудетъ свою неоцѣненную Варвару. Этого только мнѣ и хотѣлось. Прощай Твардовскій!

Твардовскій не отвѣчалъ на прощаніе дьявола и крѣпко призадумался.

— Видно,—сказалъ онъ про себя,—что я только орудіе дьявола... и ничто больше!.. Стоило ли мнѣ изъ-за этого связываться съ саганою!?

XIV.

Какъ Твардовскій уѣхалъ изъ Кракова.

Глубокая задумчивость овладѣла Твардовскимъ, во время его пребыванія въ своемъ волшебномъ кабинетѣ, и ничто ужъ больше не колебало его думы. Достигнувъ желаемаго, какъ человѣкъ, не имѣющій ни цѣли, ни надежды, который неожиданно достигъ всего, чего желалъ, Твардовскій не зналъ, чего бы еще пожелать. Все подчинялось теперь его волѣ. Онъ вспомнилъ свое прошлое и глубоко анализировалъ его. Утраченная молодость представлялась ему, какъ сонъ, онъ едва вѣрилъ, что когда-то былъ молодъ. Предметы и люди, окружавшіе его, являлись для него призраками, съ слабымъ подобіемъ дѣйствительности. Среди тяжелой задумчивости о прошломъ, вдругъ дверь открылась и въ комнату вошелъ придворный.

— Магистръ,—сказалъ онъ, войдя въ комнату и бросивъ на столъ тяжелую золотую цѣпь,—король шлетъ тебѣ на память эту бездѣлушку и приказываетъ тотчасъ оставить городъ.

— На память!—воскликнулъ гордо и съ ироніей Твардовскій.—Если на память—беру, а въ подарокъ—не принимаю. Но о какомъ отъѣздѣ говоришь ты?

— Такова воля короля. Ему угодно, чтобы ты сейчасъ же оставилъ Краковъ. Весь дворъ, весь городъ знаютъ уже, что случилось сегодня ночью во дворцѣ. Дворяне подслушали у

дверей, когда король произнесъ имя королевы, видѣли даже тѣнь ея и чувствовали тотъ ужасный трупный смрадъ, который распространился внезапно по комнатѣ. Короля обвиняютъ въ чародѣйствѣ, увѣряютъ, что онъ имѣетъ сношеніе съ духами при твоемъ содѣйствіи (при этомъ дворецкій плюнулъ и перекрестился). Я посовѣтовалъ бы тебѣ не медлить отъѣздомъ: до завтра слухи эти примутъ ужасающіе размѣры, съ твоимъ же отъѣздомъ они затихнутъ и вскорѣ забудутся совсѣмъ. Если ты не безпокоишься о себѣ, то подумай о его спокойствіи и исполни волю короля; послѣ твоего отъѣзда намъ легче будетъ уничтожить слухи...

— Ты думаешь,—прервалъ его сердито Твардовскій,—что меня, какъ старую беззубую бабу, что на пестѣ летаетъ и помеломъ слѣдъ заметаетъ, можно вытолкнуть за дверь по минованіи надобности? Нѣтъ, дружище, ты ошибаешься!.. Знай же, что тотъ, кто властенъ вызывать тѣни съ того свѣта, сумѣетъ также спровадить туда кого-нибудь...

Придворный поблѣднѣлъ.

— Полно, Твардовскій! Я не думалъ оскорблять тебя; за что же ты хочешь мстить? Вѣдь дѣло идетъ о твоей славѣ, о твоемъ спокойствіи...

— О славѣ?.. Моя слава, — отвѣчалъ заносчиво Твардовскій, — не боится ничего. Вѣрь, что глупымъ болтунамъ я сумѣю зажать рты.

— Не думаю, чтобы это было легко... Трудно народу зажать ротъ. Не одна чернь будетъ намекать на сношеніе короля съ духами. Узнаютъ вскорѣ и сенаторы, а еще опаснѣе епископы,—они обвинятъ тебя въ чернокнижіи и взведутъ на костеръ. Вспомни недавніе примѣры.

— Да кто осмѣлится выполнить приговоръ надо мною, кто будетъ судить меня?—спросилъ Твардовскій.

— Власть духовная. Самъ король не въ состояніи будетъ спасти тебя. Ты, вѣроятно, помнишь, что было съ тѣми, которыхъ судили даже не за чародѣйство, а за измѣну вѣрѣ и ересь...

— Ты думаешь, что я позволю судить себя и отдамся имъ въ руки?

— Я знаю, и потому-то и прошу тебя именемъ короля немедленно выѣхать изъ Кракова.

Твардовскій призадумался.

— Король приказываетъ мнѣ выѣхать?..

— Да, а я совѣтую.

— Приказываетъ! приказываетъ!.. — повторилъ Твардовскій.—Зачѣмъ же ему понадобилась моя помощь, когда власть его сильнѣе моей?

Придворный молчалъ и затѣмъ съ безпокойствомъ произнесъ:

— Впрочемъ, дѣлай какъ хочешь; прощай! — и, не ожидая отвѣта, испуганный вышелъ изъ комнаты.

Твардовскій, въ порывѣ гнѣва, швырнулъ на полъ лежавшую на столѣ цѣпь и началъ топтать ее ногами, но вдругъ одумался и, поднявъ ее, надѣлъ на шею. Затѣмъ онъ позвалъ слугу.

— Матюша, сейчасъ на коня — и за мной! — скомандовалъ онъ.

— На коня? А гдѣ же взять его?.. У насъ нѣтъ коней,— жалобно отвѣчалъ Матюша.

— Какъ нѣтъ коней?

— Да ихъ никогда и не было у насъ.

Твардовскій взялъ изъ камина потухшій уголь и, быстро нарисовавъ имъ на стѣнѣ двухъ лошадей, приказалъ Матюшѣ сѣсть на одну, а самъ вскочилъ на другую и выѣхалъ черезъ окно на улицу, заклявъ предварительно порогъ дома, чтобы никто не могъ переступить ногою въ его отсутствіе. Начинало свѣтать, когда Твардовскій выѣзжалъ изъ окна на своихъ рысакахъ... Народъ спѣшилъ на работу. О томъ, что Твардовскій выѣхалъ съ разсвѣтомъ изъ города на рисованной углемъ лошади, узналъ въ тотъ же день весь Краковъ.

XV.

Какъ Твардовскій давалъ людямъ добрые совѣты.

Въ сумерки Твардовскій съ своимъ слугою, пересѣвъ съ измученныхъ лошадей на пѣтуховъ, пойманныхъ ими гдѣ-то въ деревнѣ, въѣзжали въ мѣстечко Быдгошчъ; Твардовскій, въ знакъ привѣтствія, махнулъ рукою городскому валу, воротамъ

и бѣлымъ стѣнамъ домовъ,—и въ то же мгновеніе, какъ бы въ отвѣтъ на привѣтствіе, отозвались пѣтухи и куры всего города, всѣ совы съ колоколенъ и слуховыхъ оконъ и всѣ нетопыри изъ погребовъ и подваловъ. Странный шумъ и пискотня заглушили звуки городскихъ колоколовъ, звонившихъ къ вечерней заупокойной молитвѣ. Твардовскій съ Матюшей въѣхали въ городъ въ сопровожденіи громадной толпы, дивившейся такому чуду и такимъ, никогда невиданнымъ, всадникамъ на пѣтухахъ. Толпа все росла и росла, пока, наконецъ, передвиженіе сдѣлалось невозможнымъ: наши спутники кое-какъ добрались до корчмы, подъ вывѣскою „Винокуръ", гдѣ, сойдя съ своихъ коней, рѣшили переночевать. Подъ окнами корчмы собрался почти весь городъ. Всѣ толковали и спорили о томъ, кто были удивительные всадники. Твардовскому, наконецъ, надоѣло это любопытство и онъ выслалъ Матюшу заявить толпѣ, что пріѣхалъ великій ученый, чернокнижникъ и чародѣй, что останется въ городѣ недолго, и чтобы толпа разошлась по домамъ. Едва Матюша успѣлъ выговорить послѣднее слово, какъ толпа загудѣла и со всѣхъ сторонъ раздались крики и восклицанія:

— Пусть покажетъ намъ чудо!—кричали одни.

— Пусть меня вылѣчитъ!—кричали другіе.

— Пусть дастъ мнѣ денегъ!—вопили третьи.

— Пусть воскреситъ нашихъ мужей!—кричали женщины.

Матюша заткнулъ уши и скрылся отъ толпы. Между тѣмъ народъ, постоявъ немного и не видя Твардовскаго, началъ расходиться и улицы скоро опустѣли. Толки же о Твардовскомъ не умолкали всю ночь. Всѣ съ нетерпѣніемъ ожидали слѣдующаго дня и совѣтовались другъ съ другомъ, о чемъ бы собственно спросить Твардовскаго, и у каждаго, конечно, нашлась цѣлая масса вопросовъ. Любопытство было настолько возбуждено, что никто всю ночь не могъ сомкнуть глазъ, всѣ были въ тревогѣ и ожидали чего-то таинственнаго, сверхъестественнаго.

На слѣдующее утро, съ разсвѣтомъ, корчма наполнилась народомъ. Твардовскій былъ не въ духѣ и вышелъ въ трубу на крышу, чтобы освѣжиться и подышать свѣжимъ воздухомъ. Но его увидѣли и тамъ и обратились съ просьбами со всѣхъ

сторонъ. Твардовскій, наконецъ, сжалился, сошелъ въ корчму и велѣлъ допустить къ себѣ. Началась ужасная давка. Всѣ полы, возрасты и состоянія тѣснились къ Твардовскому; нѣкоторые пришли просто изъ любопытства, другіе ожидали настоящей помощи. Твардовской принималъ каждаго по одиночкѣ.

Первою пробралась къ нему старая, беззубая баба, съ палкой и четками въ рукѣ, съ книгой подъ мышкой, съ краснымъ рубцомъ отъ очковъ на носу, въ грязи и лохмотьяхъ.

— Долгія лѣта тебѣ, кормилецъ!—сказала старуха хриплымъ голосомъ. — Найди ты мнѣ мужа, голубчикъ. Жить не могу безъ мужа. Вотъ уже три года, какъ я похоронила его и до сихъ поръ никто за меня не сватается. Теперь уже свѣтъ совсѣмъ не тотъ: только молодыя и нравятся.

На просьбу старухи Твардовскій отвѣтилъ:

— То, что спрятано у тебя въ изголовьѣ кровати, положи въ старый сундукъ, и выйдешь замужъ.

Не успѣла старуха выйти изъ корчмы, какъ слѣдомъ за ней ушелъ скорнякъ, прежній подмастерье ея покойнаго мужа. По дорогѣ онъ сдѣлалъ ей предложеніе, а на слѣдующій день они повѣнчались.

Молодому парню, подошедшему къ Твардовскому вторымъ, онъ сказалъ:

— А тебѣ, вѣроятно, надо лѣкарство отъ сердца?

— Вы угадали, — отвѣтилъ парень, почесываясь и вздыхая.—Вотъ уже годъ, какъ я люблю Маргариту, дочь Малькера, золотыхъ дѣлъ мастера, но она и слышать не хочетъ обо мнѣ. Помоги...

— Возьми мертваго нетопыря и въ день полнолунія, ночью, снеси его на кладбище и положи тамъ въ муравейникъ. Когда муравьи оставятъ отъ него одинъ только остовъ, выкопай въ полночь его кости и отыщи въ нихъ двѣ косточки, одну загнутую крючкомъ, другую—въ видѣ вилки. Если хочешь, чтобы женщина полюбила тебя, дотронься до нея одной косточкой, если надоѣстъ—оттолкни другою.

Обрадованный парень побѣжалъ домой и разболталъ объ этомъ лѣкарствѣ Твардовскаго всему городу, а затѣмъ слухи о немъ распространились вскорѣ по всему свѣту и дошли до насъ, по преданію.

Третьимъ подошелъ къ Твардовскому сутуловатый, мужиковатый ремесленникъ, съ шапкою подъ мышкой; переваливаясь съ ноги на ногу и почесывая затылокъ, онъ долго шевелилъ губами, потѣлъ, кряхтѣлъ и видимо старался что-то сказать; потъ крупными каплями выступалъ на лбу. Въ смущеніи, онъ не могъ вымолвить слова. Страхъ-ли передъ Твардовскимъ, застѣнчивость, или просто глупость были тому причиною—трудно рѣшить, но безмолвная аудіенціи продолжилась бы очень долго, если бы самъ Твардовскій не спросилъ его, что ему нужно?

— Бѣда стряслась,—отвѣчалъ наконецъ ремесленникъ, — меня испортила моя сосѣдка,—околдовала совсѣмъ: за что не возьмусь—вездѣ неудача, ничто не идетъ въ прокъ. Погубила меня окончательно.

— Я помогу и твоему горю,—сказалъ Твардовскій.—Закопай у порога хаты перышко съ ртутью и брось туда же горсть чернобыльнику; повѣсь въ хатѣ Ивановой травы, и все какъ рукой сниметъ.

Четвертымъ подошелъ къ Твардовскому здоровый краснощекій дѣтина, средняго роста, который обратился къ нему съ привѣтствіемъ на латинскомъ языкѣ.

— Чѣмъ могу служить вамъ, докторъ? —спросилъ Твардовскій.—Какому несчастію вы обязаны, обращаясь съ просьбой ко мнѣ, въ то время, когда вы сами докторъ?

— Большому несчастію, celebrissime et sapientissime. Меня сглазили; я чувствую вліяніе чаръ, отнимающихъ мои силы, здоровье, спокойствіе и не нахожу отъ нихъ лѣкарства въ моей аптекѣ. Я искалъ совѣта въ книгахъ мудрыхъ отцовъ медицины—и не нашелъ его. Околдовала меня женщина, которую я не хотѣлъ и не хочу любить, но теперь долженъ поневолѣ полюбить ее, вслѣдствіе чародѣйства. Помоги, учитель!

— Хорошо,—отвѣчалъ Твардовскій, — постараюсь помочь тебѣ... у меня есть вѣрное средство противъ чаръ и колдовства.

„Si quis ad aliquam vel aliquem, nimis amandum, maleficiatus fuerit, tum sterens recens illius quem vel quam diligit, ponatur mane in ocrea vel calceo dextro amantis et calciet se, et quam primum factorem sentiet, maleficium solvetur“ *).

*) Взято цѣликомъ изъ одной старинной рукописи. *Примѣч. автора.*

Докторъ записалъ рецептъ и, низко поклонившись, ушелъ. Вслѣдъ за нимъ протѣснилась къ Твардовскому шляхтянка съ всклокоченной головой и въ измятомъ чепцѣ. Ея красное, полное лицо напоминало луну въ полнолуніе, до того оно было кругло. Она была въ грязи и въ лохмотьяхъ.

— Спаси благодѣтель!—взмолилась она:—помири меня съ мужемъ, это вѣдь въ твоей власти, для тебя нѣтъ ничего невозможнаго. Цѣлый годъ уже мы ссоримся и живемъ, какъ кошка съ собакою, какъ пестикъ со ступкою, — бранимся и деремся съ утра до вечера, такъ что и сосѣдямъ отъ насъ невмоготу... Кто изъ насъ правъ, кто виноватъ — одинъ чортъ знаетъ. Мнѣ все кажется, что онъ виноватъ во всемъ, а ему,— что я всему причиной. Посмотришь на него, кажется, хорошій человѣкъ и я ничего себѣ бабенка; оказывается, однако, что оба дурны, и едва только сойдемся вмѣстѣ,—ну и бѣда, хоть всѣхъ святыхъ изъ хаты выноси. Помоги мнѣ, голубчикъ, милостивецъ мой; буду вѣчно молиться за тебя, отдамъ все, что только попросишь; потому что больше силъ нѣтъ съ нимъ жить, хотя бы онъ былъ самимъ ангеломъ.

— Могу помочь и твоему горю,—отвѣчалъ Твардовскій.— Достань ворона и ворону и вырѣжь у нихъ сердца. Сердце вороны носи всегда при себѣ, а мужа заставь носить сердце ворона. Если въ точности исполнишь мой совѣтъ — не будете больше никогда ссориться.

— А вѣрно-ли это, благодѣтель; не будемъ никогда ссориться?

— Увидишь. Теперь ступай съ Богомъ... Только помни, что въ первую недѣлю ты должна безпрекословно во всемъ уступать своему мужу. Что бы онъ тебѣ ни говорилъ, какъ бы ни бранилъ, какъ бы не колотилъ, но ты молчи, все переноси. Въ концѣ-концовъ—твоя возьметъ.

— Уступать мужу?—вскричала женщина: — и цѣлую недѣлю!

— Да вѣдь только одну недѣлю,—отвѣчалъ Твардовскій.

— Охъ, какъ тяжело, очень ужъ тяжело мнѣ будетъ уступать ему; ну, да дѣлать нечего, попробую.

Сварливую бабу замѣнила другая женщина, протиснувшись чрезъ толпу, со слезами на глазахъ.

— Прошу твоей помощи и я, благодѣтель,—заговорила женщина, вытирая передникомъ слезы. — Мужъ мой обманываетъ меня, скрываетъ отъ меня какую-то тайну и не говоритъ мнѣ ничего... Изныла я, изсохла вся съ горя и досады.

— Ты, видно, очень любопытна?—спросилъ ее Твардовскій.

— А какая-же изъ женщинъ не любопытна, хотѣла-бы я знать?—отвѣчала женщина.—Не лучше ли было, если бы я знала все, что дѣлается въ домѣ? Вѣдь это меня касается!

Твардовскій улыбнулся, какъ улыбался всегда, когда совѣтовалъ что нибудь. «Да, подумалъ онъ: вотъ гдѣ я дамъ дьяволу работу!»—и, подозвавъ женщину, шепнулъ, ей на ухо:

— Разрѣжь живого удода и проглоти его сердце, тогда ты будешь знать все, о чемъ только задумаешь.

Обрадованная женщина бѣгомъ помчалась домой.

— А вотъ у меня,—говорилъ, приблизившись къ Твардовскому какой-то отставной бурмистръ, въ сѣромъ кунтушѣ и грязномъ засаленномъ жупанѣ шафраннаго цвѣта: — у меня, великій благодѣтель, завелись черти въ домѣ... Съ наступленіемъ ночи я слышу вокругъ себя танцы, пляску, крики, пѣсни и хохотъ. Совсѣмъ отъ сна отбился, спать отъ страха не могу; молюсь до самаго разсвѣта, чтобы исчезли нечистые духи... И когда по утру калитка захлопнется, значитъ, черти ушли... Просто ума не приложу, что этому причиной.

— Вы женаты?—спросилъ Твардовскій.

— Женатъ,—отвѣчалъ отставной бурмистръ.

— А жена молодая?

— Конечно, не старуха, — продолжалъ бурмистръ, охорашиваясь.—А что?

— Ничего! Я понимаю теперь въ чемъ дѣло, если только дѣйствительно черти завелись въ вашемъ домѣ, то стоитъ только окурить его порошкомъ изъ зубовъ мертвеца и всѣ черти исчезнутъ; если же этотъ шумъ, пляска и хохотъ производятся не нечистой силой, то помочь нечѣмъ. Остается одно: или чтобы жена ваша состарилась, или — вы помолодѣли.

— Помолодѣть? Да вѣдь это невозможно,—воскликнулъ бурмистръ, выпучивъ глаза на Твардовскаго.

— Отчего же невозможно?

— Такъ я могу еще помолодѣть?—вскричалъ просіявшій бурмистръ.

— Говоря въ тѣсномъ смыслѣ, можете.

— Но это очень трудно и, пожалуй, очень дорого стоитъ; быть можетъ, это представитъ для васъ много затрудненій?

— Нисколько, это вовсе не такъ трудно и недорого; но объ этомъ и говорить не стоитъ; мнѣ кажется, что черти пляшутъ, да шумятъ въ вашемъ домѣ. Совѣтую окурить домъ тѣмъ именно средствомъ, о которомъ я говорилъ вамъ.

Бурмистръ ушелъ, почесавъ въ головѣ.

— Довольно на сегодня,—сказалъ Твардовскій, по уходѣ отставного бурмистра, обращаясь къ окружавшей его толпѣ:— отправляйтесь по домамъ; у меня нѣтъ болѣе времени.

Несмотря на замѣчаніе Твардовскаго, толпа не трогалась съ мѣста, напротивъ, все прибывала и тѣснилась. Напрасно Твардовскій выходилъ изъ себя, бранился и грозилъ, но его просили, умоляли, заклинали всѣмъ на свѣтѣ помочь ихъ несчастьямъ и недугамъ. Въ корчмѣ стоялъ гулъ сотни голосовъ, нестройно смѣшивавшихся съ пискомъ и воемъ; сотни рукъ протягивались къ Твардовскому.

Видя, наконецъ, что просьбамъ не будетъ конца, Твардовскій обратился къ старой истрепанной метлѣ, стоявшей въ углу корчмы, и приказалъ ей выгнать просителей. Метла встрепенулась и, послушная приказу чародѣя, начала прыгать и влѣво, и вправо, сметая въ кучу надоѣдливыхъ гостей, какъ какой-нибудь соръ. Въ одно мгновеніе публика стушевалась за дверь, которую метла захлопнула за нею и заперла на щеколду. Сдѣлавъ свое дѣло, метла стала передъ Твардовскимъ, въ ожиданіи новыхъ приказаній.

— Маршъ на свое мѣсто!—крикнулъ Твардовскій.

Послушная метла по прежнему заняла свое скромное мѣсто въ углу.

Не успѣлъ еще водвориться порядокъ, какъ послышался сильный стукъ въ дверь. Онъ возросталъ все болѣе и болѣе, такъ что старая дверь едва выдерживала напоръ новаго надоѣдливаго посѣтителя.

— Кто тамъ?—спросилъ Твардовскій.

— Впустите, ради Бога!—отозвался чей-то плаксивый го-

лось,—я бѣдный шляхтичъ, ищу вашего просвѣщеннаго совѣта и помощи, и скорѣе умру у дверей, чѣмъ возвращусь домой, не воспользовавшись вашимъ совѣтомъ. Я ужъ давно ищу человѣка, который бы помогъ мнѣ, и насилу отыскалъ васъ, благодѣтеля... Неужели вы не сжалитесь надо мной?..

— Пошелъ къ чорту и не мѣшай мнѣ,—отвѣчалъ Твардовскій.

— Не двинусь съ мѣста, умру на этомъ порогѣ, если не увижу васъ, мой благодѣтель.

Послышались рыданія и мольбы, которыя наконецъ тронули Твардовскаго и онъ приказалъ метлѣ впустить одного только шляхтича, а самой стать часовымъ у дверей и не пускать никого, несмотря ни на просьбы, ни на слезы.

Метла исполнила приказаніе; въ комнату вошелъ блѣдный, худой, высокій мужчина и низко поклонился Твардовскому. Онъ былъ въ потертомъ кунтушѣ неопредѣленнаго цвѣта; въ порыжѣлыхъ сапогахъ, запачканныхъ въ грязи и дырявыхъ; изъ шапки высовывалась клочьями грязная вата, а изъ подъ воротника кунтуша торчали лохмотья рубашки. Желая возбудить сожалѣніе въ Твардовскомъ, бѣдный шляхтичъ поклонился еще разъ, пока тотъ мѣрилъ его проницательнымъ взглядомъ.

— Что вамъ нужно отъ меня?—спросилъ Твардовскій.

— Бѣдность и нищета заставили меня обратиться къ тебѣ, отецъ и благодѣтель,—отвѣчалъ шляхтичъ.—За богатство я готовъ прозакладывать свою душу дьяволу, — нищета истерзала меня, — ѣсть нечего; приходится умирать съ голоду. Нечѣмъ прикрыть своего бреннаго тѣла, — видишь самъ, каковъ я...

Онъ указалъ Твардовскому на свои лохмотья.

— Да ты, любезный, хочешь меня обмануть, — отозвался Твардовскій: —но я вѣдь знаю, что у тебя есть деньги.

Шляхтичъ покраснѣлъ, а затѣмъ поблѣднѣлъ, какъ полотно, и не находилъ словъ для отвѣта.

— Я... я... видитъ Богъ...—въ смущеніи произнесъ онъ, заикаясь.

— Передо мною нельзя ничего скрыть,—сказалъ Твардовскій.—Я могъ бы пересчитать тебѣ до послѣдняго шелега всѣ твои сбереженія, которые ты спряталъ у себя въ сундукѣ, въ кладовой и въ постели, подъ изорваннымъ одѣяломъ.

Холодный потъ выступилъ на лбу шляхтича. Онъ пожималъ плечами и вытиралъ потъ съ лица.

— Ты вовсе не бѣденъ, но жаденъ и скупъ,—продолжалъ Твардовскій.—Развѣ тебѣ мало того, что есть у тебя? Ты жаждешь все больше и больше, и, по жадности своей, бѣдствуешь.

— Ты правъ,—жалобно отвѣчалъ шляхтичъ: — не стану скрывать передъ тобою. Мнѣ хочется сдѣлаться богачемъ и я пришелъ спросить: нѣтъ-ли у тебя какихъ средствъ къ обогащенію?

— Есть много средствъ, но всѣ они очень трудны.

— Трудны?.. Но развѣ при желаніи обогатиться могутъ казаться трудными какія либо средства?

— Nihil difficile amanti,—сказалъ Твардовскій, цитируя слова Цицерона: — твоя правда. Такъ ты желалъ-бы отдать за деньги свою душу дьяволу?

— Съ радостью. На что мнѣ душа?—быстро возразилъ шляхтичъ.—Были-бы деньги, я отдамъ ее тому, кто дастъ мнѣ ихъ.

— Попробуй; я найду тебѣ средство. Найди въ лѣсу пустую избу, до которой бы не доходило изъ деревни пѣніе пѣтуховъ, и запрись въ этой избѣ на цѣлую ночь. Захвати съ собою свѣчку и девять серебряныхъ монетъ. Въ теченіе всей ночи считай безъ устали эти деньги, отъ одного до девяти и отъ девяти до одного. Если ты не ошибешься до зари ни одного разу, то дьяволъ дастъ тебѣ безчисленныя сокровища; если-же ошибешься, забудешься, устанешь, заикнешься или одно слово повторишь два раза сряду—наживешь большую бѣду. Хочешь разбогатѣть — попробуй это средство.

Выслушавъ со вниманіемъ Твардовскаго и разспросивъ его подробнѣе, какъ приступить къ этой страшной операціи, шляхтичъ поблагодарилъ его и ушелъ. По уходѣ скряги, Твардовскій расхохотался и, садясь за столъ, сказалъ:

— Я всѣмъ имъ далъ хорошіе совѣты, и, мнѣ кажется, что не всѣ они понравятся дьяволу.

Едва Твардовскій произнесъ эти слова, какъ дьяволъ вылѣзъ изъ-за печи и, весело улыбаясь, произнесъ:

— Добраго утра великому мудрецу и философу... А я

подслушалъ-таки твои добрые совѣты и радуюсь, что нашелъ въ тебѣ достойнаго себѣ сподвижника, ревностнаго и усерднаго къ нашимъ адскимъ дѣламъ. Спасибо, Твардовскій, за все большое спасибо!

— Ты никакъ съ ума сошелъ?— возразилъ Твардовскій.—Я твой усердный помощникъ!.. Видно тебѣ послышалось что другое? Изъ чего же ты заключилъ, что я сталъ твоимъ помощникомъ.

— Изъ всѣхъ твоихъ совѣтовъ я убѣдился, что ты имѣешь очевидно намѣреніе услужить намъ вообще, а мнѣ — въ особенности. Ты великолѣпно напутствуешь людей прямо въ адъ, совѣтуя имъ самыя невинныя средства, но, въ дѣйствительности, они-то и поведутъ ихъ къ гибели.

— Совѣтуя имъ, я вовсе не думалъ о томъ, клянусь тебѣ, сатана, моей душею, и говоря мнѣ это, ты, вѣроятно, шутишь надо мною... Тебѣ, новидимому, хочется помучить меня.

— Думай, что хочешь, а я тѣмъ временемъ, если угодно, докажу тебѣ справедливость моихъ словъ.

— Умоляю...

— Поди за мной; я покажу тебѣ послѣдствія твоихъ добрыхъ совѣтовъ.

XVI.

Какъ дьяволъ показывалъ Твардовскому послѣдствія его совѣтовъ.

На плечахъ своихъ дьяволъ принесъ Твардовскаго въ избу той старухи, которая просила его дать ей мужа и которой онъ посовѣтовалъ вынуть изъ-подъ изголовья кровати, что у нея было спрятано. Женившійся на старухѣ подмастерье ея прежняго мужа началъ ее бить и вообще позволялъ себѣ въ отношеніи ея разныя жестокости. Старуха только теперь поняла все свое несчастіе: она проклинала свой легкомысленный поступокъ и совѣтъ Твардовскаго.

— Развѣ я не правъ?—спросилъ дьяволъ Твардовскаго.— А знаешь чѣмъ это кончится?

— Не догадываюсь даже. Конечно, всѣ побои обыкновенно заканчиваются синяками.

— Но здѣсь они закончатся преступленіемъ, — сказалъ дьяволъ.—Увидишь, если желаешь посмотрѣть,—конецъ очень близокъ. Старуха уже ищетъ зелье, которое развяжетъ ей руки и приведетъ молодого мужа къ вѣрной смерти.

Оставивъ первую избу, они отправились въ хату того парня, которому Твардовскій далъ совѣтъ снискать любовь Магдалины, дочери золотыхъ дѣлъ мастера Малькера. Парень сіялъ и готовился ужъ къ свадьбѣ. Магдалина влюблена была въ него по уши.

Смотря на счастливую пару, Твардовскій спросилъ:

— Неужели и тутъ ты предвидишь дурной конецъ?

— Да,—отвѣчалъ дьяволъ: — я предвижу здѣсь хорошую жатву для ада. Они обвѣнчаются,—это такъ, но любовь ихъ не искренна, она вынуждена дѣйствіемъ чаръ и скоро послѣ свадьбы исчезнетъ. Молодая жена вспомнитъ о прежнемъ подмастерьѣ своего отца, — и неизбѣжнымъ слѣдствіемъ этого воспоминанія явится: во-первыхъ, паденіе, во-вторыхъ — убійство, и въ третьихъ — проклятіе. Всего бы этого, конечно, не случилось, если бъ она вышла замужъ за дѣйствительно любимаго ею человѣка; они искренно любили бы другъ друга и жили въ полномъ спокойствіи и счастіи. Виною всему этому опять же ты, Твардовскій, и я благодаренъ тебѣ за это, отъ лица цѣлаго ада.

Твардовскій задумался.

— Все это одни парадоксальныя предположенія, — замѣтилъ онъ.

— Ошибаешься, это только математическія истины,—прервалъ дьяволъ и повелъ Твардовскаго къ избѣ крестьянина, которому онъ далъ совѣтъ, какъ противоядіе, отъ колдовства.— Здѣсь самъ Твардовскій увидѣлъ, что старая колдунья, удостовѣрившись въ бездѣйствіи своихъ чаръ, приготовляла своему сосѣду болѣе радикальное средство, которое непремѣнно должно было подѣйствовать на него, а именно — ядъ.

— Смотри чѣмъ кончается и здѣсь?—сказалъ дьяволъ. — Отъ колдовства было гораздо меньше вреда, но ты посовѣтовалъ лѣкарство противъ него, и теперь пусть пеняетъ на себя.

Они пошли далѣе, къ жилищу доктора, которому Твардовскій далъ совѣтъ какъ избавиться отъ любви дѣвушки,

которая опостылѣла ему. Лѣкарство уже было принято докторомъ и подѣйствовало, какъ онъ и ожидалъ, но бѣдная дѣвушка съ отчаянія сдѣлалась развратною.

— Если бы докторъ не послушался твоего совѣта,—сказалъ дьяволъ,—онъ, волей-неволей, обвѣнчался бы съ дѣвушкой и они оба были бы счастливы; а теперь — одна душа на пути къ аду. И за этотъ совѣтъ спасибо тебѣ, Твардовскій.

— Не торопись выводить свои адскія заключенія. Посмотримъ сначала на тѣхъ двухъ супруговъ, которымъ я далъ совѣтъ помириться. Неужели, по твоему, и это пошло во зло.

— Изволь; да, кстати, вотъ ихъ изба,—отвѣчалъ, ухмыляясь, дьяволъ, указывая на небольшой домикъ.

Сквозь узкое окно Твардовскому представилась большая выбѣленная комната, въ одномъ концѣ которой сидѣла и зѣвала женщина, а въ другомъ—спалъ мужчина.

— Полюбуйся на ихъ согласіе,—шепнулъ дьяволъ Твардовскому: — онъ пьянствуетъ, а она обкрадываетъ его. Они дѣйствительно уступаютъ другъ другу и прощаютъ обоюдно грѣхи. Они живутъ очень согласно, это правда; но согласіе это пагубно для нихъ. Въ то время, когда они ссорились, они смотрѣли зорко другъ за другомъ; онъ боялся пить и обязанъ былъ работать; она была честной женщиной и никогда не воровала, не наряжалась въ ленты и кружева, не подстригала чолку и не дѣлала никакихъ глупостей, ведущихъ... извѣстно къ чему.

— Въ этомъ ужъ я не виноватъ; а если кто виноватъ, такъ это ты, потому что мои намѣренія были чистыя, добрыя.

— Не я мирилъ ихъ! — отвѣчалъ, пожимая плечами, сатана.

— Дѣйствительно, теперь я прихожу къ такому заключенію,—грустно замѣтилъ Твардовскій,—что всѣ мои совѣты принесли скверные плоды. Я припоминаю еще одно средство, которое посовѣтовалъ женщинѣ, чтобы узнавать тайны своего мужа, которыя онъ тщательно скрывалъ отъ нея.

— Въ ту минуту, когда мы говорили съ тобою, на городскомъ рынкѣ палачъ, вѣроятно, отрубилъ ему голову,—хладнокровно отвѣчалъ дьяволъ.—Тайна его, такъ тщательно скрываемая отъ жены, заключалась въ томъ, что онъ дѣлалъ фаль-

шивую монету, съ двумя своими товарищами. Узнавъ тайну, жена проболталась, какъ вообще бываетъ, своей сосѣдкѣ; сосѣдка же, по секрету, сказала женѣ лавочника, а та, по секрету, женѣ бургомистра, а послѣдняя, въ минуту откровенности, разсказала все своему мужу. Бургомистръ счелъ своимъ долгомъ сообщить, — но уже не по секрету, — извѣстіе это войту, и, такимъ образомъ, finis bonus, дѣло дошло до казни. Этотъ совѣтъ, Твардовскій, удался тебѣ лучше всѣхъ и за это приношу тебѣ глубочайшую мою благодарность.

— Ну, а этотъ, бурмистръ, которому я посовѣтовалъ выкурить нечистую силу зубомъ мертвеца?

— Твоимъ спасительнымъ ладономъ?.. Напрасны были его труды. Жена бурмистра, узнавъ, что мужъ приписываетъ ея проказы, т.-е. шумъ, хохотъ и пляску, заводимые ея любовниками, — нечистой силѣ, сдѣлалась еще смѣлѣе и проказитъ теперь подъ самымъ носомъ мужа, въ увѣренности, что онъ не посмѣетъ высунуть его изъ подъ одѣяла, отъ одного страха увидѣть нашего брата на яву. Онъ собирается обратиться къ тебѣ съ другою просьбою: помолодить его, или сдѣлать жену старухою. Но объ этомъ мы поговоримъ потомъ.

— Отчего же? Я охотно попробую на немъ дѣйствіе элексира, который возвращаетъ старикамъ молодость, — сказалъ Твардовскій.

— Это твое дѣло, — возразилъ дьяволъ, — воля твоя, результаты — наши, которые, надѣюсь, будутъ удовлетворительны.

— Что же, наконецъ, вы хотите сдѣлать меня своимъ слугою, невольникомъ?—вспылилъ разсерженный Твардовскій.

— Нисколько. Мы воли твоей не отнимаемъ; ты дѣлаешь все, что угодно.

— Однако все, что совершается по моей волѣ, вы обращаете въ свою пользу.

— Ты воображаешь, что на свѣтѣ найдется хотя одинъ человѣкъ, который бы могъ по своему желанію управлять своими поступками? Ошибаешься. Поступки и послѣдствія ихъ, это то же, любезный другъ, что прицѣлъ и выстрѣлъ. Не всегда же выстрѣлъ попадаетъ въ цѣль, куда стрѣлокъ его мѣтитъ, даже опытный стрѣлокъ никогда не можетъ поручиться головой за вѣрность выстрѣла.

Твардовскій молчалъ. Опроверженія на доводъ дьявола онъ не могъ придумать.

— Безъ сомнѣнія,—помолчавъ съ минуту, сказалъ Твардовскій,—шляхтичъ, которому я далъ вѣрное средство обогатиться, находится теперь въ самомъ тартарѣ.

— Сомнѣваюсь,—сказалъ сквозь зубы сатана,—надъ этимъ субъектомъ еще надо поработать.

— Ты всегда мнѣ противорѣчишь и дѣлаешь все наперекоръ!.. Но, ручаюсь головою, что теперь онъ находится уже на большой дорогѣ къ вашему царству.

— Ты думаешь?—возразилъ дьяволъ. — Вы, люди, всегда судите о вещахъ по ихъ наружному виду; а мы, черти, смотримъ на вещи съ иной точки зрѣнія. Шляхтичъ этотъ охраненъ отъ насъ, и охрана эта въ его душѣ.

— Въ его душѣ, кромѣ жадности, я ничего не замѣтилъ: алчность къ деньгамъ и ужасная скупость...

— Ты упустилъ изъ вида—трусость,—перебилъ дьяволъ.— Хорошо, что ты напомнилъ мнѣ объ этомъ шляхтичѣ. Пойдемъ, посмотримъ на него. За нимъ нужно наблюдать.

Наступила темная ночь и дьяволъ; обнюхавъ воздухъ со всѣхъ четырехъ сторонъ, почуялъ по вѣтру то мѣсто, которое было выбрано шляхтичемъ испытать совѣтъ, данный ему Твардовскимъ. Въ сѣверо-западной сторонѣ лѣса стояла нежилая изба лѣсничаго, который погибъ со всей семьей своей во время свирѣпствовавшей въ послѣдніе годы моровой язвы. Онъ занесъ ее изъ города, куда ходилъ за мукою. Съ тѣхъ поръ изба опустѣла, и хотя вѣтеръ и непогода сдѣлали свое дѣло, разгуливая въ ней на свободѣ, и порастрясли ея старыя стѣны и кровлю, но она все еще держалась и могла служить убѣжищемъ для совъ. Она стояла въ самой глуши лѣса, далеко отъ большой дороги; тропинка, ведшая когда то къ ней, успѣла зарости быльемъ и крапивой. Столѣтнія березы, калина и ивы, составлявшія когда-то садикъ лѣсничаго, покрыли теперь хату своими густыми лиственными вѣтвями, такъ что ее едва можно было разглядѣть вблизи... Заборъ давно уже сгнилъ и свалился; въ избѣ не было ни оконъ, ни дверей; развалившаяся печь, загромоздила избу своими обломками. Хата, въ свое время, была просторная и заключала въ себѣ

двѣ комнаты. Вторая комната была поменьше первой и окошко въ ней было забито полусгнившими досками. Въ этой-то комнатѣ и пристроился смѣлый скряга. Разбитая старая бочка и обломокъ двери составляли всю незатѣйливую его мебель, которая послужила смѣльчаку столомъ; на немъ онъ принялся, съ сумерокъ, считать свои девять шелеговъ при свѣтѣ огарка, принесеннаго имъ съ собою. Твардовскій и дьяволъ застали его за работой. Его блѣдное, искаженное ужасомъ лицо, было все въ поту, глаза искрились; казалось, жизнь оставляла его: онъ дрожалъ, какъ осиновый листъ, и считалъ свои шелеги безъ передышки.

Глубокая тишина нарушалась только воемъ вѣтра, да крикомъ совъ, долетавшимъ изъ чащи лѣса. Самый отчаянный смѣльчакъ почувствовалъ бы невольный страхъ, очутившись въ такомъ безлюдномъ мѣстѣ въ глубокую ночь. Твардовскій изумился рѣшимости шляхтича, котораго сатана называлъ трусомъ. И дѣйствительно, старый скряга превозмогъ себя и забылъ свою трусость: онъ такъ погрузился въ свою работу и такъ былъ ею занятъ, что не спускалъ своего взора съ денегъ ни на одно мгновеніе, не оглядывался и не поправлялъ даже волосы, спускавшіеся длинными космами на глаза; онъ только считалъ, считалъ и считалъ.

— Надо бы помѣшать ему немного,—сказалъ дьяволъ.

Спустившись въ избу черезъ трубу, онъ забрался въ уголъ и началъ кричать по совиному.

Дрожь пробѣжала по тѣлу несчастнаго шляхтича, но онъ продолжалъ считать. Когда же дьяволъ началъ кричать и плакать, какъ малое дитя, шляхтичъ ужасно поблѣднѣлъ, но ни на секунду не отрывался отъ своей работы. Раздосадованный его неуязвимостью, дьяволъ оторвалъ уголъ крыши и съ невѣроятною силою бросилъ его въ лѣсную чащу. Трескъ и гулъ разнеслись по лѣсу; на импровизированный столъ полетѣла земля и обломки дерева, но скряга не прекращалъ своей работы, хотя видимо едва держался на ногахъ отъ страха. Послѣ этого испытанія, дьяволъ успокоился на минуту, а затѣмъ по прежнему забился въ уголъ и началъ подражать однообразному счету шляхтича смѣхомъ беззубой старухи.

— Разъ, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь,

девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, одинъ,— впадая въ тонъ дрожавшаго голоса скряги, вторилъ ему дьяволъ.

Потомъ дьяволъ придумалъ новое испытаніе и, махнувъ хвостомъ, погасилъ свѣчу. Несмотря на это, работа скряги не остановилась: онъ продолжалъ считать и въ темнотѣ.

— Погоди же ты, упрямое животное, я сломлю твою настойчивость,—сказалъ дьяволъ и снова зажегъ свѣчку. Шляхтичъ обмеръ со страху, но дѣла не бросилъ. Внезапное гашеніе и зажженіе свѣчи нисколько не повліяли на его трудъ, онъ безошибочно продолжалъ считать: разъ, два и т. д.

Твардовскій съ дьяволомъ провели въ избѣ почти всю ночь, наблюдая надъ работой скряги. Съ разсвѣтомъ, промучивъ порядкомъ шляхтича, дьяволъ подошелъ къ окошку и во всю свою дьявольскую глотку крикнулъ:

— Варѳоломей! не ошиблись-ли какъ нибудь?

— Нѣтъ,—отвѣчалъ скряга.

— А скажите-ка на какой монетѣ вы остановились? Продолжайте-ка считать,— приказалъ дьяволъ. Шляхтичъ снова принялся было за работу, но языкъ не повиновался ему, точно присталъ къ гортани: онъ позабылъ послѣднюю, сказанную цифру и, переворачивая монеты, не зналъ съ чего начать. Придя немного въ себя, онъ снова сталъ перебирать пальцами деньги и, дрожа, бормоталъ безсвязныя рѣчи. Всѣ усилія цѣлой ночи превратились для него въ ничто, а впереди, кромѣ того, по словамъ Твардовскаго, его должна была постигнуть страшная кара. Отъ этого можно было сойти съ ума.

— Два, три, девять...—бормоталъ онъ, заикаясь и вперивъ глаза въ землю.

Дьяволъ между тѣмъ тѣшился за окошкомъ.

— Сбился съ дороги почтеннѣйшій,—проговорилъ онъ,— теперь ужъ трудно набрести на нее.—И едва успѣлъ онъ выговорить эти слова, какъ вся изба затряслась въ основаніи, готовая разсыпаться въ прахъ, а изъ всѣхъ отверстій и щелей повылѣзали и повыскакивали черти во всей своей страшной причудливости адскихъ нарядовъ. Всѣ они были вооружены: кто метлой, кто лопатой, кто пестомъ, кто раскаленнымъ до красна половникомъ... Черти набросились на обезпамятѣвшаго

шляхтича, который безъ чувствъ и почти замертво упалъ подъ ихъ ударами, не зная, что сдѣлать для своего спасенія.

Твардовскій изъ сожалѣнія къ шляхтичу или съ досады на дьявола крикнулъ скрягѣ:

— Зови кого нибудь на помощь!

Приведенный въ себя словами Твардовскаго, шляхтичъ вспомнилъ Пречистую Мать Богородицу и заступницу, Спасителя и всѣхъ святыхъ, къ которымъ съ мольбою воззвалъ:

— Спаси меня, Мать Богородица, и помилуй! Святые угодники Божіи! спасите меня, несчастнаго.

Едва онъ выговорилъ спасительныя слова, какъ, пораженныя ихъ силою, нечистые духи провалились сквозь землю съ крикомъ, свистомъ и гиканьемъ.

Шляхтичъ, освобожденный отъ окружавшей его нечистой силы, схватилъ со стола свои монеты и пустился, безъ оглядки, бѣжать по лѣсу.

— Теперь и ты убѣдился,—сказалъ Твардовскій сатанѣ,— что не всѣ мои совѣты идутъ въ вашу пользу. Если бы я не напомнилъ ему о Богѣ, онъ палъ бы жертвою вашего изувѣрства; теперь же, спасенный Богомъ, онъ позабудетъ о деньгахъ и обратится на путь истинный.

— Ха, ха, ха! — захохоталъ дьяволъ.—Забудетъ о деньгахъ! Посмотримъ, забудетъ ли онъ о нихъ... Впрочемъ, ты правъ, онъ обратится къ Богу... И знаешь ли, куда онъ пошелъ теперь?

— Думаю, что прямо въ Быдгошчъ, гдѣ, уразумѣвъ свое заблужденіе, поступитъ въ монастырь, къ реформатамъ.

— Вѣрно!.. Именно въ монастырь,—отвѣчалъ дьяволъ.— Но думаешь ли ты, что отъ этого будетъ легче?

— Думаю, что онъ все таки избавится отъ вашихъ когтей.

— Ошибаешься,—вѣрнѣе попадетъ въ наши руки. При нашемъ содѣйствіи, онъ никакъ не позабудетъ о золотѣ, и я заранѣе вижу, какъ онъ двигается по пути къ аду. Для него было бы гораздо лучше, если бы онъ не прибѣгалъ къ помощи святыхъ, а шелъ бы прямымъ путемъ въ адъ. Меньше жизни, меньше грѣха.

Твардовскій злобно посмотрѣлъ на дьявола и, отвернувшись отъ него, молча пошелъ домой, въ корчму въ Быдгошчѣ. Замкнувшись въкомнатѣ, онъ приказалъ Матюшѣ не пускать къ нему никого.

XVII.

Что видѣлъ Твардовскій въ четвергъ на Лысой горѣ.

Задумчивый, грустный и неспокойный былъ Твардовскій. Въ первый разъ онъ почувствовалъ, что душа его не можетъ насытиться тѣмъ всевѣдѣніемъ, которое ему далъ дьяволъ. Ему мало было того могущества, которымъ онъ обладалъ; казалось, многаго не доставало ему. Были минуты, въ которыя онъ видѣлъ могущество свое фальшивымъ, недолговѣчнымъ и безцѣльнымъ.

— Нѣтъ,—сказалъ онъ себѣ:—я, вѣроятно, не испыталъ еще всѣхъ своихъ силъ; я только еще вхожу въ фазисъ моего могущества и начинаю чувствовать его въ себѣ... Тысячу употребленій я могу сдѣлать изъ моей науки, которыхъ я еще не успѣлъ испытать, тысячи удовольствій, которыми я желалъ окружить себя, не знакомы мнѣ, но по одному мановенію моей руки, все явится къ моимъ услугамъ. Я не успѣлъ еще испить сладкой чаши до дна, къ которой едва прикоснулся устами, и мой послѣдній часъ далекъ еще отъ меня. Попробую еще сдѣлать что могу... поѣду на Лысую гору.

Твардовскій хлопнулъ въ ладоши и крикнулъ:

— Ѣду на Лысую гору!

Это былъ именно четвергъ, когда на Лысой горѣ собираются всѣ вѣдьмы и колдуньи совѣщаться по разнымъ дѣламъ.

Черезъ минуту Твардовскій сидѣлъ уже на своей, нарисованной на стѣнѣ, лошади и, бросивъ *горсть сна* на Матюшу, который дремалъ въ углу, выѣхалъ черезъ трубу. Уже смеркалось, когда Твардовскій выѣхалъ въ путь-дорогу. Вѣтеръ дулъ съ полуночи; красный мѣсяцъ, окутанный сѣрою пеленою тучъ, выглядывалъ изъ-за дальняго лѣса. Вокругъ Твардовскаго летѣла его свита, состоящая изъ совъ, нетопырей,

адскихъ духовъ и разныхъ допотопныхъ чудовищъ. Въ воздухѣ слышался какой то глухой шумъ таинственнаго разговора чудовищъ на понятномъ для него одного языкѣ.

Съ Твардовскимъ повстрѣчалась кукушка, любимая предвѣстница деревенскихъ бабъ и прорицательница будущаго, которая сказала ему:

— Добрый вечеръ, Твардовскій! Куда ты спѣшишь? Куда ѣдешь и зачѣмъ? Что возбуждаетъ такъ сильно твое любопытство, за которымъ всегда слѣдуютъ скука и грусть? Въ добрый часъ; поѣзжай прямо; за калиновымъ мостомъ, за тремя стогами, за тремя могилами и тремя крестами ты найдешь то, чего ищешь, но не отыщешь того, чего искалъ.

И кукушка полетѣла дальше.

Вскорѣ надъ головою Твардовскаго закаркалъ воронъ.

— Кру, кру! Здравствуй, Твардовскій!.. А я только что съ пира, на которомъ клевалъ съ моими братьями и сестрами человѣческое мясо... Мы живо справились съ казненнымъ человѣкомъ, котораго четвертовали по твоей милости... На мою долю досталось сердце, жирное, сочное сердце, просто объѣденье. Спасибо тебѣ, Твардовскій,—насытился, благодаря тебѣ, по горло!.. Кру! кру-у!..

— Кто-же это погибъ по моей милости?—задалъ себѣ вопросъ Твардовскій.—Не тотъ ли ужъ молодецъ, который поддѣлывалъ фальшивую монету?.. А если такъ—не бѣда. Впередъ, касатикъ!..

Позади Твардовскаго летѣлъ нетопырь, который, стараясь перегнать его, хлопалъ своими кожаными крыльями.

— Что, не узналъ меня, докторъ?—запищалъ онъ.—Вѣдь я тотъ самый нетопырь, который висѣлъ распяленнымъ и прибитымъ надъ твоимъ окномъ въ Краковѣ и который охранялъ тебя своими крыльями отъ вліянія вражьей силы. Я освободился на минутку и лечу теперь на Лысую гору, посмотрѣть на вѣдьмъ и колдуній.

Нетопырь обогналъ Твардовскаго и скрылся въ темнотѣ.

За нетопыремъ летѣла сова.

— Угу-гу-угу!..—кричала она.—Я прилечу къ домамъ, ударюсь въ окна и скажу имъ: подите, подите!..

За нею летѣла вторая сова и тоже кричала.

— Угу-угу!.. Чую, что родится дитя; полечу къ окну и закричу родителямъ: будетъ дитя, будетъ, и крикъ мой такъ испугаетъ ихъ, какъ будто я предвѣщаю имъ смерть... Родится дитя на горе, на слезы!.. Не надо было влюбленнымъ сидѣть въ зеленомъ саду, при блѣдномъ свѣтѣ луны:—холодны лунныя ночи, не здорова роса... за наслажденіями слѣдуетъ болѣзнь!..

Въ воздухѣ чирикали воробьи; уразумѣвъ ихъ щебетъ, Твардовскій началъ вслушиваться.

— Полетимъ въ житницу богача, выклюемъ колосья, выпьемъ всю воду въ прудахъ и рѣкѣ... подастъ же онъ наконецъ милостыню...

На изгороди стрекотала сорока:

— Гости ѣдутъ, гости ѣдутъ! Ѣдетъ вельможа на черной колесницѣ, на немъ бѣлый крестъ; везутъ колесницу четыре коня, а провожаютъ — четыре попа!.. Встрѣчай гостя, хозяйка... Ѣдетъ званный гость, котораго ты ждешь и не дождешься!...

Все это слышалъ Твардовскій и все понималъ... Всѣ эти вѣсти были грустны и печальны и всѣ они запали глубоко въ его сердце.

Между тѣмъ его обгоняли стаи духовъ и чудовищъ, летѣвшихъ, какъ и онъ, на Лысую гору.

На горѣ уже толпились старыя вѣдьмы и колдунья, горбатыя, беззубыя, съ растрепанными волосами и раскрытыми грудями. Нѣкоторыя сидѣли на лопатахъ, а нѣкоторыя на помелахъ; многія прискакали на козлахъ и черныхъ кошкахъ, на гадахъ и летучихъ мышахъ.

Изъ темныхъ дремучихъ русскихъ лѣсовъ, прилетѣла баба-яга; она прилетѣла въ ступѣ съ помеломъ, которымъ заметала свои слѣды; у пояса былъ привязанъ горшечекъ, какъ и у всѣхъ другихъ вѣдьмъ.

Одну изъ бабъ везла жаба, другую—черная корова; каждая изъ нихъ гнусила себѣ подъ носъ какую-то пѣсню; за каждой разносился по воздуху дымъ отъ сожженнаго зелья, которое горѣло въ горшкѣ у пояса и заражало воздухъ удушливою вонью.

Вдругъ мимо Твардовскаго промелькнулъ бѣлый скелетъ

повѣшеннаго, съ веревкой на шеѣ; за нимъ летѣли стада черныхъ вороновъ.

— Отдай намъ остатки твоего тѣла,—каркали они:— вонъ еще висятъ куски на бедрахъ твоихъ не исклеванными; отдай намъ ихъ, вѣдь они наши!

Вслѣдъ за воронами летѣли Филимонъ и Бавкида, разлученные злыми людьми посредствомъ чаръ.

За ними летѣла стая маленькихъ совъ, за совами летѣли вампиры, блѣдные и въ саванахъ; за вампирами летѣли оборотни и выли, какъ голодные волки; за оборотнями летѣло много разныхъ невиданныхъ имъ чудовищъ... Наконецъ онъ увидѣлъ Лысую гору, у подножія которой двигались, мелькали и прыгали разные огоньки. На горѣ, на ясномъ горизонтѣ неба, обрисовывалось темное зданіе церкви. Съ тѣхъ поръ, какъ храмъ Божій занялъ мѣсто на горѣ, всѣ вѣдьмы, колдуньи и духи начали слетаться къ ея подножію, уступивъ прежнее мѣсто своего сборища блестящему кресту на куполѣ.

Чѣмъ ближе Твардовскій подъѣзжалъ къ Лысой горѣ, тѣмъ яснѣе представлялось ему скопище вѣдьмъ и чудовищъ, освѣщаемыхъ какими-то волшебными огнями, разложенными въ чащѣ зарослей. Летая надъ ихъ головами на своемъ волшебномъ конѣ, Твардовскій всматривался въ этотъ необыкновенный шабашъ вѣдьмъ и колдуній, слышалъ ихъ дивныя рѣчи и пѣсни. Время отъ времени вѣдьмы брались за руки и производили бѣшенную пляску, подобно конвульсивнымъ плескамъ прокажонныхъ или умирающихъ людей. Въ кругу ихъ, какъ вихрь, вертѣлись черти, которыхъ обличалъ огонекъ, кружившійся надъ ихъ головами и сердцемъ, но не тотъ огонекъ, который пылаетъ въ видѣ ореола надъ геніями, а черный, дымящійся, смоляной огонекъ, выдающій нечистую силу, отъ котораго смрадный воздухъ распространялся за нѣсколько верстъ.

— Ладо-Ладо, Дидъ-Ладо!— кричали нечистая сила, колдуньи и вѣдьмы.

Нѣкоторыя изъ вѣдьмъ готовили себѣ похлебку: огромный котелъ пыхтѣлъ на угольяхъ, распространяя непріятную вонь.

Съ большимъ любопытствомъ смотрѣлъ Твардовскій на это зрѣлище, тихонько и съ грустною думою кружась въ воздухѣ

вокругъ горы; дико звучали въ ушахъ эти пѣсни безобразныхъ вѣдьмъ и глубоко отзывались въ его сердце.

Страшное это было веселье, сквозь лохмотье котораго проглядывали отчаяніе, мука и смерть.

Вскорѣ Твардовскій наткнулся на тайный совѣтъ вѣдьмъ. На семи надмогильными плитами сидѣли семь вѣдьмъ, вокругъ которыхъ стояла молодежь. Каждая изъ семи бабъ говорила поочередно, научая, какъ вызывать злыхъ духовъ, какъ задерживать дождь, какъ отнимать молоко у коровъ, какъ наводить тяжкія болѣзни на людей, портить хлѣбъ на гумнѣ и въ полѣ, насылать на дѣтей плачъ и т. д., и т. д. Молодежь слушала ихъ съ жадностью, внимая каждому ихъ слову и принимая сказанное близко къ сердцу, потому что ни одинъ добрый совѣтъ не прививается такъ скоро къ уму и сердцу, какъ прививается зло.

Далѣе Твардовскій попалъ на новое зрѣлище: вѣдьмы составили хороводъ и затянули плясовую пѣсню, значеніе словъ которой онъ не могъ понять; нѣкоторыя изъ вѣдьмъ приготовляли любовный напитокъ, подъ названіемъ „любчикъ“, примѣшивая къ нему дѣвичьи волосы, дѣвичью кровь и слезы, пѣну съ котораго снимали лапой нетопыря.

„Кто отвѣдаетъ этого зелья,—пѣли они хоромъ, — будетъ жить и дышать только тою, которая поднесетъ напитокъ къ его губамъ; будетъ ходить за нею какъ тѣнь и слушаться во всемъ, положитъ за нее голову и дастъ сжечь себя за нее, не пожалѣетъ для нея ни отца, ни матери родной...

„Кипитъ и варится напитокъ, а надъ нимъ поднимается пѣна, какъ любовь надъ сердцемъ дѣвушки, подъ нимъ же осадокъ и гуща, какъ горе и раскаяніе послѣ любви. Верхъ его сладокъ, какъ первыя минуты любви, а низъ — горекъ, какъ горька любовь, когда минетъ счастье.

„Шумитъ вѣтеръ, огни блешутъ, совы кричатъ: поди! поди! но ни вѣтеръ не унесетъ, ни огонь не сожжетъ, и ни совы не вызовутъ влюбленнаго, и не придетъ онъ до тѣхъ поръ, пока сама милая не поднесетъ ему зелья!..

„Растетъ трава на берегу ручья; цвѣтетъ трава только въ полночь, цвѣтетъ она только разъ въ годъ, наканунѣ Иванова дня, и цвѣтъ ея розовый... Сыпте въ котелъ цвѣтъ, лѣвою

рукой; долго носила его на груди дѣвица и сожгла во пламени огня.

„Бросьте въ котелъ сердце голубя, у котораго охотникъ застрѣлилъ голубку. Тоскуетъ голубь, сохнетъ по голубкѣ, пусть онъ такъ изсохнетъ, отвѣдавъ любовнаго зелья“.

Неподалеку отъ этихъ вѣдьмъ и колдуній, другія старухи варили второй напитокъ, они сидѣли вокругъ котла, покачивая головами, помахивая руками и протяжно приговаривая, бросали въ котелъ разныя снадобья.

«Бросаю кость человѣческую, взятую на кладбищѣ, пусть тотъ, кто отвѣдаетъ нашего снадобья, изсохнетъ, какъ эта кость.

«Бросаю воскъ отъ свѣчи покойника, пусть ему будетъ такъ скучно, какъ было на кладбищѣ, когда она догарала.

«Бросаю горсть соломы изъ подъ крыши церковной; пусть въ его душѣ гнѣздится скука, какъ гнѣздились воробьи подъ церковной крышей.

«Бросаю сердце висѣльника, высохшее на висѣлицѣ; пусть и ему будетъ такъ, какъ было тому, при цѣлованіи креста изъ рукъ попа передъ смертію; пусть погибнетъ онъ, какъ погибъ и тотъ; пусть сердце его достанется воронамъ на ужинъ, легкія и тѣло коршунамъ и ястребамъ на завтракъ.

«Бросаю гнилушку отъ гроба, пусть въ немъ гніетъ веселье и радость, какъ сгнилъ трупъ въ томъ гробѣ.

«Ростетъ цвѣтокъ надъ могилой, цвѣтетъ въ поминальный день чернымъ и бѣлымъ цвѣтомъ. Бросаю цвѣтокъ въ котелъ, пусть отвѣдавшій этого зелья испытаетъ черныя мысли, горе и отчаяніе.

«Бросаю сердце той совы, которая прячется днемъ и плачетъ ночью, которую преслѣдуютъ и птицы, и люди; пусть и тотъ, кто напьется зелья, будетъ гонимъ всю жизнь!

Напитокъ этотъ вѣдьмы помѣшивали костями мертвецовъ и изливали въ него всю желчь и злобу, которую носили въ своихъ сердцахъ. Кипѣлъ и шумѣлъ напитокъ, вздымаясь и пѣнясь черезъ край. Упавшая капля на землю оставляла послѣ себя кровавое пятно.

За этимъ кружкомъ вѣдьмъ Твардовскій замѣтилъ еще кружокъ, но тутъ, среди смѣха и шепота, онъ ничего не разслышалъ и, не удовлетворивъ любопытства, отправился дальше.

Далѣе старый вампиръ училъ молодого вампира высасывать кровь у человѣка во время сна; еще далѣе увидѣлъ онъ старую стречу (кошмаръ во снѣ), которая учила молодую садиться на грудь спящимъ людямъ и душить ихъ.

Потомъ онъ замѣтилъ свадьбу стараго козла со старухой. Впереди ихъ шли музыканты, игравшіе на костяныхъ пищалкахъ и барабанившіе на барабанахъ, обтянутыхъ человѣческою кожей. Постель для нихъ послали на могильной плитѣ, а надъ ними разбили шатеръ изъ савановъ.

По горѣ шлялись духи и привидѣнія, то по одиночкѣ, то попарно съ дьяволами. Нѣкоторые изъ нихъ отыскивали себѣ товарищей и приставали къ безстыжимъ распутницамъ, которыя гримасничали, подражая влюбленнымъ. Между ними были старые и молодые, старухи и молодицы, монахи и солдаты, шляхта и мужики, купцы и мѣщане. Всѣ они ходили взадъ и впередъ, толкались, шумѣли, пѣли и кричали, смѣялись и плакали, ссорились и мирились, проклинали и вызывали нечистую силу.

Кое-гдѣ гусляры наигрывали старымъ бабамъ цѣсни и танцы; нѣкоторые пили и ѣли; многіе бесѣдовали, расположившись въ кустахъ и пересыпая свои рѣчи „громкими словами“.

Все это видѣлъ Твардовскій, ко всему присматривался, во все вслушивался, но не вмѣшивался въ ихъ общество. Грустныя думы овладѣвали имъ и волновали его душу...

Вдругъ онъ почувствовалъ, что чья-то рука опустилась на его плечо и въ то же время Твардовскій услышалъ знакомый ему голосъ.

— Кого созерцаешь здѣсь, Твардовскій? — спросилъ его дьяволъ.

— Ты какъ узналъ, что я здѣсь?— спросилъ въ свою очередь удивленный Твардовскій.

— Какъ всегда, я летѣлъ слѣдомъ за тобой, и не мудрено, что я открылъ твое уединеніе подъ облаками.

— Какъ всегда, говоришь ты?—переспросилъ Твардовскій.

— Конечно, какъ всегда.

— Такъ ты слѣдишь за мной, какъ за своимъ рабомъ?

— Напротивъ, я слѣжу за тобой, какъ за сыномъ, какъ за другомъ.

— Благодарю за откровенность, но, признаюсь, я не желалъ бы быть ни тѣмъ, ни другимъ.

Сказавъ это, Твардовскій замолчалъ.

— Отчего же ты не присоединишься къ нашему веселью?— спросилъ дьяволъ.

— Я не люблю веселиться,—отвѣчалъ серьезно Твардовскій,—а научиться здѣсь нечему.

— Всегда эти науки въ твоей башкѣ!.. Долго ли ты будешь портить свой мозгъ этой несчастной наукой? Развѣ человѣкъ только и долженъ учиться?..

— Да чтобы я дѣлалъ съ вами?.. Полезнымъ я здѣсь не могу быть,—прервалъ Твардовскій.

— Неужели человѣкъ созданъ только для того, чтобы всегда думать о пользѣ?

— Что же ты хочешь, чтобы я сдѣлалъ?

— Мнѣ хочется, чтобы ты веселился, какъ веселятся другіе, чтобы ты пользовался жизнью, покуда она твоя.

— Пользовался жизнью?.. Ну, для этого я найду получше мѣстечко, чѣмъ твоя Лысая гора, и лучшее общество, чѣмъ твои вѣдьмы и колдуньи.

— Да вѣдь ты скучаешь и въ другихъ мѣстахъ.

— Еще не пришла моя пора,—возразилъ Твардовскій.— Благоразуміе требуетъ избѣгать свѣтскихъ удовольствій, прежде чѣмъ не изучишь свѣтъ настолько, чтобы позволить себѣ съ нимъ нѣкоторыя вольности.

— Но, прежде чѣмъ изучить свѣтъ, можно совершенно состарѣться, а тогда ужъ поздно будетъ пользоваться удовольствіями свѣта,—тихо шепнулъ дьяволъ.

Эти слова заставили призадуматься Твардовскаго.

— Такой человѣкъ, какъ я,—сказалъ онъ послѣ нѣкотораго молчанія,—всего можетъ достигнуть, стоитъ только пожелать.

Вмѣсто отвѣта дьяволъ захохоталъ.

Наступило молчаніе.

Между тѣмъ, шабашъ вѣдьмъ подходилъ къ концу. Многія вѣдьмы, не дожидаясь пѣнія пѣтуховъ, начали оставлять Лысую гору; мало по малу погасали огни и пустѣла гора: въ воздухѣ раздавался свистъ отъ улетавшихъ духовъ и разныхъ чудовищъ.

Минуту спустя, раздался бой часовъ и вдали послышалось урочное пѣніе пѣтуховъ. Гора мигомъ опустѣла, и Твардовскій возвратился въ Быдгошчъ, гдѣ засталъ своего Матюшу спавшимъ богатырскимъ сномъ.

XIII.

Какъ Твардовскій помолодилъ бурмистра Сломку.

Было еще слишкомъ рано, какъ-кто-то постучался къ Твардовскому, который, возвратясь съ своей поѣздки на Лысую гору, еще не ложился спать и сидѣлъ у стола, считаясь съ своими чувствами, тѣснившимися въ душѣ и волновавшими его кровь.

Дверь открылась и въ комнату вошелъ тотъ же бурмистръ, которому Твардовскій посовѣтовалъ выкуривать изъ дому нечистую силу зубомъ отъ мертвеца. Средство это, какъ извѣстно читателю, не помогло бурмистру, такъ какъ въ его домѣ вовсе не было нечистой силы или домового, а вмѣсто него проказничала его жена съ своимъ любовникомъ. Дѣло понятное и весьма естественное: жена его была молода, а онъ старъ; поэтому и не мудрено, что она позволяла себѣ нѣкоторыя, быть можетъ и не невинныя шалости. Крайности не сходились. Бургомистръ смекнулъ наконецъ въ чемъ дѣло и опять обратился за помощью къ великому магу и волшебнику Твардовскому.

— Sapientissime!—сказалъ онъ, явясь къ нему:—теперь я узналъ, какая сила проказитъ у меня дома; напрасно я утверждалъ, что это шалилъ домовой, — увы, оказывается, что этимъ домовымъ была моя жена, которая, повидимому, сходитъ съ ума... Если хочешь сдѣлать доброе дѣло, то или меня помолоди, или состарь мою жену, сдѣлай ее лучше беззубою старухою, какъ и я. Конечно, я предпочиталъ бы первое; не даромъ же существуетъ пословица: „сѣдина въ бороду, а бѣсъ въ ребро“; вѣдь старую печь дьяволъ нагрѣваетъ... Жена моя еще не перебѣсилась, и если молодость моя не придется ей по вкусу, то, по крайней мѣрѣ, ея хахали будутъ бояться

меня... Я знаю, что для тебя нѣтъ ничего невозможнаго, сдѣлай же ты для меня доброе дѣло, за что вѣкъ буду благодаренъ тебѣ.

— Не особено легко это устроить,—отвѣчалъ Твардовскій,—помолодить человѣка—вещь нелегкая; на это понадобится много времени, энергіи, трудовъ и издержекъ... Легко сказать—помолодить человѣка...

— Я не пожалѣю на это никакихъ средствъ и издержекъ,—возразилъ бурмистръ:—я заложу, продамъ все свое имущество, только бы достигнуть желанной цѣли... Молодость стоитъ того, чтобы лишиться нажитаго добра... Вѣдь два раза въ жизни никто не бываетъ молодымъ. Однако, какъ велики должны быть издержки по этой операціи?..—спросилъ, оживляясь, бурмистръ, почесавъ въ затылкѣ.

— Значительныя,—отвѣтилъ Твардовскій:—для этого понадобится мнѣ рѣдкія и дорогія зелья и заморскія мази, къ тому же одно приготовленіе этого лѣкарства отниметъ, по крайней мѣрѣ, годъ времени.

— Неужели годъ!—съ ужасомъ воскликнулъ бурмистръ.—Почему же такъ долго?

— Годъ, сравнительно недолгое время; стоитъ подождать и болѣе, чтобы помолодѣть: лучше поздно, чѣмъ никогда.

— Конечно, конечно,—пробормоталъ Сломка;—но вѣдь я могу и умереть въ продолженіе года: вѣдь я, какъ видишь, уже дряхлый старикъ.

— Кромѣ того,—продолжалъ Твардовскій,—мнѣ надо подыскать надежнаго и вѣрнаго человѣка, чтобы довѣриться ему безъ опасенія. Впрочемъ, такого человѣка я найду въ моемъ слугѣ. Но прежде, чѣмъ приступить къ исполненію вашего желанія, вы должны привести всѣ свои дѣла въ надлежащій порядокъ и собраться на продолжительное путешествіе. Между тѣмъ, я пріищу въ сторонѣ домикъ-особнякъ, подальше отъ взоровъ человѣческихъ, и тамъ примусь за дѣло. Если вы дорожите своею жизнью, вы должны хранить секретъ свой въ тайнѣ и никому не проговариваться ни полусловомъ, такъ сказать, превратиться въ молчаніе...

— Буду нѣмъ, какъ рыба,—кланяясь, сказалъ бурмистръ.—Что же касается путешествія, я разскажу о своей поѣздкѣ въ

Вильну для покупки кожъ, куда я уже ѣздилъ много разъ... Домъ, для совершенія вашей операціи, мы найдемъ за городомъ, въ уединенномъ мѣстѣ, я самъ подыщу его, а покуда, надѣюсь, что этой суммы достаточно будетъ на первое время...

Съ этими словами онъ вынулъ кису, набитую золотомъ, и положилъ ее на столъ передъ Твардовскимъ.

— Хорошо,—сказалъ Твардовскій,—теперь можете идти домой и исподволь приготовляться въ путь; но раньше нѣсколькихъ мѣсяцевъ не безпокойте меня, потому что и мнѣ нужно приготовиться къ этой операціи.

По уходѣ бурмистра, Твардовскій улыбнулся и про себя сказалъ:

— Первый опытъ я произведу на этомъ ослѣ, и если, въ случаѣ чего, онъ и не удастся мнѣ, то все-таки не жалко будетъ искромсать для этого кусокъ сырого мяса этой откормленной свиньи; попробую...

Твардовскій провелъ рукою по лбу и какъ бы соображаясь съ чѣмъ-то, крикнулъ:

— Матюша!

Матюша проснулся и быстро всталъ на ноги.

— Зная твою преданность ко мнѣ,—сказалъ Твардовскій,—я хочу употребить тебя для одного очень важнаго дѣла. То, что ты узнаешь отъ меня, можетъ тебѣ современемъ пригодиться. Въ томъ и въ другомъ случаѣ, ты будешь имѣть возможность доказать мнѣ твое усердіе и искреннюю преданность.

— Исполню все въ точности, что прикажешь,—возразилъ Матюша.

— Дѣло въ томъ, что мы должны съ тобою сдѣлать изъ старика молодого человѣка.

— Молодого человѣка изъ старика?!. Какъ же это такъ? Не понимаю!..

— Это ужъ не твое дѣло, только ты помоги мнѣ. Съ завтрашняго дня мы примемся искать разныя зелья, нужныя для нашей операціи, и приготовимъ мазь, которая понадобится намъ.

Матюша почесалъ затылокъ.

И дѣйствительно, на другой день Твардовскій и Матюша, одѣвшись пустынниками, отправились на поиски разныхъ

травъ и корней. Не особенно-то легко было собрать массу травъ, по рецепту Твардовскаго, который онъ написалъ на длинномъ лоскутѣ бумаги. Нѣкоторыя травы и корни нужно было искать при свѣтѣ луны; всѣ остальныя—на новолуніи и только часть—въ полнолуніе; нужно было искать: одни въ цвѣту, другіе въ сѣменахъ, третьи—завядшими; одни до зари, другіе днемъ. Главнымъ затрудненіемъ представлялось: сбереженіе ихъ отъ порчи.

За нѣкоторыми матеріалами Твардовскій вынужденъ былъ посылать Матюшу очень далеко, снабдивъ его нужнымъ рецептомъ, по которому требовались кокосовые орѣхи, кишки носорога, извѣстныя частицы мумій и много разныхъ дорогихъ и рѣдкихъ вещей. Все это однако отыскалъ и купилъ преданный Матюша.

Для таинственнаго превращенія стариковъ въ молодыхъ Твардовскому понадобились многіе члены рѣдкихъ звѣрей, обитающихъ въ другихъ странахъ свѣта; но съ помощью собственныхъ усилій и труда, посредствомъ дьявольской силы, Твардовскій досталъ всего, даже живительной и молодящей воды, которая била ключемъ вверхъ въ одномъ изъ семи источниковъ на высокой, недоступной горѣ, въ которомъ онъ зачерпнулъ ее съ опасностью для собственной жизни.

Долго продолжались приготовленія Твардовскаго къ таинственной операціи. Наконецъ онъ увѣдомилъ бурмистра, что все готово и можно приступить къ дѣлу. Бурмистръ, какъ обѣщалъ, собрался уже въ путь; простившись съ женою и поручивъ свою лавку и домъ брату, онъ ночью, никѣмъ незамѣченный, перешелъ въ новое жилище, откуда долженъ былъ выйти молодымъ человѣкомъ.

Для своей операціи Твардовскій избралъ ночь въ новолуніе и принялся за работу. Прежде всего онъ усыпилъ бурмистра снотворнымъ зельемъ, чтобы послѣдній не чувствовалъ боли. Потомъ онъ положилъ его, съ помощью Матюши, въ огромный котелъ и началъ варить подъ звуки какой-то волшебной пѣсни; затѣмъ онъ вынулъ бурмистра изъ котла, натеръ его разными мазями и покропилъ чудодѣйственной водой.

Операція эта продолжалась болѣе десяти дней; много стоила ему труда эта работа, и только сила воли, энергія и

присутствіе духа помогли ему въ этомъ... Много опытности пріобрѣлъ онъ посредствомъ этой умственной практики. Твардовскій не отчаявался и не унывалъ, предвидя близкій и благополучный конецъ своей работѣ. Во все время страннаго процесса, которому подвергалось тѣло, душа бурмистра, вынутая изъ него, заключена была Твардовскимъ въ банку, закупоренную и забинтованную со всѣхъ сторонъ. Когда операція надъ тѣломъ была уже совершена, т. е. когда тѣло было переварено и отполировано мазями, Твардовскій осторожно началъ вдувать душу въ уста бурмистра, кототорый мало по малу началъ оживать и шевелиться; яркій румянецъ выступилъ на его лицѣ и разлился по всему тѣлу; кровь разлилась по жиламъ и забился пульсъ; бурмистръ началъ дышать; грудь подымалась и опускалась; наконецъ глаза открылись, и бурмистръ поднялся со стола, на которомъ лежалъ.

Сломка ожилъ.

Исполняя безпрекословно приказанія великаго волшебника, Матюша остолбенѣлъ отъ удивленія... Самъ Твардовскій восхитился дѣломъ своихъ рукъ и не чувствовалъ себя отъ радости. Ошеломленный бурмистръ стоялъ передъ нимъ, точно проснувшись отъ продолжительнаго сна, не помня, гдѣ онъ и что случилось съ нимъ.

Щедрое вознагражденіе было благодарностью и прекратило сеансъ, и бурмистръ, распростившись съ Твардовскимъ ушелъ домой.

Отпуская бурмистра и давъ ему наставленіе, какъ поступать дальше, Твардовскій однако былъ неспокоенъ и послалъ Матюшу вслѣдъ за нимъ домой, чтобы узнать, какое дѣйствіе произведетъ появленіе омоложеннаго мужа на жену.

Вскорѣ Матюша возвратился обратно и разсказалъ Твардовскому слѣдующее:

Было уже темно, когда Сломка постучался въ дверь своего дома. Въ окнахъ блестѣли многочисленные огни и слышались звуки веселой музыки; у подъѣзда стояли коляски и экипажи, дожидаясь своихъ господъ и свидѣтельствовавшія о шумномъ собраніи гостей.—„Странно, сказалъ онъ про себя, слегка постучавшись въ дверь,—кажется, нынче не имянины, ни день рожденія жены, ни масляница. Удивительно, право... Что за

причина?.. Впрочемъ, все это теперь перемелется и мука будетъ; все пойдетъ, какъ по маслу, продолжалъ онъ ворчать и опять постучалъ.

Наконецъ открыли дверь и старый слуга, не узнавъ бурмистра, спросилъ:

— Что вамъ угодно, сударь?

— Что мнѣ угодно!.. ха, ха, ха! Ты не узнаешь меня, Ѳаддей?—Видишь, я вернулся съ дороги.

Я незамѣтно втиснулся въ дверь прислушивался къ ихъ разговору.

Ѳаддей выпучилъ на него глаза и стоялъ, какъ вкопанный, не признавая бурмистра.

— Проводи меня въ ту комнату, отъ которой ключи у барыни,—продолжалъ Сломка.

— Что вы говорите, я не понимаю,—бормоталъ слуга, всматриваясь въ бурмистра... Мой баринъ старикъ и годится вамъ въ дѣдушки, тогда какъ вы, сударь... въ цвѣтѣ лѣтъ и полной силѣ... Въ одно брюхо моего барина влѣзетъ полдесятка такихъ, какъ вы, сударь... Куда же дѣвалось его брюхо?

Съ этими словами онъ приподнесъ свѣчу къ самому носу бурмистра, и тутъ только, казалось, началъ замѣчать сходство и что-то припоминать.

— Дѣйствительно,—продолжалъ онъ,—въ вашемъ лицѣ имѣется какое-то сходство съ моимъ бариномъ; такимъ я видѣлъ его, когда онъ былъ молодъ... и носъ, и глаза, кажется, тѣ же... Странно, однако, откуда же взялась эта молодость?.. Никакъ кошмаръ на меня нашелъ,—сказалъ онъ, протирая глаза. Кажись, не пьянъ и не сплю, хоть ущипнуть, не сплю... Съ нами крестная сила! никакъ нечистые духи опутали меня!.. или чары какія насланы на мою сѣдую голову!..

— Ни то, ни другое,—возразилъ бурмистръ, входя въ переднюю:—перемѣнился немного, вотъ и все.

— Да какимъ же образомъ вы могли такъ перемѣниться?—все еще не довѣряя своимъ глазамъ, говорилъ Ѳаддей.

— Ну ужъ, этого-то я не скажу тебѣ, мой другъ,—это секретъ,—подумавъ, отвѣчалъ бурмистръ и вошелъ въ залу.

Въ это время жена его, молодая, красивая, свѣжая и румяная, танцовала мазурку. Музыка гремѣла, какъ говорится,

„во всю Ивановскую“, однако, когда открылась тяжелая дверь, всеобщее вниманіе было обращено на бурмистра и многіе начали подходить къ нему съ вопросами:

— Вѣроятно, вы близкій родственникъ бурмистра,—спросилъ у него подошедшій франтъ,—или сынъ, что такъ сильно похожи на него?

— Имѣю честь быть имъ самимъ,—отвѣчалъ онъ, смѣясь,—я самъ, только немного моложе, чѣмъ былъ прежде.

— Вы бурмистръ Сломка!—воскликнулъ одинъ старикъ:—шутить изволите... Я съ бурмистромъ Сломкой двадцать лѣтъ знакомъ, а у васъ еще на губахъ молоко не обсохло... Вы сумасшедшій!..

— Голосъ, дѣйствительно похожъ, черты лица—тоже, но фигура... какъ хотите, не подходящая,—сказалъ третій, мѣряя глазами бурмистра...

Въ толпу любопытныхъ вмѣшалась жена бурмистра и внимательнымъ взоромъ начала осматривать мужа.

Вотъ красавецъ!..—сказала она кому-то, прищуривая въ то же время глаза, а затѣмъ, обращаясь къ бурмистру, продолжала:

— Кого имѣю удовольствіе видѣть у себя въ домѣ?

— Родного мужа, моя крошка, моя рыбка, моя ненаглядная!—отвѣчалъ бурмистръ.

— Мужа!.. Ха, ха, ха! О, если бы мой мужъ былъ, хотя отчасти, похожъ на васъ!.. Дѣйствительно, одежда, голосъ... мужа, но фигура... въ этомъ позвольте съ вами не согласиться,—кокетничая говорила жена бурмистра.

Изумленные претензіей омоложеннаго бумистра, гости бросили танцы и выпучили на него глаза. Музыканты побросали свои инструменты и окружили незнакомца, перешептываясь между собою.

— Ужъ если вы претендуете на меня и утверждаете, что вы мой мужъ, такъ неугодно ли вамъ будетъ сказать,—продолжая кокетничать, сказала жена,—какой у меня знакъ на лѣвой рукѣ?

— Краснаго креста,—отвѣтилъ безъ запинки бурмистръ,—выжженный твоею покойною матерью, Катериной, въ память избавленія отъ нашествія татаръ, когда она оставила тебя на рукахъ няни. Не такъ-ли?..

— Это вѣрно. Но вы могли узнать объ этомъ отъ другихъ,— возразила она, прищуривая глазки и улыбаясь.—Нѣтъ, вы лучше скажите, какой сюрпризъ сдѣлалъ мнѣ мужъ на другой день свадьбы?

Бурмистръ шепнулъ на ухо, не желая конфузить ее въ присутствіи гостей:

— Десять ударовъ плетью,—сказалъ онъ.

Бурмистерша покраснѣла, какъ піонъ, но, оправившись, произнесла:

— Какой же бѣсъ возвратилъ тебѣ молодость?!!

— А вотъ ты только послушай,— отвѣчалъ бурмистръ, садясь на стулъ.

Всѣ окружили его плотною стѣной и бурмистръ разсказалъ имъ всю исторію своего перерожденія, взявъ съ нихъ слово и заклиная именемъ Святой Троицы, не разсказывать объ этомъ никому. Онъ разсказалъ, какъ уговорился съ вами, какъ заснулъ и какъ проснулся, что стоило ему это перерожденіе, потомъ началъ превозносить вашу великую мудрость. Гости не вѣрили ушамъ своимъ... Нѣкоторые считали его самозванцемъ и обманщикомъ, пока, наконецъ, убѣдились, что они видятъ передъ собою настоящаго бурмистра Сломку, которому вы возвратили молодость...

Видя, что это дѣйствительно бурмистръ, гости начали поздравлять его съ омоложеніемъ, а жену его съ молодымъ мужемъ, точно на свадьбѣ; вино полилось рѣкой за здоровье помолодѣвшаго Сломки; начались снова танцы и веселье, которыя продолжались до разсвѣта, послѣ чего бурмистра съ женой, какъ новобрачныхъ, гости проводили въ спальню и разъѣхались по домамъ...

Радовалась и жена бурмистра, что ея мужъ помолодѣлъ, но долго ли продолжалась эта радость и не помрачали-ли ея спокойствія воспоминанія о своихъ друзьямъ и пріятеляхъ— объ этомъ умалчиваетъ преданіе.

Что же касается брата бурмистра, который, въ ожиданіи кончины Сломки, захватилъ въ свои руки бразды правленія его имуществомъ,—онъ волей неволей долженъ былъ уступить власть законному владѣльцу и отдать книги и отчетъ по лавкѣ и дому, хотя, къ слову сказать, ему не хотѣлось разставаться съ ними.

На слѣдующій же день послѣ происшествія, вѣсть о чудесномъ перерожденіи бурмистра Сломки обѣжала всѣ окрестности Быдгошча. Можно себѣ представить, какую тревогу произвела эта вѣсть между стариками... Конечно, слухи коментировались на всѣ лады и вскорѣ разнеслись по всему краю. Старики толпами тащились къ волшебнику, но Твардовскій, предвидя это, счелъ лучшимъ избѣжать докучливыхъ просителей и исчезъ.

У дверей его опустѣлой избы сидѣлъ грустный Матюша и отвѣчалъ приходящимъ.

— Доктора нѣтъ дома!..

Никто не зналъ, куда уѣхалъ Твардовскій; по всей вѣроятности, сойдя на время съ арены своей дѣятельности, онъ наблюдалъ, какое дѣйствіе произведетъ молодость бурмистра на стариковъ.

XIX.

Какъ Матюша наказанъ былъ за свою алчность къ деньгамъ.

Великое дѣло, совершенное Твардовскимъ, навело равнодушнаго до этого времени Матюшу на серьезныя размышленія. Мысли, одна другой несообразнѣе, группировались въ его головѣ. Онъ припоминалъ всѣ средства, употребленныя Твардовскимъ для омоложенія Сломки и неоднократно приходилъ къ заключенію, что и онъ можетъ сдѣлать то же, что дѣлалъ Твардовскій, т. е. совершать тѣ же чудеса, какія совершалъ его господинъ.

— Великолѣпно,—говорилъ, онъ про себя,—я помню все, что и какъ дѣлалъ магистръ: знаю зелья, время ихъ сбора, приготовленіе лѣкарствъ; слѣдовательно, ничто не помѣшаетъ мнѣ испытать свое могущество и силу.. Я сдѣлаюсь тогда богачемъ, куплю деревню подъ Краковомъ и заживу бариномъ... Потомъ... а потомъ женюсь на дочери воеводы, которую видѣлъ на дняхъ, когда она ѣхала въ королевской коляскѣ изъ костела Пречистой Дѣвы въ королевскій замокъ... Почемъ знать? Быть можетъ и мнѣ улыбнется счастье, быть можетъ, мнѣ

удастся, какъ удалось моему барину. Вѣдь все, что онъ дѣлалъ, я знаю, какъ онъ дѣлалъ, и сдѣлаю то же, что и онъ, стоитъ только взяться за дѣло и припомнить всѣ слова и магическія заклятья, чародѣйскія навѣты и нашептываньи.

И Матюша усиленно работалъ мозгами, припоминая малѣйшія подробности волшебства Твардовскаго и повторяя съ апломбомъ:

— Да, да, я все знаю, мнѣ тоже удастся!..

И отъ радости Матюша потеръ себѣ руки.

Его удивляло однако то обстоятельство, что, хотя онъ и помнилъ всѣ дѣйствія Твардовскаго, но не понималъ многаго къ чему собственно клонились они, что, впрочемъ, нимало не безпокоило его; онъ былъ изъ тѣхъ людей, которые принимаютъ видъ и форму за сущность предмета и на остальное не обращаютъ никакого вниманія и считаютъ все мелочами.

Во время подобныхъ размышленій, у воротъ дома, гдѣ жилъ Твардовскій, остановился гонецъ и, привязавъ коня за кольцо подошелъ къ нему.

Судя по одеждѣ, посолъ былъ, повидимому, отъ короля или отъ какого нибудь знатнаго магната. Одежда его, покрывшаяся густымъ слоемъ пыли, доказывала, что онъ издалека; пара пистолетовъ торчали изъ-за пояса, сбоку висѣла сабля, на головѣ надѣта шапочка съ сѣренькимъ перышкомъ, отороченная мерлушкой, а на сапогахъ, съ сафьянными отворотами, торчали огромныя шпоры.

— Здорово!—сказалъ прибывшій, соскочивъ съ коня и привязывая поводъ къ кольцу у воротъ.—Мнѣ сказали, что этотъ домъ принадлежитъ извѣстному магу Твардовскому, уроженцу Кракова... Такъ ли это?..

— Васъ не обманули.

— Значитъ, онъ здѣсь живетъ?

— Здѣсь,—отвѣчалъ Матюша.

— Много лѣтъ здравствовать имъ за вѣрное указаніе его жилища,—сказалъ посолъ, вынимая письмо изъ-за пазухи.—А дома его милость?

— Нѣтъ.

— А скоро вернется?

— Не думаю, чтобы скоро. Что же вамъ угодно отъ него?

— У меня есть важное порученіе къ нему... отъ старосты... я имѣю письмо... Но если его нѣтъ и если онъ не скоро вернется... значитъ, я понапрасну пріѣхалъ и не могу ничего отвѣтить моему господину...

— Быть можетъ, я могу быть чѣмъ нибудь полезнымъ,— сказалъ Матюша дрожащимъ голосомъ, поднимаясь на ноги.— Я ученикъ Твардовскаго и въ отсутствіе доктора заступаю его мѣсто,.. Что онъ дѣлаетъ, то могу сдѣлать и я,—добавилъ онъ тихо и нерѣшительно.

— Въ самомъ дѣлѣ!— пробормоталъ съ недовѣріемъ посолъ.— Въ такомъ случаѣ, прочтите это письмо.

Съ этими словами нарочный отъ старосты подалъ Матюшѣ письмо.

Матюша взялъ пергаменный свертокъ, раскрылъ его и быстро пробѣжалъ глазами. Въ письмѣ излагалась просьба старосты о помощи въ одномъ важномъ дѣлѣ, которое онъ поручилъ послу лично передать Твардовскому.

Матюша спряталъ письмо за пазуху и смѣло спросилъ посланнаго:

— Разскажите мнѣ въ чемъ дѣло? Въ письмѣ говорится, что вамъ все извѣстно и что вы скажете все, что касается этого дѣла?

— Мнѣ строго приказано держать это дѣло въ тайнѣ и передать его на словахъ только лично Твардовскому. Но если вы ученикъ его и заступаете его мѣсто...

— Если не вѣрите мнѣ, можете спросить у кого угодно изъ здѣшнихъ жителей, которые могутъ только подтвердить мои слова,— возразилъ Матюша, махнувъ рукой въ сторону города.

— О, нѣтъ, я нисколько не сомнѣваюсь въ этомъ и передамъ просьбу старосты,— помолчавъ, сказалъ посолъ.—Дѣло въ томъ, продолжалъ онъ,—что староста боленъ ужъ нѣсколько лѣтъ. Ноги отказываются служить, глаза—смотрѣть, голова и руки трясутся, зубы повыпали и душу червякъ гложетъ. Несмотря на свою дряхлость, старику вздумалось жениться...

— Жениться, становясь ногой въ могилу!—вскричалъ изумленный Матюша.

— Именно, жениться,— продолжалъ посолъ,—и жениться

на молодой дѣвушкѣ, дочери каштеляна, близкаго своего сосѣда и даже родственника, въ надеждѣ оставить послѣ себя потомка, такъ какъ онъ послѣдній въ родѣ и ему не хотѣлось бы, умирая, просить изломать надъ могилой своей фамильный гербъ, не желая оставлять его въ пользованіе другимъ. Дочь каштеляна заливается слезами... ей очень не хочется выходить за старика, который годенъ отцу ея въ дѣдушки, и говоритъ, что подобный бракъ прогнѣвитъ Бога, да и людей насмѣшитъ. Ксендзы держатъ ея сторону; повидимому, они подучены барышней... Мы не знали, что дѣлать и какъ пособить горю; но вѣсть о чудесномъ перерожденіи бурмистра Сломки вскорѣ распространилась повсюду и достигла старосты... Сначала онъ не вѣрилъ ушамъ своимъ, потомъ послалъ за бурмистромъ, котораго когда-то зналъ, и, конечно, увидѣвъ его, онъ повѣрилъ слухамъ. Съ этой минуты въ голову его запала мысль помолодѣть: — «Чего бы не стоило мнѣ это средство—сказалъ онъ потомъ,—а я долженъ испытать его на себѣ; за это я не пожалѣю всего моего богатства». И вотъ онъ позвалъ меня и послалъ къ Твардовскому съ порученіемъ: не возьмется ли онъ помолодить и его, за что предлагаетъ ему значительную сумму.

— А, примѣрно, какъ значительна эта сумма?—спросилъ любопытный Матюша.

— Тысяча венгерскихъ червонцевъ,—отвѣчалъ посолъ: — часть этой суммы при мнѣ за поясомъ, а часть въ сѣдлѣ, и если Твардовскій согласится на предложеніе старосты, я долженъ отдать ихъ подъ его росписку.

— А, а!—воскликнулъ Матюша, качая головой:—если угодно помолодѣть вашему старостѣ, то я могу сдѣлать это и безъ доктора; вѣдь и бурмистра Сломку помолодилъ, собственно, не Твардовскій, а я.

Тысяча несчастныхъ червонцевъ такъ соблазняли Матюшу, что онъ въ первый разъ въ жизни позволилъ себѣ солгать; корыстолюбіе овладѣло всѣмъ существомъ его и онъ рѣшился на ужасный подвигъ.

— Если вамъ угодно,—продолжалъ онъ,—то, не теряя времени, я могу ѣхать съ вами къ старостѣ. Кстати, у меня всѣ зелья и мази уже готовы. Пока я приготовлю, что нужно,

вы потрудитесь пріискать для меня въ мѣстечкѣ хорошаго коня.

— Но... но увѣрены ли вы,—недовѣрчиво заикнулся посланный, — что вы можете исполнить то, за что берётесь... Дѣло идетъ вѣдь о жизни извѣстнаго магната и... старосты, а быть можетъ и о вашей...

— Увѣренъ ли я?—съ нѣкоторою ироніей переспросилъ Матюша.—Конечно, увѣренъ, если берусь. Дѣло мастера боится; не впервой мнѣ орудовать такія дѣла,—говорилъ онъ, жадно поглядывая на сѣдло, къ которому привязанъ былъ мѣшокъ съ золотомъ, а затѣмъ, покачавъ головою и какъ бы нехотя прибавилъ. — Дѣлывалъ я и не такія чудеса, а это что... пустяки!..

— Но вы должны помнить, что прежде, чѣмъ приняться за эти «пустяки», за неуспѣхъ этого дѣла вы отвѣтите своею головою.

— Хорошо, хорошо! Буду имѣть въ виду; но вы все-таки подите за лошадью въ мѣстечко.

Случилось именно такъ, какъ мечталъ Матюша. Рѣшившись на ужасное дѣло, онъ не хотѣлъ оставлять своего намѣренія и, собирая всевозможные флаконы съ маслами, банки съ мазями и зельями, онъ припоминалъ подробности дѣйствій въ этомъ случаѣ своего господина. Сборы, конечно, были коротки, во время которыхъ посланный подыскалъ для него лошадь и поставилъ ее у воротъ.

Захвативъ съ собою всѣ необходимыя для этой операціи снадобья, Матюша отправился съ посломъ въ путь.

Къ вечеру того же дня они пріѣхали въ замокъ старосты.

Окруженный глубокимъ рвомъ и каменными стѣнами, отчасти красными, отчасти же сѣрыми, замокъ стоялъ на песчаной горѣ; по угламъ его находились четыре остроконечныя круглыя башни съ бойницами. На валахъ виднѣлись орудія; пушки и бомбы; изъ стѣнъ выглядывали въ узкія отверстія жерла смертоносныхъ орудій. Изъ-за стѣнъ виднѣлись высокія дымовыя трубы замка. Подъ горою располагалось мѣстечко, застроенное крестьянскими и жидовскими хатами, наполовину каменными, наполовину деревянными; посреди мѣстечка протекала грязная рѣченка, надъ которою свѣшивались густыя

вѣтви плакучихъ ивъ съ тихо колеблящимися на нихъ листьями отъ легкаго прикосновенія вѣтерка.

На рыночной площади мѣстечка возвышалась старая деревянная церковь, а за нею вдали бѣлѣлись стѣны епархіальнаго костела; далѣе виднѣлась еврейская синагога съ изорванною крышей и блестящимъ шаромъ на плоскомъ куполѣ.

Такою-то представилась Матюшѣ столица староства, когда онъ въѣзжалъ въ нее, утопая по колѣно въ грязи въ сопровожденіи посланнаго старосты.

Проѣхавъ подъемный мостъ, который былъ опущенъ до ихъ прибытія, они торжественно въѣхали во дворъ замка, и хотя староста не могъ показаться въ этотъ вечеръ, но Матюша былъ принятъ придворными старосты съ подобающими почестями и гостепріимствомъ. Наѣвшись и напившись вдоволь, Матюша легъ спать, но, несмотря на свою усталость, онъ не могъ заснуть: тяжелая работа, предстоявшая ему, и неувѣренность въ своихъ силахъ и опытности волновали кровь и мѣшали заснуть. Матюша раскаявался въ своей смѣлости, но отказаться было поздно; оставалось только бѣжать, но объ этомъ онъ и не думалъ пока и, рѣшивъ, что смѣлость города беретъ, онъ не унывалъ, къ тому же мысль о богатомъ вознагражденіи подкрѣпляла его.

На другой день Матюша потребовалъ для себя отдѣльную комнату, ванну, большой столъ и началъ дѣлать разныя приготовленія къ операціи. Матюша варилъ зелья, растиралъ мази, ѣлъ и пилъ вкусно, но не могъ заснуть, мучимый сомнѣніемъ и неувѣренностью въ успѣхѣ.

Прошло два дня въ приготовленіяхъ къ операціи; но староста все еще не показывался и Матюша, проходя мимо его комнатъ, слышалъ только удушливый кашель старика.

На третій день, окончивъ приготовленія, Матюша объявилъ, что все уже готово и пошелъ осматривать замокъ. Теперь ему невольно приходило на мысль, что, въ случаѣ неуспѣха, онъ долженъ приготовиться къ побѣгу, и съ этою цѣлью вышелъ на рекогносцировку замка. На бѣду его, замокъ, охраняемый стражею, снабженный подъемными мостами и окруженный глубокимъ рвомъ, не представлялъ возможности бѣжать; нужно было имѣть крылья, чтобы перелетѣть препятствія, представ-

лявшіяся ему въ видѣ желѣзныхъ воротъ и высокихъ стѣнъ. Матюша былъ пораженъ результатомъ своихъ разслѣдованій, однако не унывалъ.

Въ назначенный часъ, дряхлый старикашка, опираясь на плечи своихъ слугъ, вошелъ въ лабораторію Матюши. При видѣ дряхлаго старика, который отдавалъ себя въ жертву шарлатанства Матюши, лихорадочная дрожь пробѣжала по его тѣлу; онъ готовъ былъ отказаться отъ операціи, но стыдъ съ одной стороны, жажда обогащенія—съ другой и глупое упорство — съ третьей—превозмогли его колебанія, и онъ рѣшился не отступаться отъ страшнаго предпріятія.

Когда придворные удалились, Матюша далъ старику усыпительнаго зелья, которое и подѣйствовало на него моментально. Онъ уже приготовился бросить тѣло въ котелъ, какъ вспомнилъ, что нужно прежде извлечь душу... Эта операція удалась ему блистательно, но, къ несчастью, въ попыхахъ, Матюша позабылъ закупорить сосудъ, въ который заключилъ душу старика и, очутившись на свободѣ, душа улетѣла.

Дальнѣйшія операціи Матюши шли благополучно и весьма удачно, но когда коснулось дѣло послѣдней операціи: впусканія души въ помолодѣвшее тѣло, Матюша замѣтилъ свой промахъ: души какъ не бывало. Напрасно онъ пытался розыскать ее, звалъ, сердился и выходилъ изъ себя, душа не возвращалась, и онъ готовъ былъ вложить ему свою душу, если бы видѣлъ, какъ дѣлаетъ это Твардовскій. Всѣ усилія оказались безуспѣшными. Страшный укоръ прочелъ онъ на молодомъ лицѣ старосты. Нѣсколько дней провелъ онъ въ ужасной ажитаціи, оставаясь наединѣ со своею жертвой и наконецъ, видя, что его неудавшееся шарлатанство можетъ быть открыто, рѣшился спастись бѣгствомъ. Изнуренное лицо его, убитое горемъ и отчаяніемъ, не предвѣщало ничего хорошаго, и слуги, замѣтивъ это, начали слѣдить за нимъ... Срокъ, назначенный для этой операціи, давно уже кончился, а это собственно и дало поводъ наблюдать за настроеніемъ его физіономіи и увеличило подозрѣніе. На всѣ вопросы придворныхъ, когда окончится операція, Матюша отвѣчалъ неопредѣленно и уклончиво; отлагая со дня на день представленіе молодого старосты двору и измышляя неожиданныя препятствія, Матюша посылалъ за

новыми зельями, чтобы какъ нибудь выиграть время для своего побѣга и при первомъ удобномъ случаѣ дать стречка, хоть въ оврагъ, наполненный грязною водою.

— Лукавый попуталъ меня взяться не за свое дѣло,—говорилъ онъ самъ себѣ, приходя въ отчаяніе и ломая руки.— Лучше бы я спалъ у себя спокойно дома... Это несчастное золото будетъ стоить мнѣ собственной жизни.

Не видя никакого исхода, Матюша покорился своей судьбѣ и готовился къ вѣрной смерти. Одно чудо могло только спасти его...

Однажды вечеромъ, когда дворня, утомленная безсонно проведенными ночами, предалась сладкому сну, Матюшѣ какъ-то удалось улизнуть за ворота замка, которыя усиленно охранялись въ это время, и навѣрное онъ скрылся-бы отъ погони, еслибы пошелъ окольными путями; но, потерявъ присутствіе духа, онъ направился по большой дорогѣ, и это его погубило.

Проснувшаяся дворня помчалась въ погоню и вскорѣ настигла его. Скрутивъ руки, Матюшу бросили въ сырой подвалъ.

Извѣстіе объ ужасной смерти старосты подняло тревогу во всемъ старостве и облетѣло всѣ прилегавшія къ нему окрестности. Дали знать роднымъ и властямъ. Вскорѣ съѣхались всѣ наслѣдники большихъ помѣстій и богатствъ старосты, ждавшіе съ нетерпѣніемъ его смерти. Фальшивыми вздохами они выражали свое горе по поводу постигшаго ихъ несчастья, но въ душѣ радовались и благословляли Матюшу.

Въ то время, когда съѣхавшіеся священники служили панихиды, въ другой комнатѣ происходилъ судъ надъ Матюшей, который приговаривался имъ, какъ чародѣй, на медленное сожженіе на кострѣ.

Похороны старосты, конечно, были торжественны. За гробомъ шелъ виновникъ смерти старосты, Матюша, закованный въ цѣпи, съ факеломъ въ рукѣ и одѣтый въ сѣрый саванъ. Не менѣе торжественную казнь готовили родственники покойника человѣку, которому обязаны были своимъ обогащеніемъ, наслѣдствомъ... Но спасти его было не въ ихъ власти.

Такимъ образомъ алчность къ деньгамъ вела неопытнаго Матюшу на костеръ.

Наканунѣ казни на площади рынка начали дѣлать при-

готовленія, возили дрова и укладывали ихъ въ огромный костеръ. Палачъ уже былъ привезенъ изъ ближайшаго города и находился при Матюшѣ.

Это было въ субботу, ровно черезъ недѣлю послѣ похоронъ старосты; въ воскресенье утромъ назначена была казнь.

Къ счастію, Матюша былъ набоженъ; воспитываясь въ Краковѣ, гдѣ набожность онъ всосалъ съ молокомъ матери, хранимый Богомъ, онъ избѣгалъ всѣхъ колючихъ шиповъ жизни и въ данную минуту обращался съ горячею мольбою ко Господу и просилъ простить его прегрѣшенія. Наканунѣ заслуженной имъ смерти онъ предался размышленію о готовящейся ему вѣчной жизни на томъ свѣтѣ, гдѣ за столь святотатственное дѣло онъ будетъ горѣть въ геенѣ вѣчной, какъ чародѣй и убійца. Хотя онъ и былъ соучастникомъ тайныхъ дѣлъ своего учителя, но самъ никогда не видѣлъ черта, не имѣлъ съ нимъ никакихъ сношеній и не отрекался отъ Бога. Раскаяніе его поэтому было неподдѣльно и искренно въ послѣднія минуты.

— Прости меня, великій Боже, и помилуй! Я заслужилъ то, что меня ожидаетъ, по глуиости и неразумѣнію моему,— говорилъ Матюша, заливаясь горькими слезами.

Въ то время, когда Матюша, стоя на колѣняхъ въ углу темницы, взывалъ ко Господу, дверь тюрьмы заскрипѣла на заржавленныхъ петляхъ и въ темницу вошелъ какой-то странствующій монахъ, потому что мѣстный настоятель и викарій не возвратились еще съ похоронъ старосты, тѣло котораго провожали въ фамильный склепъ, находившійся въ монастырѣ августинцевъ въ Брестъ-Литовскѣ.

Матюша рыдалъ, ставъ на колѣни передъ священникомъ и готовясь къ исповѣди.

— Согрѣшилъ, отецъ духовный,—всхлипнувъ, проговорилъ онъ.

Въ отвѣтъ на свое признаніе онъ услышалъ сардоническій смѣхъ монаха; въ эту минуту лучъ свѣта, прорывающійся чрезъ рѣшетчатое окно въ тюрьму, освѣтилъ его лицо... Матюша вздрогнулъ, услышавъ знакомый ему смѣхъ и узнавъ лицо: передъ нимъ стоялъ Твардовскій.

Матюша едва не лишился чувствъ и упалъ къ ногамъ

учителя, мщенія котораго боялся больше, чѣмъ казни на кострѣ. Твардовскому сдѣлалось жаль несчастнаго, но вѣрнаго слугу.

— Славную же ты заварилъ кашу!..—сказалъ Твардовскій.—Видишь, куда привела тебя безразсудная глупость... Что дѣлать?.. Теперь ты на одинъ шагъ отъ костра и никакая человѣческая сила не въ состояніи освободить тебя.

— Знаю и каюсь въ своихъ прегрѣшеніяхъ; но эти несчастные червонцы искусили меня, благодѣтель мой. Изъ-за нихъ я погибну по неразумѣнію своему. Каюсь!..

— Ты всегда былъ порядочнымъ малымъ и добрымъ слугою,—сказалъ Твардовскій,—зачѣмъ же ты взялся не за свое дѣло, которое выше человѣческихъ понятій?..

— Не укоряй меня, благодѣтель,—отвѣчалъ Матюша со слезами:—я безропотно подвергнусь своей участи и искуплю вину мою смертью на кострѣ; не напоминай мнѣ моей черной неблагодарности, которую я учинилъ за тысячу червонцевъ и рѣшился промѣнять твое благодѣяніе на презрѣнный металлъ.

— А чѣмъ бы ты мнѣ отплатилъ теперь, если бы я спасъ тебя отъ казни?—спросилъ Твардовскій рыдающаго Матюшу.

— Чѣмъ?—вскричалъ обрадованный Матюша, въ мысляхъ котораго мелькнулъ лучъ надежды на спасеніе...—Чѣмъ же я могу отплатить тебѣ, кромѣ вѣчной преданности?.. Душа моя и тѣло будутъ вѣчно принадлежать тебѣ, которыми ты распоряжайся по своему усмотрѣнію. Я буду твоимъ невольникомъ, рабомъ, всѣмъ, чѣмъ ты прикажешь быть...

— Поклянись, что ты свято будешь исполнять всѣ мои приказанія, какъ бы они тяжелы и суровы ни были для тебя.

— Клянусь!—вскричалъ Матюша,—и сдержу свою клятву свято и нерушимо, пойду за тобою всюду, хотя бы въ самый адъ, во всякую минуту жизни.

— Помни же, что ты присягнулъ мнѣ. Теперь встань и слѣдуй за мною... Повторяю, однако, что при первой попыткѣ измѣнить мнѣ, тебя ждетъ жестокая смерть.

— Да поразитъ меня рука твоя при одной мысли объ измѣнѣ тебѣ, моему благодѣтелю!..

— Теперь молчи и слѣдуй за мною.

Съ этими словами Твардовскій взялъ его за руку и, отворивъ дверь, вышелъ изъ темницы. Матюша съ удивленіемъ

смотрѣлъ на стражу, которая пропустила ихъ... Тѣмъ болѣе онъ былъ пораженъ, когда Твардовскій, выйдя изъ темницы, указалъ ему чрезъ бойницу на площадь рынка, полную народа, ожидавшаго казни преступника.

— Смотри, сказалъ онъ,—минута твоей смерти ускорена, и преступникъ идетъ на костеръ.

Матюша смотрѣлъ и не вѣрилъ глазамъ своимъ. Онъ видѣлъ собственную свою фигуру, идущую на костеръ, и чувствовалъ себя безпечнымъ и невредимымъ; онъ плакалъ надъ собственной своей фигурой, и ничего не понималъ и боялся разспросить о томъ Твардовскаго. Онъ видѣлъ, какъ народъ двигался за осужденнымъ, чтобы посмотрѣть на его мученическую смерть, видѣлъ, какъ палачъ взвелъ его на костеръ, какъ подложилъ огонь и какъ поднялись огненные языки пламени, достигавшія ногъ преступника; видѣлъ наконецъ, какъ фигура его ежилась и корчилась на кострѣ, какъ пламень объялъ его... Между тѣмъ онъ стоялъ рядомъ съ своимъ избавителемъ и убѣжденъ былъ, что онъ живъ, что онъ не спитъ и все это видитъ на яву. Но вдругъ, когда пламя поднялось высоко и охватило приговореннаго на казнь, фигура измѣнилась и вмѣсто настоящаго преступника оказался куль соломы, который вѣтеръ подхватилъ и, разнося по крышамъ мѣстечка, превратилъ его въ сплошную массу огня. Теперь только понялъ Матюша, чѣмъ былъ обязанъ своему спасителю и какъ долженъ былъ онъ цѣнить его защиту отъ вѣрной и неминуемой смерти. Народъ, увидѣвъ такое чудо, началъ креститься и разбѣжался по домамъ спасать свое имущество; между тѣмъ Твардовскій и Матюша бѣжали изъ замка, оставляя позади себя озеро пламени и шумъ и крикъ плачущаго народа.

— Помни, Матюша,—сказалъ Твардовскій, — держи свое слово крѣпко, потому что мы возвращаемся теперь въ Краковъ, гдѣ вскорѣ понадобятся мнѣ твои услуги.

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.

Часть II.

I.

Какъ Твардовскій задумалъ пуститься въ свѣтъ.

Твардовскій по прежнему сидѣлъ у себя въ кабинетѣ въ Краковѣ, и по прежнему, какъ бывало на Кржеменкахъ, тревожили его мрачныя мысли. Онъ чувствовалъ опять, что ему многаго недоставало для того, чтобы вполнѣ быть счастливымъ и великимъ человѣкомъ, извѣстнымъ не только въ своемъ краѣ, но и всему свѣту.

— Чего, собственно, недостаетъ мнѣ?— спрашивалъ онъ себя.— Я имѣю власть, науку, которой такъ горячо желалъ, все повинуется и преклоняется мнѣ. Чего же еще?

И со смѣлостью мудреца, который не боится углубляться и созерцать свою душу, Твардовскій заглядывалъ въ нее, какъ докторъ, который смотрѣлъ на больного, стонущаго отъ тяжкой болѣзни, стараясь проникнуть въ его тѣло и извѣдать причину болѣзни, скрытую отъ глазъ неопытныхъ людей.

— Что же наконецъ со мною? Что мнѣ надобно?—продолжалъ онъ про себя.—Вѣдь достигъ я знанія и власти. Есть-ли въ мірѣ еще такое счастіе, которое переходило бы предѣлы власти и науки?.. Можетъ ли быть что нибудь выше этого счастія?..

При этомъ вопросѣ онъ становился втупикъ, а дьяволъ между тѣмъ шепталъ ему на ухо:

— Есть иное счастье, котораго ты не успѣлъ испытать. Ты знаешь свѣтъ, многое имѣешь въ своей власти, но больше

еще скрыто отъ тебя, чѣмъ ты видѣлъ и чѣмъ до сихъ поръ не успѣлъ воспользоваться.

При этой мысли, мелькнувшей, какъ молнія, въ его головѣ, Твардовскій задрожалъ, потому что эта мысль была *всѣхъ мыслей мать*, отъ которой происходили тысячи разнообразныхъ мыслей, другъ друга краше и соблазительнѣе.

— Нужно ли,—говорилъ онъ про себя,—обладать знаніемъ и властью для того, чтобы пользоваться жизнью и счастьемъ наравнѣ съ людьми, съ этого чернью, которая живетъ и пользуется счастьемъ, не понимая свѣта и жалуясь на него? Не лучше-ли, зная все, не прикасаться ни къ чему, не смѣшиваться съ толпою, не пятнать себя ея слабостями и стоять выше всѣхъ свѣтскихъ удовольствій и наслажденій, которыя дѣлаютъ человѣка невольникомъ своего тѣла и свѣта? Нужно ли мнѣ, человѣку отдѣленному отъ людей наукой и властью, соединиться съ низкими инстинктами массы, равняться съ нею въ ея глупой разнузданности и пить мутную воду изъ одного источника жизни?.. Кто, наконецъ, увѣритъ меня, что, соединившись съ людьми, я буду счастливъ и доволенъ, что это соединеніе составитъ для меня все, удовлетворитъ мое самолюбіе, жажду знанія и власти, словомъ, всѣ мои желанія?.. Кто увѣритъ меня въ томъ, что, разъ я выпущу изъ рукъ своихъ бразды, не удержусь на всѣмъ бѣгу на мѣстѣ и не захочу выпить мутной чаши до дна съ осадкомъ и подонками?.. Стоитъ—ли, въ такомъ случаѣ, унижать себя ради глупыхъ, безцѣльныхъ животныхъ наслажденій?.. Но это-ли, въ сущности, безпокоитъ и мучитъ меня, или что другое?..

Разсуждая такимъ образомъ, Твардовскій былъ увѣренъ однако въ противномъ: испытывая земное счастье, ему хотѣлось испытать жизнь, со всѣми ея удовольствіями и наслажденіемъ, распустить возжи и мчаться въ міръ, шумящій и клокочущій свѣтъ, въ водоворотъ жизни со всѣми ея невзгодами, счастьемъ и горемъ.

— Мнѣ нетрудно воспользоваться свѣтомъ, изучить его подробно и сдѣлаться счастливымъ,—сказалъ про себя Твардовскій.

Рѣзкій ироническій смѣхъ былъ отвѣтомъ на эти слова; позади него стоялъ дьяволъ, слѣдившій за его мыслями.

— Опять ты здѣсь, сатана?

— Всегда и вездѣ съ тобою, другъ мой, отвѣчалъ дьяволъ.—Могу ли я разстаться съ тобою?.. Я слѣдилъ за душевною твоею борьбою съ тѣломъ и расхохотался, потому что ты увѣрено сказалъ, что будто бы тебѣ легко воспользоваться свѣтомъ и изучить его.

— Чтожъ тутъ смѣшного?.. Мнѣ кажется, что желаніе мое очень естественно!..

— Потому что оно пришло къ тебѣ не своевременно, какъ я и предсказывалъ тебѣ. Оглянись кругомъ, посмотри на себя, каковъ ты есть: вѣдь наука и трудъ обезсилили тебя, истощили, изломали, исковеркали и изуродовали; душа твоя, какъ левъ, запертый въ клѣткѣ, рвется на свободу, жаждетъ ея, стремится всѣми своими помыслами. Но не забудь, что не отъ преклонныхъ лѣтъ забѣлѣлись твои волосы, не отъ дряхлости и хилости рѣдѣютъ они и падаютъ, какъ перезрѣвшій плодъ; не отъ старости провалились твои глаза и окаймлены багровыми кругами, точно отъ усиленнаго труда и разврата; лицо сморщилось и высохло, какъ пергаменъ, фигура согнулась, точно подъ тяжестью непосильной ноши. Все это не отъ старости и дряхлости, Твардовскій. Ты сжился, сроднился съ твоей научной тишиною, знаешь книги; но знаешь ли ты людей, знаешь ли женщинъ, безъ которыхъ нельзя воспользоваться благами свѣта? Сумѣешь ли ты, мудрецъ, помочь себѣ въ минуты испытанія свѣта, который извѣстенъ тебѣ только по книгамъ? Я увѣренъ, что первая крестьянская дѣвушка проведетъ тебя въ практической жизни, тогда какъ ты знаешь ее только по теоріи.

Твардовскій, увѣренный въ себѣ, въ свою очередь разсмѣялся.

— Смѣйся, смѣйся,—сказалъ дьяволъ, поднимая хвостъ,—увидимъ, кто изъ насъ послѣднимъ будетъ смѣяться. Но предупреждаю тебя, что знать свѣтъ по теоріи и на практикѣ, какъ знаютъ живущіе въ немъ — двѣ вещи разныя. Возьми, напримѣръ, цвѣтокъ, названіе котораго ты можешь сказать на всѣхъ языкахъ, исчислишь всѣ его цѣлительныя свойства и качества, но тебѣ не вплести его въ вѣнокъ съ такою ловкостью, какъ вплететъ его деревенская дѣвушка; ты не сдѣ-

лаешь изъ него вкусную приправу къ кушаньямъ, какъ сдѣлаетъ это поваръ или кухарка... Точно также и со свѣтомъ, какъ съ этимъ цвѣткомъ: ты ничего не сдѣлаешь съ нимъ по теоріи, а нужно изучить его на практикѣ, прежде чѣмъ пускаться въ этотъ водоворотъ, узнать какъ, знаютъ его всѣ, вращающіеся уже въ немъ и держащіе его въ своихъ рукахъ; каждый изъ живущихъ долженъ смотрѣть на него не только съ теоретической точки зрѣнія, но и съ практической, потому что одинъ человѣкъ наблюдаетъ за свѣтомъ, а другой пользуется имъ.

— Повидимому, не особенно свѣтъ мудренъ, когда столько глупцовъ пользуются имъ,— возразилъ Твардовскій.

— Глупцовъ? Пожалуй, ты правъ, но эти глупцы оказываются на практикѣ мудрецами въ сравненіи съ тобою, — сказалъ дьяволъ.—Они весь вѣкъ вращаются въ немъ и служатъ ему; они увѣрены въ томъ, что дѣлаютъ; знаютъ его въ малѣйшихъ подробностяхъ не по одному только скотскому инстинкту; угождая своему тѣлу и пользуясь благами свѣта, они, слѣдовательно, изучили его. Повторяю, что слишкомъ поздно пришла тебѣ мысль пользоваться жизнью, о которой я давно намекалъ тебѣ, потому что жить и не пользоваться свѣтомъ, хотя бы такъ, какъ пользуются имъ глупцы, значитъ, не знать свѣта и самого себя.

— Но развѣ нельзя добраться до этихъ тайнъ посредствомъ разсудка, проникнуть въ нихъ и усвоить инстинктивно?..

— Все это возможно по теоріи, но на практикѣ не примѣнимо. Теорія отъ практики такъ далека, какъ небо отъ земли, и только неопытный человѣкъ можетъ выводить начала жизни и науки изъ теоріи. Разсужденіе надъ дѣйствіями человѣка въ жизни, не испытавъ эту жизнь на практикѣ, это—умышленная порча и искаженіе самого себя. Теоріей служитъ человѣку его собственный врожденный инстинктъ, и всякая другая теорія—смѣшна, безполезна и даже вредна.

— Все это одни парадоксы, — возразилъ Твардовскій; — впрочемъ, посмотримъ.

Дьяволъ улыбнулся и исчезъ, а Твардовскій опять углубился въ размышленія. Его сердило и раздражало постоянное шпіонство дьявола. Желая избавиться отъ несноснаго свидѣ-

теля невольныхъ мыслей и словъ, онъ рѣшился предаваться размышленіямъ въ тиши, бесѣдуя только внутренно съ своей душою, тайны которой недоступны дьяволу.

Размышленія эти вскорѣ привели его къ самому плачевному результату; онъ начиналъ сожалѣть о прошедшихъ годахъ своей юности, проведенной въ наукѣ. Дьяволъ зналъ, что этимъ собственно и должно кончиться.

— Что я выигралъ! — спрашивалъ онъ себя. — Немного славы!.. Но, что такое слава?.. Ароматъ, который распространяется въ воздухѣ отъ выдыханія цвѣтовъ и затѣмъ поглощается какою-нибудь вонью изъ помойныхъ ямъ... Что мнѣ въ славѣ, когда она не удовлетворяетъ требованій моей души?.. Послѣдній глупецъ чувствуетъ себя счастливѣе въ объятіяхъ женщины, чѣмъ я въ вѣнцѣ славы!.. Жаль мнѣ потерянаго времени, ясныхъ юношескихъ дней, исполненныхъ жизненной силы и предназначенныхъ для удовольствій свѣта, тѣхъ свѣтлыхъ весеннихъ дней моей жизни, которые я провелъ въ трудѣ науки, и что же получилъ я въ награду?.. Разстроенное здоровье, блѣдныя воспоминанія и славу,—смѣшное слово, изобрѣтенное людьми отъ бездѣлья, фальшивая монета, на которую можно пріобрѣсти многое, если бъ ее принимали въ обращеніе... Религія славы—это одно изъ древнихъ вѣрованій человѣка... Каждая же религія должна вознаграждать вѣру какими-нибудь обѣщаніями, тогда какъ слава не обязана ничѣмъ,—хуже, она вовсе не вознаграждаетъ, а платитъ обманомъ. Какая же это слава и въ чемъ она состоитъ? Не въ томъ ли, что на меня указываютъ пальцами, какъ на чудо, что шепчутся между собою дураки, что всѣ обращаютъ на меня вниманіе, когда я иду?.. Однако, сколько такихъ, которые меня не знаютъ и никогда не слыхали обо мнѣ; сколько есть такихъ, которые не думаютъ и не говорятъ о моей славѣ?.. О, какъ много забвенія на одну унцію воспоминаній!.. Стоитъ ли ради такого миніатюрнаго вознагражденія жертвовать собой?

Волнуемый подобными мыслями Твардовскій, вздыхалъ, сожалѣя о потерянной жизни и рисуя себѣ лучшую будущность. Онъ рѣшился идти другимъ путемъ и испытать все, что до сихъ поръ не успѣлъ испытать. Въ успѣхѣ онъ не сомнѣ-

вался; онъ былъ увѣренъ, что свѣтъ преклонится передъ нимъ, откроетъ ему свои дружескія объятья и приготовитъ ему ложе изъ розъ. Однако, онъ горько ошибся, полагая, что время еще не ушло для пользованія жизнью, несмотря на то, что большая ея половина проведена имъ въ трудѣ и наукѣ, истощившихъ всѣ его силы.

Твардовскій разсердился и пошвырялъ всѣ книги въ уголъ; онъ пошелъ въ свѣтъ, увѣренный, что проникнетъ въ него сквозь призму своей науки, мудрости и славы... Но, увы! Когда онъ вошелъ въ него, передъ нимъ открылся новый и совершенно ему невѣдомый свѣтъ, о которомъ онъ не имѣлъ ни малѣйшаго понятія... Глаза мудреца видѣли только скелетъ свѣта, но нужно было видѣть его глазами влюбленнаго и быть любимымъ, чтобы вникнуть въ жизнь, движеніе и душу этого свѣта. Каждый предметъ, на который падалъ его неопытный глазъ, представлялся ему въ иномъ видѣ; во всемъ онъ искалъ удовольствій и наслажденія, и тогда только открылась передъ нимъ таинственная завѣса, обнаружившая передъ нимъ всѣ прелести свѣта. Но въ то же время онъ почувствовалъ себя неспособнымъ пользоваться прекрасными дарами жизни и понялъ что устарѣлъ для нихъ, а чувства его притупились, заглохли, какъ фіалка между крапивой. Напрасно онъ подстрекалъ себя къ жизненной дѣятельности: состояніе его органовъ уподоблялось человѣку, разбитому параличемъ, который, несмотря на свою неспособность къ движенію, желаетъ пуститься въ плясъ.

Грустно было его положеніе, а грустнѣе—мысли, которыя возбуждались вліяніемъ наркотическихъ впечатлѣній шумной и жизненной дѣятельности.

Онъ видѣлъ женщинъ, настоящихъ херувимовъ, къ которымъ никогда не прикасался, и чувствовалъ, что онѣ не могутъ полюбить его, потому что не существуетъ безкорыстной любви, потому что, отдавая все, нельзя не взять что-нибудь. Что же онъ могъ дать взамѣнъ молодой, дышащей жизнью жертвѣ? Изсохшее тѣло, сердце безъ огня и потухающій взглядъ, желаніе безъ удовлетворенія.

Неоднократно онъ видѣлъ женщинъ, при взглядѣ на которыхъ невольно вспоминались ему ангелы на небѣ, къ кото-

рымъ бы онъ вознесся и съ ними парилъ тамъ, какъ орелъ, но въ то же время онъ чувствовалъ себя безсильнымъ, безкрылымъ и стоящимъ одной ногой въ... аду.

Видѣлъ онъ сладострастныхъ женщинъ съ полуоткрытыми устами къ поцѣлую, съ роскошною бѣлою грудью и пылающими глазами—и не могъ назвать ихъ своими. Какую цѣну могъ имѣть для нея ветхій, худой, согбенный мудрецъ?.. Кромѣ раскаянія—ничего!.. А гдѣ раскаяніе — любовь далека и неприступна.

Видѣлъ онъ дѣвушекъ, при взглядѣ на которыхъ возбуждается мысль о первой любви, о раѣ, о цѣломудріи. Но какая связь могла быть между нимъ и ими?..

Видѣлъ онъ взрослыхъ дѣвицъ, которыя смѣло глядятъ на свѣтъ, чувствуя, что онѣ необходимы ему, какъ насущный хлѣбъ; но могли ли надежды ихъ согласоваться съ его холодною мудростью?..

Видѣлъ онъ и полуувядшихъ женщинъ, которыя, сидя на огненномъ конѣ любви, находятся, такъ сказать, на перепутьѣ, между молодостью и старостью, но еще не старухи; онъ смотрѣлъ на нихъ взглядомъ желанія, потому что они имѣютъ свою цѣнность въ глазахъ мужчинъ; но могла ли и такая женщина избрать для себя слабаго старика, высохшаго надъ книгами, которой нужно, какъ Давиду, освѣжиться молодыми силами человѣка, подышать его дыханіемъ, напоминающимъ ей тѣ лѣта, о которыхъ онъ не смѣетъ вспомнить.

Видѣлъ Твардовскій счастье богачей, пышность, роскошь и жизнь,—жизнь сибаритовъ нероновскаго Рима, проведшаго въ удовольствіяхъ и наслажденіяхъ различнаго рода, и хотѣлъ испытать эту жизнь, перечувствовать ее всѣми своими помыслами, но сознавалъ, что чувства его негодны для такого счастія, съ которымъ сродняется сибаритъ съ колыбели, для которыхъ онъ рожденъ.

Видѣлъ онъ столы, гнувшіеся подъ тяжестью яствъ и напитковъ и хотя чувствовалъ ихъ щекочущій запахъ, раздражающій вкусъ, но въ то же время былъ увѣренъ, что онъ не можетъ воспользоваться и этимъ наслажденіемъ, что онъ привыкъ къ обыкновеннымъ блюдамъ, которыя лишь поддерживали его существованіе.

Такъ мелькали передъ Твардовскимъ всѣ наслажденія жизни и свѣта, и, мелькая мимо него, казалось, плевали ему въ глаза и кричали съ укоромъ:

— „Прочь, негодный старикашка: скройся подъ свой дырявый плащъ гордой науки и живи съ нею въ своемъ книжномъ хламѣ!.. Не прикасайся къ нашей святынѣ, ибо ты старъ для насъ!“

Такимъ образомъ Твардовскій убѣдился, что время удовольствій давно миновало для него и что дьяволъ былъ правъ, говоря, что онъ негоденъ для свѣта; онъ убѣдился теперь, что для удовольствій и наслажденій необходимы свѣжія силы, чувства и сердцѣ, неизрасходованное въ борьбѣ съ наукой; что съ началомъ его знанія, начинали расходоваться силы и чувства; что въ то время, когда одна половина начинала дѣйствовать, вторая находилась безъ движенія, въ полузабытьѣ.

Грустный и унылый Твардовскій, повѣсивъ голову, смотрѣлъ и думалъ.

— Что же еще дастъ мнѣ свѣтъ?.. Что еще осталось для меня въ немъ? Нѣтъ ли какого исхода выкарабкаться изъ этого положенія?.. Я продалъ душу мою за желаніе быть счастливымъ, но ошибся въ выборѣ: меня ослѣпила наука!.. Неужели же я долженъ остаться такъ на всю жизнь, не испытавъ удовольствій свѣта и не удовлетворивъ себя, какимъ остался, испытавъ науку?.. Да, это большой вопросъ! Неужели жизнь— одна горькая иронія?

Въ первый разъ Твардовскій вдавался въ подобныя мысли и чувствовалъ себя уничтоженнымъ сверхъестественною, непонятною для него силою; передъ нимъ возставали, покрытыя дымкою тумана, отрадныя воспоминанія молодости и проходили мимо, какъ призракъ. Онъ видѣлъ въ синѣющейся туманной дали свои дѣтскія лѣта, невинныя чувства и вѣрованія, съ которыми былъ такъ счастливъ, и теперь невольно сожалѣлъ, что не могъ возвратиться къ минувшимъ днямъ; онъ чувствовалъ, что это была лучшая минута жизни, — минута счастья и надеждъ!.. За эту минуту онъ готовъ былъ пожертвовать своей душой, если бы имѣлъ вторую въ своемъ распоряженіи.

Злая иронія судьбы!

— Значитъ, ничего не осталось для меня; только одна надежда?..—воскликнулъ онъ въ душѣ.—Но не умнѣе ли тотъ, кто живетъ надеждами, не касаясь дѣйствительности?.. Впрочемъ, и у меня есть надежда воспользоваться благами свѣта, и, въ ожиданіи лучшаго, буду жить ею!..—рѣшилъ онъ, ради успокоенія своей совѣсти.

II.

Какъ Твардовскій влюбился и какъ удовлетворилъ свою любовь.

Одинъ изъ профессоровъ медико-хирургической академіи жилъ въ Краковѣ, который случайно женился и имѣлъ прехорошенькую дочь, такъ же, быть можетъ, случайную, какъ и его женитьба. Ганна была ангельской красоты, съ блѣдноватымъ личикомъ, золотистыми волосами и черными глазами, прожигавшими насквозь. На устахъ ея играла плутовская улыбка, не знающая, что такое завтрашній день, увѣренная во всемъ, начиная съ людей и кончая добродѣтелью; она не знала эгоизма, но понимала самопожертвованіе и знала цѣну ему въ жизни.

Такою была Ганна, которую Твардовскій избралъ для себя предметомъ любви. Глупый старикъ думалъ, что сойдется съ нею во всемъ, что они поймутъ другъ друга, тогда какъ ихъ раздѣляло цѣлое море препятствій, цѣлые вѣка.

Прелестная Ганна, чувствовавшая на себѣ взглядъ не менѣе прекраснаго юноши, который при встрѣчѣ съ нею покрывался румянцемъ стыдливости и говорилъ ей глазами: «я люблю тебя", — прелестная Ганна отскочила отъ мудреца, который осмѣлился приблизиться къ ней и отъ котораго пахло затхлостью книжной премудрости, гордой славой и ученостью, холодностью и сухостью формализма; она отскочила отъ изсохшаго и морщинистаго старикашки, думая, что столкнулась съ нимъ случайно. Но когда Твардовскій подошелъ къ ней во второй и третій разъ, когда въ потухающемъ взорѣ Твардовскаго она угадала его стремленіе, она начала бояться его и сильно призадумалась.

— Неужели это мой суженый?—съ ужасомъ подумала она, вспомнивъ при этомъ поговорку: «Богъ предназначаетъ дѣвушкѣ мужа, мужчинѣ жену, а обоимъ—смерть».

Однако Твардовскій не унывалъ и не приходилъ въ отчаяніе отъ холодности Ганны, которая хоть и оскорбляла его самолюбіе, но онъ надѣялся расположить къ себѣ молодую дѣвушку, покоряющуюся одному взгляду какого нибудь молокососа и не сдававшуюся побѣдителю науки и человѣческой мудрости. Теперь только онъ замѣтилъ, что мудрость его несовершенна, потому что мнѣніе свѣта называетъ мудрецомъ лишь того, кто извѣдалъ и испыталъ жизнь, кто жилъ въ свѣтѣ и понялъ его. Твардовскій же зналъ о немъ только по слухамъ, по теоріи.

Между тѣмъ онъ шелъ далѣе и не терялъ надежды современемъ понравиться молодой красавицѣ. Напрасно сидѣлъ онъ по нѣсколько часовъ возлѣ Ганны и говорилъ о своей премудрости, — она слушала и зѣвала. Ганна смотрѣла на него не-то съ изумленіемъ, не то читая на его морщинистомъ лицѣ о великой славѣ; дивилась его уму, уважала, но любить не могла. Потухающимъ взоромъ онъ далеко не могъ выразить ей свою любовь, не осмѣливаясь въ то же время высказать ее на словахъ, которыя сдѣлали бы его въ ея глазахъ смѣшнымъ. И несмотря на все это. Твардовскій однако не терялъ надежды, хотя это было простое ослѣпленіе эгоизма, но онъ утѣшалъ себя софизмами любовника, который вѣритъ въ свою счастливую звѣзду.

— Не сегодня, такъ завтра она сдастся на капитуляцію,— твердилъ онъ себѣ, и отходилъ отъ молодой дѣвушки безъ надежды, а затѣмъ снова возвращался къ ней.

Наступало и ожидаемое «завтра», а Ганна дѣлалась холоднѣе и равнодушнѣе, боясь въ то же время, чтобы отецъ не выдалъ ее за Твардовскаго противъ ея воли. Холодность и равнодушіе, наконецъ, перешли въ презрѣніе и ненависть, но она молчала. Сначала Ганна была довѣрчива, какъ дитя, но, обдумавъ свое положеніе, начала избѣгать его; передъ нимъ розовыя губки ея складывались въ гримасу, морщилось бѣлое чело... Бесѣдуя съ нимъ, она отмалчивалась и, вмѣсто отвѣтовъ, съ недовѣріемъ и грустью качала головой.

Несмотря на видимую холодность, Твардовскій ходилъ къ ней ежедневно и просиживалъ долгіе часы, откладывая со дня на день рѣшительное объясненіе, которое казалось ему преждевременнымъ и смѣшнымъ.

Наконецъ онъ рѣшился объясниться и выпалилъ залпомъ все, что чувствовалъ къ молодой дѣвушкѣ. Ганна разсмѣялась ему въ глаза, просила не шутить съ нею такъ жестоко и, оставивъ растерявшагося Твардовскаго, убѣжала.

Пристыженный и озлобленный Твардовскій проклялъ всѣхъ женщинъ и заперся у себя въ комнатѣ, обдумывая средство, которое могло бы приворожить къ нему молодую дѣвушку, которое онъ совѣтовалъ многимъ и хотѣлъ теперь испытать на ней. Но находя себя еще недостаточно влюбленнымъ, онъ не желалъ прибѣгать къ рѣшительнымъ мѣрамъ, которыя могли пригодиться ему только въ крайнемъ случаѣ. Ему хотѣлось только испытать себя, могъ ли онъ возбудить любовь въ женщинѣ, не прибѣгая ни къ какимъ постороннимъ вспомогательнымъ средствамъ. Убѣдившись въ противномъ, онъ бросилъ Ганну, не жалѣя потеряннаго времени, проведеннаго съ нею въ безцѣльной бесѣдѣ, и потраченныхъ понапрасну словъ, которыя расточалъ на любезности и восхваленія красоты женщинъ; не жалѣлъ потому, что любовь его находилась не въ сердцѣ, а въ головѣ, откуда ее такъ легко вытѣснить.

Онъ разсудилъ потомъ, что Ганна была слишкомъ молода для него и рѣшился искать зрѣлой женщины, которая бы полюбила его.

Конечно, найти было не трудно. У краковскаго бурмистра и ратмана Вейгеля была дочь, немного похуже Ганны, но зато умнѣе и постарше первой: ей считалось не болѣе двадцати трехъ лѣтъ, но, по всей вѣроятности, родительская любовь сокращала ея годы лѣтъ на пять, тѣмъ болѣе, что жена бурмистра имѣла претензію на молодость.

Твардовскій предсказывалъ себѣ здѣсь большій успѣхъ, но горько ошибся. Дочь бурмистра была смѣлѣе Ганны, а такъ какъ за нею (то есть, за отцовскими талерами) ухаживала молодежь, то она рѣшилась сразу «срѣзать» старика, высказавъ ему истину.

Напрасно вы стараетесь покорить сердце женщины;

ваша пора давно прошла. Вы не можете ужъ нравиться имъ: слишкомъ стары для этого; ваша мысль сгорбилась надъ книжною мудростью, которая замѣняла вамъ жену... Поздно равняться съ юношествомъ и ухаживать за женщинами. Скажите сами, положивъ руку на сердце, не смѣшно ли въ такія лѣта думать о женитьбѣ и о любви?..

Горька была эта истина и тяжело было выслушивать ее Твардовскому... И отъ этой дѣвушки убѣжалъ онъ, какъ и отъ Ганны.

— Вейгель богатъ, — подумалъ Твардовскій, возвращаясь домой,—и голова ея набита отцовскими червонцами. Нужно поискать бѣдную, которая, вѣроятно, будетъ сговорчивѣе.

Но и бѣднымъ не хотѣлось идти за Твардовскаго, потому что и онѣ умѣютъ цѣнить цѣломудріе, этотъ единственный цвѣтокъ и богатство молодости, который мы называемъ любовью. Если нѣкоторыя и «играли въ любовь», въ надеждѣ на какой нибудь выигрышъ, то Твардовскій не вѣрилъ въ эту любовь; онъ зналъ, что подъ этою маскою скрывается интересъ другого рода.

Испытывая такимъ образомъ и себя, и другихъ, Твардовскій убѣждался, что поздно началъ искать сочувствія и любви, и терялъ надежду когда нибудь покорить сердце женщины.

Но въ эту именно минуту ему мелькнула блестящая мысль.

— Пора подумать о перерожденіи, чтобы потомъ съ новыми силами начать новую жизнь.

Тогда онъ позвалъ къ себѣ Матюшу и, запершись у себя въ комнатѣ, сказалъ:

— Ты клялся мнѣ вѣрностью, когда я избавилъ тебя отъ вѣрной смерти, клялся, что ты пожертвуешь для меня душою и будешь слушаться во всемъ. Помнишь ли свое обѣщаніе?..

— О, какъ не помнить!.. Помню и сдержу свою клятву.

— Поклянись еще разъ!—сказалъ Твардовскій.

— Достаточно одной, благодѣтель. Кто пожелаетъ сдѣлаться клятвопреступникомъ, тотъ сдѣлаетъ это и послѣ десяти клятвъ.

— Хорошо. Выслушай же меня,—продолжалъ Твардовскій, послѣ нѣкотораго молчанія.—Я постарѣлъ и чувствую необходимость въ молодыхъ силахъ,—охоту къ новой жизни. Я хочу возвратить свою молодость. Я довѣряю тебѣ мое тѣло и душу;

онѣ въ твоихъ рукахъ. Я дамъ тебѣ наставленіе, какъ долженъ ты дѣйствовать во время операціи; но помни, что довѣріе мое ты долженъ сохранять въ глубокой тайнѣ. Секретъ возвращенія мнѣ молодости отличается многимъ отъ прежняго секрета, который ты видѣлъ и такъ неудачно испыталъ на старостѣ. Слушай же меня внимательно. На этомъ пергаменѣ написана инструкція, по которой ты долженъ дѣйствовать, согласно моимъ наставленіямъ. Прежде всего, въ день новолунія ты дашь мнѣ усыпительнаго зелья, потомъ обмоешь мое тѣло и натрешь его приготовленными мною мазями, въ томъ порядкѣ, въ какомъ они указаны въ моемъ росписаніи и въ какомъ разставлены на полкахъ. Въ теченіе двухъ недѣль, черезъ день, ты будешь натирать меня этими мазями. Послѣ каждаго натиранія ты долженъ обмывать меня водою изъ семи источниковъ и затѣмъ, положивъ тѣло мое въ гробъ, похоронишь его на освященной землѣ на кладбищѣ. Стереги мою могилу въ продолженіе трехъ лѣтъ, семи мѣсяцевъ и семи дней, чтобы тѣло мое не вырыли дикіе звѣри, иначе мы погибнемъ безвозвратно. По истеченіи этого времени, ты отроешь могилу и вынешь меня изъ земли при свѣтѣ семи свѣчей, которыя сдѣлаешь изъ человѣческаго сала.

Давъ наставленія, Твардовскій повторилъ ихъ еще два-три раза, а затѣмъ проэкзаменовалъ Матюшу, чтобы убѣдиться самому въ пониманіи его распоряженій. Неудовольствовавшись полнымъ пониманіемъ Матюши, онъ спокойно повторилъ еще разъ и оставилъ ему подробное росписаніе, написанное имъ симпатическими чернилами,—во избѣжаніе, чтобы Матюша какъ нибудь не выдалъ этой тайны,—которые можно было прочесть только при особенномъ средствѣ.

Обѣщавъ ему несмѣтныя награды, въ случаѣ исполненія въ точности его предписаній, Твардовскій безпрекословно отдалъ себя въ распоряженіе Матюши, предупредивъ его, что въ случаѣ измѣны, его ждетъ неминуемая и мучительная смерть.

Матюша исполнилъ свое обѣщаніе, согласно предписаніямъ Твардовскаго.

III.

Какъ Твардовскій помолодѣлъ и что было потомъ.

По истеченіи трехъ лѣтъ и семи мѣсяцевъ, въ продолженіе которыхъ вѣрный Матюша стерегъ могилу своего господина, съ каждымъ днемъ зараставшую все болѣе и болѣе крапивой и быльемъ, на седьмой день, въ седьмое новолуніе, Матюша зажегъ семь свѣчей, сдѣланныхъ имъ изъ человѣческаго сала, и отправился на кладбище.

Воткнувъ свѣчи вокругъ могилы, Матюша принялся копать яму; вскорѣ заступъ ударился о крышку гроба. Вынувъ Твардовскаго изъ могилы и отворивъ замокъ, которымъ запертъ былъ гробъ, онъ раскрылъ его. Можно представить себѣ его изумленіе, когда онъ нашелъ въ немъ вмѣсто тѣла Твардовскаго, какъ ожидалъ — крошечнаго ребенка, который игралъ и улыбался въ гробу!..

Матюша засыпалъ яму землею и, взявъ на руки малютку, понесъ его домой, гдѣ накормилъ и уложилъ спать.

Теперь Матюшѣ предстояла новая работа: нужно было пріискать мамку для новорожденнаго; но такъ какъ дѣло происходило вечеромъ, то онъ рѣшился отложить свои хлопоты до завтра, самъ же между тѣмъ, усталый отъ непривычной работы, послѣдовалъ примѣру малютки и легъ спать.

Каково же было его удивленіе, когда, проснувшись, онъ увидѣлъ, что мальчикъ самъ всталъ съ постели и началъ ходить по комнатѣ, какъ полуторагодовой ребенокъ...

Твардовскій росъ, какъ пирогъ на дрожжахъ, не по днямъ, а по часамъ. Въ продолженіе семи дней, ребенокъ сдѣлался настоящимъ юношей, въ которомъ Матюша узналъ своего господина, несмотря на его возрастъ: тѣ же черты лица, тотъ же характеръ, что и у Твардовскаго, память, знаніе и все, все, что видѣлъ онъ у своего господина, съ тою лишь разницею, что тѣло его теперь было молодое, здоровое, упругое и полное жизненныхъ силъ и страсти, которая, видимо, рвалась наружу, жаждая жизни и удовольствій.

Матюша смотрѣлъ и удивлялся.

Прежніе знакомые Твардовскаго однако узнали его, несмотря на перерожденіе, хотя и видѣли въ немъ какую-то удивительную перемѣну; но онъ такъ искусно „отводилъ имъ глаза", что они, видя его молодымъ, не вѣрили своимъ глазамъ и думали, что онъ такой же, какъ былъ и прежде.

Жизнь Твардовскаго совсѣмъ измѣнилась. Нанявъ большую квартиру на Краковскомъ рынкѣ, онъ окружилъ себя многочисленною прислугой, накупилъ серебряной и золотой посуды, дорогой мебели, выписалъ изъ-за границы золоченную коляску, наполнилъ конюшни чистокровными персидскими и арабскими лошадями и погреба—дорогими заморскими винами. Запыленныя книги брошены были въ уголъ.

Съ холодною разсчетливостью и предусмотрительностью старика и съ жаромъ юноши, Твардовскій готовился къ новой жизни, окружая себя всѣмъ, что могло усладить его молодыя чувства. Въ друзьяхъ и пріятеляхъ, какъ и прежде, не было недостатка. Со стола не сходили серебряныя вазы и блюда съ разными изящными и тонко-гастрономическими яствами. Въ деньгахъ тоже не было недостатка, потому что дьяволъ приносилъ ему изъ Олькуша то золото и серебро, которое, по распоряженію Твардовскаго, собрано было въ олькушскія копи.

Такое богатство возбудило зависть въ Матюшѣ. Несмотря на урокъ, данный ему Твардовскимъ, онъ задумывалъ снова помолодить кого-нибудь вновь пріобрѣтеннымъ опытомъ и средствами, которыя испыталъ на своемъ господинѣ.

Твардовскій, зорко слѣдившій за поведеніемъ Матюши, угадалъ его мысль и рѣшился на этотъ разъ не быть снисходительнымъ...

Однажды утромъ Твардовскій позвалъ Матюшу къ себѣ, и, заставивъ признаться въ своемъ намѣреніи, превратилъ его въ паука.

Бѣдный Матюша, переселился на окно, и разставивъ тамъ свои сѣти, опутывалъ ими ни въ чемъ неповинныхъ мухъ.

Между тѣмъ Твардовскій, какъ мы сказали, продолжалъ готовиться къ новой жизни. Домъ его сдѣлался вскорѣ первымъ во всемъ Краковѣ. Аристократія и вельможи завидовали его лошадямъ и роскошной упряжи. Прислуга — камердинеры,

лакеи, швейцары, кучера и форейторы — всѣ были подобраны, точно по ранжиру, молодецъ къ молодцу, рослые, здоровые, статные. Стѣны комнатъ оклеены были дорогими матеріями и бархатомъ, украшены картинами и рѣзьбой изъ слоновой кости, полы—устланы пушистыми коврами. Столъ не уступалъ королевской кухнѣ, куда свозили возами заморскія пряности. Все это ему стоило громадныхъ денегъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, ничего не стоило, потому что все доставалось ему легко. Стоило только ему сказать: «хочу», и все было къ его услугамъ, если только требуемое можно было получить за деньги.

Не мудрено поэтому, что въ народѣ разнесся слухъ о помощи дьявола, съ которымъ онъ въ дѣйствительности былъ въ связи. И народъ, конечно, не ошибался, потому что дьяволъ, видя его на настоящемъ пути, усердно помогалъ ему во всемъ, внушая мысль къ роскоши и сибаритству.

Несмотря однако на всѣ развлеченія и удовольствія, которыя онъ устроилъ для себя, чтобы вполнѣ насладиться жизнью, Твардовскій, однако не забывалъ науку и, встрѣчаясь съ знакомыми академиками, не упускалъ случая подиспутировать съ ними; по прежнему онъ завязывалъ съ ними продолжительныя бесѣды и выходилъ торжествующимъ побѣдителемъ на всѣхъ пунктахъ; всѣ аргументы, приводимые ими, были такъ сильны и неоспоримы, что академики съ покорностью признавали себя побѣжденными; цитаты разныхъ ученыхъ сыпались изъ устъ, точно изъ рога изобилія, и онъ засыпалъ ими своихъ противниковъ съ величайшимъ наслажденіемъ.

Вся эта мудрость оставалась за нимъ, какъ прошлое, которое онъ однако не могъ позабыть и къ которому немыслимо было возвратиться, какъ изъ ада въ рай. Онъ покончилъ съ нимъ безвозвратно и заперъ за собою ворота. Теперь онъ сдѣлался свѣтскимъ человѣкомъ и ученость свою оставлялъ на второмъ планѣ. Съ пустыми людьми, которыми обыкновенно запруженъ свѣтъ и которые только и говорятъ, что о кухнѣ, лошадяхъ и женщинахъ, онъ дѣлался такимъ же пустымъ, какъ и они, отнюдь не доказывая, что его занимаетъ что нибудь другое, помимо этихъ элементовъ жизни. Друзья и пріятели, принадлежавшіе къ тому кругу людей, о которыхъ мы только что упомянули, ужасно удивлялись, не слыша отъ него

прежнихъ глубокомысленныхъ сужденій о наукѣ. Твардовскій далекъ былъ теперь отъ тѣхъ педантовъ, которые любятъ пересыпать свою рѣчь трескучими фразами и вводить въ самый легкій разговоръ свою эрудицію, отъ которыхъ вѣетъ ужаснымъ педантизмомъ и сухою схоластикою. И въ серьезно-научномъ разговорѣ, въ который неособенно охотно вмѣшивался Твардовскій, если разсуждали о наукѣ невѣжды и профаны, онъ умѣлъ быть умѣреннымъ и ловко приспособлялся къ понятіямъ и требованіямъ тѣхъ, съ которыми вступалъ въ разговоръ, касаясь лишь поверхностно науки, настолько, насколько видѣлъ понятія вступающихъ съ нимъ въ споръ. Въ этомъ именно и заключалась дипломатическая тонкость его метаморфозы и превосходства передъ другими, потому что въ немъ жили теперь два существа и два лица: онъ оставлялъ прежнюю свою науку для мудрецовъ и заимствовался у молодыхъ характеромъ свѣтскаго человѣка. Слава его сдѣлалась теперь двуличною, какъ его характеръ и наклонности. Одни видѣли въ немъ богача и сибарита, умѣвшаго пожить, въ пространномъ смыслѣ слова, другіе — непобѣдимаго мудреца. Твардовскій не оставлялъ даже своей докторской практики, которая привлекала къ нему много народа и приносила существенную пользу.

Всѣ эти качества дѣлали Твардовскаго въ глазахъ народа какимъ-то чудовищемъ, о которомъ ходили самые разнорѣчивые и нелѣпѣйшіе толки: каждый цѣнилъ и хвалилъ его по своему.

— О, это рѣдкій человѣкъ,—говорилъ молодой гуляка, постоянный посѣтитель Твардовскаго, встрѣтясь съ однимъ пріятелемъ, ученымъ и серьезнымъ академикомъ.—Какой веселый, какъ живетъ великолѣпно!.. А какія у него вина и кухня!..

— Что за несравненный философъ, что за умный человѣкъ! —прерывалъ его академикъ.

— Но о комъ вы говорите?—спрашивали они другъ друга.

— Ну, о комъ? Конечно, о Твардовскомъ, извѣстномъ свѣтилѣ краковской академіи, счастливой almae matris, произведшей его на свѣтъ.

— А я говорю о Твардовскомъ, богатомъ докторѣ, который живетъ лучше короля и домъ котораго открытъ для всѣхъ... Неужели это тотъ же Твардовскій?

— Конечно!.. Двухъ Твардовскихъ нѣтъ да и не будетъ на свѣтѣ.

Имя его имѣло поэтому двѣ славы, различныхъ между собою, и въ двухъ разныхъ сферахъ, выдавая его за два различныя лица, — славы, достаточной для двоихъ.

Несмотря на желаніе испытать жизнь, Твардовскій, бросившись въ омутъ наслажденій и удовольствій, едва успѣлъ коснуться только одной ея стороны. Общество молодыхъ людей, балы, обѣды, веселыя развлеченія и забавы далеко еще не исчерпывали собою всѣхъ удовольствій свѣта: онъ не испыталъ еще женской любви, а что можетъ назваться вѣнцомъ всѣхъ удовольствій и наслажденій, если не женщина, или вѣрнѣе, любовь женщинъ,—любовь, всегда разнообразная, чарующая, роскошная, пламенная любовь? Твардовскій доволенъ былъ всѣмъ и ему не доставало только любви женщинъ; дѣло заключалось собственно въ выборѣ, но выборъ этотъ представлялъ для Твардовскаго немало затрудненій. Теперь, когда онъ былъ молодъ, когда его со всѣхъ сторонъ преслѣдовали пламенные взгляды, страстныя рѣчи, и очаровательныя улыбки, теперь онъ становился равнодушнымъ и холоднымъ; онъ хотѣлъ, чтобы женщина, въ объятья которой онъ отдаетъ себя, какъ жертву на закланіе, была достойна его, чтобы, такъ сказать, божество, которому онъ намѣренъ былъ курить ѳиміамъ, достойно было этого воскуренія.

Теперь ни Ганну, ни дочь бурмистра Вейгеля, ни прочихъ женщинъ, отвергнувшихъ его любовь, Твардовскій не желалъ даже удостоить взглядомъ, хотя онѣ съ удовольствіемъ согласились бы быть его любовницами, рабами... Онъ проходилъ мимо нихъ веселый, беззаботный и равнодушный, показывая видъ, что не узнаетъ ихъ, но, между тѣмъ, смотрѣлъ имъ въ глаза нахально и съ иронической насмѣшкой.

Твардовскій мечталъ положить первую любовь свою у ногъ дѣвушки, которая была бы идеаломъ женщинъ, чистой, какъ солнце, и невинной, какъ день. Въ этой дѣвушкѣ онъ желалъ найти сгруппированными всѣ совершенства души и тѣла, ума и чувства, разсудка и страсти, найти всѣ качества идеальной женщины, которая бы льстила его самолюбію, занимала извѣстное положеніе въ свѣтѣ. Кто бы могъ ожидать этого?

Но это было такъ. Крестьянка не могла бы удовлетворить его; ему хотѣлось благороднаго совершенства; онъ только и думалъ теперь, какую разницу составляютъ между собою женщины благороднаго происхожденія, воспитанныя и занимающія видное мѣсто въ свѣтѣ, съ женщинами безъ воспитанія, простыми крестьянками, привыкшими къ грубой пищѣ и обращенію съ ними мужчинъ. Прелести простой деревенской дѣвушки, не покрытой роскошною пеленою достатка и образованія, казались для него кускомъ краснваго мяса.

Твардовскій искалъ; долго и напрасно искалъ онъ небывалаго идеала женщины, которую создавало его фантастическое воображеніе. Между тѣмъ, въ сердце его творились чудеса! Нерѣдко замѣчали, что мимо дома его пробѣгали женщины, извѣстныя своею красотою и поведеніемъ... Молодежь водила къ нему своихъ временныхъ женъ, и Твардовскій не противился этому; прежде чѣмъ приготовиться въ душѣ къ настоящей идеальной любви, онъ предавался скотской, видя въ ней свою прелесть, и въ минуты страстнаго влеченія тѣла, превращался въ заурядnаго звѣря.

Однако онъ чувствовалъ, что минутныя страстныя увлеченія не удовлетворяютъ его, ему нужна была живая, всепоглощающая страсть, которая бы прошла по всему организму, какъ гладильный рѣзецъ скульптора при полировкѣ мраморной статуи. Но, увы, какъ ни отыскивалъ Твардовскій своего идеала, но ни въ одной изъ женщинъ онъ не видѣлъ того, чего искалъ, что бы вызвало его на всѣ пожертвованія; не нашелъ онъ такой, которая бы могла вести его за собою на ниткѣ, какъ послушнаго, кроткаго ребенка, и это приводило его въ отчаяніе.

— Что такое сидитъ во мнѣ, — спрашивалъ онъ себя, что я замѣчаю только одни недостатки и ни къ одной изъ женщинъ не чувствую любви, о которой мечталъ, къ которой стремлюсь и которая потребна для моей жизни, какъ необходима пища для желудка? Неужели наука имѣетъ пагубное вліяніе на мой разсудокъ? Неужели, въ самомъ дѣлѣ, я еще не встрѣчалъ достойной себѣ?.. Быть можетъ, быть можетъ!.. Въ сущности, кто можетъ поручиться за то, что происходитъ внутри человѣка; кто знаетъ себя настолько, чтобы отвѣтить

на этотъ вопросъ?.. Однако, неужели я никогда не найду достойной себя?!

Великій мудрецъ сокрушался, что ожидаемая любовь не приходила къ нему. Но гдѣ же онъ искалъ ее?.. Конечно, гдѣ: на улицѣ, въ домахъ съ позорнымъ именемъ, тамъ, гдѣ царствовала безнравственность, гдѣ женщины сами навязывались ему и, цинично улыбаясь, манили къ себѣ. Но не этой любви нужно было Твардовскому, и хотя онъ принималъ улыбки циничныхъ женщинъ за чистую монету любви и приносилъ себя въ жертву на алтарь безнравственности и разврата, душа его стремилась однако въ тотъ уголокъ, гдѣ чувства его хотѣли найти спокойную пристань.

Въ такомъ состояніи находился Твардовскій въ первые годы своего перерожденія.

Между тѣмъ Матюша ткалъ на окнѣ свою паутину и опутывалъ ею мухъ.

IV.

Какъ Твардовскій воскресилъ воеводу и кого увидѣлъ въ его домѣ.

Въ холодный декабрьскій вечеръ, съ миріадами звѣздъ на темно голубомъ фонѣ неба, морозная мгла покрыла крыши каменныхъ домовъ Кракова. Дымъ, выходившій столбомъ изъ бѣлыхъ трубъ зданій, высоко поднимался къ небу, точно смерчъ въ песчаныхъ дѣвственныхъ степяхъ. Въ многочисленныхъ окнахъ столицы мелькали огоньки. Глубокая тишина, царствовавшая въ опустѣлыхъ улицахъ, нарушаясь лишь опоздалыми пѣшеходами и пѣснями весельчаковъ, возвращавшихся изъ кабаковъ. На башнѣ ратуши пробилъ урочный часъ, возвѣщавшій о времени тушенія огней, которыхъ однако никто и не думалъ тушить, и только окна прикрывались ставнями. Ночной патруль вышелъ изъ гауптвахты на обычный дозоръ; кое-гдѣ слышались громкіе раскаты колясокъ и топотъ лошадей, отвозившихъ своихъ загостившихся господъ по домамъ.

Яркій свѣтъ, выходившій изъ винныхъ погребовъ, кабаковъ, трактировъ и бань доказывалъ, что не всѣ еще веселые

посѣтители думали объ успокоеніи и что разгульная бесѣда была въ самомъ разгарѣ.

Во многихъ домахъ, сквозь открытыя двери сѣней, виднѣлись группы прислуги, играющей въ кости; слышалась шумная бесѣда, нерѣдко крики и брань. У воротъ домовъ кучера и лакеи дожидались своихъ господъ съ экипажами и зажженными факелами въ рукахъ.

Такъ именно было и передъ домомъ Твардовскаго, окна котораго были освѣщены яркимъ огнемъ; внутри комнатъ шла оживленная бесѣда. Въ большой залѣ, освѣщенной яркимъ пламенемъ изъ мраморнаго камина, стоялъ дубовый столъ, покрытый дорогою узорчатою скатертью. Вокругъ стола, на покрытыхъ дорогими коврами скамьяхъ, сидѣли гости и хозяинъ. На столѣ дымились серебряныя вазы съ разными супами и похлебками, приправленными различными пряностями, возбуждавшими аппетитъ голодныхъ собесѣдниковъ. Слуги разносили въ золотыхъ кубкахъ медъ, пиво и вино. Хозяинъ сидѣлъ въ концѣ стола, опершись на руку, и съ веселой улыбкой угощалъ своихъ многочисленныхъ гостей.

Лица, окружавшія столъ, были совершенно новыя, не тѣ, которыя въ прежнее время посѣщали Твардовскаго съ серьезною цѣлью науки, которыя диспутировали съ нимъ. Здѣсь была блестящая молодежь, поклонники веселья и наслажденій, расфранченная въ пухъ и прахъ, надушенная и напомаженная, принадлежавшая къ высшему кругу,—воспитанная молодежь, прожигающая жизнь на паркетныхъ, мраморныхъ и мозаиковыхъ полахъ, въ мягкихъ пуховикахъ и подъ шелковыми одѣялами. Веселая бесѣда молодыхъ людей велась подъ вліяніемъ заморскихъ винъ, которыя развязывали языкъ и возбуждали желанія къ интимнымъ разговорамъ о женщинахъ и разныхъ непозволительныхъ и безнравственныхъ шалостяхъ. Вино ужъ успѣло оказать на нихъ свое дѣйствіе: глаза искрились и на устахъ появились вакхическія улыбки; говорили обо всемъ, кромѣ серьезнаго, смѣялись, шутили и острили. Твардовскій рѣдко вмѣшивался въ ихъ разговоръ, а если и вмѣшивался, то говорилъ какую-нибудь фразу съ насмѣшкой и сарказмомъ. Полупьяная ватага сибаритовъ и нахлѣбниковъ Твардовскаго рукоплескала ему и превозносила его умъ до небесъ.

Въ то время, когда молодежь справляла у Твардовскаго свою вакханалію, на лѣстницѣ послышались чьи-то быстрые шаги.

Всѣ смолкли.

Твардовскій поднялъ голову и тихо сказалъ:

— Кто бы могъ такъ поздно пожаловать ко мнѣ?.. Не вѣчный ли нашъ копунъ, Іакинеъ?..

Но это не былъ Іакинеъ, который, какъ самъ выражался, на женщинахъ „собаку съѣлъ“ и хвастался, что въ него всѣ женщины влюблены. На порогѣ комнаты появился небольшой мальчикъ и, едва переводя духъ, обращаясь къ присутствовавшимъ, сказалъ:

— Мой баринъ умираетъ!

— Вѣчная память ему!—отозвались, громко смѣясь, собесѣдники.

— Кто умираетъ? —вспылилъ Твардовскій,—и какъ смѣешь ты прерывать нашу бесѣду, не оговорившись впередъ зачѣмъ пришелъ.

— Воевода умираетъ, воевода,—повторилъ мальчикъ съ нетерпѣніемъ, увѣренный, что при одномъ имени воеводы всѣ должны обратить на него свое вниманіе.

— Хотя бы сто воеводъ твоихъ отправились на тотъ свѣтъ, мы всѣмъ имъ желаемъ вѣчную память, — возразилъ кто-то изъ собесѣдниковъ.—Проваливай со своимъ воеводой и смертью, которою мутишь намъ въ кубкахъ вино.

Всѣ громко разсмѣялись.

— Да не здѣсь ли, господа, докторъ Твардовскій?—спросилъ растерявшійся мальчикъ.—Я за нимъ присланъ отъ воеводы... Онъ одинъ можетъ спасти его.

— Да будетъ тебѣ извѣстно, молокососъ,—отозвался одинъ изъ собесѣдниковъ,—что Твардовскій не нарушитъ своей бесѣды съ друзьями, ради какого-то вееводы, который не стоитъ стакана добраго вина, вмѣстѣ съ душой и тѣломъ.

— Конечно, конечно, -- воскликнули другіе, боясь прервать свою веселую бесѣду за отсутствіемъ хозяина.

— Но воевода обѣщаетъ ему тысячу золотыхъ флориновъ, если докторъ застанетъ его живымъ; если же онъ умретъ до его пріѣзда,—то пятьсотъ; если вылѣчитъ—то получитъ двѣ тысячи флориновъ.

На эти золотые доводы никто не посмѣлъ возражать посланному.

— Позволите мнѣ уѣхать?—обращаясь къ гостямъ, спросилъ Твардовскій.

Надобно сказать, что сумма, сказанная посланнымъ воеводы была въ то время очень значительна, отъ нея не отказался бы ни одинъ вельможа. Твардовскій былъ очень доволенъ показать людямъ, что источникомъ его доходовъ были знаніе и мудрость, но отнюдь не помощь дьявола, и ему нельзя было не воспользоваться представлявшимся случаемъ. Конечно, онъ ѣхалъ не ради денегъ, но для отвода глазъ и поэтому спросилъ позволенія своихъ гостей.

Гости молчали, въ нерѣшительности посматривая другъ на друга; имъ не хотѣлось прерывать веселой бесѣды, хотя въ тс же время многіе завидовали ему въ назначаемой суммѣ, которая такъ легко доставалась Твардовскому.

— Будь я на вашемъ мѣстѣ,—шепнулъ, наконецъ, одинъ изъ собесѣдниковъ,—я бы непремѣнно уѣхалъ.

— И я тоже,—сказалъ второй.

Твардовскій имѣлъ поползновеніе отвѣтить имъ, какъ Александръ Македонскій, но, подумавъ, поднялся и сказалъ:

— Въ такомъ случаѣ, прошу васъ, господа, остаться здѣсь и не прерывать начатой бесѣды. Матвѣй займетъ мое мѣсто; погребъ мой къ вашимъ услугамъ, — пейте, сколько душѣ угодно. А пока, господа, выпьемте прощальный бокалъ за успѣхъ моего визита къ умирающему.

Съ этими словами онъ всталъ и, поднявъ кубокъ, выпилъ за здравіе гостей и ушелъ.

Распорядившись запречь хорошихъ лошадей въ легкій фаетонъ и взявъ съ собою четырехъ гайдуковъ въ богатыхъ ливреяхъ съ зажженными факелами въ рукахъ, Твардовскій помчался по пустыннымъ краковскимъ улицамъ.

Завернувшись въ плащъ, Твардовскій углубился въ размышленія, пока лошади проскакали пространство нѣсколькихъ миль, отдѣлявшихъ замокъ воеводы отъ Кракова. Твардовскій ѣхалъ всю ночь по самой скверной дорогѣ, и только на зарѣ добрался до цѣли своего путешествія. Всматриваясь въ ясное небо, усѣянное звѣздами и окутывавшее мракомъ дорогу, онъ

предавался глубокимъ думамъ о величественной картинѣ чудной природы въ объятіяхъ ночи.

Какъ ни спѣшилъ Твардовскій попасть во время, но было уже поздно, когда лошади подкатили подъ крыльцо замка воеводы. Унынie и слезы домашнихъ воеводы, поджидавшихъ Твардовскаго у воротъ, не предвѣщали ничего утѣшительнаго. Встрѣтившая его прислуга объявила ему, что воевода умеръ и Твардовскій хотѣлъ возвратиться обратно, но, уступая просьбамъ родныхъ воеводы, онъ согласился зайти въ комнаты и подкрѣпить свои силы. Родные воеводы отсчитали ему за труды пятьсотъ флориновъ, но Твардовскій отказался отъ нихъ.

Это очень удивило родныхъ, которые не ожидали, чтобы Твардовскій былъ такъ безкорыстенъ. Они хорошо помнили извѣстнаго доктора Ласкариса-Балинскаго, который за свои посѣщенія къ больнымъ взималъ ужасную контрибуцію, какъ съ богатыхъ, такъ и съ бѣдныхъ, и не трогался съ мѣста, пока требуемая сумма не была отсчитана и не положена передъ нимъ на столъ.

— Воевода умеръ,—сказалъ Твардовскій,—слѣдовательно, я не заслужилъ вознагражденія и не въ правѣ принять его. Одного только прошу—это угощенія для моей прислуги и позволенія нѣсколько минутъ отдохнуть у васъ, такъ какъ я очень усталъ.

И здѣсь Твардовскій заботился о славѣ!

— Но прежде чѣмъ успокоиться, я желалъ бы удостовѣриться,—подумавъ, продолжалъ онъ,—дѣйствительно ли умеръ воевода?

— Къ несчастью, это неопровержимо,—отвѣчалъ со слезами на глазахъ сидѣвшій въ углу племянникъ воеводы, которому дядя не успѣлъ ничего завѣщать послѣ себя.

— Гдѣ лежитъ покойникъ?—спросилъ какъ-бы равнодушно Твардовскій.

— Здѣсь, на катафалкѣ,—сказалъ тотъ же племянникъ, показывая на другую комнату.

Твардовскій покачалъ головою, сѣлъ и глубоко призадумался.

— Нельзя ли взглянуть на него?—спросилъ Твардовскій.

— Да зачѣмъ онъ вамъ?—возразилъ племянникъ.—Онъ ужъ разложился, пожалуй...

Молодой человѣкъ рыдалъ.

— Вѣдь вы не воскресите его,—продолжалъ онъ.

— Если дѣйствительно умеръ, конечно, нѣтъ,—спокойно возразилъ Твардовскій.

— Но почему же вы сомнѣваетесь, что дядя не умеръ?—съ удивленіемъ спросилъ племянникъ.—Я самъ присутствовалъ при его смерти.

— Прикажите выйти изъ залы священникамъ и народу; я осмотрю его наединѣ,—сказалъ настойчиво Твардовскій.

— Съ какой стати тревожить прахъ?—сказалъ тотъ же племянникъ, не имѣвшій никакой надежды на воскресеніе воеводы.

— И дѣйствительно, къ чему тревожить? — вступился наслѣдникъ воеводы; ему помогъ третій, разсчитывавшій на его протекцію.

Однако, несмотря на всѣ возраженія, Твардовскій настаивалъ на своемъ.

Твардовскаго ввели въ большую залу, обитую чернымъ сукномъ, посрединѣ которой стоялъ богатый катафалкъ съ малиновымъ гробомъ, поставленнымъ на немъ. Вокругъ катафалка горѣли свѣчи яраго воска. Воевода лежалъ въ гробу. Лицо покойника пожелтѣло, губы посинѣли и полуоткрылись, глаза провалились, носъ вытянулся, руки и ноги окоченѣли.

Твардовскій взялъ руку покойника, посмотрѣлъ на него, подумалъ и наконецъ сказалъ:

— Воевода живъ.

Крикъ удивленія вырвался изъ груди присутствовавшихъ: нѣкоторые разсмѣялись и думали, что великій ученный рехнулся.

— Вы шутите!—сказалъ наслѣдникъ.

Всѣ начали спорить и шумѣть; но обрадованный племянникъ принялся убѣждать, что Твардовскій, быть можетъ, и не ошибается.

Пользуясь общимъ смятеніемъ, Твардовскій приказалъ вынуть трупъ изъ гроба и перенести въ спальню. Тамъ онъ пустилъ кровь покойному, которая, къ удивленію родныхъ, брызнула изъ раны широкою струей; затѣмъ онъ вытеръ ему

чѣмъ-то лобъ и носъ, открылъ вѣки и въ уста умершаго влилъ какихъ-то капель.

Къ немалому изумленію всѣхъ присутствовавшихъ, въ воеводѣ начали обруживаться признаки жизни, грудь заколыхалась, сердце забилось и глаза открылись. Всѣ отскочили въ ужасѣ; между тѣмъ воевода повернулся въ постели и простоналъ.

Въ замкѣ поднялась страшная тревога и суматоха; кричали и шумѣли; одни уѣзжали изъ замка, другіе пріѣзжали въ замокъ; гробовщиковъ и могильщиковъ прислуга гнала вонъ въ шею. Въ спальню вбѣжала жена и дѣти, но Твардовскій не допустилъ ихъ и приказалъ положить воеводу въ теплую постель, а самъ началъ приготовлять лѣкарства и лѣчить больного.

Черезъ три дня всевода выздоровѣлъ и передъ Твардовскимъ положена была сумма въ три тысячи флориновъ. Никто такъ не радовался выздоровленію воеводы, какъ молодой племянникъ. Онъ не зналъ какъ благодарить Твардовскаго...

Но среди общей радости Твардовскій былъ задумчивъ и скученъ. Простившись съ воеводою, онъ сѣлъ въ свою коляску, за которой находились два прекрасныхъ мерина, подаренные ему воеводою и племянникомъ, и уѣхалъ домой. Отъѣзжая отъ крыльца, Твардовскій часто оглядывался на замокъ, вздыхалъ и морщилъ брови... Его, повидимому, что-то занимало и безпокоило.

На это была причина.

На другой день по пріѣздѣ въ замокъ воеводы, Твардовскій, мучимый безсоницей, вышелъ вечеромъ въ садъ пройтись и подышать свѣжимъ воздухомъ. Гуляя по аллѣе, онъ встрѣтилъ двухъ женщинъ; одна изъ нихъ была молодая красивая дѣвушка, вторая—наоборотъ—старуха.

Взглянувъ на молодую дѣвушку, Твардовскій остолбенѣлъ отъ изумленія... Казалось, что онъ гдѣ-то встрѣчался съ нею, но когда и гдѣ—онъ не могъ припомнить. Дѣвушка эта была ему знакома... Знакома?.. Но если бы она была знакома, могъ ли онъ позабыть ее? Нѣтъ. Дѣвушка эта была плодомъ его фантазіи, созданіемъ его воображенія; это былъ идеалъ, существо, о которомъ онъ думалъ и мечталъ долгое время. Въ

чертахъ лица молодой дѣвушки было столько же знакомаго сколько и таинственнаго, давно ожидаемаго. Это была не обыкновенная красота простушки, которую Твардовскій называлъ „прекраснымъ кускомъ мяса“, которая такъ же скоро увядаетъ, какъ и расцвѣтетъ; въ лицѣ ея не было видно той испорченности и черствости сердца, которыя нерѣдко видны на лицахъ прекраснаго пола, служащихъ извѣстною вывѣскою опытному глазу. Напротивъ, красота ея была въ зрѣломъ расцвѣтѣ и и полной силѣ, съ какимъ-то оттѣнкомъ гордости и превосходства. Открытый лобъ, точно выточенный изъ слоновой кости, черные глаза, полные огня и страсти, маленькій ротикъ, очерченный розовыми губками, небольшой носикъ, словомъ, все дышало благородствомъ и красотою. Въ граціозной походкѣ, движеніяхъ и жестахъ, проявлялась особенная пикантность, какъ говорятъ знатоки прекраснаго пола, которою отличаются женщины высшаго круга и воспитанія.

Твардовскій не могъ объяснить себѣ, отчего, послѣ такого множества женщинъ, видѣнныхъ имъ, ни одна не произвела на него такого сильнаго впечатлѣнія, какъ эта несравненная красавица.

Что же касается молодой дѣвушки, то едва-ли она замѣтила доктора, а если и замѣтила, то случайно, мимоходомъ, какъ замѣчала стѣны, деревья или землю, по которой шла.

Не обративъ особеннаго вниманія на Твардовскаго, она направилась въ замокъ. Твардовскій пошелъ слѣдомъ за нею и тотчасъ же началъ разспрашивать прислугу, кто она. Сначала онъ принялъ ее за дочь воеводы, но вскорѣ узналъ свою ошибку: у воеводы не было взрослой дочери. Это нѣсколько утѣшало его, потому что онъ уже чувствовалъ, что ожидаемая любовь зарождалась въ его сердцѣ.

— Это сиротка, пріемышъ,—отвѣчала прислуга воеводы,— дочь бѣднаго шляхтича, которую воевода взялъ къ себѣ на воспитаніе. У нея есть какіе-то дальніе родственники въ Краковѣ, и она, вѣроятно, скоро возвратится къ нимъ.

Разузнавъ отъ прислуги все небходимое, Твардовскій записалъ имена ея родственниковъ и съ нетерпѣніемъ ждалъ случая опять увидѣться съ нею, случай этотъ, однако, не представился и онъ не могъ увидѣть ее. Его терзало только

ея гордое выраженіе лица, но онъ далъ слово завладѣть ею, какимъ бы то ни было путемъ, хотя бы для этого пришлось прибѣгнуть къ помощи дьявола, пролить кровь, употребить ядъ; на все соглашался Твардовскій и клялся всѣми духами ада, что она будетъ его женою.

Съ такими мыслями онъ уѣзжалъ отъ воеводы въ Краковъ, оглядываясь на красныя стѣны замка.

V.

Родные Агнесы.

Не нравились теперь Твардовскому посѣщенія пріятелей и шумное общество; онъ думалъ только о прекрасной сироткѣ и жаждалъ познакомиться съ нею, сблизиться, бывать въ ея домѣ. Занятый этою мыслью, Твардовскій послалъ розыскать ея родныхъ, узнать, не пріѣхала ли она въ Краковъ.

Построивъ свой планъ, онъ рѣшился познакомиться съ родными Агнесы (имя сироты) до ея пріѣзда. Случай вскорѣ представился и Твардовскій воспользовался имъ, чтобы подготовить себѣ твердую почву, чтобы, бывая у ея родныхъ, какъ старый знакомый, не выдать своего замысла и легче достигнуть намѣченной цѣли.

Твардовскій рѣшился во что бы то ни стало заключить съ ея родными твердый союзъ.

Родные Агнесы были въ сущности мѣщане, но принятые къ дворянскому гербу Пораевъ. Присвоивъ себѣ ихъ гербъ и и фамилію, они пользовались въ то время немалымъ значеніемъ въ краковскомъ магистратѣ. Пораи были состоятельные люди, хотя состояніе ихъ и было пріобрѣтено торговыми оборотами; они владѣли однимъ изъ лучшихъ домовъ въ Краковѣ. Надо сказать, что шляхта смотрѣла свысока на Пораевъ, потому что дѣдъ Порая былъ торгашемъ-аршинникомъ, котораго многіе еще помнили. Доказательствомъ тому, что Порай былъ торгашъ, служили лавки, находившіяся въ нижнемъ этажѣ его дома, въ которыхъ онъ однако не торговалъ въ послѣднее время, но отдавалъ въ наемъ. Принимая во вниманіе, что они

давно покинули торговлю, обзавелись двумя имѣніями вблизи Кракова и ставили людей въ ополченіе, краковскіе дворяне охотно знакомились и братались съ Пораями.

Глава дома Пораевъ, Станиславъ Порай, былъ ужасный выжига; это былъ человѣкъ всевѣдущій и вездѣсущій, знающій всѣ подноготныя, неумолкаемый говорунъ, каламбуристъ: онъ зналъ всѣ басни и побасенки, пословицы и поговорки, преданія и лѣтописи. Любилъ погулять и говорилъ громко, точно изъ пушки палилъ словами. На досугѣ Порай велъ свою хронику, — время, увы, не пощадило, этой драгоцѣнности, которую любилъ прочитывать при всякомъ удобномъ случаѣ, тѣмъ болѣе тѣ отрывки, въ которыхъ заключались его умозаключенія и сентенціи, подкрѣпленныя и подправленныя,— точно кушанья заморскими кореньями,—цитатами изъ Сенеки, Тита Ливія, Тацита, Овидія и Виргилія. Почти всѣ творенія великихъ древнихъ ученыхъ онъ зналъ наизустъ.

Въ сущности же, Порай былъ весьма поверхностнаго образованія, и больше „краснобай“, чѣмъ философъ. Не вникая въ сущность вещей, о которыхъ говорилъ, онъ былъ недюжинный болтунъ и порядочный разсказчикъ, что особенно льстило его самолюбію; къ тому же тщеславный, вѣрящій на слово каждому льстецу, который успѣвалъ расположить его какой нибудь остротой или панегирикомъ, щекотавшимъ его душу. Его легко было убѣдить въ небывалыхъ достоинствахъ; онъ вѣрилъ въ нихъ, какъ въ свои собственныя, въ которыхъ былъ убѣжденъ; порой увлекался всякимъ самохваломъ, превозносившимъ себя до небесъ; если же онъ убѣждался въ какомъ нибудь самохвалѣ, — такого человѣка онъ горячо отстаивалъ и защищалъ на всѣхъ пунктахъ, крѣпко держась при этомъ собственнаго мнѣнія.

Почтенная его супруга, Варвара, дочь бѣдныхъ, но благородныхъ родителей, высоко цѣнила свое шляхетское достоинство и свои родственныя связи. Она влюблена была въ своего стараго мужа, какъ это иногда случалось въ доброе старое время. Впрочемъ, въ то время было вовсе не въ диковинку видѣть старыхъ „сизыхъ голубковъ“ ворковавшими, точно молодые: это встрѣчалось сплошь да рядомъ.

И не мудрено поэтому, что Варвара Порай, увлекаясь

краснорѣчіемъ своего мужа, привязывалась къ нему на старости лѣтъ съ каждымъ днемъ все сильнѣе и сильнѣе, и успѣла увѣрить себя въ томъ, что ея неоцѣненный Станиславъ былъ мудрѣйшій изъ смертныхъ. Слѣпая любовь старухи не допускала соперниковъ своему мужу ни въ умственномъ развитіи, ни во внѣшнихъ качествахъ, хотя Станиславъ Порай былъ только не безобразенъ, но уступалъ по наружности во всемъ многимъ. Домовитая хозяйка, со связкою ключей за поясомъ, проводила цѣлые дни въ кухнѣ и кладовыхъ и даже на скромномъ супружескомъ ложѣ бредила стряпнею кушаньевъ, вареньями и наливками. Сквозь сонъ она бранилась съ прислугою, но не забывала притомъ приголубливать своего мужа и давать ему нѣжный эпитетъ „котенка“. Съ своей стороны, мужъ платилъ взаимностью старушкѣ и любилъ, какъ говорятъ, по старопольски. Глубоко уважая въ ней достоинства жены и хозяйки, онъ нерѣдко награждалъ ее поцѣлуемъ, что случалось однако лишь въ большіе торжественные праздники. Больше всего онъ работалъ и заботился, чтобы увѣрить жену въ своей учености и обширности своего ума, надѣясь этимъ довести любовь своей жены до обожанія.

Теорія супружескаго счастья, какъ видите, была прочно установлена.

Супруги были бездѣтны. Бѣдная сиротка, которую Твардовскій встрѣтилъ въ замкѣ воеводы, была родственница жены Порая. Воевода, при жизни своей дочери, любилъ Агнесу, которая связана была съ нею узами неразрывной дружбы, и принималъ живое участіе въ воспитаніи сироты. По смерти своей пріятельницы, Агнеса изрѣдка посѣщала замокъ, съ цѣлью повидаться съ своимъ покровителемъ и взглянуть на мѣсто, гдѣ протекли ея лучшіе годы юности; все остальное время она проводила въ Краковѣ у своей родственницы, Варвары Порай.

Однако, довольно о Пораяхъ, будемъ говорить объ Агнесѣ. Молодая дѣвушка была рѣдкимъ и драгоцѣннымъ самородкомъ. Одаренная природою всѣми совершенствами, она привлекала къ себѣ своимъ умомъ и огнемъ черныхъ глазокъ, горѣвшихъ, какъ два уголька, величественностью своей фигуры и исполненнымъ благородства выраженіемъ лица; предъ ея гордымъ

величіемъ казались всѣ миніатюрными карликами, и помимо воли всѣ мужчины признавали свою ничтожность и преклонялись передъ ея красотою и благородствомъ съ какою-то почтительною боязнью.

Характеръ Агнесы совершенно соотвѣтствовалъ ея наружности. Въ то время Агнеса была очень рѣдкимъ явленіемъ среди женщинъ. Несмотря на свою бѣдность и одиночество, она знала себѣ цѣну и на мелкую шляхту не обращала никакого вниманія: ниже кастеляна она не удостоила бы никого своею любовью. Простыхъ смертныхъ она презирала, и смѣялась надъ красивыми юношами, осыпая ихъ нерѣдко язвительными колкостями, громила молокососовъ и на брачныя ихъ предложенія отвѣчала насмѣшками, въ видѣ гороховыхъ вѣнковъ.

Несмотря на свою бѣдность, Агнеса тѣмъ не менѣе гордилась своею красотою и благородствомъ происхожденія.

Въ особенности она удивляла всѣхъ своею необыкновенною ученостью, которая усиливала ея тщеславіе. Цѣня высоко науки и знаніе,—въ прежнее время запрещенный плодъ для женщинъ,—она являлась рѣдкимъ существомъ, чѣмъ-то среднимъ между мужчиною и женщиною. Истиннымъ наслажденіемъ и самою пріятною забавою было для нея ловить неосторожно сказанныя слова и затѣмъ терзать насмѣшками несозрѣвшихъ мудрецовъ, или, вѣрнѣе, недоучекъ. Поэтому, несмотря на ея рѣдкую красоту, молодежь начала избѣгать ее. Волокиты бросились на болѣе легкія побѣды, и Агнеса вскорѣ очутилась покинутою всѣми многочисленными поклонниками ея красоты, и въ довершеніе всего, въ двадцатипятилѣтнемъ возрастѣ; это было именно въ то время, когда Твардовскій въ первый разъ встрѣтился съ нею въ саду воеводы.

Нерѣдко Агнесѣ приходилось выслушивать упреки Станислава, который ставилъ ей въ примѣръ свою жену, а ее считалъ какимъ-то феноменомъ.

— И зачѣмъ это ты отказала столькимъ почтеннымъ и уважаемымъ женихамъ?— говорилъ Станиславъ съ укоромъ.— Теперь ужъ никому не нужна твоя рука,—кто возьметъ ее? Красота твоя съ каждымъ годомъ увядаетъ, лицо вскорѣ покроется морщинами, слезы избороздятъ его глубокими рвами и ты останешься навсегда старой дѣвой.

— Да ужъ лучше остаться старою дѣвой,—отвѣчала обыкновенно гордая красавица,—чѣмъ связать себя съ какимъ-нибудь глупымъ шалопаемъ.

— Ну, это ужъ слишкомъ!—Глупымъ шалопаемъ! —воскликалъ разсерженный Порай.—И ты осмѣливаешься называть такихъ жениховъ глупыми шалопаями?.. Ты подумай только, сколько достойныхъ купцовъ и мѣщанъ искали твоей руки!.. Неужто, по твоему, между ними не нашлось ни одного порядочнаго и умнаго человѣка, которымъ бы не погнушалась первѣйшая изъ краковскихъ невѣстъ.

— Желаю имъ счастья, хладнокровно и съ ироніей отвѣчала Агнеса, — съ менѣе прихотливыми женщинами.

— Что же ты думаешь, однако, дѣлать съ собою?—спрашивалъ ее Станиславъ послѣ такого возраженія.

— Если вы оставите меня, вы, которыхъ я считаю ближайшими родными и покровителями, я пойду въ монастырь и постригусь въ монахини.

— Гм... гм!.. Ну, зачѣмъ говорить о монастырѣ?.. — возражалъ на это Станиславъ Порай.—Ты знаешь, что мы не покинемъ тебя... Ни мнѣ, ни Варварѣ никогда и въ голову не приходила подобная мысль. Единственное наше желаніе обезпечить твою будущность, потому что дѣвушка не можетъ считать себя въ безопасности, пока не устроитъ свою судьбу, пока не ввѣритъ ее избраннику сердца.

Порай, по обыкновенію, называлъ ее латинской фразой — hic mulier—и хотя, въ сравненіи съ своей женой, считалъ ее какимъ-то нравственнымъ уродомъ, однако же питалъ къ ней любовь и привязанность, быть можетъ, потому, что она терпѣливо выслушивала чтеніе его безконечныхъ сентенцій и цитатъ.

Какъ видно изъ этого отрывка разговора Агнесы съ Станиславомъ, молодая дѣвушка цѣнила себя слишкомъ высоко и не падала духомъ; тщеславясь своею красотою, остроуміемъ и ученостью, столь необыкновенными для ея пола, она почти не обращала вниманія на доводы родственника. Смотря свысока на свѣтъ, Агнеса не унывала, что молодежь отстранилась отъ нея и что годы переходили границу молодости, а красота блекла почти съ каждымъ днемъ. Всѣхъ поклонниковъ ей замѣняли книги; она была увѣрена въ ничтожествѣ тѣхъ, кото-

рые не умѣли цѣнить ея красоты и держали себя въ ея присутствіи какими-то шалопаями. Несмотря на свои годы, она не теряла однако надежды на счастливый бракъ. Но кто не ласкалъ себя этой надеждой?..

Такова была красавица, которую Твардовскій полюбилъ съ перваго взгляда.

Наконецъ Агнеса возвратилась въ Краковъ.

Едва только она остановилась у крыльца квартиры Порая, какъ люди, караулившіе ея пріѣздъ, тотчасъ донесли о томъ великому ученому.

Въ тотъ же вечеръ Твардовскій, съ сопровожденіи гайдуковъ и лакеевъ, въ золоченой каретѣ подкатилъ къ крыльцу дома Порая. Сбираясь къ нему, онъ принялъ видъ, точно возвращался изъ деревни и, якобы невзначай, заѣхалъ навѣстить стариковъ.

Хозяева приняли гостя очень любезно и даже радушно. Порай по обыкновенію пустился въ ученые дебаты, которымъ любилъ угощать всѣхъ своихъ гостей.

Вскорѣ въ комнату вошла Агнеса и сѣла за пяльцы, которые стояли рядомъ съ пяльцами жены Порая. Станиславъ предупредительно познакомилъ Твардовскаго съ своей родственницей и разсыпался въ похвалахъ ея уму и учености. Агнеса замѣтила Твардовскому, что она видѣла его въ замкѣ воеводы. Это польстило самолюбію влюбленнаго и ободрило его, Агнеса же напомнила ему объ этомъ, съ цѣлью похвастаться своими связями съ воеводою; но Твардовскій не замѣтилъ этого и, радуясь хорошему началу своего знакомства съ молодой дѣвушкой, подошелъ къ ней и началъ разговоръ, который повидимому понравился молодой дѣвушкѣ.

Агнеса держала себя съ Твардовскимъ гораздо свободнѣе и лучше, чѣмъ со всѣми своими прежними поклонниками. До начала своего знакомства съ домомъ Порая, Твардовскій слышалъ много разныхъ вещей по поводу неприступной гордости молодой красавицы и удивлялся, что она съ нимъ такъ любезна и привѣтлива, развязна и мила, тогда какъ всѣхъ искателей своей руки она третировала и насмѣхалась надъ ними безъ всякаго милосердія. Ему и въ голову не приходило, что Агнеса считала его свѣтиломъ науки, въ лицѣ котораго она вп-

дѣла своихъ идоловъ—славу и недосягаемое величіе. Снисходительность свою она простерла до изысканной нѣжности, потому что чувствовала себя побѣжденной великимъ человѣкомъ, чудомъ вѣка, присутствіе котораго чувствовала возлѣ себя, который осчастливилъ ее своею бесѣдой и дыханіе котораго она ощущала на своемъ лицѣ...

Наконецъ насталъ чередъ Агнесы подумать, какъ опутать своими сѣтями великаго ученаго, какъ покорить его слишкомъ непокорное сердце, которымъ еще никто не осмѣливался овладѣть. Въ прекрасной головкѣ гордой красавицы создавался и созрѣвалъ уже планъ!.. Ее побуждало къ этому не только тщеславіе сдѣлаться женою Твардовскаго, но и его неистощимое богатство, о которомъ такъ много говорилось вездѣ и ходили самые преувеличенные слухи. Было о чемъ подумать, конечно; и не мудрено, что дѣвушка призадумалась надъ тѣмъ какъ опутать Твардовскаго.

Съ своей стороны, Твардовскій страстно и безгранично полюбилъ Агнесу. Въ ней онъ находилъ все то, о чемъ мечталъ и что создавало его воображеніе.

Не разъ приходило въ голову гордой красавицѣ, что никто не можетъ покорить его сердце, кромѣ нея, великой женщины, какъ она называла себя,—сердце величайшаго и славнѣйшаго изъ мужчинъ, которыхъ она видѣла въ жизни. Она не пренебрегала никакимъ оружіемъ, къ которому прибѣгаетъ кокетство женщины: страстные взгляды, слова, обворожительныя улыбки, жесты, грація—все было пущено въ ходъ, чтобъ приворожить къ себѣ ученаго.

Уѣзжая отъ Порая, счастливый и восхищенный Твардовскій горѣлъ желаніемъ скорѣе овладѣть красавицею, этимъ чудомъ ума, невинности и добродѣтели, и онъ чувствовалъ, что побѣда достанется ему гораздо легче, чѣмъ онъ могъ ожидать.

Начало было, какъ нельзя болѣе удачное: оба влюбились другъ въ друга и оба мечтали, хотя и различно, какъ бы половчѣе обдѣлать блестящее дѣло. Въ то время, когда пылкое воображеніе Твардовскаго рисовало ему несравненную красоту и прелесть Агнесы, молодая дѣвушка только и думала о славѣ, знаменитости и богатствѣ ученаго. Ей, какъ тщеславной женщинѣ, нужны были только наружный блескъ счастья, пустые

возгласы толпы; Твардовскому же, наоборотъ, нужна была искренняя любовь, которую онъ однако не прочиталъ бы въ ея глазахъ, если бъ попристальнѣе взглянулъ на нихъ: кромѣ безчувственной холодности и тщеславія, онъ не замѣтилъ бы въ нихъ сердечной привязанности и не только страстной, но и самой обыкновенной любви. Чувства ея засохли въ основаніи, и если возрождались, то развѣ на мгновеніе, только для того, чтобы помечтать о благахъ міра, для которыхъ она пожертвовала всѣмъ на свѣтѣ. И во снѣ, и на яву она бредила громкими титулами, даже коронами, блескомъ богатства и славой.

Удивительно! Какъ могъ такой великій ученый, прозрѣвавшій душу и характеръ человѣка, ошибиться въ выборѣ женщины?.. Впрочемъ, любовь всегда слѣпа, и причину этого ослѣпленія лучше всего могъ бы объяснить дьяволъ, который раздулъ въ сердцѣ Твардовскаго огонь страсти. Имѣя въ виду свои демоническіе разсчеты, онъ и спѣшилъ воспользоваться ими.

VI.

Что совѣтовалъ Твардовскому дьяволъ.

Съ перваго знакомства началось ухаживаніе Твардовскаго за молодой красавицей, и оба они не скрывали своей симпатіи другъ къ другу. Несмотря на частыя свиданія его съ Агнесой въ любое время, Твардовскій ходилъ даже въ церковь, чтобы увидѣться съ нею, не говоря уже объ обыкновенныхъ ежедневныхъ прогулкахъ и публичныхъ гуляньяхъ; словомъ, ходилъ вездѣ, гдѣ только можно было имѣть надежду встрѣтиться съ нею. Почти все свободное время Твардовскій посвящалъ исключительно ей, и съ каждымъ днемъ они болѣе и болѣе сближались и дружились. Зная женщинъ, Твардовскій удивлялся своей робости въ присутствіи Агнесы, которой досихъ поръ не могъ высказать ни одного слова о своей любви, въ расположеніи и сочувствіи которой однако онъ ни мало не сомнѣвался. Но что значили пустыя слова и объясненія, когда Агнеса безъ словъ чувствовала его страстную любовь! Красавица не думала обезоруживать Твардовскаго и сама съ

страстнымъ нетерпѣніемъ ожидала объясненій, и даже ободряла его въ минуты колебаній, когда страстное слово «люблю» готово было сорваться съ его губъ; несмотря однако на всѣ ободренія, Твардовскій робѣлъ и потуплялся, какъ ребенокъ, при одной мысли о признаніи.

Въ такія минуты въ немъ происходила какая-то непонятная борьба съ самимъ собою и благородными чувствами любви, между которыми становился дьяволъ съ своими адскими планами. Борьба происходила, собственно, изъ-за вопроса, жениться, или только любить; любовницей или женой должна быть для него Агнеса? Долженъ ли онъ предложить ей временную связь или законную, освященную церковью и неразрывную навѣки?

Каждый пойметъ, какое слабое ручательство представляло Твардовскому званіе любовника красавицы и какова могла быть прочность этой любви; къ тому же для его горячей, страстной любви мало было этого неблагозвучнаго титула любовника. Ему казалось (какъ и каждому изъ насъ въ этомъ случаѣ), что онъ будетъ любить ровно цѣлый вѣкъ, и поэтому желалъ имѣть ее своею женой, чего однако не хотѣлось дьяволу, который употреблялъ всѣ средства, чтобы удержать Твардовскаго отъ рѣшительнаго объясненія съ Агнесой.

— Ты подумай только, — говорилъ ему сатана, — какое это ребячество!.. Изъ-за этого ты потеряешь славу, спокойствіе и счастье; свяжешь себя по рукамъ и ногамъ, дашь ей право на твою жизнь, на время, на трудъ, на богатство; изъ вольнаго человѣка сдѣлаешься рабомъ жены. Меня, конечно, не удивляетъ твое желаніе обладать ею, и я противъ этого ничего не имѣю, но обладать свободно, не связывая себя вѣчной клятвой, которая существуетъ только для черни, для дураковъ, ищущихъ себѣ рабства и нуждающихся въ немъ, какъ въ кускѣ насущнаго хлѣба, которые отъ колыбели привыкли тянуть ярмо неволи. Кромѣ того, ты долженъ подумать и о томъ, не будетъ ли твой бракъ противорѣчить заключенному между нами условію?

— Я отдалъ тебѣ только мою душу, но воля моя для тебя неприкосновенна — возразилъ Твардовскій, — и съ нею я могу поступать по своему усмотрѣнію и дѣлать, что вздумается.

— Ты, конечно, правъ,—сказалъ дьяволъ,—я и не противорѣчу твоей волѣ. Но отбросимъ въ сторону интересы ада и будемъ говорить только о твоихъ. Неужели тебѣ хочется женитьбой нажить бѣду, заботы и дѣтей; находиться всегда подъ гнетомъ жены и въ потѣ лица коротать жизнь? Можешь ли ты наконецъ быть счастливымъ такъ, какъ бы тебѣ хотѣлось въ то время, когда ты долженъ дѣлиться съ женщиной, которую едва ли узналъ—женщиной, которую создало собственное твое воображеніе?

— О, я знаю ее очень хорошо!..—возразилъ Твардовскій,— это единственная женщина въ мірѣ, которая достойна моей любви и у которой тѣло такъ же прекрасно, какъ и душа. Кубокъ соотвѣтствуетъ благовонному нектару.

— Серьезно?..—вопросительно воскликнулъ дьяволъ, заливаясь ироническимъ смѣхомъ.—Конечно, что и говорить!.. Это совершенство!.. Но, посмотримъ, будешь ли ты счастливъ съ нею; согласится ли она во всемъ съ тобою... Ты привыкъ къ свободѣ, а она—къ регулярности, какъ часы на ратушѣ, которые, пробивъ свои двадцать четыре часа, начинаютъ счетъ неукоснительно съ перваго. До сихъ поръ ты не зналъ ни ночи, ни дня, не зналъ конечнаго назначенія часовъ — этой несносной неволи, жилъ непринужденно: ѣлъ, пилъ, спалъ, когда и сколько хотѣлъ... Ну, а теперь все это исчезнетъ и ты будешь зависѣть отъ жены, которая распредѣлитъ для тебя время сна, обѣда, любви, занятій и т. п. Если женѣ вздумается спать — и ты долженъ дѣлать то же, если захочется ѣсть, ты тоже долженъ ѣсть съ нею, если она весела, ты тоже долженъ веселиться, если скучна — плакать вмѣстѣ съ нею; тебя заставитъ она цѣловаться и нѣжничать по своему произволу, тогда какъ ты съ удовольствіемъ бы отдался труду или отдохновенію; ты долженъ сдѣлаться тѣнью жены, исполнительной буквой ея воли. Въ то время, когда ты займешься великими вопросами науки, она броситъ тебѣ подъ носъ твое платье и засыпетъ упреками, зачѣмъ такъ скоро истаскалъ его; когда послѣ трудовъ ты захочешь предаться отдохновенію, тебя она разбудитъ вопросомъ, что ты завтра будешь кушать. Словомъ, ты будешь связанъ, запертъ, какъ въ тюрьмѣ, измученъ и уничтоженъ.

— Ахъ, оставь ты меня, пожалуйста, въ покоѣ со всѣми твоими предсказаніями... Я твердо рѣшился жениться, ну и женюсь...

— Сердись, сколько угодно, но я все-таки долженъ предупредить тебя, что ты получишь согласіе твоей Агнесы только въ томъ случаѣ, если тайкомъ увезешь ее отъ родныхъ, потому что,—хотя она и желаетъ выйти за тебя и хотя Порай любитъ тебя,—но онъ не отдастъ ее за тебя, потому что, тебѣ должно быть извѣстно, Агнеса должна сдѣлаться наслѣдницею всего состоянія Пораевъ; а въ духовномъ завѣщаніи сказано, что только въ томъ случаѣ она будетъ наслѣдницей всего богатства, если выйдетъ за какого нибудь его родственника изъ купцовъ. Вѣдь Порай въ глазахъ людей не бѣднѣе тебя, а ты знаешь, что нынѣче даже пятнадцатилѣтняя дѣвушка не промѣняетъ золото на любовь, твоей же Психеѣ гораздо болѣе пятнадцати лѣтъ,—чуть что не вдвое. Повѣрь мнѣ, какъ честному чорту, что она расположена къ тебѣ только изъ-за славы, которою ты обладаешь; она ласкаетъ и любитъ тебя, потому что ты извѣстенъ міру, къ тому же очень богатъ... Впрочемъ, что касается ея самой, она, быть можетъ, добровольно согласится отдать тебѣ свою руку и стать подъ вѣнецъ; но все-таки будетъ имѣть въ виду поименованныя мною препятствія, противъ которыхъ не посмѣетъ идти... Желаніе Порая, выраженное въ завѣщаніи, сильно дѣйствуетъ на нее.

— Въ такомъ случаѣ я тайкомъ увезу ее, и все-таки женюсь, — сказалъ Твардовскій; — иначе, она ни за что не согласится сдѣлаться моей любовницей.

— Гм!..—чмыхнулъ дьяволъ.— Съ тобой, повидимому, никакъ не сговоришься... Впрочемъ, какъ хочешь, я, пожалуй, и здѣсь сослужу тебѣ службу... Я самъ повѣнчаю васъ, и, ради этого торжества, переодѣнусь священникомъ... Привози ее въ лѣсъ или какую-нибудь полуразрушенную часовню на перекресткѣ дорогѣ, или, наконецъ, въ пустую избу въ глушя... Ты скажешь ей, что пригласилъ меня изъ монастыря Бернардиновъ, и дѣло будетъ въ шляпѣ. Вѣдь тебѣ все равно, кто бы не повѣнчалъ васъ.

Твардовскій призадумался и опустилъ глаза; потомъ опять взглянулъ на дьявола и взволнованно сказалъ:

— Нѣтъ, я не хочу обманывать ее.

— Видно, любовь сдѣлала тебя отъявленнымъ трусомъ,— сказалъ дьяволъ.—По моему, только бы бракъ былъ оформленъ, въ виду того, что если ты вдругъ пожелаешь разойтись съ своей женою...

— Разойтись! Мнѣ съ нею разойтись, бросить ее!..—воскликнулъ Твардовскій.

— Ну, ну, не кричи такъ громко,—сказалъ хладнокровно дьяволъ.—Чтожъ тутъ удивительнаго?.. Дѣло житейское... Ты можешь объяснить ей это потомъ... Но когда же ты думаешь увезти ее?..

— Подожди; я еще не успѣлъ даже объясниться съ нею, и—вопросъ—знаетъ ли она, что я люблю ее?

— Мнѣ кажется, что ты никогда не рѣшишься на это, если до сихъ поръ ты молчалъ,—сказалъ улыбаясь дьяволъ.—Но вѣдь для объясненія съ нею можно обойтись безъ словъ; если это слишкомъ тяжело для тебя — напиши письмо; это будетъ гораздо короче и яснѣе... Главное, не скупись на обѣщанія; особенное ея вниманіе обращай на деньги; деньги, это — магнитъ для женщинъ, деньги никогда не портятъ дѣла, — совѣтовалъ ему доброжелательный дьяволъ. — Женщины любятъ золотить себѣ крылышки, если хотятъ казаться херувимчиками; а гдѣ нѣтъ золота, тамъ, конечно, не можетъ быть и позолоты.

VII.

О дѣдахъ и бабахъ и какъ Твардовскій воспользовался услугами старой Кахны.

Когда исчезъ дьяволъ, Твардовскій началъ снова обдумывать средства, какъ бы ему лучше приступить къ задуманному дѣлу: онъ чувствовалъ себя безсильнымъ лично объясниться съ Агнесой и рѣшился написать къ ней письмо, въ которомъ выразилъ ей свою пламенную любовь, давно уже питаемую къ красавицѣ. Въ письмѣ онъ исчислилъ свои несмѣтныя богатства и обѣщалъ ей золотыя горы, свободу, и, глав-

ное, ничѣмъ невозмутимую счастливую жизнь. О несмѣтномъ своемъ богатствѣ онъ распространялся очень подробно; въ этомъ случаѣ Твардовскій находилъ совѣты дьявола очень основательными и неупустительно слѣдовалъ имъ. Желая возвысить себя въ глазахъ красавицы, Твардовскій болѣе всего напиралъ на независимость ея положенія благодаря богатству, и вмѣстѣ съ тѣмъ стремился къ главной цѣли своего письма: Твардовскій умолялъ красавицу придти въ церковь Богородицы, откуда, послѣ вечерни, въ сумерки, предлагалъ уѣхать съ нимъ въ коляскѣ, которая будетъ ожидать ее у церкви. Онъ клялся тотчасъ же обвѣнчаться съ нею и просилъ, дѣлая выборъ между богатымъ и молодымъ глупцомъ и богатымъ же и молодымъ философомъ, предпочесть его, принявъ въ разсчетъ и взвѣсивъ будущность и надежды ихъ обоихъ на однихъ и тѣхъ же вѣсахъ разсудка.

Хотя мы убѣждены, что письмо это не было продиктовано дьяволомъ, однако, послѣдній аргументъ можно положительно приписать его внушенію.

Окончивъ письмо и переписавъ его каллиграфическимъ почеркомъ XVI вѣка, который насколько былъ хорошъ для того времени, настолько же и неразборчивъ для настоящаго. Твардовскій призадумался надъ тѣмъ, кому бы поручить отнести его Агнессѣ. Дѣло требовало особенной предосторожности и предусмотрительности, чтобы не возбудить подозрѣнія недовѣрчиваго Порая, который могъ проникнуть въ его намѣренія и понять отвращеніе родственницы жены къ его роднымъ, купцамъ и мѣщанамъ.

Послѣ долгаго размышленія, Твардовскій рѣшился прибѣгнуть къ помощи старой Кахны, нищенки, извѣстной во всемъ Краковѣ своимъ гаданіемъ на картахъ. Старуха Кахна было болтливая баба и знала всѣ закоулки и трущобы столицы. Кахну принимали вездѣ, какъ въ лачугахъ бѣдняковъ, такъ и въ палатахъ вельможъ; съ нею совѣтовались старые и малые, богатые и бѣдные люди; ей извѣстны были всѣ фамильныя тайны; Кахна принимала дѣятельное участіе во всѣхъ сватовствахъ и любовныхъ интригахъ.

Но прежде, чѣмъ познакомить читателя съ этой характерною личностью того времени, принадлежащею къ осо-

бому классу народа, скажемъ нѣсколько словъ о дѣдахъ и бабахъ вообще.

Съ давняго времени въ Польшѣ, какъ и вездѣ, нищіе составляли особый классъ, отличавшійся отъ другихъ классовъ народа своими особенными нравами и обычаями, физіономіями и мышленіемъ. Знакомство съ этимъ нищенскимъ классомъ и въ настоящее время во многомъ разъяснило бы исторію народныхъ предразсудковъ и суевѣрій. Нищіе играли довольно видную роль въ народѣ, служа посредниками между духовенствомъ, а тѣмъ болѣе между народомъ и клехою (церковный служитель). Отъ клехи до звонаря, а отъ звонаря до дѣда и отъ дѣда до паперти переходъ былъ не великъ. Съ одной стороны, дѣдъ (нищій) держался народа, изъ котораго вышелъ; съ другой—церкви и церковныхъ причетниковъ, которымъ дѣлалъ небольшія услуги и по милости которыхъ пользовался извѣстнымъ положеніемъ нищихъ при церкви, занимая видное мѣсто на паперти и существуя подаяніемъ. Составляя, такъ сказать, нѣкоторое звено или, лучше, послѣднюю ступень церковныхъ служителей для народа, они были врачами (знахарями), совѣтниками, кумами и сватами; крестьяне неразлучны были съ дѣдами и бабами. Баба принимала ребенка, баба обмывала покойника, баба укладывала его въ гробъ; баба читала псалмы (псалтырь), пѣла литаніи, если не было чѣмъ заплатить причетнику, и за всѣ свои труды получала кувшинъ пива и горшокъ каши. Образованные немногимъ больше остальной массы, они выдавали себя передъ народомъ какими-то вдохновенными свыше людьми, юродивыми, исполненными всевѣдѣнія и знанія таинственной науки, составлявшей какъ бы традиціонное сокровище ихъ касты, переходящей изъ рода въ родъ. Чернь, по простотѣ своей, хваталась за все, что бы они ни посовѣтывали въ тяжелую минуту жизни, и искала въ нихъ облегченія всему, что ложилось на ихъ физическую силу или нравственность тяжелымъ бременемъ. Это были знахари, въ полномъ смыслѣ слова, пользовавшіеся легковѣріемъ темнаго люда и умѣвшіе весьма искусно обдѣлывать свои дѣлишки ради пропитанія себя.

Дѣды и бабы ловко умѣли проникать въ жилища и втираться въ среду, куда нерѣдко доступъ былъ сопряженъ съ

большими трудностями: никто, лучше дѣдовъ и бабъ, не умѣлъ такъ подражать и льстить человѣческимъ слабостямъ, возбуждать къ себѣ сожалѣніе и искреннее участіе; слѣдствіемъ этого была—милостыня. Вѣрующимъ же въ колдовство и симпатическія лѣкарства (но кто не вѣрилъ въ нихъ въ XVI вѣкѣ? всѣ, начиная съ духовныхъ и сановниковъ и кончая королемъ) дѣды и бабы предлагали различныя травы, корни, мази и заговоры. Ханжамъ, за подаяніе, вымаливали всѣ блага земныя и небесныя. Участіе нищіе эти возбуждали къ себѣ болѣзнями и увѣчьемъ, чаще всего искусственнымъ. Обыкновенныя болѣзни ихъ заключались въ б о ж ь е й к а р ѣ, юродствѣ, слѣпотѣ, глухотѣ, нѣмотѣ, въ искусственномъ растравленіи ранъ, пляскѣ св. Витта и т. под.

Одежда дѣдовъ и бабъ была различна. Обыкновенно они ходили въ лохмотьяхъ, едва прикрывавшихъ наготу тѣла, неотъемлемою принадлежностью которыхъ были костыли и деревяшки, мѣшокъ, повѣшенный на веревочку черезъ плечо, куда прятали они подаваемую милостыню, и посохъ, служившій опорою ихъ настоящей или поддѣльной дряхлости и слабости. Вдобавокъ ко всему, волоса ихъ нерѣдко сливались въ колтунъ, отъ неопрятности и неряшества; они ходили съ обнаженными головою, ногами и грудью, покрытыми ранами и струпьями; болѣзненное лицо и налитые кровью глаза довершали ихъ, вызывающія состраданіе, болѣзни.

Въ числѣ этой арміи нищихъ, наводнявшихъ Польшу, были нищіе другого рода, причислявшіе себя къ обществу аристократовъ. Это, такъ называемые, пилигримы, ходившіе въ святыя мѣста, въ Римъ, или только замышляющіе это путешествіе. Такіе нищіе отличались во всемъ отъ обыкновенныхъ нищихъ. Пилигримы эти ходили съ выданными имъ, отъ ратуши или другихъ учрежденій, свидѣтельствами, снабженными печатями и подробными маршрутами, которыхъ они строго держались, не отступая ни на одинъ шагъ отъ указаннаго направленія. Одежда пилигримовъ была та же, какую носили пилигримы на Западѣ: широкій плащъ темнаго цвѣта, кожаный мѣшокъ, шляпа со шнуркомъ, четки, мѣдный ковшикъ у пояса и посохъ были ихъ необходимою принадлежностью. Пилигримы обыкновенно ходили вдвоемъ, и прежде чѣмъ переходили границу, мыка-

лись въ краѣ по городамъ и селамъ и собирали милостыню. Священники возвѣщали о нихъ, какъ о путешественникахъ, съ амвоновъ и возбуждали чувство благотворительности въ своихъ прихожанахъ. Во время церковной службы пилигримы садились на паперти, пѣли священные гимны и кантаты, продавали писанныя молитвы и обращали на себя всеобщее вниманіе молящихся.

Ниже мы скажемъ, куда большею частью ходили эти нищіе съ набо́жною цѣлью.

Нѣкоторые дѣды и бабы ходили съ кружкою, въ которую собирали деньги на построеніе новыхъ и обновленіе старыхъ храмовъ, на богадѣльни, больницы, пріюты и т. п. богоугодныя заведенія. Кружки эти они носили на шеѣ.

Между этими каликами-перехожими встрѣчались калики по профессіи, которые умѣли искусно прикидываться слѣпыми, хромыми и одержимыми различными болѣзнями, чаще всего болѣзнями св. Витта; они прибѣгали къ различнымъ средствамъ: бросались изъ стороны въ сторону, кричали, судорожно корчились и ежились, выставляли на показъ свои раны, выли нечеловѣческимъ голосомъ, выворачивали бѣлки глазъ, руки и ноги, и все это продѣлывалось во время совершенія церковной службы, чтобы возбудить состраданіе молящихся.

Были между ними и такіе, которые, проходя по селу или деревнѣ и выждавъ удобное время, выворачивали шубу и, привязавъ себѣ волчій хвостъ, представляли вурдалаковъ или оборотней; въ отсутствіе взрослыхъ, они пугали деревенскихъ ребятишекъ и суевѣрныхъ женщинъ, которыя, замѣтивъ оборотней, спѣшили запереть окна и двери и выбросить имъ въ жертву все, что есть лучшаго изъ съѣстного. Подобнаго рода оборотень, по обыкновенію, не бралъ хлѣба и вылъ подъ окномъ, грозя истребить въ полѣ все стадо скота, до тѣхъ поръ, пока хозяйка не подавала ему монету или вообще какую-нибудь болѣе или менѣе цѣнную милостыню. Если оборотню удавалось проникнуть въ избу, прежде чѣмъ замѣчала хозяйка, то онъ принимался выть и рычать по волчьи и, заглядывая во всѣ углы и посуду, разбрасывалъ щепотью какой-нибудь порошокъ самаго невиннаго свойства. Настращавъ такимъ образомъ бабъ и ребятишекъ, испуганныхъ и безъ того однимъ

видомъ оборотня, дѣдъ торжественно выходилъ изъ избы, забравъ съ собою все, что попадалось ему лучшаго.

Отсюда, повидимому, происхожденіе слова „дѣдъ“, употребляемое нянъками для устрашенія маленькихъ дѣтей во время ихъ капризничанья.

Для большаго возбужденія состраданія, дѣды нерѣдко прибѣгали и къ другимъ средствамъ: они крали малютокъ, если не имѣли своихъ, и, обходя съ ними деревни, заставляли ихъ пѣть священныя пѣсни. Впрочемъ, подобные случаи встрѣчались рѣдко, потому что молодыя нищенки съ удовольствіемъ продавали своихъ дѣтей дѣдамъ и бабамъ, чтобы только отвязаться отъ нихъ и развязать себѣ руки.

Были между этою массою шатающихся по свѣту дѣдовъ и такіе, которые предпочитали постоянное мѣстожительство, доставлявшее имъ не меньшую жатву на этой нивѣ нищенства и зла. Они избирали себѣ мѣста, освященныя церковью и вѣрованіемъ народа, т. е. у источниковъ, колодцевъ, изваяній, въ часовняхъ съ чудотворными образами и у крестовъ на большихъ дорогахъ, гдѣ пѣли священныя пѣсни, чаще всего о бѣдномъ Лазарѣ (отсюда повидимому и происхожденіе народной поговорки: «тянуть Лазаря».) Молясь и стоня у избранныхъ мѣстъ, дѣды подавали воду приходящимъ и указывали дорогу несвѣдущимъ странникамъ. Въ глухихъ лѣсахъ или на распутьяхъ стояли полуразвалившіяся избушки, гдѣ жили дѣды, встрѣчавшіе каждаго проходящаго съ протянутою рукой, прося милостыню.

Нѣкоторые калѣки пользовались постояннымъ пріютомъ у церкви и замѣняли звонарей и привратниковъ и, кромѣ того, имѣли привилегію на лѣченіе людей и скота.

Одежда бабы почти ничѣмъ не отличалась отъ одежды дѣда: лоскутья и рубище. Къ поясу онѣ привязывали себѣ обыкновенно горшокъ, въ которомъ хранили чудодѣйственныя травы и разныя снадобья и куда складывали подаваемую имъ милостыню. Въ церквахъ онѣ садились на папертяхъ или въ притворахъ и пѣли такъ называемый «Рожанецъ» или «Розовый вѣнокъ». Главнымъ источникомъ занятій бабъ были гаданье, заговоры и наговоры, лѣченіе женскаго пола и надзоръ за женщинами во время родовъ, у которыхъ онѣ и принимали

новорожденныхъ. Дѣды и бабы знали всѣ народныя суевѣрія, дурныя и хорошія предзнаменованія погоды и вообще предзнаменованія, выражающіяся разными примѣтами на скотѣ, птицахъ и собакахъ и проч., (такъ, напр., если собака завоетъ, глядя въ землю — быть покойнику, если же воетъ, поднявъ морду вверхъ — быть пожару; если при метеніи избы соръ скрещивается на крестъ — непремѣнно умретъ кто нибудь, и т. под. примѣты). Бабы толковали сны, выкуривали изъ домовъ нечистую силу и выживали домовыхъ. Для этой цѣли онѣ ходили всегда съ запасомъ различныхъ снадобьевъ, со «срѣтенскими» восковыми свѣчами, мазями, цѣлительными бальзамами и св. водою, которою кропили пасѣки, конюшни и хлѣвы; онѣ ворожили, какъ цыганки, на ладони, открывали воровъ, сводили влюбленныхъ и т. п. Зная суевѣріе черни, онѣ извлекали изъ этого нерѣдко громадную пользу... По ихъ словамъ, встрѣтить женщину съ порожними ведрами или священника, когда человѣкъ идетъ по какому нибудь дѣлу, означало неуспѣхъ въ задуманномъ предпріятіи въ этотъ день, и слѣдовало вернуться назадъ. Карканье ворона на крышѣ предвѣщало неизбѣжную бѣду. По четвергамъ, послѣ полудня, не слѣдовало прясть кудель, а по пятницамъ — печь хлѣбъ. Лопата не должна стоять въ углу избы, порожній столъ не долженъ покрываться скатертью, избу не слѣдовало заметать отъ дверей. Беременнымъ женщинамъ запрещалось ходить на похороны (въ этомъ, отчасти, онѣ были правы). Бабы совѣтовали умершимъ колдунямъ ломать пальцы, чтобы послѣ смерти не вставали изъ могилъ и не летали по свѣту; бабы отводили градобитія и замѣняли громоотводы, окуривали и окрещивали молочную посуду и горшки, чѣмъ накликали, якобы, достатокъ во всемъ. Онѣ лѣчили людей и скотъ отъ всевозможныхъ болѣзней.

Бабы всегда являлись непрошенными совѣтницами и исцѣлительницами болѣзней Кромѣ того, когда сословія связаны были неразрывною цѣпью общихъ интересовъ, онѣ учили небогатыхъ шляхтяночекъ кокетству и различнымъ, недостойнымъ женщины, хотя и общепринятымъ въ настоящее время, пріемамъ поддѣлки красоты: румяниться, бѣлиться, подводить брови и рѣсницы; онѣ давали имъ «любовнаго зелья», которымъ якобы

можно было приворожить суженыхъ; распутнымъ женщинамъ бабы давали лѣкарства, изгонявшія плодъ; точно также симпатическія средства, въ родѣ гнилушекъ отъ гробовъ, моха изъ церковныхъ кровель и т. под., которыя будто бы были равносильны травамъ и корнямъ, содѣйствующимъ къ безплодію женщины; съ этою цѣлью, онѣ клали эти средства въ изголовья кроватей или подъ постель.

Бабы были повѣренными влюбленныхъ, сводницами и разводницами ихъ по своему усмотрѣнію. Онѣ ссорили и мирили мужей съ женами, совѣтовали какъ воспитывать дѣтей, содѣйствовали любовнымъ интригамъ, перенося изъ дома въ домъ письма и словесныя пересказы, назначали свиданія влюбленнымъ и вообще дѣлали все, что было въ ихъ власти, по тоношенію къ любовнымъ интригамъ.

Иногда эти всемірныя попрошайки занимались куплею, продажею и мѣною разной ветоши: тряпокъ, обносковъ и т. п., но главный ихъ промыселъ былъ въ продажѣ лѣкарствъ: мазей, цѣлительныхъ бальзамовъ, восковыхъ свѣчей, четокъ, крестиковъ, образочковъ, восковыхъ ручекъ, ножекъ и сердечекъ, которыя выдѣлывали онѣ для приношенія въ жертву во время церковныхъ и престольныхъ праздниковъ. Все это покупалось крестьянами, а нерѣдко и бѣдною шляхтой, нарасхватъ.

Простой народъ считалъ каждую бабу колдуньей, вѣрилъ въ сношенія ея съ дьяволомъ и боялся разсердить ее. О нихъ ходили самые разнообразные слухи: говорили, что бабы, въ каждый четвергъ послѣ новолунія, надѣвъ рубашку наизнанку, вылетали изъ избы черезъ трубу или среднее окно, и, собираясь на распутьяхъ на «Подгорской границѣ», совершали какіе то таинственные обряды; что онѣ, по желанію, превращались въ невидимокъ, оборотней, козъ, кошекъ и т. п., съ помощью какихъ-то травъ, отпирали замки въ амбарахъ, лазили по стѣнамъ, цѣпляясь, какъ кошки, своими длинными когтями, ходили по водѣ, точно по сушѣ, и ни въ чемъ не имѣли себѣ соперниковъ. Имъ же приписывали даръ чудеснаго откровенія, даръ узнавать будущее; говорили, что бабы, какъ хамелеоны, измѣнялись два раза въ мѣсяцъ: въ новолуніе и полнолуніе; что ночью онѣ принимали на себя образъ смерти, а вечеромъ—вѣдьмы или летавца, съ которыми онѣ были

въ тѣсной дружбѣ. По мнѣнію крестьянъ, летавецъ принималъ различные виды, и по просьбѣ бабы, будучи невидимымъ существомъ, выносилъ изъ амбаровъ и клѣтей все, что было лучшее, для своихъ друзей.

Главнымъ занятіемъ бабы въ городахъ и деревняхъ было омываніе тѣлъ умершихъ. Едва только больной закрывалъ глаза на вѣчный сонъ, какъ баба являлась, точно изъ подъ земли, и принималась за свое ремесло. Многіе изъ жалости, а то и изъ боязни, не рѣшались приступать къ этой операціи, и если не было подъ рукою бабы, посылали за нею въ ближайшую деревню или, вообще, по мѣсту жительства.

Бабы и дѣды, по двое и по трое, таскались изъ деревни въ деревню, съ богомолья на богомолье, съ ярмарки на ярмарку; они не любили ходить большими толпами, въ виду того, что изъ подобнаго хожденія по разнымъ селамъ и весямъ извлекалось очень мало пользы, такъ какъ лучшая милостыня выскользала нерѣдко изъ рукъ нищей или нищаго, а вслѣдствіе этого происходили ссоры и недоразумѣнія. Большія дороги были засѣяны нищими: слѣпой съ проводникомъ, глухой съ хромымъ, нѣмой съ слѣпымъ, дѣдъ съ бабою, баба съ пріятельницей тянулись вереницами по дорогѣ. На богомольяхъ они обыкновенно занимали мѣста вокругъ церкви и наперерывъ другъ передъ другомъ оглашали воздухъ «завываніемъ Лазаря» и разныхъ пѣсенъ, нерѣдко измышленныхъ самими нищими и вовсе не соотвѣтствующихъ ихъ мнимой набожности. День поминовенія прародителей, называемый «задушнымъ днемъ», былъ для нихъ, какъ и въ настоящее время, великимъ днемъ въ году, днемъ самой обильной милостыни, которая подается въ этотъ день, съ цѣлью поминовенія прародителей и вообще умершихъ,—а умершихъ у каждаго найдется не малая толика, и поэтому каждый спѣшитъ въ этотъ день отслужить панихиду и надѣлить милостынею нищую братію. Многіе въ этотъ день сзываютъ нищихъ къ себѣ на домъ и дѣлаютъ для нихъ поминальный обѣдъ, остатки котораго они берутъ съ собою.

Самое многочисленное стеченіе нищихъ въ Польшѣ были и есть мѣста, извѣстныя чудотворными иконами, цѣлительными источниками и проч., какъ, напр., Ченстоховъ, Новая Кальварія, Крестовоздвиженская церковь на Лысой горѣ, Ле-

жайскъ, Сташовка, Щепаново, Гнѣзно, — въ день св. Войцѣха, Пильжно — въ Ивановъ день, Ржешовъ — на ярмаркѣ, въ Пржечицѣ — въ Михайловъ день, въ Лекахъ — на Варѳоломея, въ Хелмѣ, въ Добржеховѣ, за Дембицей и во многихъ другихъ мѣстахъ. Въ Завадахъ, напр., находилось чудотворное распятіе Христа, съ боку котораго вытекала вода. Эту воду дѣды и бабы разносили по селамъ и деревнямъ и продавали крестьянамъ, которые вѣрили въ ея цѣлительность. Странствующіе по свѣту дѣды заносили ее въ чужіе края, какъ, напр., въ Венгрію, Пруссію, Силезію, Моравію, Валахію и Семиградскую землю, заручившись документомъ отъ мѣстнаго духовенства, свидѣтельствующимъ о цѣлительности источника, изъ котораго взята была вода. Съ большимъ страхомъ пробирались дѣды черезъ Безчадскія тѣснины, наполненныя разбойниками. Многіе ходили съ этою цѣлительною водою на Украйну и въ казацкія земли, съ цѣлью распространенія слуховъ о цѣлительности источника. Питаясь подаяніемъ, дѣды не затруднялись подходящими случаями и не «клали охулки на руку». Многіе даже преспокойно угоняли табуны лошадей и переправляли ихъ за границу, переходя разными окольными путями.

Богатая шляхта и вельможи нерѣдко поручали имъ переносить секретныя письма, высматривать непріятельскія войска, наблюдать за извѣстными личностями и т. п. Такъ, одинъ изъ странствующихъ дѣдовъ, услугами котораго хотѣлъ воспользоваться король Сигизмундъ, поручивъ ему доставить тайныя письма ливонскимъ рыцарямъ, умеръ дорогою и тайна обнаружилась. Извѣстно также, что князь Симеонъ Слуцкій, переодѣвшись нищимъ, прокрался во Львовъ къ невѣстѣ своей, Галькѣ Острожской. Пользуясь случаемъ, упомянемъ объ обычаѣ, принятомъ вельможами, приглашать дѣдовъ воспріемниками своихъ дѣтей. Дѣтямъ, окрещеннымъ чрезъ ихъ посредство, предсказывались долговѣчность и счастье. Объ этомъ упоминаетъ и извѣстный польскій историкъ І. Жаховскій.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, дѣды были народными миннезигеранми, Слѣпцы, волынщики, гусляры и бандуристы ходили по деревнямъ и пѣли народныя и священныя пѣсни. Ремесло гусляра. бандуриста и проч. было повидимому очень прибыльно и переходило по наслѣдству отъ отца къ сыну, вмѣстѣ съ увѣ-

чьемъ и слѣпотою. Въ виду этого,—по крайней мѣрѣ говорятъ такъ,—нищіе умышленно ослѣпляя своихъ ребятъ.

Многіе нищіе, промышлявшіе воровствомъ, говорили на особенномъ, имъ только понятномъ, языкѣ, о чемъ упоминаютъ и историки. Это былъ особый воровской жаргонъ, состоявшій изъ разныхъ выдуманныхъ выраженій или обыкновенныхъ фразъ, имѣвшихъ свой смыслъ, подобно бурлацкому и охотничьему языку, отличающихся техническими терминами.

Изъ всего вышесказаннаго можно видѣть, какую роль играли въ народѣ нищіе и какое вліяніе имѣли они на чернь. Баба принимала ребенка, баба была кумой, свахой, лѣкаркой; баба мыла покойника, пѣла, читала псалтырь и провожала его на кладбищѣ. Отсюда, повидимому, и происхожденіе пословицы: *здѣ дьяволъ нейметъ, туда бабу пошлетъ.* Никакое обстоятельство, интересовавшее общественную или домашнюю жизнь крестьянъ, не обходилось безъ посредства дѣда или бабы, этихъ таинственныхъ, удивительныхъ существъ, неизвѣстно откуда появлявшихся и куда исчезавшихъ, но всегда слѣдовавшихъ одно за другимъ безостановочно.

Обычаи этого нищенскаго класса—были ужасною смѣсью набожности и суевѣрій, молитвы и преступленій. Услужливые нищіе придумали даже и нынѣ извѣстную поговорку: на каждую болѣзнь свое лѣкарство, въ силу которой вѣрятъ крестьяне, какъ въ законъ. Не одну совѣсть успокоивала эта поговорка и не одинъ болѣзненный страхъ разсѣяла она. Преклонныя лѣта старцевъ и бабъ, ихъ таинственная жизнь, обычаи, преданія и традиціонныя сказанія, переходившія изъ рода въ родъ,—все это въ глазахъ народа покрывалось какимъ-то мистическимъ покровомъ, заставляло вѣрить въ ихъ колдовство, бояться и вмѣстѣ съ тѣмъ уважать ихъ.

И дѣйствительно, нерѣдко страшна была месть этихъ людей, передъ которыми почти безсиленъ былъ законъ и которыхъ не обуздывали ни вѣра, ни совѣсть. Поджоги, отрава, убійство были ихъ обыкновенными средствами мести. Несмотря на свою неприглядность, нищіе, какими мы изобразили ихъ, въ то время были необходимыми для народа, на который нельзя было повліять словами, а нужно было прибѣгать къ репрессивнымъ мѣрамъ, что и дѣлали прозорливые нищіе.

Были нищіе и другого сорта, если можно такъ выразиться о нихъ, называвшіеся только отчасти нищими, отличающимися, въ нѣкоторомъ смыслѣ, другою жизнью и кружкомъ, въ которомъ вращались они,—это городскіе, осѣдлые нищіе, болѣе образованные, или, лучше сказать, болѣе пронырливые, лукавые и хитрые.

Изъ городскихъ нищихъ скоро образовались товарищества, братства, цехи, имѣвшіе свои привилегіи. Они вели свои книги, имѣли писарей, чиновниковъ, кассировъ, ревизоровъ, которые смотрѣли за вновь прибывающими нищими, не состоящими членами въ ихъ обществѣ и неимѣющими права собирать милостыню или занимать мѣсто на папертяхъ и кладбищахъ. Такія общества и товарищества появились въ Польшѣ въ XVI вѣкѣ. Они имѣли въ городахъ свои дома, гдѣ собирались для необходимыхъ совѣщаній и обсужденій текущихъ дѣлъ. Общество заботилось о каждомъ своемъ членѣ и передъ смертью посылало къ нему священника, отводило мѣсто для погребенія тѣла и т. п. Пришлецы, нуждавшіеся въ помощи братства, должны были являться въ общественное учрежденіе нищихъ и предъявлять свой видъ. Общество зботилось о выкупѣ своихъ членовъ изъ неволи, попавшихъ во время странствованія по чужимъ землямъ, и содѣйствовало къ скорѣйшему распространенію слуховъ о болѣзни и одержимости новаго члена, чрезъ посредство священниковъ, чтобы возбудить состраданіе въ народѣ. Временно пребывающіе въ городѣ нищіе не имѣли права просить милостыню публично. Регулярно, чрезъ каждыя четыре недѣли, общество собиралось на совѣщаніе; всѣ постановленія общества заносились въ протоколъ, который и подписывался членами. Только голодъ и моровое повѣтріе нарушали этотъ образцовый порядокъ въ нищенскихъ обществахъ.

Нищимъ, находившимся въ госпиталяхъ и лазаретахъ, дозволялось просить милостыню только въ означенное совѣтомъ время, какъ, напр., въ поминальный день (задушный) или въ Свѣтлое Христово Воскресенье. Старшинами и предсѣдателями обществъ избирались звонари и церковнослужители. Кромѣ того, для членовъ общества при церковныхъ папертяхъ устраивались шалаши, въ которыхъ они могли сидѣть во всякое время и просить милостыню.

Однако же, городскіе нищіе далеко не пользовались такою свободой, какою пользовались деревенскіе нищіе. За городскими нищими наблюдали городскіе магистраты и запрещали имъ бродить по городу, подъ угрозой позорнаго столба, наказанія розгами или изгнанія изъ города. Уличенныхъ въ колдовствѣ, или даже имѣющихъ только намѣреніе заняться этимъ ремесломъ, жгли безъ пощады и милосердія. Гораздо свободнѣе чувствовалъ себя нищій въ деревнѣ, коротая дни свои въ веселомъ странствованіи отъ избы къ избѣ, отъ села къ селу, гдѣ каждый крестьянинъ видѣлъ въ дѣдушкѣ или бабушкѣ своихъ знакомыхъ и съ радостью подавалъ имъ подаяніе.

Что вліяніе нищихъ отзывалось деморализующимъ образомъ на народѣ, доказывается тѣмъ, что многіе изъ крестьянъ, завидуя ихъ бездѣлью и свободной жизни, предавались и сами нищенству и бродяжничеству по бѣлому свѣту. Нищіе обыкновенно скрывали ихъ первыя преступленія, влекущія за собою много другихъ, и новички оставались безнаказанными, что заохочивало ихъ къ новымъ малымъ или большимъ проступкамъ.

Кромѣ постояннаго сообщенія нищихъ съ интелигентнымъ классомъ и дворянствомъ, о которомъ мы говорили выше, кстати упомянемъ о тѣхъ отношеніяхъ, какія рождались въ XV и XVI вѣкахъ, во время обѣдовъ и праздниковъ, устраиваемыхъ вельможами и епископами въ честь нищихъ!.. Сюда же нужно причислить и омовеніе ногъ двѣнадцати старцамъ, исполняемое по обряду церкви въ Страстной Четвергъ.

Таковъ былъ классъ народа, изъ котораго Твардовскій выбралъ для себя посланницу къ Агнесѣ.

Весь Краковъ зналъ старую Кахну, уродливую, горбатую, оборванную, но ловкую, умную и пронырливую бабу, услугами которой пользовался не только народъ, тѣснившійся въ ветхихъ избушкахъ на окраинѣ города, но и вельможи съ удовольствіемъ привѣтствовали ее. Всѣхъ знала старая Кахна и всѣ знали ее. Однихъ она лѣчила, за другихъ молилась, третьихъ забавляла веселыми прибаутками и сплетнями, которыя у нея имѣлись всегда въ запасѣ и которыми она громила всѣхъ безпощадно, несмотря на присутствіе той особы, о которой она распускала разные некрасивые слухи. Она не выпрашивала милостыню, какъ нищая, но, приходя въ чужой

домъ, она пользовалась всѣмъ, какъ своимъ добромъ, торговалась за милостыню, какъ за слѣдуемую ей плату. Многолѣтняя нищенская практика, знаніе людей,—знаніе, которымъ обладаютъ только дѣды, да торговцы,—притомъ набожность и незапятнанная репутація придавали ей смѣлость, а всѣмъ предпріятіямъ ея—несомнѣнный успѣхъ, который не возбуждалъ никакого удивленія въ народѣ, напротивъ, на успѣхи ея смотрѣли, какъ на дѣло самое обыкновенное.

Замѣтивъ Кахну, проходящую мимо окна, Твардовскій позвалъ ее къ себѣ.

— Пресвятая Богородица, Мати Божія!—шептала старуха, поднимаясь по лѣстницѣ и дрожа отъ страха,—что нужно отъ меня чернокнижнику?.. Неужели я понадобилась ему на что нибудь?..

По кожѣ старухи пробѣжали мурашки.

— Nieh bedzie pochwalony Jezus Christus!—сказала Кахна, входя въ комнату и отвѣшивая низкій поклонъ.

Вмѣсто отвѣта на привѣтственныя слова, Твардовскій сунулъ ей въ руку щедрую милостыню. Старуха выпучила глаза и смотрѣла въ недоумѣніи то на Твардовскаго, то на милостыню.

— И это все мнѣ?—спросила она съ недовѣріемъ и удивленіемъ.

— Да, все тебѣ,—отвѣтилъ Твардовскій,—но съ условіемъ: ты должна мнѣ сослужить вѣрную службу.

— Сомнѣваюсь, чтобы вы нуждались въ моихъ молитвенныхъ или лѣкарскихъ услугахъ. Въ первыя—не вѣрите, въ другихъ—не нуждаетесь, потому что сами составляете лѣкарства и лѣчите людей.

— Думаю, что не отгадаешь, зачѣмъ я позвалъ тебя.

— А, ну-ка, покажи свою руку, авось и угадаю.

Твардовскій протянулъ ей свою руку, тѣшась ея болтовнею.

— А, а!—сказала Кахна, посмотрѣвъ на руку.—Дѣло идетъ о женщинѣ и любовной интрижкѣ... Что, небось, угадала?.. О, я въ этомъ увѣрена; голову готова прозакладывать, если не правда!..

— Вѣрно, старуха, ты угадала! Дѣло въ томъ, однако: ты

должна снести это письмо въ домъ Станислава Порая и передать его Агнесѣ, въ собственныя руки. Понимаешь?

— Однако, порученьице трудное,— отвѣчала старая Кахна, качая головой.— Я скорѣе готова была бы отнести это письмо къ фрейлинамъ королевы, чѣмъ къ этой гордой барышнѣ... Ужъ слишкомъ она горда!.. Пожалуй, не допуститъ къ себѣ, да и вытолкать велитъ. Признаться, боюсь, чтобъ ея люди не свернули мнѣ шею. Впрочемъ, если угодно, я попытаюсь.

— Ты не безпокойся очень! За успѣхъ я ручаюсь; шепни только, что ты послана мною съ порученіемъ. Постарайся, во-первыхъ, чтобы тебя никто не замѣтилъ, кромѣ Агнессы. Во-вторыхъ, сдѣлай видъ, что пришла за милостыней, чтобы не было ни малѣйшаго подозрѣнія, что ты передала письмо.

— Въ этомъ будьте спокойны; не впервой исполнять подобныя порученія... Была и я когда-то молода и знала, какъ нужно вести дѣло, что доказываетъ мой горбъ на спинѣ, а была стройна, какъ пальма. Теперь, при старости лѣтъ приходиться помогать людямъ—и за то слава Богу; если сама не пью изъ чаши жизни, зато смотрю, какъ пьютъ изъ нея другіе. Не хочу хвастаться собою, но спроси у кого угодно,— другой Кахны не найдешь во всемъ Краковѣ, да не только въ Краковѣ, но и во всей Польшѣ. Меня всѣ знаютъ, несмотря на то, что я стара, смердящій червь; мною не брезгаютъ нигдѣ, и не одинъ молодой человѣкъ цѣловалъ мое безобразное лицо, когда я приходила съ хорошими вѣстями. Въ этомъ будьте спокойны: все сдѣлаю какъ слѣдуетъ; не будь я Кахной, если совру!

— Но, Бога ради, будь осторожна съ нею; сама вѣдь знаешь, какъ горда она!—сказалъ въ заключеніе Твардовскій.

— О, не безпокойтесь!.. Птичку узнаютъ по перьямъ, а человѣка по взгляду; знаю съ чего начать и съ какой стороны подступиться... Женщины всѣ одинаковы и рознятся только наружностью, какъ пасхальныя яйца, выкрашенныя въ разныя цвѣта, а разбейте крашенное и не крашенное—ей Богу, внутри одинаковы!..

И старая Кахна, смѣясь, вышла изъ комнаты.

VIII.

Какой отвѣтъ принесла Кахна отъ Агнесы.

Легко представить съ какимъ нетерпѣніемъ ожидалъ Твардовскій возвращенія старой Кахны, которая, какъ нарочно, не пришла въ этотъ день. На слѣдующее утро она тихонько взошла по мраморной лѣстницѣ, устланной коврами; замѣтивъ оборванную старуху, лакеи не хотѣли допустить ее къ своему барину, но Кахна начала ссориться съ ними и подняла такой шумъ, что лакеи стали втупикъ передъ нищей. По счастію, шумъ этотъ достигъ до слуха Твардовскаго, который вышелъ на лѣстницу и велѣлъ допустить къ себѣ нищую.

Старуха вошла въ комнату и, качая головою, дрожащими руками принялась развертывать грязный платокъ, въ которомъ находилась какая-то бумага. Вперивъ раскраснѣвшіеся глаза свои во взволнованное лицо Твардовскаго, Кахна подмигнула ему и съ торжествующей улыбкой подала письмо отъ Агнессы.

Твардовскій съ жадностью коршуна схватилъ его и торопливо началъ пробѣгать глазами.

Не трудно было угадать отвѣтъ Агнесы, потому что лицо доктора приняло лучезарный видъ.

Агнеса принимала предложеніе Твардовскаго, но съ условіемъ тотчасъ же повѣнчаться съ нею. Такое быстрое рѣшеніе красавицы можно было приписать только страстной любви, которую питала къ Твардовскому непобѣдимая царица красоты. Но, предполагая такъ, легко было ошибиться; любви здѣсь не было ни на волосъ: разсчетливой дѣвушкѣ нужны были не любовь Твардовскаго, а его богатство и слава.

Не помня себя отъ радости, Твардовскій швырнулъ старой Кахнѣ кошелекъ съ золотомъ,который она съ жадностью схватила и быстро спрятала въ кожаный карманъ, находившійся у нея подъ грязнымъ фартукомъ.

— Пошли вамъ Господи совѣтъ да любовь и всякаго счастья, котораго вы достойны,—говорила старуха, пряча деньги въ карманъ,—потому что умѣете цѣнить и вознаграждать тяжелый трудъ. Другой на вашемъ мѣстѣ, пожалуй, еще выбранилъ

бы старуху, чтобъ поменьше заплатить за хлопоты—разные бываютъ; видѣла я на своемъ вѣку и такихъ, которые, вмѣсто благодарности за услугу, толкаютъ въ шею... Однако, чтобы не сглазить только—при этомъ старуха сплюнула три раза,—хотя ваша королева и писанная красавица, но ужъ черезчуръ горда... Вчера я хорошо присмотрѣлась къ ней... и вывела свое заключеніе... На кой чортъ, подумала я, вы полюбила ее!.. Охъ, берегитесь этой красавицы!.. Плохое ужъ то счастье, которому придется кланяться да становиться на колѣни передъ нимъ!..

Твардовскій не возражалъ на ея слова и далъ знакъ, чтобы она ушла. Старуха замолчала и, поклонясь, вышла изъ комнаты.

Едва только скрылась старуха, какъ Твардовскій бросился въ кабинетъ. Къ величайшему своему удивленію онъ замѣтилъ тамъ монаха бернардинскаго ордена, покрытаго капюшономъ, который стоялъ съ покорною миною у его письменнаго стола.

— Что вамъ угодно?—спросилъ Твардовскій.—Какимъ образомъ вы прошли незамѣченнымъ въ мой кабинетъ?

— Я къ вашимъ услугамъ, и ожидаю приказанія повѣнчать васъ,—отвѣчалъ монахъ и, сдвинувъ свой капюшонъ съ головы, изъ подъ котораго обнаружились демоническія черты лица дьявола, прибавилъ: — вѣдь ты получилъ ужъ согласіе Агнесы.

— Тебѣ откуда извѣстно, что я получилъ ея согласіе?—спросилъ Твардовскій, раздраженный появленіемъ дьявола.

— Объ этомъ знаетъ ужъ весь Краковъ, — возразилъ съ ехидною улыбкою дьяволъ.—Старая Кахна еще вчера разблаговѣстила объ этомъ.

— О, я ее убью за это!—воскликнулъ Твардовскій и бросился на лѣстницу, чтобы догнать Кахну.—Она погубитъ меня своей болтовней, старая вѣдьма!.. Но я задушу ее собственными руками. До субботы еще два дня и она успѣетъ повредить за это время...

Но Кахны уже и слѣдъ простылъ. Твардовскій послалъ своихъ лакеевъ розыскать ее; они, поискавъ ее по улицамъ и у церквей, возвратились обратно ни съ чѣмъ. Между тѣмъ Кахна была подъ бокомъ, въ кабакѣ, и на радостяхъ угощала дѣдовъ водкою.

Твардовскій былъ въ отчаяніи.

— Напрасно ты порешь горячку,—сказалъ Твардовскому дьяволъ.—Вѣсти объ этомъ не дойдутъ до слуха Станислава Порая, и Агнеса сдержитъ данное слово.—Остается только пожелать, чтобы ты былъ счастливъ съ нею, хотя,—между нами,—очень сомнительно, чтобы мечта, давно лелеяная тобою, осуществилась на дѣлѣ. Что же касается меня, я только могу пожалѣть о томъ, что ты такъ легко позволилъ опутать себя сѣтями красавицы. Но сдѣланнаго не воротишь, и если ты желаешь погибнуть ради одной пріятной ночи, то позволь мнѣ по крайней мѣрѣ повѣнчать тебя. Какъ видишь, я совсѣмъ готовъ.

— Хорошо, хорошо,—отвѣчалъ Твардовскій,—оставь только меня въ покоѣ, потому что я теперь долженъ заняться приготовленіями къ свадьбѣ. Vade retro! Оставь меня.

— Я могу быть полезнымъ для тебя,—возразилъ сатана,—поручи что нибудь мнѣ: я помогу тебѣ.

— Хорошо, ты поможешь мнѣ увезти ее, подержишь лошадей, пока она сядетъ въ карету, и затѣмъ привезешь въ часовню въ лѣсу. А теперь, повторяю, оставь меня.

Дьяволъ исчезъ, а Твардовскій, позвавъ лакеевъ, началъ дѣлать разныя распоряженія. Онъ разослалъ ихъ, кого пѣшкомъ, кого верхомъ на лошади въ разныя стороны и съ различными порученіями. Даже двумъ другимъ дьяволамъ нашлась работа: они отправлены были за покупкою заморскихъ свадебныхъ нарядовъ для невѣсты. Ужасная суматоха происходила въ домѣ Твардовскаго, въ продолженіе послѣднихъ двухъ дней, вплоть до субботней вечерни, послѣ которой назначено было увезти Агнесу.

IX.

Какъ Твврдовскій женился и что произошло на свадьбѣ.

Передъ церковью Пресвятой Богородицы въ Краковѣ стояла прекрасная четырехмѣстная коляска, запряженная четверкою чистокровныхъ карихъ лошадей, въ великолѣпной польской сбруѣ съ серебрянымъ уборомъ. На козлахъ сидѣлъ кучеръ

въ черной ливреѣ, съ капюшономъ на головѣ. По бокамъ коляски находились два верховыхъ гайдука. У дверецъ коляски стоялъ высокій мужчина въ черномъ плащѣ и въ шляпѣ съ съ черными перьями.

Читатели, конечно, узнали въ немъ Твардовскаго, который поджидалъ Агнесу, чтобы умчать ее на своихъ рысакахъ въ глушь лѣса.

Смеркалось; послѣдніе лучи заходящаго солнца изъ-подъ надвигавшихся темныхъ тучъ обливали красноватымъ свѣтомъ высокія купола церкви. На колокольнѣ трезвонили на Magnificat. Толпа дѣдовъ и бабъ, не находившихъ мѣста въ притворѣ, толпилась на паперти и оглашала воздухъ визгливымъ пѣніемъ богородичнаго гимна, нерѣдко перекидываясь крѣпкими словами и толкая другъ друга за полученную милостыню.

Наконецъ вечерня отошла и народъ массою началъ выходить изъ церкви. Твардовскаго оттѣснили отъ двери и вмѣшали въ толпу, въ которой онъ съ напряженнымъ вниманіемъ и нетерпѣніемъ высматривалъ свою Агнесу, боясь пропустить ее. Нѣсколько разъ онъ обманывался сходствомъ одежды и, подходя къ незнакомымъ дамамъ, отскакивалъ отъ нихъ и бросался въ другую сторону. Наконецъ толпа народа, стоявшаго на площади и выходившаго изъ церкви, замѣтно начала рѣдѣть. Между опоздавшими богомольцами Твардовскій замѣтилъ выходившую на паперть свою невѣсту. Прелестное лицо красавицы сіяло невозмутимымъ спокойствіемъ, точно она думала о самыхъ обыкновенныхъ вещахъ, но отнюдь не о побѣгѣ. Твардовскій быстро, но робко, приблизился къ Агнесѣ и, остановивъ ее прикосновеніемъ своей руки, сказалъ:

— Все готово!

— Я не сомнѣвалась въ вашей аккуратности,—спокойно и почти равнодушно отвѣтила она:—ѣдемъ!

Твардовскій проводилъ свою невѣсту къ колескѣ, въ которую лакеи подсадили ее, а самъ вскочилъ на коня; черезъ секунду лошади помчались по улицамъ Кракова. Твардовскій, верхомъ, ѣхалъ позади коляски.

Небо заволакивалось тучами и предвѣщало бурю. Вѣтеръ порывисто подхватывалъ листья и, взвивъ столбомъ, уносилъ въ даль. Время было весеннее, но еще грустное, хотя и полное

надеждъ на скорое возрожденіе, когда природа только что
сила свой зимній покровъ и еще не успѣла облечься въ
ную одежду цвѣтовъ и зелени, — время, похожее скорѣ
скучную осень, чѣмъ на весну, когда природа находится м
неприглядною постелью зимы и возрожденіемъ лучезарной в
Въ оврагахъ и вообще въ тѣснинахъ кое гдѣ виднѣлись
гробы почернѣвшаго снѣга, ждущаго перваго солнышка, ч
превратиться въ воду и уступить мѣсто яркой зелени т
въ воздухѣ пахло непріятною сыростью, а вѣтеръ пронизы
насквозь. Лошади неслись по грязной дорогѣ, и ко
подпрыгивала, какъ мячъ, наѣхавъ на пень или на обна
ный корень дерева. Но лихой кучеръ, зная о необходи
быстрой ѣзды, не обращалъ вниманія на чувствительные т
и грязь, которая залепляла коляску и глаза прекрасной
щины. Всѣ ѣхали въ глубокомъ молчаніи; лошади неслись во
карьеръ, и Твардовскій не отставалъ ни на шагъ отъ ко
На небѣ взошла полная луна, вѣтеръ умолкъ, и, руковод
блѣднымъ свѣтомъ небеснаго свѣтила, путники въѣхал
чащу лѣса; кучеръ пустилъ легкою рысьей лошадей. В
они остановились у полуразрушенной часовни, изъ окна
торой еще издали мерцалъ красноватый свѣтъ. У алтаря
стоялъ монахъ съ опущеннымъ капюшономъ и ждалъ
дыхъ. Когда коляска подкатила къ крыльцу, Твардовскій с
чилъ съ лошади и, высадивъ Агнесу, ввелъ ее въ часо

Печальный видъ имѣла эта часовня, избранная Тва
скимъ для вѣнчанія. Давно забытая всѣми, часовня нак
лась на бокъ и, казалось, ждала сильнаго порыва вѣтра, ч
сдунуть ее съ основанія и разнести въ щепки. Каме
стѣны пропитаны были сыростью и разрисованы поте
дождя, который свободно проходилъ чрезъ дырявую крыш
разбитыя окна часовни, въ которой вѣтеръ насвистывалъ у
ныя мелодіи бури, какъ бы вторя общему шуму деревь
Множество разныхъ обломковъ валялось на полу; полотня
иконы были порваны и тускло смотрѣли на ужасающую
тину разрушенія; скамьи и стулья поломаны. Алтарь, на
торомъ стояли два деревянныхъ ветхихъ подсвѣчника съ
лавшими свѣчами, едва прикрытый пыльною холстиною,
качнулся на бокъ. Вѣтеръ колебалъ широкое пламя во

выхъ свѣчей. При одномъ видѣ часовни, этого жилища смерти и разрушенія, въ душу врывалась грусть, которая отзывалась тяжелымъ угнетающимъ чувствомъ во всемъ организмѣ. Въ довершеніе всего, у подножія престола, вмѣсто брачнаго ковра, разостланъ былъ черный саванъ съ бѣлымъ крестомъ по серединѣ и эмблемою смерти по угламъ. Это должно было поразить и Твардовскаго, и его невѣсту, предсказывая имъ печальную будущность; но Твардовскій не вѣрилъ ни въ какія предразсудки, а Агнеса, торопясь сдѣлаться женою великаго ученаго, не обратила на это особеннаго вниманія.

Едва молодые вошли въ часовню и стали передъ алтаремъ на саванѣ, какъ мнимый монахъ съ епитрахилью на плечахъ, приступилъ къ вѣнчанію, съ такою быстротой, что молодые едва успѣвали отвѣчать на установленные церковью вопросы. Замѣна колецъ, соединеніе рукъ подъ епитрахилью, совершалось такъ быстро, точно это дѣлалось все во снѣ, а не на яву. Спустя минуту, Твардовскій сидѣлъ уже съ женой въ коляскѣ и, поручивъ свою верховую лошадь груму, счастливый обладаніемъ красавицы, возвращался въ Краковъ. Прекрасная женщина, закутавшись въ мѣховую шубу, смѣялась какъ ребенокъ и посматривала по направленію къ городу, съ нетерпѣніемъ ожидая, скоро-ли покажутся краковскія башни и стѣны. На страстные порывы мужа, полные горячихъ желаній, Агнеса отвѣчала смѣло, свободно безъ малѣйшаго внутренняго волненія, даже съ равнодушіемъ, которое поразило бы самаго смѣлаго мужчину, въ первую минуту послѣ свадьбы.

На разсвѣтѣ, сквозь прозрачную дымку тумана, они замѣтили краковскія башни, и вскорѣ коляска промчалась черезъ городскія ворота. Обогнувъ нѣсколько улицъ и грязныхъ переулковъ, коляска подкатила къ подъѣзду каменнаго дома Твардовскаго, и въ то же время начался благовѣстъ къ заутрени. Двери были открыты и въ окнахъ мелькали яркіе огни, непотушенные еще лакеями, несмотря на всходившее уже солнце. Камердинеры и лакеи въ богатыхъ ливреяхъ толпились на лѣстницѣ, ожидая прибытія молодыхъ господъ. На кухнѣ поднялась суматоха; повара и поваренки бѣгали и суетились, приготовляя вкусныя блюда. Въ апартаментахъ Твардовскаго слышались крики, веселый смѣхъ и восклицанія.

— Что это за шумъ?—спросила съ удивленіемъ жена.—У тебя гости?

— Да, я пригласилъ друзей и знакомыхъ выпить бокалъ вина за наше здоровье и счастье, —отвѣчалъ Твардовскій.

Яркій румянецъ разлился по лицу новобрачной; она видимо обрадовалась и быстро начала оправлять свой туалетъ.

Въ эту минуту отворилась дверь и глазамъ Агнесы представилась громадная зала, залитая яркимъ свѣтомъ безчисленныхъ свѣчей, обитая дамаскомъ съ золотыми галунами, вмѣсто карниза. Посреди залы стоялъ громадный столъ, заставленный серебряною и золотою посудой, въ которой отражались лучи падавшаго свѣта отъ множества свѣчей, горѣвшихъ на столѣ въ золотыхъ канделябрахъ. За столомъ сидѣли гости, скучавшіе въ ожиданіи молодыхъ. При появленіи Твардовскаго и Агнесы всѣ встали и шумно привѣтствовали молодую чету.

Крикъ изумленія вырвался изъ грудей присутствующихъ, когда Агнеса сняла темный вуаль и обнаружила свое лицо. Между восклицаніями восторга и изумленія вдругъ раздались крики гнѣва, злобы, проклятій и угрозы:

— Агнеса!..

— Да, это она.

— Моя воспитанница!..

— Моя невѣста!..—раздавались возгласы присутствовавшихъ.

Нужно сказать, что Твардовскій, приглашая знакомыхъ на свадьбу, не называлъ имени своей будущей жены, и поэтому неудивительно, что среди присутствующихъ послышались возгласы удивленія, такъ какъ между гостями находились многіе, искавшіе руки Агнесы, а всѣ остальные—были ея горячими поклонниками. Прислуга Твардовскаго, которой приказано было приглашать всѣхъ его знакомыхъ, пригласила въ томъ числѣ и Станислава Порая, не подозрѣвая, что ихъ господинъ женится на его воспитанницѣ. Послѣднему, конечно, и во снѣ не снилось, что женою Твардовскаго онъ увидитъ свою Агнесу, которую хотѣлъ выдать за какого нибудь купца, дальняго или ближняго своего родственника

Немудрено поэтому, что Станиславъ Порай, узнавъ Агнесу, очень разсердился, и пробившись сквозь толпу гостей, злобно вскричалъ:

— Господа! Протестую!.. Вѣдь это скандалъ, это нахальство!..—И затѣмъ, обращаясь къ Твардовскому продолжалъ:—Милостивый государь! Вы осмѣлились оскорбить меня, подговоривъ мою родственницу, обѣщанную другому, бѣжать съ вами!.. Затѣмъ, вы позволили себѣ насмѣяться надъ моею сѣдиною, пригласивъ меня на свадьбу увезенной вами моей воспитанницы, быть свидѣтелемъ вашей наглости и ея измѣны другому; вы, слѣдовательно, попрали мое доброе шляхетское имя и поэтому должны смыть кровью нанесенное мнѣ оскорбленіе. Если ты шляхтичъ—вынь шпагу и защищайся!..—закончилъ Порай.

— Господа! господа, успокойтесь!—уговаривали многіе.

— Стойте, стойте!—кричали женщины.

Произошло общее смятеніе.

Перепуганная Агнеса, пряталась за спину своего мужа.

Въ числѣ присутствующихъ находился и экс-женихъ Агнесы, которому Станиславъ Порай обѣщалъ ея руку.

Возмущенный поступкомъ невѣсты, эх-женихъ подошелъ къ Твардовскому.

— Милостивый государь!—сказалъ онъ: — вы осмѣлились разрушить счастіе почтеннаго семейства и похитить мою невѣсту. Вы завладѣли ею помимо согласія родныхъ, какъ разбойникъ, и на мнѣ лежитъ святая обязанность отомстить вамъ за посрамленіе чести Пораевъ. Вы должны искупить кровью наше безчестіе. Вынимайте саблю и деритесь со мною!..

— Молчи, мужикъ!—сказалъ одинъ изъ друзей Твардовскаго:—имѣешь ли ты право, торгашъ, взять саблю въ руки и драться съ шляхтичемъ!.. Ступай, дерись аршиномъ съ своими собратами, но не смѣй прикасаться рукою къ этой святынѣ; намъ ли обагрять ее въ твоей мѣщанской крови, для которой достаточно и хорошаго пучка лозы. Прочь, негодяй!..

Нѣкоторые изъ гостей, болѣе миролюбивые, старались успокоить расходившихся гостей и помирить враговъ, но усилія ихъ были безуспѣшны и шумъ возрасталъ съ каждой секундой, пока Агнеса не приняла энергическаго участія въ разъясненіи недоразумѣнія.

— Господа!—выступивъ впередъ, сказала Агнеса: — я не понимаю, чего вы хотите и изъ-за чего затѣваете ссору?.. Вѣдь я никому изъ васъ не обѣщала своей руки, и никто изъ васъ

не имѣетъ на меня никакого права... Даже вы, Станиславъ, не можете претендовать на меня, потому что я не ваша дочь, и вы не имѣете никакого права распоряжаться мною!.. А вы, Доминикъ, какое имѣете право вступаться за меня, какъ за свою невѣсту?..—прибавила Агнеса, обращаясь къэкс-жениху.— Развѣ я обѣщала вамъ свою руку?.. Какое вамъ дѣло до меня?.. Я сирота, и поэтому должна заботиться сама о себѣ. Ничьей наслѣдницей я не буду, а, слѣдовательно, могу располагать собою по своему усмотрѣнію

— Молчать, неблагодарная тварь!—вскричалъ Станиславъ Порай, взбѣшенный словами Агнесы.—Я не желаю имѣть съ тобой никакого дѣла... Мнѣ нуженъ тотъ, кто оскорбилъ мою честь и насмѣялся надъ моими сѣдинами, мнѣ нуженъ твой мужъ, такъ лукаво обошедшій меня. Прочь, женщина! твое мѣсто у печи возиться съ горшками. А ты, несчастный, защищайся!.. Ты дорого мнѣ заплатишь за свое лукавство.

Твардовскій хладнокровно и съ иронією выслушалъ вызовы Порая и его родственника, точно это не касалось его. Зѣтѣмъ съ неменьшимъ хладнокровіемъ сказалъ:

— Успокойтесь господа!.. Прежде, чѣмъ мы будемъ драться, повеселитесь на моей свадьбѣ и выпейте за наше здоровье кубокъ стараго заморскаго вина. Сабли не уйдутъ отъ насъ... время много впереди!.. Что за свадьба безъ вина и танцевъ!.. Эй, музыканты!..

Въ отвѣтъ на эти слова, оркестръ нѣмецкихъ музыкантовъ грянулъ веселый краковякъ и заглушилъ сѣтованія и угрозы Станислава и Доминика Пораевъ. При звукахъ волшебныхъ скрипокъ, трубъ и тимпановъ, сабли и палки попрятались на мѣсто, и гости, взявши за руки другъ друга, невольно пустились въ бѣшенную пляску вокругъ стола. Шпоры и сабли гремѣли, молодцоватая компанія въ шапкахъ набекрень весело покручивала усы и въ тактъ пощелкивала шпорами. Бѣшенный краковякъ смѣнился неменѣе бѣшеною мазуркой, которая окончательно заглушила вспышки гнѣва враждующихъ. Танцовали безъ устали, не забывая о кубкахъ искрометнаго венгерскаго вина. Осушаемыя бутылки замѣнялись другими: веселье было полное. На дворѣ давно ужъ былъ день, давно уже догорѣли и погасли свѣчи, а пиръ и танцы продолжались

съ большею энергіей и весельемъ. Наконецъ Станиславъ взмолился:

— Прикажи замолчать оркестру,—вскричалъ раскраснѣвшійся Станиславъ, обращаясь къ Твардовскому и почти падая отъ усталости и выпитаго вина,—ты совсѣмъ измучаешь насъ!.. Чортъ съ тобой, не хочу драться, только вели замолчать оркестру!.. Прощаю тебѣ всѣ обиды, но ужъ нога моя больше не будетъ у тебя!.. Да вели же замолчать музыкантамъ!.. Доминикъ! поддержи меня, или я упаду, какъ колосъ въ полѣ.

Доминикъ, послушный просьбѣ Станислава, хотѣлъ поддержать его, но и самъ, едва держась на ногахъ, отлеталъ, какъ мячъ, въ сторону, толкаемый парами въ мазуркѣ.

Твардовскій и Агнеса помирали отъ смѣха. Наконецъ, сжалившись надъ гостями, хозяинъ велѣлъ замолчать музыкантамъ, которые, точно по мановенію волшебнаго жезла, сразу оборвали, и многіе гости попадали отъ усталости на мѣстѣ.

Послѣ танцевъ начался ужинъ. Нѣкоторые сѣли за столъ, другіе же, опасаясь новаго мщенія Твардовскаго, поспѣшили убраться домой.

Твардовскій съ Агнесой заняли почетныя мѣста за столомъ; гости окружили новобрачныхъ и начался пиръ. Музыка гремѣла, произносились заздравные тосты и веселая компанія пропировала до поздняго вечера.

Въ сумерки, молодые удалились на покой, а пирующіе остались еще допивать свои кубки.

Удивительные слухи ходили въ городѣ на другой день послѣ свадьбы Твардовскаго. Утверждали даже, что прошедшая ночь тянулась нескончаемо долго; нашлись и такіе, которые говорили, что эта ночь тянулась въ продолженіе сорока часовъ, вмѣсто восьми. Спорили и ссорились и наконецъ помирились на тридцати. Не ручаемся за достовѣрность подобныхъ слуховъ, но можемъ сказать утвердительно, что ни одна ночь не показалась Твардовскому такою короткою, какъ эта первая ночь медоваго мѣсяца.

X.

Какъ Твардовскій жилъ съ женою, какъ подслушалъ ее, по совѣту дьявола, у дверей и что потомъ сдѣлалъ.

Кто не испыталъ счастливыхъ минутъ въ первые дни супружества, кто не испилъ сладкаго нектара изъ золотой чаши любви,—любви, которая наполняетъ сердца новобрачныхъ божественнымъ обаяніемъ и возвышаетъ ихъ душу до небесъ, любви въ таинственной тиши и объятіяхъ двухъ любящихъ, но не вполнѣ еще сблизившихся и связанныхъ сердецъ, робѣющихъ и стыдящихся другъ друга полукороткостью и полусвободой отношеній? Кто не знаетъ этихъ счастливыхъ дней, блестящихъ счастіемъ и лучезарною надеждою на будущую жизнь, полную веселья и блаженства? Такія минуты, нерѣдко и дни, достаются въ удѣлъ даже самымъ неудачнымъ супругамъ, золотая чаша которыхъ наполнена горечью, вмѣсто искрометнаго вина. Въ это счастливое время, супруги сохраняютъ еще взаимное уваженіе другъ къ другу, цѣлуются, любезничаютъ; они становятся другъ для друга необходимыми существами, входятъ въ нѣжно фамильярныя отношенія, насколько эта фамильярность нужна для ихъ любви, не выходя однако изъ рамокъ тѣхъ условій, которыя предписываются вѣжливостью, оставляющею послѣ себя въ сердцѣ влюбленныхъ отпечатокъ нѣги и чего-то неземного, идеальнаго. Оба они всматриваются другъ въ друга, изучаютъ каждую черточку лица, движенія, фигуры, и въ этой полудовѣренности и полунедовѣрчивости чувствуютъ себя счастливыми оба!..

Таковы были, какъ и всѣ, первые дни супружеской жизни Твардовскаго. Оба казались счастливыми. Агнеса забыла на время свою гордость и тщеславіе, славу и богатство. Влюбленный до безумія, Твардовскій былъ у ея ногъ, цѣловалъ руки, заглядывалъ въ глаза, и забывалъ обо всемъ въ мірѣ, чувствуя себя на верху блаженства. Только въ минуты, когда мысли его возвращались къ прошедшему, когда страшная смерть заглядывала въ глаза, напоминая ему о запроданной дьяволу душѣ

и грозя косою срубить шею съ его могучихъ плечъ, на лицо Твардовскаго моментально набѣгали тучи, лобъ хмурился, глаза мрачно блистали и сердце переставало биться.

Однако же, если одна какая нибудь страсть овладѣваетъ человѣкомъ, то и всѣ другія разжигаются ея палящимъ пламенемъ. Такъ именно было и съ Твардовскимъ: съ каждымъ днемъ онъ менѣе думалъ о прошломъ и не заботился о будущемъ, а дьяволъ между тѣмъ ехидно улыбался, глядя на него изъ угла комнаты,—онъ хорошо зналъ, что чарующіе дни промчатся со скоростью мгновенья и читалъ въ душѣ Агнесы, какую будущность она подготовляетъ своему мужу.

Время между тѣмъ летѣло незамѣтно; бѣжали часы, дни, недѣли и мѣсяцы, и наконецъ годъ безвозвратно канулъ въ Лету, къ концу котораго Агнеса значительно измѣнилась къ мужу. Характеръ ея утратилъ чарующую прелесть первыхъ дней супружества, гордость и желаніе повелѣвать мужемъ прорывались ежедневно и время отъ времени все рѣзче и замѣтнѣе. Твардовскій смѣялся и принималъ въ шутку колкости жены; онъ все еще по прежнему любилъ свою Агнесу; но, когда капризы ея переходили границы, онъ дѣлался равнодушнымъ. Тяжелыя мысли наполняли его голову и онъ возвращался къ давно забытымъ минутамъ невеселаго раздумья, къ припадкамъ мизантропіи.

Между тѣмъ Агнеса кричала и дебоширствовала по цѣлымъ днямъ, превращала въ домѣ все вверхъ дномъ, транжирила деньги, и, изобрѣтая съ каждымъ днемъ новыя удовольствія и развлеченія, затмѣвала городъ роскошью и блескомъ.

Вскорѣ Агнесѣ наскучили и домъ, и мужъ, и все, ея окружавшее; ей хотѣлось новыхъ знакомствъ, новыхъ удовольствій, передъ которыми бы она могла похвастаться своимъ богатствомъ и ученостью, блеснуть, такъ сказать, кокетствомъ и напыщенностью фразъ, которыми она осыпала своихъ многочисленныхъ гостей и поклонниковъ. Страсть къ тщеславію, мало по малу вытѣсняла любовь и привязанность къ мужу, на которыя онъ, въ счастливое время, не могъ пожаловаться, когда она была внимательна къ нему. Жизнь Твардовскаго съ каждымъ днемъ становилась несноснѣе и вскорѣ раскаяніе начало мучить его невозмутимую душу... Образъ жизни ея совершенно измѣнился.

Трудно, конечно, описать, какимъ образомъ дѣла дошли до того положенія, въ какомъ они находились въ послѣднее время; какимъ, напр., образомъ началъ обнаруживаться ея скрытый характеръ и какъ изъ кроткой жены сдѣлалась несносная барыня; но вѣрно лишь то, что, когда Твардовскій желалъ по прежнему предаться своимъ обычнымъ думамъ, жена приказывала занимать ея поклонниковъ и обожателей, превозносившихъ ея красоту, знаніе и таланты. При всемъ желаніи уединенія, Твардовскій долженъ былъ ѣхать съ нею въ шумное общество, гдѣ расточались его женѣ похвала и лесть. Ни дома, ни въ людяхъ бѣдный докторъ не имѣлъ ни минуты покоя, ни угла, гдѣ могъ бы свободно предаться размышленію. На его ученыхъ книгахъ и разныхъ медицинскихъ аппаратахъ, лежавшихъ по столамъ и стульямъ, ходили и лежали женины собаки, летали и садились попугаи, которыхъ она держала ради того, что королева и жена воеводы, были страстными любительницами животныхъ.

Твардовскій, какъ ребенокъ, привыкъ уже слушаться жены и, волей или неволей, исполнялъ ея приказанія. „Поди туда, сдѣлай то-то“ и т. п. были обыкновенными выраженіями жены къ мужу. Сначала все это онъ дѣлалъ по любви, а затѣмъ вошло и въ привычку. Однако Агнеса была когда-то внимательна къ нему; обращенія ея съ мужемъ были нѣжны и ласковы: онъ не зналъ себѣ другого имени, какъ „дорогой, сердце мое, ангелъ мой, душа моя, прелесть моя“. Подобные эпитеты жены радовали и веселили его душу; но все это давно уже прошло и, мало по малу, нѣжность превратилась въ суровыя приказанія: „Я хочу, и такъ должно быть!“ — говорила она, и дѣйствительно, все дѣлалось по ея желанію.

Бываютъ минуты въ жизни мужей, даже самыхъ кроткихъ, когда они поневолѣ теряютъ терпѣніе, когда начнутъ вникать въ свою жизнь и всматриваться въ положеніе, которое начинаютъ занимать по милости своихъ женъ. Такая именно минута приближалась для Твардовскаго, который все еще мнилъ себя влюбленнымъ въ свою жену. Наконецъ сварливость и повелительный тонъ жены начинали надоѣдать и ему. Онъ сдѣлался равдушенъ къ ея капризамъ и понемногу началъ стряхивать съ себя власть жены; онъ позволялъ себѣ иногда заяв-

нть неудовольствіе или не слушаться ея, даже явно возму-ался ея тономъ. Наконецъ дѣло дошло до маленькихъ недо-азумѣній и ссоръ, которыя однако же кончались всегда съ аступленіемъ ночи, когда супруги ложились спать. Они строго ще придерживались патріархальной пословицы: «Съ женой, акъ ни ссорься, ни дерись, а вмѣстѣ спать ложись». Но вскорѣ аленькія ссоры дѣлались крупнѣе и продолжительнѣе; супруги астенько косились другъ на друга и не говорили по нѣсколько, ней подъ рядъ. Все это однако не обнаруживалось для свѣта отя злоба и ненависть другъ къ другу кипѣли въ ихъ груди, о въ присутствіи постороннихъ, они сохраняли согласіе и даже бщую любезность.

Впрочемъ, неудивительно, что ссоры, маленькія и крупныя едоразумѣнія часты между женатыми людьми, но кому не звѣстно, что съ годами все это проходитъ; люди старѣются слабѣютъ съ каждымъ днемъ, съ каждымъ часомъ, хотя и езамѣтно: и годы, и болѣзни, и любовь, и вражда все подта-иваетъ насъ въ самомъ основаніи; время обхватываетъ насъ воими могучими руками, и выжимая изъ насъ силы и соки, росаетъ въ концѣ концовъ въ объятія смерти. Извѣстно вѣдь, то всѣ брачныя недоразумѣнія и ссоры зарождаются большею астью отъ бездѣлья, какъ пожаръ отъ искры... Семейная междо-собица обыкновенно начинается хандрою, молчаніемъ, грима-ами, неудовольствіемъ на все и вся и оканчивается въ пер-ые дни обыкновеннымъ ворчаніемъ, а затѣмъ крупной ссорой, разъ ужъ удастся переночевать несогласію подъ супружес-кою постелью, то и въ нѣсколько недѣль не выжить ее отъ-уда и не отдѣлаться ни крестомъ, ни пестомъ, какъ гово-ится по пословицѣ... Когда война представляется неизбѣжною, упруги живо вооружаются и ждутъ только удобной минуты риступить сначала къ атакѣ, а затѣмъ уже къ генеральному раженію.

Но трудно было воевать „слабой женщинѣ“ съ Твардов-кимъ. На его сторонѣ были умъ, знаніе, сила, воля, колдов-тво и тысячи разныхъ средствъ; къ его услугамъ былъ весь дъ, и стоило только ему подумать о мщеніи, какъ другая ысяча средствъ непредвидѣнныхъ и непредотвратимыхъ яви-ись бы ему на помощь не только противъ одной безсильной

женщины, но хотя бы ихъ было нѣсколько полковъ. Слово всѣ шансы побѣды были на сторонѣ Твардовскаго. И что могла сдѣлать съ нимъ жена? Что могла она противопоста его силѣ?.. Свое женское упорство и настойчивость,—расп кавшееся, разбитое оружіе,—остатки погасавшей любви, к рая израсходовалась въ первыхъ схваткахъ семейной войн отъ которой осталась лишь одна тѣнь, одно воспоминаніе осталась скорѣе ко вреду, чѣмъ къ пользѣ. Остатки эти м скорѣе погубить ее, чѣмъ защитить отъ расходившейся же мужа. Въ концѣ концовъ супруги сходились только ради т чтобы поссориться.

А дьяволъ-то, дьяволъ, какъ радовался всему этому, к смѣялся и рукоплескалъ!..

Однажды онъ появился передъ Твардовскимъ, когда т послѣ продолжительной ссоры съ женой возвратился въ с кабинетъ и измученный, усталый упалъ на диванъ и глуб призадумался.

— Добрый вечеръ, докторъ!—привѣтствовалъ его дьяволъ. Давненько мы не видались... много воды убѣжало съ тѣ поръ... Однако, что съ тобою?.. Ты мраченъ... Хе, хе! любе ный!.. Никакъ ужъ размолвка съ женой!.. Судя по твоем лицу, кажется, я не ошибся. Неужели и впрямь ты нак лолся на розовые шипы? А что, не правъ ли я былъ?..

— Все это вздоръ,—возразилъ Твардовскій, — бездѣлиц семейныя непріятности и больше ничего. Безъ этого не м жетъ обойтись; супружескія непріятности—зло неизбѣжное.

— Однако, я вижу, ты не особенно дальновиденъ,—сказал съ злобною ироніей дьяволъ. — Что ни говори, не проведеш меня,—я все-таки дальновиднѣе тебя... Въ душѣ твоей, Твар довскій, я читаю какъ въ книгѣ... Припомни-ка мой совѣт не былъ ли я тогда правъ, уговаривая тебя не жениться... Ты вѣдь протестовалъ противъ моихъ словъ, обѣщая себ вѣчное счастье!..

— Я и не ошибался, обѣщая себѣ счастіе. Это вѣд только мимолетныя тучки на чистомъ небѣ.

— Тучки, которыя вскорѣ сойдутся вмѣстѣ и образуют громъ и молніи... Напрасно ты скрываешь передо мною... вѣдь знаю, какого поля ягода твоя жена...

— Да откуда же ты взялъ, что я несчастливъ и что причиною этого несчастья—моя жена?

— Странный вопросъ! Точно ты забылъ, что передо мною не можетъ ничего скрыться.

— Если ты все знаешь, въ такомъ случаѣ посовѣтуй мнѣ, какъ выйти изъ этого положенія.

— Совѣтовать счастливому человѣку!.. Ха, ха! Не поздно-ль, голубчикъ, спохватился?.. Нужно было слушаться прежде... Не я ли тебѣ говорилъ, чтобы ты не женился, не я ли совѣтовалъ увезти ее, и, высосавъ изъ нея всю сладость жизни, бросить, какъ негодную тряпку, въ которой миновала надобность... Зачѣмъ же ты женился?..

— Зачѣмъ? Хотѣлъ жениться и женился! Я имѣлъ свою цѣль... на женитьбу я смотрѣлъ съ своей точки зрѣнія...

— И ничего не видѣлъ,—перебилъ его сатана.—Ну и пеняй теперь на себя... Теперь ты видишь плоды твоей опрометчивости... Однако, шутки въ сторону, нужно кончить эту исторію.

— Какъ же ее кончить?

— Прогони ее изъ дому.

— Прогнать жену!.. Да ты никакъ съ ума сошелъ, дьяволъ? Да что скажутъ люди?

— Люди!! ха, ха, ха! Во время же ты спохватился, что людская болтовня нужна тебѣ для составленія счастія!..

— Пойми, что выгнать жену, это—опозорить ее и себя вмѣстѣ!..

— Какую жену?

— Какъ, какую?.. Да вѣдь Агнеса моя законная жена...

— Ха, ха, ха! Часъ отъ часу не легче!.. Потому законная, что я вѣнчалъ васъ!.. Ты, дружище, никакъ позабылъ объ этомъ... Припомни-ка, кто вѣнчалъ тебя.

Твардовскій дѣйствительно позабылъ и, увлеченный свѣтомъ, привыкъ считать себя настоящимъ мужемъ Агнесы.

Надъ этимъ обстоятельствомъ онъ сильно призадумался. Наступила минута молчанія.

— Въ сущности, она не такъ зла, какою представляется тебѣ,—сказалъ нерѣшительно Твардовскій.

— Однако, она хуже, чѣмъ ты предполагаешь,—съ ироніей возразилъ дьяволъ.—Ты все еще любишь ее и поэтому гово-

ришь такъ .. Впрочемъ, я не думаю отговаривать тебя любить ее: люби, сколько тебѣ угодно; но все-таки не мѣшаетъ увѣриться въ ея добродѣтели... И если желаешь — я къ твоимъ услугамъ...

— Что же, по твоему, она измѣняетъ мнѣ?.. Ты забываешься, сатана!.. Смѣетъ ли она измѣнить мнѣ? — воскликалъ Твардовскій, сжимая кулаки и подходя къ дьяволу.

Глаза Твардовскаго метали искры и онъ дрожалъ, какъ въ лихорадкѣ.

— А между тѣмъ, это такъ,—прехладнокровно отвѣчалъ дьяволъ, не двигаясь съ мѣста.

— И ты докажешь, что Агнеса измѣняетъ мнѣ?

— Съ удовольствіемъ.

— Измѣняетъ! — прохрипѣлъ Твардовскій. — Кто ея обожатель, говори, сатана. На кого она мѣняетъ меня?..

— Конечно, на молокососа, очень свѣженькаго, румянаго мальчика,— холодно отвѣчалъ дьяволъ.—А ты и не подозрѣвалъ этого?.. Бѣдный слѣпецъ!.. Такъ знай же, ужъ коль рубить— такъ съ плеча,—что связь ихъ продолжается болѣе двухъ мѣсяцевъ .. Но я не сказалъ еще его имя—хочешь ли знать?.. Агнеса промѣняла тебя на Христофора, королевскаго коморника, этого франтика, глупаго, какъ палка.

— Не можетъ быть! Это ложь. Я долженъ непремѣнно удостовѣриться въ этомъ!.. И тогда... О, тогда я знаю, что дѣлать!.. Я задушу ее.. Я сейчасъ же отправляюсь къ ней!..

— Ступай, ступай! Но позволь сказать тебѣ на прощанье, что изъ всѣхъ мудрецовъ, какихъ я когда нибудь видалъ на свѣтѣ, — глупѣе тебя я никого не видалъ. Ну, посуди самъ, не глупъ ли ты!.. Вмѣсто того, чтобы спокойно ждать случая, который бы удостовѣрилъ тебя въ невѣрности жены; вмѣсто того, чтобы обдуманно и осторожно совершить мщеніе, упиться всею прелестью ея страданій, ты бѣжишь, чтобы предупредить ее; чтобы она обезоружила тебя своимъ кокетствомъ и слезами; чтобы, наконецъ, опутала и сильнѣе привязала къ себѣ!.. Колпакъ!..

— Что же мнѣ дѣлать, говори?—воскликнулъ въ отчаяніи Твардовскій.—Ты видишь, что я не могу перенести этого!

— Выслушай меня терпѣливо: я научу тебя какъ посту-

пить... Поди, скажи ей, что ты сегодня уѣзжаешь къ опасно больному, который требуетъ твоей помощи, за нѣсколько миль отъ Кракова, и приготовься къ отъѣзду. Въ этомъ тебѣ легко ее увѣрить. Съ наступленіемъ ночи уѣзжай изъ дому, но не изъ города. Будь увѣренъ, что едва ты оставишь за собою порогъ своего дома, какъ она впуститъ къ себѣ своего любовника... Ночью проберись въ садъ и заднимъ ходомъ войди въ домъ, а затѣмъ въ свою комнату, откуда ты услышишь и увидишь все. Поймавъ на преступленіи, ты съ позоромъ можешь прогнать ее вонъ.

— Отлично! Но я не желалъ бы видѣться съ нею,—сказалъ Твардовскій,—потому что я не выдержу и выскажу все, что накипѣло на моемъ сердцѣ.

Съ этими словами онъ позвалъ камердинера и послалъ къ женѣ предупредить ее о своемъ отъѣздѣ на продолжительное время.

Спустя нѣсколько времени, дьяволъ показалъ ему въ окно служанку, выходившую заднею дверью на улицу; служанка эта была повѣренною всѣхъ тайнъ его жены.

— Не угодно ли полюбоваться: вонъ ужъ и служанка пошла къ ея возлюбленному, сказать, чтобъ онъ пришелъ къ ней. И отлично, поймаемъ, какъ птичку въ западню.

Между тѣмъ лошади Твардовскаго выѣхали изъ воротъ и, обогнувъ полукругъ, остановились у подъѣзда. Твардовскій сѣлъ въ коляску и велѣлъ трогать, а дьяволъ остался на часахъ, караулить любовника Агнесы.

Выѣхавъ за Флоріановскіе ворота, онъ подъѣхалъ къ корчмѣ, гдѣ долженъ былъ ждать прихода дьявола съ увѣдомленіемъ.

О, съ какою нетерпѣливостью и съ какимъ волненіемъ ожидалъ онъ прихода сатаны! Кровь клокотала въ его груди и онъ со злобой сжималъ кулаки.

Наконецъ пришелъ и дьяволъ съ своей демонической улыбкой; онъ видимо торжествовалъ.

— Идемъ!—сказалъ онъ.

Ночь была тихая, ясная и теплая; тихо передвигаясь мимо каменныхъ стѣнъ, оба достигли садовой калитки; пройдя по аллеѣ, оба, по заднему ходу, пробрались въ смежную комнату со спальней Агнесы.

— Гдѣ же они?—дрожа спросилъ мужъ.

— Здѣсь,—отвѣчалъ дьяволъ:—жди и слушай, только терпѣливо и со вниманіемъ; черезъ дверцу ты все услышишь.

Блѣдный, какъ полотно, Твардовскій держалъ въ дрожащихъ рукахъ огромную саблю и, слушая подъ дверью, едва переводилъ дыханіе.

Въ спальной между тѣмъ происходилъ слѣдующій разговоръ:

— Ты думаешь, Христофоръ, что я могла когда-нибудь любить своего мужа,—говорила Твардовская.

— Думаю, что любила, иначе ты не отказалась бы отъ предложенія многихъ искателей твоей руки, а тѣмъ болѣе отъ наслѣдства, послѣ смерти Порая. Зачѣмъ же ты бѣжала съ нимъ?..—говорилъ счастливый любовникъ.

— Потому что Твардовскій богаче всѣхъ Пораевъ, вмѣстѣ взятыхъ, а я разсчитывала на его богатство.

— Однако, признайся, вѣдь ты любила Твардовскаго въ первое время своего замужества?—послышался опять голосъ любовника.—Я наблюдалъ за тобою и видѣлъ это...

— Волей или неволей, но я должна была притворяться, и, повидимому, очень искусно провела свою роль, потому что обморочила васъ всѣхъ. Любовь для мужа, что медъ для мухъ, стоитъ только опутать его своими сѣтями, а подъ башмакъ ужъ онъ самъ полѣзетъ, это не составитъ никакого труда. Посаженный однажды—не вырвется скоро...

— Дѣйствительно, ты ловкая женщина,—сказалъ смѣясь Христофоръ,—однако и мужъ твой порядочный фофанъ. Ловко ты его проводишь... Оказывается, что его всемірная извѣстность и чернокнижіе, о которомъ такъ много говорятъ, очень недальновидны. Впрочемъ, кто изъ мужчинъ не попадалъ на удочку женщинъ, когда для приманки ихъ онѣ дѣлаютъ такіе прелестные глазки, что и самъ дьяволъ не устоитъ...

При этихъ словахъ раздался звонкій поцѣлуй и Твардовскій хотѣлъ уже отворить дверь, но дьяволъ остановилъ его.

— Не торопись,—сказалъ онъ,—услышишь еще кое-что, подожди минутку.

Въ спальнѣ между тѣмъ продолжался разговоръ, часто прерываемый горячими поцѣлуями.

— Скажи мнѣ, пожалуйста,—продолжалъ Христофоръ, —

неужели только одно богатство склонило тебя выйти за Твардовскаго? Вѣдь за тобою ухаживали очень богатые люди.

— Конечно, не одно богатство!.. Ты выслушай меня,—отвѣчала Агнеса,—съ тобой я буду откровенна. Кромѣ богатства меня привлекала его слава и значеніе. Всю жизнь я мечтала сдѣлаться всемірной извѣстностью и отдала бы за нее все на свѣтѣ; слава—это моя страсть, болѣзнь, и я достигла желаемаго. Въ Твардовскомъ я нашла то, о чемъ мечтала съ дѣтства, кромѣ любви... Я не знала, что для составленія счастья нужна любовь, и только теперь, возлѣ тебя, я отогрѣлась и чувствую, что я живу; только съ тобою я узнала любовь...

Слова эти сопровождались новыми жаркими поцѣлуями.

— Не понимаю однако,—сказалъ Христофоръ,—какимъ образомъ человѣкъ, считающійся чернокнижникомъ, всевѣдущимъ, позволяетъ намъ обманывать себя такъ спокойно и равнодушно, точно это не касается его; неужели онъ не подозрѣваетъ этого, неужели не знаетъ, что ты отдалась ему вовсе не изъ-за любви, а только изъ-за славы и богатства? Это мнѣ напоминаетъ пословицу, которую однако я не рѣшаюсь сказать тебѣ.

Христофоръ улыбнулся. Минута молчанія.

— Да вѣдь съ мудрецами всегда такъ бываетъ,—послышался голосъ Агнесы:—засматриваясь въ небо, они не видятъ пропасти передъ собою. Впрочемъ, я не раскаиваюсь: въ немъ нашла я рыцаря, въ тебѣ — любовь. Его я считаюсь женою, твоею возлюбленной, имъ я живу для свѣта, тобою для себя... Обѣ жизни составляютъ для меня цѣлое.

— Я все-таки остаюсь при своемъ убѣжденіи, что онъ не мудрецъ, а просто дуракъ,—сказалъ Христофоръ.

Здѣсь ужъ Твардовскій не могъ выдержать и, съ шумомъ отворивъ дверь, вбѣжалъ въ спальню съ поднятою саблей въ рукахъ. Крики всполошенныхъ голубковъ послышались въ комнатѣ. Христофоръ схватился за саблю, лежавшую на всякой случай возлѣ него, и къ величайшему изумленію своему замѣтилъ, что вмѣсто нея оказался только чехолъ отъ сабли.

Твардовскій гнѣвно мѣрилъ ихъ глазами. Агнеса спрятала голову подъ подушку и лежала не дыша.

— А!—прошипѣлъ Твардовскій, — я глупъ, потому что зналъ все; глупъ, потому что сторожилъ васъ; глупъ, потому

что жестоко отплачу вамъ. Умны только вы, пойманные въ западню. Посмотримъ же, кто изъ насъ глупѣе и какъ то вы вывернетесь отъ меня... Ну-ка, докажи свою высокую мудрость, господинъ коморникъ и ты умная женщина, въ обманѣ мужа!.. Съ тебя я и начну. Слушай, несчастная, измѣнница!.. Между нами все кончено, ты никогда не была моей женою и не будешь ею впредь, мы повѣнчаны не священникомъ, а дьяволомъ... Вонъ изъ моего дома, негодная тварь! Поди, проси милостыню или продавай горшки на Краковскомъ рынкѣ; твое мѣсто теперь на папертяхъ съ протянутою рукою. Ты, что мечтала всю жизнь свою о славѣ и богатствѣ, будешь пресмыкаться какъ гадина, и узнаешь какъ измѣнять мужу!.. Прочь, съ глазъ моихъ, негодная блудница.

Твардовскій позвалъ прислугу.

— Выбросьте ее за дверь, и если она когда нибудь осмѣлится показаться на порогѣ моего дома, выпорите ее розгами...

Затѣмъ, обращаясь къ Агнесѣ, прибавилъ:

— Я не желаю предавать тебя смерти: живи и страдай, несчастная!.. Возмите ее и выбросьте на улицу...

Приказаніе Твардовскаго моментально было исполнено. Слуги ненавидѣли ее и обрадовались случаю излить свою желчь на гордой барынѣ, ни днемъ, ни ночью не дававшей имъ покоя.

— Ну-съ, любезный, теперь твоя очередь расплачиваться со мною и получить достойное наказаніе,—продолжалъ Твардовскій обращаясь къ Христофору.—Ты хватался за саблю, чтобы ею поразить Твардовскаго, несмотря на то, что тяжко оскорбилъ его, посягнувъ на его спокойствіе и честь жены и что такъ много виноватъ передъ нимъ!.. Въ наказаніе за это я осуждаю тебя на двадцатилѣтнее раскаяніе: ты превратишься въ собаку, которую будутъ толкать ногами и бить палками; двадцать лѣтъ ты пробудешь въ собачей шкурѣ и двадцать лѣтъ тебя будутъ шпарить кипяткомъ и гнать отъ воротъ дома честныхъ людей. Поди вслѣдъ за своей возлюбленной, которая будетъ бросать тебѣ корки сухого хлѣба, собраннаго милостыней, которымъ будетъ питаться и сама. Вонъ, собака!

Едва Твардовскій произнесъ эти слова, какъ Христоферъ превратился въ собаку, которую Твардовскій ткнулъ ногой.

Залаявъ и завывъ, собака выбѣжала на улицу, сопровождаемая пинками слугъ и дворни Твардовскаго.

Это было начало мщенія оскорбленнаго мужа.

XI.

Какъ мстилъ за себя Твардовскій.

Послѣ описаннаго происшествія съ Агнесой, Твардовскій значительно измѣнился. Сначала онъ искалъ женщины, которая бы искренно полюбила его, но, увы! напрасны были желанія и надежды. Въ то время, когда за глупцами ухаживали и съ ума сходили хорошенькія женщины, навязывая имъ свою любовь, и даже измѣняя ради нихъ своимъ мужьямъ, Твардовскій не находилъ ни одной, которая бы полюбила его не за богатство и славу. Но почему же? — спроситъ читатель. Очень просто; вѣроятно, потому, что женщины любятъ всегда мужчинъ глупѣе себя, такъ какъ въ присутствіи подобныхъ субъектовъ они чувствуютъ себя гораздо свободнѣе, зная заранѣе, что они будутъ слѣпо повиноваться имъ. Женщины любятъ властвовать и съ дѣтства привыкаютъ къ этому; съ колыбели онѣ видятъ вокругъ себя поклонниковъ и научаются повелѣвать ими. Поневолѣ, Твардовскій долженъ былъ поэтому ограничиться грубою, фальшивою, продажною любовью женщинъ, которая не удовлетворяетъ, но возбуждаетъ страсть къ сильнымъ ощущеніямъ любви, къ которой стремятся всѣ, какъ охотники, которые, за неимѣніемъ чистаго источника, томимые жаждой, стремятся къ грязной лужѣ воды. Такъ именно было и съ Твардовскимъ, который, покупая любовь цѣною золота и не удовлетворяясь ею въ продажныхъ объятіяхъ женщины, стремясь къ источнику чистой любви, прибѣгалъ все таки къ грязной лужѣ, которая все болѣе разжигала его жажду. Коварство дьявола ставило ему передъ глазами такихъ женщинъ въ минуты неудовольствія на самого себя, въ минуты, когда онъ съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе разочаровывался въ нихъ, когда онъ грустилъ, вспоминая прошедшее.

— Вѣрь мнѣ, Твардовскій,—шепталъ ему дьяволъ, — что

нѣтъ другой любви на свѣтѣ, кромѣ той, которую ты уже испыталъ. Она существуетъ только для тѣхъ дураковъ, которые вѣрятъ въ нее. Существуетъ лишь привязанность по привычкѣ, животная страсть, платоническая любовь, но того, что ты называешь любовью par excelence—не существуетъ на свѣтѣ, какъ не существуетъ Феникса и Сирены, хотя о нихъ трактуютъ очень серьезные и ученые люди. Все это поэзія, выдуманная ради удовлетворенія людскаго суевѣрія...

Волей или неволей Твардовскій долженъ былъ помириться на томъ, что имѣлъ, то есть, животною любовью, а этого-то и нужно было дьяволу, который употреблялъ всѣ силы, чтобы доказать ему о несуществованіи искренней любви; онъ хорошо зналъ, что ничто такъ не можетъ исправить человѣка, какъ истинная любовь, и этого-то больше всего боялся дьяволъ.

Прошло много лѣтъ...

Однажды Твардовскій, окруженный, какъ и всегда, своею дворней, возвращался изъ деревни, въ городъ отъ тяжело больного человѣка и, какъ всегда въ послѣднее время, онъ былъ не доволенъ, скученъ и раздраженъ разными тяжелыми мыслями, которыя одолѣваютъ людей, изнуренныхъ долгою жизнью.

Проѣзжая черезъ рынокъ, онъ внезапно оглянулся и, замѣтивъ что-то необыкновенное, горько улыбнулся... Въ толпѣ женщинъ-торговокъ онъ увидѣлъ свою бывшую жену, блѣдную, исхудалую, оборванную, убитую горемъ; она сидѣла въ небольшомъ шалашикѣ, сколоченномъ изъ досокъ, прилѣпленномъ къ стѣнѣ каменнаго дома, и торговала горшками. Сердце его сжалось при видѣ бывшаго предмета его страсти, одѣтаго въ рубище, со впалыми глазами и посинѣвшими губами. Отъ прежней ея красоты остался ужасный скелетъ, съ потускнѣвшимъ взглядомъ, который нѣкогда привлекалъ къ себѣ поклонниковъ, а теперь отталкивалъ покупателей. У ногъ ея ютилась плюгавая собака, которую она приврѣла, повидимому, изъ состраданія... Новая жажда мести вскипѣла въ его груди... Собаку эту узналъ Твардовскій—это былъ любовникъ его жены. Бросивъ на нее взглядъ презрѣнія, Твардовскій обратился къ своимъ лакеямъ и сказалъ:

— Подите и разбейте горшки у этой распутницы и поколотите ея собаку!..

Слуги немедленно бросились исполнять приказаніе своего господина. Площадь огласилась громкимъ плачемъ торговки и жалобнымъ воемъ собаки.

Бѣдная женщина узнала своего мстителя, который, любуясь ея горемъ, проѣзжалъ въ своей золотой коляскѣ мимо нея; она закрыла лицо руками и упала на землю.

Открывъ убѣжище Агнесы, Твардовскій началъ преслѣдовать ее своею местью. Каждый разъ, проѣзжая мимо ея плохонькаго шалашика съ ярусами горшковъ, онъ велѣлъ бить ихъ и собаку, и тѣшился своимъ ненасытнымъ мщеніемъ. Такимъ образомъ, лишаясь послѣднихъ средствъ къ существованію, Агнеса должна была переселяться въ другое мѣсто, пока онъ опять не отыскивалъ ее.

Въ сердцѣ Твардовскаго клокотало ненасытное мщеніе... Не столько онъ мстилъ за измѣну жены, сколько за то, что позволилъ ввести себя въ обманъ. Самолюбіе его не могло переварить подобной мысли и онъ не могъ забыть этого. Онъ тоже былъ гордъ. Твардовскій не жалѣлъ утраченой любви, но его мучило то обстоятельство, которое уронило его въ глазахъ людей, и столкнуло съ того высокаго пьедестала, на которомъ онъ такъ крѣпко стоялъ, на который его поставила мудрость и всеобщее мнѣніе; чрезъ это онъ уравнялся съ тѣми низкими эгоистами, для которыхъ мнѣніе свѣта было закономъ, которому они готовы пожертвовать всѣмъ, даже остатками чести и совѣсти, случайно уцѣлѣвшими.

Могъ ли онъ поэтому забыть свою обиду и простить женѣ? Такія обиды гордые люди никогда и никому не прощаютъ.

XII.

Какъ Твардовскій сожалѣлъ о своемъ прошломъ и какъ поссорился съ дьяволомъ.

Какъ извѣстно, все оканчивается сожалѣніемъ и горемъ въ этой юдоли плача; всѣ наслажденія жизни, большею частью, сопровождаются раскаяніемъ. Мы сожалѣемъ о прошедшихъ дняхъ, какъ о промотанномъ богатствѣ, оплакиваемъ испол-

ненную бѣдствіями жизнь, и нерѣдко то, что было для насъ счастіемъ, превращается въ горькую полынь.

То же было и съ Твардовскимъ, котораго не удовлетворяли ни наука, ни познанія, ни свѣтъ, ни роскошь, ни, наконецъ, богатство; онъ грустилъ о прожитыхъ дняхъ и съ сожалѣніемъ вспоминалъ объ утраченномъ вѣкѣ, который прожилъ. Совѣсть его мучила всегда за постыдный договоръ, заключенный съ дьяволомъ; онъ ясно видѣлъ теперь, что ничто на свѣтѣ не искупитъ его души и безсмертія: все, пріобрѣтенное имъ въ видѣ обмѣна за свою душу, было ничтожно, скоропреходяще и оканчивалось вмѣстѣ съ жизнью; даже воспоминанія о прошломъ, пережитомъ, не подкрѣпленныя мечтами о золотомъ будущемъ, не приносили ему никакого утѣшенія; перспектива же будущности была черна и грозна... Съ каждымъ днемъ, часомъ и минутой онъ приближался къ этой неприглядной, даже ужасной будущности, о которой онъ прежде мало заботился. Видя во второй разъ сѣдѣющую свою голову, Твардовскій призадумался надъ краткостію жизни человѣческой и съ отчаянья сталъ. Вся его долгая жизнь, а жилъ онъ долго, съ настоящей минуты ему казалась пустой и ничтожной: наука не удовлетворяла его и была слишкомъ тоща, въ сравненіи со свѣтомъ, а роскошь, богатство и слава казались мелочами, въ сравненіи съ вѣчностью.

— И это-то жизнь!..—восклицалъ онъ.—Гдѣ же то пресыщеніе мудростью, котораго я жаждалъ и искалъ? Къ чему привели меня мечты о счастьѣ и ученыя бредни и утопіи? Къ сожалѣнію о потерянномъ прошломъ, къ опасенію за будущность. Какое удовольствіе доставилъ мнѣ свѣтъ, въ которомъ надѣялся жить и пользоваться его благами?.. Кромѣ разочарованія и неудовольствія на все, я ничего не видѣлъ!

Хотя Твардовскому и совѣстно было сознаться передъ самимъ собою о чемъ онъ сожалѣлъ, но въ глубинѣ души чувствовалъ, чего именно жаль ему... Кромѣ всѣхъ думъ, предположеній и вопросовъ, въ душѣ его таилось глубокое искреннее сожалѣніе о золотой молодости, о томъ времени, когда мысль о блескѣ свѣта съ его неизмѣнными животными наслажденіями не безпокоила его сердце, когда онъ не думалъ еще, что жизнь сдѣлается невыносимою. Тогда казалось ему, что вся жизнь

его протечетъ подъ кровлей родительскаго дома, среди скромныхъ семейныхъ радостей и надеждъ. Позже, такое счастіе Твардовскій называлъ счастьемъ глупцовъ, въ которомъ не было ни пыли, ни сору; онъ смѣялся надъ такимъ счастьемъ, но, испытавъ лично всѣ наслажденія жизни, сыпавшіяся на его голову, точно изъ рога изобилія, онъ убѣдился, что чаша наслажденій была слишкомъ горька для его избалованной натуры; однако, несмотря на ея горечь, онъ вздыхалъ по ней; въ ней онъ видѣлъ невозмутимый источникъ счастья, въ которомъ не оставалось осадка на днѣ.

— Зачѣмъ же я оттолкнулъ отъ себя сладкую чашу жизни, которая исключительно предназначалась для меня?..—сѣтовалъ на себя Твардовскій.—Что же этимъ я пріобрѣлъ для себя?—Раскаяніе. Мирно и тихо доживалъ бы я теперь свой вѣкъ подъ роднымъ кровомъ. Я научился бы цѣнить то, въ чемъ теперь не вижу ни счастья, ни значенія; научился бы любить природу, весну, деревню и чувствовалъ бы себя совершенно счастливымъ, довольствуясь тѣмъ, чѣмъ наградило меня Провидѣніе; я былъ бы счастливъ, не чувствуя ни раскаянія, ни угрызеній совѣсти... И жена была бы у меня, какъ родная мать,—ангеломъ... хранителемъ и спасителемъ...

Часто теперь вспоминалъ Твардовскій свою мать; и при каждомъ такомъ воспоминаніи, въ душѣ его точно разливался цѣлительный бальзамъ: такъ было ему легко и отрадно.

Отъ воспоминаній о прошломъ, Твардовскій переходилъ къ будущему, и что же видѣлъ передъ собою? Разверзшуюся пасть ада, которая ждала его въ свою пламенную утробу, передъ которою онъ содрогался при одной мысли, что въ эту пасть не послѣдуютъ за нимъ ни воспоминанія о смерти, ни о младенческихъ лѣтахъ, ни даже о любви, зная хорошо, что, кромѣ раскаянія и угрызеній совѣсти, ничто туда не пойдетъ за нимъ.

И снова онъ началъ измѣрять мыслью свои протекшіе годы.

По мѣрѣ приближенія старости, жизнь Твардовскаго становилась съ каждымъ днемъ грустнѣе и непригляднѣе: онъ чувствовалъ уже приближеніе дня, когда дьяволъ, въ силу заключеннаго условія, потребуетъ съ него расплату за безсмертіе и овладѣетъ его душою. Онъ невольно обращался къ спасительнымъ средствамъ, но, вспоминая о тяжкихъ грѣхахъ своихъ,

бодрость оставляла его, и онъ глубже погружался въ море грѣховности.

Цѣлыя ночи напролетъ думалъ Твардовскій въ грустномъ настроеніи и сравнивалъ свою жизнь съ тою, какую предпослала ему судьба, убѣждаясь все болѣе и болѣе, какъ недостаточны для жизни человѣка счастіе, разумъ и воля, какъ ничтожны порывы его ума и страсти, влекущіе за собою угрызенія совѣсти и раскаянія...

Въ одну изъ такихъ ночей, когда Твардовскій, облокотясь на столъ, поддерживалъ руками свое морщинистое лицо и пылавшій лобъ и предавался грустнымъ размышленіемъ о своей судьбѣ, онъ чувствовалъ, что физическія страданія, нравственно связанныя съ болѣзнью души, подламывали его въ самомъ основаніи и разрушали его крѣпкое здоровье... Пѣтухи давно уже пропѣли и утреній весенній воздухъ пахнулъ въ комнату.

Внутренній жаръ палилъ его. Онъ выставилъ голову въ окно, чтобы освѣжиться и вдохнуть свѣжаго воздуха; но напрасно, жаръ не унимался. Кругомъ его было безмолвно и пусто, и только одинъ Матюша, превращенный имъ въ паука, раскидывалъ въ углу окна свою тончайшую сѣть.

Взглянувъ на него случайно, Твардовскій глубоко вздохнулъ, завидуя его участи.

— И онъ счастливѣе меня!—сказалъ Твардовскій.—Гдѣ же моя слава, да и что мнѣ въ ней? Гдѣ моя жизнь? Какая мнѣ польза отъ нея? Гдѣ моя мудрость, для которой я пожертвовалъ всѣмъ на свѣтѣ?.. Здѣсь, въ этомъ лысомъ черепѣ, который люди зовутъ головою и короной человѣка, въ которомъ трясется и сохнетъ мозгъ, вмѣстилище мудрости, памяти и чувствъ, отличающихъ человѣка отъ безсловеснаго животнаго; святыня эта, изломанная и исковерканная вѣтрами и бурями, приходитъ въ упадокъ: тѣсно въ ней ужъ душѣ и мудрости; а та, которую я купилъ цѣною безсмертія, вскорѣ бѣжитъ отъ меня, потому что жилище ея сдѣлается тѣснѣе теперешняго... О, еслибъ осталось при мнѣ хоть воспоминаніе о счастьѣ?..

Въ то время, когда Твардовскій размышлялъ у окна, освѣжаясь утреннимъ воздухомъ, солнце уже взошло и рабочіе поотпирали окна своихъ жилищъ. До слуха его вдругъ донеслась мелодичная пѣснь, которую сочинилъ онъ въ честь Пре-

святой Дѣвы. При звукахъ ея вспомнились ему промчавшіеся годы молодости, полные вѣры и надежды, родительскій домъ и счастливая сельская жизнь. Въ нѣмомъ отчаяніи онъ прислушивался къ ея звукамъ,—и горькія слезы раскаянія градомъ покатились на его грудь, слезы, никѣмъ и никогда невиданныя на его щекахъ, въ продолженіе нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ, и едва ли не первыя. Между тѣмъ пѣснь раздавалась все громче и мелодичнѣе, разносясь эхомъ по пустыннымъ еще улицамъ Кракова и охватывая сердце Твардовскаго. Пѣвшимъ ее рабочимъ казалось такъ легко, какъ было тяжело въ данное время Твардовскому. Онъ вспомнилъ, какая пропасть отдѣляетъ его отъ той жизни, которая когда то была его удѣломъ и къ которой возвратиться теперь было немыслимо. Могильный холодъ обдалъ его тѣло, онъ весь задрожалъ... Дрожащими руками онъ захлопнулъ окно и отскочилъ отъ него...

— А славная пѣсенка!—сказалъ кто-то позади.

Твардовскій быстро обернулся: за нимъ стоялъ дьяволъ.

— Не правда ли, хороша пѣсня?—повторилъ онъ, ехидно улыбаясь и глядя въ раскраснѣвшееся лицо Твардовскаго.

Твардовскій молчалъ и, закутавшись въ халатъ, опустился въ кресло.

— Однако, шутки въ сторону,—продолжалъ дьяволъ,—ты, видно, очень ужъ состарѣлся, когда такъ горько плачешь о минувшихъ дняхъ молодости. Повидимому, жизнь опротивѣла тебѣ. Совѣтую, дружище, взять посохъ пилигрима и отправиться въ Римъ.

— А тебѣ, видно, очень хочется, чтобы я скорѣе отправился къ праотцамъ на погостъ?—вспыливъ гнѣвомъ, возразилъ Твардовскій.—Успѣешь еще, много времени впереди.

— Я и то жду, дѣлать нечего, подожду и еще... Но все-таки мы скоро уже свидимся въ Римѣ, и тамъ ты не ускользнешь изъ моихъ рукъ... По моему, тебѣ и самому ужъ надоѣла жизнь и не пора ли было бы покончить съ нею? Въ сущности, въ аду не такъ дурно, какъ думаютъ и говорятъ, хотя и не особенно хорошо, нечего таиться, но все-таки не такъ дурно, какъ описываютъ. Впрочемъ, тебѣ ужъ отчасти извѣстно... А ты какъ думаешь, Твардовскій?

Но Твардовскій упорно молчалъ; свѣжепролитыя слезы и

мысли о прошедшей молодости, возстановляли его противъ дьявола, которому онъ приписывалъ всѣ свои неудачи.

— Ты сегодня, какъ видно, въ дурномъ расположеніи духа,— продолжалъ дьяволъ.—И очень жаль, что съ тобою нельзя поговорить серьезно... Но въ твоихъ собственныхъ интересахъ, для сохраненія здоровья, я посовѣтовалъ бы тебѣ ѣхать въ Римъ, гдѣ вѣчная весна и лазурное небо... Ты развлекся бы въ древней столицѣ міра, вѣчномъ городѣ, этомъ вмѣстилищѣ художествъ и всего прекраснаго. Ты еще не знаешь, сколько прелести въ путешествіи; послушай меня, не будешь жалѣть, я опытенъ въ этомъ и отъ искренняго сердца совѣтую предпринять путешествіе въ Италію!.. О, Римъ!.. Это чудный городъ!.. А женщины тамъ—настоящія лавы Везувія... Но, главное, Италія—восхищенье!.. Вѣрь мнѣ, Твардовскій, что я въ собственныхъ твоихъ интересахъ желаю добра и совѣтую предпринять это путешествіе, какъ единственное средство противъ разстроеннаго здоровья.

Въ продолженіе всей этой насмѣшливой тирады, Твардовскій морщился и молчалъ, наконецъ, не выдержавъ, онъ вскочилъ и, схвативъ книгу въ руки, крикнулъ:

— Не искушай, сатана!.. Клянусь, что нога моя никогда ни будетъ ни въ Италіи, ни въ Римѣ!..

— А! это новость!—сказалъ дьяволъ.—А что же будетъ съ нашимъ условіемъ? Вѣдь въ пунктѣ пятомъ, параграфѣ третьемъ сказано, что ты долженъ отдаться мнѣ въ Римѣ...

— Это не мое дѣло,—холодно возразилъ Твардовскій.—Дѣлай, что хочешь со мной, но въ Римъ я ни за что не поѣду.

— И это послѣднее твое слово?

— Послѣднее.

Дьяволъ вѣжливо поклонился и молча вышелъ изъ комнаты.

XIII.

Какъ дьяволъ выстроилъ шляхтичу корчму.

Несмотря на изысканно вѣжливый поклонъ, дьяволъ вышелъ отъ Твардовскаго весьма раздосадованный и недовольный на самаго себя: онъ чесалъ въ затылкѣ, пыхтѣлъ, хрипѣлъ и билъ копытами землю. Не нравились ему мечты Твардовскаго

о прошломъ, которымъ онъ предавался въ послѣднее время. Дьяволъ боялся раскаянія, къ которому онъ могъ дойти посредствомъ глубокой задумчивости и бесѣды съ самимъ собою, съ своею совѣстью. Долго онъ думалъ надъ изысканіемъ способовъ, какъ бы завлечь Твардовскаго въ Римъ, зная хорошо, что разъ Твардовскій рѣшился не ѣхать туда, то ужъ навѣрное поставитъ на своемъ... Нужно было выработать проектъ, чтобы какъ нибудь обмануть его.

— Ergo!—разсуждалъ самъ съ собою дьяволъ,—не будетъ и въ Римѣ, если не поѣдетъ въ Италію, и мы, конечно, не можемъ его взять. Но что же дѣлать?.. Что бы придумать?.. Ба, ба, ба! Да вѣдь въ цирографѣ не сказано: Roma Italiae. Браво!.. Надо, слѣдовательно, подыскать какой нибудь другой Римъ, напримѣръ, Roma Polonorum! Надо подумать!.. Вотъ, что значитъ быть осторожнымъ! Напиши я въ условіи: Roma Italiae—я не могъ бы взять его, если бы онъ самъ не поѣхалъ туда.

Обдумавъ свой планъ, дьяволъ распустилъ крылья и полетѣлъ по Сандомірской дорогѣ.

Долго летѣлъ дьяволъ и наконецъ наткнулся на недостроенную корчму, стоявшую на большой дорогѣ. Въ ней не было еще ни оконъ, ни дверей, ни крыши; одни лишь стѣны были выведены до кровли, которая уже поставлена была на выведенныхъ стѣнахъ. Вокругъ корчмы разъѣзжалъ шляхтичъ, и, повидимому, недовольный рабочими, ворчалъ про себя:

— Эка, гадины!.. Ну, попадетесь вы мнѣ когда нибудь, я научу васъ, какъ шутить со мною! Будете помнить меня, мерзавцы!.. Ужъ я васъ угощу, други любезные!.. И стоитъ разъ только не заплатить во время, окаяннымъ, какъ ужъ бросаютъ работу и расходятся во всѣ стороны... Ищи ихъ теперь съ борзыми... Чортъ знаетъ!.. ни въ комъ нѣтъ справедливости... Между тѣмъ сандомірскій мѣщанинъ требуетъ возвратить деньги и залогъ, если я не выстрою корчму къ сроку. А срокъ близокъ... Ну, что тутъ дѣлать?.. Гдѣ взять рабочихъ? Эти скоты, пожалуй, разскажутъ всѣмъ, что я не плачу денегъ.

Замѣтивъ шляхтича и подслушавъ его сѣтованія на рабочихъ, дьяволъ немедленно спустился на землю и, превратясь въ

крестьянина, сталъ за угломъ корчмы, выжидая удобнаго случая вступить въ разговоръ со шляхтичемъ. Почесавъ въ затылкѣ, какъ дѣлаютъ это крестьяне, когда собираются говорить, онъ рѣшился подойти къ шляхтичу.

— Извините господинъ, что я осмѣливаюсь обезпокоить васъ, —сказалъ дьяволъ, выходя изъ-за угла и низко кланяясь.— Я слышалъ, что вы взялись построить эту корчму на срокъ и что вы недовольны своими рабочими. Не могу ли я узнать, когда истекаетъ срокъ ея постройки?..

— А тебѣ, хамъ, какое дѣло? — возразилъ шляхтичъ, окидывая дьявола презрительнымъ взглядомъ.—Ужъ не подослали ли они тебя для переговоровъ? Я тебѣ покажу, шпіонъ эдакій, какъ насмѣхаться надъ шляхтичемъ!..

— Не гнѣвайтесь, ваша милость,—сказалъ сатана,—я никѣмъ не подосланъ; я свободный плотникъ и ищу работы; у меня есть и рабочіе и я достроилъ бы ее къ сроку, если бы вашей милости угодно было нанять меня.

— Нанять тебя, оборвыша эдакого?

— Почему же и не нанять?.. Для васъ вѣдь все равно, кто бы не дѣлалъ, благо бы сдѣлано было въ срокъ...

— Такъ то оно такъ... Да можешь ли ты сдѣлать?..

— Для чего не сдѣлать—сдѣлаемъ. А когда срокъ? не во гнѣвъ вашей милости, позвольте сдѣлать опросъ.

— Когда срокъ?..—переспросилъ шляхтичъ, продолжая посматривать на лохмотья дьявола.—Въ два дня она должна быть совершенно оконченной,—вотъ тебѣ и срокъ.

— Что жъ за бѣда! И будетъ готова,—возразилъ дьяволъ.

— Врешь, никакъ не можетъ быть достроенною въ два дня,— вспылилъ шляхтичъ.—Видишь сколько работы еще осталось?

— Будьте увѣрены, сдѣлаемъ въ срокъ,—повторилъ дьяволъ.— Чрезъ два дня можете принять работу.

— Врешь, хамъ!.. Здѣсь на мѣсяцъ работы!..

— Сомнѣваюсь! Стоитъ только приняться, въ одинъ часъ будетъ готова,—озираясь сказалъ дьяволъ.

— Развѣ черти будутъ помогать тебѣ?

— Это ужъ мое дѣло. И если я берусь сдѣлать, то и сдѣлаю. Въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія, а для васъ безразлично, кто бы не дѣлалъ.

Шляхтичъ пристально взглянулъ на мнимаго крестьянина. Дьяволъ улыбнулся.

— Ну-съ, теперь позвольте еще маленькій опросецъ сдѣлать: что вы дадите мнѣ, если я построю корчму къ сроку?

— Что я дамъ? Да мыслимо ли, прежде всего, построить ее въ такой короткій срокъ! Много ли у тебя рабочихъ?..

— Голова да двѣ руки,—это мои рабочіе,—возразилъ дьяволъ.

Шляхтичъ изумленно смотрѣлъ на дьявола и пожималъ плечами.

— Еще разъ говорю, врешь, хамъ! Этого быть не можетъ!.. Ты или съ ума сошелъ или осмѣливаешься шутить надо мной, хамская тварь. Говори, много ли рабочихъ?

— Да какое вамъ дѣло, сколько у меня рабочихъ! Была бы корчма готова къ сроку.

— А если ты обманешь меня, какъ и тѣ подлецы?...

— Тогда отдуйте меня нагайками!..

— Въ такомъ случаѣ, согласенъ,—сказалъ шляхтичъ, невольно улыбаясь и боясь дьявола.—Но мнѣ кажется, что ты шутишь надо мной: что-то хамовская рожа твоя мнѣ очень подозрительна.. Но предупреждаю, что ты поплотишься мнѣ жестоко за свои шутки. Быть можетъ, ты нарочно подосланъ мѣщаниномъ, у котораго я снялъ подрядъ, чтобы опутать меня. Я подозрѣваю, что онъ подговорилъ и тѣхъ рабочихъ бросить постройку, чтобы выиграть время и взять отъ меня свой залогъ. Смотри!.. Я не позволю шутить надъ собою!

— Зачѣмъ понапрасну терять слова: если не вѣрите—пришлите кого нибудь наблюдать за рабочими, и, если я не окончу къ сроку—накажите меня ста ударами нагайкой... Съ своей стороны я обѣщаю достроить ее не только черезъ два дня, но даже къ завтрашнему утру—всенепремѣнно.

— Никакъ ты самъ дьяволъ!—воскликнулъ шляхтичъ.—Можно ли такъ нагло завираться!...

— Быть можетъ и дьяволъ; я вовсе не сержусь за это... Впрочемъ, кто бы я ни былъ, для васъ безразлично.

Шляхтичъ видимо струсилъ и незамѣтно перекрестился, а дьяволъ продолжалъ:

— Значитъ, дѣло кончено; корчма будетъ готова къ завтрашнему утру. Но теперь поговоримъ о другомъ: я не желаю

[illegible]

Обрадованный шляхтичъ распрощался съ мнимымъ крестьяниномъ и уѣхалъ.

На слѣдующее утро корчма была готова: дьяволъ выстроилъ ее какъ игрушечку: окна, двери, крыша и внутреннее устройство, все было въ порядкѣ, ни въ чемъ не было недостатка. Даже, въ ожиданіи шляхтича и мѣщанина, яркій огонь пылалъ въ каминѣ, передъ которымъ сидѣлъ дьяволъ и, лѣниво протянувъ копыта, отогрѣвалъ свои бока.

Надъ крыльцомъ корчмы красовалась вывѣска, написанная крупными буквами:

„Р И-М Ъ“.

XIV.

Какъ Твардовскій доживалъ свои послѣдніе дни.

Печально и грустно тянулись послѣдніе дни Твардовскаго. Ничто уже не занимало его: ни свѣтъ, котораго онъ когда-то такъ жаждалъ, ни удовольствія которыми пресытился, ни науки, источникъ которыхъ давно исчерпалъ. Суровый и мрачный, съ нахмуренными бровями и покрытымъ глубокими бороздами лицомъ, сгорбившись и съежившись, ходилъ онъ по краковскимъ улицамъ. Всегда молчаливый и грустный, онъ сдѣлался уже посмѣшищемъ для народа и жалкимъ для самого себя. Жизнь ему была ужъ въ тягость. Отъ всего, что пріобрѣлъ въ продолженіе жизни, осталось лишь двусмысленная слава его мудрости и чернокнижія.

Твардовскій не оставлялъ своей медицинской практики. Изслѣдованіе болѣзней, продолжительныя бесѣды съ больными и наблюденія надъ ними, сокращали время, длившееся для него нескончаемою вѣчностью. Теперь Твардовскій не прибѣгалъ ужъ къ *чертовской* системѣ лѣченія и лѣчилъ самыми обыкновенными средствами, предписываемыми медициной. Притомъ благодарностью служило ему увеличеніе славы: въ деньгахъ онъ не нуждался, какъ и прежде, и они не возбуждали въ немъ никакого чувства...

Грустно было смотрѣть на великаго ученаго: наружность

его рѣзко изобличала состояніе его души. Каждая морщина лица, казалось, говорила о раскаяніи и угрызеніяхъ совѣсти; высокій, открытый лобъ его, нѣкогда прекрасный, а теперь обтянутый желтой кожей, казалось обнаруживалъ его внутреннія тревоги. Многочисленные друзья оставили его, замѣтивъ перемѣну въ жизни; для нихъ нуженъ былъ не Твардовскій, а его пиры, балы, обѣды, ужины и богатство. Никто не остался ему вѣрнымъ до послѣдней минуты. Друзья, превозносившіе его до небесъ, теперь стыдились ему подать свою руку, даже убѣгали, при встрѣчѣ съ нимъ. Только одинъ паукъ Матюша былъ вѣренъ ему: онъ по прежнему находился у Твардовскаго и въ углу окна ткалъ свою нескончаемую сѣть.

Въ воспоминаніе своего прошлаго, точно въ истязаніе самого себя, Твардовскій ходилъ опять на Кржеменки и смотрѣлъ со скалы, которая носила названіе его каѳедры, на окрестности Кракова. Погруженный въ раздумьѣ, тамъ онъ проводилъ цѣлые дни и ночи.

Страшныя мысли объ ожидавшей карѣ въ аду мучили и терзали его душу.

Это были послѣдніе дни ужасной агоніи, за которыми не предвидѣлось свѣжаго луча надежды и зіяла огненная пасть ада, ждавшая, чтобы поглотить его въ свое чрево. Только клятва, высказанная имъ дьяволу, что нога его никогда не будетъ въ Римѣ, нѣсколько успокаивала старика; но при воспоминаніи о томъ, съ какимъ выраженіемъ лица ушелъ отъ него въ послѣдній разъ дьяволъ, Твардовскій дрожалъ: онъ зналъ, что зловѣщее его лицо не предвѣщало ничего хорошаго; въ изобрѣтательности же сатаны онъ не могъ сомнѣваться и поэтому былъ очень остороженъ, рѣшаясь не поддаваться его навѣтамъ.

XV.

Какой былъ конецъ Твардовскаго.

Однажды вечеромъ, у воротъ дома Твардовскаго раздался сильный стукъ и чей-то голосъ взывалъ о помощи:

— Отворите! отворите, Бога ради!—раздавался голосъ.

Въ послѣднее время Твардовскій настолько опустился, что даже не держалъ при себѣ слуги, и поэтому самъ вышелъ отворить ворота.

Едва онъ успѣлъ отпереть дверь, какъ въ переднюю къ нему вбѣжалъ молодой красивый мужчина; онъ былъ ужасно взволнованъ и точно помѣшанный.

— Здѣсь живетъ докторъ Твардовскій?—спросилъ, онъ задыхаясь.

— Здѣсь. Я къ вашимъ услугамъ. Что вамъ нужно отъ меня?—отвѣчалъ старикъ.

— О, Бога ради, докторъ, спасите моего отца!.. На васъ одного, докторъ, моя надежда... И если вы не спасете его, то ужъ, конечно, никто не можетъ спасти!

— Что съ вашимъ отцомъ?

— Ужасный случай: его разбили лошади. Всѣ краковскіе доктора отказались лѣчить его и послали меня къ вамъ, сказавъ, что только вы можете спасти его... Онъ едва дышетъ!.. Заклинаю васъ, спасти его!.. Возьмите все мое состояніе, только спасите отца! Бога ради, умоляю!

Докторъ улыбнулся и спросилъ:

— Гдѣ вы живете? Далеко отсюда?

— Порядочно! Подъ Сандоміромъ. Но вы не безпокойтесь: на пути у меня разставлены смѣнныя лошади и мы долетимъ очень скоро... Бога ради, садитесь скорѣе и поѣзжайте со мною.

Спустя нѣсколько минутъ, Твардовскій, захвативъ съ собою необходимыя лѣкарства, сѣлъ въ прекрасный экипажъ молодого человѣка и помчался по Сандомірской дорогѣ. Лошади неслись, какъ вихрь; казалось, что онѣ не прикасались къ землѣ. На каждой мили лошади замѣнялись другими.

Наконецъ, послѣ продолжительнаго путешествія, экипажъ подкатилъ подъ крыльцо новой корчмы.

— Здѣсь лежитъ мой отецъ,—сказалъ незнакомецъ Твардовскому.—Прошу покорно войти, а я пойду предупредить.

Твардовскій вышелъ изъ экипажа и тихонько пошелъ за незнакомцемъ.

Едва Твардовскій переступилъ порогъ корчмы, какъ вокругъ него раздался страшный шумъ, отъ котораго затряслась вся корчма. Твардовскій испугался и глазами началъ искать боль-

ного. Въ это время изъ боковой комнаты вышелъ къ нему на встрѣчу знакомый дьяволъ съ роковымъ обязательствомъ въ рукахъ. Замѣтивъ сатану, Твардовскій съ неудовольствіемъ спросилъ:

— Ты что здѣсь дѣлаешь?

Дьяволъ язвительно улыбнулся и, протягивая къ нему цирографъ, подобострастно сказалъ:

— Корчма эта называется „*Римомъ*“!

Холодные мурашки пробѣжали по тѣлу Твардовскаго, мысли спутались и онъ сначала растерялся. Первымъ движеніемъ его было бѣжать къ дверямъ, но онѣ были заперты и сильный караулъ чертей занималъ свой постъ. Твардовскій посмотрѣлъ на окна, но и ихъ стерегло несмѣтное войско царя преисподней: они кивали ему головами и дразнили огненными языками; въ каминѣ же сидѣлъ самъ Вельзевулъ. Уйти слѣдовательно не было никакой возможности, помощи ждать не откуда.

Однако Твардовскій не терялъ присутствія духа и поднялся на хитрость. Спасительная мысль блеснула въ его сѣдой головѣ: въ колыбели, качавшейся у кровати корчмарки, лежало дитя. Въ одно мгновеніе онъ бросился и схватилъ малютку на руки.

— А!—вскричалъ Твардовскій:—такъ ты обманомъ хочешь овладѣть моей душой? Нѣтъ, не удастся же тебѣ овладѣть мною... Теперь ты пождешь меня. Съ малюткой ты не осмѣлишься взять меня, сатана,—онъ крещенъ и безгрѣшенъ... Теперь ты не смѣешь прикоснуться ко мнѣ.

— Ты думаешь?..

— А вотъ посмотримъ, какъ ты возьмешь меня съ малюткой.

— Ахъ, какой ты хитрый,—воскликнулъ дьяволъ:—оплошалъ же я маленько, ты превзошелъ меня,—твое взяло. Но тебѣ нечего бояться меня,—сказалъ ласково дьяволъ:—вѣдь я шутилъ! Живи; время еще не ушло. Положи ребенка въ колыбель.

— Нѣтъ, врешь!.. Теперь я не повѣрю тебѣ,—отвѣчалъ Твардовскій, прижимая младенца къ груди.

Дьяволъ прошмыгнулъ въ другую комнатку. Черезъ минуту послышался чей-то пискливый голосъ, выбѣжала жена корчмаря.

Увидѣвъ свое дитя на рукахъ у Твардовскаго, она бросилась къ нему. Глаза ея горѣли какъ у тигрицы.

— Какъ ты смѣешь, злодѣй, брать моего ребенка, — крикнула она.—Отдай мое дитя, слышишь? сейчасъ же положи на мѣсто... Иначе, я съ тобой расправлюсь вотъ этимъ ухватомъ...

— Небойся, добрая женщина, я не возьму его и не сдѣлаю ему никакого вреда,—хладнокровно возразилъ Твардовскій, сторонясь отъ женщины.—Ты лучше послушай, что я тебѣ скажу...

— И слушать ничего не хочу!.. Что мнѣ слушать тебя!— Сейчасъ отдай мое дитя, или я хвачу тебя...

— Молчать, баба, или я задушу твоего ребенка, — прикрикнулъ на нее Твардовскій,—если ты осмѣлишься дотронуться до меня.

— Не бойся, молодка, вмѣшался дьяволъ, — вретъ онъ, не задушитъ твоего ребенка, смѣлѣй подступайся къ нему...

Но баба, видя, что ребенокъ спокойно лежитъ на рукахъ Твардовскаго и что онъ съ любовью смотритъ на него, успокоилась и приготовилась слушать, что скажетъ ей докторъ

— Послушай, женщина, — сказалъ Твардовскій, цѣлуя малютку,—я дамъ тебѣ сто дукатовъ, если ты одолжишь мнѣ своего ребенка только до тѣхъ поръ, пока я выйду отсюда.

— Вотъ какъ!.. Но кто же мнѣ поручится, что ты дашь мнѣ столько денегъ?..

— Вотъ онѣ,—сказалъ Твардовскій, швырнувъ ей кошелекъ съ золотомъ.

Корчмарка быстро схватила туго набитый кошелекъ и, спрятавъ въ карманъ, замолкла.

Раздосадованный неудачей, дьяволъ опять шмыгнулъ въ боковую комнату и привелъ оттуда отца малютки. Корчмарь хотѣлъ ужъ разразиться бранью на Твардовскаго, но жена успѣла предупредить мужа, показавъ ему кошелекъ съ золотомъ.

Корчмарь съ недоумѣніемъ посмотрѣлъ на жену и, почесавъ въ затылкѣ, промолчалъ.

Такимъ образомъ дьявола постигла вторая неудача и онъ, поморщившись до безобразія, злобно прошипѣлъ:

— Держи же у себя ребенка, сколько угодно, но я все-таки не пущу тебя черезъ порогъ... Я уморю тебя здѣсь голодомъ.

— Посмотримъ, посмотримъ!—возразилъ спокойно Твардовскій, садясь съ ребенкомъ на скамью.—Вѣдь мнѣ, какъ и тебѣ, хорошо извѣстны параграфы заключеннаго между нами условія,

а слѣдовательно извѣстно также, насколько власть твоя можетъ распространяться на меня...

Дьяволъ такъ сильно чесалъ затылокъ, что даже искры посыпались изъ него.

— Пусть я провалюсь еще разъ въ преисподнюю, если когда нибудь свяжусь съ мудрецомъ,—прошипѣлъ дьяволъ, метнувъ молнію глазами.—Твоя душа мнѣ обошлась въ десятеро больше, чѣмъ стоитъ она... И въ довершеніе всего ты еще испортилъ ее постоянными воспоминаніями о прошломъ и своими никому ненужными слезами и раскаяніемъ... А сколько времени и трудовъ стоила мнѣ твоя душа—и не сочтешь! А ты, вотъ, пятишься теперь, какъ ракъ, когда дѣло пришло къ разсчету, неблагодарный!.. Вѣдь съ своей стороны я исполнилъ въ точности всѣ пункты условія, а ты съ своей и не думаешь... Развѣ ты не получилъ отъ меня всего, чего желалъ?.. Развѣ я не продлилъ тебѣ вѣка посредствомъ перерожденія?... Развѣ ты не жилъ такъ, какъ тебѣ желалось?.. Наконецъ, развѣ я не былъ твоимъ преданнымъ слугою и рабомъ? Что же теперь осталось тебѣ въ этой жизни?.. Сожалѣніе, страхъ, угрызеніе совѣсти, раскаяніе за прожитыя двѣ жизни!.. Неужели земныя муки легче адскихъ мукъ въ преисподней? Вѣдь ты больше теряешь, живя на этомъ свѣтѣ... Не благороднѣе-ли было бы покончить дѣло міролюбиво? Вѣдь ты знаешь пословицу: „долгъ платежомъ красенъ“, а все еще упорствуешь... Не сегодня-завтра ты долженъ возвратить мое... Рано или поздно ты отдашься же въ мои руки...

— Не понимаю, почему тебѣ хочется такъ скоро овладѣть мною, сатана!.. Вѣдь время-то еще не ушло: успѣешь еще насытиться моей душою... Зачѣмъ торопиться?

— Затѣмъ, что мнѣ слишкомъ надоѣло возиться съ тобою... Шутка-ли—двѣ жизни! Ты знаешь, конечно, что я не возьму тебя съ ребенкомъ; но скажи, пожалуйста, честно ли съ твоей стороны дѣлать подобныя несообразности? Вѣдь ты благородный шляхтичъ и вдругъ отступаешься отъ своего слова и хочешь провести меня. Ты продалъ мнѣ свою душу, я совершилъ купчую, которая подписана собственною твоею кровью, и, слѣдовательно, не можетъ быть никакой рѣчи о подлогѣ и т. п.; вѣдь это не простая сдѣлка на покупку какого нибудь имуще-

ства... Въ серьезныхъ вещахъ нужно держать шляхетское слово и быть аккуратнымъ. Ты подумай, какъ назовутъ тебя, если ты нарушишь добровольно заключенное условіе?.. Мошенникомъ, безчестнымъ человѣкомъ!.. А эпитеты эти для дворянина не особенно къ лицу, несмотря даже на то, что условіе заключено... хотя бы и съ дьяволомъ...

Убѣжденія дьявола задѣли Твардовскаго за живое; онъ покраснѣлъ отъ стыда и какъ бы колебался. Аргументы дьявола замѣтно повліяли на него.

Предвидя успѣхъ, дьяволъ продолжалъ:

— Не считаю нужнымъ повторять, что договоръ совершенъ между нами по обоюдному соглашенію, безъ принужденія съ обѣихъ сторонъ, поэтому онъ и долженъ храниться свято и ненарушимо благороднымъ человѣкомъ... Verbum nobile debet esse stabile... Не такъ ли?..

Побѣжденный доводами дьявола, Твардовскій поднялся со скамьи и, положивъ ребенка въ колыбель, сказалъ:

— Ты убѣдилъ меня своими аргументами, дьяволъ: бери меня, я твой!..

Едва Твардовскій успѣлъ сказать эти слова, какъ сонмъ чертей ворвался въ корчму и, мигомъ окруживъ Твардовскаго, запустилъ въ него свои длинные, острые когти; подхвативъ его на воздухъ, черти вмѣстѣ съ нимъ вылетѣли въ трубу.

Когда черти поднялись высоко въ воздухѣ, Твардовскій взглянулъ въ послѣдній разъ на оставляемую имъ землю и вспомнилъ свое прошлое... При видѣ этой прекрасной природы, шумно и тихо катящихся рѣкъ, темныхъ лѣсовъ и золотыхъ нивъ, Твардовскій вспомнилъ свою молодость и тѣ счастливыя минуты жизни, когда онъ жилъ подъ кровомъ отца, когда сидѣлъ на школьной скамьѣ, когда родная муза вдохновляла его и онъ слагалъ риѳмы въ честь Богородицы и угодниковъ Божіихъ... Тамъ, на недосягаемой высотѣ, зазвучала въ его ушахъ святая пѣснь... Онъ вспомнилъ о всемогуществѣ Бога, о которомъ глубоко вздохнулъ... Вспомнивъ, что въ карманѣ его находится книжка съ святыми пѣснями, съ которой онъ не разставался въ послѣднее время, Твардовскій собрался съ остаткомъ своихъ силъ и дребезжащимъ голосомъ набожно запѣлъ Богородичную пѣснь.

Отъ этой пѣсни заколебался воздухъ, и бѣсы пораженные ея святостью, какъ громомъ небеснымъ, выпустили Твардовскаго изъ своихъ когтей и умчались далеко отъ него.

Съ пѣснью на устахъ Твардовскій повисъ въ воздухѣ... Съ небесныхъ высотъ, казалось, кто то проговорилъ къ нему громкимъ, точно труба Архангела, голосомъ:

— Такъ будешь висѣть ты до страшнаго суда!..

Твардовскій возвелъ глаза къ небу и горячо возблагодарилъ Бога за чудесное избавленіе его изъ когтей сатаны.

Когда Твардовскій опустилъ глаза, наполненные слезами искренняго раскаянія и радости, онъ не увидѣлъ ужъ подъ собою земли. Бѣлая, прозрачная, однообразная пустыня окружала его; солнце жгло его голову и черныя тучи двигались подъ его ногами... Не доходилъ ужъ до его слуха земной шумъ; безконечное пространство разстилалось передъ нимъ, и одиноко висѣлъ онъ среди этой безотрадной пустыни...

Но вдругъ Твардовскій почувствовалъ, что кто-то щекочетъ его руку, точно кто ползетъ по ней.

И дѣйствительно: то былъ паукъ-Матюша.

Вѣрный слуга уцѣпился за его платье и раздѣлилъ судьбу своего господина.

Узнавъ его, Твардовскій воскликнулъ:

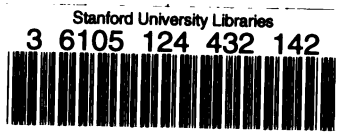
— Матюша! и ты со мною?..

— Всегда я съ тобою, мой добрый господинъ,—отвѣчалъ Матюша, ползя къ его ногѣ.

Съ тѣхъ поръ Матюша, вмѣстѣ съ Твардовскимъ, виситъ между небомъ и землею. Каждое утро онъ спускается внизъ по длинной паутинѣ и, узнавъ всѣ новости, всползаетъ опять къ Твардовскому и передаетъ ему все слышанное и видѣнное имъ на землѣ.

Такой былъ конецъ великаго ученаго Твардовскаго, имя котораго и дѣятельность на сей юдоли плача сохранились въ народныхъ преданіяхъ, этой сокровищницѣ всѣхъ воспоминаній старины, не вмѣщающихся на страницахъ многотомной исторіи міра.

Конецъ.



PG 7158
K75 C9

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.

Stanford University Libraries
3 6105 124 432 142

PG 7158
K75 C9

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.